



ФЕСТИВАЛЬ МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ «ОДЕССА: ГОРОД И ТЕКСТ» / "ODESSA: THE CITY AND ITS TRANSFORMATIVE TEXTS" ESHKOLOT'S FIFTH FESTIVAL OF JEWISH TEXTS AND IDEAS

ПРОЕКТ «ЭШКОЛОТ»: ИДЕИ НА ПРОБУ / ESHKOLOT: A TASTE OF IDEAS

/ АНТОЛОГИЯ ТЕКСТОВ К ФЕСТИВАЛЮ МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ «ОДЕССА: ГОРОД И ТЕКСТ»

/ READER

FOR "ODESSA: THE CITY AND ITS TRANSFORMATIVE TEXTS" ESHKOLOT'S FIFTH FESTIVAL OF JEWISH TEXTS AND IDEAS



DEPARTMENT OF HEBREW LITERATURE OF THE HEBREW UNIVERSITY, JERUSALEM, ISRAEL



THE ODESSA MUSEUM OF LITERATURE, ODESSA, UKRAINE



www.eshkolot.ru

«ЭШКОЛОТ» / ESHKOLOT
ОДЕССА, ИЮНЬ 27–30, 2013 / ODESSA, JUNE 27–30, 2013

ФЕСТИВАЛИ МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ THE GENESIS PHILANTHROPY GROUP, THE ROTHSCHILD FOUNDATION (HANADIV) EUROPE, CAF И ФОНДА АВИ ХАЙ /

THE ESHKOLOT FESTIVALS ARE SUPPORTED BY THE GENESIS PHILANTHROPY GROUP, THE ROTHSCHILD FOUNDATION (HANADIV) EUROPE, CAF AND THE AVI CHAI FOUNDATION



THE ROTHSCHILD FOUNDATION (HANADIV) EUROPE



СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

/ МАТЕРИАЛЫ К ПЛЕНАРНЫМ ЛЕКЦИЯМ / SOURCES FOR PLENARY LECTURES 3



ХАИМ НАХМАН БЯЛИК / HAYIM NAHMAN BIALIK

СТИХОТВОРЕНИЯ / POEMS

5

/ МАТЕРИАЛЫ К ПОТОКУ «ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ» / HEBREW LITERATURE TRACK 15



ПЕРЕЦ СМОЛЕНСКИН / PERETS SMOLENSKIN

ИЗ РОМАНА «БЛУЖДАЮЩИЙ ПО ПУТЯМ ЖИЗНИ» (ИВРИТ) / FROM "THE WANDERER IN THE PATHS OF LIFE" (HEBREW) 17

ИЗ РОМАНА «БЛУЖДАЮЩИЙ ПО ПУТЯМ ЖИЗНИ» (ПЕРЕВОД) / FROM "THE WANDERER IN THE PATHS OF LIFE" (RUSSIAN) 18

ИЕГУДА КАРНИ / YEHUDAH KARNI

«ЧЕТЫРЕ ГОДА В ИЗГНАНИИ» / "FOUR YEARS IN EXILE" 20

ИЦХАК ДОВ БЕРКОВИЧ / YITSHAK DOV BERKOWITZ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ (ИВРИТ) / FROM MEMOIRS (HEBREW) 22

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ (ПЕРЕВОД) / FROM MEMOIRS (RUSSIAN) 29

АВИГДОР ХА-МЕИРИ / AVIGDOR HAME'IRI

В ПАСТИ ЧЕЛОВЕКА (ИВРИТ) / BETWEEN THE TEETH OF MAN (HEBREW) 34

В ПАСТИ ЧЕЛОВЕКА (ПЕРЕВОД) / BETWEEN THE TEETH OF MAN (RUSSIAN) 44

ХАИМ НАХМАН БЯЛИК / HAYIM NAHMAN BIALIK

СТИХОТВОРЕНИЯ / POEMS 48

ШАУЛ ЧЕРНИХОВСКИЙ / SHAUL TCHERNICHOVSKY

СТИХИ. НАПИСАННЫЕ В ОДЕССЕ / POEMS FROM ODESSA 57

«ОДЕССА» / "ODESSA" 63

/ МАТЕРИАЛЫ К ПОТОКУ «ЛИТЕРАТУРА НА ИДИШЕ» / YIDDISH LITERATURE TRACK 65



МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМ / MENDELE MOYKHNER-SFORIM

ФИШКА-ХРОМОЙ (ИДИШ) / FISHKE THE LAME (YIDDISH) 67

ФИШКА-ХРОМОЙ (ПЕРЕВОД) / FISHKE THE LAME (RUSSIAN) 158

ИСРОЭЛ АКСЕНФЕЛД / YISROEL AKSENFELD

ИЗ РОМАНА «ДОС ШТЕРНТИХЛ» / FROM "DOS SHTERNTIKHL" 213

ШОЛЕМ-АЛЕЙХЕМ / SHOLEM-ALEICHEM

ИЗ ЦИКЛА «МЕНАХЕМ-МЕНДЛ» / FROM "MENACHEM-MENDEL" 215

/ МАТЕРИАЛЫ К ПОТОКУ «ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ» / LITERATURE IN RUSSIAN TRACK 223



ВЛАДИМИР (ЗЕЕВ) ЖАБОТИНСКИЙ / VLADIMIR (ZE'EV) JABOTINSKY

ИЗ РОМАНА «ПЯТЕРО» / FROM "THE FIVE" 225

ИЗ РОМАНА «ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ» / FROM AUTOBIOGRAPHY 261

МОЯ СТОЛИЦА / MY CAPITAL CITY 274

БЕН-ЦИОН ДИНУР / BEN ZION DINUR

МИР, КОТОРОГО НЕ СТАЛО / THE VANISHED WORLD 277

ВАСИЛИЙ КЕЛЬСИЕВ / VASILY KELSIEV

ГАЛИЧИНА И МОЛДАВИЯ. ПУТЕВЫЕ ПИСЬМА / GALICIA AND MOLDAVIA: LETTERS FROM THE ROAD 279

ФРИДРИХ НИЦШЕ / FRIEDRICH NIETZSCHE

ИЗ «ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА» / FROM "ALSO SPRACH ZARATHUSTRA" 280

АННА СУМ / ANNA SUM

ПИСЬМО АБРАМУ СУМУ / A LETTER TO ABRAM SUM 284



Проект «Эшколот» выражает признательность фондам Avi Chai, Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe, Genesis Philanthropy Group, Charities Aid Foundation (CAF), а также частным/анонимным спонсорам, за поддержку Фестиваля медленного чтения и других программ. Проект «Эшколот» выражает особую благодарность Давиду Розенсону, директору фонда Avi Chai в СНГ и Beit Avi Chai в Иерусалиме, Сане Бритавски, директору Genesis Philanthropy Group, и проф. Аминадаву Дикману (Еврейский университет в Иерусалиме), которые совместными усилиями сделали Фестиваль медленного чтения в Одессе возможным.

Eshkolot gratefully acknowledges the support of the Avi Chai Foundation, the Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe, the Genesis Philanthropy Group, the Charities Aid Foundation (CAF) and private/anonymous sponsors for the Festival of Jewish Texts and Ideas and Eshkolot's programs and initiatives. In particular, Eshkolot would like to thank David Rozenson, the Executive Director of Avi Chai in the FSU (and now Beit Avi Chai in Jerusalem), Sana Britavsky, the Executive Director of the Genesis Philanthropy Group and Prof. Aminadav Dykman of the Hebrew University whose joint efforts ensured that Eshkolot's Festival in Odessa became a reality.



THE ROTHSCHILD
FOUNDATION
(HANADIV) EUROPE

CAF Charities Aid
Foundation



www.eshkolot.ru

/ МАТЕРИАЛЫ К ПЛЕНАРНЫМ ЛЕКЦИЯМ

Сказание о погроме

...Встань, и пройди по городу резни,
И тронь своей рукой, и закрепи во взорах
Присохший на стволах и камнях и заборах
Остылый мозг и кровь комками: то – они.
Пройди к развалинам, к зияющим проломам,
К стенам и очагам, разбитым словно громом:
Вскрывая черноту нагого кирпича,
Глубоко врылся лом крушительным тараном,
И те пробоины подобны черным ранам,
Которым нет целенья и врача.
Ступи – утонет шаг: ты в пух поставил ногу,
В осколки утвари, в отрепья, в клочья книг:
По крохам их копил воловий труд – и миг,
И все разрушено...
И выйдешь на дорогу –
Цветут акации и льют свой аромат,
И цвет их – словно пух, и пахнут словно кровью;
И на зло в грудь твою войдет их сладкий чад,
Маня тебя к весне, и жизни, и здоровью;
И греет солнышко, – И, скорбь твою дразня,
Осколки битого стекла горят алмазом –
Все сразу Бог послал, все пировали разом:
И солнце, и весна, и красная резня!

Но дальше. Видишь двор? В углу, за той клоакой, –
Там двух убили, двух: жида с его собакой.
На ту же кучу их свалил один топор,
И вместе в их крови свинья купала рыло.
Размоет завтра дождь вопивший к Богу сор,
И сгинет эта кровь, всосет ее простор
Великой пустоты бесследно и уныло –
И будет снова все по-прежнему, как было...
Иди взберись туда, под крыши, на чердак:
Предсмертным ужасом еще трепещет мрак,
И смотрят на тебя из дыр, из теней черных
Глаза, десятки глаз безмолвных и упорных.
Ты видишь? То они. Вперяя мертвый взгляд,
Теснятся в уголке, и жмутся, и молчат.

בעיר ההרגה

קום לך אֶל עיר ההרגה ובאת אל-החצרות,
ובעיניך תראה ובגידך תמשש על-הגדרות
ועל העצים ועל האבנים ועל-גבי טיח הכתלים
את-הדם הקרוש ואת-המוח הנקשה של-החללים.
ובאת משם אל-החברות ופסחת על-הפצעים
ועברת על-הכתלים הנקובים ועל התנורים הנתצים,
במקום העמיק קרקר המפץ, הרחיב הגדיל החורים,
מחשף האבן השחכה וערות הלבנה השרופה,
והם נראים כפיות פתוחים של-פצעים אנושים ושחורים
אשר אין להם תקנה עוד ולא-תהי להם תרופה,
וטבעו רגליך בנוצות והתנגפו על תלי-תלים
של-שברי שברים ורסיסי רסיסים ותבוסת ספרים וגוילים,
כליון עמל לא-אנוש ופרי משנה עבודת פךך;
ולא-תעמד על-ההרס ועברת משם הדךך –
ולבלבו השטים לנגדך וזלפו באפך בשמים,
וציציהו חצים נוצות וריחו כריח דמים;
ועל-אפך ועל-חמתך תביא קטרותו הזרה
את-עדנת האביב בלבבך – ולא-תהי לך לזרא;
וברבבות חצי זרב יפלח השמש כבדך
ושבע קרנים מכל-רסיס זכוכית תשמחנה לאידך,
כי-קרא אדני לאביב ולטבח גם-יחד:
השמש זרחה, השטה פרחה והשוחרט שחט.

וברכת ובאת אל-חצר, והחצר גל בו –
על הגל הזה נערפו שנים: יהודי וכלבו.
קרדם אחד ערפם ואל-אשפה אחת הוטלו
ובערב דם שניהם חטטו חזירים ויתגוללו;
מחר ירד גשם וסחפו אל-אחד נחלי הבתות –
ולא-יצעק עוד הדם מן השפכים והאשפות,
כי בתהם רבה יאבד או-ישק נעצוץ לרונה –
והכל יהיה כאין, והכל ישוב כלא-היה.
ואל עליות הגגות תטפס ונצבת שם בעלטה –
עוד אימת מר המות במאפל הדומם שטה;
ומכל-החורים העמומים ומתוך צללי הזויות
עינים, ראה, עינים דומם אליך צופיות.
רוחות ה«קדושים» הן, נשמות עוטיות ושוממות,
אל-זויות אחת תחת כפת הגג הצטמצמו – ודוממות.

Сюда, где с воем их настигла стая волчья,
Они в последний раз прокрались – оглянуть
Всю муку бытия, нелепо-жалкий путь
К нелепо-дикому концу, – и жмутся молча,
И только взор корит и требует: За что? –
И то молчанье снести лишь Бог великий в силах!..
И все мертво кругом, и только на стропилах
Живой паук: он был, когда свершалось то, –
Спроси, и проплывут перед тобой картины:
Набитый пухом их распоротой перины
Распоротый живот – и гвоздь в ноздре живой;
С пробитым теменем повешенные люди;
Зарезанная мать, и с ней, к остывшей груди
Прильнувший губками, ребенок; – и другой,
Другой, разорванный с последним криком «мама!»
И вот он – он глядит, недвижно молча, прямо
В Мои глаза и ждет отчета от Меня...
И в муке скорчишься от повести паучьей,
Пронзит она твой мозг, и в душу, леденя,
Войдет навеки Смерть... И, сытый пыткой жгучей,
Задушишь рвущийся из горла дикий вой
И выйдешь – и земля все та же, – не другая,
И солнце, как всегда, хохочет, изрыгая
Свое ненужное сиянье над землей...

И загляни ты в погреб ледяной,
Где весь табун, во тьме сырого свода,
Позорил жен из твоего народа –
По семеро, по семеро с одной.
Над дочерью свершалось семь насилий,
И рядом мать хрипела под скотом:
Бесчестили пред тем, как их убили,
И в самый миг убийства... и потом.
И посмотри туда: за тою бочкой,
И здесь, и там, зарывшись в сору,
Смотрел отец на то, что было с дочкой,
И сын на мать, и братья на сестру,
И видели, выглядывая в щели,
Как корчились тела невест и жен,
И спорили враги, делясь, о теле,
Как делят хлеб, – и крикнуть не посмели,
И не сошли с ума, не поседали
И глаз себе не выкололи вон
И за себя молили Адоная!
И если вновь от пыток и стыда
Из этих жертв опомнится иная –
Уж перед ней вся жизнь ее земная
Осквернена глубоко навсегда;
Но выползут мужья их понемногу –
И в храм пойдут вознестъ хваленья Богу
И, если есть меж ними коганим,
Иной из них пойдет спросить раввина:
Достойно ли его святого чина,
Что с ним жила такая, – слышишь? с ним!
И все пойдет, как было...

כאן מִצְאֵן הַקֶּרֶדִים וְאֶל-הַמְּקוֹם הַזֶּה תִּבְאֶנָּה
לְחַתֵּם פֶּה בְּמַבְטֵי עֵינֵיהֶן בַּפֶּעַם הָאֲחֵרוֹנָה
אֶת כָּל-צַעַר מוֹתָן הַתְּפִלָּה וְאֶת כָּל-תְּאַלְתַּת חַיֵּיהֶן,
וְהַתְּרַפְּקוּ פֶּה זְעוֹת וְחַדְדוֹת, וְיַחְדּוֹ מִמַּחְבֹּאֵיהֶן
דוֹמָם תּוֹבְעוֹת עֲלִבּוֹן וְעֵינֵיהֶן שׁוֹאֲלוֹת: לָמָּה? –
וּמִי-עוֹד כְּאַלְהִים בְּאֶרֶץ אֲשֶׁר-יִשְׂא זֹאת הַדְּמָמָה?
וְנִשְׂאֲתָ עֵינֶיךָ הִגָּה – וְהִנֵּה גַם רַעְפֵּיו מִחֲרִישִׁים,
מֵאַפִּילִים עֲלֶיךָ וְשׁוֹתְקִים, וְשֹׂאֲלֶתָ אֶת-פִּי הַעֲכָבִישִׁים;
עֲדִים חַיִּים הֵם, עַדִּי רֵאִיָּה, וְהִגִּידוּ לָךְ כָּל-הַמּוֹצְאוֹת:
מַעֲשֵׂה בְּבֶטֶן רַטְשָׁה שְׂמַלְאוֹהָ נּוֹצוֹת,
מַעֲשֵׂה בְּנִחְרִים וּמִסְמְרוֹת, בְּגִלְגָּלוֹת וּפְטִישִׁים,
מַעֲשֵׂה בְּבִנֵי אָדָם שְׁחוּטִים שְׁנִתְּלוּ בְּמַרְיִשִׁים,
וּמַעֲשֵׂה בְּתִינוֹק שְׂנַמְצָא בְּצַד אִמּוֹ הַמְּדַקְרָה
כְּשֶׁהוּא יוֹשֵׁן וּבְפִיו פְּטִמַת שְׂדֵה הַקֶּרֶה;
וּמַעֲשֵׂה בְּיֶלֶד שְׂנִקְרַע וְיִצְאָה נִשְׁמָתוֹ בְּ«אִמִּי!» –
וְהִנֵּה גַם עֵינָיו פֶּה שׁוֹאֲלוֹת חֲשָׁבוֹן מַעֲמִי.
וְעוֹד כְּאַלְהָה וְכְאַלְהָה תִּסְפָּר לָךְ הַשְּׂמַמִּית
מַעֲשִׂים נּוֹקְבִים אֶת-הַמֶּחַ וַיֵּשׁ בְּהֵם כְּדִי לְהַמִּית
אֶת-רוּחַךְ וְאֶת-נִשְׁמַתְךָ מִיַּתֵּךְ גְּמוּרָה עוֹלָמִית –
וְהַתְּאַפְּקֶתָ, וְחִנְקֶתָ בְּתוֹךְ גְּרוּנְךָ אֶת הַשְּׂאֵגָה
וּקְבַרְתָּהּ בְּמַעֲמָקֶי לְבָבְךָ לְפָנֵי הַתְּפַרְצָה,
וְקַפְצָתָ מִשָּׁם וְיִצְאָתָ – וְהִנֵּה הָאֶרֶץ כְּמִנְהַגָּה,
וְהַשְּׂמֶשׁ כְּתַמֵּל שְׁלֹשׁ תְּשַׁחַת זֶהְרָה אֶרֶץ-הָ.

וְיַרְדֶּת מִשָּׁם וּבֹאֲתָ אֶל-תּוֹךְ הַמְּרַתְּפִים הָאֲפִלִּים,
מְקוֹם נְטִמָּאוֹ בְּנוֹת עַמְּךָ הַכְּשֻׁרוֹת בֵּין הַכְּלִים,
אִשָּׁה אִשָּׁה אַחַת תַּחַת שְׁבַעָה שְׁבַעָה עֶרְלִים,
הַבַּת לְעֵינֵי אִמָּה וְהָאִם לְעֵינֵי בִתָּה,
לְפָנֵי שְׁחִיטָה וּבְשַׁעַת שְׁחִיטָה וְלֵאחֶר שְׁחִיטָה;
וּבִיָּדְךָ תִּמְשֹׁשׂ אֶת-הַכֶּסֶת הַמְּטַנְנֶת וְאֶת-הַכֶּר הַמְּאֲדָם,
מְרַבֵּץ חֲזִירֵי יַעַר וּמְרַבַּעַת סוּסֵי אָדָם
עִם-קֶרֶדִים מְטַפְּטֵף דָם רוֹתַח בְּיָדָם.
וּרְאֵה גַם-רֵאָה: בְּאַפְלַת אוֹתָהּ זְוִית,
תַּחַת מְדוּכַת מִצָּה זוֹ וּמֵאַחֲרֵי אוֹתָהּ חֲבִית,
שְׂכָבוּ בְּעִלִּים, חֲתָנִים, אַחִים, הַצִּיצוּ מִן-הַחֹרִים
בְּפִרְפֹּר גְּוִיּוֹת קְדוֹשׁוֹת תַּחַת בְּשָׂר חֲמוּרִים,
נְחִנְקוֹת בְּטַמְאָתָן וּמַעֲלֵעוֹת דָם צְנוּאָרוֹ,
וְכַחֲלֵק אִישׁ פֶּת-בָּגוֹ חֲלֵק מֵתַעֵב גוֹי בְּשָׂרָן –
שְׂכָבוּ בְּבִשְׁתָן וַיִּרְאוּ – וְלֹא נָעוּ וְלֹא זָעוּ,
וְאֶת-עֵינֵיהֶם לֹא-נִקְרוּ וּמִדַּעְתָּם לֹא יִצְאוּ –
וְאוּלַי גַם-אִישׁ לְנַפְשׁוֹ אִזּוֹ הַתְּפַלֵּל בְּלִבּוֹ:
רְבוּנוּ שֶׁל-עוֹלָם, עֲשֵׂה נִס – וְאֵלֵי הַרְעָה לֹא-תִבְאֵ.
וְאַלְהָ אֲשֶׁר חָיו מִטַּמְאָתָן וְהַקִּיצוּ מִדָּמָן –
וְהִנֵּה שְׂקִיצוֹ כָּל-חַיֵּיהֶן וְנִטְמָא אֹר עוֹלָמָן
שְׁקוּצֵי עוֹלָם, טַמְאָת גּוֹף וְנַפְשׁ, מִבְּחוּץ וּמִבְּפָנִים –
וְהִגִּיחוּ בַעֲלֵיהֶן מֵחוּרָם וְרָצוּ בֵּית-אֱלֹהִים
וַיִּבְרְכוּ עַל-הַנְּסִים שֶׁם אֵל יִשְׁעָם וּמִשְׁגָּבָם;
וְהַפְּהִנִים שְׁבָהֶם יִצְאוּ וַיִּשְׂאֲלוּ אֶת רַבָּם:
«רַבִּי! אֲשֵׁתִי מָה הִיא? מִתְּרַת אוֹ אֶסוּרָה?» –
וְהַכֵּל יָשׁוּב לְמִנְהַגּוֹ, וְהַכֵּל יַחְזֹר לְשׁוּרָה.

И оттуда
 Введу тебя в жилища свиней и псов:
 Там прятались сыны твоих отцов,
 Потомки тех, чей прадед был Иегуда,
 Лев Маккавей, – среди мерзости свиной,
 В грязи клоак с отбросами сидели,
 Гнездились в каждой яме, в каждой щели –
 По семеро, по семеро в одной...
 Так честь Мою прославили превыше
 Святых Небес народам и толпам:
 Рассыпались, бежали, словно мыши,
 Попрятались, подобные клопам,
 И околели псами...
 Сын Адама,
 Не плачь, не плачь, не крой руками век,
 Заскрежещи зубами, человек,
 И сгинь от срама!

Но ты пойдешь и дальше. Загляни
 В ямской сарай за городом у сада –
 Войди туда. Ты в капище резни.
 В угрюмой тьме коробится громада
 Возов, колес, оглоблей там и тут –
 И кажется зловещим стадом чуд:
 То словно снят вампиры-великаны,
 До усталости пресыщены и пьяны
 От оргий крови. Ссохся и прирос
 Мозг отверделый к спицам тех колес.
 Протянутых, как пальцы, что, напряжась,
 Хотят душить. Кровавое, в дыму,
 Заходит солнце. Вслушайся во тьму
 И в дрожь бездонной тайны: ужас, ужас
 И ужас бесконечно и навек...
 Он здесь разлит, прилип к стенам досчатым,
 Он плавает в безмолвии чреватом –
 И чудится во мгле из-под телег
 Дрожь судорог, обрубки тел живые,
 Что корчатся в безмолвной агонии, –
 И в воздухе висит последний стон –
 Бессильный голос муки предконечной –
 Вокруг тебя застыл и реет он,
 И смутной скорбью – скорбью вековой
 Кругом дрожит и бродит тишина...
 Здесь Некто есть. Здесь рыщет Некто черный –
 Томится здесь, но не уйдет, упорный;
 Устал от горя, мощь истощена,
 И ищет он покоя – нет покою;
 И хочет он рыдать – не стало чем,
 И хочет взвыть он бешено – и нем,
 Захлебываясь жгучею тоскою;
 И осень крылами дом резни,
 Свое чело под крылья тихо прячет,
 Скрывает скорбь очей своих, и плачет
 Без языка.....

ועתה לך והבאתיך אל-כל המחבואים :
 בתי מחראות, מקלאות חזירים ושאר מקומות
 צואים.

וראית בעיניך איפה היו מתחבאים
 אחיך, בני עמך ובני בנייהם של-המפכים,
 ניני האריות שבאב הרחמים «זרע ה»קדושים».
 עשרים נפש בחור אחד ושלושים שלשים,
 ונגדלו כבודי בעולם ויקדשו שמי ברבים...
 מנוסת עקברים נסו ומחבא פשפשים החבאו,
 ומוותו מות כלבים שם באשר נמצאו,
 ומחר לבקר – ויצא הבן הפליט
 ומצא שם פגור אביו מגאל ונמאס – – –
 ולמה תבד, בן-אדם, ולמה תליט
 את-פניך בכפף? – חרק שנים והמס!

וירדת במורד העיר ומצאת גנת ירק,
 ואורה גדולה עם הגנה, היא אורת ההרג.
 וכמנה תנשמות ענק ואימי עטלפים
 הסרוחים על-חלליהם שכורי דם ועיפים.
 שם על קרקע האורה שטחו להם שטח
 אופנים מפשקי יתדות כאצבעות שלוחות לרצח,
 ופיפיותם מגאלים עוד בדם אדם ומח.
 והיה בערב היום, בנטות שמש מערבה,
 מעטף בענני דם ונאפד אש להבה,
 ופתחת את-השער, בלט ובאת אל-האורה
 ואימה חשכה תבלעך, ותהם זועה נעלמה:
 מגור, מגור מסביב... משוטט הוא באורה,
 שורה הוא על הכתלים וכבוש בתוף הדממה.
 ומתחת תלי האופנים, מבין החורים והסדקים,
 עור תרגיש כעין פרפור של-אברים מרסקים,
 מזיזים את האופנים התלולים על-גביהם,
 מתענותים בגסיסתם ומתבוססים בדמיהם;
 ואנקת חשאים אחרונה – קול ענות חלושה
 ממעל לראשך עדן תלויה כמו קרושה,
 וכעין צער נעפר, צער עולם, תוסס שם וחרד.
 אין זאת כי אם-רוח דכא רב-ענות וגדל-יסורים
 חבש כאן את-עצמו בתוף בית האסורים,
 נתקע פה בדני עולם ולא-לאבה עוד הפרד,
 ושכינה שחרה אחת, גיפת צער ונגעת כח,
 מתלבטת פה בכל-זווית ולא-תמצא לה מנוח,
 רוצה לבכות – ואינה יכולה, חפצה לנהם – ושוותקת,
 ודומם תמק באבלה ובחשאי היא נחנקת,
 פורשת כנפיה על צללי הקדושים וראשה תחת כנפיה,
 מאפילה על-דמעותיה ובוכיה בלי שפה – – –

.....

...И дверь, войдя, замкни,
И стань во тьме, и с горем тихо слейся,
Уйди в него, и досыта напейся
И на всю жизнь им душу наводни,
Чтоб, дальше – в дни, когда душе уныло
И гаснет мощь – чтоб это горе было
Твоей последней помощью в те дни,
Источником живительного яда, –
Чтоб за тобою злым кошмаром ада
Оно ползло, ползло, вселяя дрожь;
И понесешь в края земного шара,
И будешь ты для этого кошмара
Искать имен, и слов, и не найдешь...

Иди на кладбище. Тайком туда пройди ты,
Никем не встреченный, один с твоей тоской;
Пройди по всем буграм, где клочья тел зарыты,
И стань и воцарю молчанье над тобой,
И сердце будет нить от срама и страданий –
Но слез тебе не дам. И будет зреть в гортани
Звериный рев быка, влекомого к костру, –
Но я твой стон в груди твоей запру...
Так вот они лежат, закланные ягнята,
Чем я воздам за вас, и что Моя расплата?!
Я сам, как вы, бедняк, давно, с далеких дней –
Я беден был при вас, без вас еще бедней;
За воздаянием придут в Мое жилище –
И распахну Я дверь: смотрите, Бог ваш – нищий!..
Сыны мои, сыны! Чьи скажут нам уста,
За что, за что, за что над вами смерть нависла,
Зачем, во имя чье вы пали? Смерть без смысла,
Как жизнь – как ваша жизнь без смысла прожита...
Где ж Мудрость вышняя, божественный Мой Разум?
Зарылся в облаках от горя и стыда...
Я тоже по ночам невидимо сюда
Схожу, и вижу их Моим всезрящим глазом,
Но – бытием Моим клянусь тебе Я сам –
Без слез. Огромна скорбь, но и огромен срам,
И что огромнее – ответь, сын человеческий!
Иль лучше промолчи... Молчи! Без слов и речи
Им о стыде Моим свидетелем ты будь
И, возвратись домой в твое родное племя.
Снеси к ним Мой позор и им обрушь на темя.
И боль Мою возьми и влей им ядом в грудь!

И, уходя, еще на несколько мгновений
Помедли: вокруг тебя ковер травы весенней,
Росистый, искрится в сиянии и тепле.
Сорви ты горсть, и брось назад над головою.
И молви: Мой народ стал мертвою травой,
И нет ему надежды на земле.

וְאֵתָהּ גַם-אֶתָהּ, בֶּן-אָדָם, סִגְר בְּעַדְךָ הַשָּׁעַר,
וְנִסְגְּרָתָּ פֹה בְּאֶפְלָה וּבִקְרָקַע תִּכְבֹּשׁ עֵינֶיךָ
וְנִצְבֶּתָ כֹּה עַד-בוֹשׁ וְהִתְיַחֲדַת עִם-הַצַּעֲר
וּמִלֵּאתָ בוֹ אֶת-לִבְבְּךָ לְכֹל יְמֵי חַיֶּיךָ,
וּבְיוֹם תִּרְשָׁשׁ נִפְשֶׁךָ וּבְאֶבֶד כָּל חֵילֶךָ –
וְהִיָּה הוּא לְךָ לְפִלִיטָה וּלְמַעֲזָן תִּרְעַלְהָ,
וְרַבֶּךָ בְּךָ כְּמֵאֲרָה וַיִּבְעֶתְךָ כְּרוּחַ רָעָה,
וּלְפָתְךָ וְהַעֵיק עֲלֶיךָ כְּהַעֵק חֵלוֹם זְנוּעָה;
וּבְחִיקְךָ תִּשְׁאָאָנוּ אֶל-אֲרֻבַּע רִחוּת הַשָּׁמַיִם,
וּבִקְשֻׁתְךָ וְלֹא-תִמְצָא לוֹ נִיב שְׁפָתַיִם.

וְאֶל-מַחוּץ לְעִיר תִּצַּא וּבָאתָ אֶל בֵּית-הָעוֹלָם,
וְאֶל-יִרְאָךָ אִישׁ בְּלִכְתְּךָ וַיְחִידִי תִבֵּא שָׁמָּה,
וּפְקַדְתָּ קִבְרוֹת הַקְּדוּשִׁים לְמִקְטָנִם וְעַד-גְּדוֹלָם,
וְנִצְבֶּתָ עַל עַפְרָם הַתַּחֲנוּחַ וְהַשְּׁלִטְתִּי עֲלֶיךָ דְמָמָה:
וּלְבָבְךָ יִמַק בְּךָ מַעֲצָר כָּאֵב וּכְלָמָה –
וְעֲצָרְתִּי אֶת-עֵינֶיךָ וְלֹא-תִהְיֶה דְמָעָה,
וְיַדְעֶתָ כִּי עַתָּה לְגַעוֹת הַיָּאֵר כְּשׁוֹר עֲקוּד עַל הַמַּעֲרָכָה –
וְהַקְּשַׁחְתִּי אֶת-לִבְבְּךָ וְלֹא-תִבֵּא אֲנַחָה.
הֲיָה הֵם עֲגָלֵי הַטְּבַחָה, הֲיָה הֵם שׁוֹכְבִים כָּלֵם –
וְאִם יֵשׁ שְׁלוֹמִים לְמוֹתָם – אָמַר, בְּמָה יִשְׁלָם?
סִלְחוּ לִי, עֲלוּבֵי עוֹלָם, אֲלֵהֵיכֶם עֲנִי כְמוֹתְכֶם,
עֲנִי הוּא בְּחִיכֶם וְקַל וְחֹמֶר בְּמוֹתְכֶם,
כִּי תִבְאוּ מִחֹר עַל-שַׁכְרְכֶם וּדְפַקְתֶּם עַל-דְּלָתִי –
אֶפְתָּחָה לְכֶם, בָּאוּ וְרָאוּ: יִרְדְּתִי מִנְּכֹסֵי!
יִצַר לִי עֲלֵיכֶם, בְּנִי, וְלִבִּי לִבִּי עֲלֵיכֶם:
חֲלָלִיכֶם – חֲלָלֵי חֲנוּם, וְגַם-אֲנִי וְגַם-אֶתֶם
לֹא-יַדְעֵנוּ לְמָה מֵתֶם וְעַל-מִי וְעַל-מָה מֵתֶם,
וְאִין טַעַם לְמוֹתְכֶם כְּמוֹ אִין טַעַם לְחַיֵּיכֶם.
וּשְׂכִינָה מָה אוֹמְרָתָּ? – הִיא תִכְבֹּשׁ בְּעֵנֶן אֶת רֵאשֵׁה
וּמַעֲצָר כָּאֵב וּכְלָמָה פּוֹרְשֵׁת וּבוֹשָׁה...
וְגַם-אֲנִי בְּלִילָה בְּלִילָה אֲרַד עַל הַקְּבָרִים,
אֲעִמֵּד אֲבִיט אֶל-הַחֲלָלִים וְאִבוֹשׁ בְּמִסְתָּרִים –
וְאוֹלָם, חַי אֲנִי, נְאוּם יְיָ, אִם-אוֹרִיד דְמָעָה –
וְגָדוֹל הַכָּאֵב מְאֹד וְגָדוֹל מְאֹד הַכְּלָמָה –
וּמַה-מְשַׁנְיָהם גְּדוֹל? – אָמַר אֶתָּה, בֶּן אָדָם!
אוֹ טוֹב מְזָה – שְׁתַּקִּי! וְדוּמָם הִיָּה עֲדִי,
כִּי-מִצְאֵתִי בְּקִלוּנִי וַתִּרְאֵנִי בְיוֹם אִיִּדִי;
וּכְשׁוּבְךָ אֶל-בְּנֵי עַמְּךָ – אֶל-תְּשׁוּב אֲלֵיהֶם רִיקָם,
כִּי מוֹסֵר כְּלָמְתִּי תִשָּׂא וְהוֹרְדֶתוֹ עַל-קַדְקָדְךָ,
וּמִכָּאֵבִי תִקַּח עִמָּךְ וְהִשְׁבֹּתוֹ אֶל-חִיקָם.

וּפְנִיתָ לְלַכֵּת מֵעַם קִבְרוֹת הַמֵּתִים, וְעַכְבָּה
רָגַע אַחַד אֶת-עֵינֶיךָ רְפִידַת הַדָּשָׁא מִסְבִּיב,
וְהַדָּשָׁא רָךְ וְרֻטֵב, כְּאִשׁוֹר יְהִיָּה בְּתַחֲלַת הָאֲבִיב:
נִצְנִי הַמְּנוֹת וְחֲצִיר קִבְרִים אֶתָּה רוֹאֶה בְּעֵינֶיךָ;
וְתִלְשֶׁת מֵהֶם מְלֵא הַכֶּף וְהִשְׁלַכְתֶּם לְאַחוֹרֶיךָ,

И вновь пойди к спасенным от убоя –
 В дома, где молится постыющийся народ.
 Услышишь хор рыданий, стона, воя,
 И весь замрешь, и дрожь тебя возьмет:
 Так, как они, рыдает только племя,
 Погибшее навеки – навсегда ...
 Уж не взойдет у них святое семя
 Восстания, и мщенья, и стыда,
 И даже злого, страстного проклятья
 Не вырвется у них от боли ран...
 О, лгут они, твои родные братья,
 Ложь – их мольба, и слезы их – обман.
 Вы бьете в грудь, и плачете, и громко
 И жалобно кричите Мне: грешны...
 Да разве есть у праха, у обломка,
 У мусора, у падали вины?
 Мне срам за них, и мерзки эти слезы!
 Да крикни им, чтоб грянули угрозы
 Против Меня, и неба, и земли, –
 Чтобы, в ответ за муки поколений,
 Проклятия взвились к горней сени
 И бурю престол Мой потрясли!

Я для того замкнул в твоей гортани,
 О человек, стенание твое:
 Не оскверни, как те, водой рыданий
 Святую боль святых твоих страданий,
 Но сбереги нетронутой ее.
 Детей ее, храни дорожке клада
 И замок ей построй в твоей груди,
 Построй оплот из ненависти ада –
 И не давай ей пищи, кроме яда
 Твоих обид и ран твоих, и жди.
 И вырастет взлелеянное семя,
 И жгучий даст и полный яду плод –
 И в грозный день, когда свершится время,
 Сорви его – и брось его в народ!

Уйди. Ты вечером вернись в их синагогу:
 День скорби кончился – и клонит понемногу
 Дремота. Молятся губами кое-как,
 Без сердца, вялые, усталые от плача:
 Так курится фитиль, когда елей иссяк,

לאמר: חֲצִיר תְּלוּשׁ הָעַם – וְאִם-גַּשׁ לַתְּלוּשׁ תִּקְוָה?
 וְעֲצַמְתָּ אֶת-עֵינֶיךָ מֵרְאוֹתָם, וּלְקַחְתִּיךָ וְאֲשִׁיבְךָ
 מִבֵּית-הַקְּבֻרוֹת אֶל-אֲחִיךָ אֲשֶׁר חָיו מִן-הַטְּבִיחָה,
 וּבָאתָ עִמָּם בְּיוֹם צוּמָם אֶל בֵּיתִי תִפְלְתָם
 וְשִׁמְעַתָּ זַעֲקַת שְׁבָרָם וְנִסְחַפְתָּ בְּדַמְעָתָם;
 וְהַבֵּית יִמְלֵא יְלָהָ, בְּכִי וְנִאֲקַת פְּרָא,
 וְסִמְרָה שְׁעֵרַת בְּשָׂרְךָ וּפְחַד יְקַרְאֲךָ וּרְעֵדָה –
 כְּכֹה תֵאָנֵק אִמָּה אֲשֶׁר אֲבָדָה אֲבָדָה...
 וְאֶל-לִבְבְּכֶם תִּבְיֵט – וְהִנּוּ מִדְּבַר וְצִיָּה,
 וְכִי-תִצְמַח בּוֹ חֵמַת נֶקֶם – לֹא תַחֲיֶיהָ זָרַע,
 וְאִף קָלְלָה נִמְרָצַת אַחַת לֹא-תוֹלִיד עַל-שִׁפְתֵיהֶם.
 הֲאִין פְּצַעֵיהֶם נֶאֱמָנִים – וְלָמָּה תִפְלְתֶם רַמְיָה?
 לָמָּה יִכְחָשׁוּ לִי בְּיוֹם אִידָם, וּמָה-בְּצַע בְּכַחְשֵׁיהֶם?
 וּרְאֵה גַם-רְאֵה: עוֹד הֵם נִמְקִים בִּיגוֹנָם,
 כְּלָם יוֹרְדִים בְּבִכִי, וְשָׂאוּ קוֹיָה בְּנֵיהֶם,
 וְהִנֵּה הֵם מִתּוֹפְפִים עַל-לִבְבֵיהֶם וּמִתְנַדִּים עַל-עוֹנָם
 לֵאמֹר: «אֲשַׁמְנוּ בְּגַדְנוּ» – וְלָבָם לֹא-יֵאֱמִין לְפִיהֶם.
 הִיחָטֵא עֲצָב נְפוֹץ וְאִם-שִׁבְרֵי חֶרֶשׁ יֵאָשְׁמוּ?
 וְלָמָּה זֶה תַחֲנֹנֵנוּ אֵלֵי? – דַּבֵּר אֲלֵיהֶם וְיִרְעֻמוּ!
 יָרִימוּ-נָא אֲגָרֶף כְּנַגְדִי וְיִתְבַּעוּ אֶת עֵלְבוֹנָם,
 אֶת-עֵלְבוֹן כָּל-הַדּוֹרוֹת מֵרֵאשִׁים וְעַד-סוֹפָם,
 וַיְפוּצֻוּ הַשָּׁמַיִם וַיִּכְסְאוּ בְּאֲגָרוֹפָם.

וְגַם-אֶתְּהָ, בֶן-אָדָם, אֶל-תִּבְדֹּל מִתּוֹךְ עֲדַתְּם,
 הָאֵמֶן לְנִגְעֵי לָבָם וְאֶל-תֵּאֱמִין לַתַּחֲנֹנֶתָם;
 וּבְהִרְסַם הַחֲזֹן קוֹלוֹ: «עֲשֵׂה לְמַעַן הַטְּבוּחִים!
 עֲשֵׂה לְמַעַן תִּינּוֹקוֹת! עֲשֵׂה לְמַעַן עוֹלְלֵי טְפוּחִים!»
 וְעַמּוּדֵי הַבַּיִת יִתְפַּלְצוּ בְּזַעֲקַת תִּיאֲנִיָּה,
 וְסִמְרָה שְׁעֵרַת בְּשָׂרְךָ וּפְחַד יְקַרְאֲךָ וּרְעֵדָה –
 וְהִתְאַכְזְרְתִי אֲנִי אֵלֶיךָ – וְלֹא תִגְעָה אֶתְּם בְּבִכְיָה
 וְכִי תִפְרֹץ שִׁאֲגַתְךָ – אֲנִי בִין שְׁנֵיךָ אֲמִיתָנָה;
 יַחֲלִלּוּ לְבָדָם צָרְתָם – וְאֶתְּהָ אֶל תַּחֲלִלְנָה.
 תַּעֲמֹד הַצָּרָה לְדוֹרוֹת – צָרָה לֹא-יִסְפְּדָה,
 וְדַמְעַתְךָ אֶתְּהָ תִאֲצַר דַּמְעָה בְּלִי-שְׁפוּכָה,
 וּבְנִיתָ עָלֶיהָ מִבְּצָר בְּרִזָּל וְחוֹמַת נְחוֹשֶׁה
 שֶׁל-חֵמַת מָוֶת, שִׁנְאֵת שְׂאוֹל וּמִשְׁטֵמָה כְּבוֹשָׁה,
 וְנִאֲחֲזָה בְּלִבְבְּךָ וּגְדִלָּה שֶׁם כְּפִתָּן בְּמֵאוּרָתוֹ,
 וַיִּנְקַתְּם זֶה מִזֶּה וְלֹא-תִמְצְאוּ מְנוּחָה;
 וְהִרְעַבְתָּ וְהִצְמַאתָ אוֹתוֹ – וְאַחַר תִּהְרַס חוֹמָתוֹ
 וּבְרֵאשׁ פְּתָנִים אֲכַזֵּר לַחֲפָשִׁי תִשְׁלַחְנוּ
 וְעַל-עַם עֲבַרְתֶּךָ וְחִמְלֶתֶךָ בְּיוֹם רַעַם תִּצְוֹנוּ.

עֲתָה צֵא מִזֶּה וְשׁוּב הִנֵּה בִין הַשְּׁמֻשׁוֹת
 וְרֵאִיתָ אַחֲרִית אֲבָל עַם: וְהִנֵּה כָּל-אֵלֶּה הַנִּפְשׁוֹת
 אֲשֶׁר-חָרְדוּ וְהִקִּיצוּ בְקָר – שָׁבוּ לְעָרֵב וַתִּרְדְּמָנָה,
 וַיִּגְעֵי בְכִי וְדַכִּי רוּחַ הַנֶּסֶם עוֹמְדִים עֲתָה בְּחֻשְׁכָּה,
 עוֹד הַשְּׁפָתִים נְעוֹת, מִפְּלִלוֹת – אֵךְ הֵלֵב נָחַר תּוֹכוֹ,
 וּבְלֹא נִיצוֹץ תִּקְוָה בִּלְבָב וּבְלִי שְׁבִיב אֹר בְּעֵין
 הִיךְ תִּגְשֵׁשׁ בְּאַפְלָה, תִּבְקֶשׁ מִשְׁעָן – וְאִין...
 כְּכֹה תִעָשֶׂן עוֹד הַפְּתִילָה אַחֲרֵי כְלוֹת שְׁמָנָה,

Так тащится без ног заезженная кляча...
Отслужено, конец. Но скамьи прихожан
Не опустели: ждут. А, проповедь с амвона!
Ползет она, скрипит, бесцветно, монотонно,
И мажет притчами по гною свежих ран,
И не послышится в ней Божиего слова,
И в душах не родит ни проблеска живого.
И паства слушает, зевая стар и млад,
Качая головой под рокот слов унылых:
Печать конца на лбу, в пустынном сердце чад,
Сок вытек, дух увял, и Божий взор забыл их...
Нет, ты их не жалей. Ожгла их больно плеть –
Но с болью свыклися, и сжилися с позором,
Чресчур несчастные, чтоб их громить укором,
Чресчур погибшие, чтоб их еще жалеть.

Оставь их, пусть идут – стемнело, небо в звездах.
Идут, понуры, спать – спать в оскверненных гнездах,
Как воры, крадутся, и стан опять согбен,
И пустота в душе бездоннее, чем прежде;
И лягут на тряпье, на сброшенной одежде,
Со ржавчиной в костях, и в сердце гниль и тлен...
А завтра выйди к ним: осколки человека
Разбили лагери у входа к богачам,
И, как разносчик свой выкрикивает хлам,
Так голоса они: «Смотрите, я – калека!
Мне разрубили лоб! Мне руку до кости!»
И жадно их глаза – глаза рабов побитых –
Устремлены туда, на руки этих сытых,
И молят: «Мать мою убили – заплати!»

Эй, голь, на кладбище! Отройте там обломки
Святых родных костей, набейте в плоть котомки
И потащите их на мировой базар
И ярко, на виду, расставьте свой товар:
Гнусава нараспев мольбу о благодстине.
Молитесь, нищие, на ветер всех сторон
О милости царей, о жалости племен –
И гнийте, как поднесь, и кляньтесь, как поныне!..

.....
.....

קָדַךְ יִמְשָׁךְ סוּס זָקֵן אֲשֶׁר נִשְׁבַּר כָּחוֹ.
לוֹ אֲגִדָּת תַּנְחוּמִים אַחַת הַנִּיחָה לָהֶם צָרְתָם,
לְהִיּוֹת לָהֶם לְמִשְׁיבַת נֶפֶשׁ וּלְכִלְכַּל שְׂיִבְתָּם!
הִנֵּה כָלָה הַצּוּם, קָרְאוּ «וַיִּחַל», אָמְרוּ «עֲנֵנוּ» – וְלָמָּה
עוֹד הַצְּבוּר מִתְמַהֲמָה? – הִיקְרָאוּ גַם «אֵיכָה» –
לֹא! הִנֵּה דְרָשׁוֹן עוֹלָה עַל-הַבְּמָה,
הִנֵּה הוּא פוֹתַח פִּי, מְנַגֵּם וּמְפִיחַ אֲמָרָיו,
טַח תִּפֹּל וְלוֹחֵשׁ פְּסוּקִים עַל מִכְתָּם הַטְּרִיָּה,
וְאִף קוֹל אֱלֹהִים אַחַד לֹא-יֵצִיל מִפִּיהוּ,
גַּם-נִיֻּצוּץ קֶטֶן אַחַד לֹא-יִדְלִיק בְּלִבָּם;
וְעֵדֶר אֲדֹנָי עוֹמֵד בְּזַקְנָיו וּבִנְעָרָיו,
אֵלָה שׁוֹמְעִים וּמְפַהֲקִים וְאֵלָה רֹאשׁ יְנִיעוּ;
תּוֹ הַמָּוֶת עַל-מִצְחָם וּלְבָבָם זָכַת שְׂאֵיָה.
מֵת רוּחָם, נֶסֶל לָחֶם, וְאֵלֵהֶם עֲזָבָם.

וְגַם אַתָּה אֶל-תִּגַּד לָהֶם, אֶל-תִּזְעָזַע חֲנָם פְּצָעֵיהֶם,
אֶל-תִּגְדֹּשׁ עוֹד לְשׂוֹא סֵאת צָרְתָם הַגְּדוּשָׁה;
בְּאֲשֶׁר תִּגַּע אֲצַבְעָךְ – שְׂמָה מִכָּה אֲנוּשָׁה,
כָּל-בְּשָׂרָם עֲלֵיהֶם יִכָּאֵב – אֲבַל נוֹשְׁנוּ בְּמִכְאוּבֵיהֶם
וַיִּשְׁלִימוּ עִם חַיֵּי בְשָׂתָם, וּמָה-בְּצַע כִּי תִנְחַמָּם?
עֲלוּבִים הֵם מִקְצָף עֲלֵיהֶם וְאוֹבְדִים הֵם מִרְחַמָּם;
הִנֵּחַ לָהֶם וַיִּלְכוּ – הִנֵּה יִצְאוּ הַכּוֹכָבִים,
וְאֲבָלִים וַחֲפוּי רֹאשׁ וּבְבִשְׁתֵּי גִנְבִים
אִישׁ אִישׁ עִם-נִגְעֵי לְבוֹ יָשׁוּב הַבַּיְתָה,
וְגוֹו כְּפוּף מִשְׁהָה וּנְפֹשׁוֹ רִיקָה מִשְׁהֵיטָה,
וְאִישׁ אִישׁ עִם נִגְעֵי לְבוֹ יַעֲלֶה עַל-מִשְׁכָּבוֹ
וְהַחֲלָדָה עַל-עֲצָמָיו וְהַרְקַב בְּלִבָּבוֹ...
וְהִיָּה כִּי-תִשְׁכַּם מִחַר וְיִצְאָתָּ בְּרֹאשׁ דְּרָכִים –
וְרֵאִיתָ הַמּוֹן שְׂבָרֵי אֲדָם נֶאֱנָקִים וְנֶאֱנָחִים,
צוּבָאִים עַל חֲלוֹנוֹת גְּבִירִים וְחוּנִים עַל הַפְּתָחִים,
מִכְרִיזִים בְּפִמְבֵּי עַל-פְּצָעֵיהֶם כְּרוֹכַל עַל-מִרְכַּלֶּת,
לְמִי גִלְגֶּלֶת רְצוּצָה וְלָמִי פִצַּע זָד וְחַבּוּרָה,
וְכֹלָם פּוֹשְׁטִים זָד כְּהָה וְחוּשְׁפִים זָרוּעַ שְׂבוּרָה,
וְעֵינֵיהֶם, עֵינֵי עֲבָדִים מְכִים, אֵל יָד גְּבִירֵיהֶם,
לֵאמֹר: «גִּלְגֶּלֶת רְצוּצָה לִי, אֵב "קְדוּשׁ" לִי – תִּנְחָה אֶת
תִּשְׁלוּמֵיהֶם!»

וְגִבִירִים בְּנֵי רַחֲמָנִים מִתְמַלְאִים עֲלֵיהֶם רַחֲמִים
וּמוֹשִׁיטִים לָהֶם מִבְּפָנִים מִקַּל וְתִרְמִיל לְגִלְגֶּלֶת,
אוֹמְרִים «בְּרוּךְ שְׁפָטְרָנוּ» – וְהַקְּבָצִים מִתְנַחֲמִים.

לְבֵית הַקְּבֻרוֹת, קְבָצִנִים! וְחַפְרָתָם עֲצָמוֹת אֲבוֹתֵיכֶם
וְעֲצָמוֹת אַחֵיכֶם הַקְּדוּשִׁים וּמִלֵּאתֶם תִּרְמִילֵיכֶם
וְעַמְסָתֶם אוֹתָם עַל-שִׁכְם וַיִּצְאָתֶם לְדָרֶךְ, עֲתִידִים
לְעֲשׂוֹת בָּהֶם סְחוּרָה בְּכָל-הַיְרִידִים;
וְרֵאִיתֶם לָכֶם יָד בְּרֹאשׁ דְּרָכִים, לְעֵין רוּאִים,
וּשְׂטַחְתֶּם אוֹתָם לְשִׁמְשׁ עַל-סְמִרְטוּטֵיכֶם הַצֵּאִים,
וּבְגָרוֹן נָחַר שִׁיכָה קְבָצִנִית עֲלֵיהֶם תִּשְׁוֹרוּ,
וּקְרֵאתֶם לְחֶסֶד לְאֵמִים וְהַתְּפַלְלֶתֶם לְרַחֲמֵי גוֹיָם,
וְכֹאֲשֶׁר פְּשֻׁטָתָם זָד תִּפְשְׁטוּ, וְכֹאֲשֶׁר שְׁנוֹרְתָם תִּשְׁנוֹרוּ.

Что в них тебе? Оставь их, человек,
Встань и беги в степную ширь, далече:
Там, наконец, рыданьям путь открой,
И бейся там о камни головой,
И рви себя, горя бессильным гневом,
За волосы, и плачь, и зверем вой –
И вьюга скроет вопль безумный твой
Своим насмешливым напевом...

1904 г.

Перевод В. Жаботинского

ועתה מה-לך פה, בן-אדם, קום ברח המדבר
ונשאת עמך שמה את-כוס היגונים,
וקרעת שם את-נפשך לעשרה קרעים
ואת-לבבך תתן מאכל לחרון אין-אונים,
ודמעתך הגדולה הורד שם על קדקד הסלעים
ושאגתך המרה שלח – ותאבד בסערה.

תמוז-תשרי, תרס"ד.

Лето умирает

Пред смертью лето ярко увядает,
Кровь пурпура горит над самым краем
Туч предвечерних, листья опадают
И шепчут: «Умираем, умираем».
И сад осиротел, и лишь блуждают
Печальные мечтатели без цели,
И ласточкам последним сострадают
И шепчут: «Улетели, улетели».
Осиротело сердце. Вот и осень
С вопросом приближается к окошку:
«Ты обувь починил? Пальто заштопал?
Готовь дрова и запасай картошку!»

1905 г.

Перевод В. Жаботинского

הקיץ גוע

הקיץ גוע מתוך זְהָב וְכֶתֶם
ומתוך הארְגָּמון
של-שְׁלֶכֶת הגְּנִים וְשֶׁל-עֵבִי עֲרֵבִים
המתבוססות בְּדָמָן.
ומתרוקן הפרדס. רק טְלִים יְחִידִים
וטילות יְחִידוֹת
ישאו עינם הנוקה אחרי מעוף האחרונה
בְּשִׁירוֹת החסידות.
ומתיתם הלב. עוד מעט ויום סְגִיר
על-החלון יתדפק בְּדַמְמָה:
«בְּדַקְתֶּם נַעֲלִיכֶם? טֵלֵאתֶם אֲדָרְתֶּכֶם?
צֵאוּ הַכִּינוּ תְּפוּחֵי אֲדָמָה.»

תרס"ה.

На склоне дня

Среди облаков огня и облаков крови
Солнце клонится к краю моря,
И лучи света сквозь облако –
Словно хорошо начищенные копья.
Напоило оно долину прозрачным сиянием,
И огнем подожгло зеленую листву кустов.
На кроны рощи пролило свет,
В оплывило огнем воды реки.
И покрыло вершину холма червонным золотом,
По ниве расплескало свечение.

בְּעֵרֵב הַיּוֹם

בֵּין עֵבִי אֵשׁ וְעֵבִי דָם
הַשֶּׁמֶשׁ רֹד לְפֶאת הַיָּם,
וְקִרְנֵי אוֹר בְּעַד הָעָב,
כְּחִנִּיתוֹת מְמַרְטוֹת רַב.
וַיִּשֶׁק הַכָּפָר לְגַה זָד,
וַיִּצַת-אֵשׁ בִּירֵק הַסָּבָד.
על-ראש החֹרֶשׁ יִצַק אוֹר,
וַיִּתֵּד-אֵשׁ בְּמֵי-הַיָּאֵר.
וַיִּצַף אֶת-רֹאשׁ הַגְּבֻעָה פֹּז,
בְּקֶמָה זָרַק זֵיו נִיז.

И склонилось и поцеловало полу дня,
И спустилось живьем в устье бездны...

ניט, וישק כנף היום,
נירד חי אל-פי התהום — —

Тогда всё мироздание оказалось в тени,
Ночь идет – наступает ночь,

אז יבא כל-היקום בצל,
הליל הלך – בא הליל,

И легкий ветер появился, повеял, побежал,
И поцеловал меня, и раскрыл мне тайну.

רוח קל בא, נשב, נס,
וישק לי ויגל לי רז.

Он был ласков со мной: «Верность, непорочность –
Как луч света на склоне дня.

הוא לאט עמי: אמון, תם –
כקרן אור בערב היום.

И дни юности, мальчик,
Умчатся стремительно как улетают птицы.

וימי הנער, ילד טוב,
יעופו חיש כמעוף העוף.

Здесь всё увядает, всё уходит –
Есть мир благой, мир вечного праздника.

פה נאלח הכל, הכל סג –
יש-עולם טוב שכלו חג.

Есть благословенный уголок, залитый светом,
Солнце которого – правда, ветер которого – свобода;

יש-קרן ברוכה, פנת אור,
ששמשה – צדקה, רוחה – דרור;

Там я присмотрел место для нас с тобой –
Вставай, полетим вместе, воспарим, сын мой!»

שם תרתי מקום לך ולי –
קום נעוף יחדו, נדאה, בני!

Не в этом покой, лети отсюда –
Но почему, сердце моё, тебе так больно?

לא זה המנוחה, עוף מפה –
אך למח, לבני, תדנה כה?

Кто навел тень на твой покой,
Вечный мрак и могучую тьму?

מי הטיל בחדריך צל,
אפלת עד וחסכת אל?

Почему ты неистовствуешь и яришься –
Необъятен божий мир – но тебе он узок.

מדוע אתה זעף, סר –
יש מרחב זה – ולך הוא צר.

Может тебе тяжело видеть победу
Сгущающейся тьмы над светом?

הלראות ירע לך בגבר
אשון החשף על האור?

Что это за боль и что за сновидение,
Появляющиеся тихо с уходом дня,

כי-מה הפאב ומה החלום,
הבאים אט עם-צאת היום,

И увлекающие простодушное сердце
На край вечности по ту сторону моря?

ומשכים את הלב התם
אל-קצני עד, אל-אחרית גם?

1905

Подстрочный перевод С. Парижского

תרנ"ה.

Пред закатом

Выйди, стань пред закатом на балкон, у порога,
Обними мои плечи.
Приклони к ним головку, и побудем немного
Без движенья и речи.

И прижмемся, блуждая отуманенным взором
По янтарному своду;
Наши думы взвываются к лучезарным просторам
И дадим им свободу.

И утонет далеко их полет голубиный
И домчится куда то –
К островам золотистым, что горят, как рубины,
В светлом море заката.

То – миры золотые, что в виденьях блистали
Нашим грезящим взглядам;
Из-за них мы на свете чужеземцами стали,
И все дни наши – адом...

И о них, об оазах лучезарного края,
Как о родине милой,
Наше сердце томилось и шептали, мерцая,
Звезды ночи унылой.

И навеки остались мы без друга и брата,
Две фиалки в пустыне,
Два скитальца в погоне за прекрасной утратой
На холодной чужбине.

1902

Перевод В.Жаботинского

עם דמדומי החמה

עם דמדומי החמה אל-החלון נא-גשי
ועלי התרפקי,
לפתי היטב צנארי, שימי ראשך על-ראשי –
וכה עמי תדבקי.

ומחשקים ודבקים, אל-הזהר הנורא
דומם נשא עינינו;
ושלחנו לחפשי על-פני מי האורה
כל-הרהורי לבנו.

והתנשאו למרום ביעף שוקק פיונים,
ובמרחק יפליגו, לאבדו;
ועל-פני רכסי ארגמן, איי-זהר אדמונים,
ביעף דומם ירדו.

הם האיים הרחוקים, העולמות הגבהים
זו בחלומות ראיונים;
שעשונו לגרים תחת כל-השמים,
וחיינו – לגיהנם.

המה איי-הזהב זו צמאנו אליהם
כאל ארץ מולדת;
שכל-כוכבי הליל רמזו לנו עליהם
באור קרן רועדת.

ועליהם נשארנו בלי-רע ועמית
כשני פרחים בציה;
כשני אבדים המבקשים אבדה עולמית
על-פני ארץ נכרעה.

תמוז, תרס"ב.

Лишь один луч солнца

Лишь один луч солнца тебя задел,
И ты вдруг выросла и повзрослела;
И раскрылась прелесть твоя и плоть,
И как спелая лоза ты созрела.

И лишь одна ночная буря тебя задела,
И уничтожила твои свежие грозди и побеги;
И свирепые псы в красоте твоей
Издаലെка учуют мерзостную пададь...

1901

Подстрочный перевод С. Парижского

רק קו שמש אחד

רק קו-שמש אחד עברך,
ופתאם רוממת ונדלת;
ויפתח חמדך ובשרך,
וכנפן פריה בשלת.

ורק סער ליל אחד עברך,
ויחמס את-בסרך, נצתך;
ויקלבים נבלים בהדך
יריחו מרחוק נבלתך –

תרס"א.

/ МАТЕРИАЛЫ К ПОТОКУ «ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ»

Из романа **Блуждающий по путям жизни** (ивרית)

מתוך 'התועה בדרכי החיים' מאת פרץ סמולנסקין

העיר אשדות אשר בה דר האיש אשר לקחני אליו, עיר גדולה היא באירופא וסוחרת עמים כי על מבואות הים השחור היא יושבת. שם נראה עמים שונים מכל חלקי התבל תושבים וגרים אשר יבואו שמה לרגל מסחרם, וכל משכיל יבין מלבו כי עיר גדולה ואנשים בה הרבה עלתה על מרומי ההשכלה, כי בתי חכמה, בתי שיר, בתי מלאכה ובתי אספת סוחרים יפיצו אור ההשכלה על כל העיר. ואם ילך איש לפנות ערב לשוח בין השדרות והבכאים על חוף הים ויראה המון אדם הולכים לשוח מלובשים בבגדי כבוד, ומשוחחים איש את רעהו בשפות עם ועם בכל לשונות איירופא, ומנהגיהם כמנהגי העיר פאריז אשר עלתה על מרומי ההשכלה האם לא יאמר בלבו הרואה את כל אלה כי כבר ספו תמו אולת ואמונות הבל מהעיר הזאת? ואיך יתפלא האיש אשר עינו ראתה כל אלה אם אספר באזניו ממעשי תעתועים אשר יעשו בהעיר הזאת, לא בין השדרות על חוף הים ששמה לא באתי ואת המתהלכים שמה לא התהלכתי, רק בקצה העיר מעבר השני מקום משכן היהודים, הנקרא בפי יושבי העיר הזאת «גדרות הצאן». אך אל ידמה הקורא כי רחוב מיוחד ליהודים בהעיר הזאת ואין להם רשות לגור באשר יחפצו, לא זאת! יהודים רבים יגורו בכל חלקי העיר בארמונות מבטחים כבני המעלה, אך אלה לא יראו כיהודים כי אם כחורי הארץ, אך היהודים אשר אל כל מקום שילכו יאמרו עליהם מלבושיהם ומנהגיהם ושפתם (לא שלשת המדות שמנו חכמים «רחמנים בישינים גומלי חסדים») כי יהודים הם, היהודים אשר הסכינו לשכון בערפל דומן ובאשפתות, היהודים אשר הסכינו לשאוף רוח קטב וימאסו ברוח טהור לטהר גויתם ונפשם, היהודים אשר יעמלו בכל עוז להנחיל לבניהם אחריהם את העבטיט והדומן אשר נחלו מאבותיהם, אלה היהודים יבחרו להם רחובות צרים ואפלים לשבת שם...

לפנים בכו היהודים וישפכו כמים לבם לפני אל מושיעם לחלצם מן המצר: להוציאם מכתלי הגעטהא אשר היו עליהם סתרה לבל יתענגו כיתר משפחות הארץ על אור שמש וחיים, להסיר מהם המכשלה, הלא המה הבגדים הצואים והמוראים אשר שמו עליהם שונאיהם בחזקה למען נאץ שם ישראל בגוים, למען יפיצו גועל נפש וזועה בלבב כל רואיהם וישליכום מעל פניהם כנצר נתעב, ובמר נפשם רבו ריבם את פני אל עליון «אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עונותיהם סבלנו»; ועתה יאמרו אלה היהודים: «אבותינו היו לגדופים מעצר רעה, ואנחנו חרפתם וחרפתנו נשא – מרוע לב, מקשיות עורף – לא נהיה כגוים, לא נבלש בגדי חפש כי עבדים היינו ועבדים נהיה, לא נלמד דעת כי יאה אי-דעת לישראל».

[.....]

– אך זה איש טוב – אמרתי בלבי עוד הפעם ואגמור בלבי לאהבהו. השפחה שמרה פקודת אדוניה ותעניק לי מכל טוב, אכלתי לרויה גם שתיתי יין שרף כי בעל השם שמה בכל עת כוס מלא וגם לי נתן, ולאט לאט הסכנתי בו, עד כי למשחק היה לי לשתות כוס יין שרף בפעם אחת. כל היום הלכתי בשוקים וברחובות והתרועעתי את ילדים שובבים. כסף היה בחיקי למכביר כי בעל השם נתן לי בכל יום יום אגורות באמרו: אל תשלח ירך אל כסף הזקן כי משמרת יהיה אתך לימים הבאים, גם הבאים לשאול בו העניקו גם לי מכספם ולא חסרתי דבר, אף כי בכל העת ההיא לא שמתי לבי להגות בספר, אחרי כי בעל השם לא עשה זאת ואף כי נסה בתחלה לדבר על לבי לקרוא ספר, אך בראותו כי אמאן עזבני לנפשי, בכל זאת למדתי הרבה מהילדים השובבים אשר למאות יתהלכו ברחובות העיר אשדות, כל היום כצאן בלי רועה, ואיש לא יפקח עליהם את עינו בלתי אם גנבו מטפחת או כיס מצלחתו, אנשים חפשים המה ויעשו כהעולה על רוחם, ולא יאמינו כי יספר אשר נערים בני שנים עשרה ושלוש עשרה שנה ישחיתו כה את דרכם... יגנבו, ישתו לסבאה בבתי משתה ויעשו כל דבר פגול, ואמנה רק בעיר הזאת ראיתי כמו אלה. כי בכל הערים, אם הנה מאלה אשר כבר עלו על במתי ההשכלה, ימצאו בתי ספר ובתי מלאכה לבני עניים ויתומים, ושמה יאספו אספה תחת ידי משגיחים עדי יהיו לאנשים, ובמקומות אשר יושביהם ימאסו הדעת והמלאכה תמצאנה ישיבות לתלמוד, בתי תלמוד תורה, מחזיקי יתומים ובני עניים, ואם כי לא ילמדו שם דעת למצוא ארחות חיים, ולהשיג טרף להם ולביתם בבואם בשנים, בכל זאת יהיו עלימו סתרה לבל יהיו עדי אובד בעודם באביב ימי עלומיהם. לא כן העיר אשדות; חציה שקוע בין הסכלות, וחציה השני לא יזכור עוד בשם ישראל, על כן צלמות ולא סדרים בכל מנהגיה, ובני העניים והיתומים ינטשו כצאן בלי רועה איש לדרוכו, ולא לפלא הוא עוד אם יעקשו את דרכם ומהם ילמדו גם נערים אשר על גפי ההצלחה ישבו. וגם אני נודעתי לנערים כאלה אשר הועילו ללמדני דבר שקר והחזק בתרמית והשבע בשם ה' לשוא – גם הדבר הזה להשבע לרגעים בשם ה' ראיתי רק בהעיר אשדות, – אך ארף לעת כזאת מהעיר הזאת ומנהגיה כי עוד אשוב אליה אחרי עבור עדן ועדנים, רק מעשה מורי אלופי ורבי אספר.

Из романа **Блуждающий по путям жизни** (перевод)

Город Ашедот ¹, где жил принявший меня к себе господин, — это большой европейский город, что ведет коммерцию с разными странами, ибо расположен на берегу Черного моря. Там встретишь представителей разных народов со всех концов света, местных жителей и приезжих, оказавшихся там по делам торговли, и всякий умник уразумеет, что город этот велик, и людей в нем множество, и он вознесся на вершину просвещения, ибо научные учреждения и дома поэзии, союзы ремесленников и торговые собрания несут свет просвещения во все уголки этого города. И когда под вечер выйдешь пройтись по бульварам и аллеям вдоль морского берега и увидишь толпы людей, прогуливающих там в нарядных одеждах и беседующих друг с другом на всех европейских языках, да увидишь их манеры, не уступающие принятому в Париже, который вознесся на Олимп просвещения, разве глядя на все это не скажешь в сердце своем: в этом городе уж верно пришел конец людской глупости и всяческим суевериям? И как же удивится видевший это воочию, если я расскажу ему о более чем странных вещах, что творятся в этом городе, — не на Приморском бульваре, где я не бывал и где не гулял вместе с фланирующими, но на городской окраине, в противоположной стороне, там, где живут евреи, и место это тамошние жители называют «загоном для скота» [*Молдаванка?* — З.К.]. Но не подумай, читатель, что у евреев в этом городе своя особая улица, что они не имеют права жить, где пожелают. Нет, это не так! Многие евреи обитают в разных районах города и живут в настоящих дворцах, как высокородные лица, правда, они с виду и на евреев-то не похожи, настоящие дворяне. Да только где бы ни появились тут евреи, всюду их одежда, манеры и речь (а не те три моральных качества, о которых твердили наши мудрецы: «милосердие, стыдливость и помощь ближнему») скажут за них, что они — евреи, те самые евреи, что привыкли жить во мгле, среди нечистот и помоев, евреи, которые всегда дышат воздухом погромов и гнушаются свежего веяния, способного счистить скверну с их тела и души, евреи, которые изо всех сил стараются передать потомкам грязь и нечистоты, унаследованные ими от своих родителей. Вот эти-то евреи предпочитают жить в темных и узких улочках...

Прежде евреи проливали реки слез и изливали сердце перед всяким, кто спешил им на выручку, силясь выволить их из беды: вывести за стены гетто, которые были для них заслоном — как бы они не стали, подобно прочим народам земли, наслаждаться светом солнышка и вольной жизнью, освободить от пут — их вонючей, страшной на вид одежды, в которую силой облачили их недруги, желая опорочить самое имя Израиль в глазах других наций и вызвать отвращение и брезгливое изумление у всякого, кто их увидит, чтобы побудить иноверцев поскорее отогнать от себя это мерзкое племя и оставить его выяснять отношения со своим Богом, мол, «отцы наши согрешили и исчезли, а мы несем на себе расплату за их грехи». И вот ныне эти евреи говорят: «На отцов наших сыпалась ругань дурных властей, а мы понесем отцовский и свой позор — потому что мы дурны и жестоковыйны ²: мы не уподобимся другим народам и не станем носить одежды свободных людей, ибо рабами были мы и рабами будем, и не станем приобретать новые знания, ведь невежество подобает Израилю».

<...>

«Но этот — добрый человек», — снова сказал я себе и решил, что отплачу ему любовью. Служанка послушалась распоряжения хозяина и подала мне всего самого лучшего. Я поел досыта и вдоволь выпил водочки, ибо чудотворец всякий раз опрокидывал полный стаканчик и меня потчевал, и постепенно я к этому приносивился, и мне тоже нипочем сделалось выпить стаканчик водки разом. Весь тот день я бродил по базарам и улицам и сдружился там с юными озорниками. Денег у меня с собой было много, ибо чудотворец каждый день выдавал мне целковые и говорил: «Не тяни руки к деньгам старца, ибо они пригодятся тебе в будущем». И те, кто приходил к нему с вопросом, тоже одаривали меня деньгами, так что я ни в чем не нуждался, хотя во все то время я и не помышлял открыть

¹ Ашедот — букв. «косогоры» (*иврит*).

² Жестоковыйный — упрямый.

книгу, поскольку чудотворец и сам не сидел над книгами. Правда, поначалу он пытался убедить меня обратиться к книге, но увидев, что я не изъявляю желания, предоставил меня самому себе. Тем не менее я многому научился — от тех юных безобразников, что сотнями слоняются по улицам города Ашедота, слоняются целыми днями, словно стадо без пастыря, и никто на них даже внимания не обращает, разве что выкрадут чей-то платок или кошелек из кармана. Эти — и впрямь свободные люди, они делают все, что душе угодно и что на ум взбредет, и кто бы поверил, если б услышал, что двенадцати- или тринадцатилетние отроки сделаются столь порочными <...> станут воровать, напиваться до безобразия в распивочных и пойдут на любое непотребство. Правду сказать, только в этом городе я встречал подобных ребят. Ведь в любом городе, если этот город облагоустроен просвещением, имеются школы и мастерские для детей бедняков и для сирот, где эти малые попадают под надзор воспитателей, которые следят за ними, пока те не станут людьми. А там, где знания и ремёсла не имеют ценности в глазах жителей, там для сирот и бедняцких детей открыты иешивы, где изучают Талмуд, и классы Талмуд-Торы, где их содержат, и пусть там не научат тому, как устроить свою жизнь и обеспечить пропитание себе и своим домочадцам во взрослом возрасте, все-таки это служит им защитой и оберегает их, чтоб не стали пропащими смолоду. Но не таков город Ашедот. Одна его половина погружена в миазмы невежества, а другая и не вспомнит, что зовется детьми Израилевыми. Оттого над всеми там нависла тень смерти, и нет там установленного порядка, а дети сирот и неимущих брошены на произвол судьбы, каждый сам по себе, и не удивительно, что они катятся по дурной дорожке, а от них учатся те, кому больше повезло в жизни. Вот и я свел знакомство с подобными отроками, и они научили меня лжи и обману, а еще — божиться, презирая правду, и это тоже — что евреи Богом клянутся в том, что является заведомой ложью, — я встречал лишь в Ашедоте и нигде больше.

Однако оставляю куда город Ашедот и его обычаи и вернусь к нему по прошествии долгого времени, вот только расскажу еще историю, происшедшую с моим наставником и учителем.

1869

Перевела с иврита Зоя Копельман

*

אומרים: בן בארץ אבות
עת ימי השקדים באים;
לכן, תכלת, כחל וארגמן
אוסרים שם מלחמת צבעים.

מי הבא מנוף הצפון,
מי שלבו העלה חלדה,
באו תחת שמי אודיסה —
זכר קל לשמי יהודה.

מי הגר אל נוף הצפון
בא וחם לך אל להבה;
בא תכה בשתי אודיסות —
הפקר שלגה, הפקר זהבה.

בינתיים, בין אביבים —
ים מלמטה, ים ברמה:
שכור הריחות והמראות
אקפץ קפיצת דג הימה.

ארבע שנים ואני בגולה,
פליט אודיסה החביבה;
וכרביעית שבתמי הנה
לראות שוב ביפי אביבה.

יפי אביבה, להט קיצה
ומשניהם — פלאי סתנה:
שני אביבים לאודיסה,
עדנת כספה ועדנת זהבה.

עדנת כספה — איר סינן,
עדנת זהבה — אלול, תשרי;
פורניזות, אש ושלג
על העיר כאחת השור.

עולם ראשון שלג, שלג,
יען פורחה אז השטה;
והשני — פני להבות,
אש השקיעה באה עתה.

¹ Иегуда Карни (Воловельский; 1884, Пинск – 1949, Тель-Авив), ивритский поэт, публицист, переводчик. Лауреат Премии Бялика (1944). Здесь приводится подстрочник стихотворения. В 1912 г. вместе с редакцией сионистского литературно-общественного еженедельника на иврите «Га-Олам», в котором работал и публиковался, переехал из Вильны в Одессу, где журнал выходил вплоть до Первой мировой войны. С 1921 г. Карни жил в Палестине. (Подстрочный перевод Зои Копельман).

*

Четыре года в изгнании я,
 Беглец из милой Одессы;
 А на четвертый вернулся сюда
 Поглядеть на красу здешней весны.

Краса ее вёсен, жар ее лета,
 Но всё затмевает ее осени диво.
 Две весны в Одессе.
 Изыск ее серебра и изыск ее злата.

Изыск ее серебра — *ияр и сиван*.
 Изыск ее злата — *элул и тишрей*¹;
 Щедрые, они огонь и снег
 Разом на город пролили.

Первый мир — снег, снег,
 Ведь это цветет акация;
 А второй — языки пламени,
 Когда настает час заката.

Говорят: в стране праотцев
 Дни миндальных деревьев близки.
 Белизна и лазурь, синева и пурпур
 Развязывают там войну красок.

Ты, пришедший из северного ландшафта,
 И ты, чье сердце проржавело, —
 Придите все под небо Одессы,
 Слегка напоминающее небо Иудеи.

Ты, живущий в северном ландшафте,
 Приходи и согрейся в тепле ее пламени;
 Приходи и получи две Одессы —
 Целину ее снега, целину ее золота.

А тем временем, между вёснами, —
 Море внизу и море в вышине:
 Пьяный от запахов и пейзажей
 Прыгну рыбкой в ее море.

¹ Поэт называет четыре еврейских месяца: ияр приходится на май — начало июня; сиван следует за ияром, элул завершает лето, а тишрей открывает осень в европейском понимании времен года.

פרק מאָה ושישה : החבורה האודיסאית

מקלט טוב ונוח מאודיסה לא היה צריך „העולם“, המלומד בנדודים, לבקש לעצמו. באנו לאודיסה בזמן שזו הראתה נטייה גלויה לרשת את מקומם המתרוקן של מרכזי הספרות העברית הישנים, המתדלדלים, בווארשה ובווילנה. בשנים האחרונות שקדמו למלחמת-העולם נתעלתה אודיסה העברית, הבהיקה בנוי חדש, נעשתה אכסניה מאירה, מעודדת ומבטיחה הרבה, לתורה ולספרות — האכסניה הרוחנית האחרונה של היהדות הרוסית הגדולה לפני חורבנה.

בעצם היתה אודיסה, עיר-הנמל המקובצת, רוכלת-העמים העשירה והעליוה של „האודיסטים“ קליה-עולם, נוחה תמיד לכך. מתחילת ימי גידולה מצאו בתוכה קן חם אנשירוח, שזחרידעת ומפיצי תרבות יהודית מודרנית. עם פריחתה של הקהילה היהודית העשירה, שהתלכדו בה כוחות קרוצים ונמרצים מפינות יהודיות שונות, למן סוחר גליציה הנאורים, „הברודים“ המפורסמים, ועד יוצאי ליטה הרחוקה, הרעבים והצמאים ללחם ולאור, פרחו בקרבה במידה רחבה, רחבה וקפאית יותר מבשאר מרכזי היהדות ברוסיה, תנועת ההשכלה עם כל ספיחה הלאומיים, הבאים אחריה. להאינטליגנציה העברית המשכילית, לסופרים, מורים ואסירי בית-המדרש המשחררים למיניהם, כבר שימשה אודיסה נקודת-קסם בימי נעוריו של פרץ סמולנסקין, שבה ניצנץ כוכבו בראשונה. אפילו הניצנים הראשונים של העיתונות היהודית ברוסיה ללשונותיה צצו באודיסה: „המליץ“ בעברית, „קול מבשר“ באידיש ו„ראזסוואגט“ ברוסית. כלי-שכן בתקופה האחרונה, פשורחה שמשה של חבורת סופרי-המופת האודיסאים: מנדלי מוכר-ספרים, ליליינבלום, בן-עמי, רבניצקי, אסדהעם, דובנוב, לוינסקי, קלזנר וביאליק, הצעיר והמבהיק מכולם, — ערגו מערי אחתם הקרובות והרחוקות הרבה לבבות צעירים וכמהים

תתמו



הראשונים פני אדם

אל אודיסה, כאל פינה יקרה ומופלאה, שבה נגלה האור הגנוז של היצירה היהודית ובה באה המחשבה הלאומית לידי ביטוי עצמאי. ואף-על-פיכך לא הגיעה אודיסה במשך שנים רבות למודעה של מרכז ספרותי פומבי, שיחא מקוץ סביבה יהודית קרובה, המתרפקת עליו ומבקשת השפעתו, כשם שהייתה וזילנה בימי ההשכלה וכשם שנדמתה ווארשה בתקופה המאוחרת, עם עליית הציוניות המדינית ושפע התוצרת הספרותית. אם גרמו לכך סיבות היצוניות (ריחוק מקום מן החכם היהודי הצפוני), או פעלו כאן טעמים פנימיים (התבדלות, "הפוזנים" מהמון העם חסר, שהגיעה לפעמים לידי סובסום רוחני) — אך החבורה הספרותית באודיסה נראתה ימים רבים כמין קולוניאלי תרבותית רחוקה של הקונטיננט היהודי הרחב ברוסיה. זו דוקה את קרני-הזרה מרחוק ובאלכסון, כמו מתנת-אור צודית, יוצאת-דופן, אבל לא חימה מבפנים, כנקודת-דלדל מרכזית. כלב עץ נחם, חסרה הייתה בעיקר ריבוי טבעי של גנעו, שרף מוסף והולף של אינטליגנציה עברית צעירה, הניכת בית-המדורש, זו ששטפה לווילנה מבהידישיות צליטה, וזו שנמצאה לווארשה מבהידישיות של החסידים. יסוד עץ ותוסס כזה, פורה ומפריה, לא יכלו האודיסטים להמציא לחבל הנביאים, המתנבאים בעירם במחנה סגור כצילו בפני עצמם. ולכן היו סופרי אודיסה חיים את חייהם כמו באי-פלאות נכרי מאי חים, מתהלכים בין האודיסטים קל-הדעת ועליו-התקנים, שנשמעו לפי דרכם המיוחדת בתרבות הרוסית, כמו בין "גייטס" טובי-מוג, אך זריזות. ביוארשה, כשפרץ היה מתגלה ברחובות ובתפילות רחבת-הכנפות, היו כמה וכמה עוברים ושבים, זקנים וצעירים, מביטים אחריו מתוך הערצה סקרנית, ולא עלמה נאה אשת (על-פי רוב — מן "הליטאות" המתלמדות) הייתה באה לקראתו בגיחוך מאיר ומלבב, וכנגד זה, כשמגלגלי מוכרי-ספרים היה יוצא לטייל באודיסה, ידעו רק בודדים מן האודיסטים, מי הוא הזקן המהדר, ואילו ניסה אחר לאמור להם, כי מגדלי הוא זה, היה הדבר נשמע לאזנם כחידוש מוזר: מגדלי? מי הוא מגדלי זה? רבם של חסידים? יהודי טוב? בעל-מופת? מה לזה שפמחו באודיסה?...

תתמוך

החבורה האודיסאית

התבדלות רוחנית של החבורה האודיסאית יצרה בספרות העברית פסולת אודיסאית מיוחדת — פסולת של קדושה וטהרה ספרותית, של הטון הספרותי הטהור והנאמן, של המלה הבוררה, המחושבת והצנופה. הסופר האודיסאי לא נהג וזילול בדבריו, לא הוציאם לבטלה, לישם גבורות של סופרים או לשם פירסום סתם, כדרך אלה העושים את הספרות קרדום לחפור בה, אלא השמיעם תמיד מתוך הכרח פנימי, כשהיה לו צורך נפשי בזה. לכך שימשו להאודיסאים שני מודי-דרך מובהקים: מגדלי ביצירה האמנותית, ואחד-העם בשדה המחשבה, ואולם דרך פרישות זו הניאה אותם מפעולה סיה, ממעשים ספרותיים נועזים, שיחא בתם כדי לתקם את עצמם ולהפרות את האורים. האודיסאים היו זהירים בפסיכותריהם, נשמרים מאוד לנפשם. אמנם גם הם קלמו חלומות של מפעלים ספרותיים טובים, אך לא תמיד הוציאום לפועל. את מלאכת ההוצאה לפועל הניחו לווארשה. ווארשה הוציאה עיתונים, הדפיסה ביבליותריקות של ספרים, הציפה את השוק בספרות-ילדים, לא כל מה שהדפיסה ווארשה היה טוב. בייחוד נראו הדברים רעים בעינינו של האודיסאים המפוזקים, ופי הטעם והריח, שהוציאת המפוקפת של ווארשה הוליעה רק להגדיל את פרישותם מתיידיהם, להעמיק בלבם את רגש היהירות האצילית, השקטת על מייבנותות סחורים, צוללים, מזהירים, אך עומדים במקום אטום.

כך נראתה אודיסה במשך שנים הרבה. וכך ידע אותה גם שלום-עליכם. הוא אהב את חבריו האודיסאים אהבת-נפש, חוקר את ידידותם מכל יקר, ערג אליהם מרחוק בכל לבו — אבל רק כדי לבוא אליהם לפעמים על יום טוב, להתארח אצלם זמן קצר, ליתנות מחברתם, לענג ולרזום את הנפש בשוחות נאות, להתפרק לפניהם את כל טובו ולשאוב מהם מלאו תפניו רוח-הקודש. ואולם להישאר באודיסה לימות החול, לשקוע עם האודיסאים בקפאונם השחור — בזה לא רצת. ירא היה את "החלומות" האודיסאים, שאינם מביאים לידי פלום. אך הוא אהב את החלומות. אבל חלומותיו פירושהם היה: לחצני, להישל, ליפול שבע ולקום, ואילו באודיסה קלמו חלומות מתוך ישיבת-שאננים על הספה. ולכן לא הייתה דעתו נוטה ביותר, שערבנו

תתמוך

הראשונים כבני אדם

עם "העולם" לאודיסה. הוא לא האמין, פי "העולם" יוכל להקיים שם. ואם לא יוכל להתקיים, יתמכותו האודיסאים רק באנחה נאמנה מעומק הלב...

ואולם בפעם הזאת טעה שלום-עליכם. בשנים האחרונות הייתה רוח אחרת עם האודיסאים. בעלי-החלומות המעורר מחלומותיהם על הספה התארו עוז ועברו לפעולה. מצאנו באודיסה התוררות רבה - מעין התקלה טובה של מרפז ספרותי עברי טי. ההגשה זו באה לנו בעיקר ממפעלם המתפתח והולך של ביאליק ורבינצקי - מהוצאת "מוריה". מתוך נסיון קטן זוהיר להוציא ספרי-לימוד מובחרים, בניגוד לספרות-החינוך הולדת, הגרועה, העשויה מלאכה מירדה, שהמעשייה תוארשאות הציפה בה את בתי-הספר העברים בכל תפוצת ישראל, צצה ונדלה הוצאת-ספרים מתוקנת למופת, שעמדה להתרחב ולהסתגל במקצועיות-ספרות שונים. הרעיון שהוצג ביסודה היה רעיון ה"ינוכ"י לאומי: לתת לקורא העברי, בייחוד לדור הצעיר, בצורת גרופה וגבושת, מעין פנינים תמציתיים של מיטב היצירה העברית במשך הדורות, החל בתנך מקוצר ומנוסה לפי הטף ולכלה בכתיבי מנדלי מוכרי-ספרים והמבנים אחריו. כעמוד הימיני של הוצאת "מוריה", שעליו נשען קיומה וממנו הבהירה כל מהותה ודרכה לעתיד, שימש "ספר האגדה" הגדול, בו ששת הפרקים, שמלאכתו נגמרה סמוך לימים הזהם. זה היה ספר התפארת של ההוצאה הצעירה, התפארת לעושיה ותפארת לדור, פרי עבודה ממוגזת של שני פוחות משלימים זה את זה: של ביאליק, היוצר הנלהב ברוח הקודש, הצולל למעמקים הולשך גנוי בסמולות, ושל רבינצקי, המבקר חמתו, השקדן והבררן. ולדור היה "ספר האגדה" התגלות רבה, כאורע ספרותי פרהיב ופסטיע: על קרבות בתי-חומר נשנים, חררים ואטומים, עובבים ונשפחים מרגל אדם, הוקם בנין חדש ועצום, מיונה ומפאור, מרנין לב ומאיר עינים, וממעינות עתיקים, סתומים וחרבים, זינק זרם טי, עו וצלול, של פזם קרים ומתוקים, משיבי נפש עם. רושם הספר היה גדול בשעתו וערפו החינוכי לספרות העברית לא ישוער. ממנו שחו בצמא לא תלמידי הדור הצעיר בלבד, אלא סופרים ומורים, קוראים משפילים וחובשי בית-המדרש, כל אלה שתעו עד כה נבוכים ושוממים

תתנ

החבורה האודיסאית

במהירות-יעד של המדרשים הישנים. התענגו עליו במסחרים גם רבנים ומגידים ומשולחים של ישיבות, ואפילו רבנותיהם של חסידים.

הצלחתו של "ספר האגדה" שחזר ונדפס במהדורות רבות, העמידה את הוצאת "מוריה" על קרקע מוצק. עכשיו תפסה ברוחב באזרחי שני בנינים, זה בצד זה: האחד שימש לה משרד והחסן הספרים, והשני רעש מן הבוקר עד הערב בתי-דפוסים על מכוניתיו, שלא תמיד היה מספיק ללב צרכיה של הוצאת-הספרים עצמה. יארי-על-פי-כו, לתרבות השמחה, פרי שהמרפז העברי יהיה שלם, דחקו המדפיסים את עצמם ופינו אצלם מקום גם להדפסת "העולם". ואולם בתי-דפוסים של ביאליק כבר היה קודם לכן מרפז טי ועליו לקהל העברי באודיסה. הדלת הייתה סוכבת כל הליום על צירה. הללו בכנסים הללו יוצאים.

נתגלה, פי אודיסה גדלה בשנים האחרונות אינטליגנציה עברית מלומדת, צעירה ורוגשת, גדולה ופעילה לאין ערוך משפילי ויולגה העגומים, הנמקים בפניהם הפודדה בבטלה ובשיעמום. מלבד חבורת חובבי ציון הותיקים, משיירי חביוו ותלמידיו של אסתר-העם, התקטט לכאן קיבוץ של נוער עברי מסוג חדש: בחוריי-ישיבה מודרניים, מין מיוגה של לומדי-תורה ושואפי-פדע. סוים שטרנוביץ, רבה המושלג של קהילת אודיסה, שנתפרסם בספרות בשם "רב צעיר", ייסד כאן לפני שנים מעטות ישיבה מיוחדת במינה, שתעודתה לגדל דור של רבנים ותלמידי-חכמים נאורים, מחונכים על תורת הלאומיות, "סוכמת" ישראל" ודעת העולם. ישיבה זו משכה אליה מפל פילות החחום היהודי, מבין האקסטרנים התועים, שדלתה הגימנאסיות הרוסיות היו נעולות בפניהם, טיפוס חדש של צעירים חזוקים, נלהבים בשאפתם למוג את היחדות הישנה עם החדישה, לזוג דף גמרא עם ספרות עברית, "מורה נבוכים" עם "על פרשת דרכים", פרקי זוהר עם שירת ביאליק, רבנים, פמרומה לי, לא יצאו מתוך הישיבה הזוהיא. ואולם נשתתרת ממנה חבורת נבחרת של אצילי-רוח, ספוגים הורה ודעת ומעורים בלב ונפש בעיקרי החחית הלאומית, בנינים גם סופרים ומורים מובהקים. בעת הזוהיא, משבאנו לאודיסה, לא מצאנו עוד שם את סוים שטרנוביץ. "הרב הצעיר", שפרר היה אז בן ארבעים, נמלך פתאום, עוב את מיסא חרבות

תתנא

הראשונים בבני-אדם

ויצא לאחת האוניברסיטות בחוץ-לארץ ללמוד תורה בעצמו, להשתלם בפדע המשפט. חבריו האודיסאים, שהרפו לספר בשבחו והרימו על נס את פעולתו וחליכותיו בימי רבנותו, חוששים היה, שבלעדיו תחרב הישיבה. ואולם הישיבת הוסיפה להתקיים, ובין מוריה ופדריכיה נמנו גם קלוזנר ובאליק, שניהם אצלו מרוקם על התלמידים, כל אחד לפי דרכו.

המתנה הצעיר של תלמידי הישיבה הכנים זרס'קים גם הם לתוך חוג המשפלים העברים וחובבי ציון הפוקינים. אלו נאלו התרפקו עכשיו על ביאלק ועל הוצאת-ספריו, כעל בית-הולצר של הרות העברית המתחדשת. באספה עברית או בהרצאה ספרותית, שביאלק וקלוזנר היו בהן ראשי המדברים, היה האולם מתמלא מפה אל פה קהל מי ורוצש של צעירים וזקנים — דבר שלא נראה זה ימים רבים לא בוילנה ולא בווארשה.

אותנו, את פליטי ווילנה, קיבלו אנשי אודיסה בפנים מאירים של קרובי-משפחה, מתוך זיחות-דעת אודיסאית מיוחדת: „אמנם לישראלים אדם אבל כאן מקומכם. נשב שבת אחים, נחיה פולנו יחד, כאלוהים באודיסה!“ ולא עוד, אלא שהימים היו ימי האביב, בחוצות אודיסה הרסבים והמפוארים ליבלבו השיטים, וריקון המהוק נסך בלב שיפורן טרש, עורר תקוות חדשות, הבטיח סנים צעירים חדשים בעיר הנאנה הזאת, הצעירה הרעננה העליוה, ההגיית.

מכתבי הראשון מאודיסה עודד גם את שלוס'עיליכם. הוא כתב אלי: „אני שמח מאוד, שאודיסה ואנשיה מצאו חן בעיניך“. ורק בדרך אגד לא אבה להאמין: כי ביאלק ורביצקי תפסו להם למלאכמה שני בנים באודיסה. מאין? המן השילות הנאות על הפפה?... ועוד. דבר הפליאו: בעלי „מוריה“, שעשו עמי חוזה בדבר הוצאת הרגום כתבי החדשים, קיבלו על עצמם לשלם לי על השפון עבודתי מאה רופל לחודש. התכן? מאה קרובים פמש? מדי חודש בסדתי?... איזו רות עברה שם פתאום על בעלי-החלומות האודיסאים החביבים? וכי יצאו מדעתם?... אם אמת נכון הדבר, הלא נשתנו סדרי בראשית וימות המשיח הגיעו!...

תתגב

פרק מאה ושבעה: ח. נ. ביאלק באודיסה

שנה וחצי ישבתי באודיסה בתוך משפחת סופריה, והימים ההם נקבעו בלבי כפרקי-הזוהר בפרקי-חיי הספרותיים. אף אודיסה עצמה, על משפליה העברים החובבי-ציון הנאמנים שלה, אלה שקרעו סלון-אל ארץ-ישראל הקרובה ונתנו טעם ותקנה ליהדות השוממת והולכת ולקיומה של הספרות העברית גם יחד, מנצצת לי מבין ערפלי העבר ביו מיתק, מעין אותו היוו היקר של קיציי-הילדות החוקים, אשר לא יסוף מלב האדם גם בפרפי-חיי הפקדיירי.

משפחת הסופרים האודיסאים שוב לא היתה בימים ההם גדולה וגיפרת במנינה כבתחילה. לילינבלום ולוינסקי מהו, אהד-העם ובני-עמי, דובנוב וטרנוביץ נדדו למקומות-נכר. שמוותיהם היו נזופים בפי הנשאים לעתים קרובות, הללו בתעוצה והללו מתוך אהבת-רעים — כל אגד מהם הניח אחריו בקרב המשפחה השפעה קיימת ורושם בלי-מחא. אחרי סופרי ווארשה נדמו לי האודיסאים כבריות ספרותיות משונות: כמעט כולם (חוץ מיוצאי-דופן אחדים, שעמדו מחוץ למחנה) לא ידעו בסביבתם את הרגש המתפרי הקלוקל, העין פנינה צרה ואוכל בעשנו את הלב ואת הנפש. — זה הנקרא „קנאת-סופרים“. האודיסאים לא התקנאו איש בירך חברו, לא צררו זה את זה, כקבנים המתפלים בחורה אחת, אלא הביטו בעין יפה. מלבבת הורשת טוב, איש אל מקום רעה, שניתן לו בספרות ובציבור לפי צרכו וזכותו. היחסים היו לא של בעלי אומנות אחת, שפת-שכרה הדל בצדה, אלא של בעלי מטרה אחת, נעלה ומרוממת את נפש פולם, שליפדה בברית-אחים בני-אדם שונים זה מזה במזגם, באפיים הרוחני, במשקלם הספרותי, ואף בתבונתם „האמנית“. אהד-העם היימן והקפון, המחמיר בהשקפתו האומית-האצילית, הפוחן ובודק כל מחשבה ומעשה וזריר בפסיעה קלה כבחמורה, נקשר קשר של אחנה בלוינסקי הדיך והטוב, הושלן והנחרן,

תתגב

הראשונים כבני-אדם

חמוריהן על-שני "המשפחות והמעשים" בקלות פליטונוסטיות, — ולא עוד, אלא שחראשון היה בן למשפחות חסידים אוקראינים, נושא דגל חתוב, והשני מוציא ממלמדים ליטאים עניים. הסבא מנדלי מקאפול, הקשח כארץ עמיק, הכבדו הזקק בהליכותיו עם הבריות, רב-הענין ויהיר-הקפצט, עשיר-הנכסים התסכן, האוגר וסוגר, היה ידיר-נפש, אהוב ויקר ונעוץ, לכבוד הוזהלני ביאליק, גלוי-הלב ורסב-היה, הפותח אוצותיו לרוח, מבוזבז ונותן לכל מי שרוצה לקבל, שולח מעינותיו החמים על ימיו ועל שמאל. הדמות השרה של הובש ביהודי-המדרש הליטאי לילינבלום, דמות סתורה ויבשה, ענותנית וסגפנית, הנוגעת עד הלב באמונתה ובתום-דרכה, השאירה אחריה בקרב האודיסטים עליו-התקיים (גם סופרי אודיסה היו אודיסטים עליו-תקיים) זכרון כבוד ויקר.

הפאטריארך של המשפחה, זה שקבע את מגילת-היהודים שלה ואצל עליה מכוודו, הפיץ על הסביבה הספרותית האודיסאית קריני-זוחר ישראל, בהירות ושקטות, מחדר שיבתו היצירת, משקיעת-חמתו הארוכה והנהדרה, נחשב, פמוז, הסבא מנדלי מוכר-ספרים. ואולם האישיות המרכזית בסביבה זו היה עבשיו ביאליק. השפעתו של מנדלי לא היתה בימים ההם אלא מעין השפעה פולחנית, היצונית. הוא העטה על המשפחה האודיסאית מעטה תפארת והשרה עליה את שכנתו הזקנה, "הסבית", מבחין, אך לא חימם אותה מבפנים. ואילו השפעתו של ביאליק היתה פולח פנימית, מתממת ומטיה, מפעילה ומפרה. הוא שפך על סביבותיו זרמי אור והום, השקה משפע מעינו, המלא על כל גדולתו, קחנה רב של צמאים לדברו.

לא ראיתי את ביאליק כמעט שמונה שנים, למן הימים שהתגורר בווארשה לרגל עריכת "השילוח". גם בעת ההיא, בהיותו איש צעיר בתקופת שנות השלושים, כבר עמד במום שמי ספירותנו כשמש צעירה בגבורתה עם ראשית הקיץ. שירתו האיתנה, הלוהטת באש-קודומים, שרתקה את שמו בהמרת הדור אל שלשלת-הזהב של הנביאים ומשוררי ספר הגדולים, פיעמה את לבנו, לב צעירי קוראיו, ביתר עוז והום מהנביאה העתיקה, המוקפאה בקדושת חזרות, וביתר אינטימיות משירתו של רבי יחזקיה חלוי, המוקפאת בצליליה הרחוקים. שירתו של ביאליק

תחנה

ה. נ. ביאליק באודיסה

היתה פניו-שלאות לאלם לבנו — היא שהוציאתנו ממוכות געוויג, דובבה את רוחנו, ניערה אותנו מעפר ותקימתנו לקראת חזון חיים חדשים, שפכה אור בהיר על מחשפי דרכנו אל העתיד. ולא זו בלבד. עצם חזיון ביאליק נגלה עלינו כמקור עידוד ואמונה מתחדשת בצדקת קיומנו, כאות מי וכמות מזהיר, כי עוד עו ורענו טבענו העתיק, כי עדין לא יבש גזענו בארץ. האומה המעונה והתשושה עדין לא כחה אורה ולא נס ליחה, עוד יש בה כוח ואון להוציא מקרבה, מפעמקי רחמה, ויע-הילולי, בן ברוך-אדוני, מבוך במיטב סגולותיה, מלוהש באש-קודש, סוער בהמת-רוח, בעוז נמרץ, פאנט מנביאיה הקדמונים. ומה טרר ורחב הלב בימים ההם לכל שיר חדש של ביאליק! זה היה למעלה מעונג פיוטי. כל אטד משיריו, הגדולים והקטנים, היה לנו כבשורת רנטה למצוקת הנפש, כהפליה זכה ללב המתעטף ביהודי-העוורים, כדבר-אלוהים עו ובהיר לנשמותינו הנבוכות. איני יכול לצייר לעצמי, מה היה פראה ספרותנו במשך שלושים ארבעים השנים האחרונות, שקבעו את גורלה ואת דרך-קיומה לעתיד, אילמלא היו פני ביאליק הולכים לפנינו, אילמלא חסם והפיה את רוחנו בנשימתו העמוקה.

ולא בשירתו בלבד — בכל אישיותו המוהירה, האיתנה, הנאמנה, היה לנו בימים ההם מודד-דרכנו האמין, נושא אבוקת האור לפנינו. זכר אני את ימי פסיעותינו הראשונות בווארשה, ימי תעוית וגישוש של נעורים בלתי-בוטוחים, כיצד התרפקנו עליו כעל ענק צעיר, טוב ומטיב, התקפמנו לאורו, בהנינו מחנו וחסדו, מכוון המוסרי הטהור, מחום לבו הרחב. אותם ערבי-החורף הנפלאים, אשר בילינו בחברתו, בסדרו הקטן, חסם והמאיר, חזר של דייר, ברחוב פאנסקה 20, בחצר מערכת "הצופה", תחת שטף שיחותיו העזות, הגרעיניות, שניתכו על לבותינו הצעירים כגשמי-ברכה תמים, עדין עומדים בזכרוני בכל ריסם וטעמם המבשמים, המגרים, המעודדים. ואחר-כך, כשנפרדנו ממנו ופנינו איש לעברו, עדין רדפו אחרינו מכתביו הנחמדים, המשעשעים, שבהם פאלו שמר מרחוק את דרכנו, לא גרע עין ממנו, פטר גדול בשנים ובתקומה, במוטר ובדרך-ארץ. אטד ממתכביו, שבו שלח אלי את ברכתו על דרכי לאמריקה, שמתאי ימים רבים בלצי קמיע יקר, כדבר

תחנה

הראשונים בבני-אדם

מורה גדול, גלבב ונאמן... באותו מכתב כתב אלי, אל סופר מחתל
בן עשרים, בין שאר דברי-פרידה טובים, כדברים האלה: "אל תכתוב
אלא מתוך רחמי-לודש. אל תמיר את הקשר שביןך ובין חבריך
הסופרים ברוסיה. אל תכתוב זארגונית. למוד למוד ולמוד. ולעולם
תתגעגע על ארץ-מולדתך, על עירתך הקטנה, על ימי ילדותך, על ימי
רעבונך, על האזוב אשר בקיר בית אביך, על מסאות נעורייך ועל
ביאליק. הגעגועים האלה יעמדו לך בעת צרה ויטהרו את נפשך מכל
סיג ופגם..."

כי אתגעגע על ביאליק... פסק זה בלבד, המזהיר כולו בחו
אומר, מדי עלותו על לבי בנדודי במרסקים, היה ממלא אותי המת-
געגועים עד כלות הנפש על היקר, הנערץ, הדגול מכל האדם, אשר
פגשתי בסביבתי. עכשיו, כשבאתי עם "העולם" לארצות, באתי על יום
טוב גדול: שוב אראה את ביאליק, אותה בקרבתו, אקבל השפעה ישירה
מאישיותו רבת-האור ורבת-הטעם.

מצאתי את ביאליק ללא שינויים ניכרים במראהו החיצוני אשרי
שמונה השנים אשר לא ראיתיו. רק גופו שמן נרָבב קצת, נעשה
מאושש ומוצק יותר, "בעל-בתי" יותר משהיה בווארשה. גם הקמטים
הדקים נסתעפו, קרצו הריצים עמוקים במצחו הקבֹה הקורן ומסביב
לעיניו הטובות, המחולות, המאפירות פעם בפעם בצל דאגה תחת
נטל המציאות המטרדוה, אבל אותה החממות האמציה והעמוקה בפניו
המסורבלים, הגרעיניים, המלאים תוכן וטעם, אותו הברק הנצחי, הצלול,
השובב לפעמים, בעיניו הישרות, המביטות נכון בעוז וברוף כאמד,
אותה בתי-החזק המתוקה, הנלבבת, הילדותית, המשתפכת בשני קילוחים
מאירים מגופות-הזווה שפלטתיו ומוזיות-החן של שפתיו, הנוסכת נהרה
עליונה על כל פניו ומאליו חושפת לרגע את סוד אישיותו. — זו
בתי-החזק המקסימה של ביאליק, שקשרה אותנו אליו בימי נעוריינו
בעבודות אהבה, אף אותו המגע הטם של ידיו הטובות והחולקות (ידים
של גיבור, שגבורתו הגופנית נבלעה בגבורה רוחנית מכריעה) ואף
אותה הוויזות הצעירה, החיה, בתנועותיו ובהלכותיו עם אנשים, בגישתו
החברית אל כל אדם מתוך התקרבות גוף ונפש.

תתנו

ח. נ. ביאליק בארצות

ואולם בפנימיותו נתגלה ביאליק עכשיו רחב ועמוק ועשיר-תוכן
משהיה. רעיונו נעשה בולט יותר, כאילו הרבה והעמיק שרשיו, בשל
כולו, נתמלא לשד שופע ומשביע, ביוזוף — בהיר ושנון ונקלע למרחוק,
וכולו נראה כאילו חוק בהצי ימיו, שררשיו מרובים וענפים כבדים
ופיריותו בשלים בשפע, נושרים אל הפלים המוצגים תחתיו לכל נייעוע
קל. בשנים האחרונות העשיר והעמיק את ידיעותיו גם בפדע התורה
ההלשון העברית — על-ידי מלאכת-יצירתו ב"ספר האגדה". הוא שחה
ועבר עוד פעם, מתוך שקידה רבה ותפיסה בוגרת, את הים הגדול של
התלמוד והמדרשים, ויצא מתולכו עמוס אוצרות חדשים, שספג לא אל
מתוך חוק בלבד, אלא גם אל דמו תחם, דם משורר ויוצר. השפעת
מלאכתו זו העצומה היתה ניפרת בו עכשיו ביותר, כאילו נבלעה בכל
עצמותו, והיא שנתנה כיוון חדש להלך-רוחו: על שירתו הפיוטית
הנבואית הקודמת, השירה שבכתב, נוספה שירה חדשה שבעל-פה —
שירת האגדה. כשם שבתקופתו השירית הראשונה הקיף ברוחו הלוחשת,
על-ידי ביטוי מחודש וצרוך, את נשימת הנבואה הקדומה, כך עכשיו,
לאחר שצל צלילה עמוקה, אינטימית, נבכתי האגדה העמיקה, המשיך
ליצור, בצורה מודרנית מוקמת, את יצירת המדרש, שעשאו כולו שלו —
מעין מדרש ביאליק מיוחד במינו, שהשפיע אותו בשיחותיו על כל מי
שתפס אותו לשמוע, ובעיקר בדרישותיו ובהוצאותיו לפני הקהל העברי
בארצות עם כל חודמות טובה.

שירתו החדשה של ביאליק לקחה לכות לא פחות מן הקודמת.
את מחשבתו המודרנית המעודנת, את תקמת לבו, את חזון רוחו הבהירה,
ובתורה, בספרות הפיוטית הממריא במרום, את הסתכלותו האינטואיטיבית באדם
התכמה העתיקה של דורות הקדמונים. בחיטו הדק ובאצבעותיו הרגישות
האמציות מישש ומשך מתוהם הנשייה את החושים הישנים, הנספסים,
של תרבות האומה העמיקה, קשר אותם אל חוטי-יצירתו החדשים, טוה
אותם יחד במטוה חדש וטוק, העשוי מלאכת-מחשבת לפי הורגוה
התרבותית של ימינו. הכוונה היתה זו, שהונוחה גם ביסודה של הוצאת
ספריו, פיונת הפינים מתוך הודוש — לתדש את הקשר התרבותי בין

תתנו

הראשונים כבני־אדם

העולם העתיק והקדש, להחיות ולרענן לצרכי הדור את מקורות־המחשבה
הקדומים של האבות הראשונים.
עונג חדש היה לי עתה להימצא בחברתו של ביאליק, לטייל עמו
ארוכות בחצות אודיסה, לשמוע מפיו המסוק מרגליות את שירתו
החדשה, שירה שבעל־פה. ורק צר היה לי, כי מוציא הוא את פוחו הגדול
כמעט לבטלה, פי מתענגים על עשרו הקדש רק מעטים, רק אחוג
המצומצם של שומעיו האודיסאים. מן העולם היהודי הגדול נעלמה
היצירה הנפלאה הזאת והלכה לאיבוד.

התנח

Из воспоминаний **Наши зачинатели как обыкновенные люди**¹ (русский перевод)

§106. Одесский круг писателей

Лучшего и более удобного прибежища, чем Одесса, познавшему горечь скитаний журналу «Га-Олам»² было не сыскать. Мы прибыли в Одессу, когда она обнаруживала явную тенденцию перенять эстафету у прежних еврейских литературных центров, постепенно истощающихся, — Варшавы и Вильны. Накануне Мировой войны³ значение ивритской Одессы возросло, она озарилась новым светом, превратилась в просторное, обнадеживающее и многообещающее место для религиозного учения и литературы — последним духовным приютом великого российского еврейства перед его крахом и исчезновением.

Одесса, людный многонациональный портовый город, богатая веселая торговка, обитель легко относящихся к жизни «одесситов», всегда подходила для этой цели. Начав разрастаться, Одесса тепло распахнула двери навстречу интеллектуалам и тем, кто жаждал знаний, а также культуртрегерам новых еврейских духовных достижений. С возникновением состоятельной еврейской общины, собравшей самых деятельных и энергичных евреев Российской Империи, от просвещенных и зажиточных галицийских коммерсантов из города Броды, знаменитых «бродских», до томимых физическим и духовным голодом евреев далекой Литвы. Здесь пышно цвело и свободно, как нигде, развивалось еврейское Просвещение, Гаскала, а с ней — самые разные национальные идеи и организации. Одесса виделась *маскилим*, то есть современной еврейской интеллигенции — литераторам, педагогам и по-новому изучающим Тору завсегда *бейт-мидраша*, — волшебным островком, и именно тут впервые вспыхнула звезда еще юного Переца Смоленскина. Одесса была местом, где появились первые в России еврейские периодические издания на разных языках: «Га-Мелиц» («Посредник») на иврите, «Коль Мевассер» («Глас возвещающий») на идише и «Рассвет» по-русски. А в последние годы здесь собрался истинный цвет еврейских писателей: Менделе Мойхер-Сфорим, Лиллиенблюм, Бен-Ами, Равницкий, Ахад-Гаам, Дубнов, Левинский, Клаузнер и Бялик, самый молодой и яркий из всех, — и сюда страстно стремились из ближних и дальних городов и местечек «черты оседлости» мечтательные юноши, ведь для них это было удивительное, дорогое сердцу место, где сокровенный свет явственно озарял еврейское созидание, а национальная мысль обретала самое высокое выражение.

И тем не менее в течение долгого времени Одесса не создала настоящего литературного центра, вокруг которого группировались бы евреи, черпающие в нем силы и смысл жизни, подобно центрам, что были в Вильне в эпоху Гаскалы, а позднее, когда возник политический сионизм и уже в изобилии издавалась еврейская литература, — в Варшаве. Были ли на то внешние причины (удаленность города от перенаселенной еврейской «черты») или сказались внутренние факторы (отчужденность «священнослужителей» от живой народной массы, доходившая порой до интеллектуального снобизма), — но на огромном материке российского еврейства писательский кружок Одессы долго казался далекой колонией культуры. Лучи этого кружка шли словно издали и падали косо, как от бокового источника света, который был ни на что не похож и не нес тепла. Главная сложность — одесскому писательскому кружку не хватало молодежи, того обогащающего потока новой и юной, возвращенной в стенах бейт-мидраша еврей-

¹ Эти воспоминания вышли впервые в 1943 г. (*Здесь и далее — примечания переводчика.*)

² «Га-Олам» — художественно-общественный еженедельник на иврите, орган Всемирной сионистской организации, издавался в 1907–1950 гг. с перерывами. Сначала выходил в Германии (печатался в Берлине), но уже с конца 1908 г. редакция переехала в Вильну (редактор Альтер Друянов), в 1912 г. — в Одессу. В годы 1-й Мировой войны ивритская и идишская пресса и книгоиздательство в России находились под запретом, и «Га-Олам» был возобновлен лишь в 1919 г., в Лондоне, а в 1936 г. переехал в Иерусалим.

³ Имеется в виду Первая мировая война (1914–1918).

ской интеллигенции, какой в свое время стекался из литовских иешив в Вильну и из хасидских синагог в Варшаву. Этого животворного элемента одесситы добыть не могли, и пророки в их городе прорицали в крайне замкнутом кругу, почти наедине с собою. Оттого писатели Одессы жили, словно дивные чудотворцы, занесенные на дальние заморские острова. Они расхаживали среди легкомысленных и жизнерадостных, на свой манер вписавшихся в русскую культуру одесситов, как среди добросердечных, но чуждых им по духу «туземцев». В Варшаве, стоило только Перецу появиться на улицах в пышной своей пелерине, как несколько прохожих, и молодых, и старых, тут же устремляли на него почтительные любопытные взоры, и не одна прелестная девица (по большей части из образованных еврейских девушек Литвы) устремлялась ему навстречу со смущенной, но неизменно сердечной улыбкой. В отличие от этого, когда Менделе Мойхер-Сфорим выходил пройтись по Одессе, лишь редкие горожане знали, кто сей достойный старец. И если один из одесситов пытался сказать спутникам: «Да это ж Менделе!» — те только плечами пожимали: «Какой Менделе? Уж не хасидский ли цадик? И что — добрый еврей? Чудеса он творит, что ли? Но что общего может быть у него с Одессой?»

Эта духовная замкнутость одесского литературного круга породила особую одесскую традицию в ивритской литературе — традицию словесности, характеризующейся святостью и чистотой, чутким и верным тоном, ясным, продуманным и точным словом. Одесские писатели относились к своему творчеству серьезно и с пиететом, они не искали в нем средства прославиться, как те, кто ищет в литературном созидании путь к выгоде и почету. Писатели Одессы ощущали внутреннюю потребность творить, буквально зов души. Образцом для одесских писателей служили два автора: Менделе Мойхер-Сфорим в художественной литературе и Ахад-Гаам — в публицистике. Однако изоляция лишила их жизненности и дерзновенности новаторов, то есть свойств, необходимых для вдохновения и воздействия на других. Одесские литераторы были слишком осторожными, слишком осмотрительными. Правда, они тоже мечтали о литературных подвигах и свершениях, но не дерзали осуществить свои мечты. Издательское дело они предоставили Варшаве. В Варшаве выходили газеты, книжные «библиотеки»⁴, огромное количество литературы для детей. Не все эти книги были качественными. Особенно негативно относились к этим изданиям избалованные, эстетствующие одесситы, и низкопробные варшавские книжки побуждали их еще больше замыкаться в своем узком избранном кругу, пестовать ощущение своего превосходства и чураться практических шагов. Они предпочитали заботиться о чистоте, красоте и тонком вкусе своих произведений, но это гарантированное качество привело к застою.

Такое положение сохранялось в Одессе долгие годы. Такой-то увидел ее и Шолом-Алейхем. Он искренне любил своих одесских товарищей, высоко ценил их дружбу, тосковал по ним, находясь вдали, — но ему хватало навестить их на праздники, погостить у них немножко, насладиться их обществом, обогатить и возвысить душу беседой, открыть им свое сердце и почерпнуть для себя как можно больше из их священнодействия. Однако задержаться в Одессе надолго, остаться в ее беспорочной неподвижности он не хотел. Он опасался одесских прекраснотушных мечтаний, которые не вели ни к какому поступку. Он и сам любил помечтать, но его мечты были иного свойства: дерзать и оступаться, семижды падать и подниматься снова. А в Одессе предавались отвлеченным мечтаниям. Оттого его не вполне устраивал наш переезд вместе в журнал «Га-Олам» в Одессу. Он не был уверен, что этот журнал сможет там существовать, а если не сможет, то единственная поддержка одесситов, на которую можно рассчитывать, будет глубокий, скорбный и сочувственный вздох...

Но на этот раз Шолом-Алейхем ошибся. В Одессе повеяло новым ветром. Мечтатели встрепенулись и занялись делом. Мы застали в Одессе явное оживление, на наших глазах она превращалась в истинно литературный центр. Такое впечатление производила, в первую очередь, деятельность Бялика и Равницкого в издательстве «Мория». Из робкого начинания по выпуску качественной учебной литературы, с целью противостоять затопившим ивритские школы дешевым, зачастую сделанным наспех учебникам варшавских книгоиздателей, выросло серьезное образцовое предприятие, имевшее планы выпускать самые разные виды литературы. Главным принципом «Мории» было способствовать воспитанию евреев в национальном духе: дать ивритскому читателю, и прежде всего молодому, своего рода золотой запас ивритской словесности в доступных и профессионально подготовленных изданиях, начиная с ориентированной на юношество краткой версии Танаха и кончая сочинениями Менделе Мойхер-Сфорима и последующих авторов. В качестве главной и образцовой продукции издательства послужила шеститомная «Книга Агады»⁵, работа над которой завершилась незадолго до нашего приезда. Книга была гордостью молодого издательства, прославила своих создателей и читателей. Она была плодом совместных усилий двух дополняющих друг друга авторов: Бялика, боговдохновенного творца, ныряющего в толщу глубин и извлекающего на свет исчезающие сокровища, и Равницкого, сдержанного критика, трудолюбивого и строгого исследователя. Для того поколения «Книга Агады» стала истинным откровением, величайшим и удивительным литературным событием. На обломках и развалинах старинных сочинений, полузабытых и мало кому известных, было возведено новое грандиозное здание, просторное и роскошное, услада сердцу и отрада очам, а из древних родников, засоренных и замутненных,

⁴ Серийные издания, например: только переводная или только ивритская беллетристика.

⁵ Работа над «Книгой Агады» была инициирована Бяликом, начата в 1903 г. и включала извлечение из Мишны и обоих Талмудов, Книги Творения (Сефер Га-Йецира) и всех основных мидрашей. Первый том вышел в Одессе в 1909 г., затем там же до 1911 г. вышли 2-й и 3-й тома, а остальные три тома были составлены и изданы в Эрец-Исраэль.

забил сильный и прозрачный поток свежей живительной влаги, утоляющей жажду народной души. Книга произвела на читателей ни с чем не сравнимое впечатление, а ее значение для развития ивритской словесности трудно переоценить. Из нее черпали не только юноши того поколения, но и писатели и педагоги, маскилим и ученики бейт-мидраша, и все те читатели, что еще недавно растерянно бродили по пустынной земле древних преданий. Даже раввины и наставники в иешивах, даже хасидские реббе наслаждались этой книгой.

Успех «Книги Агады», выдержавшей множество переизданий, укрепил престиж и финансовое положение «Мории». Теперь она занимала два соседних здания на Базарной улице: одно служило конторой и книжным складом, в другом с утра до ночи стоял шум типографских машин, не всегда справлявшихся с объемом работ издательства. И все же, благодаря самоотверженному труду печатников, типография «Мории» взяла на себя также выпуск «Га-Олама». Однако еще до нашего переезда бяликовская ивритская типография была оживленным и популярным в Одессе местом. Дверь то и дело открывалась, впуская и выпуская посетителей.

Оказалось, что за последние годы в Одессе возникла ивритская интеллигенция, дружная, оживленная, юная и гораздо более активная, чем удрученные маскилим Вильны, прозябающие в скуке и бездействии в своем одиноком углу. Помимо давнего кружка палестинофилов, из тех, что в свое время сплотились вокруг Ахад-Гаама, здесь собралось молодое еврейское общество иного рода: современные иешиботники, которые сочетали изучение Торы с научным знанием. Хаим Черновиц, уникальный городской раввин Одессы, прославившийся под псевдонимом «Рав цаир» («Юный рабби»), основал тут несколько лет тому назад совершенно особую иешиву и поставил задачу подготовить раввинов, которые были бы и еврейскими мудрецами, и сведущими в общих науках людьми, да вдобавок ощущали бы себя слугами народа, борцами за его будущее. Эта иешива влекла к себе евреев со всей «черты оседлости», и среди них — кочующих экстернов, для которых двери русских гимназий были закрыты из-за процентной нормы, — этот новый тип молодого российского еврея. Они мечтали соединить древнюю еврейскую традицию с новой культурой еврейского Просвещения, лист Талмуда с ивритским романом, «Путеводитель растерянных» Рамбама с «На перепутье» Ахад-Гаама, главы из «Зо́гара» со стихами Бялика. Раввинов, как кажется, из той иешивы не получилось. Однако она создала целый круг духовно богатых людей, впитавших в себя Тору и широкие знания и всем сердцем, всей душой преданных делу «национального возрождения», и среди них — выдающиеся учителя и писатели. Прибыв в Одессу, Хаима Черновца мы там не застали. «Юный рабби», которому тогда было лет сорок, решил оставить пост раввина и отправился в один из европейских университетов учиться, совершенствоваться в юриспруденции. Его одесские друзья не уставали славословить его как раввина и восхвалять его детище, однако опасались, как бы иешива не заглохла. Но иешива продолжала жить, и среди ее учителей были Клаузнер и Бялик, каждый по-своему дарившие ученикам благородство мыслей и чувств и свои огромные знания.

Молодежь из учащся этой иешивы вдохнула новую жизнь в круг ивритских маскилим и стареющих палестинофилов Одессы. И те, и другие тянулись теперь к Бялику и его издательству как к источнику, где рождается постоянно обновляющийся дух еврейства. На собраниях любителей иврита или на литературной лекции, где главными ораторами бывали Бялик и Клаузнер, в зале всегда было полно и пожилых людей, и молодежи. Такого мы уже давно не видели ни в Вильне, ни в Варшаве.

Нас, пришельцев из Вильны, евреи Одессы приняли радушно, как родных, но и не без типично одесского самодовольства и зазнайства: «Вы, конечно, литваки, но ваше истинное место здесь. Сядем же, братья, вместе и будем едины, как Господь в Одессе!» А время было весеннее, на широких нарядных улицах Одессы цвели акации, и их сладкий аромат пьянил и пробуждал в сердце новые надежды, сулил юную, новую жизнь в красивом городе, свежем и веселом и всегда будто праздничном.

Мое первое отправленное из Одессы письмо приободрило Шолом-Алейхема. Он написал мне: «Я очень рад, что Одесса и ее обитатели тебе понравились». Лишь в одно он отказывался верить: что Бялик и Равницкий отхватили для себя и своей работы целых два здания. Каким образом? Благодаря задушевным беседам на диване?.. И еще одна вещь его изумила: хозяйева «Мории» подписали со мной договор на перевод на иврит его новых произведений и обещали оплачивать мой труд из расчета 100 рублей в месяц. Возможно ли это? 100 карбованцев чистоганом? Да еще каждый месяц!.. Что случилось с милыми мечтателями Одессы? Или они все с ума посходили?.. Но если всё так и есть на самом деле, верно миропорядок изменился и близок приход Машиаха!..

§ 107. Хаим Нахман Бялик в Одессе

Я провел в Одессе, среди ее писателей, полтора года, и это время запечатлелось в моем сердце, как самое яркое событие моей литературной биографии. И сама Одесса с ее ивритскими интеллектуалами и преданными палестинофилами, которые прорубили окно в близлежащую Палестину и дали смысл и надежду постепенно угасающему российскому еврейству, а также создали на иврите литературу, светит мне из туманного прошлого моей жизни, и свет этот особенный, словно сияние солнечных дней детства, загасить которое не под силу никаким тяжким и мрачным житейским обстоятельствам.

В то время писательская семья была не столь заметна и многочисленна, как прежде. Лиллиенблюм и Левинский умерли, Ахад-Гаам и Бен-Ами, Дубнов и Черновиц уехали за границу. Правда, оставшиеся часто их поминали и восхваляли, ведь каждый из них внес свою лепту в существование этой семьи и оставил по себе неизгладимое

впечатление. После Варшавы, одесские писатели казались мне странными: никто из них (редкие исключения из этого правила к описываемому мной кругу не относились) не был отравлен губительным для себя и для других чувством литературного соперничества. В Одессе писатели не завидовали друг другу, как нищие на одной паперти, а радовались чужому успеху и отводили каждому свое место в литературе, сообразно талантам. Отношения были не как между мастерами одного ремесла, работающими за скудную плату, но как между людьми, делающими общее дело, благородное и возвышающее — на ниве национального духовного и литературного творчества. Педантичный и строгий в своем подходе к национальной идее Ахад-Гаам, всесторонне исследующий каждую мысль и каждый поступок и крайне осторожный в своих выводах, прилепился душой к мягкому добряку Левинскому, небрежному и уступчивому, витающему над «мыслями и поступками» с беспечностью философа. Более того, Ахад-Гаам был отпрыском зажиточной хасидской семьи с Украины, а Левинский — типичным нищим литваком. «Дедушка» Менделе, родом из Копыля, суровый и несгибаемый, как древний кедр, сдержанный и отстраненный в общении, привыкший смотреть свысока, с богатыми владениями, но скарденый, копивший копейку к копейке, был задушевым другом, дорогим, любимым, почитаемым... для Бялика, его «внука» с Волыни, открытого, щедрого, легко делящегося своими сокровищами, транжира, дающего всякому, кто ни попросит, расточающего свое душевное тепло направо и налево. А праведный завсегдатай литовской иешивы Лиллиенблюм, чистый образ скромного аскетичного еврея, трогательного в своей вере и благочестии... но легкомысленные и озорные одесские писатели (они ведь тоже одесситы!) неизменно вспоминают о нем с уважением и любовью. <...>

Я к тому времени не видел Бялика почти восемь лет, с тех пор, как он жил в Варшаве по случаю редакторской работы в журнале «Га-Шилоах». Он и тогда, когда был еще молод, лет этак тридцати, уже стоял в зените ивритской словесности, как полуденное солнце в начале лета. Его мощная поэзия, горящая первозданным огнем, золотой цепью связала его в умах поколения с библейскими пророками и великими поэтам мавританской Испании. Его поэзия заставляла чаще биться наши юные сердца и воздействовала на нас сильнее, чем мощь и жар древних пророчеств, окаменевших под священным трепетом сотен поколений, она была нам ближе, чем завораживающая нездешними звуками поэзия Иегуды Галеви. Поэзия Бялика была волшебной арфой для наших немых сердец — она освободила нас от юношеского смущения, наделила наш дух даром речи, стряхнула с нас прах и поставила перед лицом новой жизни, залила ярким светом терявшийся во мраке наш путь в будущее. И не только это. Бялик как явление служил нам неиссякаемым источником бодрости и веры в осмысленность нашего существования. Он был живым чудом, свидетельством тому, что наш древний национальный дух еще свеж и силен. Что еще не изнемог окончательно наш гонимый, измученный народ, не угас его светоч, он еще способен родить необыкновенного, Богом обласканного сына, наделенного лучшими национальными чертами, выплавленного в священном огне, бушующего и горячего, как один из древних провидцев. И как трепетало, как ширилось в те дни наше сердце при появлении каждого нового стихотворения Бялика! Это не было просто поэтическим наслаждением. Каждое его стихотворение, большое или маленькое, было для нас как весть об облегчении душевного гнёта, как чистая молитва, исходящая из омраченного юношеской скорбью сердца, как ясное и твердое Божье слово для наших заблудших душ. Я и представить себе не могу, какой была бы наша литература последних тридцати–сорока лет, определивших формы ее будущего бытия, если бы Бялик не шел впереди, если бы все мы не были согреты теплом его глубокой души.

Он был тогда нашим отважным вождем — и не только благодаря своей поэзии, но и в силу яркой и цельной своей личности. Я помню наши первые шаги в Варшаве, робкие пробные шаги неуверенных в себе молодых людей. Как льнули мы к этому юному великану, как искали его живительной поддержки. А дивные зимние вечера, которые мы проводили с ним в его жарко натопленной светлой комнате на Панской улице, дом 20, где во дворе располагалась редакция газеты «Га-Цофе». Он снимал тогда эту комнату, и мы купались там в его содержательных речах, изливавшихся на нас щедрым мощным потоком. Он зацеплял нас словами, ободрял и забавлял, и позже, когда мы расходились каждый своей дорогой, я не мог отвести глаз от Бялика, старшего годами и превосходившего меня мудростью, этикой, умением себя вести. Одно из писем, где он благословил меня на поездку в Америку, я долго хранил в сердце, как дорогую память, как наставление доброго учителя. В том письме он написал мне, начинающему двадцатилетнему литератору, такие слова: «Пиши исключительно по святому вдохновению. Не порывай своих связей с друзьями-писателями, остающимися в России. Не пиши на идише. Учись, учись и учись. И всегда тоскуй по стране, где ты родился, по своему маленькому местечку, по детству, по голодным дням, по мху на стене отчего дома, по грехам юности и по Бялику. Эта тоска поможет тебе в горькую минуту и очистит твою душу от всякой грязи и примеси...»

Тосковать по Бялику... Уже одно это пожелание ярко высвечивает образ высказавшего его человека, которого я часто вспоминал в дальних странствиях, испытывая острую до боли тоску. Теперь, когда я вместе с журналом «Га-Олам» прибыл в Одессу, я предвкушал праздник: встречу с Бяликом, буду жить поблизости, проникнусь его светлым и мудрым влиянием.

Восемь лет я не видел Бялика, но внешне он почти не изменился, только несколько раздался вширь, сделался дороднее, солиднее и стал напоминать еврейского «домохозяина». Да еще добавились тонкие морщинки, избородившие высокий лоб и лучиками расходящиеся от доброжелательных глаз, голубизна которых серела и туманилась под гнетом повседневных забот. Но на полном лице то же средечное, приветливое выражение, те же ум и глубина, а во взгляде — тот же молодой задор, чистый и порою лукавый, тот же мягкий, либо настойчивый взгляд, та же добрая улыбка и детская искренность, изливающаяся двумя светозарными снопами из ямочек на щеках и

уголков рта, так что кажется, будто все его лицо озарено неким неземным сиянием, обнажающим на миг тайну его существа, — таков чарующий бяликовский смех, пленивший нас еще в юности и привязавший нас к нему сердечной любовью. И то же теплое прикосновение сильных добрых рук (руки богатыря, чья физическая сила перешла в духовную мощь), та же не знающая возраста подвижность и живость в общении с людьми, тот же дружеский порыв навстречу каждому, стремительное движение души и тела.

Однако внутренний мир Бялика стал глубже, шире, мудренее. Мысли его стали основательнее, увереннее, зрелее, речь — остроумная, прозрачная, меткая. И весь он был похож на могучее дерево в пору зрелости, дерево с многочисленными крепкими корнями и густыми, огружёнными спелыми плодами ветками. За прошедшие годы он заметно углубил свои познания в Торе и языке иврит, добытые им в ходе работы над «Книгой Агады». Ведь он снова, тщательно и с более зрелых позиций, пропахал всё море Талмуда и мидрашей и обогатился сказочными сокровищами, не только интеллектуально, но и всей своей горячей кровью, кровью поэта, творца. Влияние этой деятельности сказывалось у него теперь во всем: к прежней пророческой поэзии, стихам, положенных им на бумагу, добавилась теперь поэзия устных преданий — поэзия агады. Подобно тому, как в прежние годы он по-своему, путем словосочетаний и перефразировки и ораторского пыла вдохнул новую жизнь в речи библейских пророков, так теперь, после глубочайшего погружения в глубины древних преданий, он творил, придавая современную рафинированную форму легендам и сказаниям мидрашей, которые стали целиком его собственными, бяликовскими, и теперь прорывались у него всюду и всегда — в беседах с друзьями и особенно — в его лекциях и выступлениях перед одесскими евреями.

Новая поэзия Бялика увлекала сердца не меньше, чем прежняя. Его современное, эстетизированное мышление, его мудрость и открывающиеся его внутреннему взору картины, его взмывающее ввысь поэтическое слово, его проникающий взгляд, исследующий человека и общество, литературу и историю — всё это он облакал теперь в слова мудрости давних поколений. Чутко и настойчиво он извлекал из бездн забвения обрывки нитей и, связывая их воедино, ткал новое выразительное и искусное слово, созвучное культуре нашего времени. В поэзии он руководствовался тем же принципом, что и в книгоиздательстве, — собрать и обновить древние сокровища, сделать их насущными для наших современников, соединить древний и нынешний еврейские миры, извлечь плодотворные для нас идеи наших полузабытых предков.

Я по-новому наслаждался теперь общением с Бяликом, нашими долгими прогулками по улицам Одессы, ловил слетавшие с его уст перлы, не уступавшие по красоте его стихам. Лишь одно огорчало меня, что столько энергии он расходует попусту, и единицы берут из его нового богатства, которым он щедро одаряет собеседников, нескольких человек из его одесского кружка. И это дивное устное творчество Бялика исчезло из мира вместе с ним.

Перевела с иврита Зоя Копельман

В пасти человека (יבֿרֿיֿת)

ראינוע־סיוט. הסרט אינו ארוך. אפילו לא מיליון מטרי. גליונות־דפוס אחדים, שחיים של שתי השנים עוברים בהם: שנת תרע"ט – תר"ף באודיסה. באמא־אודיסה, עיר ואם באוקריינה, ופהפית־הנגב, שהיתה בשתי שנים ההן לזונה מופקרת אומללה, המחליפה את חשוקיה־מושליה כמחליפה את לבניה המזוהמים, תרשים לבקרים.

סרט בלי טנדנציה: לא בעד ולא נגד. מכונת־הצילום לא ראתה לא את לבין ולא את דיניקין. היא ראתה את החיה הרעה באשר היא אדם ואת האדם באשר הוא גרוע ממנה.

הישנה ריבולוציה לשמח? הריבולוציה אינה אלא הזדמנות: נשף־מסכות בשביל השטן, שבו יכול הוא להשתובב כרצונו.

ונשף לבין־דיניקין היה לבשף־אירוסין: הדוב הרוסי ארש לו את האלמנה אודיסה חיפה ויצא אתה במחולות־הפקר; נערכה סעודת־דמים ובלילה אפל אחד ואנחנו מצאנו את עצמנו בין שני האדם.

קושטא, תמוז תרפ"א.



ר י ב י

על המדרכה יהודים צעירים חקנים מוכרים סיגאוריות.
העיר כמרקחה. הגדוד רק זה כשעות אחדות שכבש
את העיר-הם מוכרים סיגאוריות.

מוחיץ לעיר, וגם בתוך העיר נשמעות עדיין יריות גדולות
וקטנות, כבודת וקלות-הם מוכרים סיגאוריות.
הגדוד שכבש את העיר מטיל אימתו בשורה שלמה
של פרעות נוראות בדרך נצחוני-הם מוכרים סיגאוריות.
עובר חיל אחד ורוצה לקנות.

- בכמה? בכמה עשיריה אחת?

- מאה רובלים; טובות מאד.

- מאה רובלים? יהודי מצודע-הוא לך עשרה רובלים!

יהודי מוחיץ בבת-צחוק של אונס:

- אי אפשר.

ועומדים שניהם על המקח.

נערת, קלצה נמרצת, תרופים. היהודי מחזיר את הסיגאוריות

לתוך הקופסה.

החיל מוציא את אקדחיו-ויוזה בו.

יהודי נופל מת.

החיל מוציא עשרה רובלים מניחם על הקופסה, לוקח

את הסיגאוריות-החולץ לו.

הַרְגָה

אתמול בבוקר נכנסו החיילים המנצחים העירה.
רעש רובלים. תותחים. עגלות משא. קזאקים. עגלת-משא
רחבה, מלאה חיילים מזוינים עוברת ברעש גדול.

על המדרכה מתהלכים יהודים; מעטים.
פתאום יריה: אחת ועוד אחת: חיל אחד מהחיילים
הנוסעים בעגלת המשא ירה ביהודי ואשתו.

הם נופלים מתים.

ושאר המתהלכים על המדרכה - נבעתים לרגע קט,
מביטים על החללים והלכים לדרום.

ועגלת המשא גם כן נוסעת ברכה הלאה.

— אספר למורה ואתה לא תאכל היום ארוחת הערב!
 השני נבהל קצת, פניו חורן, הוא מביט אחרי רעהו
 ההולך, וכשהלה נעלם מעיניו, הוא פונה אל ידה קטנה שאצלו,
 מנענע בכתפיו ואומר בשוון רוח:
 — ילך. יספר. איני מתירא. בין כה וכה מחר יהיה
 יום-כפור, והיום בערב אסור לאכול ארוחת הערב! ילך ויספר!
 אמת? דבורה? יש אלהים!

הגיוס לעבודת-חובה הפך את כל העיר למוקדת.
 לפני הקומוסאריאט-לעבודה שוהה ארוכה, המחכת
 להשתחררות.
 שוהה לאורך הובע-עיר שלם, כמאתים איש בערך.
 כל אחד — בקשתו בידו.
 וה'תור' רותח ממש. כל אחד הושד בחברו, שהתנגב
 אל תוך התור שלא כדון. ומחוס, מריבות, קללות וגדופים.
 והתור רכיגונים.
 צעירים, זקנים, נשים, ילדות, סטודנטים, פועלים קדוים
 ובלויים ביחד עם אֶלְטֵאָנְטִים כביכול, שעוד לא הספיקו למכור
 את בגדיהם ההגונים.
 החום צורב ממש. המצחים מויעים, הלכבות גרעשים,
 התקוות מתכתבות: הקומוסאריאט אינו משחרר כמעט שום איש.
 מעטים הם שזכו להצלחה גדולה זו.
 ואלמלי היו חורצים את משפסם לכל הפחות ביום אחד.
 אלא, שעומדים הם כאן זה ארבעה-חמשה ימים ומחכים,
 ומחכים. עומדים צפופים, מויעים, מתנגחים, מריבים זה עם זה
 ומחכים עד שתעבור שעת העבודה וה'תור' ידחה ליום המחר.
 ובניתים — באים מואת הכולשת ואוסרים את התור:

ה ה י ו ק

זה המשה ימים, שהפקודה גייסה אותם לעבודה, והם
 עומדים כאן בבקשות, כדי להשתמש מן העבודה?"
 מסתכל אני ב"תור" האומץ ומתבונן בפני האנשים,
 שגורת העבודה החריבה את כל עלצם בחייהם.
 ובתוך התור - עומדת עננה קמנה, בת שלשה אופנים
 גדול בערך מכל גופו ביחד.
 אני נגש אליו ושואל:
 - ואתה מה לך פה?
 הוא אינו עונה.
 - מה לך פה אתה?
 הוא שותק.
 אני מרים את קולי:
 - מה אתה רוצה בכאן, חבר?!
 בעל-המומים פונה אלי, פותח את פיו ושואל:
 - הא?
 חרש הוא.
 אני גוזן אל אונז ומבקש מאתו סליחה:
 - למה - אתה - בתור?
 הוא לא רק חרש אלא גם אדם.
 מנגמם דברמה ומחייך בבת צחוק מראגית.
 - אינני מבין! - מרמז אני לו.
 פתאום מוציא הוא את ידו האחת מתוך בגדיו וממלמל:
 - עפרון.
 אני נותן לו עפרון ושם לפניו פסת נייר. רק יד אחת לו.

כב

ידו השמאלית קמועה ובימנית כותב הוא ומוסר לי את
 התשובה. אני לוקח את הפתקה וקורא:
 - כל הליכה ישבתי בכלא, על שאין לי, תעודת
 עמלים".

כג

— שששו! — האדומים. האדומים הלכים וקרבים!
 אדוני! — נגש אלי ותפש את שתי זרועותי — אדוני יהודי טוב?
 ובכן: עלינו לחזיק אותו פה עד שיוכנסו ההם! — רק אדוני
 יכל לעשות את זה. משרתני, החילים שלו הם ביחס של חבה
 אל אדוני. כשיבאו לחזקע לו דבר מה — יקבל אדוני את
 הדיעה — וחזק אותו ביון...
 אם אדוני לא יתפש את החיה הרעה הלזו — אין הוא
 יהודי. — — — — —

כעבור יומים היה שררה אלף בידי החילים האדומים.
 כשתפשו אותו ראיתי והשתומפתי: שום סימן של פחד
 והתרגשות לא היה על פניו הקורים. שכור היה עד כדי נפילה
 ולא פסק מלגנום:
 — אתם הורגים אותי? חבל. אתם, חברים. חבל. באמת
 חבל. רק יהודי אחד היה חסר לי עוד! רק אחד יהודי ומיוחד.
 לא יותר.

פתאום ראה אותי:
 — אדוני ידע! חברים! הארון הזה ידע. אלף היה עלי
 לסדר. אלף. ורק אחד חסר לי עוד! רק אחד.
 וכאלו השתגע בשגעון חשאי פנה אל המובילים אותו:
 — חברים, אני מבקש מאתכם, תנו לי עוד יהודי אחד.
 רק אחד. הלא יש לכם רב. — אני מבקש!...
 הלך מעדנות. — — —

עח

כז
 *ב' ד' ה' ר'.

הקצינים הנאורים של חיל דיניקין מתהלכים בחובות
 בבגדי-שרים הנוצצים, התמוזים, במצב נפש עליו, בצחוק,
 ובעינים בחנות לכל צעד:
 מחפשים הם שונאים, שנשאר תחת ממשלתם. שונאים,
 שלא הספיקו לברוח.

מחפשים ומוצאים.
 אין לך דבר נקל מלמצא שונאים.
 קשה מאד למצא להם טוב, אחבת עם, מנחת שלום,
 רבבות שלמות, פשרה להתכבס לאורך ימים ולחרול ממלחמת-
 אחים: כל זה קשה מאד.
 אך נקל למצא 'שונאים'.

כל אשר חסמו לא לפי רחמי — שונא הוא.
 השונא דינו 'ביעור'. מני-ובי, בלי משפט.
 המשפט הוא דבר משעמם בכלל, 'הביעור' עצמו —
 חיון מענין ומבחד.
 האופיזירים דעתם זוחה קצת והביחה יפה להם.
 ומחפשים הם אחרי ביחה כזו ברחובות.
 ותיקף מוצאים אותה: את השונא.

הפעם שונא זה איננו יהודי. כעין בעל-מלאכה, רומי
 מלידה, העובר לפי תומו על המדרכה.

עפ

האופיזיים מעמידים אותו :
 - לאן אתה הולך ? ?
 התפשט המופתע, שלא השב כלל לפני הרגע את דרכו
 ואת מטרת טיולו - עומד ומביט ומגמגם דבר מה:
 - לאן אני הולך ? ? - ככה - אני - - מטייל -
 - אתה, כן, - עונה לו האופיזיר - מטייל: מוכן, שמטייל
 אתה. אין לך מה לעשות - ואתה מטייל. שלשום עוד מרוד
 היות בעבודת הקודש שלך ואז לא טיילת. היום - שאנחנו
 פה, שה' הצירי שלך נרתעה אחר למוסקבה - נשאת בלי עבודה.
 - איזה חצר ?
 - איזה חצר ? ? חצר המלכות שלך. חצר המלך
 טרוצקי. - נו, בבקשה לעמוד קצת אל הכותל.
 האומלל יודע היטב מה פירוש המלה "אל הכותל". פניו
 מכסופים כמת, עיניו מתמלאות דמעות:
 - אל נא, אדוני - - אוהה פשוט אני. גם הבלשני-
 ביקים הדפוני, פודוני, לא עבדתי עמם - - אל נא - -
 - נו, בלי העיוות. אל הכותל!
 הלך משתטח על המדרכה. האופיזיר בועט בו ברגליו
 ואומר במנוחה:
 - אחר-כך, אחר-כך, חבר, תשתטח. קודם כל עמוד
 אל הכותל. נו אחת, שתיים! -
 האומלל קם, מכליט את עיניו הזועזעות על כל אחד
 ואחד מן האופיזירים, בתהוננים אלמים, ובתוך כך נפוג הוא
 אחר לאט לאט אל הכותל, בידים שטוחות וכפה אלם ועינים
 לחות ובלזמות - - -

פ

- לא ככה - מתקן האופיזיר את עמידתו. - פנה קצת
 הנה. ככה.
 האומלל עוצם את עיניו. -
 לא ככה, חבר - אומר האופיזיר - חבט בעיני, ישר.
 זה לא ענין לעצום את העינים. ישר, בעיניו -
 האומלל פותח את עיניו.
 - והידים למטה. ישר, ובמנוחה. ככה. נו נכשיו עומד
 אתה כדון. ככה. ועתה - - -
 אופיזיר שני, מבין האופיזירים שעמדו כל הזמן והביטו
 על כל זה בבת-צחוק הנאה, נגש אל האופיזיר, המבקר:
 - פליחה רגע.
 והוא נגש אל הקרבן:
 - יש לי איך בקשה, חבר.
 הקרבן עומד כבל-עץ מבלי להבין את הענין: מה זה ?
 הלית מבקש ממנו? בקשה ? לפני מותו? -
 האופיזיר לוקח את ידו האחת, תוקף בה את כמו
 ואומר שוב:
 יש לי איך בקשה. עליך למלא אותה. התמלא ?
 הקרבן מתאדם רגע, ראשו נע איך ואיך ופיו מנגמם
 בתקוה עליונה, ברתת אושר:
 - בבקשה - בחפץ לב - -
 - כן? תודה רבה - עונה האופיזיר - אם ככה, אני
 מבקש ממך, כשתבא לעולם הבא תמסור לסבתי
 ברכת שלום ממני. טוב? נו, תודה!
 ותוקף שוב פעם את כמו בכף האומלל. אחר כך

פא

עזוב הוא אותו, פונה הצדה, אל המפקד, נסוג אחור, ואומר
 בבת-צחוק:
 - תודה. אפשר.
 יריות אקדוח, האומלל נופל מת זכר החברה מתפרצת
 בצחוק מתוק.

כח
 ה'אָפּיקוֹרֶס

אחד מידידי הטובים היה. בחור נחמד. מנומסי בחורי
 הישיבה, שיצאו לתרבות רעה. למוך מופלג בעל כשרונות
 ספרותיים לא מפותחים. אברהם ואלצר מנגליצ'יה.
 בעצם לא יצא עדיין מתוך ה"השכלה" והקופתה. אידיאליז
 חיו: פריץ סולצנסקי, מאפג, היוסופג, התפוח' לאריספו ועל
 כלם: ה"דיסאר". הרמב"ם: ר' משה בן מנחם, בעל ה"כאור".
 משאת-נפשו היתה "כתוב". את השפה העברית אהב
 אהבה חלנית.

בתחילה היה ציוני מתור. אחר כך הרגיש בעצם
 של החמונים הנשגבים ונעשה חבר ל"פועלי ציון".
 - זרחי סינטיה עילאה - אמר לי באושר - "פועלי-
 ציון. ציון לא תבנה אלא על-ידי פועלים. חבל, שלא הרגשתי
 בזה מוכר. חבל על האבדון. כל רגע בחיינו יקר הוא. וכל
 באיה לא ישוּבון. הרבה תעיתי עד שבאתי לכלל זה: ציון
 ופועלים. גם מוצרים לא יצאו בני ישראל בורגנים, ואחרי
 כן יצאו ברכוש גדול? - אך הרכוש ההוא היה לא של יהודים,
 אלא של כלל ישראל. הוא ראייה: נתבעו למשכן ונתנו, נתבעו
 לענף ונתנו. הבורגנים אינם נתונים! פועלי ציון - מה דעתך?
 הסכמתי לי."

כשבאו האדומים הוא לא הסכים להם.

או הנה - אומר הוא בנגון - כרצונך. אחת היא כמעט. הלב
או המוח. אחת היא כמעט. בבקשה.
האופיזיר חורק עליו בשנינו, מתכוון לירות - וכשהאסיר
שוב פעם אומר: „בבקשה חבר” - מושך הוא בכתפיו בעינים
שואלות כלפי הקהל:

- מוח זאת? הוא השתגע? -

האסיר בשלל:

- אני? משוגע? ישמרני אלהים! אני לא משוגע. אני

אדם מסוכן מאוד. בבקשה לחרוג אותי. בבקשה -

הושף את הוהו.

- בבקשה. ישר הנה. - -

האופיזיר מביט בו רגע, נגש אליו, מניש את פניו

אל פני האסיר כבודק אותו. - כעת נעשית בתצוקו של

„חבר” רחבה עוד יותר ועוברת לצחוק רחב, אך אדיב מאוד:

- בבקשה - הא - הא - הא - בבקשה: כלי פדה. -

האופיזיר מביט בו, יורק לו בפניו:

- מפו! -

הולך לו.



קיב

לפ

א ו י ק ה

אודיסה מתבדחת.

על עיר זו שום דבר בעולם אינו משפיע. עיר זו היא

אחת הערים העליונות ביותר שראיתי בימי חיי. אם בלתי

היא סמל הסדר, אם פריז היא סמל האהבה, אם לייפציג

היא סמל המדע, מינכן סמל האמנות ולונדון סמל המסחר -

הרי אודיסה היא סמל הבדיחה, האניקדוטה הנצחית.

ושום סבלות, יסורים ומיתות משונות אינם מעבירים

אותה על בדיחתה.

הרעב כסרמן בקיבה - ואודיסה מתבדחת.

הקונטר-ראוידקה והציניקה ממותתים לאלפים - ואודיסה

מספרת אניקדוטות.

העיר עוברת משלטון לשלטון, מימינים לשמאלים,

משמאלים לבאנדיטים ומבאנדיטים לאנארכיה - ואודיסה צוחקת.

צוחקת על כולם. האניקדוטות שלה ליענות לכולם:

לדניקן, למרצקי, למאכנו, למושקה יפונצ'יק (שרהמנצביא

לאפי גנבים ושודדים), ליהודים, לרוסים, לאוקראינים, לחיים

ולמתים כאחד.

ובמקום האידיוולוגיה הימנית או השמאלית, שלטת

כאודיסה האניקדוטה. הכח המכריע בויכוחים השונים היא

- הבדיחתה.

קיב

פראנסמ'ה. ואך פותח הוא את פיו ומתחיל לדבר - פיצוץ אקדוח והקונפראנסיה נופל מלא קומתו.
 מהומות. מסירים את המת אל אחורי הקלעים.
 והקומיסאר, שגרה בו מותך ישיבה, קם, משתתחה כלפי

הקדל ואומר בנמוס:

- שקט חברים!

וכלפי הבמה:

- בבקשה להמשיך! -

יוצא אחד המשתתפים ואומר:

- הקדל הנכבד בדאי אינו יודע מה קרה פה. המלאכים

שעשו מהפכה בשמים, קבלו רשיון לקאבארט והמר היה להם

שם קונפראנסיה. -

צחוק, הקומיסאר מוחה בפי ברצינות.

מושום-כך, כשהוגישה ממשלת הפועלים בסגנת הברדיחה - אסרה אותה אסור המור, במפגעי. וכל הנתפש באניקדומה או רק בברדיחה - מומות בו במקום. ולא רק על ידיחה כלפי הממשלה עצמה.

יהודי אחד, מספר:

- מדוע זה נדפסים שמרי-המענות בכל השפות השולטות,

בווסות, בגרמנית, בצרפתית, באנגלית ואפילו בסוית ורק

לא באידית? - הוא שואל והוא משיב:

- זוהי „ענקנותו של החבר“ -

ובעד אניקדומה זו - המומות שכל שלטון הפועלים הוא

שלטון היהודים - שלום הכדחן בחייו. בקרן רחוב פושקין

ומאלא-ארנאזקצ'יה, השמיה" אותו קומיסאר אחד רציני

כאוד.

וכל זה ללא יועיל. מספרים את האניקדומה בפה,

בלחישות-רעד, באומת-מות, - אך מספרים אותה.

- „דיפוצ'יה אָסם אַניקדומאַם נון נאַרְבאַרְה“ (קשה

לא לספר אניקדומות) - היה אומר כעת הרומאי, לו היה חי

אתנו כיום באודיסה.

אני יושב בקאבארט שנפתח ברשות הממשלה. הקונ-

פראנסמ'ה מספר אניקדומות אודיסאיות מובהקות. הקהל צוחק

בלי הרף.

ורק קומיסאר אחד הוישב בלוחה - יושב כמו על גבי

גחלים כל הזמן. נע הוא אילך ואילך, אחר כך קם מרוצה

לעזוב את האולם, אך נמלך בדעתו ויושב.

כא, מספר" חדש. ואחרי המספר שוב מופיע הקונ-

קטו

קיד

ועל השלחן: קיסמים לחצוץ את השינים.
 אף אלהים!
 - איך משתמשים בזה? - שואל א. דרויאנוב.
 - מדוע לא שלחו לנו גם, הוראת-שמוש' לזה? שואל
 סופר שני.
 - רוצה אני לראות - אומר ביאליץ - מי מכס יעזי לשבת
 ולאכל מאכלים כאלה! -
 על השולחן לא נשארה אף עצם לחוכה.
 איפה הם קיסמי השינים?
 גם הם נעלמו.
 שלחו לנו עצמות עם סומית-פארת לנסוע העירה.
 בדרך אני רואה חנויות מלאות פירות דשנים וירקות
 שמנים עד כדי התעלפות.
 ובין החנויות - מחסני-קשומים של כסף זהב.
 ובחלקן-ראוה אחד: כתנות לבנות מנוחצות בעמילן - -
 - מה אתה בוכה? - שואלת אותי מרת ביאליץ.
 באמת: עיני דומעות.
 אני נכנס אף חדר המלון המפואר עומד בפתח ומביט
 ברהיטי החדר ונקיונו.
 חברתי נופרת על הספה הרכה, תחבת את ראשה בכר
 היפה ובוכה. אושר.
 השמש המסמאת משטיפה בזהרה את כל החדר.
 ואני - מדליק את כל מנורות החשמל.
 השעון חנדל מכח בכבוד ונבת-צחוק:
 - אהת - שתים - שלש - -

קרב

מד
 ט ז פ ר

ימים אחדים התהלכנו כמוני תקוה. ח. נ. ביאליק ומשה
 קליינמאן הביאו לנו ממוסקבה את השינון לעזוב את רוסיה
 ולנסוע לארץ-ישראל. רשיון זה הוא כעת הפלא הגדול ביותר
 על כדור הארץ. אפילו מרוצקי בעצמו לא היה מקבל רשיון
 לעזוב את רוסיה.
 אנו נוסעים באניה יגנית, אנאסמאזיה. האניה - כגודל
 סירה חגונה. כל גף הגון שוטף את הספון ומפיל אותנו - אין
 דבר: אנו נוסעים. מאפלה לאורה.

בקושטא שלחו לנו ארוחת-הצהרים על האניה.
 אנו עומדים תמיד בפני סעדת המלכים.
 מרק-עוף.
 לחם לבן.
 ירקות.
 צלי.
 עוגות.
 פירות ויין.
 ומיסודה.
 סדין לבן עם ספיות.
 העינים מביטות ואינן מאמינות.

קרב

В пасти человека (перевод)

Кошмар немого кино. Фильм недлинный. Не миллион метров. Несколько печатных листов, на которых проходят события двух лет жизни: 1918-й и 1919-й годы в Одессе. Одесса-мама, великий город на Украине, южная красавица, которая в те два года превратилась в несчастную потаскуху, менявшую своих обожателей-правителей, как грязное белье, — каждое утро новый.

Фильм не тенденциозный: не «за» и не «против». Камера оператора не видела ни Ленина, ни Деникина. Она видела хищного зверя в человеческом обличье и человека, что много страшнее хищников.

Существует ли революция ради революции? Революция — это возможность: маскарад для Сатаны, ибо позволяет ему потешиться в волю.

И бал Ленина–Деникина стал свадебным балом: массы россиян подхватили красавицу-вдовицу Одессу и пустились с ней в разудалый бесстыжий пляс. Состоялась кровавая трапеза, и в одну темную ночь мы оказались в пасти человека.

Константинополь, таммуз 1921 года.

Русский

На тротуаре молодые и старые евреи торгуют папиросами. Город кипит. Всего несколько часов назад войска заняли город, а они торгуют папиросами.

За городом и в самом городе все еще слышны выстрелы, мощные и послабее, артиллерийские и ружейные, а они торгуют папиросами.

Проходит солдат, хочет купить:

— Почём? Почём десяток?

— Сто рублей. Хорошие.

— Сто рублей?! Ах ты, жид пархатый! Вот, держи десять!

Еврей принужденно улыбается:

— Никак нельзя.

И начинается торг.

Раздражение, ругань, оскорбления. Еврей прячет папиросы в коробку.

Солдат берет ружье и стреляет.

Еврей падает замертво.

Солдат достает десятирублевку, кладет на коробку, берет папиросы и уходит.

Привычка

Вчера утром армия победителей вошла в город.

Шум — кавалерия, пушки, груженные повозки, казаки. С грохотом проезжает широкая телега с вооруженными солдатами.

По тротуару проходят евреи, их немного.

Вдруг выстрел, потом еще: солдат, из тех, что на телеге, выстрелил в еврея и его жену.

Те падают замертво.

Прохожие на мгновение пугаются, смотрят на убитых и идут себе дальше.

И телега тоже продолжает свой путь.

Закон

Мобилизация на трудовую повинность взбудоражила весь город.

Перед зданием комиссариата по трудоустройству длинная очередь ожидающих освобождения.

У каждого в руках свое прошение.

И очередь прямо кипит. Всякий подозрительно смотрит на соседа, что влез и занял чужое место, не считаясь с порядком. Споры, ссоры, ругань, проклятия.

А очередь пестрит типами.

Молодые, старые, женщины, девочки, студенты, рабочие, эти — в отрепьях, а рядом — элегантно одетые, им еще не пришлось продать свое приличное платье.

Жара немилосердна. Лбы потеют, сердца волнуются от слабых проблесков надежды: комиссариат почти никого не освобождает от работы. Как мало этих удостоившихся спасения счастливиков!

И если бы еще приговор выносили в течение дня.

Так нет, люди стоят по четыре-пять дней и ждут, ждут. Стоят в тесноте, обливаются потом, продвигаются, ссорятся друг с другом и ждут до тех пор, пока рабочий день не кончится, и очередь не передвинут на завтра.

А тем временем — приходят из ЧК и производят арест очереди: ведь уже пять дней, как дан приказ всем выйти на работу, а эти стоят себе с прошениями с намерением уклониться от работ!

Я смотрю на эту несчастную очередь, вглядываюсь в лица людей, мир которых рухнул из-за приказа о трудовой повинности.

Посреди очереди стоит тележка о трех колесах, а в ней малюсенький человечек, обрубки рук и ног, а голова большая, почти как все остальное туловище.

Я подхожу и спрашиваю:

— Что вы тут делаете?

Он не отвечает.

— Вам-то что здесь надо?

Молчит.

Я говорю громче:

— Что тебе здесь нужно, товарищ?!

Увечный поворачивается ко мне и спрашивает:

— А?

Глухой.

Я наклоняюсь к самому его уху и извиняюсь:

— Почему — ты — в этой — очереди?

Но он не только глух, но и нем.

Мычит и трагически улыбается.

— Не понимаю, — показываю я ему.

Неожиданно он выпрастывает из одежды руку и бормочет:

— Карандаш.

Я протягиваю ему карандаш и кладу перед ним листок бумаги. У него всего одна рука.

Левая рука обрублена, а правой он пишет и подает мне свой ответ. Беру листок и читаю:

— Я всю ночь провел в тюрьме за то, что у меня нет трудового удостоверения.

Шутка

«Просвещенные офицеры» деникинской армии расхаживают по улицам в своей сверкающей, ладно скроенной форме; они веселы, смеются, стреляют глазами по сторонам: ищут врагов, что еще остались там, где теперь их власть. Тех, что не успели сбежать.

Ищут и находят.

Что может быть проще, чем отыскать врага?

Трудно сыскать пропитание, народную любовь, мирный отдых, неповрежденные поезда, долгосрочный компромисс, позволивший бы прекратить гражданскую войну: всё это — чрезвычайно трудно.

Но «врагов» сыскать проще простого.

Всякий, чьи намерения нас не устраивают, — враг.

А к врагу подход один: его уничтожают. Тут же, на месте, без суда и следствия.

Суд вообще скучное дело, а уничтожение само по себе занимательно и забавно.

У офицеров настроение горделиво-приподнятое, им бы развлечься. Вот они и ищут себе забаву на улицах.

И тут же находят: вот он, враг.

На сей раз это не еврей. Как видно, мастеровой, русский от рождения, просто идет себе по тротуару.

Офицеры его останавливают:

— Куда идешь?

Задержанный удивлен, еще минуту назад он даже не задумывался о цели своего пути — стоит, тарашится и бормочет что-то невнятное:

— Куда я иду? Просто — я это — гуляю...

— Так-так, — говорит офицер. — Гуляешь. Ясно, что ты гуляешь. Делать тебе нечего, вот ты и гуляешь. Третьего

дня ты всю священнодействовал, ты тогда не гулял, а сегодня — когда мы тут, когда твой «двор» бежал и докапался до Москвы, — ты остался без работы.

— Какой двор?

— Какой двор?? Твой царский двор. Двор царя Троцкого. — Ну, а теперь, встань, пожалуйста, к стенке.

Бедняга отлично знает, что такое «к стенке». Лицо его сереет, как у мертвеца, глаза наполняются слезами:

— Пожалуйста, господин, не надо, я простой обыватель. Большевики меня тоже преследовали и терзали, я с ними не сотрудничал — пожалуйста... — Ну, не гримасничай. К стенке!

Человек распластался на тротуаре. Офицер пинает его ногой и говорит спокойно:

— Потом, потом, «товарищ», будешь лежать. Сначала встань к стене. Ну, раз, два!..

Несчастный подымается и в немой мольбе переводит искаженный ужасом взгляд с одного офицера на другого, медленно, шаг за шагом, пятясь к стене. Руки подняты, уста немые, выпученные глаза влажны...

— Не так, — офицер поправляет его позу. — Повернись сюда, вот так.

Несчастный зажмуривается.

— Не так, «товарищ», — говорит офицер, — в глаза мне гляди. Так дело не пойдет. Глаз не закрывать, смотреть прямо, в глаза мне, в глаза!

Несчастный открывает глаза.

— Руки вниз, прямо. Стой спокойно, вот так. Ну, теперь ты стоишь перед судом, так-то, и вот — — —

Другой офицер, из тех, что все это время стояли и с довольной усмешкой смотрели на происходящее, подошел к «командиру».

— Прошу прощения...

Он приблизился к жертве:

— У меня к тебе просьба, «товарищ».

Жертва стоит как чурбан, не понимая, в чем дело. Что происходит? *Этот* просит у *него*? Какая такая просьба? Перед смертью?

Офицер берет его за руку, пожимает ее и снова говорит:

— У меня к тебе просьба. Ты должен ее выполнить. Исполнишь?

Жертва вдруг заливаясь краской, голова его качается из стороны в сторону, губы бормочут с вдохновением надежды, в счастливой дрожи:

— Пожалуйста, пожалуйста, я охотно — —

— Да? Большое спасибо, — отвечает офицер. — Тогда я попрошу тебя, когда окажешься на том свете, передай привет моей бабушке, хорошо? Ну, спасибо!

И снова жмет несчастному руку. Затем отходит, поворачивается к командиру, делает несколько шагов назад и говорит со смехом:

— Благодарю, теперь можно.

Звучит выстрел, несчастный падает, и вся компания разражается веселым смехом.

Одесса

Одесса шутит.

Этому городу всё ни по чёму. Этот город — едва ли не самый веселый из всех городов, что мне довелось повидать. Если Берлин — символ порядка, если Париж — символ любви, Лейпциг — символ науки, Мюнхен — символ изящных искусств, Лондон — символ коммерции, то Одесса — символ шутки, символ бессмертного анекдота.

Никакие муки, страдания и казни не изменили ее шутливого нрава.

Голод клешнями вцепился в желудок, а Одесса шутит.

Контрразведка и ЧК убивают тысячами — а Одесса травит анекдоты.

Город переходит из рук в руки, от правых к левым, от левых к бандитам, от бандитов к анархистам — а Одесса смеется.

Она смеется над всеми. Ее анекдоты потешаются над каждым: Деникиным, Троцким, Махно, Мишкой Япончиком, над живыми и мертвыми — все равно.

И вместо правой или левой идеологии в Одессе господствует анекдот. И самый веский аргумент в споре — шутка.

Оттого-то, когда власть трудящихся поняла всю опасность шуток, — запретила их безоговорочно, раз и навсегда. И всякий, кого поймут на анекдоте или даже просто на шутке, — будет расстрелян на месте. И не только в том случае, когда шутка касается власти.

Один еврей «рассказывает»:

— Почему денежные банкноты печатают на всех главенствующих языках — на русском, немецком, французском, английском, даже на китайском, а на идише нет?

Сам спрашивает и сам же и отвечает: — Это из-за скромности пишущего!

За этот анекдот, намекающий на то, что любая власть трудящихся всегда еврейская, — шутник поплатился жизнью. На углу Пушкинской и Малой Арнаутской некий комиссар «уложил» его вполне серьезно.

Но ничего не помогает. Анекдоты рассказывают, дрожа от страха, шепотом, до смерти напуганными, — и все-таки рассказывают.

Difficile est anecdotes non narrare! (Трудно не рассказывать анекдотов!) — сказал бы римлянин, если б жил с нами сейчас в Одессе.

Я сижу в кабаре, открытом с разрешения правительства. Конферансье сыплет анекдотами глупее не придумаешь, публика покатывается со смеху.

И только некий комиссар, сидящий в ложе, сидит как на угольях. Все время ёрзает на месте. Вот он поднимается, чтобы покинуть зал, но потом садится — решил остаться.

Выходит новый «рассказчик». За ним опять появляется конферансье. Но стоило ему открыть рот — револьверный выстрел, и конферансье падает замертво, в полный рост.

Паника. Покойного уносят за кулисы. Комиссар, стрелявший в него сидя, встает, кланяется публике и вежливо говорит:

— Тихо, товарищи!

И обращаясь к сцене:

— Продолжайте, пожалуйста!

Выходит один из актеров:

— Почтенная публика верно не поняла, что здесь произошло. Ангелы, совершив революцию на небесах, получили разрешение открыть кабаре, вот только конферансье у них не нашлось...

Смех. Комиссар аплодирует, совершенно серьезно.

Электричество

Несколько дней мы ходили, пораженные надеждой, как громом. Хаим Нахман Бялик и Моше Клейнман привезли из Москвы разрешение покинуть Россию и ехать в Страну Израиля. В тот момент это разрешение было самым невероятным чудом на земном шаре. Даже сам Троцкий не смог бы получить разрешение покинуть Россию.

Мы плывем на греческом судне «Анастасия». Судно величиной с большую лодку. Каждая приличная волна заливает палубу и валит нас с ног — не страшно, мы уезжаем. Из тьмы к свету.

В Константинополе нам прислали на борт обед. Мы с изумлением взираем на царское угощение.

Куриный суп.

Белый хлеб.

Овощи.

Жаркое.

Пироги.

Вино и фрукты.

И содовая вода.

Белая скатерть и салфетки.

Глазам своим поверить не можем.

А на столе — зубочистки. Господи Боже!

— И что с этим делают? — спрашивает Альтер Друзянов.

— Почему нам не прислали также «инструкцию»? — спрашивает другой литератор.

— Я хочу посмотреть, — говорит Бялик, — кто из вас дерзнет сесть и отведать этой пищи?

На столе не осталось даже обгрызанной косточки! Они тоже исчезли.

Подали нам коляски с великолепными лошадьми, чтоб ехать в город.

По дороге я вижу лавки, они ломаются от сочных фруктов и овощей столь спелых, что, кажется, вот-вот лопнут.

А между лавками — ювелирные магазины с серебром и золотом.

В одной витрине — белые крахмальные отутюженные сорочки...

— Отчего вы плачете? — спрашивает меня госпожа Бялик.

И верно: глаза у меня мокры.

Я вхожу в роскошный гостиничный номер, останавливаюсь на пороге и смотрю на шикарную обстановку и чистоту.

Моя подруга падает на мягкую кровать, зарывается лицом в красивую подушку и плачет. Счастье.

Слепящее солнце заливает комнату сиянием.

А я — зажигаю все электрические лампы.

Солидные часы бьют с достоинством и с улыбкой:

— Один — два — три —

1928

Перевела с иврита Зоя Копельман

Стихотворения

Последний

Всех их ветер умчал к свету, солнцу, теплу,
Песня жизни взманила, нова, незнакома;
Я остался один, позабытый, в углу
Опустелого Божьего дома

И мне чудилась дрожь чьих то крыл в тишине –
Трепет раненых крыл позабытой Святыни,
И я знал: то трепещет она обо мне,
О последнем, единственном сыне...

Всюду изгнана, нет ей угла на земле,
Кроме старой и тёмной молитвенной школы, –
И забила сюда, и делил я во мгле
С ней приют невесёлый.

И когда, истомив над строками глаза,
Я тянулся к окошку, на свет из темницы, –
Она никла ко мне, и катилась слеза
На святые страницы.

Тихо плакала, тихо ласкалась ко мне.
Словно пряча кралом от какого-то рока:
«Всех их ветер унёс, все в иной стороне,
Я одна... одинока...»

И в беззвучном рыдании, в упреке без слов,
В этой жгучей слезе от незримого взора
Был последний аккорд скорбной песни веков,
И мольба о пощаде, и страх приговора...

1902

Пер. В. Жаботинского

לבדי

בָּלֶם נִשָּׂא הַרוּחַ, בָּלֶם סָחַף הָאוֹר,
שִׁירָה חֲדָשָׁה אֶת-בִּקְרַח חֲנִיָּהּ הַרְגִּינָה;
וְאֲנִי, גּוֹזֵל רֶךְ, נִשְׁתַּכַּחְתִּי מִלֵּב
תַּחַת פְּנֵי הַשְּׂכִינָה.

בָּדָד, בָּדָד נִשְׁאַרְתִּי, וְהַשְּׂכִינָה אֶף-הִיא
כְּנֶף וְיָמִינָה הַשְּׂבוּרָה עַל-רֵאשֵׁי הָרַעֲיָדָה.
יָדַע לְבִי אֶת-לֵבָהּ: חֶרֶד חֲרָדָה עָלַי,
עַל-בְּנָהּ, עַל-יְחִידָה.

כָּבֵר נִתְגַּרְשָׁה מִכָּל-הַזְּוִיּוֹת, רַק-עוֹד
פְּנַת סֵתֶר שׁוֹמְמָה וְקִטְנָה נִשְׁאַרְהָ –
בֵּית-הַמְדַרְשׁ – וְתַתְּכַסּ בְּצֵל, וְאֵהִי
עֲמָה יַחַד בְּצָרָה.

וְכִשְׁפָּלָה לְבָבִי לַחֲלוּן, לָאוֹר,
וְכִשְׁצָר-לִי הַמְּקוֹם מִתַּחַת לְכַנְפָּהּ –
כָּבְשָׁה רֵאשָׁה בְּכַתְּפֵי, וְדַמְעָתָה עַל-דָּף
גְּמָרְתִּי נִטְפָה.

חֶרֶשׁ בְּכַתְּהָ עָלַי וְתַתְּרַפֵּק עָלַי,
וְכִמּוֹ שִׁכָּה בְּכַנְפָּהּ הַשְּׂבוּרָה בְּעַדִּי:
«בָּלֶם נִשָּׂא הַרוּחַ, בָּלֶם פָּרְחוּ לָהֶם,
וְאוֹתֶר לְבָדִי, לְבָדִי...»

וְכַעֲיֵן סִיּוֹם שֶׁל-קִינָה עֵתִיקָה מְאֹד,
וְכַעֲיֵן תְּפִלָּה, בְּקִשָּׁה וְחֲרָדָה כְּאַחַת,
שְׂמָעָה אֲזַנִּי בְּבִכָּהּ הַחֲרִישִׁית הַהִיא
וּבְדַמְעָה הַהִיא הַרוֹתַחַת –

תמוז, תרס"ב.

* * *

Приюти меня под крылышком,
Будь мне мамой и сестрой,
На груди твоей разбитые
Сны-мечты мои укрой.

Наклонись тихонько в сумерки,
Буду жаловаться я:
Говорят, есть в мире молодость –
Где же молодость моя?

И ещё поверю шёпотом:
И во мне горела кровь;
Говорят, любовь нам велена –
Где и что она, любовь?

Звёзды лгали; сон пригрезился –
И не стало и его;
Ничего мне не осталось,
Ничего.

Приюти меня под крылышком,
Будь мне мамой и сестрой,
На груди твоей разбитые
Сны-мечты мои укрой...

1902
Пер. В. Жаботинского

הַכְּנִיסִינִי תַּחַת כְּנָפֶיךָ

הַכְּנִיסִינִי תַּחַת כְּנָפֶיךָ,
וְהִי לִי אִם וְאָחוֹת,
וְיִהי חִיקֶךָ מִקְלַט רֵאשִׁי,
קַן-תְּפִלוֹתַי הַנִּדְחוֹת.

וּבַעַת רַחֲמִים, בֵּין-הַשְּׁמֹשׁוֹת,
שְׁחִי וְאֶגְלָל לְךָ סוּד יְסוּרֵי:
אוֹמְרִים, יֵשׁ בְּעוֹלָם נְעוּרִים –
הֵיכֵן נְעוּרֵי?

וְעוֹד כִּי אֶחָד לְךָ אֶתְנַדֵּחַ:
נִפְשִׁי נִשְׂרָפָה בְּלִהְבָּה;
אוֹמְרִים, אֵהְבָה יֵשׁ בְּעוֹלָם –
מֵה-זֹאת אֵהְבָה?

הַכּוֹכְבִים רָמוּ אוֹתִי,
הָיָה חֵלוֹם – אֵד גַּם הוּא עֶבֶר;
עָתָה אֵין לִי כְלוֹם בְּעוֹלָם –
אֵין לִי דָבָר.

הַכְּנִיסִינִי תַּחַת כְּנָפֶיךָ,
וְהִי לִי אִם וְאָחוֹת,
וְיִהי חִיקֶךָ מִקְלַט רֵאשִׁי,
קַן-תְּפִלוֹתַי הַנִּדְחוֹת.

י"ב אדר, תרס"ה.

Умирает лето

Умирает лето. Убрана богато
Роца, будто жертва, в золото, кораллы.
Умирает лето в облаках заката;
Умирая, плачет кровью чистой, алой.

Тихо в парке, пусто... двух не встретишь
рядом...
Криком журавлиным поражен невольно,
Посмотрел я в небо – долгим, долгим
взглядом,
И душою слился с цепью треугольной.

Тяжко сердцу, тяжело сироте-ребенку!
Засмеется выюга, застучит в окошко:
«Починить пора бы сапоги, шубенку,
Да к зиме голодной запасться картошкой!»

1905
Пер. К. Бархина

הַקִּיץ גּוֹעַ

הַקִּיץ גּוֹעַ מִתּוֹךְ זֶהָב וְכֶתֶם
וּמִתּוֹךְ הָאֶרְגָּמֹן
שָׁל-שְׁלֶכֶת הַגְּנִים וְשָׁל-עֵבֵי עֶרְבִים
הַמִּתְבּוֹסְסוֹת בְּדָמֹן.

וּמִתְרוֹקֵן הַפְּרָדֶס. רַק טְזִלִים יְחִידִים
וְטְזִלוֹת יְחִידוֹת
יִשְׁאוּ עֵינֶם הַנוֹהָה אַחֲרֵי מְעוֹף הָאֶחְרוּנָה
בְּשִׁירוֹת הַחֲסִידוֹת.

וּמִתִּיתֶם הַלֵּב. עוֹד מְעַט וַיּוֹם סְגָרִיר
עַל-הַחֵלוֹן יִתְדַפֵּק בְּדַמְמָה:
«בְּדַקְתֶּם נַעֲלִיכֶם? טְלֹאתֶם אֲדַרְתֶּכֶם?
צְאוּ הַכִּינוּ תְּפוּחֵי אֲדָמָה.»

תרס"ה.

Ваше сердце

Словно в дом, где разбито имя Бога над дверью,
В ваше сердце проникла толпа бесенят :
Это бесы насмешки новой вере – Безверью –
Литургию-попойку творят.

Но живёт некий сторож и в покинутых храмах –
Он живёт, и зовётся отчаяньем он;
И великой метлою стаю бесов упрямых
Он извергнет и выметет вон.

И, дотлевши, погаснет ваша искра живая,
Онемелый алтарь распадётся в куски,
И в руинах забродит завывая, зевая,
Одичалая кошка Тоски.

1897

Пер. В. Жаботинского

על לבבכם ששמים

בְּחֶרֶבַת לְבַבְכֶם הַמְזוּזָה נִפְסָלָה,
עַל-כֵּן שָׁם הַשָּׂדִים יִכְרְכְרוּ יְהִימוּ,
וְכַת-הַלְצָנִים, בְּגִי רִיק וּבִטְלָה,
שָׁם עוֹשִׂים הַלּוּלִים וּסְעָרָה יִקִּימוּ.

הַתְּרָאוּ מִי אֲרַב שָׁם אַחֲרֵי הַדָּלָת
בְּמִטְאָטָא? זֶה שְׂמֵשׁ מִקְדָּשִׁים נְחָרְבִים –
הִיאֹוֹשׁ! הוּא בָּא – וְהַכַּת הַצֹּהֶלֶת
תְּטָאָטָא, תִּגְרֹשׁ: «צֵאוּ, הַשׁוֹבְבִים!»

אִז יִדְעַד שְׂבִיב אֲשֶׁכֶם הָאֲחֵרוֹן שְׁעָמָם,
וְנִאֲלָם מִקְדָּשְׁכֶם וְנִשְׂפַח הַהֶמוֹן;
וְעַל־מְעִי מִזְבַּח לְבַבְכֶם שְׁשָׂמָם
יִלְלִיל וַיִּפְהַק חֲתוּל הַשְּׂמָמוֹן.

לאחד העם

ושומר הניצוץ האחרון של-האֵלהים –
 ראינוך ככוכב מרפזי הנוצץ ומקיף
 גלגלו – ומושך את-כוכבי לניתו מסביבו,
 משעבדם מרחוק בכח נעלם לנתיבו;
 ויש אשר יבדקו נפֶשׁם לאורך, וראו
 והנה גם-הרבה מאורם ממך ובשֶׁלֶךְ הוא.

שֶׁא בְּרַכָּה, המורה, מפינו, שֶׁא בְּרַכָּה נֶאֱמָנָה
 על כל שלמדנו ממך ועל כל שנלמדָה.
 הברכה – זה ימים על-שָׁנִים בְּלִבְנוּ נֶאֱפָנָה,
 וצְרוּפָה, משֶׁם עֵתָה יוצאת ואומרת לך: «תודה!»
 שֶׁא בְּרַכָּה מְרַבָּה על כָּל-גֶּרְעִין רַעִיוֹן נֶעְלָה,
 שֶׁנֶזְרַע על-יָדְךָ לְהַפְרוֹת לִבְנוּ הַשָּׁמַם.
 הרבה למדנו מפיך והרבה ממה-שֶׁבִקְשָׁנוּ
 מִצְאָתָ לְמַעַנְנוּ וְאַנְחָנוּ מִיָּדְךָ רָשָׁנוּ –
 ואם-יֵשׁ אֲשֶׁר גם-בְּדוֹרְנוּ תִּנְצֵנֶץ לְפַעֲמִים
 עוד רוח קדֶשְׁנוּ וּבְנִפְשׁ יְהוּדֵי תִתְגַּלֶּה –
 כִּי-עֵתָה לֹא-זָרְחָה בְּאֶחָד מִכָּל-בְּנֵי הַגּוֹלָה
 כְּאֲשֶׁר הִבְחִיקָה וְתִזְהַר בְּנִפְשֶׁךָ הַגְּדוּלָה.

לא-רב צבֶאךָ, המורה, אֵד לֵנוּ יֵשׁ רַב –
 פְּנִיךָ הַמְּאִירִים עוד יִלְכוּ עִמָּנוּ בְּקָרְב.
 וּבְשִׁבַע דְּרָכִים אִם-נִפּוֹץ – יֵאֲסֹפְנוּ כּוֹכְבְּךָ,
 ובאֲשֶׁר הֵנְנוּ נִכּוֹן לִבְנוּ לְלִבְךָ
 כְּאֵל פִּנֵּת הַקֶּדֶשׁ. וְאַנְחָנוּ אֲמוּנָה וְתִפְלָה
 כִּי מִי אֲשֶׁר «לֹא זֶה הַדָּרְךָ» הַשְּׁמִיעַ בְּתַחֲלָה,
 עוד יִתֵּן אֲבִיקוֹת שֶׁל-אֵשׁ בְּיָדֵינוּ הַנְּטוּיּוֹת,
 וְלִקְוֹלוּ הָאֲמִיץ נִתְיָצֵב בְּלֵנוּ קוֹמְמִיּוֹת,
 וְלִמְעַלָּה לְמַעַלָּה אֶת-אֵשׁ הַלְּפִידִים נְרִימָה,
 וְנִרְאָה בְּיָד רְמָה לְעֵינֵי כָּל-תְּפוּצוֹת הַגּוֹלָה
 הַדָּרְךָ הַעוֹלָה
 קְדִימָה!

טבת, תרס"ג.

במזל לא-נדע מה-שָׁמוּ וּבִין תְּלֵי חֲרָבוֹת
 בְּנֵי-זְקוּנִים לְעַמָּנוּ הַשֵּׁב עִם-חֲשֶׁכָה נוֹלְדָנוּ;
 מְגִדְלִים מִנְעַר בְּצַל וְעֵלֵי קְבָרוֹת הָאֲבוֹת –
 לְקִרְאָת אֹר הַחַיִּים בְּרַמַּח אֲבֵרֵינוּ
 חֲרָדָנוּ.

וְכֹל-אֶחָד וְאֶחָד עִם גֵּר הָאֵלֵהִים שֶׁבְּלִבּוֹ
 יָצָא בְּזַמֵּן בֵּין-הַשְּׁמָשׁוֹת לְבִקֵּשׁ כּוֹכְבוֹ.
 וְהַשְּׁעָה שְׁעַת תְּהוֹ וְבִהוּ, שְׁעַת עֲרֻבֵי הַתְּחוּמִים
 שֶׁל אַחֲרִית וְרֵאשִׁית, שֶׁל סְתִיכָה וּבִנְיָן, שֶׁל זְקֵנָה
 וְעֲלוּמִים.

וְאַנְחָנוּ, יְלִידֵי בִינִים, בְּיּוֹדְעִים וּבְלֹא-יּוֹדְעִים,
 לְפָנֵי שְׁתֵּי הַרְשָׁיוֹת גַּם-יַחַד מִשְׁתַּחֲוִים וּמוֹדִים;
 וְתִלוּיִם בְּאֶמְצַע בֵּין שְׁנֵי הַמְּגִיטִים הַלְלוּ
 כָּל-רְגִשׁוֹת לִבְנוּ הַסְּתוּמִים אֲזִי נִבִּיא שֶׁאֵלוּ;
 נְבִיא אֲמָת, שֶׁיִּגַע בְּצִנּוֹר לִבְנוּ וְיִבֵּא
 וְיִדְלִיק מְלַמְעֵלָה, מַעַל לְרֵאשֵׁנוּ, כּוֹכְבוֹ,
 וְרוּחוֹ יְהִי הַמְּבוּעַ לְכָל-הַהֲרֵהוּרִים
 הַכְּבוֹשִׁים בְּהִרְבָּה לְבָבוֹת כְּחִלְמוֹת לֹא בְּרוּרִים.
 וּבַעוֹד מְבֻטְנוּ בְּתוֹךְ הַעֲרָפֶל תְּקוּעַ,
 וּבַעוֹד אֲנוּ תּוֹעִים נוֹאשִׁים וּקְטִי אֲמָנָה,
 מִתְמַהֲמְהִים עַל פְּרִשֵׁת דְּרָכִים וְשׁוֹאֲלִים: אֵנָּה? –
 וְיִנְצֵנֶץ כּוֹכְבְּךָ, מוֹרְנוּ, וּבְרַמּוֹ צִנּוּעַ
 קְרָאנוּ מִתּוֹךְ הַעֲרָפֶל וַיִּמְשֶׁךְ אוֹתָנוּ –
 וְאֶל-תַּחַת כּוֹכְבְּךָ הִיחִידֵי נִזְעַקְנוּ כְּלָנוּ.

וְלִמְיוֹם שֶׁבֵּט אוֹרְךָ, הַמּוֹרָה, עֲלִינוּ יְנוּחַ –
 רְאִינוּךָ כְּאֲרִיָּאל הָאֲמָת וְכֵאֵתָן הָרוּחַ,
 נְקִי-דַעַת, צִנּוּעַ וְטָהוֹר בְּסִתְרָה פְּבַגְלוּי,
 בְּטוּחַ בְּאֲמָתוֹ וּבְדַעַת אַחֲרִים לֹא-תִלוּי,
 דּוֹרְךָ בְּשִׁבִילוֹ הַמְּיַחֵד, בְּהִיר-עֵין וְתִקְיָי,
 נוֹשֵׂא גַחְלָתוֹ בְּלִבּוֹ לְפָנֵי וְלַפְנִים

Ахад-Гааму

Под безымянной звездой, среди руин и развалин
 Родились мы во мраке, последыши старца-народа;
 С детства росли мы в тени, на отцовских могилах, —
 И света жизни боялись до дрожи, до боли.
 И вот каждый из нас, неся Божью свечу в своем сердце,
 Вышел в сумерки, чтоб отыскать свою звездочку в небе.
 Время же хаосом было, все в мире смешалось —
 Концы и начала, крах и строительство, старость и младость.
 Мы ж, поколение смуты, желая и сами того не желая,
 Благодаря раболепно, обеим служили властям;
 Между двух полюсов мы повисли, не зная, что выбрать,
 И в смятении чувств обратились с вопросом к **пророку**.

Истинный был то пророк, он нашего сердца коснулся
И зажег в вышине, над нашей главою, звезду,
И дух его стал родником и питал размышленья,
Что многие в сердце таят, как неясную светлую грёзу.
Пусть еще взор наш встречается повсюду туманы,
Пусть мы в отчаянье бродим, не зная пути, малOVERы,
И «на распутье»¹ застынем с вопросом: куда нам идти? —
Ты, Учитель, ответишь нам светом звезды и кротким намёком
Позовешь из тумана, поведешь за собою —
И под этой звездой одной мы все вместе сойдёмся.

И с того дня, Учитель, как твой указующий перст нас коснулся,
Ты нам вестником истины был, был нам духом могучим.
Чистый сердцем и ясный умом, скромный и неподкупный,
Верил в правду свою и мыслью чужой не прельщался,
По своей, по неторной тропе шел упрямо,
Сберегая в груди уголек, что добыт был издревле,
И храня его искру последнюю, Божию искру, —
Ты казался звездой путеводной, что по своду идет
И плеяду далёких светил за собой увлекает,
Подчиняя их тайною силой. И нередко бывает,
Что заглянем мы в душу свою — и твой свет там находим.

Мы тебе благодарны, Учитель, за всё, чему ты научил нас.
Дни и годы признательность эта в сердцах наших свято хранилась,
А теперь она вышла на свет и молвит: «Спасибо!».
Спасибо за каждую мысль, чье зерно
Ты, как сеятель, бросил в пустынную почву сердец поколенья.
Многому ты научил нас, и многие то, что искали,
Нашли у тебя, и забрали себе как наследство, —
И если случится и нам сверкнуть неожиданной искрой,
Если в нашей еврейской душе дух святой на мгновенье проснется, —
Знай, не сверкнула б она никогда среди евреев Изгнанья,
Коль не вспыхнула б прежде в твоём щедром сердце.

Твои рати, Учитель, не блещут числом, но ты блещешь —
И твой лик лучезарный еще поведет нас в сраженье.
И пусть много дорог — мы пойдём за твоею звездой,
И где б ни были мы, наше сердце с твоим в унисон будет биться.
И мы верим, что тот, кто прежде сказал: «То не наш путь»²,
Вложит в руки нам факел горящий, и вместе
Мы на смелый твой клич отзовемся и выступим гордо.
Высоко поднимая твой факел и тьму разгоняя,
Путь укажем евреям, затерявшимся в странах Изгнанья,
Путь, ведущий
К Востоку!

Зима 1903/1904.

Перевела с иврита Зоя Копельман.

¹ Название сборника статей Ахад-Гаама, вышедшего в Одессе весной 1895 г.

² Название статьи Ахад-Гаама, опубликованной весной 1889 г. в журнале «Га-мелиц».

Если познать ты хочешь...

Если познать ты хочешь тот родник,
Откуда братья, мученики-братья
Твои черпали силу в черный день,
Идя с весельем на смерть, отдавая
Свою гортань под все ножи вселенной,
Как на престол вступая на костры
И умирая с криком: Бог единый! —

Если познать ты хочешь тот источник,
Из чьих глубин твой брат порабощенный
Черпал в могильной муке, под бичом,
Утеху, веру, крепость, мощь терпенья
И силу плеч — нести ярмо неволи
И тошный мусор жизни, в вечной пытке
Без края, без предела, без конца; —

И если хочешь знать родное лоно,
К которому народ твой принимал,
Чтоб выплакать обиды, вылить вопли —
И, слушая, тряслись утробы ада,
И цепенел, внимая. Сатана,
И трескались утесы, — только сердце
Врага жесточе скал и Сатаны; —

И если хочешь видеть ту твердыню,
Где прадеды укрыли клад любимый,
Зеницу ока — Свиток — и спасли;
И знать тайник, где сохранился дивно,
Как древле чист, могучий дух народа,
Не посрамивший в дряхлости и гнете
Великолепя юности своей; —

И если хочешь знать старушку-мать,
Что, полная любви и милосердия
И жалости великой, все рыданья
Родимого скитальца приняла
И, нежная, вела его шаги;
И, возвратясь измучен и поруган,
Спешил к ней сын — и, осеня крылами,
С его ресниц она свевала слезы
И на груди баюкала... —

Ты хочешь,
Мой бедный брат, познать их? Загляни
В убогую молитвенную школу,
Декабрьскою ли ночью без конца,
Под зноем ли палящего Таммуза,
Днем, на заре или при свете звезд —
И, если Бог не смел еще с земли
Остаток наш, — неясно, сквозь туман,
В тени углов, у темных стен, за печкой
Увидишь одинокие колосья,

אם-יש את-נפשך לדעת

אם-יש את-נפשך לדעת את-המעין
ממנו שָׁאֲבוּ אֶחֱיךָ הַמוֹמְתִים
בִּימֵי הָרָעָה עוֹ כְּזָה, תַּעֲצוֹמוֹת נֶפֶשׁ,
צֵאת שְׂמַחִים לְקִרְאת מָוֶת, לְפֶשֶׁט אֶת-הַצְּוָאר
אֶל-כָּל-מֵאֲכָלֶת מְרוֹטָה, אֶל-כָּל-קֶרֶדֶם נְטוּי,
לְעֹלוֹת עַל-הַמוֹקֵד, לְקַפֵּץ אֶל-הַמְדוּרָה,
וּבִ«אֶחָד» לְמוֹת מוֹת קְדוּשִׁים —

אם-יש את-נפשך לדעת את-המעין
ממנו שָׁאֲבוּ אֶחֱיךָ הַמְדַכְּאִים
בֵּין מְצָרֵי שְׂאוֹל וּמְצוּקוֹת שַׁחַת, בֵּין עֲקֻרְבִים —
תַּנְחוּמוֹת אֵל, בְּטָחוֹן, עֲצָמָה, אֶרֶךְ רוּחַ
וְכַח בְּרִזָּל לְשֵׁאת יָד כָּל-עַמִּל, שְׂכָם
הַנְטוּי לְסַבֵּל חַיֵּי סָחִי וּמָאֵס, לְסַבֵּל
בְּלִי קֶץ, בְּלִי גְבוּל, בְּלִי אַחֲרִית —

אם-תִּאבְּהָ לְרִאוֹת אֶת-הַחֵיק אֲלֵיו נִשְׁפָּכוּ
כָּל-דְּמָעוֹת עֲמָךְ, לְבוֹ, נִפְשׁוֹ וּמִכְרָתוֹ —
מְקוֹם כְּפִיִּים נִתְכוּ, פָּרְצוּ שְׂאֲגוֹתָיו,
שְׂאֲגוֹת הַמְרַגְּזוֹת בְּטָן שְׂאוֹל תַּחֲתִיּוֹת,
אֲנַחוֹת שְׂמִפְחָדָן סָמַר גַּם-הַשָּׁטָן,
נְהִי מְפּוֹצֵץ צוֹר, אֶךְ לֹא קָשִׁי לֵב הָאוֹיֵב
הַעֲזוּ מִצוֹר, הַקֶּשֶׁה מִן-הַשָּׁטָן —

אם-יש את-נפשך לדעת את-המעין
אֶל-רֵאשׁוֹ מְלִטּוֹ אֲבוֹתֶיךָ מִשְׂאֵת נֶפֶשׁם,
תּוֹרָתָם, קְדָשִׁי קְדָשִׁיהֶם — וַיִּצְלוּם;
אם-תִּאבְּהָ דַעַת אֶת-הַמַּחְבֵּא בּוֹ נִשְׁמָרָה —
וּבַעֲצָם טְהַרְהָ — רוּחַ עֲמָךְ הַכְּבִירָה,
שֶׁגַם בְּשִׁבְעָה חַיֵּי חֲרָפָה, רַק וּכְלָמָה
שִׁיבְתָהּ לֹא-הוֹבִישָׁה חֲמֻדַת נְעוּרֶיהָ —

אם-תִּאבְּהָ דַעַת אֶת-הָאֵם הַרַחֲמִנִיָּה,
הָאֵם הַזְּקֵנָה, הָאֶהְבֵּת, הַנְּיָאֲמָנָה,
שְׂבָרַחֲמִים רַבִּים אֶסְפָּה דְּמָעוֹת בְּנֵה הָאֲבָד,
וּבַחֲמָלָה גְדוֹלָה כּוֹנֵנָה כָּל-אֲשׁוּרָיו,
וּמַדֵּי שׁוּבוּ נִכְלָם, עֵינָי וְגַע
אֶל-תַּחַת צַל קוֹרְתָה תִּמַּח אֶת-דְּמָעוֹתוֹ,
תִּכְסְּהוּ בְּצַל כְּנָפֶיהָ, תִּישָׁנְהוּ עַל-בְּרָכֶיהָ —

הוּי, אַח נַעֲנֶה! אִם לֹא-תִדַּע לָךְ כָּל-אֵלָה —
אֵל - בֵּית הַמִּדְבָּר שׁוֹר, הַיִּשְׁן וְהַנּוֹשֵׁן,
בְּלִילֵי טַבַּת הָאֲרָכִים, הַשׁוֹמְמִים,
בִּימֵי הַתְּמוּז הַבְּעָרִים, הַלְהֻטִים,
כָּחַם הַיּוֹם, בְּשַׁחַר אוֹ בְּנִשְׁפָּף לֵילָה,
וְאִם-עוֹד הוֹתִיר אֵל לְפִלִּיטָה שְׂרִיד מְצָעַר —
אֲזוּ אוֹלֵי גַם-כִּיּוֹם תִּרְאֶינָהּ בּוֹ עֵינֶיךָ
בְּשִׁפְעַת צְלָלֵי קִירוֹתָיו, בְּעֶרְפֶּל,

Забутые колосья, тень чего то,
 Что было и пропало, — ряд голов,
 Нахмуренных, иссохших: это — дети
 Изгнания, согбенные ярмом,
 Пришли забыть страдания за Гемарой,
 За древними сказаньями — нужду
 И заглушить псалмом свою заботу...
 Ничтожная и жалкая картина
 Для глаз чужих. Но ты почувешь сердцем,
 Что предстоишь у Дома жизни нашей,
 У нашего Хранилища души.

И если Божий дух еще не умер
 В твоей груди, и есть еще утеха,
 И теплится, прорезывая вспышкой
 Потемки сердца, вера в лучший день, —
 То знай, о бедный брат мой: эта искра —
 Лишь отблеск от великого огня,
 Лишь уголек, спасенный дивным чудом
 С великого костра. Его зажгли
 Твои отцы на жертвеннике вечном —
 И, может быть, их слезы нас домчали
 До сей поры, они своей молитвой
 У Господа нам вымолили жизнь —
 И, умирая, жить нам завещали,
 Жить без конца, вовеки!

1898

בְּאַחַת זְיוֹתֵינוּ אוֹ עַל-גַּד-תַּנּוּרוֹ
 שְׂבָלִים בּוֹדְדוֹת, כְּצֵל מִמֶּה-שֶׁאֲבֹד,
 הַיּוֹדִים קִדְרִים, פְּנִים צִמְקִים וּמְצַרְרִים,
 הַיּוֹדִים בְּנֵי הַגְּלוּת, מִשְׂכֵי כְבֹד עָלָה,
 הַמְנַשִּׁים אֶת-עַמְלֵם בְּדָף שֶׁל-גְּמֵרָא בְּלָה,
 מִשְׂפִּיחִים רִישָׁם בְּמִדְרַשׁ שִׁיחוֹת מִנִּי קִדְם
 וּמְשִׁיחִים אֶת-דְּאָגְתָם בְּמִזְמוֹרֵי תְהִלִּים –
 (אֵהָה! מֶה-נִקְלָה וְעֵלּוּבָה זֶה הַמְרָאָה
 בְּעֵינַי זָר לֹא-יָבִין!) אִזּוֹ יִגְדֵךְ לְבָבְךָ,
 כִּי הִגְלֵךְ עַל-מִפְתָּן בֵּית חַיֵּינוּ תִדְרֹךְ,
 וְעֵינֶךָ תִּרְאֶה אוֹצֵר נִשְׁמַתָנוּ.

וְאִם לֹא-לֶקַח אֵל מִמֶּךָ כָּל-רוּחַ קִדְשׁוֹ
 וַיּוֹתֵר עוֹד מִתַּנְחוּמוֹתָיו בְּלִבְבְּךָ,
 וְשָׁבִיב תּוֹחֶלֶת אֶמֶת לְיָמִים טוֹבִים מְאֹלָה
 וְגִיחַ עוֹד לַפְעָמִים מִפְּלִשֵׁי מַחֲשָׁבִיו –
 אִזּוֹ דַע לֵךְ וּשְׁמַע, הֵה, אַחֵי הַנְּעֻנָה!
 כִּי רַק זֵיק מִצָּל הוּא, רַק נִיצוֹץ פְּלִיטָה קָטָן,
 אֲשֶׁר בְּנִס הַתְּמַלֵּט מִן-הָאֵשׁ הַגְּדוֹלָה
 הָאִירוּ אֲבוֹתֶיךָ עַל-מִזְבְּחָם תְּמִיד.
 וּמִי יוֹדֵעַ אִם לֹא-נִחְלִי דְמַעוֹתֵיהֶם
 הָעֵבִירוֹנוּ וַיְבִיאֻנוּ עַד-הַלֵּם
 וּבִתְפִלָּתָם מֵאֵת אֲדֹנָי שְׁאֵלוֹנוּ;
 וּבְמוֹתָם צִוּוּ לָנוּ אֶת-הַחַיִּים –
 הַחַיִּים עַד-הָעוֹלָם!

תרנ"ח.

Из народных песен

Над колодцем, что в саду,
 У ведра я тихо жду:
 По субботам о н стучится
 У меня воды напиться,

Жарко. Все в глубоком сне:
 Листья, мухи на плетне,
 Мать, отец... Не спим мы двое:
 Я да сердце молодое.

Да не спит еще ведро,
 И роняет серебро
 Кап-кап-кап на дно колодца...
 Милый близко... сердце бьется...

Чу — в саду шуршат кусты —
 Это пташка — или ты?
 Это милый! Скоро, скоро!
 Я одна, нигде ни взора...

יש לי גן

יש לי גן ובאר יש-לי,
 וְעַלִי בְּאָרֵי תְלוּי דָלִי;
 מִדִּי שֶׁבֶת בָּא מַחְמַדִּי,
 מִים זָפִים יִשְׁתֵּ מִכְּדִי.

כָּל-הָעוֹלָם יָשׁוּן – הֵס!
 נָם תַּפּוּחַ וְאַגָּס;
 אֲמִי נָמָה, נִרְדָם אֲבִי,
 עָרִים רַק אֲנִי וּלְבָבִי.

וְהִדְלִי כְּלִבְבִי עַר,
 נוֹטָף פֹּז אֶל-פִּי הַבְּאָר,
 נוֹטָף פֹּז וְנוֹטָף בְּדִלַח:
 דוֹדֵי הוֹלֵךְ, דוֹדֵי הוֹלֵךְ.

הֵס, בְּגֵן נִדְעָעֵעַ נוֹף –
 דוֹדֵי בָּא אִם-פְּרָכֵס עוֹף?

Сядем рядом, руку дай
И загадку отгадай:
Отчего так жадно рвется
Мой кувшин к воде колодца?

И зачем мое ведро
Плачет, сея серебро,
Без утехи, без ответа
От рассвета до рассвета?

И зачем так больно мне
Где-то в сердце, в глубине?
Правда ль — мама говорила —
Что тебе я опостыла? —

Отвечает мой жених: —
Сплетни недругов моих!
Через год мы, той весною,
Будем мужем и женою!

Будет чудная весна,
Небо в золоте без дна,
И деревья все с приветом
Нас осыплют сладким цветом.

Братья, сестры, вся семья,
Свахи, дружки и друзья,
Тьма гостей за скрипачами
Поведут нас со свечами.

На ковер тебя взведу —
Пред колодцем, здесь в саду;
Ты подашь мне дар богатый —
Белый пальчик розоватый.

И промолвлю громко я:
«Посвящаю — ты моя» —
А враги придут к нам в гости
И полопают со злости...

1906—1908

דוֹדִי, דוֹדִי! — חוּשׁ מִחַמְדִּי,
אֵין בְּחֶצֶר אִישׁ מִלְבָּדִי.

עַל הַשִּׁקְתַּ נִּשְׁבַּ אָט,
רֹאשׁ אֶל-כֶּתֶף, יָד אֶל-יָד;
אֲחוּד חִידוֹת לָךְ: מַדּוּעַ
כִּי הִכָּד אֶל-הַמְּבוּעַ?

וּמַדּוּעַ, הִגַּד-לִי,
יָבֵד בְּדַמְמָה, יָבֵד הַדְּלִי —
טִיף, טִיף, נִים — וְכֵה בְּלִי הַרְף
מִן-הָעֶרֶב עַד הָעֶרֶב.

וּמַאֲיֵן בָּא הַכָּאֵב
כְּתוּלַעַת אֶל הַלֵּב? —
הוּא, הָאֲמַת שְׂמֵעָה אֲמִי,
כִּי לְבָבְךָ סָר מֵעַמִּי?

עָנָה דוֹדִי וְאָמַר לִי:
שׁוֹנְאֵי שְׂקָר עָנוּ בִּי!
וּבַעוֹד שְׁנָה, כָּעַת חַיָּה,
אֶל הַחֶפֶה נִלְךָ, פְּתִיחָה!

יּוֹם שֶׁל-קִיץ יִבְהִיק אֲזוֹ,
עַל רֹאשֵׁנוּ יִיָּצֵק פֶּזוֹ,
וּיִבְרַכּוּנוּ מִן הַגְּדֵרוֹת
כְּפוֹת עֲצִים טְעוּנֵי פְרוֹת.

אֲחַ וְרַעַ, דוֹד וְשֹׂאֵר,
קִהַל גְּדוֹל, אִישׁ וְנָר,
וּכְלֵי זֶמֶר כָּל-הַמִּינִים
יּוֹלִיכוּנוּ עִם שׁוֹשְׁבֵינִים.

וְהַחֶפֶה תַּעֲמֹד כָּאוֹ:
בֵּין הַבָּאֵר וּבֵין הַגֶּן;
אֶת תּוֹשִׁיטִי לִי שֵׁם דְּרָךְ:
אֲצַבֵּעַ קִטְנָה עִם צַפְרָךְ.

וְאָנִי לָךְ: «הֲרִי אֶתְּ
מְקַדְּשֶׁת לִי לְעַד» —
שׁוֹנְאֵי יִהְיוּ שָׁם וְרֵאוּ,
וּמִקְנָאָה יִתְפַּקְעוּ.

* * *

Эта искра моя мне досталась
Не находкой в пути, не в наследство –
Из кремня в моём сердце добыта
Тяжким молотом бедства.

Пусть одна и мала эта искра,
Что в груди я заботливо крою, –
Но моя, вся моя, – и зачата,
И взлелеяна мною.

И когда о кремень в моём сердце
Бьёт, дробя, молот скорби и гнева,
Брызжет искра моя, зажигая
Пламя в звуках напева.

И напев опалает вам душу,
И пожар в ней пылает, бушует, –
А потом за убытки пожара
Кровью сердца плачу я....

1905

Пер. В. Жаботинского

לא זכיתי באור מן-ההפקר

לא זכיתי באור מן-ההפקר,
אף לא-בא לי בירשה מאבי,
כי מסלעי נצורי נקרתי
וחצבתי מלבבי.

ניצוץ אחד בצור לבי מסתתר,
ניצוץ קטן – אף כלו שלי הוא,
לא שאלתיו מאיש, לא גנבתי –
כי ממני ובי הוא.

ותחת פטיש צרותי הגדולות
כי תפוצץ לבבי, צור-עזי,
זה הניצוץ עף, נתז אל-עיני,
ומעיני – לחרוזי.

ומחרוזי תמלט ללבבכם,
ובאור אשכם הצתיו, תעלם,
ואנכי בחלבי ובדמי
את-הבערה אשלם.

תרט"ב.

Стихи, написанные в Одессе

Сонет

Не миги сна в тебе, не миги в грезах сладких,
Природа, вижу я движенье, вечный бой! –
На снежных высях гор, в глубоких копиях, в шатких
Песках пустынь, меж туч, несущихся гурьбой!

Когда душа скорбит, ум мучится в загадках,
И гибнет цвет надежд, как лилии зимой, –
На берег я иду, где волны в буйных схватках
Ревут и где, могуч, стоит утес седой.

И там мне стыдно волн, что, со скалами споря,
Разбиты в пыль, встают и рушат вновь обвал,
Над гребнем – гребень пен, над павшим валом – вал!

И там мне стыдно скал, что, встав над бездной моря,
Снося удары волн, летящих тяжело,
Не внемлют гулу вокруг и взносят в высь чело.

Одесса, 1896

Перевод В. Брюсова, 1918

לא רגעי שנת, טבע

לא רגעי שנת, טבע, וחלומות ימתקו,
רק רגש בך אראה וסערות הקרב:
על מרום שׂיא הריף ובמכרות עמקו,
בתהומות הישימון ובצל חביון עב.

כי תאכל נפשי, ופצעי יועקו,
תקוותי תבלגה כשושן בסתו,
אנודה למקום שם משברים ינאקו,
למקום צוקיו ירים צור אדיר ושב.

אז בשתי מגלים הרבים בסלעים,
שהמה, בהתמוללם, שבים לרגעים,
וטור מטור ירום, גל יגבר מגל;

מצורים נכלמתי, שהמה בגאונם
אל מחץ משברים, אל נהמם והמונם
יסגירו את לבם, וראשיהם אל על...

אודיססה, 1896

Весной

Весной нашей жизни, весною, в природе,
Под кущей забытых аллей,
В ночь, полную тайны, тебя целовал я,
К груди прижимая своей...

Вокруг все замолкло, природа застыла,
Когда я тебя обнимал;
Как сердце в груди твоей, билось, я слышал,
Как гимн в нем весенний звучал...

С лесным ароматом и пенем дрожали
В нем звуки весны молодой...
Весной нашей жизни, весною в природе
Под темной, застывшей листвой...

Одесса, 1896
Перевод Л. Яффе, 1902

בְּאַבִּיב־יָמֵינוּ, בְּחֹדֶשׁ־הָאָבִיב

בְּאַבִּיב־יָמֵינוּ. בְּחֹדֶשׁ־הָאָבִיב,
בְּשִׁדְרָהּ הַהִיא הַגְּשֻׁפְתָּהּ
וּבְרַגְעֵי לַיְלָה־קָסָם וְהַמּוֹן תְּעִלּוּמוֹת
חֲבִקְתִּי, גִּשְׁקִתִּי אוֹתְכָהּ.

וַתְּהִיָּה, וַתִּשָּׂר הַדְּמָמָה סְבִיבּוֹ,
בְּחִבְקִי וּבְגִשְׁקִי אוֹתְכָהּ,
עַד כִּי הָאֲזוּנָתִי אֶת לִבְךָ בְּרִטְטוֹ.
הַהוֹגָה וְדוֹפֵק בְּךָ כִּכָּהּ.

בּוֹ צִלְצְלוּ קוֹלוֹת הָאָבִיב הַרְעָנָן,
הַמּוֹן מְנִיגוּתָיו וּפְרָחָיו...
בְּאַבִּיב־יָמֵינוּ, בְּחֹדֶשׁ־הָאָבִיב –
גִּדְמוּ הַפְּרִדָּס וְסִבְכָיו...

אודיסה, 1896

* * *

Когда ночной порой рука скользит над лютней,
И рвется от тоски певучая струна,
И нежной флейты вздох печальной, бесприютней,
И песня Господа томления полна;

Когда лазурный флер колыхнется над нивой,
И месяц золотой блуждает в небесах,
И караваны туч ползут грядой ленивой,
И сны туманные колдуют при лучах;

Когда могучий вихрь проносится циклоном
И с корнем кедры рвет, вздымая пыль столбом,
И ливни в прах дробят гранит по горным склонам,
И реют молнии, и вокруг грохочет гром; —

Тогда живу с тобой, о, Божий мир безбрежный,
Свободы и борьбы всем сердцем жажду я,
Со стоном всех миров летит мой стон мятежный,
И с кровью всех борцов струится кровь моя...

Одесса, 1897
Перевод П.Н. Беркова, 1918

עַת כְּנֹר תַחַת יָד רוֹגֶשֶׁת יְתִיפָה

עַת כְּנֹר תַחַת יָד רוֹגֶשֶׁת יְתִיפָה,
וַיִּנְתַּק מִיָּתֶר רֶךְ מִמְרֵי הַכָּאֵב הָעוֹ,
בְּפֶרֶץ יָם צִלְצְלֵי חֵן בְּעוֹגֵב יֶאֱנַח,
וַתִּקַּר שִׁירַת־יְהוָה וְהַמִּיתָה הַגִּיּוֹן־רוֹ;

בְּצַעֲרֶיהָ הַתַּכְלֵת עֵת עֲרָבוֹת תְּרַנְעֶנָּה,
יָרַח כְּחוֹלִים גָּד, וְאַלֶּם דְּמֵי הַלַּיִל,
כְּבִמְקָסֶם הָאֶשֶׁף הָעֵבִים כִּי תוֹפְעֶנָּה,
וַיִּצְוִי עֲרַפְלֵי־עֵב יִרְקָמוּ בְּמִרְחַב אֵל;

בְּרַעַשׁ, בְּגַעֲשׁ וְנִתַּץ אֲרָזִים סַעַר נָגַב,
בְּדַרְכֵים מוֹעֵף חַיִּשׁ, יִתְפַּלֵּשׁ בְּעַנְנֵי חוֹל;
וְשִׁטְף מְטָרוֹת־עוֹ כִּי יִמְסָה גּוֹשׁ וְרָגַב,
הַבְּרָק יִקְרַע עֵב, חַזִּזִים יִתְנוּ קוֹל, —

אִז אֶתֶּךָ חַי אֲנִי, מְלֵא תִבְלִיָּה רַבָּתִי!
וּכְנֻפְשֶׁךָ – נִפְשֵׁי אִז שׁוֹאֶפֶת קָרֵב וְדָרוֹר,
עִם אֲנַחוֹת תִּבְל כְּלָה תְּפָרֵץ גַּם אֲנַחְתִּי,
וּפְצָעֵי נוֹטְפִים דָּם עִם דְּמֵי כָּל דוֹר וְדוֹר...

אודיסה, 1897

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ

Когда волнуется желтеющая нива...

Когда волнуется желтеющая нива...
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студёный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он:

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога!..

1837

ШАУЛ ЧЕРНИХОВСКИЙ

Колыбельная песня

Пали тени, птички смолкли,
Спи, дитя родное,
Не страшись ночного мрака,
Я ведь здесь с тобою.
На рассвете защебечут
Пташки звонче, краше.
Глянет утро – и с востока
Встанет солнце наше.

Ты – еврей! Печаль и горе,
Жизнь и счастье в этом.
Отпрыск древнего народа,
Гордого пред светом.
Ты – ребенок. Станешь старше –
Ясно сердцу станет,
Что творил он, что создаст он
В час, как солнце встанет.

שיר ערש

נָשׂוּ צִלְלִים, דָּם צִפְרִים,
נוֹמָה, בְּנִי, אֶפְרוּחֵי!
אֵל מְצַלְלֵי-אֶפֶל תָּגוּר:
אֵתָהּ הֵן אֲנֹכִי.
יְאוּר מְזֻרְחָ, כְּנִפֵי רִנָּנִים
יִצְפְּצְפוּ וַיִּרְנְנוּ,
יִתְוֹר שְׁחָר, וּמְקָדָם
יַעַל גַּם שְׁמִשְׁנוּ.

עֲבָרֵי הַנֶּהָד, בְּנִי; אֵךְ זֶה הוּא
אֲשֶׁרְךָ גַּם אֲסוֹנָה,
חֹטֵר גּוֹעַ עִם-הַקְּדוּמִים,
עַל הָעַמִּים גְּאוּנָה.
עוֹדָךְ נֶעַר: תִּגְדֵּל, תִּדַע
גְּדוּלוֹת עַמְּךָ פֶּעַל,
אֲזַ תְּבִינָה נְצוּרוֹת יַפְעַל
עַת שְׁמִשְׁנוּ יַעַל.

Станешь мужем – жизнь придушит
Злобною рукою,
А пока – усни спокойно,
Я всегда с тобою.
День угас. Усни, мой птенчик,
Ночь глядит в оконце.
Не страшися теней мрака,
Встанет наше солнце.

Будешь ты скитальцем в мире,
Только об отчизне,
О святом Сионе помни
До заката жизни.
Если светлый день Спасенья
Даже медлить станет, –
Не теряй, мой сын, надежды –
Снова солнце встанет.

По долине Иордана
Бродят бедуины.
Ты же будешь первым стражем
Нашей Палестины.
И когда взовьются стяги,
Сын мой не обманет.
Он пойдет с мечом меж храбрых,
Наше солнце встанет.

Одесса, 1897
Перевод Иш-Ари, 1916

גָּבַר תְּהִיָּה – יַד אֲכֹרִים
תְּהִיָּה בְּךָ, אֶפְרוּחִי,
עַד לֹא תִדְעַ נְוִמָּה, שְׂקֵטָה,
אֶתְּךָ כִּי אֲנֹכִי!
נְוִמָּה, בְּנִי, הַיּוֹם כִּי פָנָה,
חֹשֶׁךְ יַעֲטָרְנוּ.
אֵל מִצְּלֵי-אֶפֶל תִּגּוֹר:
יַעַל גַּם שְׁמִשְׁנוּ.

גִּידַד תְּהִיָּה בְּמֵלֵא-תִּבְלַל,
אֶךְ מוֹלְדֶתְךָ אַחַת,
זֹאת אֵל תִּשְׁכַּח: גִּסְף – צִיּוֹן
עַד רִדְתְּךָ שַׁחַת.
אִם גַּם יֵאָחֵר יוֹם הַנְּאֻלָּה,
יַצְעַד שְׁעַל-שְׁעַל,
אֵל תִּנְאֵשׁ, אֶסִּיר-תִּקְוָה:
עוֹד שְׁמִשְׁנוּ יַעַל.

עַל הַיַּרְדֵּן וּבְשָׂרוֹן
שָׁם עַרְבֵי-יָמִים חוֹנִים,
לָנוּ זֹאת הָאָרֶץ תְּהִיָּה!
גַּם אַתָּה בְּבוֹיִם!
יּוֹם יִקְוֵמוּ נוֹשְׂאֵי-דָגֵל,
אֵל תִּמְעַלָּה מְעַל:
אֵל כְּלֵי-זִינָה בְּגַבּוֹרִים –
כִּי שְׁמִשְׁנוּ יַעַל!

ארדיסה, 1896

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ

Казачья колыбельная песня

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.

Сам узнаешь, будет время,
Бранное житье;
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмешь ружье.
Я седельце боевое
Шелком разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой...
Сколько горьких слез украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,
 Безутешно ждать;
 Стану целый день молиться,
 По ночам гадать;
 Стану думать, что скучаешь
 Ты в чужом краю...
 Спи ж, пока забот не знаешь,
 Баюшки-баю.
 Дам тебе я на дорогу
 Образок святой:
 Ты его, моляся богу,
 Ставь перед собой;
 Да готовься в бой опасный,
 Помни мать свою...
 Спи, младенец мой прекрасный,
 Баюшки-баю.

1840

ШАУЛ ЧЕРНИХОВСКИЙ

В горах

I

Я на гору взошел. На изумрудных скатах
 Белеет вековой нетающий покров;
 Не вижу ль я венец Зиждителя миров,
 Сверкающий в руках у ангелов крылатых?

И мнится: близок он, коснусь краев зубчатых...
 Вдруг слышу голоса смущенных пастухов
 (Так близки мне они, так четки звуки слов):
 «Глядите, — это весть о громовых раскатах!»

И думается мне: как много, много лет
 К нам близок был наш сон, венчаный солнцем,
 ясный.
 Венец его потух — а бури нет и нет.

О, Боже! Прогреми над грудой тел безгласной
 И молнию Твою в бессильный наш хребет
 Метни, животворя, метни десницей властной!

בין הרים

למ-ה ג-ג.

א

עָלִיתִי בְּרֹאשׁ הַהָר: לְשִׁרְשְׁרוֹת גְּלָמֵי סִלְעִים
 בְּרִקְתָּ וְאַזְמַרְגָּד, וְשִׁלְגִים מִנֵּי עוֹלָם
 מִשְׁתַּרְעִים שָׁם, כְּזֹר לְפָנַי כִּס בּוֹרָא עוֹלָם,
 הַנִּיחוּ שְׂרִפֵּי-רוּחַ מִתְּפִעֵלִים, מִשְׁתָּאִים.

וַנְדַמָּה לִי: כָּל כֶּף לִי קְרוֹב זֶר הַפְּלָאִים—
 אֲדוֹנָי! — אִז אֵלֵי הָרוּעִים וְנִשְׂאוּ קוֹלָם—
 כְּשֶׁהִמָּה קְרוֹבִים כֶּף לְמִקְטָנָם וְעַד גְּדוֹלָם,
 לִימֵי הַסְּעָרוֹת אוֹת, הַמְּשִׁמְשִׁים וּבָאִים.

אֲנִי הִגִּיתִי אִז: וְחִלּוֹם וַפְּשִׁנוּ כְּמָה
 וְכִמָּה קָרֵב כְּבָר, וְלִרְאֵשׁוֹ קִשְׁרָה חֲמָה
 עֲטָרָה לוֹ—וַנֵּנוּ, וְהִסְעַר טָרָם בָּא.

צוּר יִשְׁעֵי, הָרַעַם-נָא עַל תַּל-הַפְּגָרִים כָּלוּ!
 וְאִם יֵשׁ עוֹד סֵעַר זֶה, שְׁיַעִיר עִם מֵת בְּעֵלּוֹ,
 וּבַחֲדָרֶיךָ הוּא—לְסֵעַר, שְׂדֵי, קָרָא!

II

Туда, где голос-чародей
Тебя зовет: приди, владей!
Где высь лобзуют гребни гор,
Где беспределен кругозор,

Где у денницы ярче взор,
Где тьмой повит безмолвный бор!
И выше! Там еще вольней,
Там храм весь в пламени огней.

Да не страшит тебя закат,
Не леденит извечный хлад!
Во имя Господа иди

И место дивное найди,
Где сердце дрогнет, как струна,
Где смерть величия полна...

Лозанна, 1904
Перевод Осипа Румера

ב

בֵּין הַגְּלִים קוֹרֵא שְׁחָף
וּבְכֹנְפָיו יָךְ הַגְּלִים.
מְקוֹם יְהוּמוֹ וְקִצְפָּם מֵעֲלִים;
גַּב מְשֻׁבְּרִים בְּחִזּוֹ דָּחָף.

וּלְקוֹל רֵעַם סוּפָה רָחַף
בְּרִבּוּר צַח עַל פְּנֵי הַגְּלִים,
הַדּוּר, שׁוֹקֵט וְנִידִיּוֹ קָלִים,
בְּגִאוֹת־הוֹד מְשֻׁבְּרִים רָכַב.

לְבִי אֶל שְׁדוֹת־יָם וְקַרְבּוֹת,
מְקוֹם שֵׁם תְּחִזּוֹק הַלְמוֹת־לְבָבוֹת,
וְהֵד נִצְחוֹנוֹת בְּאֵרֶן;

וְעוֹלָם־אֵל נָח כָּל־כֶּךְ יָפָה,
עַד שְׁאִין הַלֵּב הַרְפָּה
יִדַע יְבַר לוֹ: לֵאמֹן...

ШАУЛ ЧЕРНИХОВСКИЙ

Одесса

В скромной гостиной «владыки» сидят в ожидании две женщины. Они сидят рядышком, как давние закадычные подруги или соседки.

Низенькая — в форме трех шаров: один поверх другого. Меньший служит головой, тот, что посolidнее, — верхней частью спины и грудями, а самый большой — пузом. И на коротеньких ляжках — узелок с бельем в красном головном платке.

Этот узелок она держит крепко и из рук не выпускает.

Другая — вроде тощего и высохшего прошлогоднего лулава, тонкой пальмовой ветви для праздника Суккот. Она сидит, расправив узкие костлявые пальцы на длинных загорелых коленях.

Лениво следуют одна за другой минуты на циферблате ходиков; минуты долгие и скучные. Докучливо и однообразно жужжит стайка мух, а одна большая темно-синяя муха на оконном стекле возвышает голос свой, словно знатный господин у святого ковчега в миньяне услужливых домочадцев.

Порою одна из подружек испустит отрывистый, тяжкий вздох, и снова они сидят и глядят в пространство комнаты, смотрят и смутно видят на стене портрет какого-то рабби в талесе и филактериях, да с гусиным пером в руке. Это непомерно большое стило почему-то внушает им особый ужас.

Глаза «рабби на картине» устремлены на двух товарок, и он морщит свой высокий лоб над длинным, выпирающим и крючковатым носом.

А порой обе они обращают взгляд на низкую узкую дверь в стене, что напротив.

И когда эта дверь отворилась, и рабби медленными шагами вошел в гостиную, лаская обеих лучащимся мудротой и добротой взглядом, они вскакивают с места и устремляются ему навстречу.

Коротышка впереди:

— Рабби, — вырывается из ее крупного рта.

— Рабби, — выдавливают тонкие губы женщины-лулава.

Испытующий взгляд раввина переходит с одной на другую. Рабби улыбается.

— Рабби, посмотрите!...

— Рабби, мы... — перебивают они друг друга.

— Пусть говорит кто-нибудь один, — наставляет рабби и усаживается на свой стул.

— Посмотрите, рабби, вот простыня, вот она, тут!

— Как это понимать? — спрашивает рабби.

— Посмотрите, рабби, пожалуйста, посмотрите и убедитесь сами, — начинает сызнова толстая коротышка. Ее пухлые короткие пальцы пытаются развязать платок.

— Пожалуйста, рабби, скажите, взгляните сами.

Лулав в отчаянии простирает руки:

— Ну пожалуйста, рабби, только взгляните. Ну посмотрите же!

Простыня уже на столе. Коротышка расправляет ее шире:

— Вот, посмотрите, рабби. Посмотрите! — повторяет она следом за подругой, словно эхо.

— Пусть рабби сам рассудит! Что это, рабби?

— Бог с тобою, — понимает наконец рабби. — Скромная еврейская девушка, благочестивая... несомненно благочестивая. Не надо, не надо, нет нужды!

— Нет, рабби! Нет, рабби, не могу я больше, рабби, — всхлипывает она. — У меня горестей выше головы... Вы только гляньте! Вот простыня, и вот признаки... Если это признаки...

— Посмотрите!..

Рабби машет руками.

— Сядьте и расскажите толком, — велит он.

Обе послушно садятся.

— Рабби, обе мы вдовы.

Две руки и большой красный платок проходят по глазам и носу.

— Одинокие вдовы, мы обе... Живем рядом, по соседству, и давно дружим. Я торгую картошкой, картошкой торгую, а она ведет торг рыбой. На одном базаре мы, рядом.

— На одном базаре, — свидетельствует вторая о подруге.

— Ее муж помер семь лет назад, а мой (пусть будет там за нас заступником) отдал душу тому два года. У меня есть сын, у нее — дочка. Золотые детки. Мой сын — пришло время мальчику жениться. Зимой призвали его было в армию, да отпустили. Дома остался. Он мой единственный сын, кормилец и поилец. Отпустили его по первому разряду. Не мальчик, золото, чтоб мне так жить! Служит на складе у Кларфельда, возле большой синагоги, что на Ришельевской. Вот уж шесть лет, как он там служит. Им, слава Богу, довольны. Старший приказчик сказал мне: помощник — пальчики оближешь, вот какой сынок.

— Чудный парнишка! — разомкнула губы прошлогодняя пальмовая ветвь.

— А у нее дочка. Девушка на выданье. Правду сказать, она мне всех дороже: справная девица, чтоб мне так жить, как она хороша!

Лицо пальмовой ветки принимает странно-горделивое выражение.

— Золотые руки у нее: и ткет, и прядет, и печет, и кружево плетет. Она и рукодельница, серебром-золотом вышивает. На огороде помогает. Вся домашняя работа на ней держится. На все руки-то она мастерица. Всё, что ни надобно, сама сделает. Наши дети вместе выросли, с младенчества друг с другом знакомы. Мы и раньше-то шутили: Жених и невеста! Жених и невеста! И так же называли их наши друзья и все жители нашего двора. А как девочка подросла, стали засылать к ней сватов, предлагать женихов отменных. Мы же молча порешили это дело: быть им женихом и невестой! Вот прикопит она немного деньжат и он кое-что впрок отложит, освободят его от армейской службы, и поставят они себе дом на счастье.

А что ж сами дети? Он пришелся ей по сердцу, и она ему приглянулась. Вот мы и сговорились, две старухи, где намекнем, где прямо скажем, я — своему, она — своей. Мол, ну что, детки, когда? Нам тоже хочется от детей радость иметь. И уже вроде бы дело совсем сладилось, да вот поползли сплетни. Чтоб этим сплетникам навек онеметь, чтоб их, окаянных, серой и огнем спалило, Господи! Чтоб им пламенем-то все кишки выжгло! Начали перешептываться за спиной у девушки. Мол, танцам ее учили, вместе с другими девицами, у Вайсблата, на углу Ришельевской и Базарной, по полтора рубля в месяц. И почему бы девушке не иметь своего удовольствия? Правда, в наше время танцам не обучались, наши праведные матушки и бабушки в «танцклассы» не хаживали, ну так что же? Мы ведь в Одессе живем, чтоб ей гореть и лежать в развалинах!¹ Поначалу мой сын ничего слышать не хотел, уши руками затыкал. Но люди за словом в карман не лезут, стали над ним посмеиваться. Начали подкалывать, да жизнь ему портить. Ну, он и пал духом. Вот и поговорку припомнят: «Нет дыма без огня». Спрашивает он меня: «Мама, что мне делать?». А девушка плачет, жизнью своей и матери своей клянется, чтоб ей так счастье светило, как светится она чистотой!

А мы уж начали сласти к обручению готовить, и сын мой, и я сама, не знаем, что тут поделать. В конце-концов мы ведь в Одессе живем, чтоб ей гореть и лежать в развалинах в скорости, в наши дни!

— Со всеми этими сплетниками да наветчиками! — добавляет соседка и от себя кое-что к ее рассказу.

— Вот уже два месяца, как в доме «девятое ава». Редкая девушка она, рабби, чтоб мне так жить, это я вам говорю. Да только люди о ней перешептываются. Не могу я так больше, рабби, нет у меня сил терпеть. Я женщина болезная, вы не смотрите, что плотью меня Господь не обидел. У меня сердце слабое, все врачи говорят — вы ж сами видите, рабби. Парень почернел весь от огорчения, девушка в печали истаяла, как тень ходит. А мы — две одинокие вдовицы, некому нам помочь.

Мать ее каждый день распинает. А мы с ней дружим, рабби, уже четырнадцать лет. И вот уж два месяца, как в доме «девятое ава».

Ну, мы и сговорились. Он ее желает? Так что ж помехой? Боится, что получит протухшую рыбу? Сказали себе: чего бояться? Коли всё честь-честью, ей хуже не станет. А если нет... И постлали мы им постель... Вот она, простынь.

А теперь, рабби, поглядите и рассудите сами. Что поделаешь? Мы ведь в Одессе живем. Говорят, здесь все возможно. Одесса! Пылает вокруг нее Геенна огненная... Одесса!..

Перевела с иврита Зоя Копельман

¹ Ср. с обычным присловьем: «Иерусалим, да возведется и отстроится вскорости, в наши дни!»

/ МАТЕРИАЛЫ К ПОТОКУ «ЛИТЕРАТУРА НА ИДИШЕ»

Фишка-хромой (ИДИШ)

מיין לייעבען, טייערען סריינד

מנשה מרגלית

ברענגט דעם דאָזיגען ספר במתנה פֿונים גאַנצען האַרצען

דער מחבר.

טייערער פֿריינד!

טרויעריג איז מיין ניגון אין דער קאָפּעלע פֿון דער יודישער
ליטעראַטור. אין מייע חבורים ליגט אייסגעדריקט אַ יוד מיט די פֿי
נער, וואָס ווען ער זינגט אַפּילו אַ מאָל אַפּרעהליכס, דאַכט זיך נאָר
אויס פֿונדערווייטענס, עפּים קלאַנגט ער, פֿאַרנעהט זיך וויינענדיג,
אין זיינע זמירות הערט זיך עפּים אַ אומעטיגער שטייגער פֿון
איכות; לאַכט ער, שטעהען איהם אין די אויגען טרעהרען, וויל ער
אַפּיסעל לוסטיג זיין, רייסט זיך איהם דערפֿי טיעף פֿונים האַרצען
אַ ביטערער זיפּץ—און המיד אַלץ אוי וועה, וועה-געשריגען!...

איה רער סיה חלילה נישט אַן מיט גדרות, אַז איה בין
אַסאַלאַזוי אין אונזער יודישער ליטעראַטור, נאָר אין איין וואָך אָבער
בין איה אין איהם יאָ שטאַרק געראַמען, דער דאָזיגער מדה-שחורה
דיגער משורר פֿון די פּינעל שפּיעלט זיינע נגונים און צוגיכט זיך

אין אומעמיגע שטייגער דוקא נאך אין וועסנע-צייט, חתן די גאנצע חעלט אזוי ווי ניי געבוירען, ווען עס בליהט, עס שמעקט מדיה אומע, סום, עס שיינט, עס לויכט און איסליכען אין פרעהליך אויפן הארציען, מיר בידע, פויערער פריינד, האבען אָנגעהויבען אונזער אַרבייט אין דער יודישער ליטעראַטור פונקט אין דער וועסנע-צייט פונם יום דישען לעבען דאָ ביי אונז און לאַנד, פונים זענענעמען יאָהר אין אונזער צייט, הויכט זיך פאר יודען אָן נאָר אַני לעבען—אָלעצען פון מיט אַנדונגער געמישט, פול מיט נוסע האַפנונגען אויף שפּעטער. דענסמאָל זענען מיר געווען ביידע נאָך ועדער יונג און האַבען מיט אַברען זיך אַנעהם געשאַן צו דער פּען, געאַרבייט געשפּאַק, אַסליכער אויף זיין גאַנג, דער עולם האָט פון אייער שרייבען גע- לעקט די פּונגער, נאָר אַנגעקומאַלען הערענדיג, ווי אזוי אורח רעבט צוקער-זיס איבער פּיעל וויכטיגע זאַכען אין דעם יודישען לעבען; ווי אזוי אורח זענט אויף יודען אַמלין יושר און לעדענט זיי מיט גוט מען, גאַנץ פּריינדליך, צו קענען זיך אַליין, צו וויסען פון זייער לע- בען צו זאָגען, אַפּנים צו האַבען און זיין ליטען גלייך. עס האַבען איהן אים דעם מויל זיך געשאַמען פּערעל, וואָס פּינקלען, לויכמען און וועלען אייביג זיין אַצירונג אין דער יודישער ליטעראַטור, איהן פון מין זייט האָב אין יענער פּרעהליכער וועסנע-צייט מיר אויך אונטערגעברוטט, געשריבען, געשפּילט אויף מין שטייגער, אין מין שפּילען האָט געווענהאַליך אין ספרונג געברוטט מדיועריג און גע- טאַכט אויף די צוהערער אַ שטיקעל מדי-שחורה. אַ סתּיל האַבען מיר געהערט גערין מיט אַפּערקלעהמט האַרץ, ווידער אַ סתּיל האַבען זיך געקריכט, משונה זיך געקראַצט, נישט, נופּירדען געווען, וואָס איך ייחזר זיי אָן ביי דער לעכער און דערמאן זיי נישט קיין פּרעהליכע זאַכען נאר, זיי די מעשה אין, איך האב מיר געשפּילט און געמאן סתּים יענע שענע וועסנע-צייט איז אַוועק, אז אַך און וועה איז דעם ווירעם לעבען און מיר איז פאַר צולת פּענעאונגען דער חשק צו שרייבען, עס האָט מיר אַ צייט לאַנג אַנגענומען דאס לשון.

אין ווען איהן געהט אַצינד אפּיר מין פּערדאָרטיע, פּערטריקעני- יטע פּען אין געה ווידער מיט דער שפּראַכע אַרויס, האָב איהן עס אַ פּערדאָנקען אַיך, נאָר אַיך, וואָס אין אַייער געוילעשאַפט איז מיר צוגעקומען אַ שטיק געזונט, אַייערע קלונג רייד, אַייער אַרבייטען שטענדיג פאַר אונזער פּאַלק האַבען מיר דערפּרישט און מיר צוגעניע- בען חשק צוגענומען זיך אויף פאַר עפּים אָן אַרבייט, פון הייליגען פּיי- ער, וואָס ברענט המיד אין אַייער יודיש האַרץ, האָט זיך פּערטריאָ- גען אַ פּונקט צו מיר אין כּיין האַרץ, עס האָט זיך אָנגעזונדערט און ברענט אַצינד זיי אַ סתּיל אין די יונגע יאָהרען.

יאָ, מיר בידע האַבען אָנגעהויבען אונזער אַרבייט אין דער ליטעראַטור גלייך אין איין צייט, נאָר דאָס מול אונזערס איז גיט גלייך; אורח זייט דאָרט אַרויף אויבען, אין די הויכע פּענסטער; אורח האַנדעלט דאָרט מיט ברייאַלינגען און דינסטמען פון דער זיי- דישער היסטאָריע; אורח שמעלט ארויס די שענסטע צירונג פון אונזער פּאַלק פּאַרזייטענט, דאָס בעסטע, דאָס מיינעסטע אין זיין לעבען, אורח האָט איבערגעהאַט עסקים מיט הלל, רבי מאיר, רבי עקיבא און מיט נאָך אנדערע גרויסע לייט, מוחסים פון הויכען סאָרף מענטשען מיר אַקענען איז בעשעהרט געווען זיך אַראַבצולאָזען אויפן נידעריגען טרעפּעל פון יודישען לעבען אונטען אין די קעלער- פּין, ליש-באָרן איז שטאַטעס און פּוילע סחורה, איהן האָט נאָר שטענדיג צושטן מיט אַבוינים, קפּצנים, אומגליקליכע געבען; אורח מיט מענשעלעך דראַבעס, פּאַקסוויקעס וכדומה אַוועלכע מיני גפּשוה, קליינישקע, נידעריגע פּאַרשוינגען, מיר אַלומים זיך נאָר בעטלערס, פאַר מינע אוינען שוועבט המיד אַ סאָרבע — די אַלמע, גרויסע יודישע סאָרבע הענטט מיר המיד, ווי יענעס מדיה שחורהניק אַלונג-און-לעבער אויף דער נאָן וואוהין איהן זאָל מיר נישט קעהרען און הענדען, זעה איהן פאַר מיר די סאָרבע; וואָס איהן זאָל נישט גולען עפּים דערצעהלען אַדער זאָנען, קומט מיר אפּיר די סאָרבעניי, אוי, אַלץ די סאָרבע, די יודישע סאָרבע!

מענדלע נאכר פורים

יא, מייערער פריינד, דורך אייך האב איך בעקומען חידער אברעך צום שרייבען — און אַם האָט איהר אייך היינט, בענטותניג-הרהיבט, טאָקי ווירער אַטאַרבע: אַפּישקע דעם קרומען, משטייניג-געזאָגט, מיט העלבען איך מרעם אַרויס פאַר דעם עולם, נאָך אַזאַ לאַנגער צייט אַפּטלשווייגען, איך ווייס, אַז מיין פּישקע דער קרומער איז עפּים נישט אַזאַ סתּנה אויף אַבזאָרדאַנקען אייך מיט איהם פאַר אייער פּריינדשאַפּט, נאָר חויכענדיג ביי מיר אייער גוט האַרץ, אייער צוגעלאַטקייט צו מען-שען, פּערהאַף איך, אַז איהר וועט מיין אַרעמען פּישקען אַיפּנעהמען ביים אַ-ברוק-הבאַ, וְעַד מעגליך נאָר, איהר זאָלט איהם נאָך אַרייַג-בעסען אין זאַל אַרין, איהם בעקענען מיט אייער הויזגעזינד און מיט אייער געסט דאָרט, פּישקע וועט זיך ביי אייך אַפּלענען מיט דער מאַרבע, אייך דערצהלען מעשיות, און איהר וועט פּון זיי הגאָה האָ-בען. און פּאַרשטעלענדיג זיך אַוויגס, שמיכעלט פאַר פּרייַד און דאַנק-אַיף פּון געגענען השרען.

דער מוכר

קיים גוט אַשיין די ליכטיגע זון און זומער-לעב אין דעם לאַנד. מענשען הערען זיי ביי געבוירען און דאָס האַרץ פּרעגט זיך זיי, קוקענדיג אויף נאָטס וועלט דער שפּעטער, — דענסטאַל הויבט ביי יודען זיך אָן די רעכטע אומעטונע צייט, צו קלאַנען און פּערגינסען שרעדרען. עס געהט דאָס גאַנצע צעטעל טרויער: העניתים, פּייניגען זיך, יאַמער און געוויין פּון ספּירה ביו העם אין די גרויסע בלאַטעס און גאַסע אַסענדיגע קעלט. דענסטאַל שמעלט זיך פאַר מיר, מענדעל מוכר-ספרים, דער גרויסער יוד, איך אַרבייט, פּאַהר בעשטענדיג אַרום, צו פּערוואַנגען יודישע קינדער אין אלע שמעדיטלעך מיט די אלע גויטיגע סאַטעריאַלען צום וויינען מיט קינות, מיט סליחות, ווייבער-שע החנות, מענה-לשוים, שופּרות און מחורים, הפּלל, יודען קלאַ-גען, פּערוויינען דעם זומער — און איך מאַך דערזוויל געשעפטען. גייט דאָס בין איך אויסען.

אונטערזענענעם אינמאַל, שבעה עשר בתמו, גאַנץ פּרייַ, זיך איך מיר אויף דער קעלניע פּון מיין בירדעל אין מליה און הפּילין מיט דער ביי-ש אין דער האַנד, גאַנץ יודישליך. די אויגען זענען מיר צוגעטאַמט, בכדי נישט אַנצוקוקען ביים דאוונען די ליכטיגע וועלט, מעשה-שטן אַבער איז זי, די נאַטור, זיי הייסט מען עס, גע-הען וואונדער-שען, נאָר אַבילד, און עס האָט מיר געצוויגען, עפּים זיי אַכשוף, אַקוק צו סאָן איך האָב אַהויבע צייט מיר געראַנגעל מיט מיר אַליין, דער יצר-טובּ זאָגט: פּעו... מען שראָר נישט, דער יצר-הרע אַקענען סאַרעט, גייטקשהו האָב הגאָה נאַרעלע זי און

מענדעלע סכר ספרים

פענסט סוד דערפוי מאקי אויף איין אויג. עס סהוט מיר א שייך, נאָ, ווי אויף צו להבנים, עפּים אביל-שענע פּאַנאַראַסע: פעלדער גען שפּאַניקעלע מיט בליהענדע רעטישקע ווייס ווי שנע נעבען געלפ-גיל. דענע ראַצעמאַרענע פּאַסען פון ווייץ און כאַט-גרינליכע, הויך געוואַקסע מענע קוקרזוועס; אַשענער גרינער סאַל, בעדעקס פון בירדע זייטען מיט וועלדעך ניס-ביימער; אונטען פליצט אַ מיכעל, ריין, קלאָר ווי קריסטאַל, אין וועלכען עס טוקען זיך די שטראַהלען פון דער זון און בעלשענען עס מיט פּוינקעלדיגע גילדענע פּליטערלעך. די שאַף און די קוּה אויף דער פּאַשע דאָרט זעהען פּונדערווייטענס אויס ווי סונקעלע, רויטע, געפּלעקטע פּינטעלעך. — פּע, פּע! — סוכרים סוף דער יצר-טוב מיט יענע ווערטער פּוּנים פּרק: אייך אונטער. וועגענס אַז ער איז מפּסיק דאָס לערנען און זאָגט, ווי שטען דער בוים איז, ווי שטען דאָס פעלד, איז גלייך ווי ער סהוט זיך אליין אַ מעשה אָף. — דער יצר-הרע אַבער פּערטראַגט מיר אונטער דער נאָז סוּהידיגע ריחות פון סטערטעס היי, געוויץ און קרייטעכעזער, וואָס צוגעהען זיך אין אלע אַברים; ער צוגיס זיך אין קונציגע ניגונים פון אַלערליי שפּיל-פּינעלעך, וואָס קיצלען ביי דער נשמה; ער לאָזט סוף פּיהלען אויף מיין פּנים אַוואַרס ווינטעלע, וואָס גרויזעלט מיר די פּאָר, שושקעס מיר אין די אויערען; קוק, האָב הנאה און יי אַטענע, דו נאָרשער יוד איינער! — איך בעבע, מריקע מיר, משיטיגס געזאַגט, אליין גיט רעכט צו הערען, וואָס איך בעבע, עפּים טראַגט מיר דער מוח, עס פּוקט מיר אין קאַפּ און עס טראַכט זיך זידלע-רייען; געפּנר'מע נפּשות!... אַהן לייב, אַהן לעבען... נשמות פּער-רוקטע אין משאַלענט!... אַהן רוח, אַהן טעם... דראַפּאַטשעס צושאַ-מענע!... פּערדאַרטע אַנגעשלאַגענע היטעננות!... איך צושאַקעל בייך מיט געטאַכטער פּונה, בכדי עס זאָל זיך נישט טראַכטען, און דעהער גראַד, ווי דאָס סוּיל לאָזט פון זיך אליין אויס יענען שטיקעל דאווען מיט די ווערטער: !, המוּחיד נשמות לפּנים מתיים, דאָס הייסט אויף קרבן-מנחה-טייטש: דער דאָ קערט אום די נשמות צו די טויטע פּגרים. האָ, וואָס! אַקענען וועמען? מוה איך סוף אַ חאַפּ, פּאַרשעטס

פון מינע אייגענע טיאוים, געדאַנקען, און בכדי צו פּאַרנעלעטען מיין פּעהלער אַקענען דעם רבונו-של-עולם, סוף איך קלאַפּערעט אַ מיט גע, ווי נישט זי מיין איך, דאָס פּערדעל מיין איך!... דערלאַנג דעם

פּיטקע דער קריסער

שליסמולניק מיניעס אַ שמיצעל מיט דער בייטש, מאַכענדיג דערביי אַ-אַ-אַ, פּגרה איינע!
אַ שענער איינפאַל אפּיל! נאָר היינטיגס סאַל האָט עס וועגן געוויקט, עס האָט סוף שטאַרק געקריקט, פּאַר ווייז גראַד היינט זאָל מיר נאָר איינפאַלען אַזעלכע געדאַנקען — היינט, ווען וויינען און קלאַגען בעדאַרף מען אויף דעם גרויסען חורבן, אויף די גרויסע צרות, וואָס די קינדער ישׂראל האָט געטראַפּען: — די קאַמאַדע פּוּ נבוכדנצר מלך בבל איז אַרין אין ירושלים און פון איהר אַ חל גע-מאַכט... איך סוף אַרעמנות-פּנים און זאָג די סליחות צום היינטיגען שווערען סאַג אויף אַ וויינענדיג קול, וואָס איז געגאַנגען אַלץ העכער און סרויערדיגער אין דעם פּוּמוז דאָרט, ביי יענע ציטערע ווערטער:
והשפּוּן מצפּוּן — און דער פּיפּערנאַטער, דער סאַמער פון צפּוּן-ווייט, כּשבוּלח שטפּני — האָט סוף ווי אַ שוואַם וואַסער פּער-טראַגען ווייט, והציד — און דער יענער, דער טוּיט-שלענער, שלח יד — סהוט אַלפּ, אַ חאַפּ, והצפּיר והשעיר — אויך די ציג, אויך דער צאַפּ!

ווי אפּיק און זאָגט אָב אַ סליח, דאַכט זיך איהרער האָט שייך אַלצדיג אַנגעטאָן און איז, ווי אַניאַגעשמיסען קינד נאָכין אויבווינען זיך, ווייטער זיך גאַנץ צופּירדען, איך זיך מיר אַנגעלעהט אויף דער קעלניע, גלעס מיר דאָס בערדיל, שוין מיט אַ גרינגען געמוטה, גלייך ווי איינער דעם: מינס האָב איך געטאָן, גענוג יוצא געווען, אַצינד נאַמען, איז נאָר געווענט אין דיר, ווייך זיך, סאַטע-פּאַטער, רחם י-דק! — געה, שוין, געה, זיי מוּחלי! סוף איך צום פּערדיל מיט נוסען, אַבערבעטענדיג עס אין האַרצען פּאַר דעם צינעמעניש, פּגרה פּריהער, מיין שליסמולניק סהוט זיך אַקניא אויף די פּעדעשטע פּיס, אַפּוּק מיין קאַפּ צו דער ערד און קריקעכט, עפּים אזוי ווי גערעדט; אַריי-פּריי! און וואָס איז עפּים סכּח עסען? — קלוג, כּלעבען, ווי דער סאַג זאָג איך, געבענדיג איהרם בשעת מעשה אַ צייכען, אַז ער מען אויפּשטעקן, זיך שטעלען אויף די פּיס, נישט אומויסען שטעטעס אין די קינות! ציין, בך פּל-בּהמא ועוף חכמ, דאָס הייסט: ביי דיר גנסת-ישׂראל, וענען אַלע בחמות קלוג!... נישט דאָס בין איך אויסען!

מענייעלע סוכר כפרים

פון דער דאווענער סוכרא בין איין גראַבערעניג ווייטער ארויף אויף די
 נסמט-ישראל, זיך פערטיפעט אין די גערנאקען סוכה זייער חכמה, זייער
 פיהרונג, זייערע פייער-בריות און סוכה זייער לאנג געבען. דער קאפ
 סאלאבענרעט זיך מיר אהין, אהער, עס דאכט זיך מיר עפס דער
 פופערנאכטער, נבוכדנצר מיט דער קאמאנדע, א שרעקליכע מלחמה,
 א קלאפער, א געשלעגער, די קאמאנדע ברעכט וועגט, זעצט אויס מיט
 רען, שויבען, יודען, א טייל מיט פעקלעך סחורה און אלע חפצים
 סוהען זיך אן אפה, שרייען געוואלד און לויפען... איך האפ א שמע-
 קען, לאז מיר — און בוך אויף דער ערד, אויסציהערניג זיך מי
 גרויס איך בין.

א פנים, אין דאווענען האב איך, וואל גישט אויסערעט זיך, גע-
 האפט אדרעמעל. מיין ביידעל, סוז אך אבליק, איז אריין אין קא-
 לושע, וואס אויף דעם בעל-העגלה'שען לשון הייסט עס א 'סינטערלי',
 אין דעם הינטערשטען רעדעל איז פארשעפעט אנטאקס פון עפס א
 אנדער ביידעל, דאס פערדיל סינים שמעט אין געהאקטע וואונען
 מיט איין פוס איבער דער האלאבלע, פארדרעט אין די לייצען און
 סאפעט ווי א גאנג, פון יענער זייט ביידעל שטיבען זיך לוימע קללות,
 אויף יודיש, מיט א קיינען און דוסטען אינאיינעם, א יודי מראכט איך
 מיר, איז אהן סכנות — און מוז סוף אלע און אין בעס אויף יע-
 גער זייט וואָנען. דאָרט אונטערן וואָנען ליגט פערפלאַמערט אין מלית
 און הפליין א יוד, די בייטש פארדרעהט מיט די רצועות, צאפעלט און
 ארבעט מיט אלע כוחות זיך אויסצורעדען, איך שריי: מיטיטשו ער —
 מיטיטש, מיטיטשו איך בכל צו איהם אלע חלומות, ער בכלים
 צו מיר, גישט אַנצוקוקען איינער דעם אנדערעם פנים, איך פולדער;
 ווי שלאָפּט עס אין דאווענען א יודי ער צוהיק: ווי פאָפּט עס א יודי;
 איך גיב איהם אין סאפען, ער מיט א צוגאָב אין דער מאמען אריין;
 איך שמייט זיך פערדיל, ער, אויספלאַמערניג זיך, לויפט און שמייסט
 מיין פערדיל, ביידע פערדלעך שמעלען זיך דיבאָס און מיר שטארק
 אַנצוגענדען, לאָזען איינער צו דעם אנדערען זיך צו הענדע-פּענדען,
 ווי די הענער, מיט דער דעה אַנצוגעהעמען זיך פאר די פּאות, אַקנענען
 ארבע שמענען מיר שטיל, שאַרף אַנקוקערניג איינער דעם אנדערען, עס
 האָט געמוזט זיך אויסווערען משונה ווילד, האָבען דעם זיבעטען חן:
 צוויי יודישע גבורים אין מלית און הפליין שמענען אַנצורודערעלט גייט

מישקע דער קוסמער

צו בעווייזען זייער גבורה און זיך פאמשיען אויפן פרייעם פעלד, ווי
 אין א ביט-סדרש להבדיל... אועלכעס האָט מען באמת געמענט אויף
 חידושים געוון זעקן, מיר שטעהן, קוקען און אָם יעדאָף שוין פלי-
 הען הייסע פעטיש, פלוצלים שפּרינגען מיר איינער פּינים אנדערן אויף
 עמליכע מריט אָב און לאָזען ביידע שטאַרק פּערוואַנדערט אין איין
 מול ארויס: אוי, רי אלטער... אוי-אוי, רי מענרעלי! —

אלטער יקנה'ז איז אַ יאָרערדיג יודעל, א געשפּוקוועמער מיט אַריק
 בייכעל. זיין פנים איז גערדיכט בעוואַקסען מיט שמוציג-געלע האָר, פון
 זעלבע סיאזי דאָ גענוג אויף פּאות, אויף א באַרד און אויף וואָנצעס
 אי פאר זיך, אי אויף נאָך עמליכע יודען צו בעמייילען, אין דעם ים
 האָר ליגט אַ וויספע — אַ ברייטע, פליישגע נאָז, וואָס איז דאָס רוב
 יאָהר פּערליינט, אָהן אַ שום החמנות. נאָר ווען עס מאַכט זיך אין
 איהר אַ מאָל עפּיס אַ פּארענדערניג, אונטער אַ פּאר-פּסת, אַ שטיינער,
 בשעת עס לאָזט אומעמום, עס נעקט די קרעע, און דער בעל-הבית
 איהרער נעהט זי אין דער אַרביט מיט אלע פינג פּונער,
 דעמסמאָל בלאָזט זי הילכערניגע תקיעות, ווי אַ שופּר; דעמסמאָל
 קלינגט מיט איהר נאָזן טונעראַדעווקע, אינאיינעם מיט די אנדיקעס
 דאָרט גיט זי דעמסמאָל קאַנצערט, אלע אין שמערטעל בלייבען פּערגאָפּט
 און עס שטיבען זיך איהר אַ שמעק-שאַפּאָקע פון אלע זיימען מיט וויי-
 שעוואַניעס יקנה'ז אָהן אַ צאָהל: אַסוי! — אויבערהויפּט אין די
 יודישע שמערטלעך צושפּיעלען זיך די נעז אין יענער צייט, סתּמאָ
 שבעקט דאָך עס מיט עפּיס און עס האָט אַ מעס... דאָס איז שוין
 דאָרט אַזוי געשטעלט, ווי פּרשה יתרו צינגלען זיך די צינגען, גישט
 דאָס בין איך אויסען, אלטער יקנה'ז איז אַ טונעראַדעווקער סוכר ספרים,
 שיינער אַ בעקאַמער פון אלטע יאָהרען, ער איז אַ מענשעל פּאר זיך,
 גישט שטאַרק אויבערנעשפּיצט, גישט קיין גרויסער בעל-דבר, שמענעניג
 אַנצופלאַזען, ווי פּרוגו אויף דער וועלט, הונט ער איז בפּענישע קיין
 שלעכטער מענטש

נאָך דעם ברייטען שלופּעליכס פון ביידע צדדים, נעהמען מיר
 זיך איינער דעם אנדערן אויסצופאַרשען, דאָס הייסט ביי אונז יודען
 געווענעמליך: אַ סאָפּ סאָן אין וואָנען. אַרער אַ שמעק סאָן, וואָס
 דערס-יבֿ

מענדעלע פוכר ספרים

— האוהין פֿאָהרט עס אַ יוד—גיב איך אלטערין אַ סאָפּ.
 — וואוהין עס פֿאָהרט אַ יוד? עס... ענטפערט אלטער צוויק
 מיט אַ פּרעג, ווי דער שטייגער איז פון יודען, נישט צו ענטפערן
 גלייך, יבצופטרין יענעס מיט עס, און אַנצושטויסן ויך אויפֿן ווינק—
 די אלע חכמות, וואָס אין דער מלאכה אַנשמעקען, אַ סאָפּ כאָן
 שמעקען... אַ יוד פֿאָהרט! אין דער ערד מיט דעם קאָפּ פֿאָהרט ער...
 און ר' מענדעלי פֿאָהרט עס וואוהין!— מהום ער מיך צוריק אַ סאָפּ.

— אהרין!... וואוהין געוועהנליך איך פֿאָהר אין דער צייט.

— איך שמויס מיך שוין אָן וואוהין; אהרין, קיין גלופסק, וואוהין
 איך פֿאָהר אויך אַצונד—מאָכט אלטער מיט אַזאָ מינע עפּים, ווי עס
 אַרט איהם, צום פּרוין זאָל עס הלילה נישט שאַרטען—נאָר פֿאַר וואָס
 ר' מענדעלי, איז צו אייך היינט עפּים מן הצד, מיט אַ דינשער-וועגעלע
 און פֿאָהרט נישט אהרין מיט'ן גלייכען שליאַף?

— היינטנס כאָל איז מיר נראָד אזוי אויסגעקומען, ס'איז רעכט;
 שוין סאָפּי אַלאַנגע צייט בין איך אויף דעם וועג נישט געווען, און
 ביי אייך, ר' אלטער, פֿאַר וואָס איז דאָס עפּים היינטע-אָרום—מה
 איך אַ שמעק—פֿון וואַנען קומט עס אַ יוד?

— פֿון וואַנען אַ יוד קומט פֿון אַלרי שוואַרץ יאָהר... פֿון דעם
 שענעם יוד, נאָט אייך אַ יאַרעליניץ איינגעזעקען זאָל זי ווערען?

און דערווייל ווי אלטער מינער שילט, פּלומס יאַרעליניץ מיט
 דעם יוד דאָרט, פֿאָהרען אָן אַקענען גויאַשע פּוהלעך מיט אַגע-
 שריי, פֿאַר וואָס דער וועג איז פֿאַרשטעלט. דערנאָך ווי זי האָבען דער-
 זעקן צוקומענדיג מיך און אלטערין, ביידע אין מליחם מיט גרויסע
 של-ראַשין אויפֿן קאָפּ און לאַנגע ברייטע רצועות, צושרייען ווי זיך
 שוין נראָבליק, מיט געשעפט:

— כאַטשטי, יאַקוי פּאַני-בעריי, צאַטצי, ע-ע טראַסצא וואַשי
 סאַטערי, דאַטע דאַראַני! היי חודקאַ ושרדק, לאַפּסאַדאַק!

זיך מיט מיין אלטערין טווען מיר געשווינד זיך אַ געהט צו די
 ביורלעך מיט איכפעט, אַ פֿאַר פֿון די פּויערען, האָמטשע נישט פֿון יוד-
 שע קינדער נאָר אמת מוז מען זאָגען, האָבען געהאַט אזוי פּויעל

משה דער קויטער

זישר צו העלפען אונז אין דער נויט, און פּוכות זיער שמופּ מאַקע
 איז מיין ביידל כאָלד אַרויס פּונם טינעל, זוכט, וואָלטען מיר זיך
 אוועקגעבאַרעט גאָס ווייס וויפּעל, און נאָך געקענט טיאום צווייטען
 אונזערע מליחום, מיט די עשויס אַנאַינעס איז שוין אויסגעקומען גאָר
 עפּים אַנדערש; זי האָבען געשמופּט אויפֿן רעכטען אמת סאָפּ, ווידם
 די עש, צאָל צו דערקענען געווען ענינים הענה, און ביי אונז
 להבדיל, איז נאָך געווען הקיל קול יעקב, דאָס הייסט, מיר האָבען זיך
 גאָר געקוועטשט, זיך געמאַכט ווי מיר שמופּען קלאָמפּעט... נישט
 דאָס בין אַך אויסען, ווי צאָל נאָר דער וועג איז געוואָרען פּריי, זע-
 גען די גיאָבע חמילעס זיך געפֿאַהרען זיער וועגס, אויסדעהערדיג
 די פּרצעס צו אונז, אַלץ געלאַכט, געשעפט, וואָס מיר געהען אַנגע-
 סאָן, ווי גלחים, להבדיל, געבען די פּערד אין וועג, און דינען דעם
 פּוראָ מיט דער בייטש אין דער הענד... אַטיל האָבען, מיטענדיג
 אויף אונז מיט אַ עק פֿאַלע, ווי אַ הויז-אויבערל, געשריגען;
 זינד חאַלאַטיץ אלטערין האָט עס נישט אזוי געאַרט, אויך מיר לייט
 — טאָכט ער מיט אַ קנייטשעל—פֿאַר וועמען, משייטס געאַנגט, מען
 האָט זיך צו שעמען!... מיך אָבער האָט דאָס שפּעטען זויערס
 יאָ געאַרט, געוואַלד רבּונו על עולם, פֿאַר וואָס פֿאַר וואָס פֿאַר
 וואָס!...

—אַלכעטענער נאָט!—זאָ אַיך מיט אַ געבעס אויף הויז-לשון—
 עפען דינע אויגען און מהו לונגען פֿון דיין האַרבעריי, דאָס איז דער
 הומעל, ווי דינע פֿאַרשמוצע יודעלעך זענען צו שפּאַט און צו
 שאַנד נייערס ווענען דעם כּבּוד פֿון דיין ליבען נאָמעס ווענען,
 חויל זי פֿאַרשטען דיין פֿאַרשט, זי אַכפּערען דינע געכאַס האָפּענדיג
 מיט וואַהרהאַפּטקייט, דאַרם וועלנער אויף אונז דיין באַרעהאַפּטקייט
 און לאַמיר טאָן געפּויען ליטעליקייט און חן אין דינע אויגען און
 אין די אויגען פֿון אלע מענטשן, באַשורעס דינע האָפּערדיגע געליבעט
 שטאָף, דיין רחמנות זאָל טאָן ברומען אויף דינע פֿאַרשטענדיגע פֿאַרשטע-
 מה אויך באַגרייטען מיין מול פֿאַר מיין לויבונג און געשווינג היינט
 דיין נאָמען געשויערליך מיט אַכפּערקייט, מהו צושיקען מיר, דיין
 קעכעס מענדיג, דער ווהן פֿון דיין דינעס גענעריל, און פּל ישראָל
 עפּים פּרנסה, אַנוס געשעפטיל מיט גת רות, אָמין

שידועות מוכר ספרים

ב

נישט לאנג ליהודות געמאכט, קריכען מיר אויף אויף די ביידיקייט
 און היינט ווייטער אין וועג אריין. איך פארד פאראויס און אלטער
 הינטער מיר אויף א ביידיקע פון אלטע צערישענע ראנאוועשע, פיער רעדליך
 נישט קיין גלייכע, געקערענעווענע מיט שטריקלעך און א קרעספעלעך;
 צווישען די פלעקלעך, די אומגעשטילענע קלעצערך ווארפען זיך אין
 צלע ווייטען אויף די אקסען, סקרופען, קוואקען און קענען קיין ארט
 זיך נישט געפינען, דאס בייזל אינגאנצען איז זיך כטריח צו שלעפען
 א הויכע, זעהר א דארע שקאפע מיט א קרעצענע, אונגעכענענע ריקען,
 גאלע אייטער, גרויסע אויערען אין א קאלענעווענע גרויע, פערפלאנעטע
 מיט די און קלאטשע, וואס קריכען ארויס פונם אלמען האַמוס.

פונם דאווענען איז מיר אבערדעגליבען גאר די שטוקלעך דרויב
 צום לעצט, פון וועלכע מען מאכט געווענהעליך עפס נישט אזא
 פירוש, אָבגעפטרט דעם דאווענען, הויבט זיך אָן גאר א נייער עסק
 מיט דעם יצר-הרע. נעהם, סאָרעט ער, נעהם א ביסעל פראנצען!
 דערקויק דאָס האַרץ--אי... איז ווערד איר מיר אַב מיט א קניישעלע,
 שבעה עשר פּהמוז, אין אזא העניען!—עם! בעקום איך א ענפער,
 א שיכוח אַביסעל צווישען א יודעל הינט און גבוכנערין פארצייטען...
 גרעסערע צרות איז דאָ און פונדעסווענען—גאַרישט, זי נישט
 קיין גאר, זי ביסט געבעק אַלט, שלאָף, נישקשהן!—איך גיב א סאָך
 מיט דער האַנד איבערין פנים ווי אַבזורירטען א פליג א זלודנע אין
 האַפּ דערוויל א קליין קוקלעע אויפן רענצעלע דאָרט אין בייזל, האַ
 עס געפינט זיך ביי מיר המיד א גוט ביסעל ספּירט, רעמשענע קיכלעך,
 קאַרנלעך, קאַפּעל, ציבעלע און שאָר ירקות, די סמאָרע גערם
 אויכער די ליפּען, דאָס האַרץ חלשט, דער מאַגען בורשעט: געוואַלד,
 אַביסעל פראַנצען! געוואַלד, עפּים פּערבייסען!—איך קעהר געשוידט
 אוועק דעם קאַפּ אין דער זייט, און קוק, בעטראַכט אַלציג אין פּעלד
 גרום מיר, בכרי צו פּערשלאַגען דעם בייזען געראַנג.

דער הימעל איז בליי, לויטער אָהן אַפּיגעל וואַלקען, די זון
 פראַם, ספּאַלעט, עס ווערעט נישט קיין ווינטעלע, מען פּוהלט נישט
 קיין ליפּסעלע, די הנואה אויף די פּעלדער, די גייטער אין די וועלדער

משקע רעד קרייטער

שמעהען שטייב, ווי צוגעקאוועט, קיין שאַקעל אפילו זיך נישט צו מאַן.
 קיין אויף די פאַשע ליגען. מיר, אויסגעשמוצעט די העלדער, שאַקלען
 צו-וויילען די אויערען, קיינען און מעלה-גדה, אנדערע גראַבען אונטער
 זיך די ערד מיט ווייערע הערנער, שארען מיט די קאַפּטיטע און רעווען,
 שרייען פאַר גרויס הייז, דער בודהי פּערדריסט דעם עק, לויבט גאלאָף,
 וואַרפענדיג דעם קאַפּ אין אלע זייטען, שטעלט פּלוצלינג זיך אנדער,
 אַנגעפוינען דעם שטערן האַרט צו דער ערד, שמעקט, פאַכט מיט די
 גאַלעכער, לאָזט ארויס א ברוטען, סאַפעס און דרינגט מיט די פּיס,
 געבען איין אלטער, אויסגעקיימבער און האַלפּ-פּערדראַטער ווערען,
 איבערגעשפּאַלעט אין דער העלפּס אַ מאָל פון א דונער, שמעהען פּערד,
 איינער אויפן אנדערען פּערלעט די קעפּ, צו מאַכען האַטש עפּים
 א שאַמען, און שמיסען מיט די וויילען, פּטור צו ווערען ווי סיאיו
 פון די בייזע פליגען, — אויף א צווייגעל אין דער הויך ווינט זיך
 א סאַראַקע, אויסוועהענדיג פונדערווייטענס ווי אַנגעשאַן אַ ווייס מליחל
 מיט פאַסען חבלת פאַרענט, און דאווענט, שאַקלענדיג זיך. זי בוקט
 זיך, פאַלט החנון מיטן קעפּעל, שפּרינגט אַביסעל אונטער, א קליין
 קראַקעלע געבענדיג אַ פאַר מאָל. פלייבט דערנאָך ווייטער שטיקן אָון
 לשון, שטרעקט אויס דאָס העלדעל אין קוקט, גלאַט אזוי, אין דער
 וועלט אַריין, מיט פּערשלאַפענע איינעלעך.—אויף דעם גאַנצען וועג
 איז שאַ-שטיל, מען נאָל דאָס הערען ערניג אַ שאַרף, אַ פּופּס, מען
 זאָל דאָס ווען פליהענדיג ערניג אַ פּויגעל, גאַר קאַמארען, טיקען
 טראַגען ווי די רוחות זיך אין דער לופט ארום, פליהען סאַנצענדיג
 פאַרבי די אויערען, טווען א גרילץ, א ווישע, איינבראַמענדיג עפּים
 א סוד און באַלד טאַק ווייטער; גאַר [צווישען די, צווישען הנואה
 דאָרט שמוצערען די גרילען, וויכוען, ציבעלען און געהען מיט די
 טאַצען . . .

סיאיו [הייס, סיאיו שטייל, וואונדערליך שטען. שא: גאָס צע-
 שטענעניש רודען...
 איך ליג מיר פאַר גרויס הייז פּשוט צולעגט אויף דעם וואַגען
 אין העמד, מחילה, מיט דעם מליח-קטן, אונטערגעווייבען אויפן שפּייץ
 קאַפּ דאָס געשטענענע פּעלפּענע הימעל און אַראַבנעלאַגען בוי די פּיאַטעס
 סייע אונטערגעווייטע ברעסלער וואַלענע זאַקען, וואָס איך מראַג,
 צענוהעט הרבים, אין ווייער אפילו און האָב משונה שטאַרק געשוויצט.

אויך וואָלט דערפון באַנין הנאה געהאַט אפילו ווען די זון זאָל מיר
 נישט געווען זיין גלייך אַקענען פנים, סתּמת אויך האָב לייעב צו
 שוויצען און קען שעה'ן לאַנג אַוועקליגען אין פּאָר העט-העט אויף
 דער אויבערשטער פּאַנק, ביזשע דער גרעסטער היץ, מיין פּאַנע, זאָל
 זיך מיהען, האָט מיר פון קינדוויי-אויף דערצו געעהנגט. ער איז געווען
 אַ הייסער, געבראַכטער, אַ ברענגענדיגער פּיערדיגער זיך, ער האָט
 שטאַרק לייעב געהאַט זיך צו פּאַרען, צו שוויצען און דערמיט אַנגענומען
 די וועלט, זיך שטאַרק בעליעבט געמאַכט ביים יודישען עולם. עס האָט
 געשטעקט דרינען דאָס פינטלע יודישקייט מיט דעם ברען אין מיין
 האָט אויף איהם געקוקט ווי אויף אַ שענעם, בענאַמישען יודען, געמאַכט
 מיט דרוק-אַרץ: יא, אין שטימען-זיך איז ער אַ למדן-סופּל, ער
 פּערשטעקט דעם ענין מרחץ, ער קען, שוויצען נאָך אַ היפּות...—

שוויצען איז אַ יודישע זאָך, נישטאָ קיין שבת, קיין יום-טוב, ווייַס
 אַ זיך זאָל פּרייהער נישט גוט שוויצען, ווער אונטער אלע פּעלקע פון
 די שבעים אומות שוויצט נאָך אויף דער וועלט מער ווי יודען...—
 נישט דאָס בין אויך אויסען.

און בשעת שוויצען, איז חילט זיך עס קוויקען? עס סריקענעט
 מיר אין האַל, עס ברענט מיר אַ טרונג, איך שטאַרב עמען, דער
 יאָ-הערע געהמט מיר ווייטער אָן, שטאַרקער ווי פּרייהער, רעכענט
 מיר אויס דאָס גאַנצע צעמעל יודישע מאכלים: אַ געבראַכטער לעדוויצע
 מיט קאַשע, אַ ראָסעפּליישעל, אַ לאַקשען-קוגעל מיט אַנגב — איין
 אַנגעפולט העלעל אונגענוג — פּאַרפּעלעך איינגעפּרעגלט מיט גרווען.
 איך בין מייט מיט אלע אכרים, דער אפּעטט איז אַ שרעק, און ער
 אַלץ טאַק ווייטער; דרעכזול, פּראַקעס, פעטשע מיט לעפּערלעך פעניצען,
 רעסירט מיט ציבעליי, אַ קראַפּ פון אינדויס אין אַ פּאַסטראַט-אַק-צימעס. און
 פּלוצלים, איך געדענק ניט ווי אַווי, וואָס פאַר מייע אויגען ווי פון
 דער ערד אויס דאָס רענצעלע... לחיים, נאַרעלע! רעדט אויס מיר
 דער רוח, גענוג זיך נאַרעש געמאַכט, די לעקיש איינער? — די האַנד
 ביינע שטרעקט זיך עפּים, ווי אַליין פון זיך, אויס, עפּענט אויף דאָס
 רענצעלע און ניט אַהאַפּ דאָס פּלעטעל געשווינד, איך קוק מיר אַרום,
 ווי אַ נגב, איין אלע ווייטען און מייין קוק בענגענט זיך מיט דעם בליק
 פון פּערדיל, וואָס האָט, קראַצערדיג זיך אין דעם שפּיץ האַלאַבלע.

אויסערדערשט דעם קאַפּ צום ביידל און קוקט אויף מיר עפּים שטאַרק
 אַנגעבלאָזען, גלייך ווי עס וואָלט גערעדט מיט פּאַראַפּעל; נאָ, וזהו!
 אַ הינטערשטער פּוס איז מיר שטאַרק געשוואַלען, פּערבונדען מיט שטאַ-
 פעמ, ער רינט מיר טראַך אַ נאָך אַ אייג, יאַמערט זיך מיר דער האַל, דאָס
 מויל זאָל מיר אַכנהמען, אויב אויך הייס דעם טעם פון אַהאַבער.
 פּונדעמווענען — וואָס זאָל איך טאָן? — שלעפּ איך מיר הונגע-
 ריג, קראַנק, צובראַכען, נישט אַוועקשפּאַנען זיך חלילה פון דער
 עבודה... דאָס פּלעטעל גלייטשט זיך פון די הענט מיר אַרויס, ציריק
 אין זיין רוח אַרײַן, איך שמופּ דאָס רענצעלע פון מיר אַוועק ווייט
 דער פּאַרשעמט, מאכענדיג דערביי מיט אַ קרעכץ טיעף פּונם האַר-
 צען: אַם, פון וועמען בעדאַרף איז זיך אַמוסר געהען, ביי וועמען
 זיך לערנען שכל, מלפּנו מכהמות אַרץ; ער לערענט אונז פון די
 ברהות אין דער וועלט... נײַן, פּערדיל מיין; איך געה אויך אין יאָך
 און שפּאַן מיר פון דער עבודה נישט אויס... נישקשט, די פּערדיל,
 דער רוח וועט אונז ביידיע נישט געהענען! אדם ובהמה, אפּענט אַבהמה
 תּושע ה', העלפט נאָם!... נישט דאָס בין אויך אויסען.

אַ זיך אבי ער האָט אין מײַל גענעבען אַ בראַך די מייאסיע
 מאַוה פון עמען, מאכט איהם שוין די אכילה אַווי נישט אויס, און
 קען דאָס גאַנצע לעבען ווינסאַבוקומען כּמעט מיט נאַרנישט, אי הינט
 נאָך, אין אַווייג צייטען, געפּינען זיך דער פּיעל יודען, ביי וועלכע
 מ'איז דאָ נאָך אַסיען פון מאַגענס, טאַק עט-וואָס ווי אכיות, און
 מ'איז דאָ אַגרויסע האַפּנונג, אַז מיט דער צייט — די טאַקע, כּעלי-
 פּוּבּות און דעסגלייכען לאַזען נאָך קישט פּאַרשטערט ווערען — וועלען ווי
 פּנים עסען אַלץ מער מער זיך אַכנעווענען, ביז עס וועט קומען
 דערצי, אַז ביי יודען אין די שפּעטערדיגע הילות וועט, וואָס מערדערען,
 אפּילו אויך קיין סימן פון קיין מאַגען ניט ווײַן, יודען וועלען דענסטאַל
 אין דער וועלט דער אַשען פּנים האַכען...—

מיט דעם דאָזיגען שמועס ציינד בין איך אויסען, אַז נאָך
 אַוועקשופּען דאס רענצעלע פון מיר, בין איך געוואָרען עפּים שטאַרקער
 און מיר שוין געפּיהרט נאָך קיין מעשה נישט. איך האָב מיר געבראַכט
 פון סכּח און אונטערנעברומעלעם עפּים אַ משעה-באַבדיג גונדיעל.
 שוין, דאכט זיך, נאָך גוט, טראַגט דער רוח אַן אַ יונגע ער'שע,
 אַ מענער, אַ מעפּל פּליניצעס, דאָס בעסטע לאַקסעמק מיינס.

מענדעל'ס סוכר ספרים

אין אנדערער אויף מיין אָרם, פון יענע גוטע לי"ם, האָלט עס גענומען אויף זיינע בלים, דאָס איז דער יצר-הרע אלץ אין דעם געשטאַלט פון אַ אשה נעקומען מיט אין אויסרעד. נאָר, לאַ הידו חוץ בין אַ בעלז געווען און זיך גוט צוגעקוקט, פּשאַם, אין ערליכע אָרן חכמות! און בעטענדיג מיך צוועקצוקליפּען ביי אידן די פּיליזיצעס אינאיינעם מיט דעם מעפעל פאַר צענדן גראַשען, רוקט זי עס מיר אונטער גלייך אונטער דער נאָז. דער ריח איז מיר פּערגאנגען שטאַרק אין דער נאָז, עס וועטערט מיר דאָס פּויל, עס קלעפט מיר דאָס האַרץ, מונקעל ווערט מיר אין די אויגען, עס גלומט זיך מיר אַשרעק; און מחמת מורא, איך וועל מיך נישט קענען איינהאַלטען, האַפּ איך און שפּרינג אַראָפּ אויף דער ערד שטאַרק צוקאַכט, ווי איינער ראַטעוועט זיך אין אַ שרפּה, אַז איך האָב נישט צובראַכען ריק און לעגן, איז נאָר גרויסע נסים, און לאָז אַרויס נישט מיט מיין קול אַגעשריין: ר' אלטער!—די פּונה ביינע איז דעמיט געווען, אלטער זאָל זיין אַ שופּר.

אויפֿן וואַגען אין דער לענג לינג ראַקום, מחילה, מיין ר' אלטער אונטערשעפּאַרט דעם קאַפּ מיט ביידע הענט, רויט ווי אַ צוויק צוואַרט-מעט מיט דעם לויטערעוואַקסענעם האַרצען אין דרויסען, פאַרברענגט, פּערבראַמען און נויטשוויים בעשלאָגט אידם, אַז, דאָס האַרץ, שונא-ציון, האָט געריסען קוקענדיג אויף איהם.

—האַ-אַ—סאַכט אלטער, דערווערענדיג מיין געשרי, עפּים אויף קרויט, נישט ריהרענדיג זיך פון אָרם—וואָס איז?

יענע מיט דעם מעפּיל פּיליזיצעס, גיב איה אַ בליק, איז שאַץ נישטאַ, ווי אויסגעטריקענעם געוואָרען, איך טאָג מיר אַיין אויסרעד און טוה אַ פּרעג אלטער?

—וויפּיעל, מיינט איה, זאָל אַציר האַלטען אַ ווינער?

—אַ ווינער אַציר וויפּיעל זאָל האַלטען?—ענטפּערט אַלטער מיט אַ פּערדריבט קול—וויס אויף צו די ערשטע שטערען וועלען זי איינען אויסקריכען גענוג וואַרענדיג, מ'טלאָ... אַ שטאַרק הייס!

—ג'עשטאַקע דיך אַ-אַ-אַ—רופּ איה ב'ך אַן, געהערדיג אַפּעט

פּיסקע דער קרויסער

געבען אלטערס בידוי—איהר שוויצער, אלטער איה מיין, שוין צייט צופאַסען, אונזערע אָדלער זענען געבען מיר, קוים וואָס זיי שלעפען זיך, צום טראַקט אויף גלופּט אין נאָך דאָ אַפאַר ווערסלעך, אפּשר טאָך מיט אַ שמיצעל, גיט וויס פון דאַנען, דאָרט וואו עס הויבט זיך אָן ציהרען אַוואַלד העט-העט ביי צום שלאָף, זעה איה אין דער זייט, לינגס, זעהר אַ גוט אָרט צו פּינעטן.

אין עטליכע רגע ארום האָבען מיר אַראָנגענומען זיך אין דער זייט פּונים ווען און צוגעקומען צו יענעם אָרט, וואו סיאוי געווען אַזאַל, שענע פעלדער, אַגעטוועכט און אלע גוטע זאַכען, מיר האָבען אויסגעשפּאַנט אונזערע ליבען, געלאָזט זיי פריי פּינעטען זיך דאָרט ביים ברעג וואַלד און אַלוי האָבען מיר זיך אונטערגעלעהנט אונטער אַ פּוים.



ג

אלטער יקנה'ז האָט קוים געאַמהעמט פאַר דיך, אונטערן האַ-בין איהם בעשלאָגען, ער האָט געוויצט, נעקירעכט, אַזוי אַז עס האָט מיר פּאַרוואָרט ביים האַרצען אַנגעזאַפּט, און בכרי איהם צו מינעטען אַביסעל, אויך טאַקי צו רעדען, צו פאַרברענגען אַביסעל די צייט, לאָז איה מיר אַרײַן מיט איהם אין אַ שטועם אַזוי:

—אַפּנים, ר' אלטער, איה איז געשטאַק הייס

—בען—ענטפּערט אלטער גאַנץ בקיצור, עפּים ווי אַנגע-ברויגט זיך אונטער דעם פּוים, וואו עס איז נישט געווען אַזאַ גרוי-מע פּאַהעלמעניש פון דער זון, וואָס עס האָט אַריינגעשיינט דורך די צווייגען.

פע, נישט גוט פון דעם העני, הייס, איהר קרעכט אַזוי?

—מחמת איה מיין אלטער, פּעמט ביי זיך אַבנעמאַכט, מיין פּוים זאָל דאָ זיין, טוה איה אַרויסגעקוקען ביי איהם אַ האָרם.

—בען—סאַכט אלטער, און וויסער זאַקי אַרײַ אונטער'ז פּוים

מיט, בעי אליין אבער האב איך נישט געוואלט מיר בענגיניען. מראבט איך, די ביזט א געבראמטער עקשן נישקשה, די וועסט ביי מיר רעדן, הייך שווייס אין דער זיט, עס מוז זיך אנהויבן פון געשעפט, דאס בעסטע, איינציגע מיטעל רעדנדיג צו מאכען א יודען. א יוד בשעת דער גסיסה אפילו, קיים דערהערט ער נאך עפויס געשעפט, ווערט ער לעבעדיג און דער מלאך-המות אפילו קען דענסטמאל א איהם אויך נישט צוטרעמען, דעם ערנסטען שונג מיינים ווינט איך נישט אריינקומען צו א סוחר בשעת עס דאכט זיך איהם נאך געשעפט. ער איז מבטל דענסטמאל אויכליכען, אפילו דעם בעסטען פריינד, א אייגענעם ברודער, מיט דעם בליק... נישט דאס בין איך אויסען, איך ווענד סייך צו אלטער'ן מיט אזא שמועסן

— מיר וועלן, דאכט זיך, ר' אלטער, מאכען א געשעפטיל? גוט, כללעכען, וואס מיר האבען זיך דא היינט בעגעגענט. אג האב איך עס היינט מיט מיר א מין סוחר, נין-גאלד!

דאס מיטעל מינים האט געוויקט, אלטער איז הי איבערבעי-מען געווארן, ער הייבט זיך אביסעל אונטער און קוק אויף מיר מיט אויפגעשטעלטע אויערען, איך גיב איהם ווייטער איין פועם אזוי: היינטס סאך, ר' אלטער געהט דאס געשעפט צווישען אונס אויף מיטן ארט, איהר פארהט דאך פון יארטעליצער יוד און כונס, און עין-הרע, האבען פולע קעשענעס.

— פולע קעשענעס, יא! אהראץ פול מיט כפול האב איך — נאָנט אלטער שטארק אָנגע-ברוגט — איך זאָג אייך, ר' מענדיל... נאָר נישטער נאָרנישט; אַמענש אָרן מול זאָל נישט געבויען ווערן גלייכער... עסקים, עס האָט מיר זיך געגלום נייע עסקים! אין אנדער אויף מיין אָרט — הע-ה-ה-ה! ביי מיר אָבער איז נאָרנישט, מיט רעד פומער אַראָב, אזא אומגליק! א ווערטיג נאָר צו דערצוהעלען. שנייץ די נאָז און שמיר דאָס פנים, נישטער וואָס, נאָרנישט.

איך האָב גוט אַרויסגעוואָרן, אז מיט מיין אלטער'ן איז עפויס נישט גלאָט, ס'איז דאָ אַ צרה. אַפּי נאָר עס האָט איהם זיך געעפנט אַ מויל, איז שוין גענוג געווען אַ קליין קוועשעלע, עס זאָל איהם זיך שווען נין סאָס רעה. פון מיין זייט איז קיין מניעה נישט געווען. איך

דייך געסאָן אַ גוטען קוועש און מיין אלטער האָט זיך צווייגט, אָנש געוויינען צו דערצוהעלען זיין אומגליק אויף זיין שטייגער אזוי:

— מילא קום איך מיר צופאָהרען אויף יארטעליצער יודי-קומענדיג אויפ'ן יוד, שמעל אויך בייך מיט מיין בידיל אויף דעם שלאָץ, פאַרשמעט איהר סייך, און צופאַק מיר דאָס ביסעל סוחר. מילא בקצור — נאָרנישט, שמעה איך מיר און קוק ארויס אויף ליי-זעכטס, געטראָגען אויפ'ן יודי האָבען מייך די צרות, איך בין היינט, נישט פאַר אייך געדאַכט, מ'וואָס אין דער קלעה, דער דוקער מאָנט געל, מילא דאָס איז נאָר נישט — מאָנט ער, ער וויל אָבער, פאַר-שמערת איהר, מערד נישט געבען קיין סוחר!... מיין עלטערע בתולה איז שוין אין די יאָהרען; אַפּהולא, פאַרשמערת איהר, בעדאָף חתונה האָבען, מילא גע-שע דרעה דעם קאַפּ, זיך אַ חתן, חתנים זענען דאָ אָבער אַחתן, דאָס הייסט, פאַרשמערת איהר סייך, אַחתן! איז נישטאָ... מיין ווייב בעדאָף זיך צו די צרות פּערטלעכען האָבען אַ יונגעל, און נאָך ווען — פאַר פּסת, איהר פאַרשמערת, וואָס הייסט אויב האָט אייגענע אַ חתונה, חתונה הייסט עס! נישטער — נאָרנישט.

— געהט נישט פאַר אום-גוט — זאָג איך צו אלטער'ן-וואָס איך פאַל אייך אַריין אין די רעה, למאַי האָט איהר אויף דער עלטער גענומען אַ יונג ווייב, זי זאָל אייך אזוי פּיעל קינדלעך!

— נאָס איז מיט אייך! — סאכט אלטער פּערוואַנדערט — דען אַ יוד מיט דעם חתונה האָבען נאָרנישט! אַ יוד וויל געבען האָ בען אַ גוטע פּעל-הבית'טע.

— למאַי-זשע, ר' אלטער — סוד איך אַפּיעג — האָט איהר געגט אייער ערשטע ווייב און איהר פּערוויסט דאָס לעבען? זי איז דאָך געווען אַ גוטע פּעל-הבית'טע!

— בע! סאכט אלטער, פּערוקטישענדיג זיך מיט אַ פינטער פנים.

— קיין עקרה, געלויבט השם יתברך, איז אייער ערשטע ווייב אייך נישט געווען — לאָז איך אלטער'ן מיינעם אלץ נישט אָב — אַאזען זענען היינטקומען די קינדער געבען? הא, וואָס!

בע!... בעקעס אלטער אָהן לשון, אַ קראַץ געבענדיג

מנדענדיג סוכר ספרים

זיך אין דער פאר, א סאך מיט דער האנד און א זיפן טיפק סונים הארצען.

בעי-אזי ביי אונז יודען, א טייער הארץ, האט דאס האט זענען פיער טייטשען און איז א תירוץ אויף אלע קשיות. בעי-קען מען געבוירען אלע צייט אין א שטועם און עס זאל המיד פאסקן. איז קען מיט, בעי-זיך המיד אויסדרעהן, ווען ער איז געבאן אין דער קלעם און שמעט שטאל, מיט, בעי-סליקוס א שווינדלער, א אנוצער, אז די בעל-חובות טרעטען צו מיט שמארקע טענות, בעי-שמעט א וידען ביי אין דער נויט, ווען עס בעווייזט זיך, אז ער איז געבען א לינגער מיט, בעי-קען מען אבענטפערן יענעם, וואס דולט אן א קאפ צוועג זעה, נישט צו הערען, נישט צו פארשטענדן אפילו איין ווארט פונעם גאנצען שמועס, מיט, בעי-קומט אב אשענער, צובראכענער יוד, ווען ער דערלאנגט שמילעהייט א פנים; אשענע-פורט, ווען ער סהגס אב א מאאסיע מעשה; א דימענטבי מענטשעל, און חכמות, ווען עס לאזען זיך נאך אויס, ער איז געמלאכעט, האט פול פליי אין דער נאך-הכלל, בעי-האט אלערליי מעטים, משונה וילדע פירושם, ווי א שטיי-נער; רוף סוף קנאקניסעל, לאך צום גנה-תוקף, מהיכא תיתי, קומס יוד, געכמהע דיר פארפול און נאך טייטשען און אצאל. דאס יודישע קעזיל שטייט זיך חסיד און וואודן דאס ווארט, בעי-צילט, און פארשטעקט דעם רעכטען פשט דעפון, ווי עס פאסט צום ענין.

אלטערס לעצטער, בעי-אזי געווען אכטערעס מיט גרינע ווערים. אין ארום איז געלענען עפס ווי חרטה, אבינא-סאן, אבעשולדיגונג זיך אלטן. עס האט ארום זיכער געמוזט לינגן אויפן הארצען ווי א שטיין וויי מאאסיע בענדערהאנד אקענען דעם ערשטען ווייב און די קינדער פון אידן, ער האט געמוזט אין אטליכס אומגליק, וואס ארום טרעפט, זעהט א שטראף פון נאט פאר זיינע זינד, דאס האט געשינעפערליך ארויסגעווען וויי בעטערע זיפן און דאס מאה-געבען מיט דער האנד, אויך דער קראץ אין פאה דערביי, האט אזוי פיעל געהייסען פארשטייט די ליפען און שמוס... אין דער ערד מיטן קאפ!

אויך האב מיר אין הארצען שמארק בעשולדיגט, למאי האב אויך אויפגעוויהרט אלטערס אלטע וואונדען, דאס איז טאקע די מעשה.

מישק דער קיים

מיט א יודען, אריינצומישען זיך אין יענעם היימישע זאכען און אריינ-צוקריכען מיט שאלות יענעם אין דער נשמה אריין, בשעת זי סהגס וועה און ווארגט זיך געבען מיט די צרות שמילעהייט פאר זיך אליין. אהוי דעם האט מיר טאך געערגערט, וואס די מיה טיינע איז איי-גאנצען פערלירען, אלטער האט זיך שוין אזוי פוין צו-וויינט און גע-רעדט סחיה, דאס צינגעל האט געקלאפט ווי א זיינער, פלוצלים בעי-דארף אויך אנהייבען אינוועניט ארעדעל און דער אומרוה איז געבלי-בען שטעקן. איבער-אנייט טיינע מיטעל, אובער-אנייט פויעם ר' אלטערין. אויך האב נישט געקארגט, וויטער איינגעגעבען אלטערין רעד-מיטעל מיט דער פולער מאס, צוגעפאסט צו ארום אגוס שליסעלע, אגנעדדעהט ארום מיט קונצען. יר אומרוה, דאס צינגעל וויינט, האט ווידער זיך צושאקלעל.

7

אלטער וויטער אגנעדוויבען צו דערצעהלען מיט זיין לשון — בקצור, ווי אויך שטעה מיר דאך קאך אויך און בעמראכט מיר דעם זידי-אירד — אירוד, עס קאכט דער עולם זיך גרויס, יודען מאכען געשעפטען, שמארק פערטראגען, פשוט זי לעבען, אוידעלע אויף אירוד אין א פישעלע אין האסער, דארט, פארשטייט אידן מיר לעבט עס, יעקב אבינוס ברכה טאקי; יודגו — און זי זאלען זיך פישלען, בקרב הארץ — אויף דער העלט. — אמת, ר' מענדעלין שמערהט טאקי אזוי געשריבען ווי יודען זאגען: אופן היפעל אירוד? היינט עס, א פנים, די עולם-הכא פאר יודען און אירוד... מילא שטעהט, נישט שטעהט, יודען יודעווען, לויפען האנדלען, שטעהען נישט אין אויף אין ארום, צווישען די סחורים, זעה אויך בערעל סעי-לעזע, א סאך א בעהעלפער, דערנאך א משרת, היינט רב בער. שטעהט מיט א גרויסע קלייט, פלאסט אופן יודי, בקצור, נארינישט. סאיו א סארטאכאט, א קאכעניש, דארט, זעה אויך, לויפט אירודעל, צוויי-סער, ארייטער, אויך פארלעק, פערשווייט שטארק, דאס מיצעל אויפן שפיץ קאפ, דא א סאפ, דארט א סאפ, א סאך ארויך, א סאך אהער.

3 באנד — 3 ביינן

דריטה מיטן גראבען פונגער און א קיי דאס שפיצעל בערעל, גע-
 פאלען, א פנים, אויף א המצאה, עם לויפן נאך און א גיטמה סעף
 לער, שרכנים, סאנדענטיקעס, סאחלאראקעס, קוילאפניצעס, וידענעס
 מיט קויטען, וידען מיט טארבעס, מיט פינג פונגער, בעל-הבית-לעך מיט
 שבעלעך בעל-ביתים מיט בייכלעך, אומליכען פלאט דאס פנים, נישטא קיין
 צייט, ארענדעל, א מינוט, מילא, בקיצור, נאָרנישט, עם האָם אויסגע-
 זעהן, אָם האַפּען זיי דאָס גליק, אַיא, בין איך עם סגאן זיי אים
 ליכען געט דאָס מול אומליכער פערדינט, שעפט גאָלד, און אויב
 שליטמול, וואָס שטייט זיי א לימענע גולם, פארלעגט די הענט נעפען
 מיין צערטען ביורעל, בעהאנגען פון בייע זימען מיט ציצות, קביע
 לעך און אינוועניו שטאַכטעס, פעקלעך אינאנצען זיי ווערטה אדריער,
 החנות שרה בת-שבוים! שרה בת-שבוים אינאנצען זיי ווערטה אדריער,
 געה לעב, צופיהר זיך מיט אורח די הענט, מאָך הונח א מידעל
 אויף שולס אין האַרצען זי, דאָס ביורעל, די דארע שאַפּע מייע,
 הלאַזי וואָלטען זיי אויף דער וועלט נישט געווען! גענוג, מען בעי-
 דארף פרויען דאָס מול, אויך עפּים מאָן ארבייטען, השמיהברך קען
 אפשר החנות האַבען, וואָס רען א בקיצור, עם פעררייט זיך מיר
 דאָס הומעל, עם פערקאטשען מיר זיך די ארבעל, מייע פּים געהען
 צו, זיי פון זיך אליין, צו א וואַגען און פאַלד מאַקי קיי אויך מיר
 א שטרויעלע, וואָס איז פונם וואַגען פערקאָכען מיר גלייך אין
 מול אַרין, מילא קיי אויך מיר דאָס שטרויעלע און דער מוח מייער
 ארבייט. אַקניטשעלע, אהער, אהין און פאַלד מאַקי אַקלאַפּ מיין
 פינגער אין שטערען: מיאזי דאָ! אַשען געשעפּיל, — אַשורק צוויי
 שען צוויי סוחרים, לייטישע מענשען, וואָס שמעהען מיט קלייטען
 אויפן יוד, פאַרשטעהט אידע מיר, ווער אַ אינער אין ר' אליקים, ר'
 אליקים שאַראַגראַדער! דער אַנדערער — ר' געזעל גרידרינגער, פאַרביי
 איך מיר מיין עסק, אין דער ערד מיין קאַפּ דאָס ביידל מיט דער
 שאַפּע, מיט דעם דרוקער אינאנעם! משה מיר אַגעשטאַקען נעמען
 צום נייעם עסקל, למול, עם ריהרם זיך!... אַ האַפּונג, עם וועט
 פאַרזען, בקיצור, אויך מרייב, אָן עם רוקס זיך, מייער וויסט נישט
 מעהר, זיי קאַלענדער-ווען, לויפען פון רב געזעלן צו רב אליקים פון
 ר' אליקים צו רב געזעלן, אויך לויף שוין, ברוך-השם, לייטען גלייך, שטאַק
 בעשעפּטיגט, נישט ערנער פון אלע יודען, אויך האַרעווע, אַקער מיט
 דער נאָך די ערד, עם מוז ווערען — און דאָ מאַגי, אויף דעם

יוד, וואָס רען אַז דען דאָ נאָך אַבער אַרט זיי אויפן יוד!
 בקיצור, אין האַפּעניש, אין אַילעניש, די מחותנים קוקען זיך אָן,
 איינער דעם אַנדערען געפעלם, ביידע פעקומען השק, ווילען שטאַק.
 גל וואַס-זיטע בעדארף מען נאָך? אַז ביידע מחותנים צאַפּלען, ברענגען,
 האַבען השק און זענען פאַרטינגט... איך ווער גרעבער זיי לענגער
 פאַר שטח, דאָס פערדנעס איז ביי מיר גלייך זיי אין קעשענע,
 איך קלער שוין אפילו וויפיעל גרן מיין בחולה צו געבען, דרילך אויף
 אינשיכען הַיבֿ איך אויף דעם כּמך געהאַנדעלט נאָך פריהער, שוין
 געהאַלטען אפילו אין קייפּען ביי אַטאַנדעמניק אַנגעצט סאַמעשען
 מינטשעלע, העכער, דאָס איז שוין די לעצטע דאגה, זיי נאָם וועט
 געבען... מילא, בקיצור — נאָרנישט, נאָר הערט אַ מעשה, וואָס קען זיך
 כּרעדיטען! אַז מיאזי נישטאָ קיין מול, זאָל מען בעסער נישט געבוירען
 ווערען! — אַז עם העלט שוין ביי טעפּ ברעכען און מען דערמאָגט זיך
 גראָד אַרום הַתּוּפּלה, לאָס זיך נאָר אויס... וואָס מינט אידע? —
 אַוועקגיב, כּלעבען, צו דערצעהלען — לאָס זיך נאָר אויס בוידעס!
 ניי, בוידעס איז נון אַהונט אַנאָרנישט, עם לאָס זיך אויס קאַפּיער!
 הערם נאָך דעם אומגליק, דעם שטראַף פון גאָס! ביידע מחותנים
 האַבען — זייט מינט אידע, האַבען זיי אַ ביידע הַתּוּפּען — בחורים...
 — סטייביש, ר' אַטער! — שים איך אויס מיט אַ געלעבער-
 איך פעט אַי אַפּער, זיי אַן איינצע מוטער: זיי פאַלס אידע אויס צו
 כאָן מוז שבוטעריי — רעדען אַ שידוך, איידער אידע וויסט, ווער פּו-
 די כּוהנים האָט אַ בחולה און ווער אַ בחור!?
 — משה פּישטאָ! — גיט זיך אַלטער אַקריס שטאַק מיט
 פערדראָס — איך הַיבֿ נאָך, כּלעבען, אַזוי פּיעל שכל זיי אַנדערע
 אין בעדארף מיר ביי קיינעם נישט לענגען, כּלעבען, איז ער דען
 אַיז און וויסט דען נישט, זיי אַזוי עם ווערען שידוכים!... דאָס
 זיך, ר' מענדעל, אידע וויסט זעהר גוט דעם ווייטען איינפיהר, דעם
 געגענען לייטיגער אין דעם שטרוך-זיך זיין און חמנה האַבען ביי אונז
 יודען, האַסלישע חודשט אידע זיך אַזוי אויף דעם אומגליק מייענס,
 וואָס האָט זעהר גרינג געקענט מיט אומליכען יך, מאַכען — איך
 האַבֿ זעהר וואַיל געוואוסט, אַז ביי ר' אליקים איז מחויב זיין אַ בחולה
 און נאָך וואָס פאַר אַ בחולה! אַז שטיק גאָלד זאָל איך האַבען

מענדעלע פאר ספרים

איך האב זי מיט א יאהר פריער געזעהן אליין מיט מייע אריבער
 אזוי נאך איך זעהען פיעל גוטס. נישטער גאנצישט, אז קיין מוז איז
 נישטא, העלפט ניש קיין חכמות. בעדארף די שענע בחלה קיין צייט
 נישט האבען און אויף צושפרינגעניש חתונה האבען. עפס אז אויס-
 כאפעניש אויף איהר געקומען, ווי אין דער בחלה. איך נאך דאס אג-
 הויבען כאטשע עפס צו וויסען, וויסען נאך איך און פון מיין דלות
 זיינס פרעג איך איך, אדרבא געדענקט-זשע, אז איך קום דא וועגען
 זעס שידוך און נאך גאנץ יודישעך, ווי געווענליך: ר' אליקים
 פון ויל אייך משרד זיין מיט ר' געצעלע, וועמען האב איך פון מיין
 זייט געקענט מיינען סתמא ר' אליקים בחלה, זי, עס פארשטערט
 זיך, מוט ר' געצעלעס בחור'ל, ארויסרעדען עס פפורש איז נאך
 אנגעלעכטער, א אויבערזעע נאך, ווארום די קשוא איז דאך: פשיטא וואס
 לאגט די מיד הערען עס פארשטעהט זיך, אז געהמען געהמען זיך
 נישט צוויי זכרים, ווי דען-ווען א זכר מיט א נקבה, ווי דער שטייגער
 אויז, דאכט זיך פון מיין זייט האב איך געהאנדעלט ווי עס געהער-
 צו זיין, קיינער, פיי מיין יודישקייט! וואלט בעסער נישט געהאנדעלט.
 פקיצור, איך האך גערעדט ריין, שארף, דעם רעכמען עיקר: מכות
 נדן, מכות קעסט, דערפיי מוזט איהר נישט פארגעבען, אז אויף א יוד, און
 און דערצו נאך מיט פוהרים, קען מען נאך נישט רעדען אויבערזע-
 ריק, פיינאכען, נאך געזעהלמע ווערמער, דעם עיקר, דאס געשעפט
 אליין: גישטא קיין צייט, מילא, האט איהר אייך א ענטפער פון
 מיין זייט. היינט לאמיר זעהן צו ר' אליקים, ר' אליקים וידער פון
 זיין זייט, הערענדיג, ווי איך רעד איהם א שידוך מיט ר' געצעלען
 האט זוכער דערונטער געמיינט זיין בחור, אנדערש קען עס דאך נאך
 נישט זיין, איהם אליין רעדט מען מיט ר' געצעלען ווי שיקט זיך עס
 און איינפאלען א בחולה האט איהם אויך נישט געקענט, אז ער וויכט
 פיי זיך זעהר גוט, ער האט חתונה צו מאכען א בחור, נישט קיין
 בחולה, מילא, קומט אויס, ביידע זענען גערעכט. נישטער נאךנישט.
 היינט פארשטערט איהר שוין

— בעל... — מוז איך קום איינהאלטענדיג ויה פאר געלעב-
 פער און אנהענגענדיג זיך א פוח אנהענגענדיג א ערעכט פנים.
 — נו, געלויבט איז נאך, אזי איהר פארשטעהט! — זאגט
 עלטער, א מיט געבענדיג אויף מיר מיט'ן גראבען פינגער און סאכעט.

משלעך דער קרומער

די דערפיי צווייגען, אג' גליק ווי איך האב מיט מיין, בע' נע'
 שראפען פונקט אין קארט.
 און דעם אמח מוז איך זאגען, איז מיר ארטייער'ס דערקלערונג
 אריין טאקן דערנאך אין קאפ, מא, פאר וואס נישט אויף דעם יודישען
 גאנג, ווי עס ווערען געשלאסען שידוכים פיי אונז, פאר וואס נאך
 זיך טאקע אויזנס נישט מאכען? — עס האפט זיך מיר פונים מויל
 ארויס נאך א מאל, בע' אקוק געבענדיג אויף אלטער'ן עפס נאך
 פריינדליך

— א, יאן — מאכט אלטער, ווייטער א מיט געבענדיג מיטן
 פינגער — א, יא, איהר פארשטעהט! נישטער נאךנישט, איהר זיינט
 נאך נישט פארביי, עס האט נאך געצאנקט אין מיר עפס א האנגונג, ר'
 טיך צו א עסקל, לאן איך עס אזוי ניק נישט אב.

— ר' אלטער, נאט איז מיט איהר וואס רעדט איהר? — שפייג
 איך אזש אונטער פאר גרויס וואונדער און מיין זוכער, אלטער איז אין
 המון פאר גרויס היין משוגע געווארען — האט פאר א האנגונג, ר'
 אלטער, האט געקענט אויבערלייבען נאכדעם, אז עס האט זיך ארויס-
 בעווען צוויי חתנים!

— לאגט זיך דינען — געהט מיר אין אלטער — לאגט
 זיך דינען, ר' מענדעל'ו, מאיז רעכט, עס האט זיך נאך געשלאגען
 פיי מיר א ארער, נאט נישט די רפואה פאר דער מכה, פארשטעהט
 איהר מיד, עס האט געטאנצט אין קאדן מעלעצע, נאך נאך אויפן
 אנהויב איז מיר איינגעפאלען מעלעצע, דאָרט זענען שוין דא מירלעך
 זוכעלע, איהר מענט מיר גלויבען, עס האט מיר החלת זיך געדעהט
 אין קאפ מיט א מאל: אליקים, געצעל, מעלעצע, פון זי האט מען
 בעראפט אויסקלייבען אפאר, האב איך בעדארפט נאך דער זייט, מילא
 ר' אליקים, און מעלעצע דערווייל אוועקשטעלען אין דער זייט, מילא
 אז דאס אומגליק האט מיר דא אזוי געטראפען, וואס-זשע מוזט מען
 בעדארף מען ארויספירען אויפן פלאץ מעלעצע, געהויבט, געקרייבט,
 שוין מיט דער נאנצער מורנו: ר' בערישיל! פקיצור, איך פערדייב
 דעם פעלער פיי די פריהערדיגע ביידע צדדים, שולדיג-שמולדיג זי
 אכיסעל, איך אכיסעל, און אכיסעל אויף דאס מול אונזערס, סתמא

אין נישט געווען מן השמים, נישט בעשעט, פארשטעה'ט איהר מוה...
 עם הויבט זיך אן דער גרויסער מזמור: ר' בערישיל איז און עין
 הרע א גביר, א דימענט, א בעל-צדקה, א גבאי אין פיעל חבדות, טייטש,
 ר' בערישיל דעם טיטעל, חכם רעכען איך נישט, ווייל עס פאר
 שטעהט זיך אליין, עס ליגט שוין אין דעם נאמען גביר... מילא,
 גארנישט, דער פינג האפנונג האט אין מיר זיך אלץ וויטער מער
 צוברענגט, גם זי לטובה מראבט איה, וואָס זענען ווי בויעלע אויפן
 וואסער ארויפגעוואומען צוויי בחורים, א צינד איז דאָ פאר זיי ביידע
 סאָך צוויי בחולות, גלייך ווי אונגעשטעטן. ר' בערישיל וועט מיר
 צורעכט מאכען אלצינד און עס וועט אס ירצה-השם זיין גוט, אהער—
 אהין, בקיצור, איך ארבייט אויף אלע בליים, איז האָב ווייטער דאָס
 לויפניש, דאָכט זיך, אין פלוג, גאָר נישקשה'די עם האַלם אויף
 א שטיקעל שטיינער, נישטער גארנישט. בעראָף זיך אין מיטען
 דרינגען וואויסלאָזען דער ירוד, א אובערקערדעניש, אלע צופאָהרען
 זיך, צוליפּען זיך, אויס געשטעטן, און פערפאלען מיין ביה, צווי
 פיעל ביה!

— היינט פארשטעהט איהר—ווענט זיך אלטער צי מיר מיט
 א ניגון פון געבעט, אויסשטרעקענדיג ביידע הענד, ווי ער קלאַנג זיך,
 ניכט אויס זיין שווער, ביטער האַרץ און פערלאַנגט פון מיר עפּים
 א הילף—פארשטעהט איהר שוין אַז ס'איז ניטאָ קיין מול, דאָס
 פיצעלע מול, העלפען נישט אלע חכמות, אוי, א צאָרן פון גאָט איז
 שוין פון א צייט אויף מיר אויסגעגאָסען געוואָרען, אשטראָף פאר
 מינע זינד, אויף מוזמן געלד'ן, וואָנט איהר אַז אַיבירינגען גראַשען
 האָב איך דען אין קעשענע, אַז אָך און ווען און ווינד איז מיר ו
 — א, ווי אין באַרז—צוהיץ איך מיר אויף אַ קול און מוח
 מיר א געשטאקען רוק.

אלטער שטעלט אויף מיר אויס א פאָר אוינען, שאַקעלט מיט
 דעם קאַפּ, שטאַרק אויפגעבראַכט, מאַכענדיג דע-יב'י ווי אין דער
 העלט אַרין ;
 — אַ גנג אַביסעל פון א יודען א מענש ווערט שונא צוין,
 צוועט, די גאל שפּרינגט איהם פאַר צרות, רעדט און ער —
 גאַרנישט! האָט אין זינען זיין נפּש'ל, אַ קאַטאַוועס, ס'איז היים ווי

אין באַרז וועט צושטאַלצען ווערען... איך פאַרשטעה, נישקשה, וידיש
 אַנשטעלען, דאָס וויל א יוד אַ חאַפּ מאָן זיך צוריק, ארויסוועהענדיג.
 אַז ביי יענעם איז קיין מוזננים נישטאָ, קיין געשעפטען מיט איהם
 אעט ער נישט מאַכען
 — בלעבען... רוק איך מיר אָן, א ציה געבענדיג אלטער'ן
 פאַר דער באַרז, כּמנהג יוד—וואָס פאַלס אייך איין, ר' אלטער
 אַזעלכס צו טראַכטען? איך מיין גאָר עפּים אנדערש. אייער סוף
 מעשה אַצינד אייך דעם ירוד האָט מיר דערמאָנט אין זערה אַשענער
 מעשה אַ מאָל אין באַרז, וואָס לינגט מיר עד היום אין טעם און קען
 עס נישט פאַרבעסען, אויך די אייגענע מעשה, עס זאָל דאָס פּעהלען
 אַ האָר, גאָר דאָרט איז עס געווען בקיצור און זיך אויסגעלאָזט מיטן
 קנאָק, מען מעג עס הערען. אַ, איהר שוויצט, ר' אלטער: רוקט זיך,
 וויס מוחל, אַ קאַפעלע אַ הויז וועל איך מיר לינגען אָט צווי מיט דעם
 רוקען צו דער זון און דערצעהלען.

אלטער ווישט מיטן עק ארבעל פונים העמד אָב דעם שווייס
 פון זיין פנים, געהט פון דער בוועס-קעשענע ארויס זיין פאַרצוילייען
 פּפּקעלע מיט עפּים אַ יפה-פה אויסגעבאַלט דערויף; מאַכט אויס מיט
 אַ דרעטעל, וואָס הענגט אויף אַ קייפּעלע ביים מאַמבאָקאווען דעקעל
 פון דעם לולקעלע, דאָס קורצע ציבעכעל, פון וועלכס דאָס דינע
 אויסגעבויענע מונדשטיקעל, ווי אויך דער אונטערשטער טייל, זענען
 גרויס-וואַרציליכע בינדעלעך און דאָס מיטעל-שטיקעל אַ וויכס, אויס-
 געהעפט אַרום מיט זאַמד-פאַשטערקעס; פּערדריכערט דערנאָך דאָס
 פּפּקעלע, ס'הוט דערביי אַ קליין קוקעלע אויף דער יפה-פה און ציהט
 זיך אויס, ווי גרויס ער איז, אונטער דעם בוים, איך הוסט מיך אויס,
 ביה מיר אַרוק און הויב אָן מיין מעשה אַזוי.

אין דער גלופסקער געמיינעטער באַר האַלט זיך זינט אַלאַנגער
 צייט אויף אַ ביהר—פּישקע דער קרומער, ווער פּישקע איז, פון וואַגען
 ער איז—דאָס איז נישט מיר, נישט קיינעם אַיינגעפאַלען צו וויסען.

סענדערע סוכר ספרים

צארנישט! עס דרעהט זיך ארום אבערעפענעניש, א פישקע, ווי אלע געדעע פעריוואהלאומע נפשות, זיין גלייכען, וואָס גיבען זיך אַ וויז ביי אונז, יודישע קינדער, עפּים פּון דער העלער הויט, ווי די שוועמליה, פארטיג מיט אַ מאָל, מיט די אלע חנידלעך, מען זאָל עס געווען אַנהויבען זעהען, ווי זיי האָבען בילעכעוויז געשרפּאַצט, האָטש האָבען פּון זיי פּרידער עפּים אַ מיטן... עס ווערן זיך ערניגן אין לעכער קבצנים, קינדלעך זיך שטילדערהייט—וועמעס עסק איז עס?—פרוכפּערען זיך און מעהרען. ס'איז אָהן עין־הייע אַ גרויס גערעטעניש דאָס קליינוואַרג ניט זיך אַ הייב אויף די פּיסלעך און פּלוצלים שפּרינגען ארויס אין דער וועלט פּרישצאפּלדיגע קליינע יודעלעך: פּישקעלעך, הייקעלעך, הוימלעך, יאָסעלעך, נאָקטע, באַרפּיסע, מיט לייבסע־דראַקעלעך, פּלאַנעטען זיך אומעטום פּאַר די פּיס, אויף די נאָסען, אין די הויזער און די קלייזלעך—קליין שטאַרק גרויסען פּאַרשויין קען מען פּישקען נישט אַנרופּען. ער האָט אַ גרויסען פּלאַטשען קאַפּ, אַ ברייט גרויס כּויל מיט געלע קרוימע ציין, רעדט שטויפּבילאווי, קען נישט קיין רישי, שאַרף ארויסזאָגען און הניקט שטאַרק אויף אַ פּוס. פּישקע איז שוין געווען אין די יאָהרען, פּון זייגעט־ווענען האָט ער שוין געקענט לאַנג חתונה האָבען און מוכה זיין גלופּט מיט עמליכע קינדערלעך; נאָר אויף זיין פּינסטער מול, האָט מען אין איהם זיך פּאַרנעמען, און ער איז, ווי אַ פּיילער מיין אין אונזער ספּריס־האַנדעל, געוואָרען אַ לענגער־סחורה, מען האָט אין איהם זיך פּאַרנעמען אפּילו בשעת דעם רעקרויטע־געהעמען פּאַר האַלערע: חתנים, דאָס היסטן בשעת גלופּסקער קהל האָט געהאַט אין דער בהלה וויכטע קאַלעקעס, דראַפּעס, שלעפּערס און זיי חתונה געמאַכט אויף דעם הייליגען אָרט צווישען די קברים, מיט אפּי־אַט מידלעך, בכדי הורף דעם זאָל די שלאַפּקייט אויפהעלען, אַנשטאַט איהם האָט קהל דאָס ערשטע מוּגל מוכה געווען מיט חתונה־האַבען דעם בערהיטמען קאַלעקע יאָנגלעך, וואָס רוקט זיך אויף זיין געזעס מיט צוויי קליינע הילצערנע ביינקעלעך אין די הענט, מען האָט איהם געפּאַרט מיט דער אַרימע יודענע, די מפורסמת, וואָס האָט גרויסע צייון ווי לאַפּעטעס אַ אַיין אונטערשטע ליפּ, די האַלערע האָט זיך פּאַר זיי שטאַרק דערשראָקען, און נאָכדעם אַז זיי האָט פּאַר שרעק מויק געווען אין גלופּט אַ סך מענטשן, האָט זיי געזאַמט די פּיס אויף די פּלייצעס און אין אַנשפּאַפּע... דאָס צווייטע מאל האָט מען אויסגעקליבען נחוצע־דעם רעם שטאַרט־מענעניש.

פּישיג דער קרוימע

דעם געוויסען לעקיש, לעקיש האָט אויף דעם בוך־עולם, פּאַר אַ גאַנצער עדה שענע יודען, צוגעדעקט דעם קאַפּ פּון יענער מויד, וואָס איהר קאַפּ איז פּון קינדעוויז־אַן בעדעקט, איהר בעט אייך מחולה, מיט אַ קרוין און אויף וועלכער עס געהט אין דער שטאַרט ארום אַ קלינג, אַזוי איז אַ אנדרונטס. דער עולם, זאָגט מען, האָט אויף זייער חתונה זיך נאָנץ שטאַרק משמח געווען, מען האָט זיך וואויל געטאָן און עפּים נאָר אים בראַנפּען צווישען די מצבות אויסגעברויקען, אָב, האָט מען געזאָגט, נישטקעה! לאָזען זיך פּרוכפּערען, לאָזען יודישע קינדער, דער חלערע אויף צושפּרינגעניש, זיך מעהרען, לאָזען אַרימע קאַפּ לעקעס געבען אויך הנאה האָבען... נישט דאָס ביין אויך אויסען, הכלל, פּישקען האָט קהל פּאַרנעמען, אויף גלופּט איז געקומען וויטער אַ האַלערע און פּישקען האָט עס פּאַרט נישט געהאַלפּען. ער איז געבליבען אַ בחור ווי פּרידער, אפּילו די מוהמע אָהן אַ נאָג, וואָס איהר שטויבער איז צו העצקען זיך אין מוטיען דער נאָס, בשעת איהר בליזערל סקרופעט אויף עפּים אַ מיין פּידעלע, צוונגעניג דערצו אויפּן ביי־קולכען, געהט צונויף אויף אַטעלערל נכות, בכדי צוויי מותם זאָלען געהן טאַנצען, קאַלעקעס, קבצנים, אַרימע מידלעך זאָל לען חלילה נישט פּערוועצען, — אפּילו די נוסע, פּאַרמוהרדיגע מוהמעני האָט אין פּישקען זיך נאָר פּאַרנעמען און איהם געלאָזט אומגעהען אָהן אַ חויב. ס'איז אורזי נעבעך אַ גרויס חמנות, אַ צער בעל־החיים, נאָר מסתמא איז זיין מול שוין געווען אויגנס—פּישקעס גאַנג איז געווען געוועהטליך באַרפּיס, אָהן אַ קאַפּאָטע, נאָר אין אַ גראַב געלאָטעט העמד מיט אַ לאַנגען פּאַרטימליצערעטען ארבע־כפּות און פּחלונים פּון גראַבע ליווענס מיט אַ סך פּאַרלען, זיין אַרבייט איז געווען צו געהן הוצען אויף דער גאַס: בעלי־הפּתים אין פּאַר אַרין? פּייטאָג אין „הייבערעך אין פּאַר אַרין? מיטוואָך—זוכע, זיגן עס פּלעגט זיך אַנהויבען וויזען גאַרמטונגארי, האָט אין דער יודישער גאַס זיך געלאָזט הערען זיין קול ווי פּון אַ שיליען: יודעלעך, אדער! יונגער קנאַפּ, יודעלעך? אין פּאַר פּלעגט ער היטן דאָס אַנאָיאַ, אונטערשפּרינגען אַ שעפעלע וואַסער און אַיינלאָזען אַ קישיג העמד אין דעם ארבעל אַייין מיט אַ קנפּ אינעווייניג, ווי אַ מיסשעך, דערלאנגט אַ קויל פּייע, וואַרפּניק עס פּון איין האַנד אין דער אַנדערער, צו סערוויכערען אַ ציגאַר מיטן, און כאַפּען דער־פּאַר מיט אַ מאָל אַ האַרטען צווייער, אָדער אַ דרייער, פּישקע האָט

דיך שוין גערעכענט דערמיט פאר א שמוקל פלי-קורש און געהאט דאס רעכט אויף געוויסע זאכען, ווי א שטייגער, ארומנעוהן אינאיינעם מיט דעם פעקעל שמויער, באדלייט, אויבער די היוער, נאך פורים געלד, הנוכה-געלד, קומען מיט דער קאמפאניע אויף א לעקע-און-בראנפער, אויף א קריאט-שטע ליינענען, אויף א ברית ביי בעלי הבתים אין באד און האפן א פויסע מיט א שמוקל האנטי-לעקען און ארומגען פח. מיט א מארבע צווייפונדעמבען ביי די בעלי-הבתים שמוקלעך מנה. — אויך האב פישקען זעהר גוט געקענט פלעגן ליעב האבען אריינצולאזן דיך מיט איהם אין א שמועס און אנקוועלען א סאך פון זיינע ווערער. ער איז נאך נישט געווען אזא מיואסער שומה, ווי ער האט אויס-געזעהן, ווארום ווען אויך בין נאך אין גלופסק, איז ביי מיר די ערשטע זאך פון אלע מלאכות זיך אראפצוהאפן אין דער געמיינער באד, אויסצוהרעדן די זאכען, די זאכען און צו פארען די בינער אויף דער אויבערשטער באנק, זאגט זיך וואס אירד ווילט, דאס איז דער בעסטער הענוג ביי מיר, וואס קען, דאכט זיך, בעסער זיין פון שוויצען און זאך אויך פפורש נאך אבא, ציניג-א פילו וואלט אויך אויך שטארק געהאט פונם ביסעל שווימ, ווען די זון זאל מיר נישט זיין אקענען פנים. —

—רוקס זיך נאך, ר' אלטער רוקס זיך, זיט מוחל, הייטער אביסעל—א אידה האט איצט אהי עין-הרע נאך דעם נוסען שווימט מחוט זיך נאך, זיט מוחל, ארוק אט אזוי, אזוי.

—ני, איין עקי א סוף זאל עס האבען—מאכט אלטער אנגעברענגט— אויך ליג שוין, דאכט זיך, גוט, ציהט נישט, אויך בעט אויך, ביי דער נשמה און מאכט עס בקיצור.

—האט צייט, ר' אלטער דער מאג איז נאך גרויס—רוך אויך מיה אן און הויב אן ווייטער צו דערצעהלען:

—זו אויך בין געווען מיט עטליכע יארה צוריק אין גלופסק און פונדערווייטענס אויף דער גאס דערזעהען פישקען, בין אויך פשוט אויס דער הויט געשפרונגען פאר גרויס וואונדער, פישקע מייער, זעה אויך, גערט מיט די קרומע פיס, אנגעטאן ווי א שמשאנעל אין אשפונגעל-נייע משע-קאסענע קאפאטע מיט נייע שייך און זאקען, אויפ'ן קאפ א גרויס פליסען

הייטער און אויפ'ן הארץ בלושטשעט איהם ערשט ווי פון דער נאדעל, א לייבצודעק פון הארט אנגעקראכטאלמען צימט מיט גרויסע רויסע קוויטען וואס קען עס בעשטימען טראכט אויך ביי מיר, זאל זיין אפשר, קהל האט איהם אויסגעקליבען פארם פאר א האלערע-התחז נאך אויך גלופסק אבער איז אין יענעם יארה קיין האלערע נישט געקומען, נישט דעריבער, ווייל מען האט אפשר אויסגעריינגט דעם פייך, צוגענומען די בערגלעך עפשידיגע בלאטע און די געפרעשע קעץ פון די נאסען, אדער בעלי-הבתים האבען געמאכט א האסלע, אויף צו-הלכעם דעם גאנץ אלמען מנהג, ווייטער נישט אויסצושייטען דעם מיסט, אויסצוגיסען די פאמייניצע אונטער דער נאז, פאר די היוער א הלילה! ווי קען מען אויך אזא יודישער קהילה אזוינס נאך טראכטען נאך וואס דעזן ס'איז גלאט געווען נאך ריינע נסיים, וידען האבען אפילו דענסטמאל זיך געקלאגט אויף די ביכער, צוביסלעכוויי אויך אונטערגעשטארבען, נאך דאס איז געווען גלאט אזוי, איין איבער-לאנג, מען האט עס צוגעשריבען די גרינע אונערקעט, דער ארימער עולם האט מיט א הייסען הונגער זיך צוגעהאפט צום יונגען גארטע-ווארג און... ס'איז געלויבט גאט, מוט הסדר... נישט דאס בין אויך אויסען, דערווייל, ווי אויך טראכט דא און וואונדער מיר אזוי, איז פישקע פערשווינדען געווארען: גראד בין אויך, נישט היינט געדאכט, דענסטמאל געפאלען אויף די קרויזשעס, געליטען שטעכעניש, שוין פאקט א לאנגע צייט נישט געלאזט צו דער אדער, נישט געשנילט קיין באנקעס, א חוץ נאך א קענען א צעהן פיאוקעלעך אין דער גאנצער צייט פון עטליכע חרשים... נן, האב אויך מיר פירגענומען, מארגען, בלי נדר, געה אויך בייצייטענס אין באד, וועל דארטען צוברענגען נוסע עטליכע שעה און שוין אונטערקען דארט אלצדינג, נישט דוקא זענען פישקען אליין, ווי אויך טאקע ווענען אנדערע וויכטיגע זאכען; מבוך פאליטיקע, פאטשטען און אלצדינג, וואס קאכט זיך, פערלויפט זיך אויך דער וועלט און אין דער שטארט, דאס איינציגע שמוקל ארט פאר יודען אויף צו שמעקען, ארויסצוגעבען וואס עס בורשטעט איינ-אעניג אין זיך און האפען צוריק עפיס א לעק פון אנדערע, דארט, אין דער באד, ווערט מען געוואהר פון זעהר פיעל סודות, דארט ווערט אבנעמאכט זעהר פיעל געשעפטען און עס רודעוועט זיך מעהר נאך ווי אויף א יודע, מען בעדארף אהין קומען אין א פרייאגא, זעהט מען שענס: אין איין ווינקעל זיען רופאים מיט דעם קלופערציג, ארום זי ווערן

סענדעלע מוכר בארים

א סוף איין רופא נאלט קען, דער אנדערער רופא מיט א ברימיות צוקארדראשעט פלייצעס, שעלט באנקעס דעם, האפט אראב געשטעלט באנקעס ביי יענעם, און יודיש בלוט גיסט זיך מיכענווייז אויף דעם פאל, אונטער מענשען, פערמישט אינאיינעם מיט בלעמלעך פון בעיומער און אָבגענאַלמע האָר, דעם רופא'ס ברענענדיג ליכטעל שמעלצט זיך מיט א צופלאַכמענעם קניוט, שפּריצט, ברייגעט מיט אַ בייער, מיט אַ פּלאַס-פּייער פון אַ מיתה-משונה-קאַליי... אויף די וועלט, אויף דער סטעליע געבען אויווען היינען, ווי אין דעם גרעסטען מאַגאזין, אלערליי קליידער: העמדרע, נאַקען, פּלאַ מיני קיילעכדיגע פּעלפּעע הימלען... חתונות, קאפּטענס, קאפּטענס, אויף קיילעכדיגע פּעלפּעע הימלען... — שוין דער אויבערשטער באַנק לאַזען זיך הערען שרעקליכע קולות. אַ סוף יודען ליגען דאָרט אָהן כּוהות, ויפּזען און קרעכענען, אַ סוף זענען געוואָפּענט מיט בעזעמלעך און שרייען, געוואַלד, יודישע קינדער געוואַלד האָט רחמנות! געוואַלד געוואַלד פאַרע... אין באָד הערט קאלט, אלע שרייען, און איינער שטרעקט נישט אויס אַ האַנד אויפצונעמען אויפ'ן שטיין, ביז צום סוף געפינט זיך עפּיס אַ ווייסע-חכרהניק און מאַכט אָן אזאָ היץ ווי אין ניהום, אויף דערשטיקט צו הערען, צוויי אויסגעוויקטע יודען שלאַגען זיך דאָרט פאַר אַראַשקעלע, אויסריימענדיג וואָס בלאַקעט זיך דאָ אַרום אָהן געצויג, לעגט זיך אַרין אין שלום, מאַכט אַ פּשרה — און אלע אַלע דריי מונקען וויערע פּערשטאַלצעוועטע פּאַטשיילכענס און וואַשען זיך פון איין ראַשקעלע. אויבענאָן אין אַ קופּקעלע, זיען מיוחסים, נגידים, לייטישע מענשען און שמועסען, פון חוץ-ואַכען; מכוּח די טאַקע, מכוּח היינטיגע עוזה-פּנימער, מכוּח דעם נאַפּאָר, מכוּח די וויפּאַרעס אויף גלאַסעס, אויף אַ רבּ, מכוּח אַכטען און דרייצען און מכוּח דעם פּעס נייעם פּאַליצייסטער צו זיי שאַרט זיך צו זיי אַ קעצעלע עפּיס אַ שטענער יוד און מאַכט אַ שמועס מכוּח דער הלמוד-תּורה, מכוּח די נייע גוהות, מכוּח המאָס אין שפּאַרט און רייט דערביי אַטליכען איין סודות אין אויער... גיזילים קומט-צו איינער אַ וואַילער וונג, וואָס שאַרפט די ציידן אויף לאַסנע און פאַרבעט מיט אַ חניפה-שמייעלע אויף דער אויבערשטער צאַנק דעם גרעסטען יחסן און בעל-דעה, וועלכען ער וויל אַפּיסעל אויספאַרען טשאַקענדיג מיט זיין כּבּוד אַליין, דער שטענער יוד, וואָס נאָט אויף אַ קוק אויף עפּיס אַ החמנות און וויל אַבלעקען אַ ביינ, פּאַלט

שיקע דער קרומער

דעמיליכען אויף דער אייגענער המצאה שוהט זיך אַ ביינ מיט אַ הימפּילע און פאַרבעט אויך אַ יחסן צום טאָנן. אלע קינדען אַרויף אויבען אויף דער באַנק, די בעזעמלעך הייבען זיך און די געשעפטען זענען אָנגע-מאַכט... כּוהות די מיוחסים הערט אין באָד געשמאַק היים, קליין און גרויס, יונג און אַלט האַבען זיך צו די כּליים, דער עולם קרעכענען איי-קעט, פּאַסאַקעוועט זיך אויף אַלערליי קולות, און דענסטאַפּל קייכט מייער אַרויף העס-הענט דורך אין אַ ווינקעלע, ביי ח' ד' ו' תּ, פּאַר זיך אַליין און שוהט זיך אַ געם פאַרען די ביינער אויף וואָס די וועלט שטערהט.

— אוי ר' אַלטער, אַ רוקו האַטש אַ קליין וקלעל, אַהין אַהין אַ ביסעל, קיין צפּון-זייט...
אַלטער קוקט טיך אָן עפּיס, ווי אַ אויטיקעניש, מאַכענדיג מיט די אַקסעלן: נאָ, נאָ!
— האָט צייט אַ ביסעל — געהט איך איהם איין — וואָס אז אַזוי דאָס האַפעניש? באַלד, באַלדו לאַטן נאָר אַ קאַפּעלע זיך אָבזעהן.

1

אַלטער האָט זיך עפּיס צו שטאַרק געפאַרנט מיט דעם מנהגטיג, קעל, וואָס איז געווען מיוחס פּערלייגט, דערנאָך האָט ער עס אָנגעדריקט סוף ציפּעלע, שילטענדיג עס מיט פּערדראַג, איינגעזעט אַנשטאַט איהם אַ געווען-פּענדעל, פּערדריקט אויף דאָס גיי זיין פּיסקעלע — פּוה-פּוה פּוה — און אַרויסגעלאָזט ווי סוף אַ קייטען אַ נאַנצען וואַרקען רויך. איך האָב אַ ביסעל אויסגעלייכט די אַלטע ביינער און ווייטער אַנגעהויבען צו דערציילען.

אויף מאַרגען בין איך געקומען און באָד ביי צייטונגס, אַ סך פּיהרעך, איידער דער עולם איז זיך ביסלעכווייז צונויטגעקומען, בערעל דער שטיי-טעל איז געזעסען אין הייז אויף אַ באַנק צווישען ראַשקעלעך, אויפּער-טעלע ווי אַ נורעס איינע איז די אנדערע און געבונדען בעזעמלעך, איבער-

קוקענר די בלעמלעך מיט אז ערענפס פנים, ווי א וידעע קלייבט ארבעס, נישט ווייט פון איהם שמעטש נעבען אויווען איציק דער היטער, א ויד מיט א גרויסער באָרד, וואָס איז אין דעם ברויט אַ יאָרד דרייסיג, טוהט נישט מער ווי קיגען מיט צווייפונגעלענע הענט אויף די פעקלעך זאכען, צוויינשיבען אטליכען ביים אויסנעטן פון מרחץ „צו רפואה“ אין ציהם דערפון דאָס שטיקעל פרנסה, ער נענעצט אויף אַ קול, אויסציהענדיג דערביי די הענט אין דער הויף, מאַכט אַ חשבון, וויפּעל דאָס ווייב בעט אויף שבת, שמועס=איבער מיט בעדלעך פון די היינטיגע שענע פּערדונסטען, שפּעט=אויס אטליכען פון די בעל=הבתים בעזונדער, מאַכט אלע אויסצודרעקען, דער איז אויבער, יענער=אויבער, נישטאָ די מענישען וואָס אַמאָל, נאָר נישט דאָס מרחץ וואָס פּריהער, ווענער פון אַ זעקסער האָט דער קארנסער אפילו נישט געוואָסס, און היינט... טוהט ער אַ שפּיי און לאָז=אויס; היינט מענען זיי אלע די כּפּרה ווערען! —

בערעל און איציק האָבען מיר נעמאכט אַ גרויסען, ברוך=הבא, שוין סאָך אַרויפּשע צייט אז מיר האָבען זיך נישט געווען און אויך צוין ביי זיי געווען זעהר איין אַנגעלעבער גאכס, מיר האָבען זיך צושייטעס וועגען פּעל זאכען אין כּיבן אין דער מיט שמועס אַרויפּ=עקומען אויף פּישקען, וואו, פּרעג איה, איז אונזער פּישקע

—פּישקען—מאַכט בערעל, אַרעסע נעבענדיג דאָס בענעמל— די געהע פּישקע איז אַ מענש, אַ בעל=הבת/על, איבערגליקליק!

—פּישקען—זאָגט איציק, צושאָקלענדיג מיט'ן קאַפּ—פּישקע איז היינט אַ פּריץ אויסער זיין שאַרען, געוואָגט געוואָרען אויף אַ סוף... ג, פּישקען ער האָט זיך נאָר קיינמאָל אויז גוט נישט געוואונשען.

אַס וואָס בערעל דער שמויסער האָט מיר לכּוֹף דערצעהלען:

— אַ דעִיטעִטשאַג פּאַרנאָכט איינמאָל, אינהייצנדיג אין אלע אוימענט און זיך שטאַרק אַנגעטראָדערעט פון דער אַרבייט, לעג איהך טיף מיט חברה אין באָך אויף די בייגן, אפּיסעל דעם אָסדעם צו האַפען, הויז אונז ווענען ראָרט געלענען אויסגעצויגען נאָך עטליכע יידען במלנים, וואָס האַלטען זיך דאָ אויף, ווי מיר ליבען זיך דאָ ווי רוחני, רייכערע און שמועסען זיך אויז גאַנץ פּרעהליך, מיט אַמאָל

דערען מיר, ווי מען פּאַרשט עפּיס צו, גלייך צו דער באָרד, ג צוגינג פּאַרהען—צוגעפּאַרהען, וואָס מאַכט עס אויסז אידער מיר קוקען זיך אַרום, קומען אַרײַן דריי איינזענע, געזונטע פּאַרשווינען, אלע אין איין קול, גוט גאַווענט, ידען וואו איז פּישקע ז גיט אהער פּישקען!... דאָ האָב איהך טיף שוין סאָך אפּיסעל ווי דערשראָקען! וואָס הייסט עס פּאַר אַלשין, עפּיס נאָר אין איין אַטעמען; גיט אהער פּישקען, בייד אָבער האָב איהך זיך צודיק מיטש געווען, וואָס איז דאָ אזוי דער שרעק קיין גנב חלילה איז פּישקע גיט, עפּיס געשעפּטען גרובע מאַכט פּישקע איהך גיט און ווען אפילו די פּאַרשווינען זענען האפּערס, ווי=ישע הערש זיי פּישקע אקוראט ווי דאָס מילכעדיגע קליינגעל, מיט זינע מעלות איז פּישקע, ברוך=השם, בעוואָהרענט פּאַר אַרעקרום.

—פּישקען בעדאַרפּט אידען—רוף איהך אָן בעוואָרעט—ער איז אַזנדר נישטאָ, נאָר זאָגט פּור, פּעניערס, צו וואָס סוגי איהך פּישקען איהך וויל עס וויסען.

די יודען קוקען זיך איבער אַוויילע צווישען זיך, דערנאָך מרעכט איינער פון זיי אַרויס און מאַכט צו מיר: מהוכא=הית, מיר וועלען אַיך זאָגען, פּאַר וואָס נישטו מען האָט חלילה דערמיט זיך נישט צו שעמען; דאָס איז אַ יודישע זאָך, די מעשה דערפון איז אזוי

די בלינדע יתומה קענט איהר דאָך, די בלינדע יתומה, וואָס זיצט שוין פון גאַנץ לאַנג געבען דערטויטער שול, ביים אלטען בית=העלם, און בעט גביות מיט דעם בעקאַנטען לידעל, וואָס איינער פון די בריות האָט אויף איהר נעמאכט, די דאָוונע בלינדע יתומה איז היינטיג יאָרד געבליבען אַ אלמנה, זי האָט זיך געאַילט ניה צו פּערקנסען מיט עפּיס אַ סרענער, זיך מחויב געווען, איהר אויסצוקליידען בעל=הבתיש און געבען איהר זיין בעדערפּעניש, דערצו נאָך אפּיסעל געלד. היינט האָט געוואָלט זיין די חופּה, מען האָט אַנגעגרייט זעהר אַ גיטע וועכטערע: בראַפּען, בולקעס, פּיש און מאַפּ=געבראַטענס, אַ גילדע=גע יודען מיט עופות, ווי דער שטיינער איז ביי יודישע קינדער, דאָס אַלצייג קאַסס געלד, אז מען איז אונגאַנצען פּאַרשוני געוואָרען, די כּלה אויסגעפּוצט, אויסגעשלייערט, שיינט, לויכט, ווי אַ יודישע סאַכטער, איז מען געגאַנגען צו דעם חתן געהען איהר צו דער חופּה, דער הכּושט אַבער, הערט נאָך, איז נאָר נישטאָ אין דער הייט מען וואַרט אַ שעה, נישטאָ, מען

מענדעלע סוכר ספרים

חארט נאך א שעה, ער קומט נישט, ער איז ווי אויסגעטריקענע געווארען וואָס לאָזט זיך צום סוף אויס? דער בחור, ברענען זאָל ער, האָט הרמתו באַשר זיין באַבע, וואָס איז אויך פּיעל יאָהר שוין אַ קעכע ביי אונזער גביר, לאָז געזונד זיין, וויינט, לאַרעכט, פּילדערט, שרייעט אויף דעם שידוך, סאוו איהר נישט לכבוד, זי דונט פאַרט אזא צייט ביים הונגען גביר, און אויגעקאָכט מיט אַסוף בעלי-הבהים אין דער שמאָרט, וואָס געהען צום גביר אויף דער הונטערשטער מיר דורך דער קוה, זי קען מאַכען אַ גושען קוגעל מיט האַנציעס קבלה און צו איהרע הרעמולעך איז קיין גלייכען נישטאָ. עפּים אַ קאָטאָוועס אַ קעכע אין דעם גביר'ס געזונט, וואָס האָט אין יאָסקע די גרעסטע דעה, וואָס דער שמש פון דער שוהל ברענגט איהר מיט זיין כבוד אליון דעם אחרונ בנישען, וואָס דער אונטער-חזן אין דעם קליינעל ליינעט איהר פורים די מגילה און דער קוה און ריקלע די זאָנערין טרינקט ביי איהר אַ גלעזעל ציקאַרע ראש-השנה נאָך אויסצומעניש, פאַר וואָס-ישע זאָל היינט דאָס אייניקעל איהר אויף דער עלטער דאָס פנים פערטייאָרצען און צושטערבען איהר דעם גאַנצען יחוס? ניוו, האַטש האַקט איהם און בראַקט איהם, שריי חי וקים, עס העלפט נישט, ער וויל נישט דעם שידוך, וויל נישט די בלה, רופט מוה, זאָגט ער, קנאַק-ניסעל אין לאָזט צום גתנה-חוקה—מיר אלע זען נען געבליבען ווי אויף דער טילכעדיגער באַנק, עס טוהט אַבער קיינעם נישט אויך פאַנג דער חתן ווי די העטשערע, וואָס טוהט מען מיט דער העטשערע, מיט אַנעלכע פיש און געבראַטענעס מיר מתעסקים האַכען אַגאַנצען סאַג'וה אַנעמעאַרדוועט, אַרומגעלאַפּען, געטאַן, געאַרבייט, אונזער קומט נאָך אויך פּונים שדכנות, אַ עברה, כלעבען, אויך פּיעל מוה אונזער מוה, אונזער אַרבייט: מיר האַכען געטראַכט, געטראַכט, נע קלערט, געקלערט און אונז איז איינגעפאַלען פּישקען לאָז ער, כלעי בען, אַרויספּוהרען איטליכען פּון דער נויט, לאָז פּישקע, כלעבען, זיין דער חתן, וואָס מאַכט עס אויסז יואָס קען עס איהם אַרעזן מיר זענען דאָס אַזונד נעקומען געהמען איהם באַלד טאַקע צו דער חופּה אַנשטאַט דעם טרענען.

אין דעם ווי די יודען מענה'ן דאָ אויך, קומט אָן פּישקע, מיר האַכען איהם געמאַרן אַ נעמס, געהאַפט די פּשרע מצּיאה, נישט צו מאַכען מיט איהם קיין פּיעל הספרות, קיין לאַנגע שאלות: געה, בחור, מיט די קראַנקע פּים, גענוג זיך געפאַסעט, געה, בחור, אונטער דער חופּה!—

מען האָט אַלצדינג אַננעמאכט גאַנץ געשוונד, גאָך איהר פּישקע האָט צייט געהאַט אפּילו זיך אַרומצוקוקען. חברה האָט געהאַט אַ נטע מעכשערע, געעסען, געטרונקען אויף וואָס די וועלט שמעהט און צוגעוויינטשענעט דעם נייעם פאַר-פּאַלק.

פּישקע געהט עס היינט אין דער משערקאַסענער קאַפּאָטע, וואָס איז איהר האָט געזאָלט געהן דער טרענער און אין גאָך דער וואוילער יונג, זיין אַרבייט איז היינט אַרויסצופּוהרען אלע פּריה-סאַרגען זיין חייב, די בלינדע יתומה, אויף איהר אָרט געבען אלטען בית-עולם און החילת הלילה אַוועקצופּוהרען זי פון דאָרט צוריק אַהיים, מיט עפען און טרינקען האָט פּישקע נישט וואָס צו זאָרגען, זיין חייב איז איין אַשט-חיל, האָט אַ שמענדיגע גוטע פרנסה אין די הענה, דאָס פּאַרל האָט זיך ליעב, איינער דעם אַנדערען האָט נישט חלילה אויסצוזעצן קיין הבוונות.

אַס דאָס, ר אַלטער, האָט מיר דעריעהלט פּיערעל דער שטייטער, זעהט איהר שוין, ריך איך מוה אָן, וואָס אויף דער העלט קען זיך טרעפען, ווי אויך מען פאַרט ביי אונז יודעלעך הונקעדיגע מיט בלינדע, ווי אויך מען שבעלם הופות, מאכט זיוונגס, ציליעב וואָס די כהותים זאָלען זיך זאָס אַנעכען, אַנטרינקען? אויך איז ביים געמיינע עולם, ביי די אַרימע און אויך אויך ביי די גנדים, דאָרט ווערט אויך זעהר אַפּט געשלאָסען אַוועלכע מיני שידוכים, וואָס נישט געשמוינען. עס פאַרשטעהט זיך, צוליעב איין אַנדער מין העטשערע, מיט איין אַנדער חן... נישט דאָס בין איך אויסען, זאָרנט, כלעבען, נישט, ר אַלטער! אויב איך איז נישט געראַטען פאַרען מיט אַ בחור אַ זכר, דערפאַר וועט איך געראַטען, אַס-ידי-ההשם, צונופּוהרען עפּים איין אַנדער מין שידוך, פאַלד נאָך ביי איך נים אַראָב, נישקישט, כלעבען! איך זעה, איהר פּונים, איהר האָט געהאַט דעם סטרה באַלד טאַק, נאָך לומדיש, פאַרקעהרט, אַרדפה, אַנגעווייבען אייער ביי געשעפט דאָס איהר גאַנץ ננס, ווי אַלאַנד-שדכן טאַקן, אַ וואָס דער בחור... ג, בע, כלעבען! דערפאַר אַבער אז איהר וועט עריגי שוין אַנשטעקען אַ מויר, וועט עס שוין געקן ווי אַ מומור, אַ בלינדע, אַ שטומע, אַ קריממע, געה, סאַכטער, געה מיט סול אונטער דער חופּה! דער רוקער באַנט געלט, די שקאַפּע בעראַרף עפען, די בחולה מיינע מוז תּתנה האַכען.

ס'ין ווייב איז געלעבען געווארען, למול, מיט א יונגל, געה-ושע, מאַכטער, געה, רוק זיך אונטער דער חופה...
 רוקם זיך נאָר, אין מהשבותין, ר' אלטער וויטער אביסעל.
 אַ, איהר שוויצט, אַדז עז-הרע ווי א בביטרו שוויצט, שוויצט
 געווערערהיים !

1.

מילאָ בקיצור, ווי די מעשה איז, דערווייל איז שפּיל! — מאַכט אלטער, ווי אליין צו זיך, מיט י קרעכץ, בעסריבט, פּעראמערט און גרויסע טראַפּען שוויס טרעטען איהם אַרויס אויפ'ן פּנים, ער הייבט אויף די אויגען, דערלאַנגט אויף מיר אַ בליק, עפּים מיט אַזאָ ריהרערדיג קנייטשעלע, מיט אַזאָ רחמנות-פּנימ'על, ווי אַ וויגענדיג קונד קוקט אויף דער מאַמע, בשעת עס לעבט נאָך דער צוטום. אלטער נעכט האָט געמינט פרנסה, עס האָט איהם געצויגען צו מאַכען מיט מיר עפּים אַ געלעפּעמעל, וואָרום ווי לינגען עס צוויי יודען מיט בער, אין מיטען העלען מאָג, גלאַט גי' אַהן עסק: ווען צוויי יודען זאָלען, אַ שטייגער, פּערוואַרפען ווערען ערניג אין אַ עק אויף אַ וויספע, וואו חוץ זי איז נישטאָ קיין לעבעדיג בעשעפּעניש, איז נאָג זיכער, אַ איינער וועט מיט דער צייט מאַכען עפּים אַ קלייטעל, דער אנדערער — אויך עפּים אַ שטיקעל געשעפט, בירע צווישען זיך וועלען האַנדלען, איינער דעם אנדערען פּאַרנען, געבען אין קאַמוסיע און איינער פּונ'ם אנדערען ציהען דאָס שטיקעל פרנסה. אלטער האָט באַלד טאָקי אַ פּרעג געמאָן: וואָס געפּינט זיך ביי מעלתו היינט עפּים אין ביידיעל? עס האָט אַזוי פּיעל געהייסען ווי: מאַמע, מיטע... צופאַקס אַיך, ר' מענדעל, און אַרויס מיט דער סחורה!

אין ברירה! מען טאָר זיך ניט פּוילען. אויך געהט אפּיר מין פּעקעל סחורה, אלטער זיין פּעקעל און געהען זיך קנעלען, געשטאָק צום עסק, מיר סטענעווען, בייטען, אַיך גיב אלטער'ן אין הילף אַרײַן בריה'שע ביכלעך מיט קורצע שוה'לעך און אַה, אַה, ווע-גענעש-רי.

גען! — וואָס איך וויל זי פּטור ווערען, ער איז אַבער אויך קיין גישט און וויל זי אפּילו אין די הענד אַרײַן גישט געהען.
 — פּוילע סחורה! — זאָגט אלטער, פּערקרימענדיג זיך — שטאַכטעט פּון עפּים פּערשטעלמע בענק-קוועמעשער, אַרוימע בעל-עכרות! וויס אויך וואָס זי האַבען דאָרט עפּים אַנגעמאַכט! פּאַר וועמען? קיינער פּונ'ם עולם פּאַרשטעהט דאָרט נישט גילדו קיין וואָרט. עפּים מערקיש, מיטשינס געזאָגט, לשו'ן... איינמאָל שוין געטאָן אַ גאַרנישקיש פּהרען מיט זיך אַזאָ לענער-סחורה. פּע, כּלעבען! גיט אַהער, ר' מענדעל, עפּים רעכטס!

אויך לייג אַרויס רומיל, איין מין נאָך דעם אנדערען, מין אלטער קוויינקעלע זיך אלץ, זעצט-אויס סחירות. צו איין מין אַבער בעקומט ער שטאַרק חשק און איז צו איהם ווי צוגעזאַמען געוואָרען. ס'איז באַמט געווען נאָך אַנטיק, די בלעטלעך פּון פּל-אַ-מיני קאַלירען, און נישט פּון איין גרויס. די אותיות אַניסעל מוואַשט פּון אלערליי שריפּט: רשי'י, דימענט, פּערל, פּרקיס, גרויס און קליין העליש. דאָס אויס-שטעלעכטס נאָך וואַונדער, שטאַלע פּאַסיקלעך אַנגעדרוקט מיט קליינע אותיות-לעך, ביי די זייטען, אַ ברייטער פּאַס מיט גרעסערע שריפּט אינוועניג אין דערמיט, אונטען אַ בויך מיט פינעלעך אותיות, אַנגעזעצט ווי טאָן, און צווישען די אַלע שטיקלעך ציהען זיך אין דער לענג, און דער ברייט סטענעקלעך, ווי וויסע שטאַלע בענדלעך, די אַלע גוטע מעלות, וואָס יודען אין אונזער ווינקעל האַבען לעב. פּאַרווערטע בלעטלעך איז אין פּיעל שטעלען אויך געווען. דאָס איז דאָך ערשט די גאַנצע חרופּות: אַדרבה, לאָן אַ יוד ברעכען דעם קאַפּ, פּאַלען אויך דעם שכל און געפּינען. גלאַט אַזוי, פּראָסט, ווי עס געהער צו זיין, קען דאָך אפּילו אַ גראַבער יונג אויך אַנמאַפען... פּון גרייזען דעם מען שוין גישט, דאָס ס'זיין דאָך זיין, און וועמען געהען זי אַן אַ יוד האָט אַ קעפעל און איז נישט-נישט גישט קראַנק זיך אַנגעשוואַכט, וואָס מען מינט, נאָר אַלשן, אַלשן איז עס דאָרט געווען קונציג וואויל נאָר נישט צום פּערשטען אַקוראַט אין דעם יודישען גוטס. אַז-קויצ'ן איז דאָך עפּים אויך גענוג גוט, האַרבליך סחיה, נאָר אַז-קויצ'ן-לשון שרייבען ביי אונז היינט געווענהעליך אויך פּיעל אנדערע, מען קען פּאַרם ווי עס-איז זי אַינבייטען, מיר עפען וואָס זי מינען. מילאָ

סענדעריע סוכר ספוד

ואַס-ישע איז דאָס אזאָ שוויבונג וואָס-ישע לאָזען זי מיך דאָ הערען? נאָך, אמת גוט איז ביי יודען נאָר אויב, וואָס ברעכט דעם מוח און אויסגעליך צו פארשטעקן. אז מען פארשטעקט עס נישט, סתמא סוז לאָך רינגען עפּיס שטעקען... נישט דאָס בין אויסען.

ס'פּין אלטער האָפּט דעם דאָזיגען מין סחורה מיט בידע הענד און מען זעהט זיי עס קומט איהם צו אַ שטיק געוונד. דערנאָך ביטען מיר החיות אויף בלאַ-מעשיות, מענה-לשויס אויף סוויצע-און אויף-נאָכט, שר-המעלות'ן אויף קביעלעך; סטענעווען אַ מאה ושוואַמדיער סליחות אויף בערשעטער סליח-קטנים, ווילנער קינות אויף שופרות. חנוכה-לעספּעלע אויף וואָלפּערהילדעך, שבת-דיגע מעשענע ליכטער אויף הברלות און קינדערשע בליטשקענע יארטולקעלעך. בידע צדדים האָבען דערווייל פּונם גאַנצען מאַס-ומתן קיין גראַשען אין די אויגען נישט געזעהן און געבליבען שטאַרק צופּרירען, גלאַס פּונם האַנדעל אַליין. מען האָט דאָך געטאָן, געהאַנדעלט, געמאַכט געשעפּענע, נישט געזעסען ליידיג. אַלבערס סרה-שחורה איז זיי אַרויך פּערשווינדען געוואָרען, ס'איז איהם געווען צו דערקענען אין דעם פּנים, אז יארטעליניצער יודי מיט זיין פינגער מול איז איהם פּונם פּנים, אז אַרויסגעגאַנגען. ער רעכענט עפּיס שטילערדייט פאַר זיך אויף די פינגער, האַלטענדיג דעם לינקען אויער אַנגעווינגען, גלייך זיי אין קאָפּ ביי איהם השּבּונג אַ פּוכהאַלטער, צו וועלכען ער האַרנט זיך גוט צו, און, אַ פּנים, דער השּבּון ווייט אויף אפּערדינגסטעל, אַם-ידיצה-השּם, ווייל דאָס מויל שפּאַלט זיך איהם אין דער גאַנצער ברייט און פּון צווישען זיינע געדיכטע וואָנגעס בליעט אַרויס אַ זיס שמיכעלע.

דערווייל איז געוואָרען מנה-ציים, אַ געשטאַק ווינטעלע הויכע-אָן צו-בלאָזען און אויפ'ן הימעל וויען זיך שטיקלעך וואָלקען, אויף וועלכע מען האָט זיי אויף טיערע געסט, שוין אַ לאַנגע צייט אַרויסגעקוקט. די בויבער הויבען פאַרבעליך אָן זיך צו שאַקלען, איינער צום אנדערען איינגעבויגען דעם קאָפּ. און פּיררען צווישען זיך אַ שמועס אויף זיער לשון, נאָכדעם אז זיי האָבען אזוי לאַנג געשוויגען שטיל. דאָס ווינטעלע האָט אויפגעוועקט די שלאָפּעדיגע הבואה, אַלע וואָנגען האָפען זיך זיי זינגע קינדער אויף מיט אַ קול און צוקושען זיך גאָר פּריינדליך. גאָטס בעשעפּניש רירט זיך אויסעמוס: אויפ'ן פעלד, אין וואַלד און אין דער לופּט. איינס נאָך

מישקע דער קריסטע

דאָס אנדערע פּרעסען שפּילעפּילעך אַרויס, אויף צווינגלעך, בימלעך. גידעריג און גאַנץ הויך, פּוצען זיך די פּערדעלעך, אַ ווייט מיט דעם שנעפעלע, אַ פּרעסע, אַ שאַקלעל און הויבען אָן די זופּע זמירות, צו זינגען, צו שווישטשען, באַבעשקעס, רייך געקליידט אין אַלעס, סאַמעס, כאָדע-אַנטק מיט טיערע צירונג האָפען אַ מענצעל, שוועבענדיג אין אין דער לופּט, הויבען זיך, דרעהען זיך און מאַכען חן, צוויי בוישעס, גוואַרדייצעס, מיט לאַנגע, רויטע פּיס שפּענען אויפ'ן גראָן, פּערדייטענדיג די קעפּ אין דער הויך און קוקען מיט גדלות. עפּיס אַ קינדעס, אַ פּויגעל, שטופּט, פּלויש פּון איין בויס צום אנדערען, מאַכט, קוקי, קוקי; זיי ער שפּילט זיך אין באַהעלענעניש. איהם ענטפּערט אָב פּון צווישען ווייץ און קאַרן איין אנדער מיין פּויגעל עפּיס, פּיק-בע-וויקי, פּיק-בע-וויקי; זיי גערעדט: אייביג וועסט-דו מיר דאָ נישט האָפען, האָטש שייט מיר אָן זאָלן אויפ'ן עק, פּאַקט זיך, די קרוב, ווייטער און אַוועק, אַוועק... נישט ווייט אין אַ וועלדעלע קנאַקט דער שפּילט גאָר צו-אַזאָ זיך אויף זיין העלדעלע, סאַכט זיסע שטיינער און שפּילט גאָר מחיה, אויסליכער, וואָס קען נאָר עפענען אַ מויל, האַלט דעם וועלט בעריחטסטן חוץ אונטער, זשאַכעס אפּילו פּון די טיכלעך ערניץ מערעליקעך, אפּילו פּלינגען, בינען האָבען נישט געשווינגען און דער זשוקי, דער שייגען, דער אַהאַפּער, האָט פּלויגענדיג אויך געווישעט, דאָס איז געווען אַזאָ קאַנגערט, וועלכען מען האָט געמעגט אויף בילעטען געטן הערען... די גאַנצע וועלט איז עפּיס זיי לעבעדיג געוואָרען און בעקומען אַ פּרעהליך פּנים, אַ פּרייד, אַ פּאַרגעניגען צו הערען, צו זעהן, צו שטעקען די זיסע ריחות פּון אַלע זייטען.

— די אלטער, ס'איז גוט! די אלטער, ס'איז שטין! עס צירט עפּיס ביי דער נשמה, עס רעדט עפּיס צום האַרצען: גאָטס וועלכעל איז שטין, גאָטס וועלכעל לעבט! עס צירט און גלומט זיך אַרײַנוואַרפען זיך עפּיס אַהין, אַהין מיט הענד און מיט פּיס...
— די מענדעלי, בע... די מענדעלי, עט... פּע! — סתּוּם אַלבער אויף מיר זיך אַקוים— שוין צייט בעסער מנה ראוונען. פאַרגעססט בעסער נישט פּון אייערע אַלע זאַכען, צו זאָגען "ענגע..."

אויך פּערפּינד די זאַקען, גאַרטעל-אַרום מיט אַ פּאַסיק די קאַפּאַמע און הויפּט-אַגען, קסורת' אויף אַ ביי-קול, נאָכע לוסטיג, מיין אלטער, זאָל

לעבען, צודאָס זיך באַלד טאַקן נאָך מיר אויף דער גראַבער סטרונונג, אויף דער געפכע, און מיר ביידע גיבען-אָב אַ שטח זיין ליבען נאָמען, בשעת אַלע קרייטיסצער און בלעמלעך אויף די פּעלדער, אַלע חיות אין עופות אין די וועלדער לויבען נאָם, זאָגען שירה. —

נאָך ביים אַנהייב, פּנסום הקבורה, אַז אַלמער אין אַרויס מיט דעם גאַנצען אַפטייקעל קרייטיסצער און געווירצען: הַלְבַּנָּה—שווייליש-קוים, והלבונה—לויטערע ווירען, הצפון—א וואַרצעל גלאַס ווי אַ נאָגעל, אונבער און שטינגלעך זאפּען, האָט ער אַרויסדעראַפּט פּון אונטער דער קעלניע דאָס בעל-העגלה'שע טרוף-געווירץ, אַ קליין פעסעלע כּאָנציע, מיט סכאַלע, מיט דעם דאוונען איז ער פּאַרטיג געוואָרען גיך, און בשעת איך האָב נאָך געהאַלטען אין דער מיט, האָט ער שוין געשטירט די רעדער.

— האַרעט נישט, די מענדעלע, סאַכט עס בקיצור—טרייבט מיר אַלמער אונטער—געהמט זיך איהר דאָ צו אַיער וואַגען און איך וועל דערוויל אַ געה נאָך די פּערדלעך, צייט צו פּאַהרען, ביז נאָכט קענען מיר נאַנג וויסליך אינפּאַהרען.

אַלמער געהט באַלד סאַקן אַוועק און איך געהט מיר צו דעם האַגען, סאָן איהר זיין רעכט, איך אַייל מיר גישט, שמיר די רעדער בעל הַבַּיִש, איך קאַרז נישט קיין טרוף-געווירץ, בעטראַכט מיר די אַקסען, אַטליכט פּיצעלע בעווירדער, דאָס האָט געווירעט אַ הויבשע צייט— און מײן אַלמער קומט נישט, די פּערדלעך האָבען געמוט פּאַרגעהען וויסליך אַביסעל אין וואַלד און זיך גוט אונטערגעפאַפּעט. אַזוי דעקט איך מיר און טוה אַקוק אויף דער ווין, וואָס האַלט נאָהענט ביים אונטערנעקן, איך שמעך מיר אַזוי אַוועק ווייטער אַ היבשע צייט, די זון האָט זיך שוין געוועזט, איהרע לעצטע שטראַהלען קריכען ביסלעכווייז אַראָב פּון די בוימער, אויף וועלכע זיי האָבען ערשט אַזוי פּרעלה-לייכטענעריג זיך געשפּילט, זאָגען דעם וואַלד; אַ גוטע נאַכט...

עס בעפאַלט מיר עפּים אַ מורא, אפּשר איז אַלמער'ן נישט גוט געוואָרען? אַ קאַטאַועס נאָך אַזוי פּיעל שווייס, נאָך אַזוי לאַנגען סאַג פּאַסעטן; אפּשר איז ער דאָרט ערניץ חלשות נעכליכען, אַדער אפּשר איז איהר דאָרט עסיצער בעפאַלען? מיאז דאָך אַ וואַלד, אַ פּאַרלעכע?

אַרם, אין דער זייט וועג! מען מוואַר אַזוי די זעה נישט לאַזען, מען מוז געהן זעהן.

איך טאָך מיר האַרץ און געה אין וואַלד אַרײַן, איך געה און וויר, אַ עברה אַבער די מיד, אַלמער און די פּערד זענען אַזוי ווי אין האַסער אַרײַנגעפאַלען, איך בין שוין פּערנאָנגען פּיעפליך און קום לכּוֹף צו עפּים אַ לאַנגען, שטאַלען סאַל, וואָס האַקט פּאַר מיר איבער דעם וואַלד אין צוויי טייל, דער כּאָל איז בעוואַקסען מיט שטערעס און מיני בוימלעך שטעכעדיגע ווי דערנער, און צייט זיך מיט איין זייט שום שלאָך, מיט דער אַנדערער ערניץ אַנדערש, העס-ווייט צו אַלדי שוואַרצע יאָהר, דער וואַלד שמעקט און שלאָפּט, איבערנעקט פּון איבערן עפּים מיט אַ מונקלען פּאַרהאַנג, אַרום און אַרום איז שטיל, נאָך צייטענווייז הערט מען, ווי צוויי הויכעוויקסנע ביימלעך, נאָהענעט שכנים, שושקען זיך מיט אַראָנגעלאַזענע קעפּ צווישען זיך, איינער דעם אַנדערען אַ קיצעל געבענדיג הויכעווייכליכט מיט די צווייגעז; אַדער ווי אַ פּאַר בלעטלעך ערניץ פּלאַטערען, בעריהרען זיך, גלייך ווי עס גרייבט זיי עפּים און לאָזט זיי נישט רוהען, דאָס רעדט דער וואַלד פּון שלאָך, דאָס חלומ'ס זיך איהר געכמינער סאַך מיט אַלע לייך און פּרייד אין איהרם, דער שאַך פּון די דאַרע ריטלעך דאָרט— דאָס קומען איהר צו חלום ביימער געבען, וועלכע מען האָט פּאַר דער צייט אויסגעהאַקט, דער קלאַפּ ביים אַראָפּפאַלען עפּים פּון דער הויך— דאָס בעמיט אַ געסט מיט זינגע אונטערלינגע פּיינעלעך, וואָס דער שפּאַרבער, דער ושויליק, האָט פּלאַזלים צושטערט, און דאָס טאַקן פּלאַטערען די בלעטלעך דאָרט אויף דער מויטער סונטער מיט איהרע דער-העריגעטע קינדער, וואָס קומען אַ צוגר איהר צו חלום... עפּים אַ גאַנצער וואַלקען מרה-שחורה רוקט זיך אָן אויף דעם וואַלד און וועלט אויף דער גשמה מיינער, דער פּוה-המדרמה, דער פּאַקסוניק, דער וועלט בעריהרעטער לינגער, מעקלער-מאָיס מיט שווינעל יפּים אַ מין שוואַרצ-געשעפּטעל, אַ קאַמיסיע צווישען מיר און דעם טייל, וועלכען איך שטעה און קוק אָן, איך בעקום פּון איהר אַ טראַנספּאַרט משונה שרעקליכע בילדער, און פּון מײן קאַפּ-פּאַבריק געהען די אייגענע עזורה, איבערגעטאַכט אויף אַ אַנדער שטיינער, מיט נאָך פּיעל ווילדע, זאכען, אַזוי צווייגי, אין איין טראַנספּאַרט קומט מיר פּון דאָרטען אָן אַ מות, אַ דער-הריגשער אַלמער יקרה, און ביינער פּון

אזערע פערד, צוויי פגרות, ביי מיר אין קאפ ווערט עס קניצע אויסגעארבייט מיט סוויזענמער פערפוציונגען, און בארד סאקי, ניק, פלינק טראנספארטירט צוריק מיט אַנגול אַ רוימען, אַגעוועמען און אַוואָרף מיט אַקארק און שרעקליכע ציידן אַ צוגאַב דערצו. —

און ווי איך האלט שוין אויף אַראַפצונעהן אין דעם סאַל, שטעלט מיר פלוצלינג אַב אַנעדאנק אזוי: די בידלעך שטעהען דאָרט אויפֿן פעלד הפקר, פונגס גאַנצען ביסעל פאַרמעגען אונזערס קען חלילה נישט בלייבען קיין זכר, עס וואָלט נישט געשאַרע פריהער אַ סאַק צו טאָן. נאָר זעהר מעגליך אַפּשר, אַז אַלטער האָט שוין לאַנג זיך צווייך געקעהרט מיט די פּערד און בעאומהרויגס זיך אַ צונג ווענען מיר, דער דאָזיגער געדאַנק לעגט זיך מיר אויפֿן מוח און ווער ביי מיר עפּים שטאַרקער, די האַפּנונג ווערט אַלץ גרעסער, גרעסער אזוי, ביי וי יעריסס די געדיכטע וואָלקענס טרה-שחורה אוי עס ליטערט מיר זיך אַביסעל-אויס אויפֿן האַרצען.

איך לאָז מיר געוין געשווינד צוריק.

ח

גאָס האָט געהאַלפּען, איך בין געקומען פּעלום און נייטס אויס-געבראַכען קיין פּוס ביי איטליכס סאַל פאַלען אויפֿן וועג, אין אַילעניש אַנשלאַנגענדיג זיך אין אַ בוים, דאָס אויפשטען אַ געפאַלענעם אין האַלד אוי חלילה נישט מיאוס אזוי ווי אין שטאָרם, וואו מענטשען שטעהען און לאַצען, דעריבער פּלעג איך איטליכס סאַל מיר גאַנץ פּיין אויס-זויבען פּון דער ערד מיט גרויס גנאה און געלויבט גאַס, וואָס האַטש מיט חסד. און אַז דער חסד פּון גאַס איז יאָ אזוי גרויס מיט מיר, האָב איך שוין געהאַט דאָס רעכט צו טראַכמען, סתמא וועל איך קומענדיג אויך זוכה זיין צו טרעפען מיין אַלמערץ מיט די פּערד, נאָר אזוי פּיעל גנאָר פּון זיין ליבען גאַמען האָב איך נישט פּערדיגט. —

אַלמער איז נישטאָן

איך בלייב שטעטן ווי אַגעברויחט. זעהר נישט גוט אויפֿן אַרציען! גאַס ווייסט, וואָס מיט אַלמערץ איז געשעהען, וואו זיין אַלמער איז נישטאָן

זעביין איז אַהינגעקומען. דאָ האָט דאָס פינטערע מול זינס זיך סאַקי געמורט. אזוי גלאַס איז די זאָך זיכער נישט, הינט איז אויך די שאלה מיט מיר, וואָס טרוט מען? וואָס קען פּון מיר ווערען? דער חשבון מינער איז געווען: אַבעצען אין גלופּס מינע זאכענישען, אַנגעהמען דאָרט ווי מעגליך מעהר קינות אויף צו בעטיילען די אַלע שטעדטליכע אַרומ און אַרומ, ווי דער שטייגער מינער איז המיר, ס'איז שוין די גרוי וואָבען. די צייט איז קורץ, אַ שעה סאַר מען נישט פּערלירען. באַם חלילה איך פּערהאיע מיר דאָ אין וועג, בלייבען יודען אין די שטעטליכע אַרן קינות, אַ קאטאָועס עפּים, יודען אַרן קינות!... איך קען מיר פאַרשטענען דעם גושען השעה-באַב: יודען האָבען זיך שוין אַבערפּאַרטיגט מיט די מילכיגע לאַקשען, אַריינגעלעגט אין אויך דאָס האַרבע איז איינגעטונקט אין אַש, זייען שוין ברויג, אַנגעלאָרען אויף דער ערד נאָר אין זאַקען מיט אויסגעטועטע פּיאטעס, פּליי בייסען, קוויסיס האַלפען די בערלעך גרייט צום וואַרפען, מען וואַרט נאָר הערען אַ אַגדוויב, עפּים אַ גוט וואָרם, און פלוצלינג-נישטאָן קיין קינות. מענדעלי איז צו אַלדי שוואַרצע יאָהר פּערפאַלען געוואָרען, נישט געבראַכט קיין קינות!... צעהן יודען אויף איין קינה, ס'איז אַ שטופּעניש, אַ קוועטשעניש, אַ פּערשיטעניש מיט די פּליי, אַ פּערפאַלענעניש מיט די האָר: בערד, פּאָת פּול אַנגעזעגט מיט בערלעך, עס גיט-זיך-נאָך אויך, לאַקשען, וואָס קריכען פּונם האַל, איינעם דעם אַנדערען אונטער דער נאָז... פּון די וויבער איז די יסורים נאָך נישט אזוי גרויס, זיי געהען וואָס ס'איז, אַבי געדוקטס, אַ החינה, אַ בענשערל, די רוינס פּונם טרייבערן, אַ הנדה-אַלץ איינס? — וואָס מאַכט עס אויס? — ווינען יאַמערען איבער דעם דעם הויך אויף אַ קול, און וואָס בעראַרף מען דען מעהר ווי פּערגיסען טרעהרען?

אי, אַ מיאוסע לאַגע. נישט פּרעהליך אַרומ און אַרומ, ביסער אויפֿן האַרצען! נישט דאָס בין איך אויסען.

אַבערנדיג פּונדעסטוועגען טהאַר מען נישט זיין, מען מוז עפּים טאָן, נישט זיצען מיט פּערלירענע הענד, מען מוז ווייטער טאַקי געהן זוכען, איך טרו אַקוק אויף די שטערען און דערמאָן מיר, שוין צייט אַנצובייסען, איך געהט מיר צום רענעזעלע, שמועס איבער, פאַר צרות, מיט דעם פּלעשיל בראַנפען, בול-בול-בול גלייך אין מויל אַריין, האָפּ אין ילעניש עטוואָס פּערבייסען, סאַקי נאָר פּון יוצא ווענען, געזענען מיר

פענדעלע סוכר ספרים

וויך פערנלעכט זיי א געלעכטער, כילעבען! — א גרויב, ר' מענדעלי
 היט איהר די בייער, יא, ווי איהר בין א זייד, א גרויב, איהר געפאלען
 בין שוין אפילו. דאס צוואנציגסטע, דאס זיך, סאָל. — שמערה-ושע,
 זייט שוין מוחל, אויף! נישט קיין דרוך-ארץ עפּים זיך צולענען אזוי. —
 א שענעם דאנק, ר' קרויב. איהר מיט דער ביטש סאָפּ הייטער שוין...
 אנגעלעכטער, כילעבען, ביימלעך געהען! געוויסערדיגט... קומט בקומט
 פאניע, פּע, דראַפּעט נישט!... א, ווייטער אַ דראַפּ! פּע, פּע, אויגען
 ארויסגענומען שיער מיר, ספּו! — שפּייט, ר' מענדעלי, אויף זיי! זיי
 באַלד פּוּר ווערט מען זיי. אויף אַ סטעטשקעלע אַרויס דאָ געהט, זייט
 מוחל, אויפֿן פּרייעם פעלד. — גוט, בין שוין דאָ! אַלכנדה, אַפּאָק
 דוּזשע, אַ שענע אַרעסער לכנדה! אַנאָ מיט אויגען!... שאַ מקדש
 זיין די לכנדה! שלום עליכם? — עליכם שלום! — שלום עליכם? — עליכם
 עלום! אזוי ווי איהר אַקענען דיר שפּרינג און אַנריררען דרוקנישט קען
 איהר... שפּרינגט-ושע, פעטער! — האָן, האָן, האָן! אזוי מיר אַנריררען
 זאָלען מינע שוואַים נישט... וואָס זיי צו אונז האָבען וואָס? — צוהילפע
 איהר מיר פּלוצלום! — וואָס איהר שולדיג, אַז איהר לעב איהר און וויל
 עמען איהר? נאָ, אַלייב, מַשטייגט-געזאָגט, אַ שפּענדלי! שטענדיג
 קרענק! ווערמיגען... אויך געהאַט אַכאַמע, מיר געלעט, געקוישט
 האָט זיי... וועה מיר, איהר בין אַ יתום, אַ יתום! — צווייטן איהר מיר נאָך
 שטאַרקער. — שאַ! — ענטפּערט זיך צוריק מיט אַ פּרייסט — וואָס
 קען מען סאָן? ווי שעמט זיך עס נישט אַ אלטער יוד מיט אַ באָרד,
 אַ בעווייכטער, אַ סמופּל מיט קינדער צו וויינען אוי-דרויסען פּאַר
 דער לכנדה! שאַ נישט קיין דרוך-ארץ, כילעבען! שאַ, דער רוח וועט
 איהר נישט געהמען, נישקשה, היט זיך בעסער, אַט און אַ פּלייט. —
 יא, ווי איהר בין אַ ייד, סאָק אַ פּלייט. שוין אַנטען זען געטאָן מיר
 אפּילו. וואָס סהוט מען? — מען געהט און קריכט אַריבער. אַט
 אזוי, אזוי! — אַ שענעם דאַנק! איהר שמעה שוין מיט ביידיע פּיס אין
 גאָרמען. — ברוך הבא, מחותן! זייט זיך ממרח ווייטער. — האָט קיין
 ציריט נישט, איהר געה, וואָס פּאַר אַ געווענעניש! באָב, אַרבעט אַנגע-
 זעצט, אוועקעס גאָר אָרן אַ צאָהל! — מאַכט ברכה, פעטער, לאָוט
 זיך נישט בעטען. — יישר פּוּח! אוועקעס גאָר אַ דערקוויקעניש!
 געשמאַק מוהר!... האַ, אַ קלאַפּ! וואָס בעטייט דער קלאַפּ? פּוּח
 יוּאָנען דער קלאַפּ?

מיטע דער קומט

דער קלאַפּ איז געווען פּוּח אַ געווענען ערל, וואָס האָט הינטען
 אַרום מיר געטאָן אַחאַפּ און מיר מיר גוט געגעבען אַנצוהערעניש, אַז איז
 אַ פּרעמדע גאָרמען איז נישט שטען צו קריכען. דער קלאַפּ האָט בעטייט,
 אַ פּרעמדע אוועקעס געהמען ביי נאָכט סאָר מען נישט. פּוּח די קלעפּ,
 און מענליך אפּשר אויך סאָק פּוּח די פּרישע אוועקעס, האָב איהר
 בעטע אונגאַנצען מיר אויסגענוכטערט. אויך בין געשטאַנען אַ וויילע
 פּערדולט, ווי אויספאַרענדיג זיך פּוּח שלאָף, דאָס ערשטע וואָרט מינע,
 עס פּערשמעהט זיך, איז געווען: געוואַלד... באַלד דערויף בין איהר מיר
 מיטב, לאָטמיר קלאָפּפּערשט סאַכען זיך נישט וויסענדיג און גיב אַ
 פּרעט דעם ערל מיט גוטען, אויך זייער גראָב לשון, צי נאָכשילי,
 משייעש, מומעשטשקי זשורקאַ אים קינאַמז קאַזשיגאַ מיטלאַווישע? —
 דער ערל אַבער סהוט זיין זאָך, וויל נישט הערען, שלעפט מיר ביים
 אַרבעל, דערלאַנגט מיר אַמאָל אויך אַשטופּ פּוּח הינטען אין איין קול:
 קום, קום! עס העלפט נישט, איהר געה, מען קען קיין חויר נישט זיין
 און מיר קומען אזוי צו ביידיע עפּים געבען אַשטוב, ביי וועלכער עס
 שטעהט אַגעשפּאַנט פּרישטעקעלי מיט פּיער גוטע פּערד, און עס לייכט
 פּוּח די פעכטער

ביים אַוויקומען אין שטוב סהוט דער ערל מיר אַשטוב פּאַראַיס
 און אַליין שמעלס ער זיך געבען דער מיר און אַרויסעל, אין ברירה, איהר געהט
 איהר אַראָב דאָס היטעל, קראַץ מיר אין קאַפּ און קוק ווי אַ געכטיגער.
 ביי אַמיש וצט אַ שרייבעריל און שרייבט, סקריפּענדיג מיט
 דער פּען, וואָס בעט זיך אויסלעב רגע אין מינעטעריל אַרין, אַבגעגעען
 אַביסעל דאָס מילכען איהרם, נאָכדעם ווי זי ברעכט מיאָס אָן אויפֿן
 פּאַפּיער. דאָס שרייבעריל האָט מיט איהר דאָס לויפעניש, קריסט
 זיך און וידעלט זי ביי אויסליכען סונק. מען זעהט, ביידיע פּיינגען
 זיך געבען, ביידיע זענען נישט צופּירדיג: זי מיט זיין שווערער
 האַנד, מיט זיינע מיאָסע גרייזען, און ער — מיט איהרע הלשוהדיגע
 קלעקען. ער — איהר אַ קוועטש, און זי — איהם אַ קלעק... אין מיטען
 שטוב שמעהט אַ רויטער קאַלנער מיט מעשענע קנעפּ, עפּים אַ מין
 מענש מיט אַ בויך און אַ אַנגעבלאַזען פּנים, גלאַנצט מיט די קליינע
 אויגען און בשעת עס פּערואַרפט זיך איהרם דאָס שוואַרצאַפּעלע
 קוקט אַרויס דאָס היטעלכען פּוּח אויב פּערלאַפּען מיט בלוט. ער
 דרעהט די לאַנגע וואַגעס און רעדט אויפֿן נידער, בייזערענדיג זיך.

צו צוויי פארשיינען מיט אַנגעצויגענע קעפּ אין דער וויס פון דער רעד
 סיר, איינער אַ הייכער מיט אַ געזונטען קארק, אונטערגעגאַל רעד
 האַל און אַ ווילבערן רייפעלע אין לעפעל פּוּנס לינקען אויער, דער
 אַנדערער אַ דאָרע מיט אַ שפּיצאַסט בערדויל, אויפֿן האַרצען אַבלעק.
 האַלט אַ לאַנגען שמעקען מיט ביידע הענט, בלינדעלע מיט די אייגעלעך
 און בוקס זיך אויסלויכע רגע, דער לויטער קאַלנער בייטערס זיך אויפֿן
 ערשטען פּון די צוויי פּאַרשיינען, שריים: אין קייטען! קיין סוכר צו
 סטאַראַסטען!... און אויפֿן צווייטען: פּאַסטען וועל איך פּון דיר שיינע,
 דו, סאַמסקע, אַווינער און אַווינער, אין דיין סאַמען! —

איך בין טויס מיט אַלע מינע אַברויס, עס וואַרפט מיט מיר
 ווי אין אַ קדחת, עס רוישט מיר אין קאַפּ, קלינגט אין די אויערען.
 איך הער נישט און זעה נישט, וואָס אַרום מיר סתּום זיך, איך האָב
 נישט רעכט געהערט אַפּילו די טענות פּון מיין ערל, בשעת קלאַנגעדיג
 זיך אויף מיר, נאָר אז דער לויטער קאַלנער האָט אַ היק געפּאַן אויף
 מיר מיט דעם האַרבען וואָרט אויף יונות, האָב איך מיר באלד
 אויפֿגעהאַפט און שוין גוט געהערט, פּאַר די אוינען מינע שוועפּט
 אַ קולאַק און עס הערען זיך שרעקליכע ווערטער: גנב, קאַנטראַבאַנדישטיק.
 סרפּה-סחורה, בייטעל-שניידער, קייטען, מורטאַ, קנשעס, סוכר!...
 ער זוכט זיך פּלוצלים צו מינע פּאַות און נאַקטריטעדיג מיר שטאַרק
 אין כּעס האַפט ער אין אומפּעט פּונם טיש אַ שער און שערט מיר
 אַב אינגאנצען איין פּאַה! — איך בעוואַש מיר מיט טרעהרען, קוקעדיג
 אויף דער ערד מיין פּאַה, מיין גרוי-אַלמע פּאַה, וואָס איז געוואַקסען
 מיט מיר פּון קינדוויי-אויף ביז אין מינע אַלמע יאָהרען; וואָס האָט
 איבערגעהאַט מיט מיר פּרויך און ליד גענוג אין מיין לעבען.
 די מאַטע האָט זי אין דער יוגענד גענלעט, געצוואַנגען, נאָר נישט
 געקענט זאַם אַנקוקען זיך אויף די שוואַרצע, שענע גרויזעלעך
 איהרע, זי איז געווען אַ צירונג מיין פּנים אין מינע גוטע מען.
 ווען איך בין געווען פּריש און שטאַרק, זי איז פּריש פּאַר דער
 צייט גרוי געוואָרען פּאַר צרות נעכט, און איהר גרויזיקע האָט מיר
 חלילה נישט געמאַכט קיין בושא, ביידע האָבען מיר זיך פּריש געעל-
 טערש פּאַר פּורענות, נויט, עלענד, גרויאַטע, אומזיסע פּיינדשאַפט
 און רדיפות אין דער העלם, העמען, חלילה, האָט זי געשארטזט וועמען,
 חלילה, האָבען מינע גרויע האָר עפּים שלעכטס געמאַן — עס ווינט

אין מיר דאָס הערץ, שריים געוואַלד שטייל, נישט אַרויסצוהייערען
 אויף די ליפּען קיין וואָרט, איך קוק שוויינעדיג ווי אַ שעפעלע בייס
 בעשורען עס, און פּון די איינען קאַפּ, קאַפּ, טרעהרען ווי די בייג-
 מיין הייל געבליבענע באַק האָט מיר שטאַרק געפּלאַמט, דאָס פּנים
 האָט געמוזט מיר זיך פּאַרענדערן אַ שרעק, עס האָט געמוזט זיין
 אַ רחמנות מיך אַנצוקוקען דענסמאַל, ווייל באלד דערויף האָט דעם
 רויטען קאַלנער עפּים ווי אַבגענומען דאָס לשון, שוין גערעדט מיט
 גוטען, אַוויפלענעדיג ביידע הענט מיר אויף די אַקסלען, אונטער
 דעם מעשענעם קנעפּיל, אפּנים, האָט זיך געריהרט אַ מענשליך האַרץ.
 מינע גרויע האָר און מיין גאַנג אויסגעהען האָבען איהם בעוויזען
 מיין אַרענעבליבקיט, און ווי איבערבעטענדיג מיר, פּאַלם ער מיט
 אַ בייזער אָן אויף מיין ערל, וואָס פּאַר עפּים אַ אונטערקע שלעפּט ער
 אַ אַלמען מענשען געכען, כּהוּם אַ היק און מרייבט איהם אַרויס, ער
 אַליין נעהט דאָס היטעל, דרעהט זיך אַביסעל אַרום, זאָגענדיג דעם,
 יענעם אַ וואָרט, געהט דערנאָך אַרויס און באלד הערט זיך, ווי דײַם
 בייטעקלע פּאַהרט אַווינען.

די אַלע מענשען אין שטוב ווערען לעבעדיג, דאָס שרייבערלי
 סתּום אַוואָרף די פען, אַבשיקענדיג זי צו אַלדי רוחות, דער סתּום-
 דאַסטע און דער סאַמסקע גלייכען זיך אויס, אויפֿהייבענדיג די קעפּ
 אַיטליכער גיט אַ מאָד מיט דער האַנד צו דער נאַס-צו און די אוי-
 נען זייערע רירדען: יברכה! פּאַהר געזונטערהיים און לאַז מען דוּך
 נישט אַנקוקען!... דער סטאַראַסטע האַפט דעם אַטהעם, פּאַהרט אַרין
 מיט אַלע פינגר פינגער צו זיך אין די האָר פּונם קאַפּ, סתּום איהם
 אַ טעמען שאַקעל און מאַכט דערביי: ג, אַ סטאַנאַוואָיאָ!..

די גוים האָבען מיר געראַטהען, נאַכדעם אז איך האָב זי דער-
 צעהלט וועמען מיין אונטליק, צו געהן צו דער קרעטשמע בייס דאַרף,
 נישט וויס פּון דאַנען, דאַרם בעדאַרף זיין אַזונד אַ עולם מענשען,
 צוריקפּאַהרענדיג פּונם מאַרק-סאַג: מעגליך ביי זי וועל איך עפּים מיר
 דערנערוין, איך הייב-אויף מיין פּאַה, בעדאַלט זי אין קעשענע, בינר
 אונטער די באַק מיט אַפּאַטישליכען, זאַג אַ גוטע נאַכט און געה אַוועק.

ב

קרעטשטע איז געווען בעל-אגערט אין-דרויסן מיט פוהלעך און העגעלעך אלערליי, א טייל לעדיגע נאך מיט אביסעל שמרוי, א טייל פערנומענע מיט מיני זאכען און חפציע, מי נישט קיין פערקויפטע, מי עקויפטע ראָטס אויפ'ן מארק. אויף איין פוהיל לייגט אין זאך אַ חויר, אַרויסגעשטעקט פון אַ לאָך ווין שען פּוסקעל און מאכט לעכער אין קאַפּ, שרייענדיג משונה אויף אַ גרילצערדיג קול. דינמער אַ וואַנגן, אַנגעלעגט מיט נייע לאַפּטעס, מיט נייע ליימענע מעץ, טעפלעך און מאַקערעכענס, שבעהט צוגענונדען אַ רוים-געפּלעקטע קוה מיט איין האָרען און רייסט זיך מיט אלע פּוהות זיך צו בעפרייען, נוכער קומען צו איהרע אלבע חב'ר'טעס אין שמאל מיט דער בשורה: נישקשה, מען איז איהרער נאָך נישט פּשוט געוואָרען, געלויבט דער שור-הבה, מען זעהט זיך געוונבונ... אַפּאָר גרויע, ברייט-בייביגע, פּינע אַקסען שטעהען געשפּאַנט אין דעם יאָה, מאַכען אזוי ערענטט מיט דעם מויל און מעלה-גרה'ן געשמאק, קיין מינוט חלילה נישט ספּסיק צו זיין, גלייך ווי זיי זענען פּערטיפּט אין אַוויכטיגער זאָך און סוואַנען מיט ויערע אַקסענע קעג אויף עפּיס אַ גרויסען שכל. דעם אַרענדאַרס ציג שמעהט דערווייל אויפ'ן וואַנגען, שטעקט דינמערעווייליכס אַרין דעם קאַפּ אין אַ זעקעלע דאָרט, געהמט פּאַלד איהם אַרויס מיט אַ פּול מויל, פּירקעט, דרעהנדיג דאָס עקל, קייעט, מאַכט מיט די באַקען, טרעפּעט דאָס בערדיל ניה, געשווינד, אַרומקוקנדיג זיך און אלע זיימען. אין אלטער, אויסגעאַרטער דאָרפּס-הונד, לעבט אויף דער עלטער פּון קצבה, אַהן אַ סמע-לע מיט אַ הנקעדיג פּיסעל און אַ קאַלטן פּאַמפלענדיג זיך איהם אויפ'ן עק, שאַרט-זיך-צו נאָהענט צום וואַנגען, קוקט מיט דרוך-אַרץ, קומט דערנאָך צו געהענמער אויף עטליכע פּרויס, שמעקט, ווכט מיט דער נאָז, דער-מאַפּט עפּיס אַ מרוקען, אַנגעלעקט ביינדיל, לויפט מיט דער מיצאָה אָב אביסעל ווייכער, שטרעקט זיך אויס אויף דער ערד און געהמט זיך קנאַקען דעם פּיין האַלטיגנדיג דערביי דעם קאַפּ אין דער וויס אויף די פּאַרדעסטע לאַפעס.—דאָס פּערדיל דאָרט אין יענעם וואַנגען, נכאָס ווערענדיג איהם, אַלאַנגע צייט צו שמעהן אויף איין אָרם, נאָר-נישט צוטאָן, נאָר דרעמלען, מאַכען מיט דער באַרדע און שאַקלען די אויערען, איז זיך פּיטש אַבצושטעקען אַ חוויט אַפּאָר אינגעלעכענע

משופּריגעס, נאַנצע פּינמער און צורות פּון מאַנסבילען און נקבות. עס שווימען אַרויס רעדלעך מענשען, אַ טייל האַלטען זיך אויף די פּוּס, ערשט נאָכ'ן פּערטען, פּינפטען סרונג בראַנפען. אין דער וויס האַלזען זיך צוויי שפּוירסליעך, ווילען זיך פּאַר גרויס ליעבשאַפט מיט מייאסיע ווערטער. געבען זיי שטעהט אַ פּלונד'מע באַרפּיס אין אַ קורץ קליידעל מיט אַ געשמיקט העמט אויסגעשניטען ווייס און האָט האַת, פּאַטשט איינעם, דעם אנדערען אויפ'ן רוקען מיט נישטן, מאַכענדיג דערביי: גענוג, אַהיים, אַהיים! דאָס שפּוירע פּאַר-פּאַלך אָבער שטעלצען זיך נאָך מעהר פּאַר ליעבשאַפט, געהמען זיך שטייפער אַרום און פּאַלען. ווידער אַ טייל זיצען אויף לאַנגע בייגן געבען פּלעשלעך משקה מיט פּערבייסיק, צוויי בעלי-הגוף'ן טרינקען איינער צום אנדערען לחיים און זענען ביידע, ווי מען זאָגט, בגלופּין איינער אַ שטאַרקער ליבהאַבער פּונים ביטערען טראַפּען און וואָס דאָ איז שטענדיג זיין מקום-מנוחה, ווימעט זיך פּונדערעווייטענס, רייכערנדיג זיין ליליקלע, דאָס מיט די דאָזיגע צוויי לייט, דאָס מיט יענעם, דאָס מיט איין אנדערען און ווינשענדיגע: לחיים, לחיים! האַטש מען קוקט זיך אפּילו אויף איהם נישט אום. און נאָר צו לעגט שוויסט אַרויס אין דעם געשטאַל פּון אַידיענע, אַ ריהרענדיגע, אַ ושוואַוע, מיט אַנגעבאַקענעמע פּעלענע מושקעס און עפּיס אַ מיט טיכעל אויפ'ן קאַפּ, דעם שיינקערס ווייב מיט איהר כבוד אליין, געבען פּעסלעך פּלעשער, קעלישקלעך, געלולעך, קרענעלעך בייגעל, געקאַכטע אייער, דאַרע פּישלעך און שטיקלעך פּערהאַרטעוועטע לעבער. דאָס מויל מאַכט איהר זיך קיין רגע נישט צו, די הענד איהרע רודען אויך נישט פּונים מענדיג, רעדען מיט איטליכען בענונדער, פּון געבען און געהבען גרייט געלד מומן, אַדער משבּנות אַדער מיט אַ קריידיל אַגשרייבען אויף דעם, אויף יענעם חשבון פּאַסקעלעך און רינגעלעך.

אויך דרעהן סוף ארום הי אגר צווישען. דעם דאָזיגען גאַנצען עולם, פּרויז רעדען מיט דעם, מיט יענעם, און דער שפּיץ איז אַלפּעריס ווערטעל מאַק; מילאַ, בקיצור, נאָרינישט.

אין קרעטשטע ווערט שטימערע, דער עולם הויבט אָן זיך צו פּאַרדען און אויך לאָזן סוף צוגען צו דער בעל-הבית'מע, האַלמערדיג די ביטש אונטער'ן אָרעם אַקענען איהרע איינען, דאָס טוה אויך פּוין

מיט אײן אויבער-הסברה, ווייל קרעמטערקעס בכלל האָבען ליעב בעלי-העגלות, קויפען זיי אונטער מיט בראַנפּען, מײי, גען און מיט נאָך עפּיס, בכדי זיי זאָלען פּערפּאָרדען צו זיי מיט פּאַרשוינען. די בייטש איז מיר געווען אַ מליץ און מיר גענעבען חן און לייטלינגייט אין דער בעל-הבית'טעם אויגען. עס הויבט זיך צווישען אינג און צום שמועס:

— גוט נאָווענד! — גוט יאָהר! — וואו איז דאָס אייער כאָפּ? —
 וואָס טויר אײך מיין כאָפּ? — גלאַט אזוי זיך. — וואָנט, אפשר וועל איך מווינען. — טא... מדינת-התורה! — אהער, אהרן, מיר צושמועסען זיך ברייטליך. אײך דערציעהל איהר דאָס אונגליק, וועלכעס מיר האָט דאָ געטראָפּן פּען, מיין איצטיגע מייאסע לאַגע. זי ברייבט מיר מיט אַ זויפּץ, אונטער מערשפּאַרענדיג דעם קאָפּ מיט דער האַנד און צוויי פינגער אײך דער באַק, טאכט אַליץ: „מעשה, אַ מעשה! און וויטער אַ זויפּץ! — אײך טוד איהר צוליעב, דערציעהל אַלצדינג, ווער אײך בײן, ווי אײך הייס, מיט וואָס אײך האַנדעל, און זי פון איהר זייט בעשט מיר מיט רעך, וואָנט מיר אַרויס אײטליכעס פּיצעלע, וואָס בײ איהר אונטער זיך נאָעל, פון איהר כאָפּ דעם שליסמולניק פון די קינדער און פרנסה... עס ווערט צווישען אונז אַ נאָהענע בעקאָנטשאַפּט. מיר רעכענען זיך אויס, אַז מיר זענען נאָך בירע שטיקלעך קרובים! זי הייסט חיה-טריינע, נאָך מײנס אַקאלטער מורמע פון דער כאָכעס צד. אַ שמוחה, אַ פּרייד! זי פּרעגט מיר אויס אויף מיין ווייב, אויף די קינדער, אויף אײטליכען מי מיר בעזונדער, און אַז דער כאָפּ איז דערויף אַנגעקומען, וואָנט זי איהם אָן די בשורה גיך אין אײן אַטהעם: מיר האָבען אַ גאָטפּ... אַ מייטערען גאָט, ר' מענדעלי סוכר פּרינס... מיינער אַ קרוב! און לאָנט אויס מיט גדלות צום כאָפּ, אַנגעעהענענדיג זיך מיט בירע הענד בײ די זייטען!

— הא, מינכט אפּשר, פון אַ שטאַל האַס-יד מיר אַרײַטונעמוען נישקשה, אײך וועל, ברוך-השם, פאַר אַנדערע נישט כּבּוּש ווערען, מעכט זיך, כּל־עבּען, אײבערנעהמען מיט מיין משפּחהו
 טא, רבּוט של עולם! — מראַכט אײך מיר! — לאַז זיך אויף שאל האָט געזוכט אײזלען, און געפונען די מלוכה, אײך זיך פּערד און געפּונען אַ חיה-טריינע...

חיה-טריינעס כאָפּ איז געווען אַ זיד מיט אַ לאַנג ענאָן. דאָס שייכער בערדיל, די פּאוס און די ברעמען — העל-בלאָנד זיי פּלאַקס. בשעת שווינגען קייטט ער די צונג און אידער ער קלייבט זיך צו רעדען בע-לעקס ער זיך פּרוּוהער, אזוי אַז איהם אַנקוקענדיג דענסטאָל, פאַר-שטעקט מען, וואָס טייטש לעק'יש... בײם אַבשטעקען מיר אַ שלום-עליכם מורמעלט ער עפּיס נאָך אַזן ווערער און פּונם גאַנצען בע-געדמען זינעם דערקען אײך באַלד, אַז ער לינט אונטער'ן ווייבס פּאַנ-טאַעל, האָט פאַר איהר דאָס נײן-יאָהריגע קדחת. זיי עס האָט שפּעכער מיט דער צייט זיך אַרויסצוהווען, הייסט ער אין דער סכּוּבה: חיים-חגא חיה-טריינעס, און חיה-טריינע אַליין הייסט: חיה-טריינע קאָזאָק.

— וואו האַט-יד עס ביז אַזנד געווענען? — געהט חיה-טריינע דעם כאָפּ אויפּן ציהונדער — וואוּזין האָט עס דײך, שליסמול, דער שוואַרץ-יאָהר געמראַנגען? האַט די געהערט? הען אַביסעל!... מען זאָל אַוועקוואַרען אַ שטוב מיט דעם בעל הבית'שקייט און נאָרנישט. נישקשה, ר' מענדעלי איז אַ איינענער, פאַר איהם מען מען זאָגען וואָס פאַר אַ שלאַק דו ביסט, אַ שלאַק פון זיין ליבען נאָמען, קוקס איהם אָן, שטעקט זיי אַ ליימענער גולם און קייטט די צונג...

— די האַט דאָך מיר אַליין, האַט די מיר געשיקט צו גברילאין נאָך אַזאק קאַרטאָפּלעס מיר געשיקט! — פאַרעכעפּערט זיך חיים-חגה, בעלעקענדיג זיך פּרוּוהער מיט דער צונג.
 — און דער רבי, דער שענער רבי איז קראַנק געווען ברענגען צופּראַנגען דעם זאק קאַרטאָפּלעס! עסען, נישקשה, קען ער פאַר צעהן.
 — דער רבי איז דאָך געגאַנגען, דער רבי, אַפּפּוהרען די פּערישטע קיח מיט דעם קעלבל אין פעלד אַכפּוהרען! — גיט חיים-חגא דעם ווייב צו פאַרשטעקן.

— אָט שווייט שוין, שווייט, קײ דיר בעסער די צונג! — טאכט חיה-טריינע, קוקענדיג בײן אויפּן כאָפּ, דערנאָך ווענדעט זי זיך צו מיר מיט אַ גאַנצען שמועס, וואָס זי האָט פון אײטליכען אויסצושטעקן. ווען נישט זי, וואָלט די גאַנצע שטוב שוין לאַנג האָרעס-קאָרנעס אויבערנעהרעט געוואָרען, און מיטשט אַליץ אַרײַן אין די רעך. נישקשה פאַר אײך מען מען, זיי פאַר אַ טאַטען, איהר זייט דאָך אַ אייגענער-די מענדעלי!

מענדעלע סוכר ספרים

אויך לעגן מיר אריין אין שלום און פערריכט פון הויז-פרייען
דעם מאגן דאליע, פון שלום וועגען זאגן אויך אביסל אלגענע, בעי-
שולדיג בכלל אלע מענער, מיר דערזענער אויך אביסל, און הפה,
לויב אין סאג אריין די אלע וויכער, בעזונדערס חוה-פרייען, חלילה
ווען נישט זיי, וואָלט די וועלט קיין וועלט נישט געווען... חוה-פרייען
אויך געוואָרען וויכער.

— געזונט זאָלט איהר זיין, ר' מענדעלי! — זאָגט זי מיט
שיינענדיג פנימיל און מאכט באַלד טאָק צום מאַן מיט גוטעו;

— גענוג צו קיינען די צונגן געהט בעכער, היים-הנחא, וויש-
צער דאָ די קעלישקעלעך און די מעלער, פון וועלכע עשו האָט
געפרעסען, — ר' מענדעלי מוז אורזיי גוט הנגעריג זיין — משהו זי אַזאָ
פון מיר, אויפהייבענדיג זיך פונם געזעס איהרם ביים שיינקעל — אויך
פיהל עס אין מיר אליין טאָק, אין אַ מאַרק-סאָג פערשפּעטיגען מיר זיך
המיר מיט דער וועמענער, נישטאָ, נישט ערנער, קיין צייט קומט,
זימם מוהל, מיר בעמען זעהר שטאַן צו אונז אין שטוב!

גלייך פונם שיינקל קומט מען אריין אין א פנימער אלקהיל,
וואו אקעגען איז אָפּען אַ מיר נאָך אין אַ אַלקיר און לינקס אין דער
זייט פיהרס אַמיר אין אַ הויכען חדר, אַנדערזיער אַהן אַדיל מיט
פֿיינע פענסמעלעך. די שייבלעך זענען אַ טייל זישפאלטען, אַ טייל
געלאַטעט פון צונויפגעקעמטע שטיקלעך און אַ טייל אינגאנצען אויס-
געשלאָגען; נאָר ערניגן אין אַחוונקעל שמעקט אַ איבערגעבליבענע
אַטיקעל גלאָז, ווי דער איין-איינציגער צאָהן פֿון אַקונה, וואָס פֿון
נאָר עפּיס אַחוונקעל שאַנקעל זיך עס, שטיל געבענעם זום-וויסן,
זעהר אומעמיג, אין איין עק שמוב, צו דער געבונדענער שטיקע אַ טיש.
געבען איהם, פֿון די וועלט, לאַנגע, נאָמעל בייגן, נישט געפּאַרנט.
אין דעם אַנדערען עק אַקעגען שמעקט אַ בעס מיט אַ סך בעבעכעס,
אַהן עין-הרעץ; מיט קישענס, גרויסע, מוסעלע, קליינע, קליינשטיקע,
אַ הויכער מוהרעם פֿון איין דער סמעליע. אין פֿון דער וויש אויוועק
דאָרט ציהרע זיך אַ ברייטע באַנג, וואָס דונט פֿיינאָכט פֿאַר אַ בעס
צום שלאָפען. אַרום די וועלט אין דער הויך הענגען פֿאַרשטימען
בעדעקט מיט שפּאַנעלעכע, מיט געפּאַרעטע פֿלינגען, אויסגעטריקענע
פֿיינע פֿון פֿרימען און פֿלינגעקייט. פֿונם קוים אויף די ראַיווע

פֿיסקע דער קרימער

פֿאַרדערטעלעך קוקען אַזויס עפּיס געשטאַמען; אַ מוהר' מיט קראַליקעך,
מיט משונה-וויילדע חיהלעך, האַלב ציגן — האַלב הירש, האַלב לייב — האַלב
אויבעל, האַלב לעמפּערט און האַלב פּופּעראַטער, אַ הויכער הפּו,
געקלידעט ווי אַ אונטער אַפּיער, הענטט אויף אַ הלית, וואָס גרויכט
איהם קייט פֿון צום אַקסעל, אַזוי אַז נישט הענטט די הלית אויף
איהרן דערפֿי שטעהט מרדכי אין אַ שטריימיל, אַ ראַצעמאַנענע קאַפּטע
מיט אַ גאַרפּעל, אויבען אַמיליק, אין שוה און זעקעלעך מיט פּאַהקלעך,
טאָק נאָר, מאַנדרזש' אַרום איהם, בעבערדעלטיג, בענאַנענדיג זייען
מיט פּוכות אין די הענד און מאַכען: לחיים, רבי מרדכי' צו ורש'ן
מיט'ן סאָג האַבען זיך זעהר מייאָם צוגעהאַפּט די פֿלינגען, האַבען פֿון
איהר, געבען, איבערגעלאָזט נאָר אַ האַלבען קאַפּ מיט אַ שיינקעל פּערד-
חלק, נאַפּאַלעאָן, געבען, אין אויך אַריינגעפּאַלען אַהינעו אין ווידעש
הענד, אַז אַך און וועה אין צו איהם, וואָס פֿאַר אַ פּנים ער האָט
געהאַט! ער איז געהאַנגען צווישען פּוטיפּר'ס ווייב, עפּיס אַ פּאַרוועה-
ניש, אַ מייאָסקייט, וואָס מאַכט חן, שלעפּענדיג יוסף הצדיק פֿון די
פּאַלעס, און צווישען אַ שפּאַלען, פּערשטאַנציעוועמען, שטאַרק-אַנגעבוי-
גענעם שפּיגעל, הונטער וועלכען עס האָט געשטעקט אַ פּערדארטער
לולב און אַלע אַבגעשלאָגענע הוישענות.

אין שטוב דרעהם זיך ארום א דיקע, א ברייטע א האַרעפּאַשע
מיר מיט אַ פּאַר באַקען ווי די פּאַמפּשקעס; אויפּן קאַפּ זעהר וועניג
האַר און צוויי קליינע צעפּלעך פון הונטען, די הענד האַלט זי פֿון
די איילענבונגענס שטיף צו בידע זייטען, די אַרעם אויסגעשטרעקט
גלייך פֿאַרענט ווי צוויי האַלאַבליעס, צווישען וועלכע זי רוקט זיך, שלי-
סעלע זיך נישט צוהיפּען קיין פּיס, אַרויסשקענדיג דעם קאַפּ אביסעל
פּרהער פֿאַר איהר. רוקט זיך גיין, טראַגענדיג אין די הענד אַ מיטוועך
מיט מעלער און גרייס צום טיש, הויז-היינע הויכט איהר עפּיס אין
אויבער איין, זי קעהרט אויס די האַלאַבליעס, דער קאַפּ לאָזט זיך פֿאַראויס, זי
אַיין טיט די פּיטעיק באַלד טאַפּן נאָך איהם און הינט גיך אַנטרען פּח
דער שטוב. אין אַ ווינקלעך קריגען זיך אַ שטיק פּיער קינדער, טיידעך מיט
זונדער, רייסען זיך עפּיס איבער אַ קליין הונטעלע, אַ מאַפּסיק, וואָס
שישטעט, נישט צו הערען, צו זעהן וואָס הונטער זיי מוהר זיך אין שטוב.
חיה-פּרייע בעפּאַלט זיי פּלוצים, שהוט שפּיטערהייט אַ קניש דעם, אַ צופּ
זענען, מאַכט דאָס פּיעלע הוישעלע און וואַרעט עס אַרויס. די קינדער

מענדעלע סוכר ספרים

שמעקען זיך אונטער די געז אב פינגען און צולויפן זיך אין די וויי-
קעלעך. באלד קומט אן הייס-הנא מיט אגרויסע לאַגיש סמעטענע.
דאָס ווייב געהט עס ביי איהם צו, פאָרעט זיך דערמיט יאָסעל
דאָרט פאר זיך און הייסט זיך אונז וואַשען.

אברהם-יחזקאל אָהן אַקאָפּטקע, באַרפּיס, אין אַלייבסדערדאָקל מיט
הוילעך, לויפּט אַרײַן מיט אַשטאַח: דער רבי האָט געהאַפּט אין
שטאַל אַ וואַקאַרבייטישקעל!... אלע קינדער בלייבען פּערגאַפּט מיט
אויכנענענע פּנימער פאַר גרויס וואונדער, און אירער זיי זענען צו
זיך געקומען, קומט אַרײַן אַינגער-מאַנטישק עפּיס מיט אַגעשוואַלענער
נאָז און גראַבע ליפּען, וואַשט זיך גיכער איבער דער פאַמיניצע, זעצט
זיך דערנאָך צום מיט און רוקט אַרײַן אין מויל אַ גרויס שטיק ברויט,
אַלץ אין האַפעניש, אין אַיילעניש, נישט צו שצנקען קינעס אַ קוק,
גלייך ווי אַויס בורא, ער זאָל, חלילה, נישט פאַרשעטטיגען, מען זאָל
אָהן איהם נישט אָבעסען. דערווייל רוקט זיך אַרײַן יענע ברויטע מויד
מיט די פאַמפּטיקעס אויכנענענע שבת-רוג און זעצט זיך אויך צום
מיט. חוה-טריינע סאַכט צו מיר, ווייזענדיג מיט אַפּינגער אויף דער
מויד: דאָס איז מיין עלטערע סאַכטער, האַפּטיג-גרוינע, דער עולם עפּט,
פּריהער עפּיס מיט דרײַ-אַיז, אַ שעפּ מיט דעם לעפעל און אַ לעג
אַנדער דערנאָך הייבט עס אָן גערן לעבעדיג, רעשיג: אַ צערן
לעפעל אַרבייטען געשטאַק אין אַיין שויסעל און פּליהען פּון דאָרט.
געשווינד אין צערן טיילער, וואָס וועגן, איטליכס אויף זיין שטייגער.
מאַז אַחאַפעניש, אַפּהלה, אַ וועפּער: וואַפּ-הופּ, הופּ-שופּ: מייענ גיי-
געפּונענע קרוכס טרייבען מיר אַלץ אונטער: עפּט, לאָזט זיך נישט
בעטען! און איה: ווייפּ-פּפּופּ! אויף מיין גוס. דער יונגע-מאַנטישק
מיט דער געשוואַלענער נאָז פּוילט זיך נישט, אַרבייט פאַר צערן און
גרויטעוועט זיך ביי דעם פּויעל, וואָס קומט לסוף אַרויס, אויסגעמאַלט
אויכנענע אויפּן דעק פּונם שויסעל. אַכנע-פּאַרטנע זיך פּון דער אַרבייט
מיט אַזופּן טיף פּונם בויך, שטעלט ער אַויס אַפאַר גלעזערנע
אויגען און קוקט אויפּן עולם; ס'הוט פּלוצלים אַשטערק די האַנד,
אונטער-הייבענדיג זיך אַפּיסעל פּונם אָרט, גלייך צו מיר, סאַכערדיג
דערביי: שלום עליכם! איהר זייט מיר עפּיס קענטליך... מה שמבטם!—
איהר זאָ איהם מיין נאַמען, ער שפּרינגט אַזש אונטער פאַר גרויס
וואונדער!

שישקע דער סוכמער

— רי מענדעלי... רי מענדעלי סוכר ספרים! פּישש!...
אַ קאַטאַזעס עפּיס! ווער קען נישט רי מענדעליין! איה האָב געהאַט
אַכאָל די זוכה, אין גלופּט נאָך, קויפּען ביי אַיך אַבערנישערייל.
— רי מענדעלי איז מייער אַ קרוב — זאָנט היה-טריינע מיט
גלות, שמייענענדיג זיך פאַר פּריד, און אַנווייזענדיג מיר אויפּן
יונגע-מאַנטישק סאַכט זי: דאָס איז אונזער רבי!— אַזג הוישקעלע—
ווערעט זי זיך צום בחור-יחזקאל אָהן דעם קאַפּאַקעלע— רי מענדעלי וועט
דיך פּאַרהערען. שעס דיך נישט, נישקעשה. דער פעכער העט דיך
נישט אויפּגעטען.
הוישקעלע האַלט אַפּינגער אין דער נאָז, קוקט אין דער זייט
אַבלאַזענדיג זיך, פּעריצירט דעם אַקסעל און סאַכט: איה סעם סיה,
סעם סיה...
— וויפּיער איז אַלס אַייער הוישקעלע, זאָל לעבען? — פּרעג
איה די סאַכטען
— מיין הוישקעלע, זאָל לעבען, איז אין וועמענע געוואָרען ברי-
מזרח— ענפּערט די גליקליכע סאַכטע.
— גג הוישקעלע— געהט איה דעם בחור'ל אָן פּאַר'ן בעקעלע—
זאָג, שעס דיך נישט, וואָס געהט היינט פאַר אַ סדרה?
— זאָג, זאָג!— טרייבט מען הוישקעלען אָן פּון אלע זייטען— ער
שטעלט אַויס אַפאַר אויגען און שווינגט.
— ב... ב... — סאַכט דער רבי מיט די גראַבע ליפּען.
— ב... ב... בהאָז! — לאָזט הוישקעלע אַויס אויף אַ קויל, קוקענדיג
צום רבי'ן.
— גג בלק בלק... — זאָג איה אונטער און גיב ווייטער הוישקעלען
אָפּרען— וואָס האָט אַזוינס בלק געשקאַט זאָגען?
דער רבי לעקט דעם פינגער, בכרי דער הלמיד זאָל זיך דערמיט
אַנשטויסען.
— לעקען— ס'הוט הוישקעלע אַגעשריי מיט איפּסעס.
— ווער, ווער! — טרייבט הוישקעלען אונטער דער רבי, און ער

מענדעלע סוכר ספרים

ווערט איהם גרינגער אויפ'ן הארצען, מייענדיג אז ער האלט שוין
מיט דעם הלמוד זיינעם אויף א שטיקעל דרך-ווער, האט

— דער רבי! — טרייט הייטיקעלע אים אויף א קול
— די פארשטאנענע קאפ איינער! — צוהיט זיך דער רבי מיט
זעם-ווער זאגט פליק וועט לעקען?

— יודען!... — טוהט הייטיקעלע גיך א זאג אויף א קוויטשיגען
קלייבער.

— די יודען, די יודען... הייטיקעלע! — זאג איך, א גלעט גע-
פכנדיג אדם דאס בעקעלע — זעהר וואיל, די קענטס.

די מאטע איז גאר איבערגריקליך, האלט די הענט אויסן בייך
און קוועלט: אז וואויל איז, כלעבען, דעם בייך, וואס האט אזא תכשיט
געבויען! דער טאטע קייטע די צונג און האט שטארק געהא.

מיין עסק אזוי: אין א פאר שעה ארום בערארף אנקומען מיין יאנקא
רייטענדיג אויף איינעם, מיין מאן אויף דעם אנדערען פערד און
פאָהרט פארנעהמען די בירלעך מיט די סחורה דערווייל אדער, און
ווייטער וועלען פאר שוין זעהען. לעת-עתה לעגט זיך א ביסעל צו, אָס
האָט איהר אייך א בעט מיט איבערבעטען.

— א שטענעם דאנקן!—רוף אייך מיר אן—אין די בעכעס אז אייך
וועל אריינפאלען, וועט שווער זיין דערנאָך ארויסצוקומען מיר פון
דאָרט, גאָט ווייס וויפיעל אייך קען דאָרט אַבשלאָפּען, און דאָ איז די
צייט מייער, איין אנדערס מאָל, אַיז-דע-השם, אז אייך וועל קומען צו
אייך מיט מיין ווייב און די קינדער צו נאָס, דענסטמאָל, זעהט איהר,
געזענען אייך מיר מיט אייך אלע און וואָרף מיר, אויף נאָס בעראָט,
אַריין שיעף אין דעם תּהוֹם בעכעסם אויף אַלאַנגער, לאַנגער צייט.

— מיר בעטען, מיר בעטען!—מאכט חיה-טריינע מיט חן-וועה-
זשע, מיט אלע קינדער מאַקי; געהט אויך מיט יאהני-סאַמען,
זאָנע-ושע זיך נישט אָב, האָמט געהען אַ קושעלע אדון אין אל-
קערייל.

שיטקע דער קרומער

— שפּאַט געוונד!—געזענענש זי זיך מיט מיר. — נישקשה, מייער
זעט אייך גאָרן מיר, בלוך חשור, אויפגעקען!



היי-טריינע איז טאָקי אַ כּיטריע יודענע, אַ גוטע, גאָר וואַניצע
קאָס זי געהאט אין שטוב רשעים, זעהר בייזע, זי זענען מיר בעפּא-
לען ווי פּאַרל אייך האָב מיר געלעגט אויפ'ן טאפּשען אין אַלקעויל
און די מלחמה צווישען אונז האָט זיך אָנגעהויבען. בירע צדדים האָ-
בען זיך פּערקעקשטיג, געאַרבייט אין עסקן זי—מיטן מויל, אייך—מיט
די הענד; זי קריכען, אייך שפּרינג אונטער; זי מיט מענות; דער
טאפּשען איז אונזערער, דרך-אויף זשע, רי יוד, און לאָגט זיך ביימיטן—אייך
זיפּן, פּערבייס די ליפּען, קראַץ מיר אלע כּוהות; זי אַביס—אייך
אַקראַץ; זי אויף מיר—אייך אויפ'ן קישען, אַראָב, צו אַלדי שוואַרצע
יאָהר, דאָס קישען דאָס הינקעדיגע ביינקעל אויף דריי פּיסלעך פּאַלם-
אויס; דאָס לימענע קריגעל מיט נענעל-וואַסער טראָף-טראָף; טאַראַקאַנעס
אויפ'ן ציל לויפּען, דראַפּען, האַרמירערען; פּערדען פּון דעם צעריסענעם
קישען פּליהען אין דער גאָל, אין די אויגען אַריין; דער טאפּשען
אונטער מיר ריפּעט-סקריפּעט, אַ טאַראַראַם, אַנערדערען; אייך זיט אויף
צוטישט, צאַפּעל מיט אלע גלידער און וואָרף מיר פּון איין זיט אויף
דער אנדערער, עס הערט נישט אויף צו ביימען, עס שטינגט וואַג-
צען!—נאָס ווערענדיג מיר די גאַנצע מעשה, בלייבט בי מיר עסקי
צו זיין, אייך פּערלאָן מיין געלענער, שפּרינג אַראָב גלייך צום פּענ-
סטער, צו אַטהעמען אַ ביסעל פּריי און סוה אַקוק אין דרויסען, אויף
גאָסס וועלען.

אויפ'ן בלויען הימעל שטיל, רוהיג געהט די גילדענע לבנה, איהר
שיינענדיג פנים איז זעהר ערענט, עפּים שטאַרק פּערטראַכט, שאַ
ארום און אַרום... איהר פּערטראַכט וואַרפט אויף מיר אַן אַ זיסע
טרה-שחורה, זי רערט עפּים צו מיין האַרץ, די גשמ' מיני געהמט
זי פיר אַרויס מיט איהר אויבליכען בליק, זי רופט אין מיר אַרויס אַ

מענדלע סוכר פריש

ים געפיהלען און עם טראכט זיך, טראכט זיך עפויס נאך פון זיך אליין, עם טראכט זיך פון דעם ביטענען לעבען פול קרענקונג, אלערליי לידען מיט בעלידיונג, פול פלאגען, אנשקויענישען, אלטע אויך נייע און צופיעסטע מייך פאר איהר ווי א שלאף קינד, געבעה, פאר דעם מומיער: אוי סאמע, עם טוהט וועה...! אוי, ווערט מען עם פער שווארצט, קומט מען עם אב...! קארט אייגענע סמות און וואונדער, אז מען נאך גרויס אין די אויגען; קארט אייגענע סמות און וואונדער, האט מען נאך אויסצושטעקן געבראמענע לייך; קויסקוים וואס מען זשופעט, פערניגט מען נאך נישט דאס שטיקעל געפלאגטע לעבען. אוי, סאמע, עם שטארצט, אוי, עם טוהט וועה...! די לבנה קוקט אויף מיר מיט איהר ליכטיגער צורה אלץ ערענט, פערטראכט און דאכט זיך, זי געהטט מייך איין, שא, בירדע קינד, שא: וואס זאל מען טאן...! דאס הארץ היינט אין מיר נאך מעה, הייסע טרערדען טרעטען מיר ארויס אין די אויגען, איך שפאר אן דעם קאפ אויף מיין ארעם, די זיט מיט דער אבגעשווערענער פאה דער לבנה אקעגען, נא, זאל זי וועה, זאל זי האמש וועה!... עפויס עפענט זיך אין מיר א קוואל פון געפיהלען, צופען מייך ביים הארצען, פערפלייצען מיר די געדאנקען. די אויגען, אנגעקוקאלענע ווי די באנקעס, קוקען אין דער וועלט אריין מיט א ריהרערדיג געבעט: געהאלד, העלפט, האט רחמנות! עם טוהט וועה, וועה, וועה... אוי האפט זיך אויף שלאף ביי דער נאכט א קראנק קינד, געבעה, יאמערט פונם הארצען פאר זיך אליין, קוקט מיט די אויגעלעך, בעטענדיג רחמים... נישטא קיינער! קיינער! קיינער הערט נישט! אלע שלאפען, שא...! אהינטעל נאך שמעה אויף דער גאס וועה, דער ווידעל צווישען די פוס, דער קאפ פערדיסטען הויף און פילט מיט אקאלטער לעבער אקעגען דער לבנה, זי געהט איהר וועה רודהי, פערטראכט, פון אהונגס בילען זיך נאך נישט צו סאכען...!

יפין הארצען ווערט מיר גרינגער, עפויס ווארעמט מייך איין וועניג א געפיהל פון האפענונג און טריסט און ווערטער—אז געפיהל, וואס איז פיהל, אז ער וויינט זיך אויס פאר גאט אויף זיינע ציות, שאט געפיהל, וואס סאכט דעם מענישען ווייך ווי מיינ, גוט און א פרייע, זייט אמיליבען אוועקצוגעבען. די נשמה, ארומצוגעהערטע דו גאנצע וועלט און זי א קוש צו מאן פאר גרויס ליעבשאפט.—

מיטקע דער קרוסער

און זיי, די וועניצעלעך, זענען דען נישט גאטס-געשעפעניש און ווען זיי זענען זיי שלדריג, אז זיי שטינקען, געבעה וואס זאלען זיי טאן, עס עם לינג שוין אזוי און דער סכע זיערער צו בייען א טוהיין עם נישט פאר שלעכטס, פאר שגאך און צו להביעם, נאך פאר דעם שטיקעל פרנסה זיי ווילען, געבעה, טרינקען, אנוועסנען זיך מיט יעניגס בלומ, סילא לאן שוין מינים אובערנעהן. עפויס דאס ערטע מאל אין לעבען איז מיר דען וואצען און וועלכער יוד האט דען נישט פון זיי צו זינגען און צו זאגען...!

איך געה אוועק פון דעם פענטער און זאגענדיג: איין דיין האנד טוה אויך מיי זעל בעהאלטען? גיב איך מייך א וואך אויפן שאפטשאן און—גארנישט, איך שלאף...! חלומות האב איך פיינט צו דערעהלען. גארשקייטען!

דאס אויפשטעהן אויף סארגען גאנץ פריה האט מיר געקאכט גרויס מיה. עם האט מיר וועה געמאן אישליכס אב, נאך די נישט האט מייך געצוואונגען און מיט מיר א טראך געמאן פון מיי געלענער. איך לעבט מיט אומפעט. די נישט טרייבט איהם צו לויפען, ארומצו-זאגען, צו טאן, צו ארבייטען. לאן נאך שוואך ווערען אקאפעלע דער אומפעט, בלייבט ער לויגען ווי אדערהיטער, יום-טוב דערפיהלעט איך זינע וועהאגען, דענסמאל האט ער געוועהנטליך צייט קראנק צו זיין...!

די נישט האט מייך פון מיי געלענער אויפגעהויבען, די נישט האט מייך אויף די פיס געהאלטען, די נישט האט מייך רייטענדיג אויף א פערד אויפגעזעצט, די נישט האט מיר אין קארק געגעבען און איך האב מייך גערוהט פונם ארם אינאיינעם מיט הייס-חנה היה-טריינעם פאן, הארב איז ביי איהרען נאך דאס ערשטע ריזה, דערנאך, אבי א קוועטש די ספרונזשנקע, געהט עם שוין ווי א פוטער, ער קריכט שוין אפילו וואהיז מען בעדארף נישט, וואהיז מען האט איהם פלל נישט געבעטען. ער דראפעט זיך אפילו אויף די גלייבע וועה. איך קום באאל צו מינע קרעפטען, בין פריש און שטארק אויף דאס ניי.

אז דער עולם זאגט: איהדישע נשמה קען מען נישט שאצען, שמתא איז רעכט, נאך אין אנהויב האב איך גערעכענט, היה-טריינע פיעהט זיך דאך מיט מיר אזוי פשוט, וואס זי האט דערטאפט פלוצליס

פערעלע ספר ספרים

א קרוב און נאך אועלכען, וואָס רייבט זיך ארום ספרים! דאָס רייבט זיך אליין ארום עפּים אַזאַך האָט שוין אַ גרויסען וערטה ביי יודען. אַזוי, פון די שענע בעלי-הבתים אפילו, ווען עס קומט איהם אויס צו האַבען אַ עסק אין די פּרינסטונערס, הויבט אָן צום ערשטען פאַן ספּאַציאָזש—ער רייבט זיך דאָך פאַרס ארום די אַרונים דאָרט—שמועסט מיט איהם איבער און געהט אוועק צופּרעידען. לעת-עמה, טראַכט ער, איז גענוג. דער ספּאַציאָזש איז נישט קיין שלעכטער מענטש. — דער שמש, וואָס רייבט זיך ארום אַ יודישער שקאַלע, הייסט ביי אַ טייל פון יודישען עולם: דער אינספּעקטאָר; דער יודישער ברוי-מערענער—פאַטשטאַר, דער יוד פון דער פאַטשט, אַזוי פּיעל כּמעט ווי פאַטשט-מיכטער. קורץ, ווי מען זאָגט סאַקן; דעם רבי'ס שיקסע קען פּסקענישן שאַלוח'... ביי דער וועטשערע, אַנקעקעניג די דיקע, ברייטע מויד, וואָס שוין צייט איהר אונטער דער חופּה, איז מיר שוין אַרין אין נאָך, אַז חיה-טרייניגס פּרייט בעטייט, איה קען איהר צונויף קומען צו אַ שידוך... און, דאַכט זיך, נאָך אויף מיר נופּף האָט זי אַזוי, דערביבער טאַקן האָט די מויד אַזוי שבת-דיג זיך אויסגעפּוצט... דאָס איז מיר דערנאָך קלערער געוואָרען פון הויס-הנאים רייד, פּאַהרעניג מיט מיר אויפ'ן וועג. עפּים האָט ער צופּיעל אויסגעפּרעגט מיר וועגען מיין פּהריל מיט אַזאַ שמועס:

— אַזוי! איז אייער פּהריל שוין געוואָרען, אייער פּהריל, ביי מנה און נאָך נישט קיין הנה, נישט איה אין זיינע יאָהרען דאָס שוין הונטה געהאַט, אין זיינע יאָהרען. — מיין הרהפּרענגע לאָזט מיר די נעכט ניט שלאָפען; געוואָרען, אַ פּהריל! וואָס ליבט די, גלוי אַזוי?... געוואָרען, אַ חתן. — די פּהריל מייע האָט איהר דאָך געווען, די פּהריל, אַ גוטע בעל-הבית'טע. אפּשר טאַקן שוין צייט איהר הונטה צומאַכען, שוין צייט אפּשר? — וואָס זאָגט איהר, די מענדיג? עפּים זייט איהר דאָך אַ יוד, אַ לבדי, שוין צייט? מייע האָט מיט מיר היינטיגע נאַכט אפּגעגעטוועט... איהר זייט ביי איהר שטאַרק חשוב, זייט איהר, אלץ קומט אונגעווענט. בעדאַרף זיך גראָד מאַכען אַ מעשה און איהר האָט פּערפּאַנדורט צו אונז... זעהר אַנגעלעגט, בילעבען איז אייער פּהריל שוין, זאָגט איהר, בריטצות, אייער פּהריל?

די פּהרילער. פּהרילער פּערטאַכט איה גוט מיין פּהריל אין אפּליכט איז דעם, ווי מיר שמועסטן דאָ אַזוי, קומען מיר צום אָרט סוף פּהרילער. פּהרילער פּערטאַכט איה גוט מיין פּהריל אין אפּליכט

פּיעלע דער פּהרילער

וועלכע, ברוי-השם, אַלצייג דאָ אינגאנצען, און לאָן מיר צונוערן דערנאָך צו אַלערס בידל, דאַכט זיך, אויך נישט געדוירט, עס שפּעט אַזוי זיין אָרט. נאָר קיים געהט איה מיר צום לאַנטן, מיט העלכען דאָס בידל איז איבערגעקעט, און מיר אַ טאָפּ, בין איה פּערצאָגעלט געוואָרען, עס ריהט זיך עפּים אונטער איהם... איה שפּרינג אַב שטאַרק דערשראָקען אויף צען אילען אין דער זייט. דאָס לאַנטן הייבט זיך דערווייל אויף און איה דערעה פּאַר מייע אַינען זיצענדיג אויפ'ן וואָגען מיט אַ פּערבונדערענס סאַפּ — אַלבער יקנה!...

יא

וואָס מיט אַלערס איז פּירענאַנגען, וואו ער איז היינטיקען, פון וואָגען ער האָט פּלוצלים זיך גענומען און פּאַרהאַט דער קאַפּ איז איהם פּערבונדען— די ראַזיע שאלות דערקלערט אונז באַלד אַלבער מיט זיין כּשר מויל אליין, אַזוי:

מילאָ געה איה מיר נאָך די פּערלעך, בקיצור נישטאָ קיין פּערלעך! נישטער, טראַכט איה מיר, נאָרנישט. אַפּנים, זי וועגען פּערנאַנגען ווימליך, גראָן אין וואַלד איז זעהר נוסע, שאַמען איה דאָ. פאַר וואָס נישט אַ מענש, לובביל, זוכט אויך, וואו גוט איז. מילאָ געה איה מיר וויסער, וויסער, פּאַרשטערט איהר מיר, מען הערט נישט, מען זעהט נישט, וואָס טהוט מען דאָ? מ'איז דאָך עפּים שפּיל פּלוצלים דאַכט זיך מיר אין וואַלד עפּים אַ שאַרף אויף יענער זייט פון אַ טאַל. מייער באַלד טאַקן אַראָב, אַרויף, אַרויף, בקיצור נאָרנישט, דערווייל ווערט שפּעמליך, מ'איז שוין טונקעל, עפּים נאָך נישט קיין גוטער משאַמקו... דאַכט זיך מיר ווער אַ שאַרף, איה וויסער אַרויף, דרעה מיר, זיך און וויסער נאָרנישט, עס פּאַרדריכט מיר שוין, פּאַרשטערט איהר מיר, וואָס איז דאָס פאַר אַ טאַג? בקיצור, ווער אַ שאַרף און עפּים ווי פּרינסט— אַם האַכט-זי, די שענע ליבט אַ קרענק זי איז די ביינער! פּלוק איה שטאַרק אויפגעבראַכט און דערשלאָג מיר אַרויף, ערגיג אין אַ העק, צווישען געדיכטע צוויגען, איה, מ'איז דאָ.

רעסאפאס!... וואס צו אלדער שווארייע יאָהר, עפּים אַ רויסע קוד אַ קוד, וואָס, ווי געווענליך, זיך פון דער משערעע אָפּגעייסען אַפּ פּערזאָנלעך אין וואַלד, אַזונד וואָס איהר ווייס נאָר ניט, וואו איהר בײַן נישמער שמעקן איז קיין הכלית נישט מילא נעה איהר מיר אין צרות, אַזיך נאָסם בעראָט, און פאַרנעה מיר צו אַ פּייערל, וואָס האַלט ביים אַיסגעקוד, האַלאַנעשקעס רייכערען זיך, סײַאז נאָך דאָ אין זי אַ פּונקט דאָס נראָן אַרום און אַרום אויסגעטרעמען, עס וואַלגערען זיך ברעקלעך ברויט, שאַלעכס פון אייער, פון אונערקענס, ציבעלעס און קאַנעל, אַזיך צעריסענע שמאַטעס און שמאַקעלעך, דאָ איז, אַ פּנים געווען אַזיבשע קאַפּפאַניע, און ווי עס זעהט אויס, אַ האַפּטע ציניגער, נאָך עפּים נישט קיין נוסער עסק; ציניגער האַבען ליב צולקענען, פּלי- צלם דאָכט זיך פון נאָנץ ווייט עפּים אַ קיל, אפשר רופט עס דאָרס זי מענדעליו געהט מיר אויבער אַ געדאַנק, און איהר לאָזט עס זיך ווידער נאַשווימער, דאָס קיל, דאָ הערט עס אויף, דאָ לאָזט עס זיך ווידער הערען און האָס געהענער ווערט עס אַלץ שרעקליכער, ווי אייער שרייט געוואַלד!... עפּים נאָך אַ שרעק, כילעבען! נישמער נאַרנישט, אַזיך מוז מיר מינים און געה, עס העלפט נישט, נאָך קוק מיר גוט אַרום און היט די בייגער, בקיצור, אַקענען מיר וואָקסן אויס פּונדער, וויסענעס עפּים אַ קרעשמעלע, אַ הורבליע אויף הינערשע פּיסלעך, עפּים איז מיר עס נישט געפעלען, אַזיך בעהאלט מיר אַ ביסעל אין דער זייט צווישען צוויגען, נראָך טאָפּ איהר דאָרס אָן עפּים אַ דרענגיל, בעהם עס אין דער האַנד, פאַרשמעהט איהר מיר, ליהר=בסחון, זיך שמיל און קוק מיר, וואָס וועט דאָ זיין, עס קומט מיר אין קאַפּ אַריין שרעקליכע וואַכען, מעשיות מיט גולנים און גלופּקער גנבים, פּלוצלום ווייטער אַ געשרי, אַ ביטער געשרי, ווי פון איינעם, וואָס איז אין אַ נרויטער סכנה, און, דאָכט זיך, דאָס ביטער געשרי איז פון הורבליע, עס האַפט מיר אָן ביים האַרצען, עס מראַנט מיר אונטער פּנים אָרס און אירער מיר צו בעטראַכטען שמעה איהר שוין געבען קרעשמעלע, אַלץ נישט רעכט צו געדענקען, ווי אַרום האָב איהר מיר דאָ גענומען, עפּים געפּיקט, האָס מיר אַלץ אין קאַפּ; אַ אייגענער, אַ אייגענער אַ קשיא אויף אַ מעשה, אפשר איז נאָך זי מענדעלע אין אַ סכנה, איהר ווייס דען, אַ פּנים, וואו איהר בײַן סײַאז טאָפּ אַ מורא, נישמער נאַר- נישטן מײַן מײַט זאָל דאָ זיין, פּוון איהר מיר דערנען, וואָס סדום זיך דאָ אַזוינס, עפּים בײַן איהר דאָך אַ שמיקעל עקטן אויף, בקיצור, אַזיך

זעה מיר פאַכעליכען און האַרד מיר גוט צו עזים הערט זיך אַ פּער- דובשט קיל, איהר קום צו געבען אַ צושאַטענעם פּויער, קוים וואָס ער האַלט זיך פאַר אַלכקייט, מינער פּוץ אַריין אוינעניג און אַ גרויס הייט, געה אויף די שפּיץ פינגער, ווײַ, ניסער און דער פינכטער, זשאַ, עטל, איהר געהט אַרויס פון דער קעשענע אַ פעקלע מיט עטליכע שוועבעלעך, רייב, רייב מיט אַ ציטערדיגע האַנד, אונזוכט, עס וויל גיטט ברענען, דאָס לעצטע ציגט זיך לסוף אָן און באַלד טאָפּ לײַט זיך הערען אַ געשרי נאָך און אין אַ אַהעם, ערניץ פון דער זייט דאָרס, דאָס שוועפעלע פאַרלעשט זיך און נאַרנישט, איהר טאָפּ אין דער פינכטער, קרוך ערניץ אַריין און שלאָג מיר אויף עטיגען עפּים אָן, די האַר שמעלען מיר זיך קאַפּיער, פּרענט מיר בהרס, אויף ווײַס פּאַר אַוועלט איהר בײַן, בקיצור, בײַ דער שײַן פון דער אויפגעהנדער לַבּנה, הורף אַ קליין אויסגעלאַנגען פענכטעריל, און אַ פּערשימלעס צוריל אָרן אַ מיר, דערנעה איהר, ליכט איינער געבונדען, ווי אַ שאַף, ביטט הענד און מיט פּיס, איז, געפּוק, מײַט, פּלייך ווי די וואַנד, קוים- קוים וואָס ער זשיפּעט—נאָס האָט איהר געבראַכט אַהער, זאָנט דער אונטעליכער פאַרשוין, בינדט מיר ניכער אויף, וואָרס איהר בײַן בײַזבײַ, די שטרוק האָט מיר זיך איינגענומען אין דעם לייב און זאַ ברעגט מיר אַ מרונגל!—ווער האָט איהר אַזוי געפּענעט? כּוּה איהר אַ פּרעג, געהט מיר אַ מרונגל!—ווער האָט איהר אַזוי געפּענעט? כּוּה איהר אין זיין טאָטענס טאָטען אַרייס מיין מעכער און שנייד אויף די שטריק— גלייכערניג די בייגער, אזא מבור, נאָטקע גנב!—וואָס, אַ גנב? דוף איהר מיר אָן, שאַרף אַנקוקענדיג דעם פאַרשוין—יא, יא, אַלציג און דער קאַרט: ערשט הינט נאָך האָט ער געגנבֹהט אַפּאַר פּערד, איהר שפּרינג אַזש אונטער הערענדיג אַזוינס, בקיצור, איהר הויב אָן באַלד טאָפּ דעם פאַרשוין אויסצופּרענען, זאָט סומנס און עס קומט אַלצדיג קלאַר אַרויס ווי בימעהל אויפּן וואַסער, בײַ יענען פּייערל אין דעם וואַלד זענען דאָס געוועסען אַ גאַנצע האַפּטע שלעפּערס, פייער לייט, איינער פון די שטעט נפשות האָט זיך געלאָט שפּאַצירען דאָרט און צוגענומען אונטער פּערדלעך, איהר דערנעה מיר דעם חען, אויף וועלכען זי שלעפּערס האַבען זיך געלאָט פאַהרען און עס בלייבט בײַ מיר, באַלד אָרן שיהות נאָך די גנבים זיך צו לאַזען, דער פאַרשוין פּרויט מיר אַבּהאַלטען, לעגט מיר שמינער אויפּן האַרצען: ער האָט כּוּר, דער כּוּר זיינער און אַרויזט, מיט איהם פאַהרען נאָך בוידען

פארשווען, אלע כמעט אועלכע ווי ער. מ'ך אבער האט עס גלייב
געלאזט דוהערן. בלייבן און אפערד קען א'ך נישט—ניין, ניין א'ך
סו וי דער-אונטן, עס מען ז'ך ווין וואס עס וויל. לאזען שפיינען ז'ך
אין דער קאשע קען א'ך נישט, ארבעט איז איבער מייער; בלייבט אונטן
דא, רוהט ז'ך אויס, ביי מיין צוריק-קומען מיט די פערד, אמירצור
השט, געהט א'ך א'ך און מיר פאררען ביידע פון דאנען אונטן. אזוי
זאג א'ך דעם פארשווי, צו וועלכען עס ציהט מיר עפ'ס שטארק דאס
הארץ, נעהט די פ'ס אויף די פלייצעס—און לאז מ'ך געשווינד און
ווען אריין.

דאס אלטע חיסמע קרעטשמעלע שטעהט אריינגערוקט אביסל
אין וואלד ביי דעם שלא'ך, וואו עס מילען ז'ך ווענען אין פערשרדענע
זיסטען. לינקס פארהט מען קיין גלופסק, קיין וואהלין, און רעכטס אין
שבערס פון פאדאליער גובערניע, א'ך געהט מ'ך רעכטס. בקיצור,
א'ך געהט נישט, נאך א'ך לויף, אין פעס בין א'ך א שרעק. א'ך וואלט
צערביטען דעם גנב ווי א הערונג. עס פעהלט מיר מערד נישט צו די
גנעט עסקים, בלייבען זיצען אין פעלד און אפערד, און ארגאשען
געלד. נישטער נארינישט. מייע פ'ס הויבען אן ז'ך אבצוגאנגען פון
דעם גנבען נאנג, דער מאנגען וויל נישט וויסען פון קיין שום זאך
און מ'נט עסען. א קלייניקייט עפ'ס אז גרויסען טאג אבצופאסען.
שלעכט! עס עכט מ'ך דער געדאנק: פערפאלען די מ'ה, אויסעס
דאס לויפען! זי, די שענע נפשות, זענען אונטן אהיבע צייט
פריהער פון מיר און וואס נאך? זי פארהערן. אקענען-וועט א'ך געה
צופוס. עס שטארקט מ'ך נאך איין האפנונג, טאמער וועט אנלויפען
עפ'ס אפעהיל. אנליק נאך, וואס די לבנה שיינט און מען קען
האמט זעהן ווי אין העלען טאג, בקיצור, א'ך געה, שוין נישט אזוי
געשווינד, מיט אמפעס ווי פריהער, אבער א'ך געה, געהט מיר ארויס
די אויגען קוקענדיג. נישטא קיין לעבעדיג בעטעפעניש. נישטער
נארינישט, א'ך טוה מיר ביניס, אלץ וויסער, וויסער, געהט א'ך מ'ך
צו עפ'ס אזאך, פארשטעהט איהר מ'ך, לאז א'ך עס אזוי נ'ך נישט
אך בקיצור, דאכט ז'ך, אקלאפען פון רעדע... אין דער ערד מיטן
קאפ! אויף צושפרינגעניש פארהט מען נאך מיר אקענען, נישט אין
דער זיס, וואוהין א'ך בערארף, אי, א מול, מ'ן פונסטער מול! —
א'ך ווענדע מ'ך צו איין פוהריל, צו דער אנדערער, אלע זענען שוואך

לום, א צונד פארשטעהט איהר מ'ך, ווער א'ך שוין נאך מ'אום אין
בעס, אבער ווי נאך אין פעס!... און טוה מ'ך אלץ וויסער מיט
אמפעס. א'ך בין שוין אבגעגאנגען א היבשע שטרעקע וועג, ס'איז
שוין טאקי גוט שפעט, אין מיר איז נאך דא אלץ אהאפנונג, עס וועט
מ'ך אגינגען אפעהיל, און פונדערווייטענס דאכט ז'ך טאקי עפ'ס
פוהרלעך, נאך אין דער ערד מיטן קאפ! ווידער טאקי מיר אקענען...
ניין! טראכט א'ך, היימיגס מאל לאז א'ך עס אזוי נישט אב. דאס
לעצטע, וואס ביי מיר געפונט ז'ך, גיב א'ך אוועק, אבי מען זאל
מ'ך אונטערפיהרען, א'ך טרייבט מ'ך אונטער, געה מיט קראוטי, נאך
די פוהרלעך דארט ריהרען ז'ך, דאכט ז'ך, נישט, שטעהען עפ'ס אויף
אין ארץ.

אדארץ-ווערטיג נאך, א צושפרינגעניש! נישטער נארינישט, בקיצור,
צוקומענדיג געהעכטער, דערזעה א'ך, דאס זענען בידלעך. עס פאלט
מיר באלד איין, אפשר זענען עס די פייע ליט, א'ך האלט איין דעם
גאנג, געהט מיר שטיל, פאמעליכען און טראכט, וואס כה'ס מען? ביי
דער זיס וועט ציהט ז'ך א וועלדעלע, מייער אריין אהין, בעהאלט
מ'ך צווישען בויער פון וואנען א'ך קוק ארויס און בעטראכט די
בידלעך אקענען, יא, דאס זענען מיט די אלע סימנים זי, זי! איין
בידיל ליגט אגעבויגען צו דער ערד, ארום איהר א גאנץ פעקיל;
סאנטיבלען, וויבער, יונג און אלט, קינד און קויט, אבגעריסענע, אב
געשליסענע, דער האקט, יענער קלאפט, איינער גיט עצות, דער אנדערער
פלייבט, וידעלט, וויבער קוויטשען און קינדער שרייען, פישטישען, ס'איז
א געשליסענע, א געבויערע, א פאטשערי, א הארדלערי מיט א געוויין
און א געלעכטער אינאיינעם, צווישען דעם רעש הערען ז'ך קילות;
שולדיג איז דאס נייע פעדריל, פארברענט זאל עס ווערען! אז פליאגע,
דעם גאנצען העג האט עס געצויגען אלץ אין דער זיס, אויף צו להביעס
אלץ אין דער זיס... עפ'ס א פארשעלעכטע קרענק, פרייען זאל עס
פריבשקעס פשריע מיצא'ה, א האלערע אויף איהר!—פוסקאמטשעס, שטינג
פעלעך, קוליעס שטרוי און הענד, און אויגען, נארינישט, נאך פרעסען,
דיכענען!—וידעלט ז'ך איינער, א רויטער יונגמאש מיט ברייטע פלייצעס
און חיים דרובי איטליכען א קולאק, א'ך ז'ך מיט די אייגען און
דערזעה! אין די אבערדיקעס מיט שלייס שטעהט אבגעשפאנט, ביי
דעם הינטערשטען בידיל, אייער פעדריל, ר מענדעליזמען האט איהר,
3 באנד — 6 בויגן

מענדעלע סופר ספרים

א פנים, מכבר געווען געהן אויפן דראָנשיק. אי, חכם מייער! סאָך אַיך פאַר פריד, דו האָסט זי אָנגעמאַכט אַנטע חתונה, נישקשה... וואוּזשע איז ערניץ מיין שלומליניצע? מיין שקאַפּע, זעה אַיך, שטענדיג צוגעבונדען הינטער דעם דאָזיגען ביידל סאַפּי. אַיך בערזאַכט מיין דרענגיל, נעהם אַרויס מיין מעסער און לאָז סײַך אַזוי שטילערהיים זיי אַקעצעלע צום ביידל, בשעת די האָמע איז שטאַרק בעשעפּטיגט דאָרט מיט דער אַקס, שנייד געשווינד איבער די שטריק. האָפּ סײַך אַרויף רייטענדיג און פּאָהר מיט ביידע סוסים אָרן אַזויגעזונט אַוועק. סײַך גאָרנישט, בעדאַרף נאָך, צו אַלדו שוואַרצע יאָהר, איינער פּאָן דער האָפּטע דערזעהען, מאַכט אַגעפילדער און עס ווערט אַקאַכעניש. דער רויטער יונגאַטש, זעה אַיך, יאָגט הענדעס-בענדום און אָט-אַט דערזיאַגט ער סײַך. מייער שמיסט, מרייבט די פּערד זיי לאָזען זייך היינטנס מאַל נישט בעטען און לויפען זיי ווייט נאָך זיי קענען. דער רויטער איז שוין וויטליך אפּיסעל הינטער סײַך. בעדאַרף מיין שקאַפּע זייך פּערפּאַנגטען אין די שליעס פּון אַיער פּערדל, וועלכע אַיך האָבּ אין אַיילעניש נישט אַראָבענעמען. זי פּאַלט און עס ווערט אַיך עיכוב. דרווייל יאָגט אָן דער רויטער יונגאַטש, אָנגעזונדען זיי אַזול און וואַרפט זייך אויף סײַך זיי אַהיה רעה סײַך ראַנגלען זייך מיט אַלע פּוהות, שטום, נישט צו רעדען קיין וואָרפּ פאַר נרויט בעס. סײַך ווילען איינער דעם אַנדערען אפּוואַרפען און פּאַלען ביידע אַרום-נעהמענדיג זייך שטיף, אַזוי אַז די ביינער קנאַקען. בקיצור, מײַך אַרבייטען געשטאַק, אָט בין אַיך פּון אויבען דער רויטער אונטען, קויעשט אַזש דער רוח נעהמט איהם, פּלוצלים בייטען זייך די יוצרות: ער פּאָן אויבען און אַיך אונטען. נישטער גאָרנישט. אַיך דערלאַנג איהם, פאַר-שטענדיג איהר סײַך. אין דער זיפּעטער ריפּ, אין דער ריך, ער שפּרינגט אונטען און בלייבט ליגען שטיל, זיי סײַט. סײַך גאָרנישט. דאָס איז געווען נאָך אַיין אָנשטעל, אַיך לאָז איהם אָב און דאָס סאַפּי האָט ער געטייגט. ער באַברעט זייך דרווייל שטיל און בעקומט אַרויס ביי זייך פּון דער קעשענע אַמעסער. — עדיע, אַזא בחור ביסט דו, סײַך אַיך אַגעשריי! ניב איהם אַזען איבער דער האַנד, אַזוי אַז דאָס מעסער פּאַלט איהם אַרויס און פּאַרפּליהט ווייט. ער נעהמט זייך צונטיפּ מיט אַלע קרעפטען, גוט זייך אַוואָרף אויף סײַך פּלינג זיי אַקאַז, דראַפּעט סײַך דעם האַלן און אָט-אַט שטעקט ער סײַך אַרויף די פינגער אין גאָרנעל, פּלוצליך הערט זייך פּונדערווייטענס אַנלעקל. דאָס מאַכט

מישקע דער קרומען

אויף איהם אַ מורא. ער איז דאָך פאַרש אַגנב. — אַיער סרפּהין סול ברומט ער זיי אַ בער, וואָס דאָס גלעקל. נאָט אַיך-זשע אַ מתנה! ... ער סײַך מיט אַ סראָך אין קאַפּ און ווערט פּערשוואַונדען. אַיך שבעת פּאַלד אויף, האָפּ מײַך ווידער אַרויף רייטענדיג און פּאָהר סײַך מיין ווען. שפּעטער ערשט דערפיהל אַיך דעם וועהמיג, סײַך אַ סאַפּ, בע. אויפּין שטערען איז סײַך אַ בייל! נישטער גאָרנישט. מינס האָבּ אַיך אויסגעפּוהרט. די פּערדלעך, פאַרשטעהט איהר סײַך, זענען ביי סײַך. — בענישט גומל, וואָס האָט זייך אַזוי אויסגעלאָזט! — דו אַיך סײַך אָן און נעהם אַלמער'ן אַרום פאַר פריד. — נישקשה! — מאַכט אַלמער. — לאָז דער רויטער דאָרט אַיך בענשען גומל, וואָס אַמעט-לעת האָבּ אַיך גאָרנישט אין מויל געהאָט און בין געווען שטאַרק סײַך. אַבער אונזערע סוסים זענען דאָ. — וואו זענען זיי. די לייכען אונזערע — פרעג אַיך, אַרומקוקענדיג זייך אין אַלע זייכען. — האָט צייט אפּיסעל, זיי מענדעל'ן. — ענטפּערט אַלמער. — דער פאַרשוין, מיט וועלכען אַיך בין צוריקגעקומען, האָט געפּוהרט די לייכען אַנטרינקען דאָרט אַראָב נירדיגער, וואו ס'איז דאָ אַ טייכל און גומע גראָן, זייט רודיג, נישקשה. ער גוט אויף זיי גוט אַכטונג. אַיך בין אויך נישט לאַנג געקומען, סײַך צובראַכען, לאַ עליכט, סײַך אַיך סײַך אַרויף און אַיך דעק סײַך איבער מיט דעם לאַנטוק סײַך אַוואָרף און ביידל און דעק און מאַך צו איין אויף, קומט איהר חאַפּען אַדרעמיל, נאָך קוים וואָס אַיך מאַך צו איין אויף, קומט איהר אָן, די מענדעל'ן, און געלויבט איז גאָט וואָס מען זעהט זייך געוונט... וואָס געהט איהר עס עפּיס פּערפּונדען, די מענדעל'ן האָן די ציידן — איהר, די אַלמער — זאָג אַיך — איהר זייט געקומען פּערפּונדען דעם קאַפּ, מיט אַבייל, אַיך פּערפּונדען, אָרן אפּאָה, איהר מיט אַפּאָרשוין און אַיך מיט די חיים-תּנה, חיה-מרייניגס מאָן שטעל אַיך איהם צום צווייטען סאַל פאַר שוין מיט דעם גאַנצען טייטעל. אַלמער שטעלט אויס די אויגען, קוקט אויף סײַך מיט אַ פּרעג. — וואָס הייסטו — סאַך אַיך שטאַרק פּערשוואַונדערט — איהר קענט נישט חיה-מרייניגען

מענדעלע מיכר ספרים

— מילא חיה-מריינע איז חיה טריינע— מאכט אלטער פערזונאוי-
 דערס צוויק— אָבער די פּאָתוּ חוֹאָס געהר זיך עס אָן מיט אייער פּאָהוּ
 — אַ קרוֹבֶה, מיין ווייב געהר זיך אָן אַ קרוֹבֶה— רופט זיך חוים.
 חנא אָן המעוואַטע.

און ווי מיר שמועסען זיך דאָ אויף, זיצענדיג אויפֿן גראָז, ווייזט
 זיך פונדערווייטענס אונזערע לייבען, העצקענדיג זיך, קלאַמפּערשט ווי
 זיי לויפען. עפּים האָט זיי אין מינע אויגען דאָס פנים זיך גענערט
 פון נעכטען אָן, זיי פּערדייטען די קעפּ מיט גאווה, גלייך ווי גערעט;
 לאָך דיר, לאָך, פונדעסטוועגען האָט זיך אויף אונז געפונען אַ בעל,
 געהאט שטארק חשק און אונז אוועקגעגנב'ה'ט, נישקט. מיט אַ שמאַטע
 אויפֿן פּוס, מיט אַ רונגענדיג אויף, פונדעסטוועגען אז מען בעדארף געהן
 אויפֿן דראָנזשיק, געהט מען און אין אַקס אז מען בעדארף צע-
 ברעכען, קענען מיר אויף, נישט ערגער פון אנדערע, אז אָך-אויף-וועה
 איז אונז נאָך, וואָס מיר זענען יודישע, איהר, ר' יהודען, זייט זיך
 נאָך מתחייב אייערע פּערר קעסט און געבען גיט איהר זיי מכות...
 אַך דעלאַנג מיין פּערדיל, בשעת צוקומענדיג צו מיר, אַ קליין זע-
 צעלע איבער דער מאָרדע מיט אַ שטייכעלע: דו שקאָן אייער! —

באלד דערויף קומט אויף צו אלטער'ס פּאָרשוי, איהר טרה
 אַ בליק און לאָ אַרויס אויף אַ קול, אַ פּאָטש געבענדיג ביידע הענד:
 — פּישקע! מען זאָל געווען דערבאַנען משיח'ן, וואָלט ער
 געקומען.
 — יענער פּישקע? פון וועלכען איהר האָט מיר דערצעהלט? —
 פרעגט אלטער זעהר פּערזונאָדערט.
 — יאָ, יענער, דער פון דער באָר. — טו, שלום עליכם,
 פּישקע!

— איהר האָב איהר, ר' מענדעלי, אויף'עט דערקענט — זאָגט
 פּישקע אַבשטעקענדיג מיר צוריק אַ שלום-עליכם.
 — אייער פּישקען קומט אַראַנג — מאַכט אלטער צו מיר — ווען
 נישט ער, וואָלטען מיר אונזערע פּערדלעך געזעהן ווי אונזערע
 אויער'דיג

פּישקע דער קרוימער

— ווען נישט ר' אלטער — מאַכט פּישקע איהר צו מיר — וואָלט
 פּישקע אַ מיטה משיחה איינגענומען.
 — איהר האָב שוין געהערט, געהערט! — רוף איהר מיר אָן —
 זאָג בעסער, פּישקע, פון וואַנען האַסט-דו זיך אהער גענומען?

— ס'איז אַ לאַנגע מעשה — ענטפּערט פּישקע, אונעק-קעהרענדיג
 דעם קאָפּ אין דער זייט.
 איהר שמעה אַרנע און בעטראַכט פּישקען, ער איז געבעך נאָקט
 און באַרפּים מיט געשוואַלענע, פּערבלוטונגע פּיס, פּארברענט פון דער
 זון און דאר ווי אַ צוים-שטעקל, נאָך הויט און ביין, דאָס האַרץ האָט
 געריסען קוקענדיג אויף איהרם. ער האָט געמוזט געבעך גענוג צרות
 אויסשטעהן, איהר געהט איהרם ביי דער האַנד און זאָג:

— דיין מעשה, פּישקע, וועלען מיר שפּעטער הערען, עס וועט
 גאָך זיין צייט, אַצונד רוה זיך אַביסעל אויס דאָ מיט אונז.

יב

פאַר אַ יודישען בעל-לשוין וואָלט געווען גענוג מאַטריאַל אויף
 אַנצושרייבען אַ שענעם פּומן פון אונז אלע, דענסמאָל אין יענעם
 שענעם פּריהמאַרגען, ס'איז דאָ צום פּומן פּיער בעוויבמע יודען, ווי
 זיי לינגען זיך צושפּילעט אויפֿן גרינגעם גראָז, האַבען הנאה און שווינגען.
 אויף אַ זון מיט שטראַהלען, הימעל, נאַטור, טויט-טראַגעדיע, שפּילפּויגלעך
 און פּערדלעך, איינס שענער פּונגס אנדערען, דערצו וואָלט ער דאָך
 געמעגט געבען אַנסמליח-הסד עפּים פון ווינס אויף: אַ משענערעדע שאָף,
 וואָס פּיסערען זיך אויפֿן געמיינאָכט, אַ קלאָר רינגענדיג וועסעריל, וואָס
 אינען טהוען צוברעכען זייער דאָרשט'ט, און אונז פּיפּעלעך אין
 מויל, אויף וועלכע מיר שפּילען און שאַלען, ווי די פּאַסטעבער,
 אַ לויבליר דער געליבטער פּלה אין שיר השירים, מאַרבעס איז דאָ
 ציי אונז, ברוך-השם, אייגענע, נישט צו בעדאַרפען ווינס. ביי איהרם

בייב עס. נאך אבער ער פאן, ביז דאנען, וויטער ר' יוד רוקס זיך נישט! צו מיר אין דער נשמה אריינקריכען, אריינלענען דאָס אייערע הכמה'לעך, פוילע פשטלעך — דאָס איז נישט פאר אײך. דערײף איז שוין דאָ פאר אײך אנדערע ערטער... מייע געדאנקען גיב אײך איבער בעטער אלײן.

פשוט איז פשוט, אײך לײַ מיר בקומפאניע צולעט, קוק מיט אַ פאַר אַגענע אויגען און האָב זיך משונה הנאה. האָס נאָרנישט. עפּיס איז מיר גוט אויפֿן האַרצען גלאַט אזוי אַהן ווערטער. דאָס צוטרעטקען מינס דערפֿי איז אײך נישט מיט אַ כּוונה צו נעבען קאַנ-צערט, אָדער צו שאַרפען די כּלי, נאָר גלאַט אזוי זיך אמרום-בריוס, ברום-טריוס... אזוי געוועהטליך טרוימקעט אַ יוד אַהן ווערטער, אַהן אַ שום געדאנק, ווען די דאנות הפרנסה לאָזען איהם אביסעל נאָך. אזוי געוועהטליך טרוימקען קומפאניעס יודען, איטליכער פאר זיך, אײך זיין שטייגער, בשעת זיי שפּאַצירען זיך יום-טוב, אָדער שבת נאָכײַן קונעל אין די האַלאַטלעך, דרעהענדיג דערפֿי אַ מייל — די קומאסען די שפּיצען בערדלעך, און אַ מייל פעלענעט די הענד אַרױמען.

היום-חנא מייער טרוימקעט אײך מיט אַ שיינענדיג פּנים, דערנאָך גיט ער זיך פּלוצלים אַ שטעל אײך, געהט זיך בייס בערדל, בעלעקס זיך און מאַכט צו מיר אזוי:

- נג, ר' מענדעלי! שוין צייט, מיין אײך, צייט פֿאַהרען, האָט איהר ווילט שוין פֿאַהרען אַהיים? — רוח אײך מיר אָן און שמעך אײך אײך, נג פֿאַהרט געזונטערדייט!
- וואָס הייסט! — קוקט הייס-חנא אײך מיר שטאַרק פערוואונג-דערט — און איהר, ר' מענדעלי, איהר וועט דען מיט מיר נישט פֿאַהרען? עפּיס האָט מען דאָך גערעדט, עפּיס.
- ווי קען אײך! — ענטפער אײך, ווייזענדיג אײך די אלע לייט מייע.
- מיר בעטען, מיר בעטען! — מאַכט הייס-חנא. לאָזען זיך אײך פֿאַהרען. מיין חוה-טרוינע מאַכט היינט וואַרענעמעס. עס וועט פאר איטליכען גענוג זיין וואָס צו עמען, וואַרענעקעס.

— אַ שענעם דאנק! — פֿאַרבייג אײך מײך — נישטאָ קיין צייט. מען מוז אין אײנען האָבען עפּיס פרנסה. גרייס אײער ווייב נאָר פֿרייגליך.

— גאָס איז מיט אײך, ר' מענדעלי! מיין ווייב וועט מײך דרינגן. — הייס-חנא האָט געוואָלט זאָגען, דרנגען, נאָר ער האָט זיך פֿערשאַפט און אויסגעלאָזט שטאַרק צובראַנגען: — וועט מײך אין שטוב נישט אריינלאָזען, מיין ווייב, אַהן אײך. מייע האָט מיט מיר היינט גע נאכט איבערגעשמועסט דעם עסק... פֿאַרשטעהט איהר מײך? זי ריכט זיך דאָ אזוי אײך אײך האַסי-גרוגע מייע אײך... פֿאַר-שטעהט איהר?

— אײך פֿאַרשטעהט, פֿאַרשטעהט. עס מוז אָבער געדולד זיך אַביסעל. מיין ווייב וועט מײך אײך דרינגן. אין שטוב נישט אַריינ-לאָזען, מיין אײך, ווען אײך זאָל מיט איהר נישט איבערשמועסען דאָס עסק. פֿאַרשטעהט איהר מײך? וואָס קען מען מאַן, ר' הייס-חנא?

הייס-חנא איז געבליבען שמען זיי אויסגעפאַשט. מען האָט געזעהן, ווי עס טריפט איהם דאָס בלוט. דאָס פּנים האָט איהם זיך פֿאַרערערט.

— טרום מיר די שוב, קומט! — מאַכט ער מיט אנפּעט. ווען נישט, גיט-זשע מיר האַטש אַבריוועלע צו חוה-טרוינען, אַגע-טריפט, מיר אלײן וועט זי נישט גלויבען. מײך בעשולדיגען וועט זי מײך, אז אײך בין אַ שלום-שלום... וועט... וועט... פֿאַרשטעהט איהר מײך? שרייבט איהר אָן עטליכע ווערטער, דער רבי וועט עס איהר איבערלייענען. אײך בעט אײך!

אין ברירה, מען מוז ראַטעווען אַנפּש. ס'איז אפילו אַרױסער-אשר אזא מאַן גוט מקיים-פּסק צו זיין. נאָר לאָז ער האַפען אַפּאַטיש נישט דורך מיר. אײך געהט פּנים רענצעלע מייעס אין ביידיל אַרױס אַ בלי-פּען, רייס-אַב פּון אַסדור דאָס איבערשטע לעדיגע בלעטל, שפּאַר מײך צו צו דער קעלניע און שרייב די דאָזיגע ווערטער:

להגידה המפורסמת שאר-בשר, הגנועה מרת חוה-טרוינע, זאל לעבען און געזונט זיין, אמן.

מענדעלע מוכר ספרים

הנה זייט וויסן, אז געלויבט השם יתברך, איך בין פון דעם ספר זינעם פון אונז אויך אויף ווייטער, מיר זאלען הערען אין גיכען ישיעות ונחמות איינער פונ'ם אנדערען אין גרויס נחת, עושר און פבור מיט א גרוינג געמיסות, אמן סלה. אייערע קינדערלעך זאלען מארדק ימים ושנים זיין, גרויס איך גאר פריינטליך, ובפרט לכתובם הכלה הבתולה מרת האסיע-גרונע, לעב, בעט איה למעשה-השם צו גרויסען גאר פריינטליך

ווייטער בין איך אויך מודיע, אז הסודרה האב איך, געלויבט אויך זיין ליבער נאָמען, געמראָפּען גאַנץ עם הכיורלעך אויף זייער אָרט, והשנית בין איך מודיע, אז הסוסים האָבען זיך אויפגעוויבט. די אלטער יקנה"ז האָט זי פון גנבים הענד מציל געווען. דאָ האָבען זיך געמדהט גאר זכות-אָבות, גרויסע ניסים איז אונז בעשיינפערליך געשעדיקן, מיר זענען גאר אזוי פּיעל נישט זיערמה דעם אויבערשטענס חסדים, בעלכם נ"י וועט איך אויבערזעצען פּלדבר שורש. מען מעג אזוינס אין די קראַניקעס שרייבען.

איך בעט אייך מחילה, חיה-שריינע, זיי איין אייגענע מוטער, וואָס איך נעהם מיר אונטער צו זיין פאר אייך א מליץ-וישר אויף אייער בעלכם, וואָס האָט געבען גרויס שרעק און עגמת-פּש דערפון, וואָס איך פּאָרד היום נישט צו אייך לויט דעם מדובר. האָט אייך איהם רחמים, לאָז ער, געבען, נישט האָבען אָנגעשניטענע יאָרען און בעשפּראַפּט ווערען דערפאר, וואָס איך האַלט נישט וואָרט און קען נישט פּפי מדובר צו אייך היום קומען. אויף אייער בעלכם איז, כּלעבען, אַצער בעל-החיים, ער האָט פאר מיר פּשום געחלשט, מצד איינגעלענט די ועלט, אָנגעלויבט אין טאָג אַרײַן אייך ובפרט בתּם הכלה המושלמת, וועלכער איך גרויס גאר פריינטליך. הכלל ער האָט מצדו געמאָן, וואָס אַמאָן און אַגעטרייער טאמעט בעדאָרף צו טאָן... פּאַרשטעהט איהר מיר? און נאָך אַמאָל טאָק פּאַרשטעהט איהר מיר?— ער האָט מיר אפילו גערייזט דעם יצר-הרע מיט וואַרעניקעס אין מיט נאָך גוטע נאָכען. גאר פּרנסה איז בילכער פון אַלדרינג. מען מוז ציליעב דעם שטוקעל פּרנסה פּאַרבויען אפילו וואַרעניקעס, והשנית, האָב איך דאָך עפּים אַזונג, איהר פּערשטעהט דאָך, פּערשטעהט איהר מיר, וואָס

פּישקע דער קרעטער

איך מיין... אין אַנעלכע זאָבען פּערשטעהט איהר... וואָס איז דעם אַמאָן אָרן אַזונגות אויך האָב צו דעם וואָס לעבט אייביג, אז מיר וועלען בלינד זיך נאָך זעהען און אַם ירצה השם אין פּרידען אָנעמען ציי אייך וואַרעניקעס און אפּשר נאָך לעקען אויך... פּאַרשטעהט איהר מיר, דערווייל זאל בעלכם, געבען, נישט לידען. אַצער בעל-החיים... איך שיק אייך דאָ מיט בעלכם אַמתה: אַ, תּחניתה חדשה על-הפּרנסה, תּחנית צו ליכטבענשען, צו ראש-הדש-בענשען, תּחנית אמהות שרה רבקה רחל ולאָה, גאָר אשפּאַנעל ניע-ההנהגה פאר פּפּיות שלאָנען, גמ שיק אייך דעם, סע"ו סדור, וואָס איטליכע אשה צעדארף דרינגען זיין פּקי און שטארק היטען די אלע דינים דאָרט, זיי זיך נוה צו זיין. איהר וועט דערפון גרויס תּענוג האָבען, אייער בתּם הכלה הבתולה וועט דערפון אויך משונה הנאה האָבען.

חיה-שריינע! איך האָב צו אייך אַ בקשה, אז די וואַגען שלכם דאָבען מיר, נישט היינט געדאָכט, געכמען געפייניגט, האָב איך אַראָב-געזאָפּט פון מיר האַוואַלענע זאָקען של, די ברעסלער, און זיי און אַילעניש ביי אייך אויפן טאפּטשאַן פּאַרנעמען. וועט זיי, זייט מוחל, אזוי, און לאָז בעלכם זיי שראַגען געוונט, אַמתה פון מיר.— זייט מיר געוונט און גרויס נאָך אַמאָל אייערע ליבע קינדערלעך. גמ אייער בתּם הכלה-לעב אויך גאר פריינטליך. פּאַרנעםט למען-השם ולמען-השם נישט מכוּח אייער בעלכם, בעלכם האָט געבען אַשווער, ביטער געמיסות, הבטשט של, וואָס איך האָב פּאַרנעמען בהאַלקיריל שלכם ניב איך במתנה דעם רבין, זי וועט איהם צוניץ קומען... פון מיר וואָס גרויס אייך און אייערע קינדערלעך איטליכען בעוונדער און בתּם הכלה-לעב אויך בעוונדער. הקטן מענדעלי מוכר ספרים.

אז איך האָב איבערנעליענט דעם דאָזיגען בריעף חיה-שריינעס טאָג, איז ער געווען איבערקיליקליך און גאר אָנגעוואַלען פון דעם זיסען לשון, ביי איטליכעס וואָרט האָט ער זיך אַפּאָשט געגעבען אין דעם שטענען פאר גרויס וואונדער, זיי אַמענטש קען אוינים אָנשרייבען אַ סאַבענדיג דערביי, אוי, מחיהדיג לשון... אוי, לשון, זאָקער זיט, זיי אייך בין אַזוי... מיר האָבען זיך זעהר שיקן געווענעס און ער איז מיט אַ גרוינג האַרץ אַוועגעפּאַרדען.

יב

אויף זי איה און אלטער זענען געווען ביינע שערקליך מיר און צובראכען פון געכטונגער נאכט, דערווער אז ביי אונז געבליבען, האפען אדרעסל און אויסווארען זיך אביסעל אקעגען אפאר שעה, דערנאך וועלען מיר זיך לאזען פריש אין וועג העט ביי און דער נאכט אריין. פישקע האט אויף זיך גענומען, אכטונג צוגעבען דערווייל אויף די פערד און אגנדישען עפיש צו מיטאג, איה, אויף זאגט ער, האב די נאכט, נאך דער מעשה מוש מיר, געשטאק געשלאפען זי נאך א באך. ר' אלטער, ביי זיין צוריקקעהרען זיך, איז שווערליך אגעקומען איידער ער האט מיר דערוועקט. — אלטער לעגט, אויף מיין בקשה, דעם קאפ זינעט אידער צו מיר אויפן שויס, איה געט א מעסער און קוועטש מיט דעם קלינגעל איהם אב דעם ביל אויפן שמערען, דערנאך גע- ניצען מיר, קנאקען אויס די ביינער געהען און לעגען זיך אין שאכען אונטער א בוים.

ווען גישט די זון זאל געווען פון דער פוסטרעפאס ארויסשויקען אורע ברענענדיגע שטאהלען, וואס האבען אונז געבראכטען, וואלטען מיר געקענט אויף ביי נאך האלבען טאג אבשלאפען, אופענענדיג די אויגען, דערוועהן מיר גישט וויט פון אונז ברענט אפרעהליך פיי- ערל, ביי וועלכען עס קאכט זיך א טעפל קארטאפלעס, צוגעדעמפט מיט זיבעלע און מיט א יודישער דארע קישקע, מיר געהמען צו ביסלעך בראנצען און זעצען זיך בארל עסען מיט אפעטוט, מיר לויבען אב פישקעס קאכען אין טאג אריין, עס האט דעם יודישען מעס, דער מלכות מעג זינע קארטאפלעס עסען, און ער קוועלט נאך אן, צוויי- שווענדיג אונז: עכט געזונט, זאל אייך וואויל בעקומען!

— פון וואגען, פישקע—מהווען מיר איהם אפרע—האטט-יד עס אויסגעקראצעט א יודישע דארע קישקע? פון אונזערע קארטאפלעס און ציבעלע האט דאך געקענט זיין נאך פיש-קארטאפלעל.

— פון וואגעט, פרענט איהר, א יודישע דארע קישקע? — ענטפערט פישקע — פונעם טארבען! ס'איז מיר נראד געראטען ביי

סארבעלע צו בעהאלטען פון דעם סמור פערדאפט זאל ער ווערען!

— דערצעהל, פישקע — בעמען מיר איהם — וואס איז אהיבט מיט דיר געשהענען?

— עס! — מאכט פישקע מיט א זופן — ס'איז פיעל צו דער- צעהלען, זעהר א לאנגע מעשה.

— דער טאג איז גרויס, צייט איז ביי אונז, ברוך-השם, דא צו גערען דיין מעשה. — קומט שפאנען! — זאל איה צו אלטערן — מיר וועלען זיך פאררען און פישקע וועט אונז אויפן וועג דערצעהלען

אז די בידלעך זענען שוין געשטאנען געשפאנט, פארבעט איה דעם עלם צו מיר אויפן וואגען. אלטער אכער פארבעט אונז צו זיך, ביי מיר, זאגט ער, איז געדומער, גישט אויף אגעפאקט מיט מחרה, איה סאך אפשהר: לאז זיין אביסעל ביי איהם אויפן וואגען און אביסעל ביי מיר

ביי אלטער יקנה'ז אויפן וואגען.

— גי, הידא, פישקע! ארויס מיט דער שפראכע — בעמען מיר ישה, נאכדעם ווי מיר האבען זיך אויסגעזעצט איהר אנזערע ערשטע און געפועל'ט ביי אונזערע פערדלעך, זיי זאלען זיך ריהרען פונעם אדעם, פישקע אכער קווינקעלעם זיך, האלט אראפגעלאזען די אויגען און ברעכט די פינגער.

— וויס איה... איה שטעט מיר עפיש, כילעבען, גלאט געהט און דערצעהל! אז איה קען גישט, עפיש פריקדע, כילעבען.

איה גיב פישקען אונטער השק, אלטער פון זיין וויט שמועסט איהם איין אויף

— ס'איז נאך הארב, נארעלע, דער אגהויב, אבי נאך דאך ערשטע ווארט, געהט עס שוין דערנאך ווי א סומור, איה וויס עס טאק פון מיר אליין, מילא בקיצור, וואס טאכט עס אויס? וועסט

מענדעלע סוכר ספרים

ג, נארעלע, דערנאך זעהן, ס'איז נארנישט... מילא האמט'ג, פישקע, חתונה געהאט, פארשטימספירד מ'ה, מיט דער בלינדער זעס'ה, נוו נארנישט, הייסע מיר עם שוין, בקיצור, וואס-וועט איז הייסער ?

— ווייטער ? אין איהר טאמען און אין זיין טאמענס טאמען ארום אריינעפלינגען! — שימס פישקע אויס מיט אימפעס אין און בעם — זיי האבען עם מיר אפגעטאגן-עט אויף מערקיש.

— נג, נג, נג — מריבען מיר אן פישקען, וואס האט נאך דעם אימפעס זיך באלד אפגעשמעלט, פישקע עפענס ווידער א מיל און הויבט אן שוין ניט מיט אזא זאך ווי פריהער ?

— אוי, אשענע ווייבער!... נאך דער חתונה האבען מיר נאך נישקשה'דיג געלעבט, ווי א יודיש פאר-פאלק בעדארף צו לעבען. אויך האב, דאכט זיך, אקעגען מיין ווייב גענוג יוצא געווען, הערט איהר, יודען, זאל מיר אבדארען דאס מיל, אויב איך זאל איהר אלעגען אלע סאך אין דער פריה פלעג איהר זי, ווי עם געהער צו זיין ארויספירען אויך איהר אָרט נעכטן דעם אלמען ביהעלם, וואָס דאָרט איז דער שטייער איהרער געווען צו יוצען אויף אביסעל שטרוי און בעמען נכוח מיט אגיגון פון די קינות, יעלכער עם האָט אויסליכען געויהרט ביי דעם הארצען, עטליכע סאָל אין סאָג פלעג איהר צומראָגען איהר, דאָס אַרטיקלע, עטליכע סאָל אין סאָג אַרטיקע באַפּקעלע, אַרטיקע אונזערקע, אַרטיקע, נט, קוויק ויהו וי יוצט דאָך די נאָנצע צייט אַפּעט אויף אַיין אָרט און אוי שטארק פערטראָגען אין דער פרנסה, פיעל סאָל פלעג איהר מ'ה גלאַט אזוי קומען געוואָהר ווערען, וואָס מאַכט זי, אויך אונטער-העלפען איהר אביסעל אין דעם פרוין; אַרטיקעבען איינעם, דעם אנדערען רעשט פון אַרטיקע, פון אַרטיקע; דערסאָגען זי אין אלטע חובות פון בעל-הביתים, וואָס האָבען איהר פאַר-געהערט נישט געטליכקט באַלד במחובות, נאָך אַבגעלעגט אויף שפּעטער; אַרטיקע אַבפּרייבען אַקוה, אַ צייג, וואָס זיי האָט זיך געגלומט, אויף ויער שפּאַציר אין די טאַסען, אַרטיקעבען איהר פון אונטער דעם געזעם אַפּול מיל מיט שפּריל, אין חדש אלול האָב איהר זי געפּוהרט אויפ'ן גרויסען וויד, אַרויס פון דער שטאָרט, דאָרט אויף דעם ביהעלם, זי האָט עם

פישקע דער קריסטער

געמאכט נישט ערגער פון דעם איבעריגען פּעקל פּלי-קורש דאָרט; שמישים, שמישעס, חונים, זאָנעריגס, מקבלים, הוהילים-זאָנערס, גבאי'ס מעס, קוויטלעך-לענעריגס, פעלד-מעסערירגס, ווייניעריגס און קלאָנגע-ריגס, אָט אזוי האָט זיך עם געמאַקען, יודישע קונדער! ס'איז גע-ווען, נישקשה, פון וואַנעט צו לעבען, נאָך אז ס'איז גוט, וויל מען נאָך בעסערס, אז מען האָט ברויט, וויל מען קוילעמש.

— ווייסט'דו וואָס? — הויבט מיין ווייב אָנעט מיר צוזאָגען — אזעלכע מענשען ווי איהר און דו, אזא פאַר-פאלק ווי מיר ביידע וועלען אויף דער וועלט פערפאַלען אָסור נישט ווערען, אין אונזער ברויט זענען אונזערע חסרונות גאלע מעלות, ביי אנדערע אין די הענד אזעלכע זאלען איינשטעהן, וואָלטען זיי אַגליק געמאַכט. מיר ביידע זענען גרויסע שלוםמולניקעס און מוהען נישט דאָס, וואָס מען בע-דארף, אָט פּאַל, בילעבען, אויב, אביסעל עלטער, גענימער פון דיר, געהט, פישקע, פיהר מ'ה ארויס-עט אויף דער לעכטיגער וועלט, צווי-שען לייט, אין יענע מקומות אַרײַן, וועסט'דו זעהען, געדענק מינע ווערטער, אז מיר וועלען געהן אין גאלד. דאָ אויף דעם פּלאַץ איז שוין כמעט נאָר נישטאָ וואָס צושאַנעט. מען יוצט אַמאָל אָפּעט אַלאַנגע צייט ביז איינער דערפאַרעמט זיך און ניט אַרראַשען, לייט דע-זענען-הלען עם אביסעל פון דעם גרויסען גליק וואָס לעקיש, דער האַלבע-החן, האָט אין דער וועלט מיט פיערלען זיין ווייב געמאַכט, זיי האָבען באַלד נאָך דער חתונה זיך אוועקגעלאָסן און דאָס מול, אָרן עין-הרע, געהט ווי אַמאָל ס'קבל האָט מיט זיי אין קישינעו זיך בענענעט, אַרומגעזעהנדיג אין די הייזער, ויערע סאַרבעס, דער-צעהל, ער, זענען פול אָנגעשטאַמט מיט אלעם גוטען — מיט שטיקער קוילעמש, גרעסערע ווי מען ניט דאָ דעם שבת-גוי, מיט סאַמאליגע, מיט גערייכערט שאַפּענפלייט, מיט דארע קישקעס און קאַרע, פערלע שיינט ווי די לעכטיגע וון, ס'איז איהר אין פנים נישט אַרטיקע-קוקען, זיי איז פּעט, דיק און ברייט מיט פּיסקעס נאָך אַנאַפּינע, גלופּס וויל זי מערד נישט קענען, מען זאל איהר עם אפילו שענקען. — מענשען וואָס קומען פון אַדעס, קענען זיך נאָר נישט אַבוואונדערען פון דעם גליק, וואָס יאָנגלעך, דעם אנדערען האַלבע-החן, האט געטראַפּען, זיי האָבען איהם געזעהן זיך רוקענדיג דאָרט אויפ'ן געזעם צווישען די קלייטען און גאָס שיקט איהם צו, ער מאַכט עם גאנץ גוט, דער עולם קען אויף איהם זיך נאָר ניט זאָס אָנקוקען, אַרעם, זאָגען זיי, האָב

פענדעלע טיפ פורים

מידעלעך און בחורים, וואס געהען מיט מאַרבעס אין די הייזער שלע ראש-חדש, אויך אין מיטען דער וואך, און געהענען גראַשענס און שמוקלעך ברויט. אַ גרויסער טייל יונגעלעך און מידעלעך פון די דאָזיגע, לויפען אַ מאָל נאָך איטליכען אויף דער גאס און רייסען ביי די פּאַלעס, ביז מען מוז זיך פון זיי אויסקויפען מיט עפּיס אַנדערה. — קבצנים כּלי-קדש, דאָס זענען מקבלים, כּטלנים, אין איטליכען קלויזל, וואָס וועפּן משניות און זאָגען קדיש ביי אַ פּרטימון און אויפן הייליגען אָרט צו אַ יאָהרצייט. מען מעג צו זיי רעכנען אויך שופּר-בלאָזער, מוזהר, איבערקוקער מיט דעם נאנצען קאפיטעל אועלכע לייט. — תּורה-און מצוה-קבצנים, ווי, אַ שטיינער, פּרוזש, וואָס ווארפען אוועק וויי-בער און קינדער, בעגראַבען זיך אין קלויזל ערגיץ אין דער פרעמד און לערנען, ביצה, אויף דעם עולם רעכנונג. ישיבה-בחורים, וואָס געהען ארום שלינג-אויג-שלאנג-קראצען זיך אונטן אייווען און עסען מען, יודען מיט פּאַשטיליכענס אין די הענד, אָדער מיני גבאים, שטיינע-געזאָגט, וואָס זאמלען גבולות קלאַפּערשט אויף עפּיס אַ מצוה-זאך. — בעה-א-ט-ע-נע קבצנים, פון פעל-דבּחנים, וואָס געהען קצבה און גבולות שטילערהייט. — האַלבע קבצנים, ווי, אַ שטיינער, הלמוד-תּורה-מלכודים אין פּועל שטעט, וואָס זענען האַלבע-מלכודים, האַלבע-שטער, און דעמליכען אויך שטחים, דינים, רבנים, איטליכע פון זיי אין האַלב דאָס, וואָס ער איז, און האַלב דאָס, וואָס אלע אנדערע יודען מיט מאַרבעס זענען. — יו-פּער-ב-ר-י-נע קבצנים, אועלכע וואָס קבצען געוועהנמליך פורים, בשעת יודען כּלל מאכען זיך האַרץ און לאַזען זיך פאר גרויס הדוה צוהן קומפּאניעסוויי אין די הייזער, אָדער אַ מאָל אויך אונטער אַ יום-טוב, און הייסען הייסעס עם קלאַפּערשט, זיי קבצען; פאר אנדערע, נעכטן. — גמילות חסד-קבצנים. אועלכע וואָס געהמען זייער גאנץ לעבען גבולות אונטער אַ איסריידי; אַ גמילות-חסד קלאַפּערשט, היינט, מאַרנען נעפען זיי עם מיט אַ דאנק צוויק אָב.

— דערבאָנט מיר, ר אַלמער — רוף אויך טיף אָן, נאָכדעם אז אויך האָב פּישקעס ווערטעיי גענומען אויף מייע פּלים און געמאכט דעם דאָזיגען שטיקעל סדר צווישען אונזערע קבצנים — דערבאָנט מיר, אויך בעט אויך, אפּשר איז דאָ נאָך קבצנים, וועלכע איהן האָב, הלילה, פּאַרנעמען אַרײַנצושטעלען אין צעטעל

פּישקע דער קרומער

— מילא וואָס מאַכט עם אויס? — טרום אַלמער אַ זאָג און פּערקריסט זיך אויף מיר עפּיס אזוי, ווי איינער מיט אַ פּאַרד פּער-קייסט זיך אויף אַ יונגעל, ווען ער מאַכט זיך עפּיס גאָרש — אַ וואַ ער האָט, הלילה, פּאַרנעמען! ... אזאָ וויכטיגע זאך דאָס צעטעל און אז מען שטערט נישט אין צעטעל, קען מען, הלילה, קיין קבצן נישט זיין! ...

— זאָגט עם נישט, ר אַלמער? — שמעל אויך טיף שטאַק אַקענען — אונזערע קבצנים זענען ביי זיך שטאַק פּערייטען. שרעקליך להוט נאָך אַ פּיצעל פּבּוד. לאַז איינעם זיך נאָר דאַכטען עפּיס אַ מינסט בעלידינגונג, איז ער גרייס צו דערגעהן אויך דאָס לעבען, בערוש אָל טען ווערען פון אַ קבצן אַ שמעלקע... שאַ זעהט איהר, אָם האָב אויך מיר טאַקע דערמאָנט אַהן עין-הרע, נאָך אַ סך קבצנים: אייניקלעך, ירושלים, ארץ-ישראל-יודען, נשרפים, שלאפע, מערידיניגע מיט כתבים פון דאָקטוירים, ענוות, אלערליי מיני אלמנות, מחברים, ניי-מאָדנע מחברטעס מיט דעם פּאַנס חבורים. נישקשה, דער רוח האָט אונז, ר אַלמער, אויך נישט גענומען. מען מעג נאָגן שטאַק רעכנען מיכוי ספרים, און אזאָ שוין יאָ אזוי, רופּס-זשע טאַקן אויף אויך אונזערע דרוקער און אלע מיני רעדאַקטערס, זיי מיט אלע זייערע ארבייטער, זעיער, בעלי-מנהיגים, שרייבער, קאָרעספּאָנדענטען. יעמוד עם פּל הקבצנים... אַצונד, ר אַלמער, בעדאַרף מען די דאָזיגע אלע לייט אויסאַרטערן, איטליכען אויף זיין אָרט אין צעטעל. דאַכט זיך, קיינעם נישט פּאַרנעמען, האַז

— אי, פע, ר מענדעלי? — מאַכט אַלמער אויפגעבראַכט און הויבט זיך אָן צו קראַצען — גענוג, כּלעבען, מיט אייערע קבצנים, עם ביסט מיר אזש דאָס לייב, ווי פּליי וואָלטען טיף אַבגעשיט. פון מיי נעט-וועגען וואָלט איהר עם געקענט מאַכען בקיצור: פּל-ישראל — איין קבצן, און גאַרנישט. איין עק, אַ סוף זאָל עם האַבען, לאָזט פּישקען דע-זע-הילען ווייטער און שלאָגט איהם נישט איבער. אונטערזאָגען אַ וואָרט, ווען עם שטעלט זיך פּישקען אין גאַרעל און ער בלייבט ווי דערוואַרען, אָדער אויספּעסען איהם אַ מאָל דאָס לשון, דאָס —

טוב-היחתי.
נאָה נאר ביים אנהויב איז פּישקע געווען דער חוק, וואָס האָט

3 באַנד — 7 גויגן

יך

עך, מיט מאן וואָס אַבען קענעט צי פֿישע, ני קענטי אַר משאנע זאן ווי מיט סאנע קיאנקע פֿיאיעך פֿיענען מי ועך שיעפען זייע פֿאטעיעך, קיזיין ווי די יאקעס—אַס אזוי הויפט פֿישקע, אָן חייטער צו דערצעהלען מיט ווין לשון, וואָס אויסגעקעמערט מיט מיין הילף, סאָפֿט עס: איך מיט מיין ווייב האָבען געהערט צו די פֿישעך דאָס הייסט פֿוס. אָרעמעלייט. נג קענט איהר איך משער ווין, ווי מיט מייע קראַגע פֿיסלעך פֿלענען מיר זיך שלעפען זעהר פֿאמעליך, קריכען ווי די ראַקעס, און אזוי געהט פֿישקעס דערצעהלונג, אויסגעקעמערט חייטער:

מיין ווייב האָט אָנגעהויבען מיר פֿיסלעכוויי צו וירלען, צו שלסען, צו זאנען שטעכעווערמלעך, צו רופֿען מיר מיט צוגעמעניש און מיר אויפצוואַרפֿען מייע קראַנקע פֿוס. וי איז אַקענען מיר אַרויס מיט מענות, אז וי האָט אין מיר נאָר אינגאנצען זיך אָבגעוואַרט, פֿון אויבען ביי אַראָב; אז וי האָט מיר געמאכט פֿאַר אַ מענשען, וי האָט מיר אין דער העלם צווישען לייט אַרויסגעפֿיהרט, וי האָט מיר פֿער- זאָרט מיט פרנסה, געשמעלט אויף אַשטוינער, און איך בין איהר נישט געטריי, סוה איהר אַלץ אויף צופֿיקעניש, נאָר דאָס אַבער איז

געווען זעכטען. איר פֿלעג מיר נישט וויסענדיג סאכען, אלצודיג אַראָבשלינגען, גע- אכט ביי מיר: אזוי איז געווענהמליך דער שטיינער פֿון אַ ווייב, אזוי בעדאָרף צו זיין. אויסליבען סאָן איז דאָס ווייב סבב מיט אַ וואָרט און אַ סאָל סאָקן מיט אַקלאַפֿ אויף. קיים איז איהר דער כעס אָבגעצונגען, איז ווייטער געוואָרען אַ לעבען, פֿישקע ווייטער שטאַרק השׂטוב, וי פֿלעגט אַרויפֿלענען איהר השׂטוב מיר אויפֿן אַסעל, זאָנען: „הייבא, פֿליקעך! מייער געהט פֿאַראַויס, וי הינטער מיר, און ביידען איז עפֿים גוט אויפֿן הוואָצען, אַס אזוי אַבען מי זעה געניקט און געקראַכען.“

ביי פֿאַלעט האָבען מיר זיך געשלעפט עפֿים נאָר אַ לאַנגע צייט און פֿערשפעניגס דעם גרויסען יודי דאָרט, וואָס קלינגט אין דער גאנצער העלם. מיין ווייב איז געווען אויסער זיך, שרעקליך זיך געערגערט, גלייך ווי זי וואָלט פֿערלירען הרפֿים אלפֿים סאָלעך. איר טרייבט זי און דרינג איהר אַלץ: „מילא וואָס איז דאָ אזוינס, אָבער פֿאַלטער הייער זענען דאָך, ברוך-השׂטוב, פֿאַר אונז געבליבען! קאָרן פֿאַר אונז אזוי פֿיעל הייער, אזא שטאָדען גישט צו פֿאַרזינדיגען.“ און זי אַלץ אין איין קול: פֿאַרברענט ווער אינאיינעם מיט דינע הייערן וואָס טויט מיר, דו ימח-שמוניק איינער, דיין שטאָדען, אזא בלאַטיגע שטאָדען! אַס אזא שטאָדען נאָרעכט-דו עס מיר, האָל איך וויל נישט! דו העכטס איך וויל נישט אזא שטאָדען. איינגעזונגען זעהר דאָ אין דער בלאַמע און וואָרט זיך דיר מיט דיין שטאָדען—מיט דיין בלאַטיגער פֿאַלבען!

— רי אַלטער, סאזי דאָ—לאָ איך פֿוילצונג ארויס הויר אויף אַ קיף-איר האָט מיר דערטאָגס נאָך אַ סאָרט קענינסו קבצנים.

בא נקירען.
— א גרויסע מציאה, ל'צעבען—מאכט אַלסער, קנאקענדיק מיט דער צונג, מצע מצע-צען—פֿון מינגט ווענען סענען זי אפֿיל נישט געדאכט ווערן.

— איינעס פֿון די דאָויע לייט, שמח'ל'ע דער צעפֿדיקער, קען איך אין גלופֿס זעהר גוט. ביי אים אין אַ בעוונדער פֿוך שטעהן פֿערשריבען אַלץ הייער אָבגעטאקסירט, וויפֿיעל הכנסה בעדאָרף איהם דורכאַ יאָהר אַטפֿיכט הויר אינברענגען, די הייער, זאָנט ער זענען

מענדלע סכר ספר

מינע, צאהלען מיר ציגש, נאגן גלופסק איז מין קאנפאר, ויין שמייער
 איז, אימליכען סאגן צו גען, אין אנעוויסען טייל הייזער, ער קומט
 אריין אין א שטוב לעבעדיג, מיט ברייטקייט, גוט מען איהם באלד די
 גרבה, איז נוסף ווען נישט, זאגט ער: א גומען סאגן נישקשה, אין
 העל פערשרייבען אויף איהן א חוב—און לויפט לעבעדיג, געשווינד
 ארויס. אפשר האט איהר געהערט, די אלטער, דערצעהלענדיג, ווי אין
 גלופסקער קבצן האט זיך משה געווען מיט נאך א קבצן פון מעפערוויק?
 און האט געגעבען אין גון אריין די הייזער אין גלופסק?—דאס איז
 שמחה'לע דער לעבעדיגער; אָרער אפשר האט איהר געהערט אויף,
 ווי אויף א מאַלצייט פאר אַרמעלייט ביי אַגבר אויף אַהנהא איז
 געקומען אַ קבצן אַ געבעמענער, נאָכשלעפענדיג מיט זיך נאָך איינעם
 אַ אומגעבעמענעם, און אויף דעם פרעג: די קרוב, וואָס שלעפט איהר
 מיט אַיך אַ אַויביגען פאַרשוין—ענפערט ער: דער דאָווער פאַר-
 שוין איז מין אירעם, ועלכען אַיך האָב צוגעזאָגט קעסט—דאָס איז
 וויסער סאָקי שמחה'לע דער לעבעדיגער, בקיצור, שמחה'לע קוקט אויף
 גלופסק ווי אויף זיין שטאָרט און אויף זיינע הייזער.

— פון מינעווינענען מען אייער שמחה'לע דער לעבעדיגער די
 פּפּרה ווערען—זאָגט אלטער אָב זיינס נאָגן בסיגור אזו בעס פּישקען
 מיטער צו דערצעהלען.

פּישקע הייבט אָן אויף זיין שמייער, אַיך העלף איהם אונטער
 אויף מין שמייער, און די מעשה דערצעהלען זיך וויסער אזוי:

דער העג אונזערער איז נישט געווען קיין גליכער, פון אַיך
 שטאָרט צו דער אנדערער, אַלץ ווייטער, וויסער, נאָר וואָס-דען
 מי פּיענען קינדער, אַהין און אַהער, זיך דרעהן אין אַלע
 וויסען, ווי ס'איז אונז אויסגעקומען, איינמאָל זענען מיר סגולגל גע-
 וואָרען עפּים אין אַ שטאָרט, וואָס להוויא דער רוח זאָל מיר געווען
 האַפען פּרידער אירער אַיך ביי אַהין געקומען, צו דער שטאָרט אַליין
 האָב אַיך נישט אַפּילו, פאַרקעטעט, זי האָט אַקעגען מיר גענוג ויזא
 געווען, מיר געלאָזט אַרומנעקן מיט אַלע כּבּוד'ן אין די הייזער, נאָר
 דאָרט האָב אַיך מיר געגעבען מיט מין מלאַ-החיות, געקוילעט זאָל
 ער ווערען אַהין אַ מעסער, אַ קלינג איהם איז די בייניען—אם
 זיי אַזוי ס'איז געשען:

פּישקע דער קרומער

און יענער שטאָרט, וואוּוין מיר זענען געקומען, איז געשאַפּען
 קאַניזע—פּעלד-אַרמעלייט מיט פּוידען, ס'איז געווען אַ מרדח,
 בעל-החברה'לעך פון היינטיגער וועלט האָבען דאָרט אויפגעטאָן נישט,
 אַ אַרמעלייט, הייז אלטע, קראַנקע און בויבערע קאָליקעס, גוט צו
 געבען נאָרנישט, געוונטע בחורים, וויבער און מידלעך זענען נישט
 קראַנק צו דינען, צו אַרבייטען און מיט אייגענער מוח צו פּערדינען
 זייער שטויקעל פּרויז, דאָס יודישע נאָרשע רחמנות פּרויז נאָר אָן
 גרויסע צרות, דורך דעם, האָבען זיי געזאָגט, האַלטען זיך ביי יודען
 פּוילע נפּשות אַיך אַ צאָהל, ווי וואַנצען, וואָס זיינען יענעם פּרויז און
 עמען אַפּעט אנדערע דעם קאַפּ, זיי האָבען ביי זיך אייגענפּהרע עפּים
 ווי אַמין פּאָרויקע, וואוּ מען האָט סכּבד געווען זיינע אַרמעלייט,
 וואָס זענען געקומען צו-גאָסט, מיט עפּים אַמלאַכה: צו דרעהן
 שטויק, צו געהען זעק, און געגעבען זיי דערפאַר עמען, אַרבע לייט
 האָבען אָנגעהויבען ועלשענער זיך אַהין צו ווייזען, די קאַניזע, ועלכע
 מיר האָבען דאָרט געמאַרפּען, איז געווען שטאַרק אויפגעבראַכט אַקענען
 דעם דאָווען איינפּהר, פּלאַס-פּיער, געוואַלד, — האָבען זיי אַלע
 געשריגען—ס'איז שוין נאָר קיין וועלט נישט, וואוּ איז דאָס יודישע
 רחמנות אַוויס יודישקייט, כּלעבען!... איינער, אַרבייטע אַגעוויכער—
 אַ קיינא איהם אין די בייניען—האָט געפּיהרט דאָס רעזיל און
 געשריגען מעהר פון אַלע: ס'איז סרום, נאָר סרום! פאַר וואָס קומט
 עס, די גרויס זאָלען זיך זיצען ווי די פּרויזים ווהיג און אַנדערע
 זאָלען אויף זיי האָרעווען זייער גוטס און דען נישט יענעם ביה, יענעם
 יענעם פּראַצע, יענעם שווייס אַליין זענען זיי ביי זיך אַבגעפּיינטע
 סענעלעך, הימען אַפּעט זייער נפּשיל און ווילען אַלץ, יענער זאָל
 אַרבייטען, אַגנר, וואָס מעהר דיק, געוונט ער איז, וואָס מעהר זיין
 בייביל איז גרעסער, איז ער אַלץ מעהר פאַרינעהט, מעהר פינע בריה,
 אונזער איינער, אַקענען, מוז מיט זיין געוונט זיך, נעבעך, בעהאַלטען,
 זיך שעהען ווי אַ גנב, אימליכער שרייעט אויף די ציהן, פאַר וואָס
 געט אַז געוונטער נישט אַרבייטען! עס ווילט שוין רעכט געווען,
 כּלעבען, אַבער צו-בייטען די יוצרות: לאַזען די גרויס פּרויזען אַבסעל
 אַרבייטען, וואָס איז, קראַנק זענען זיי?—גערעכט, פּייבנישקע, גערעכט,
 מיר זענען אויך יודישע קינדער, אַזעלכע שטיליגע ווי זיי!—האָבען
 אַלע אין אַיין קול אונטער-געפּאָסעוועט דעם רויטען פּאָר זיין בּיסלעכווייז
 זיך צוגעגעבן פּרויזס הקדש.

מענדעלע סוכר ספרים

אויפגעצייט בעדארף איך נראָר געהן אין אַ גאָס פאַרביי דעם שוואַרצן. אין דרויסען איז סונקעל און מענשען אַ סך אַהן עין-הרע דרעהן זיך דאָס אַרומ. מיט אַ מאָל קומט מיר פון דער זייט גאָס אָן צו די אויערען עפּים אַ וויינענדיג קול מיט אַ געבעט, וואָס קען ריהען אפילו אַ שטיין. אַכשטעלענדיג זיך, דערזעה איך נישט ווייט פון מיר, זיי צופאַכענער יוד האַלט איך ביידע אויסגעשטרעקט אַרם אַ קישעלע, פון וועלכע עס הערט זיך אַ פּישישען פון אַ ברעקל קוגל, וואָס פאַרנעמט זיך, געבעט, שרייענדיג, דער אומגליקלעכער טאטע דרעהט זיך אין אַלע זייטען, שאַקעלט עס, וויינט עס, געהבט עס אַזוי אויף אַ וויינענדיג קול מיט ביטערע קרעכענען: „אוי, ווייט איז מיר, פינסטער איז מיר, מיין ווייב שטארבט און לאָזט מיר אויף די הענט, איבער אַ פּייעל קינד...! אוי, ווייט איז דיר, קליינע, בירנע יחזקיהלע, פינסטער איז דיר אָהן אַ מאַמע! אַ-אַ-אַ שאַ-שאַ! וואָס זאָל איך דיר געבעט, מאָן...! אימליכער, וואָס געהט פאַרביי, נישט איהם עפּים אין דער האַנד, אַ מייל ווייבער הענדען זיך צו איהם אויך מיט אַ וואָרט, און ער אַלץ אין אַין אַמהעם: „ווייט איז מיר, פינסטער איז דיר...! שאַקלענדיג און וואַרפענדיג זיך מיט דעם קישעלע אין אַלע זייטען. דאָס האַרץ האָט מיר געריסען פאַר רחמנות אויף דעם ווייטען טאטען און אויף דער ווייטער יחזקיהלע, געבעט, נאָך אין די וויקעלעך. איך געהט אַרויס פון דער קייטענע אַרײַער און קום דערמיט צו נאָהענט צו דעם ווייטען טאטען, קיים שטרעק איך אים צו איהם די האַנד אַבער דעם קישעלע, דערלאַנגט ער מיר אַ שטאַרקען קניש, מאַכענדיג דערביי אויף זיין וויינענדיג קול: „אוי, ווייט איז דיר...! מיט אַ קוועטש אויף דעם וואָרט „דיר“, גלייך ווי מיר, מינט ער, איך האַפּ מיר, ביי דער האַנד פאַר וועהיג, שפּרינג אָפּ-עם דערשראָקען אין דער זייט און בלייב שטעטן עטלעכע רגע פּערגאָפּט, דער ווייטער טאטע דרעהט זיך אַרויס פאַר צו מיר, איך קוק איהם גוט אָן און אין פּערצאָפּעל געוואָרען...! פאַר הינט וועט גענוג זיין, קום! נאָ, האַלט אַביסעל דאָס קינד...! — נאָנט ער און שטופּט מיר אַרײַן אין דער האַנד דאָס קישעלע. דאָס קליינע יחזקיהלע, זעה איך, איז עפּים אַ ליאַלעק אַיינגעוויקעלט אין שטאַמעס, און דער ווייטער טאטע איז דער ווייטער סמור, פּיבושקע, אַ קיינאָק איהם אין די ביינען... ער האָט עס געמאַכט זיי אַ בריהו געוויינט, געקרעכט פאַר זיך און געפּישישעט. זיך פּערגאַנגען אויך פאַר דעם קינד...! אַט אזוי מוז מען, רופּט ער

פּיטע דער קויפער

זיך אָן, מיט די נאַרישע יודישע קינדער האַנדלען, ווילען זיי נישט געבען מיט גומען—מוז מען ביי זיי געהמען מיט קונצען, אָהן דעם געהט עס נישט. דער רב, דער דיין, דער שענער מקבל מיט דעם גאַנצען פעקל פּלי-קידש—אַלע פאַרשטעלען זיך, טאכען קונצען, יענע מיט זיערער העיות און אויך— ווייט איז מיר— מיט מיין קליין יחזקיהלע, מעלקס זיך, בהמות...! זאָ, פּישיקע, אָמן

אין יענער צייט, וואָס מיר האָבען זיך אויפגעהאַלטען אין הקדש, האָט דער ווייטער סמור אָנגעהויבען זיך צו צושארען צו מיין ווייב מיט גומען ריידעלעך, זי איז איהם עפּים שטאַרק געפּלען, ער פּלעגט זיך האַפען צומראַנגען איהר, אז זי האָט עפּים בעדאַרפּט, און ליב געהאַט זי צו בעדינען, ביסליכוייט האָט ער אַלץ צו איהר זיך אַרײַנגעגאַרט, צו ער איז געוואָרען מיט איהר אַ שמועלעך, ער פּלעגט אָבזיען מיט איהר שעהנדיג און פּליידערן, אַרײַוואַרפען אין דעם שמועס נראָבע, נישט קיין שענע ווערעלעך, מייע פּלעגט פאַרשטעקען די אויערען און נישט וועלען, דאכט זיך, הערען, און אז ער פּלעגט זי אַ מאָל אין פּאָר אַרײַן לויבען; זי איז אַ יאָדעדיגע, אַפּעטע, אַ לויטערע, אַ פּליישיגע יודענע, אַזעלכע ווי ער האָט ליעב, פּלעגט זי איהם אָבזעלען, אַפּאַמט טאן אויפּן דוקען און דערביי טאַקי לאַבען, איך פּלעג אויך לאַבען, אַ מאָל טאַקי מיט ווערס, נאָר פאַרל טאַקי מיר בעטראַכט צוריק: וואָס אַרם מיר אַ פּליידערע זאַרען— איבערמאַנגען ווערט מען נאָר זייער פּבור, מיר צוגעהען זיך, איטליכער אין אַ אנדער זייט, און אייביג וועט מען זיין פּרצוף-נישט אַנקוקען, און ווייטער, אין די הייזער געהט דאָך מיין ווייב, געלויבט דער אויבערשטער, מיט מיר, איהם, דעם סמור, ווען ער געהט זי אָנגעט ביי דער האַנד אין וויל זי פּיהרען, שטופּט זי אָפּ-עם מיט אַ בייזער: „געהט איהר, געהט, פען איך בין אַין אַשה-איש, האָב, ברוך השם, מיט וועמען איז די ווייזער אַרומצוגעהערן“

אויף מאַרען, נאָך דעם באַגעגעניש מייעם מיט דעם ווייטען סמור, זי ער האָט זיך פאַרשטעלט פאַר אַ ווייטען טאטען, בין איך מיר געגאַנגען אין די הייזער אליין, מיין ווייב האָט אויפגעהענדיג און דער פּרה זיך געקלאַנגט עפּים אז זי נישט מיט אַלעמען, עפּים צוהט זי זיך אַלץ און געניצט, עס מוז זיין אַ גוט אויג—און איז דערביי געפּלויבען אין דער היים, איך אליין בין אייך געווען עפּים לאַ עליכט-

פריינדליכע ספר פריים

דער, עס האָט מיר עפּים געשלאָגען ארויף. היינט איז מיר סאָך געווען אומעפּטיג איינעם אליין צו גערן אָהן מיין ווייב. ס'איז מיר זי עפּים אָנגעגאנגען. איך לייקען נישט, אז זינט דער ספור האָט זיך צוגעשארט צו מיין ווייב און מיט איהר געטרעבען קאמפּאָזיטאָרען, איז זי סדר געוואָרען טייערער. עס האָט מיר אַמאָל אפילו פּערדראַכטן, געברענגט ווי אַפּיער, נאָר דערביי טאָן—איך וויל נישט פאר האָס— האָט מיר צו איהר עפּים געצויגען, געצויגען ווי אַכישוף. עפּים איז געווען, ווי וואָל איך אייך זאָגען, אַגעשאַקט שטארק ווי פון אַבלאַטער בשעת קראַצענדיג איהם אַמאָל אויף מיין ליב, ס'איז אַשטארן מיט אַהנאה-האַרען ביידע זאכען אינאיינעם... ס'איז געווען אַגעשלאַכט'טע, אין די הייזער ארומגעהן, נאָר נישט דער טעם, וואָס איין אנדערס כאָל, איך האָב עס אָנגעשאַכט בקיצור, שבת-שמיטה, סיר-ביר ופּלואַ לעשות—און מיר אָנגעכאַרטויגט נייטיגענס. אַרײַנקומענדיג אין הקדש האָב איך געבראַפּען מיין ווייב, זייענדיג מיט דעם ספור און זיך גענום געטראַכטעט, דאָס פּנים האָט איהר געפלאַכט, זי האָט געזאָלטען דעם קאַפּ אַנגעבויגען צום ספור, זיך צוהערענדיג צו זייענדיג רייד, און זיז עס שטייכעל איז איהר פון די ליפּען נישט אַראָב, ביי מיין צוקומען צו איהר מיט אַפּרעג: וואָס זי מאַכט? האָט זי זיך געטאָן אַהאַפּ. געבליבען אַקענען אַרבע אָהן לשון און נישט געוואוסט וואָס צו טאָן. דערנאָך טאַפּט זי מיר אַנעם, ווי איהר שטיינער איז געווען, און מאַכט צו מיר אַוויז, וויסטהויז, פּישקע וואָס איך בין קראַנק? דאָס איז נישט קיין גוט אַוויז, דאָס איז מיר געקומען פּנים צופּונגעהן. די רופּאטע, וואָס געהט אַרײַן, האָט מיר געהייסען גערן אין באָך. בחילה, איינשטימען זיך, לאַזען זיך שטעלען פּאַנקעס, גוט אויסרייבען זיך אויף דער נאָכט און שוויצען, נײַן, פּישקע צופּונם ווייטער קען איך נישט גערן, ר' פּייבושקע איז אַוויז גוט, אַוויז, פּיין און וויל אַזוי געהמען מיט זיך אין בירד, וואָס ס'וואָס מען, פּישקע וואָס זאָכט'טע דער האָט געוואוסט איהם און די פּיינע אַרײַן האָט אויף מיר געקוקט עפּים מיט אַזאָ איינגליע, מיט אַזאָ שמויעלע, וואָס האָט מיר געשאַכטען, עס האָט מיר פּאַרקלעהט ביים האַרצען, ס'איז מיר געווען צו סוטה ווי אַ יונגעל, וועלכען דער רבי הייסט זיך לענען אויפ'ן פּיינעל, איהם אָנצושטיימען, איך האָב געמאַכט אַ היבשע ווילע מיט דער צונג, עפּים אָהן ווערפּער און נישט געוואוסט, וואָס צו זאָגען.

דער האָט געזאָגט, אַ קינדק איהם און די פּיינע אַרײַן האָט אויף מיר געקוקט עפּים מיט אַזאָ איינגליע, מיט אַזאָ שמויעלע, וואָס האָט מיר געשאַכטען, עס האָט מיר פּאַרקלעהט ביים האַרצען, ס'איז מיר געווען צו סוטה ווי אַ יונגעל, וועלכען דער רבי הייסט זיך לענען אויפ'ן פּיינעל, איהם אָנצושטיימען, איך האָב געמאַכט אַ היבשע ווילע מיט דער צונג, עפּים אָהן ווערפּער און נישט געוואוסט, וואָס צו זאָגען.

פּישקע דער קרייטער

— וואָס שווייגסט דו? וואָס ענטפּערסטו? נישט— ציטירי'ס זיך אויף מיר מיין ווייב מיט כעס— איך וויל, עס אַרם דו? נאָר נישט ביין געזונד, ווילסט מיר ניער פּסור הערען, מיר טרייבען וונגערדייט אין דער ערד אַרײַן, וואָרט נאָר, וואָרט, רג, עכבראַש איינער? ניער וועסט דו אַנלעגען מיט דעם קאַפּ, אַ מיתה משונה איינגעברענגט; הערסטו, פּישקע, פּאַראַפּאַטישקע, די ערד וועסטו פון מיר קיינז? נישט איין האָר אין קאַפּ וועסט דו איבערבלייבען, די ציידן וועל איך דיר אויסוועצען!

אז מיין ווייב האָט געזעענט אַ מויל, פלעגט מיר אין בוך קאַלם ווערען, איך בין געשטאנען צוקאַכט, רערשלאָגען און דערדוגעט, ווי מיר איז דענסטאַל געווען אויפ'ן האַרצען— ווייסט נאָר איין גאָט וואויל, וואָס האָב איך געקענט טאָן? איך האָב אַנגעבויגען דעם קאַפּ און געמאַכט צו מיין ווייב: 'שא, טריי נישט, ערנער דו? נישט אַוויז, שא, דו וועסט פּאַהרען? פּאַר וואָס נישטו?'

— אָט אַוויז רעדן— זאָגט מיין ווייב שוין ווייכער— פאַר וואָס זעט אַז מען רעדט צו דיר, שטערהענדו ווי אַלימענער גלם און ענטפּערסט נישט קיין וואָרט? יענער איז אַוויז גוט, אַוויז פּיין, וויל אַזוי מיטגעהען אומזעס— און ער זאָל דאָס האַמט זאָגען אַרײַנקו לעהמען מענטשן זיך אין דוין וויימען האַלל, דו גראַבער יונג איינער, וואָס האָב איך געקענט מאַכען? איך האָב געמוזט טאָן דאָס אויך, זאָגען דעם ספור אַראָב.

— ר' אַלמער, נאָך איינער... ס'וואָס איך אַ זאָך הויך אויף אַ קול. — וואָס איז, ר' מענדעל, נאָך אַ מציאה?— טאַכט אַלמער צו מיר מיט אַ געשעפט— נאָך אַפּרישען סאָרם קבצנים האָט איהר גע- פונען? גאָט מעג אַיך, כּלעבען, שוין בעשעהרען בעמערע מציאות, גענוג שוין קבצנים!

— נײַן, ר' אַלמער! איך מיין נאָך נאָך איין הויט-האַה-טייערע, וואָס צייערע אַוויז פאַר'ן ווייב, אַנוער פּישקע, דאַכט זיך מיר, פלעגט פּאַר ווינער האַפּען אַמאָל אויך הייסע פעטיש.

ב'ן

פּישקע הויבס ווידער אָן אויף זיין שטייגער, אַז אַרבייט, העלף זיך אונטער אויף מיין שטייגער, אלטער טרייבט אונטער אויף זיין שטייגער און די מעשה דערצעהלט זיך ווימער אויף:

אויף דעם אנדערען מאָג נאָך דעם פּריוואַטן שמועס, האָט זיך די קאַניצע געוואָרן און אַרויסגעצויגען פון סדום, ווי יענע שטאָדט האָט ביי דער דאָזיגער האַלואַסטרע געהייסן: זי איז אַרויס מיט אַ רעש, אַ געפּוילדער, מיט אַ שוילכען, פּלוצען פון אַ סך מיילער און אַ סקריפּערי פון רעדער. עס האָט זיך געשאַמען אויף דער שטאָדט שוויצע קללות: פאַרברענגט זאָל זי ווערען! די בעל-הכּתּוּם זאָלן צעקן כאָל אין טאָג פּנ'ן פאַר הונגער אין ווי גשרפּים אין דער העלט זיך אַרומשליפען... — דריי בוידען זענען געווען פּול אַנגעזעצט מיט אלער-לאַנד פאַרשוויינען: ווידען, ווידענעס, וויבלעך, מיידלעך, בחורים, גרויס און קליין, און צווישען זיי אויך מיין ווייב מיט מיר. מיר זענען, למזל, דערהייבט געוואָרען: אַרומגעצויגען אין דינסט אין דער קאַניצע אַרײַן.

הערט נאָר אַ נייע וועלט, און אין אַנהויב איז מיר מיט דער האַלואַסטרע גאַנץ פּרעהליך געווען. איך פּלעג מיר אַזווען און אַנדערען וואונדער-שענע זאַכען, וואָס נאָר אוממעגליך אלצודג מיט איינליכעם פּינעלע צוזוידער איבערצוגעבען. איך פּלעג הערען, אַ שטייגער, ווי מען פּלעגט אָברייכען, אָפּגעצויגען פון דער גאַנצער וועלט און איינליכען זיך נאָך קרויסען; ווי איינליכער פון די פּינע מענשלעך פּלעגט דערצעהלען עפּים אויף גנבה-לשון זינע אלע גענג און שפּיצלעך, וואָס ער האָט אָפּגעטאָן. זינער דערצעהלט, ווי אויף ער האָט זאָבאַרעט זאל אַבערס אַ כּפּר'ה גיצקע (געגנבהט אַ הונד); דער דרויסער — ווי אויף ער האָט זיך אַרומגעצויגען און דער פּערטער — ווי אויף ער האָט גע'בעל-ד'ברט אַ יאָלד (געהרגעט, געשלאָגען איינעם אַ בעל-הכּתּוּם מינר'. גנדיים פּלעגט מען שילטען אויף וואָס די וועלט

שטעהט, גנאט אויף זיך. פאַר נאָרנישט, איך קען אייך שווערען אין פּליות און אין קיטעל, אַז זיי האָבען די גנדים אַ סך מערה פּינעס. אי די גנדים יי. אַ גנדר האָט ביי זיי געהייסן עפּים אויף פּיעל, מיין פּיאָווקע, צו שטאַמעט קישקע, פּערשטאַמער קאַפּ אין פּערשטאַקט הערצילע, פּערשייט בן-יהודיל, קופּערנער שטערען, און דער שוואַרץ-יאָרד ווייסט זייער טאַמען, וואָס נאָך פאַר אַ מינוט צונעמעניש: ס'איז ביי זיי פאַררעכענט געווען פאַר אַ מצוה אַ גנדר אָפּצונאָן עפּים אַ שפּיצעל, זיי באַלד נאָר מעגליך, זיי פּלענען אָבשיקען צו די גנדים צוזוכוועהט, שטעבעניש, יסורים, לייך און כל אַמיני קרענק, בשעת אַ מאָל עפּים אַ צרה. ס'יך פּלענען זיי, אין שפּאַס אַ מאָל, רופּען גניד, דערפאַר וואָס איך פּלעג זענען אָפּס מ'יך פאַר די גנדים פּרויסשטעלען און שטאַרק אַנגעהמען זיך פאַר זייער כּוּבד. ווייל אויף האַלמענדיג זיך פּריוואַט אין באָד, בין איך דאָך צווישען גנדים דער-צוויגען געוואָרען, מיט זיי עפּים דאָך איבערגעהאט עסקים, ווי אַשכּנזי-נער: די הימען זיי דאָס אָנמאַן, צוטראַגען זיי דאָס פּעקיל זאַכען אַ שעפעלע וואַסער, אַ קויל פּייער און דאָסגלייכען נאָך אונזלעכע געשעמען. — איך פּלעג הערען אַ שמועס פון בחורים מיט מיידלעך, ווי זיי טרייבען קאַטאַוועס און רעדען זיך שידוכים. איין בויד האָט זיך משה געווען מיט דער אנדערער. די קונץ פון פאַרשטעלען זיך איז ביי דער האַלואַסטרע געווען שטאַרק געווייבען, עס האָט געטויגט צום עסק. ווען אַ מאָל איז אויסגעקומען האָבען די שענע לייט זיך פאַרשטעלט: איינער פאַר אַ היקערניג, דער אנדערער פאַר אַ היקערניג, דער פאַר אַ בלינדען, יענער פאַר אַ געלעהמטען, די פאַר אַ שטומע, און יענע פאַר אַ קרומע. נאָר אמתיע, נישט געמלאכאכטע קאלעקט, ווי אַ שטייגער, איך און מיין ווייב, דאָס האָט ביי זיי געהאט נאָר אַ גרוי-סען ווערטה, זיי האָבען אָפּט געזאָגט, אַז אונזלעכע פּעהלער ווי אונזערע זעהר פּיעל איינמאָגען, מיין ווייבס פּעהלער איז זיי נאָך בעסער געפּלען. היינט פּלענען זיי גלאט כּפּל ווערען פאַר איהר פּיסק, וואָס אויף שרויפּען. די האָר האָבען זיך געשטעלט, אַז זיי דאָס גע-עפענט אַ מויל.

דער רויטער כּוּבד האָט זיך שטאַרק געדריקט ארום מיין ווייב און זיך פּשוט געהאנגען אויף איהר, ער האָט זיך געקאָשקעט, געקיי-כּעלט און צוגעטראָגען איהר פון פּינעלעליה; געקאָכט אַרבעט, באַב,

פלומען — וואס נאר ער האט ערניג דערטאפא. איך האב מיר אבער בעטראכט: האפ דיר דער וואצעל-מאכער! וואס קען עס מיר ארען? קיבעל זי, קאָשקע זי, וואס קענסטו דערמיט מייען, וואס? ... נאָר. נישט, אז זי איז אַאָשט-אַיש! מילא איז דאָך אַין ספנות... מינסט-דו דאָך, נאנץ זיכער, נאָר איהר פעהלער, פשוט אַ בלינדע איז גוט, מען קען מיט איהר טאכען געלד, מאָ האָב-נישט, בל-בזניק איינער, די נאל, מיין ווייב געהט לעף-עפּה אין די הייזער אלץ טאק מיט מיר, האָט. זשע האַסט-דו דאָ, טופּש איינער, געפועלש מיט דעם צולאַנטשען זי צו זיך, מיט דעם אוינזוכען זיך צו איהר, אז דער רעכטער עיקר זאך — אין די הייזער געהן, געהט זי טאק מיט מיר, מיט מיר? ...

זון דעריבער, הייל איך האָב אזוי מיר געטראַבט, האָב איך שטארק בעגעהרט לעדהרען הלכות אַרעמאן מיט אלע פּישטשעוועקע, בכדי מיינ פּלונזיטע דערמיט געפעלען, און געמאכט דעם עסק שוין נאָר קיין מעשה נישט. איך האָב מיר שוין אויסגעלעהרענט ווי אַרײַ-צוקומען אין אַשטוב. די קונץ בעשטעהט דערין: אַרײַנקומען זאָל מען מיט אַרונגה, אַנגעברוגזט און מאַנען די גרבה ווי אַחוב, מען זאָל קריכען, אַרײַפּריכען אויבענאָן און פּערקריכען אויף אַין דער פּפּאַליע, אויפצוווכען דעם פעל-הפּוּת אַרעד די בעל-הכּוּתשע דאָרט. אין דינע גען זיך בין איך געווען אַ מיטשטער, אַיין בריה אין דער וועלט. דער גאַנצער שכל שטעקט דעריינען: קײַמאַל פּעדאַרף נישט געפעלען, וויפּיל מען גוט, גיט מען אַ שטיקעל ברויט, זאָל מען בעטען עפּיס געקעכטס, אביסעל באַרשטש; גיט מען געלד, זאָל מען בעטען אַ העכער, אלטע החתונים און זאָקען וברזוסה, שטענדיג בעדאַרף מען זיך נאָר קריימען און פּלאַצען, קײַמאַל נישט דאַנקען, נאָר וואַרטשען און אַ מאָל אויך טאק שילטען,

וואָס-נישט טרום דער הויטער כּמוּר אַ קײַק איהם אין די ביניע אַינן! דער הויטער כּמוּר טרום אויף הכּבּרות, ווי מינער כּמוּר צו ווערען. ער קלערט בײַ זיך גאַנץ זיכער אזוי: אין הלכות אַרעמאָן, פּישקע, מענסט-דו בײַ מיר די רובּעס היינען, איך קען מאכען די שפּיל אכטציג טויזענד מאָל בעסער פּון דיר, און אז איך האָב מיר אַרײַי גענומען אין זיינען די פּרנסה מיט דיין בלינדער, וועט סתּמא שוין זיין רעכט, נישט-קישוה, איך וועל דיר, מיט גאָטס הילף, שוין פּאַרזאָר-גען. — ער האָט צו מיר זיך גענומען און געמאכט אויס מיר אַקאַטערי.

איך בין סײַאום אַראָפּגעאַלען בײַ מיין ווייב און געהאַט בײַ איהר אַפּנים ווי חזוק, קיין אנדער וואָרט האָב איך פּון איהר נישט געהערט נאָר ווי: געשוואַלען ווער, לעג אַניעט מיט דעם קאַפּ, ווערס זאָלען דיר עכטען, דו פּרעסער, זינגאַש איינער, דו אוינער, אוינער און אוינער! דער כּמוּר, קיין הוהת הכּתום זאָל ער נישט אויפּשטעהן, האָט אלץ אויף מיר געראָבען און מיר געטאָן צום פּויט, בײַ איך בײַן פּי אטליכען געוואָרען צו שאַנד און געשפּעט, אלע בודיען האָבען לופּט מיט מיר געהאַט צו טאָן, וואָס אַ מינוט — איז איבער מיר געפּאַלען אַ הכּמאַה, וואָס אַרנע — האָב איך געהייסען מיט אַ אנדער צונעמעניש, אַטליכער האָט מיט מיר געטאָן, וואָס זײַן האַרץ גלומט. איך בין געווען דאָס כּפּרה-הוהתנעל, האָב איך אַ מאָל מיר געכּויערט פּאַר צוהת, פּלעגט עס אַטליכען אונזער-טראַגעדיען, ועדט נאָר, האָט מען גע-טאכט, ווי דער גייד האָט זיך צווי אַ מערדער, ער וועט שוין פּאַרל פּלאַנצענען, האָב איך מיר בעוואַשען מיט טרעהרען פּאַר וועהטו פּון די קלעפּ, זיעלכע אין מיר איז אַרײַן, פּלעגט מען זאָנען: וואָס איז מיט דיר דאָ אזוי די שמוחה, פּישקע? וואָס האַסט-דו זיך עפּיס אזוי צולאַבט מיט ציידן? ועדט נאָר, עולם, ווי פּישקע לאכט! — דערלאַנגט איהם, געבעה, אַ מעל-מעשע צווישען די ליטקעס, אַרײַי איבער די לאַפּעטקעס, דאָס איז אַ רפּואה צום לאַבען, אויב, חלילה, עס וועט נישט העלפען, בעדאַרף מען איהם גלעטען די האַר, אַנגעהענען בײַם אויער און אַינרוימען איהם אַסור, דערפּון וועט זיך איהם שוין שטעלען טרעהרען אין די אוינען, ווי פּון אַ פּוּת כּרוי, מען מוז דאָך אַירען ראַטעווען, — אַ מאָל פּלעגט מען מיר אַרויס-וואַרפען פּון דער בוד און אז איך בין מיט די קראַנקע פּיס געלאָפען נאָך דעם וואַנען, ווי נאָר איך האָב געקענט, און געמאכט מיט די זיינען, האָט מען צוגעפּלעטקעט, צוגעפּאַשט מיט די הענט און גע-שרינען מיט אַגעלעכטער: בראַווי, פּישקע! אַט אזוי, פּישקע, טאַנץ אביסעל, טאַנץ קוקט נאָר, עולם, ווי פּישקע היבט פּיסלעך, ווי שען, אַרן עין-הרע ער טאַנגט! ער מען אויף אלע חתונות טאַנצען, קיין בײַן אויב זאָל איהם נישט שאַרמען, — אַיינמאַל האָט זיך אַנגעוועפּען אַינער — און אלץ טאק דער כּמוּר, אַ קײַק איהם אין די ביניע אַינן — עולם! פּישקע איז נאָר אַטליכער, ער פּאַרשטעלט זיך נאָר, דער גנב, פּאַר אַקרומען, ער מאכט אויס אונז אלע חזוק, מען בע-

מענדעלע סוכר ספרים

דארף איהם פרויווען אויסגלייכען, נישט איהם דארט אטעל פעסטשע און דער דיק, וועט איהר זעהען, ווי ער ציהט אויס גלייך א פאלקס-ע. — הכלל יודען, מען האט מיר געפויגט, מען האט מיר שטארקע יסורים אנגעטאן, אוי, פלעג איך מיר דערמאנען אין די גוטע גילקיכע יארען, וואס איך בין מיר געוועזען ווי א שררה אין באד און גע- לעבט ווי גאט אין פראנקרייך! וואס איז מיר דען דארט אנגעעאנעט?

— מילא געהט מען און מען גט אָב — פאלט אלטער אריין פישקען אין די רעד — דערויף איז דאָך דאָ בי יודען אַ גוט.

— יא, גערעכט — מאכט פישקע מיט אויפן — הוואי וואָלט איך עס טאקי פריהער געטאן, וואָלט אז וואויל און גוט געווען מיר און אפשר נאך עמיצען... נאך איך ווייס נישט, וואָס מיר איז אויפֿגעשעהען, נאך אַפּיטוף האָט מען מיר אָנגעטאן. ס'איז אַוועקגעגאנגען אַ בושע צו זאָגען, דאָס האָרץ האָט מיר צו מינער עפּים געצויגען... ווי שטאַרק איך האָב געליטען און געהאַט געטראַגענע לייך, פּונדעכט וועגען האָט מיר דער רוח נאָך איהר גענומען. איך ווייס נישט, צו איז דאָס געווען פון מיר נאך איין עקטנות — אז דיר, מסור, גלוסט ויך, ווילכט צווישען מיר מיין ווייב אָנמאכען אַפּיו לעבען און מיר פּסרין, וויל איך דיר אויף צו להכניס מיר דווקא אין איהר האַלמען און נאָך מערה ווי פריהער, מיט בידע הענד זיך האַלמען. אָדער דאָס איז געווען, ווי זאָל איך עס זאָגען, גלאַט אזוי פון זיך אליין... עפּים מאַקי נאָך אַפּיטוף, איהר געשטאַלט האָט מיר עפּים גענומען. אַנע וונטע, אויבקע, אַיאָדעריגע, אַפּנים אָנגעגאַנגען, נישט אזוי שטען ווי געוועזיג. פּיעל מאַל פּלעגט זיך מאַכען, אז פאר גרויסע צרות און האַרצוואַקונג האָב איך מיר געוואָלט אַ מעשה אָנמאַן, געוואונשען מיר דעם מיט מיין איהר אונזיגעס. היינט, היינט, פלעג איך בי מיר טראַכטען, מוז עס האָבען איין עק, היינט זאָל איך איהר: גוט נאָך קוים בין איך צו איהר צוגעקומען נאָהענט און זי האָט מיט מיר גע- מאכט אַרעד, אָדער אַרויפגעלעגט די האַנד מיר אויפֿן אַקסעל און געזאָגט: פּירר מיר, פּישקע! האָט מיר אָנגענומען דאָס לשון און בין עפּים ווי איבערגעכעטען געוואָרען.

אין אַנשטער שעה אַיינמאַל, געהערניג מיט מיין ווייב איז די הייזער, עפּים מיט אַ גרינג געמיכה, טרו איהר איך זאָג: כּתיב, גיטה מיניגע, וואָס וועט דער הכלית זיין פּונים שמענדיגען אַרויס-

פּישקע דער קריטיק

שלעפען זיך עס פּאַסט, כּלעבען, נאָר נישט פּאַר אינגו, אין גלופּסק האָבען מיר בידע, ברך השם, אַ שטיקעל נאָטען געהאַט, די מיר האָט אַרויסגענומען דרייַט פון דער פּאַר. אַקאַטאָייט עפּים גלופּסקער געמישטע פּאַר, וואו עס וואַרפען זיך איבער וואָך אַוועלכע בערען, גרויסע לייט דיך האָט אויך אויסליכער געקענט, אין אייף דיר כּבוד געלעגט, היינט זענען מיר געגינד עפּים מיט שלעפּעס אין דער פּרעמד און וואָס פּאַר אַפּנים האָבען מיר, מייטייג-געזאָגט — ווילכט אפּער צוריק קיין גלופּסק! ענטפּערט אַפּיעט מיין ווייב ווי אויפגעפּראַכט. — מענטש זיך דיר, פּישקע, אַהין צוריקגעהערען, אויב דיר גלוסט זיך אזוי, איך בשום אופן נישט, אין גלופּסק זענען דאָ היינט גענוג אַרמעליאט אַהן מיר, וואָס אַטאָ וואַקסען דאָרט אויס פּרייט-אַפּאַדעריגע קצנים, שפּאַנגעל-נייע מקבלים. בעליהבתים געהען היינט דאָרט איינער צום אַנדערען אין די הייזער אַרום. — פון מיינעס אַנען מען זיין אַנטדער שטאַרט אויכעס — ענכפּער איך צוריק — גשטעהניאָ, קלייב דיר אויס עפּים אַ שטאַרט, וועלכע דיר געפּעלט, און לאַמיר זיך דאָרט בעזעצען. אז מען ווייסט, דאָס איז אונזער שטאַרט, דאָס זענען אונזערע הייזער, אונזערע בעליהבתים, איז עפּים מול און ברבוי, ווי זאָגט מען עפּים: איטליכער הונד איך זיין מיט.

— כּאלר, פּישקע, כּאלר — מאַכט מיין ווייב, קלאַפּענדיג מיר כּום איהר האַנד איבערן הוקען נאָך פּריינדליך — לאַמיר נאָך אַביסעל פּוּהרען, לעבען, רייבען זיך אין דער וועלט, ס'איז עפּים גוט, פּרעגליך, כּוהה... האָב צייט אַביסעל, פּישקע, מיט די שטיקעל, כּאלר!

איהר, כּאלר! האָט געדויערט אַלאַנגע צייט און ס'איז נישט געווען קיין עק, קיין סוף, אין דער צייט בין איך איבערגעווען אין גענוג שטערט, האָב מיר אָנגעליטען גענוג צרות און פּיין, אינגאנ- צען האָב איך עס געהאַט צו פּעדאָנקען איהם, דעם מסור, אַקייג איהם אין די ביניע אַזאָן...

פּישקע כּוהה אַוּפּן טיעף פּוּגים האַרמען און כּרייבט זעצן אַטיל מיט צוגעמאַכטע אויגען, מיר לאַזען איהם אַביסעל צו זיך צוקומען, דערינאָך הייבט ער ווייכער אָן און די מעשה דערצעהלעט זיך אזוי.

בענדערע זוכר ספרים

זין

זו דעם אונזערעוויש, גינדי האב איה אין דער לעצטער צייט
 בעקומען נאך א נייעם טיטעל, מקבל. דעם דאזיגען טיטעל האט
 מיר געגעבען דער סמוי, פערזאפט זאל ער ווערען. און אזוי האט
 אירליבער פון דער האליאפערע מיר געזען: פישקע מקבל. —
 ס'זאל אזוי ביי זי אזא ביאם זיגן, וואס ביים אריינסברענגען עס
 פונגט מויל שפיט מען זיבען מאל אויס. די שנאה, וואס הערשט
 געווענליך צווישן בעלי-מלאכות, כוחרים, קרעמער און דעסלייבען,
 וואס האבען אין ברויט, איז אהנט אקעגן דעם, ווי זי, פויר-ארבע-
 ליט, האבען פונט די שטעטישע קבוצים און פפרט נאך דאס גאנצע
 קאפיטעל מקבלים, אס די ווערענדיגע מקבלים, פוילע מיוחסים, פער-
 עטיג-צוועטע שטעט יודען, פלעגן זי אלץ זאגען מיט גאל, זענען
 זיי די וועגען פול אין אלע הייזער און נישט אויסצוהאלטען פון זיי,
 ביזן צו טיגלען זיי די קישקעס אויף אלע שטחים: חנויות, ברויזן און
 קווארטעלע-ליענענס, רייסען פון פויטע און פון לעבעדיגע, און ברויט
 געבעה, רייסען קריעה, הארעווען, פראצעווען אויפן שטיקעל ברויט
 און ווערען פערשווארצט. די דאזיגע אלע צוקראכענע נפשות, פלאס-
 בערייניגס, האבען זיך גענומען דור-הבלים תהלים און מאכען מיט
 איהם די שפיעל, דור-הבלך זאל געווען פריהער וויסען, צו וועסען
 אין די הענד זיך תהלים וועט אריינפאלען, וועלכע פרנסות די פוילע,
 פערשימעלטע לאסגומעלעך מיט אויסגעוויקטע פנימלעך וועלען דער-
 מיט סאבען, וואלט ער עס, גאנץ זיבער, נישט געמאכט.

— נין, בחי-ח-האט דער סמור געמאכט צו מיין ווייב-
 פון אייער פישקע וועט קיין צייט שוין נישט זיין. נין, נישט קיין
 צייט, איינער פון אונזער הברות ער איז א מקבל מיט די בייניג.
 א מקבל מיט אלע ה-גריבעלעך, דאס פאררען אייער מיט איהם,
 דאס רייסען זיך אין דער וועלט, וועט איהם כלל נישט העלפען. אין
 הכנות אירעכטן ווייסט ער נישט כאי דקא אמרי דביצין, נישט קיין
 סענע, ווי עס געהער צו זיין, איהר וועט, געבער, האבען פון איהם
 א פערפולטע גאל, אי, אזא בחיה, איך זאל האבען אזא בחיה
 א גליק, ווי איך בין א יוד, א גליק וואלט איך מיט אייך געמאכט

פישקע זיך קרישער

נאך די אלע טיטעל, וועלכע דער סמור האט געברויכט, אנה-
 צומאכען צווישן מיר פון מיין ווייב א ביזן לעבען און מיר דערווייטערן
 פון איהר דורך רבילות, וואס נישט געשטויגען, נישט געפליגען, און
 איהם לסוף געראמען צו פאלען נאך אויף עפויס נייעס, ער האט מיר
 פערסערט פאר מיין ווייב, אנגערעדט אויף מיר שטילדערהייט, אז איך
 שדכן מיר עפויס צו א מידול פון א בויוד און סאך מיט איהר עפויס
 צופוילע הין. צווישען דער האלאסמירע האט זיך געפונען א הארבראטע
 מידול, מיט וועלכער איך האב, אמת מאקן, ליעב געהאט צו שמועסען
 זעהר אפם און.

— הא, וואס איז דאס פאר א מידול עפויס? — פאל איך אין
 אלטער פישקען איז די רעד אריין—די פישקע, זי זיך מודה!

— דאס מידול איז געווען א ווילד פירעמדע און בויוד, און זי
 האט, געבען, גענוג זיך אנגעליטען, גענוג אנגעקומען אין איהרע זיגע
 יאהרען. איך בין זיך מודה, אז איך האב ליעב געהאט מאקי מיט איהר
 אינאיינעם צו זייען און צו שמועסען. מיר פלעגען אויסמען איינער
 דעם אנדערען אונזער ביטער הארץ. זי פלעגט אויף מיר רחמנות
 האבען און נישט איינמאל וויינען אויף מייע און אויף איהרע צרות.
 אי, איהר זאלט וויסען, וואס דאס איז פאר א מידול! אי, איהר
 זאלט וויסען איהרע צרות, געבען... — האט פישקע אויסגעלאזט מיט
 פערדערען אויף די אויגען.

דאס האבען געבעטען פישקען אונז קלאר צו מאכען, ווער איז
 מיין מידול איז וואס מיט איהר האט זיך א זעלכע געמאכען.

— אז איהר בעט מיר אזוי—דאס פישקע אונגעווייבען, נאכדעם
 אז ער האט מיט איין עק ארבעט אויסגעווישט די אויגען—אז איך
 איז נאך נישט נמאס געווארען הערענדיג מיר, וועל איך איהר צוליעב טאן
 און דער צעהלען, ווי ווייסט נאך איך קען. הערט, זייט מוחל
 און האט קיין פאראפעל נישט, אויב ביי מיר וועט עס אויסקומען
 געשט גלאט
 דאס מיינט אז איך געווען נאך א קינד, אז די סאמע איהרע האט
 זי געבראכט קיין גרוסק אינאיינעם מיט א קלימעקל זאכען און אל-
 מע געבעטעס, דאס קלימעקל האט זי אפגעוואפען דאזיט עדיגן
 3 בענד — 8 בייגן

דאס פערזאָרענע קינד ויצט, נעבען, אויף דער גאס שטיל און האָט מורא אַ ריהר צו טאָן זיך אפילו, אזוי ווי פּויהער אויפן אויווען. אַקאַלט אַסענדריג רענענדיל שפּריינקעלט און נעצט איהר דורך די ביינער. זי איז געזעסען איינגעזענעט כמעט אין איין העכט, געציערעט פאַר קעלט און אַצאָהן אין אַצאָהן האָט איהר געקלאַפּט. אז איינער פון די פּאַרפּריגענהענדיגע האָט זי אַפּרעגט געטאָן: ווער ביסטו, מיידלעך? איז דער ענטפּער איהרער געווען: איך בין דער מאַטעס... די מאַמע מיר געהויסען דאָ וויצען שטייל... מען טאָר נישט שרייען. אַ קאַטשערע, אַלאָפעטע קומען און שלאָגען... אזוי איז זי, שליםמולדיגע, נעבעך, געזעסען העט שפּעט אין דער נאַכט, ביז עפּיס אַ ווידענע האָט זי פּער-גארט מיט גוטע רעד און אוועקגעפּיהרט צו זיך אַהיים, ערניג אויף די פּיסקעס אין אַקליין שטיבעלע אויף היהנערשע פּיסלעך.

ביי איהר קיין האָניג נישט געלעקט, די ווידענע האָט זיך איהר אויס-גענעבען פאַר אַ מוהמע און איהר געהויסען, זי אזוי רופּען, די דאָזיגע מוהמע איז געווען אַסערעכע, וואָס איז געשטאַנען אין מאַרק מיט קאַרטאַלעס, הייסע באַבקעס, פּלוגדרי-באַרלעך און אַרץ-ישראל עפעלעך. נאָגין פּריה איז דער שטייגער איהרער געווען אוועקגעזעהן אין מאַרק אַרײַן. דאָס האַרפּאַטע מיידלע איז אַיבערגעפּליבען מיט אַ מעכ-סעריל אין שטוב און געווינט איהר קינד, אויך געהאַלפּען אין דעם פּעל-העבּהעשקייט, ווי אַשטייגערי קלייבען אויף דער גאס דארע שפּענדלעך אויף אונטערזוהייען, קיינען אונטערן פּעקלאַק נאָך אייער. וועלכע די הוהנער האָבען געלעגט, אויסקראָבען אַ מעפּיל פון פּער-טריקענטער קאַשע, פּערוואַשען אין דער פּאַמייניצע דעם קינדס אַ פּערשמוט העמדיל, און שטעהן אַכטונג צו נעבען אויף די אויבער-געוואַשענע הילצערנע מילכערדיגע לעפּל, וואָס טריקענען זיך אויף דער פּרייזע, אינאיינעם מיט דעם קינדס קישלעך, אַקענען דער וון אַהיים נאָך אַנדערע אַזעלכע מלאכות פּאַרנאַכט, אז די סערעכע איז הייער אַרומצוגעהן און צונוענפּעהמען עטליכע שטוקלעך ברויט, דער-פון האָט זי זיך דערנעהרט אַליין און נאָך גענעבען דער מוהמע איהרער

זומער פּאַרנאַכט אינמאַל, בישט אַרומגעהענדיג אין די הייער אויף איהר שטייגער, אין איין גראַב העמדיל מיט אַ העלב קליידיל

האָט זי זיך פּערשלאָנגען גאנץ ווייט, אַזש ביים עק שטאַרט און נישט געטראָפּען דעם וועג צוריק אַהיים. די זון האָט שוין לאנג זיך געזעצט. אויף דעם דימבל האָט זיך אַנגערוקט אַ שוואַרצער וואַלקען. עס האָט ביסלעכווייז געפּליצט און געווענדט. פּלוצלים קומען אונטער, פון דער שטאַרט אַרויספּאַהרענדיג, עפּיס בוידען, פּול אַנגעזעצט מיט מענישען. קוקט נאָר! האָבען פּאַרטייגען אַרויסגעשיריגען פון איין ביידיל, עפּיס דרעהט זיך דאָ אַרום אַ האַרפּאַטע מיידלעך און ווינט, נעבעך, און פּאַרל טאַקן שפּרינגט אַראָפּעט איינער אַרויסער — טאַקן אַלץ דער דימער סמור, אַ קינד איהר אין די ביינע אַיאן! — גיט אַפּרעג דאָס קינד, וועמען זי איז. — אויך וויל אַהיים, אַהיים צו דער מוהמע? ענטפּערט דאָס מיידלעך אויף אַ וויינענדיג קול. — שא, טאַבמער, ווייז נישט, זאָגט צו איהר דער סמור, אויך וועל דייך אַפּוהרען אַהיים צו דער מוהמע. ער סוהט זיך פּאַרל טאַקן אַ חאַפּ, וואַרפט זי אין אַ ביידיל אַרײַן און פּאַהרט מיט איהר אַוועק.

פון יענער צייט אַנזעס בלאַנקעס דאָס האַרפּאַטע מיידל, נעבעך, זיך אַרום היקער געמאַכט אַפּרנסה. דער שטייגער איז זייערער געווען, איהר היקער געמאַכט אַפּרנסה. דער שטייגער איז זייערער געווען, קומענדיג ערניג אין אַ שטאַרט, אַנדערזוהייערען זי נאָקעט און פּאַרפּיס אויף דער גאס, וואו מענישען געהען, און זי האָט בעיאַרפּט חלפּען, בעטען נבּות אויף אַ וויינענדיג קול מיט אַ ניגון אין אויף ריימען ביי די פּאַלעס, האָט זי אַפּער אַ מַגל נישט געשפּילט די קאַמעדיע שטאַ-קענדיג מיט אַלע אַנשטעלען און געמאַכט וועניג געל, פּלעגט מען איהר אַבשפּילען אַ גוטע הונגה: שלאָגען זי טויט-שלעג, אַרויסוואַרפּען זי ביי דער נאַכט אין דרויסען, וואו זי פּלעגט נאָקעט, הונגעריג, נעבעך. שרייען און וויינען אויפן רעכטען אמת טאַקן... זי האָט מיר דער-צעהלט, ווי איינמאַל, ווינטער אין אַ שטאַרקען פּראָסט, האָט מען זי ביינאַכט אזוי אַרויסוואַרפּען אויף דער גאס. דער פּראָסט האָט זי אַ נעהט געטאָן און געמאַכט פון איהר אַ ביינעל, געזופּט, געשטיפּעט דאָס לייב ווי מיט קאַלטע שפּילקעס. עס האָט איהר זיך געירירט דער שאַרבען אויף דעם סמור, מונקעל און ליכטויג, עפּיס ביידע מיט אַ מַגל, און איהר געוואָרען אין די אויגען, אַט-אַט עקט זיך דאָס לעבען. זי קען שוין מער נישט אויסהאַלען און הייבט זיך אָן בעטען אין שטוב אַרײַן מיט אַ בימער געווייז, זי צומערט, בעט רחמים: עפענט, מוהמע, עפענט, עפענט! — אזוי האָט זי אויסליכען פון דער חאַלספּאָרע

גערופען—זי שרייבט: פעסער, איך וועל שוין ווייטער דארט פאר מענטשן גוט שרייען זי וויינט: מוהמניני, איך וועל שוין דארט גוט וויינען זי בעט: געוואלד, איך וועל שוין ווייטער גוט בעטען! נאך שרייבן זי דער וואנט, נישטאָ קיין ענטפער!... זי בלייבט ליגען שטיל, פיהלעט מערה נישט קיין קעלס, קיין פיין, עס בעפאלט זי עפויס אזויסער שלאָג, עס דאכט זיך איהר, מען האלט זי, גלעט זי, עפויס גוט ווארט מודה—און מען האָט זי אַ שוויטע אוועקגעטראָגען פּוּנים אַרט... זי האָט אַ היבשע צייט פּוּן יענער נאכט געקוקט. —ווייטער איז דער שטייגער געווען, אַראַגלאָזען זי פּוּנים וואָגען, ווי באלד מען האָט פּונדערווייטענס אויפֿן וועג דערוועקן פּאַרענדיג עפּוּס אַ פּרוּי, אָדער כּוּחריס, לייטישע מענטשן, זי האָט בעראַרפּט סאכען די נאנצע שפּיל, אויסשטרעקען די האַנד, דרעהען זיך, לויפען פּאַרביי די פּערד, ביי די זייטען וואָגען, הלופּען, בעכען אונטער דער נאָז מיט אַ רחמנות-פּנים און דערנאָפּען אַ נדבּה, איהר שויט זאָל דאָ אפּילו זיין אַ מאָל פּלעגט זי סאכץ האפּען אַ שמיץ מיט דער בייטש פּוּנים שמויסער אויף דער קעלניע, נאך זי פּלעגט עס געכעקן אַראַבשלינגען, שאַ קיכעל און געטאָן סאכץ איהרס, וויל זי האָט זעהר גוט געוואוסט, אז אַ בייטש איז אַ גאָרנישט אַקענען דעם, וואָס זי וועט שפּעטער האפּען, אויב חלילה, זי קומט צוריק אין בויד מיט לעיניע הענט... וואָס זי, נעכטיג, איז אין די יונגע יאָהרען צרות אויסבשטאנען, לאָזט זיך נאך נישט אַרויסוואַגען, איהר היינט שטעהט זי נאָך גענוג צרות אויס, אין גיהנם בעדאַרף מען אזוי פּיעל נישט אַבּקומען וויפּעל זי געכעקט, קומט אָפּ עט, אָה, דאָס בלוט קאַכט אין מיר, ווען איך דערמאָן מיר אין איהר אַמי וועקט, מיין לעכען וואָלט איך פּאַר איהר גערן אוועקגעבען עפּי זי אויסצולעזען, הערט איהר, יידען, ס'איז נאָך אויף דער וועלט נאָר נישטאָ אז גנפּע, שפּילעל מױב, אז ניסע מױרע נשמת

יך

פּיטקעס דערצעהלונג האָט אַנגעטאכט אַ שמאַרקע מרה-שחורח אױף אלטערין מיט מיר, אלטער האָט מיט דער האַנד געריבען דעם

שטערען, זיי עס האָט איהם עפּוּס געביסען, און אַלץ געמאכט פּאַר זיך; עט, עט!
 — הערט איהר, ר אלטער — רוף אַך מיר אַן מיט אַ שמיא-כעלע — פּיטקע, כילעבען, איז סאכץ פּאַרליאפּעט איז דעם האָר-גאַסע מיריל, ס'איז, כילעבען, עפּוּס נישט גלאַט.
 — למאי זאָל איך לייקענען — האָט פּיטקע געוואָנט — איך האָב זי סאכץ אַנגעהויבען שמאַרק ליעב צו האַבען אין האַרצען פּאַר גרויס רחמנות, עס האָט מיר עפּוּס צו איהר געצויגען, מיר צוגעקומען לעבען פּוּנים זיצען אַ סאָל מיט איהר אינאַיינעם — וואָס?... גאָרנישט! גלאַט אזוי זיך — שמועסען, אָדער שוויצענדיג אַנקוקען זיך אַיינער דעם אַנדערען, דאָס גומסקייט איז איהר געלעגען אויפֿן פּנים; דאָס קוקען איהרס אויף מיר איז געווען סאכץ נאָך, ווי אַ געטרייע שוועס-מעך קוקט אויף איהר אומבליקליכען ברודער בשעת איהם איז געבען, שלעכט, שמאַרק נישט גוט, און אז געהענדיג צום האַרצען בינען צרות האָט זיך איהר געשטעלט מרעהרען אין די אויגען, איז מיר געוואָרען עפּוּס גוט, וואָרד-מחיה אין אַלע גלירער, עפּוּס האָט מיר זיך געדאַכט, געדאַכט... איך ווױס אַליין נישט וואָס, עפּוּס האָט מיר אינוועניג געבריהט, גענלעס ביי דער נשמה; פּיטקע, דו ביסט נישט מערה אַליין און דער וועלט, ביסט נישט מערה עלענד ווי אַ שמיין! — אין עס בענעצען מיר זיך די אויגען פּוּן הייסע בראַפּען ברעהרען...

מיין הייב — אוואונדער, כילעבען! — האָט מיר שוין עפּוּס נישט אזוי געאַרט, עפּוּס איז מיר שוין נישט אזוי שמאַרק אַנגעגאַנגען, ווי זי סאכט חן מיט דעם מוּד, געקרימט דערויף האָב איך מיר נאָך סאכץ, אָבער דאָס קרימען זיך האָט שוין נישט געהאַט דעם מעס ווי פּריהער, אז מיר פּלעגט אַ סאָל אַרויפּקומען אויפֿן געדאַנק אזוי: דו ווילסט, פּיטקע, דיין ווייב זאָל אַזאַג סאָן; אַזונד איז שוין גענוג זיך אַרויפּגעשלעפּט, קום לאַמיר זיך בעועצען אין אַ שמאַרד? — פּלעג איך זוכען ווי מיר אויסצודרעהען, נישט געבען קיין גלייכען ענטפער און זיך פּערטראכטען דערביי אין איהר... וואָס וועט זיין מיט איהר, מיט דער האַרצאמער, געבעקע... נאָך הערט אָבער אַמעשה! אַז איך בין געוואָרען אין האַרצען צו מיין ווייב קוהלער, שוין נישט געצאפּלעט נאָך איהר אזוי ווי פּריהער, איז זי, דאַכט זיך, געוואָרען צו מיר הייסער, עס פּלעגט אויף איהר אַ סאָל אַבּקומען אַשעה, וואָס

מענדלעס מיכר ספרים

זי איז געווען צו מיר גוט, ווייך ווי א מיני, און האָט זיך געהאנגען
 מיר פשוט אויפן האַלץ. נאָך דערפאַר שפּעטער פלעגט עס מיר
 באַקום אויספאלען. זי פלעגט מיר כאָן אין דער גאל אַרײַן, מױך
 פלאַנגען, פּײַנגען נאָך טױזענט מאל ערנער ווי פּרױדער, אױז אז דאָס
 לעבען איז מיר נישט נױה געױען און האָב מיר געױואַנשען דעם טױט.
 אױך האָב פּון אױדער געהאַט, מאַקי ווי מען זאָגט, קאַלט אױז ווי אַרױס.
 אױך האָב נאָר נישט געקענט פאַרשטעקן, וואָס איז אױדער געשעקן?
 משױגע איז זי, צו חסר-דעיה, וואָס איז מױס אױדער אױיטס? נאָר אין
 אַ קורצער צײַט שפּעטער איז זיך פּערלאַפּען עפּױס אַזאָך און דער
 בלאַטער איז פּלוצים אױסגעשפּרונגען. אױך האָב שױן פּערשטאַנען.
 וואָס פּרעגט אױיטס מױן ווייב, וואָס די רױזא אױדער בעטױט. מױס:
 אַ ווערטהױט, אַ בױשה צו דערצױהלען.

פּישקע פּערטראַכט זיך אַרױס. דערנאָך טױהט ער זיך עפּױס
 אַנעשטאַקען קראַץ און הױבט אָן ווייטער צו דערצױהלען:

אױנמאַל זענען מיר אָנגעקומען ערנײַן אין אַקלײן שטעטל
 און פּערפּאַהרען, ווי געױהנטליך, אױף אכטױט גלייך אין הקדש
 אַרײַן. אױך זאָג אױך, יודען, עפּױס האָב אױך דאָך שױן גענוג הקדש
 מױך אָנגעױעהן אין מױן לעבען און ווייט גאַנץ גוט, וואָס אױעלכע בע-
 טױמען, נאָר זי אַלע זענען גאַר אַקענען דעם הקדש פּון יענעם
 שטעטל. אַז אױך דערמאַן מױך אין אױס, הױבט אַזנד נאָך אָן מיר
 דאָס גאַנצע לױב צו בױסען אין אױך מױז מיר קראַצען. אױנאַנצען
 האָט דער הקדש אױסגעױעהן ווי אַ שטאַרק אַלמע קרעכטע, אַ הױב
 מיט אױסגעקױמטע, נישט קױן גלייכע. ווענט, מיט עפּױס אַ דעכיל,
 משױטניג-געזאַגט, ווי אַ צוקניטשט קאַפּעלישעל, פּעררױסען פּון פּאַרענט
 און נידעריג אָנגעבױבען פּון הינטען, פּמעט ביז דער ערד. מען האָט
 בעשױנפּעליך געױעהן, אַז דער הקדש, נעכט, הלשױט, וויל אױנפּאַלען
 און לינגען ווי אַ באַרג מיטס אױף דער ערד, נאָר דער עולם אין
 שטעטל האָט אױסגעשױנען, אונטערגעשטעאַרט מיט דרענגלעך
 און אױס אױנגעכטען, צו האַלטען זיך אױז אױף ווייטער ביז הױט.
 דערט און צױאנציג יאָר. דורך קלאַמפּערשט עפּױס אַ שױער איז מען
 אַרױנגעפּאַהרען אין אַ גרױס הױז מיט צושטאַנען, לעכערדיגע ווענט.
 דורך וועלכע עס האָט זיך אַרױנגעגנבּהט אַ שטױקעל שױן. די ערד
 דאָרט איז געױען גריבערדיג, ערטרױווט איז געשטאַנען קאַלױשעט.

פּישקע דער קרױמער

פּערשיטעלמע, פּערדױמפּענע פּון פּאַמױניצעס און נאָך אױעלכע זאַכעס,
 אױך פּױגס רענען, וואָס פלעגט המיר דורך דעם פּױלען שטױווענעס
 דאָך, צױשעט ווי אַ דעשעטע, אַהן אַרױנגאַפּען. צױבענע פּערפּױלמע
 שטױו האַפּען זיך אומעטום געױאָלערט, אױסגעמישט מיט אַלעליי
 מיט שטאַמעס: צעריסענע טאָרבעס, צױהאַקע ראַנאַזשעס, פּערדאַרבע
 ווערלעך פּון שױך, אַלמע פּאַראַשױעס און אױסגערדעשע אַבזאַצען
 מיט פּערוואַזױערטע מױוועקעס, שערבלעך, צױבאַכענע רױפּען, פּפּױעס
 פּון רעדער, האָר, בױנער, דראַפּאַשעס, רױטער פּון בעױעמער און נאָך
 אױעלכע שטאַכטעס. דאָס דאָזיגע בױסעל סחורה אױנאַיינעם האָט גע-
 פּרױעט און געעכטען, די שטױב, משױנה/דױגע רױחות נאָר אַ שרעק. —
 אין דער לינקער זײט האָט זיך געעפּענט מיט אַ בױיער אַפּער-
 שטאַלצױעטע מיר אין אַ שטױב אַרײַן מיט קלױנע, שטאַלע, נישט גוט
 צוגעשטאַנענע פענסטער און אַ טױל שױבען זענען אױסגעשלאָנגען און
 פּאַרקלעפּט מיט צוקערפּאַפּיר, אַרער פּאַרשטעקט מיט אַ שטאַטע, אַ טױל
 זענען שטאַרק שמוציג, אין די ווינקלעך בעדעקט דױך מיט שױמעל
 און ווידער אַ טױל זענען פּאַר אַלמױט אױבערזעצױגען מיט געל-גרינע
 משױנה גלאַנצערדיגע קאַלירען און דער גלאַנץ שטעכט עפּױס די
 אױגען, גלייך ווי אַקריץ אױף גלאַן גרױזט ווילד אין די אױערען.
 אַרום די אַבגעשלאָנגענע ווענד און נעכטן אַנרױסען אױווען צױהן זיך
 לאַנגע בױנג פּון ברעטער, וואָס לינגען אױף קלעצלעך און שטיקער
 האַלץ, העכער אַביסעל אױבער די בױנג שטעקען אין די ווענד גרױסע
 און קלױנע פלעקלעך. פּון דער שױאַרצער סטעליע היינגען אַרױס
 שטױקלעך מיט פעסלעס, אין וועלכע עס האַלט זיך די בױיע
 עקען אַלאַנגער שטאַנג. די פלעקלעך מיט דעם שטאַנג זענען פּער-
 האַנגען מיט פּערדױפּעטע קאַפּטענס און קלױדלעך, מיט אַלעליי
 חפּצים און טאַרבעס פּון אַרמעלייט, וואָס קומען צו פּאַררען אין בױד-
 לעך, אַדער קומען זיך צױשלעפען צױפּוס און שטענדען דאָרט אױן.
 יונג און אַלם, מאַנסבילען און ווייבער אַלע אױנאַיינעם. — דער הקדש
 איז אַ חוץ דעם נאָך אַבקר-חלױם אױף. דאָרט איז דאָס אַרט אױף
 צו שטאַרבען פּאַר קראַנקע מױאמע קבצנים אין דעם שטעטל. דער
 רױפּא טױהט אַלצױנג וואָס נאָר מענליך: שטעלט באַנקעס, פּיאָווקעס,
 לאָזט צו דער אַדער און צאַפּט, אױף קהלִישע היצױה, קבצנים בלום
 צױ די כשריע נשמה נעקט זי אױס און דער הקדש-מאַן, וואָס איז
 צױלײַך זײער קברות-יוד פּױגס שטעטל, איז זי סאַקן כּאַרד מַקְבֵּר

אומיוסס. דער הקדש-באן מיט זיין הויזגעזינד ויצט אייך טאקי דאָרט אין אַמין אַלקיריל, משטיינענדיג-אָנאָם. הייַן וואָס ער איז אַ הקדש-באָן, אַ קברות-יוד, אַ שמש אין דער חברת-קדישא, אַ משבוח אין זיין קבורה-חולים, אַוּשתי המלכה, אָרער אַמאָנדרוז אין פּורים, אַפּערשטעלעכער בער מיט אַ איבער-געקעהרמער פּעלץ אין שמחת-תּורה, אַ סאָרווער. אַ אַשטעלעך-מאָכער, אַ ווערטיל-אַנער אויף אלע התנות אין בריה"ק. — האָט ער נאָך אַ פרנסה דערצו, צו מאַכען חלבידיגע ליכטלעך. די אלע בעלי-הבתים און פּתי-מדרשים ציהען ביי איהם ליכט אין הויז פּנים הקדש און עס ווערט דענסטאַל אַ געשטאַמ, אַ עיפּוש ווייט אַרום און אַרום.

אַז אונזער האַליאָסטער איז אָנגעקומען אַהין אין הקדש, איז ער געווען אָנגעזעצט גענוג מיט אורחים. דער הקדש-באָן האָט זי גע-סריבען: גענוג געוועסן, פּאַהרס אַיך געווענערהייט שוין ערניץ אַנדערש; נאָר אזוי ווי ס'איז געווען לאַנערשטאַ, האָבען זיי געהאַט אַ אויסרייז זיך אָבזעכטען — פּערבליבען דאָ ביי נאָך שבת. די ערד, די ביינע און דער אויווען זענען ביי-נאכט בעלאַנדערט געווען מיט מענשען. מען האָט זיך געשופּט, געקוועשט, געקריגט און געשאַלטען פּאַר אַ שטיקל אָרט. קאַניצע און פּיעשע האָבען שטאַרק געאַרבייט, איינער דעם אַנדערען אַרויסגעוויזען די שטאַרק שטאַה און די גבורה ווערע מיט די הענד. אין דער גרויסער מהומה, נישט-דאָ-געדאַכט, האָט געקערעכעט אין אַ ווינקלעלע אַקראַנקער אלטער יוד, וועלכען מען האָט נעכטען אויף קוראַציע אַדער געבראַכט, און אַפּיצעל קינד, וועלכען מען האָט אין דעם שטופּעניש צוגעקלעהט אַ פּיסעל, האָט געקוויטשעט, געמאַכט לעכער אין קאַפּ שרייענדיג. — ערשט שפּעטער אז די ביזע מהומה האָט זיך איבערגענומען, האָב איהר אַפּגעזוכט ערניץ אַ וויי-קעל און זיך געלעגט ווי-ס'איז אויסצורווען אַ ביסעל. נאָר קיים האָב אייך מיר געלעגט, זענען מיך בעפּאלען נאַניע חלות פּרייסען, וואַנצען, פּליי ווי די בערען און האָבען מיך געוואָלט לעבעדיגערדיים אויפּעסען. דאָס ליב הויכט מיר נאָך אַזנד אַניעס צו בייסען און מוז מיך גע-שטאַק קראַצען, נאָר בייים דערמאַנען-זיך אין די דאָווע מלאכי-הבלה. אַז אייך האָב אַ קוק געטאָן, אַז מיט פּרייסען מלחמה צו האַלטען איז שווערליך. אַפּרייס איז אַ בעשעפעניש, וואָס קריכט און זיין שוואַך די וואַנץ, שטינקט, האָב אייך זי מוחל געווען מיין שטיקל פּלאַץ, לאָוען זי מיט איהם זיך וואַרנען! און ביי אַרויס איז הויך, דאָרט ווי

ס'איז צוברענגען די נאכט, אין רויוסען איז געווען שרעקליך פינסטער, אַ קאַלטיער, אַ שטאַרקער ווינד האָט געשטורעמט, געהיילט ווי די הויז גערינגע וועלף, געפּיפט און געבלאָוען דורך די שפּאַלטען אין די ווענער, שטיקלעך שטרוי זענען פּונם דאָך געפּלויגען אין האָבען מיט נאָך אַנערעך מיני שפּאַכטעס ווי די רוחות אין הויז אַרויסגעשטאַנעט. צו-היילען האָבען אַהין דורך די לעכער אויף אַריינגעקאַפּעט גרויסע טראַפּען דענען. אייך האָב פּעררוקט מיך דאָרט אין אַ ווינקלעלע און געלעגען מיט אַ ביסער געמיטה, געצייטערט פּאַר קעלמ, אַי, די באָד, די באָד, האָב אייך געאַיקעט און געאַכט, וואו געהט מען מיין באָד, די דאָרט איז דאָך פּשוט אַ גן-עֶדן, האַרם, אַ דערקוויקעניש ווי גליקליך בין אייך אין דעם דאָוויגען גן-עֶדן דאָרט אַ מאָל געווען, וואָס האָט מיר געפּעהלט, וואָס איז מיר דאָרט אַבגענאַנגען? מיר איז געווען אזוי גוט, אזוי האַויל, — האָט דער רוח בעדאַרפּט אַנמאַנגען מיין ווייב, אייך זאָל דורך אַדער פּערטריבען ווערען פּונם גן-עֶדן און אַרומוואַנגלען זיך אין דער וועלט, אויף צרות נאָר זענען די וויבער דאָ, טאקי נאָר אויף צרות. האָט טוויגען זיי וואָס האָט מען פּון זיי? קיי גוטס, כילעכען, קומט פּון זיי נישט אַרויס... באַלד אַבער דערמאָן אייך מיך אין דעם האָר-באַטע מידיל און פּאַר מיר אַליין מיך געשעהט. מיטשטיש, זי איז דאָך אַ גוטע, אַפּשריע נעמה, מיט איהר אינאיינעם איז דאָך עפּיס אַהענג. ס'איז עפּיס גלאַט גוט, גרינג, פּרעהליך אויפּן האַרצען צו זיען און שמועסען מיט איהר. אַפּפּרה טווינער באַרען פּאַר איהר מינדסטען נאָגעל. פּון איהרם אַ קוק ווערט עפּיס שיינען אייך אַרם אין אלע גלידער. — שערה דוּך, פּישקע ז שיינען אייך מיך אַליין אויס, זינדיג נישט מיט דינע רעך, וויבער גיבען עפּיס צו אַ שטיק געזונד און לעבען. וויבער קענען גליקליך מאַכען און פּונם גיהנם אפילו מאַכען אַן-עֶדן... פּון אַוועלע זיסע געדאַנקען האָב אייך פּאַרנעמען אין אלע מינע צרות. דאָס ווינקלעלע, וואו אייך האָב מיך צוגעשפּאַרט, איז עפּיס נאָר גוט מודה. מיר איז שוין מערה נישט קאַלט. אייך הויב אַנעשט ליינען קריאה-שמע מיט געפּיהל, די אויגען קלעפען מיר זיך און ווער באַלד אַנדערמעלעט. פּלוצלום אַבער האַט מיך אויפּגעוועקט עפּיס אַ שרעקליך געשרי.

דער מיר פּונם שטוב, און דערלאַנגט פּון דאָרט אַ וואַרף מיט דעם --- קוקט נאָר אַן דאָס נפּש! — האָט עמיצער געשריגען געבען

מענדעלע סוכר ספרים

גאנצען בח אין חוץ אריין עפנים א שווערע זאך, וואס איז ווי א שטיין געפאלען אויף דער ערד מיט א שטארקען קלאפ — קוקט נאך אן די מצאצא, אויף מיר א מענש! א קאטאוועס די גראפיע פאטאצקע!... און אין חוץ ביסער קראנק צו ליגען, פארפאטשקעטע גראפיע?

אויך האב בארד אין דעם קול דערקענט דעם כמור, א קיינע איהם אין די ביניע און! ער האט נאך אביסעל געשרייגען, געוידעלט אויסגעווארפען מיט דער גראפיע פאטאצקע, דערביי אויסגעשפויגען און פערטאכט דערנאך די מיר מיט א שטארקען קלאפ.

א שטיקעל לכנה איז ארויסגעקראכען פון צווישען די צעריסענע שטיקער וואלקען, האט אריינגעקוקט דורך דעם צובראכענעם דאך אין חוץ אריין און בעלויכמען דאָרם עפנים א מענשליך געשטאלט, וואָס איז געלעגען ווי א קלימעק, שטיל, קיין ריהר זיך נישט צו טאן, אויך האב מיר א לאָ געטאָן זעהען, ווער איז עס די מצאצא אָדער די גראפיע פאטאצקע, וואָס ליגט דאָרט אויף איר מיר אין די אויגען און א דונער האט מיר דערשלאָגען! פּינסטער איז מיר אין די אויגען און דער קאפ דרעהט זיך מיר, אזוי ווי פּין דער ערשטער פארע אויף דער אויבערשטער באַנק, מיין האַרבאטע מידול, זי געבען, ליגט עס אויפן רוקען מיט אויסגעשטרעקט פּינסטער שטארקען שלידער, וואָס דער כמור האָט מיט איהר געטאָן אויך געהט מיטגעטן מיט אלע כוחות די האַרבאטע, געבען, און אז גאָט האָט געהאַלפּען, זי האָט זיך אָנגעוויכען צו ריהרען, האָב אויך זי אַ האפּ געטאָן אויף די הענד עפּינס נישט מיט קיין מענשליכען כוח, ווי בשעת מען ראטעוועט אין א גלופסקער גרויסער שריפה, און בין מיט איהר גיך אוועק אהין אין מיין ווינקעלע. אויך וואָלט געמעגט שווערען, אז דענסטאָל בין אויך געגאנגען נאָר גלייך, ווי אלע מענשען, און האָב אפילו קיין הינק נישט געטאָן. זי האָט פאטעליך, פאטעליך אויפגעפּענט איין אויב נאָך דער אנדערער און א שטילען זופּן געטאָן, אויך האָב פאַר שמחה גע- מיינט, אז די וועלט איז מייע, מאיז כּיר געווען צו מוטא סאָקי נאָר ווי דעם בעטלער אין די געוויינלעכע מעשיות, וואָס ווערט סאָקי פּלוצלינג פּון דער העלער הויט מגולגל אין א טייערען פּאלאץ, וואָס זיך דאָרט אָנגעלעהנט אויף דער נוסער עסעבעט אינאיינעם מיט א בח-מלכה און מהומ זיך וואויל, אויך האָב געשוונד אַראָנגעוואָרפען פּון מיר מיין

פּשקע דער כּוּמס

קאפּאטע און איינגעוויקעלט דערמיט מיין בת-מלכה, וואָס האָט גענישטערט פאַר קעלט .

— אויז — האָט מיין האַרבאטע, געבען, א זופּן געטאָן, אויס- געריבען די אויגען און געקוקט, עפּינס גלייך ווי זי האָט זיך אַרומגע- קוקט, אויף וואָס פאַר אַ וועלט זי איז

— וואָס קוקטער עפּינס אזוי? — טוה אויך זי א פּרעג — אויך בין פּשקע, געדאַנקט און געלויבט איז גאָט, וואָס די לעבנס.

— אָך און וועה איז מיר — זאָגט זי מיט א זופּן טיעף פּינסט הארצען — וואָס טוה מיר, וואָס אויך לעב! איידער אזא לעבען איז שוין בעסער דער טויט, גאָט איז דאָך א גוטער, א בארימטער צווישן די צו-וואָס האָט ער אַנעלכע ווי אויך נאָך בעשאפען, נאָר אויף צו לידען און צו פּלאַגען זיך אין דער וועלט?

נאָרעלע! — מאַך אויך צו איהר — מסתמא חייסט גאָט, וואָס ער טוהט, מסתמא איז דאָך איהר נוח, אז אַנעלכע ווי מיר זאָלען אויך ווין אויף דער וועלט. גאָט איז אַ טאטע, ער זעהט, הערט און ווייסט אַלצייגט, דו מיינסט, נאָרעלע, ער ווייסט נישט אונזערע בירענס צרות? גאָט ווייסט, נישקשה! די לכנה זיינע, זעה נאָר, זעה, קוקט פּינסט הסתעל אהער אפילו, אין חוץ, אויך אריין, זינדוי נישט, נאָרעלע, מיט די רעד .

זי האָט אויסגעשטעלט אויף מיר א פאַר פּיערדיגע אויגען, אין אַלעכע עס זענען געשטאנען גרויסע טראָפען טרעהרען און זיך געפונקעלט אַקעגען דעם שייך פּון דער לכנה ווי בריליאַנטען, איהרע אויגען און איהר קוק דענסטאָל אויף מיר, וועל אויך אייביג נישט פאַרנעמען.

אז אויך בין אויסגעשטאנען אויף סאָרגען גאנץ פּריה, האָב אויך געוועהן, מיין האַרבאטע ליגט אין ווינקעלע, איינגענוערט אין מיין קאפּאטע און שלאָפט ווי א פּייגעלע, דאָס פּינסט איהרס איז געווען בלייך און אויסגעוועהן עפּינס אזוי גוט, אזוי רחמנותדיג גוט... די ליפען האָבען צו-וויילען געצוימערט און זיך אויסגעצויגען עפּינס ווי מיט א געבעט, עפּינס בעס זי, געבען, רחמים! פּייגיגט מיר נישט! וואָס האָב אויך איהר געטאָן? וואָס האָט איהר צו מיר? פּע-ווייסט מיר נישט דאָס לעבען, וואָס האָב אויך איהר געטאָן, וואָס האָב אויך איהר געטאָן?...

פערערעלע מוכר ספרים

און דאָס בעמען איהרס ריטס אויס א שטיק הארץ. עס האָט מיר זיך געשטעלט טרעהרען אין די אויגען—און איך האָב געווינט...
 דער ערשטער, וואָס איז אין דער פרייה אין הויז אריינגעגאנגען, איז געווען דער סמו, א קינד איהם אין די ביניע ציאָן—ער האָט מיט זיינע גנבישע אייגעלעך א קוק געטאן אויף סוף, אויף דער האַרצאמע אין איז מיט א שטענענדיג געלעכערטעל אונז זענען צוריק אין שטוב אריין.

יח

פישקע איז פּלוצלים געבליבען שטיל און אוועקגעקעהרט דאָס הונד, גלייך ווי ער האָט זיך געשעהט. וואָס מיין אלטער האָט איהם נישט געבעטען, וויסער צו דערזעהלען, האָט אלץ נישט געהאלפּען—עס... כילעבען! האָט פּישקע געמאכט, איז הויט געוואָרען, זיך געמינגט און נישט געעפענט קיין מויל. פּישקע, ווי עס האָט אויסגעזעהן, היינט לכוף זיך אליין פּארשעהט פון זיינע אייגענע רעד, פּרייהרע או עכ האָט איהם דער ערשטער פּרייה געטאן, האָט ער זיך צופלאַקערט, צורעצט ווי איינער פון דער היץ. ער האָט גערעדט מיט זייער נאָר אויסגעגאָסען זיין גאנג האַרץ אין אַוועלכע הערטער, וואָס זענען נאָר נישט געווען פּאַר פּישקעס מוה, די דאָזיגע הערטער האָבען זיך אירם געגאָסען אליין, עס האָט אין איהם זיך צורעדט די נשמה, ער האָט בשעה-מעשה פּאַרזעמען אַלצרייניג, וואָס ארום איהם סהוט זיך, גערעדט, גערעדט, נישט צו הערען כמעט אליין, וואָס ער רעדט ביז ער האָט פּלוצלים זיך אַהאַט געטאָן, עפּים ווי אַליין זיך צוגעהערט צו זיינע רעד, זיך עפּים געוואונדערט, ווי קומט אַווייט צו איהם... און איז שטאַרק פּאַרשעהט געוואָרען, ביי וועלכען פון אונז מאַכט זיך נישט האַמט אין כאָל אין לעבען אַזא ליכטיגע, גוטע שעה, וואָס דענטסאַל עפענט זיך א מויל און ריינע, אמתיע מענטליכע געפּהלען גיסען זיך איהם צוהיט, ווי א שפּראַך היינט זוריע גאָרען פון א פּיערשפּיערעניגען באַריט צווישן בלעמיס איינעל אַפּלי איז איהע אנגעטומען א שעה, איז וועלכער

פּיטע דער קרומער

עס האָט פון דער העלער הויט איהם זיך געעפענט דאָס מויל און האָט געהאַלען א שניע רעדע, ווער שטייבט ביי בעל-הדרוש, להבדיל, מאַכט זיך פּיעל מאָל, אַז אַוועלכער, וואָס מעלה-גרה'ם גע' הענדעליך, פּליידערט סמיד אַוועק גאַרשיקטיג, א שרעק צו הערען, פּלוצלים פּאַלס אויף איהם אַן אַמאָל עפּים אַ בענימטערונג און ער זאָגט נישט-וויילענדיג צוהיט א גלייך וואָרט, וואָס דער גאַנצער עלט און ער אַליין מיט זיין פּבור אויף בלייבען דערניין פּערגעבט, ביים ערנסטען הון, אַ קאַמטשאַן, וואָס גלויבט זיך פּרעכען, הערדיג זיין שערעליקען מיט משוגענע העוויז, טרעפט זיך אַמאָל אַז פּלוצלים כּוהם עס מיט איהם אַ טראַג, ער צוואַנגט זיך אין דעם מוכף מיט אַ ברען און וואַרט אַרום אַ יאָקספּורק-דיל, אַ הפּנה-שבתלי מיטן קנאַק, טרעט די גוטע שעה אַב, בלייבט דער איינעל וויסער טאַק אַ איינעל, דער בעל-הדרשה, להבדיל, וויסער אַ פּליידערונג און דער הון, כּשטייבט געוואָגט, וויסער אַ קאַמטשאַן... נישט דאָס בין איך אויסען. צוויי יודען דרעהער האָב איך געקענט און אַ יודישער דרוק, וואָס די גאַנצע אַרבייט זייערע איז בעשטאַנען דריינען, כּהיג ווי נאַכט, צו דרעהן די דאָר פון דער מאַשינע, שטענענדיג ביי איהר אין דער זייט, איינער געבען דעם אַנדערען, נאָר אַזוי ווי די אַנגעכאַלכע גולסיס. דרעה און דרעה שטענדיג, אַזן איין עק, אַלץ אויף איין אַרם, אויף איין שטייגער. פּלוצלים האָט עס זי עפּים ווי אונטערטערטאַגען און האָבען זיך אַ געזעם געטאן דרעהן די ראָד געשטאַק מיט געפּיהל, שטאַק בע' גיימערס. די אייניגען פּרענען, פּלאַקערען און זיי דרעהן, מיט אַזא שטענ, ווי זיי וואַלמען געווען אויפן זיבעטען הימעל, ווי זיי וואַלמען גערעהט וועלמען און האָבען מיט אַמליכען דרעה אויסגערדוקט עפּים אַ געדאַנק, עפּים אַ געפּיהל, וואָס דרעהט זיי אינוועניג, שפּעטער אַ ווילע, אַז דער ברען האָט נאַכגעלאָזט, האָבען זיי פּערוואונדערט איינער דעם אַנדערען מיט אַ פּאַר גלעיערנע אויגען אַנגעקוקט. אויסגעשפּיעט פּאַרדעהט די קעפּ, אַמליכער אין זיין זייט, גערעהט ווי געוועהעליך און וויסער אַ פּנים געהאַט ווי די ליטענע גולסיס.

איך קוק אויף פּישקען, וואָס איז געבליבען אַזן לעוון און זיך ביי מיר מיטעל, ווי איהם בערעדעוודיג צו מאַכען, פּלוצלים פּאַלס מיר אַזין ר' לייב-שרה'ם גולס, זיי ער סהוט זיך אַ שטעל-אויף, נאַכדעם אַז ר' לייב דאָקט איהם אַרין הינטען דעם שם-המפורש, חאַפּט זיך און מוהם

ספדערעלע מוכר ספרים

אלצדינג, וואָס מען הייסט, זעהר שטן, טראַכט אױך מיר, ברוך-הבאָז נאָר אָנשטאַם דעם, וואָס ביי יענעם גולם, עלוי השלום, האָט געווירקט אין זײַנע צײַמען, וועט היינט ביי מײן גולם, איהם צו לאנגע יאָהר, ווירקן פשוט דאָס מײדל...

אױך הױב אָן פֿישקען אונטערצוגעבען פֿארע, צו דערוואַרעמען איהם מיט אַ שמועס וועגען זײן האַרצאכט מײדל, און דערבי האָב אױך טאַקע מױך אַליין אױך צוהײצט, גערעט פונעם האַרצען מיט פּיער און אויסגעלאָזט דעם שמועס אױז:

— וויפּיעל אומשולדיגע קינדער, געבעק, קומען עס אױף דער העלט אױז אַב פֿאַר די זונד פון זײַערע עלטערן, וואָס גלויבט זײך זײ גאַרשקײמען, דרעהען זײך, נמץ זײך און לאָזען אײבער די קינדער, וײער פּלייש און בלום, הפּקר ווי אױפֿן וואַסער! וואָס געהט זײ אָן קינדער! זײ האָבען אין זײנען נאָר דאָס נפּשיל, זײער אײגען נפּשיל אומלױבער פון די שטענע עלטערן האָט ווימער חתונה...

אױך בײן געבליבען ווי דערוואַרען אין דער מיט פונעם שמועס. אלטער מײנער, זעה אױך, אױז צוקאַכט, אױס מענש, עס סהוט מיר באַלד טאַקע אַ קלאַפּ אין האַרצען: אַי, האָב אױך עס בענאַנגען אַ מאַוסען פּעהלער, זײך אַרויסצוזאָפּען פֿאַר אלטערן מיט אַעלכע ווערטער, וואָס זענען צוגעפאַסט צו איהם און האָבען איהם געשטאַכען אין דער זיבעטער ריפּ: עס סהוט מיר שרעקליך באַנג, אױך שטראָף מױך אין האַרצען און זאָג מיר אַליין מוסר: געוואַלד, מענדל, מענדל, שױן צײט קומען צום שכל, נישט אַרויסצוזאָגען יענעם דעם אמת ווי אַ יונגעל! ביסט דאָך, ברוך-השם, שױן אַ יוד מיט אַ גרויסער פֿאַרד. שױן צײט זײן אַ מענטש, פֿאַרשטעקן וואָס זײך אױז גנזליך און גוט. אַי, דײן צונג, דײן צונג!...

אױך האָב מיר אין האַרצען אַ גרד געגעבען, ווימער מױך צו הימען מיט אַ וואָרט, הערען, זעהן און שווימען — די גוטע מדה פון אלע קלוגע, פּינע לײט, וואָס אױז נױטיג אין לעבען. אומלױבען וועל אױך נאָר לױבען, בעליבט צו מאַכען זײך דערמיט ביים עולם. עס האָט מיר זײך פֿאַרגעשטעלט גאַנצע סהנות אונטערע גוטע מענשעלעך, פעטערס מיט שײנענדיגע פּנים'לעך. זײ דרעהען זײך אהין און אהער, חבר מיט דעם, מיט יענעם, טאַנצען אױף אלע חתונות, האָבען שטענדיג נאָר הנאה, קישען זײך מיט אױטליכען, וואָס ער אױז פון אױבען, צוגעהען פּשוט פֿאַר פּרײד, דערענדיג מיט יענעם פון זײן גליק, ווינשעווען

פּישקע דער קרומער

איהם צו מיט טרעהרען אין די אױגען און מיט אַ זײט שײכעלע אױף די לױפּלעך, צולענען אױף סעלערלעך יענעם גוטסקײט און גיבען איהם עולם-הבאָה מיט דער פּולער האַנד; לױפּען אָנזאָגען בשױות, געפּינען זײך אומעטום, וואו נאָר ערניץ אַ קערמשייל, אַ שמחה, תּמור שײנען זײ די אױנעלעך, דער שטערען גלאַנצט, די בעקלעך פּער-פּאַרצט, די נאָז פּױכט מיט ווימפּערלעך, זײ זענען צופּירדען, פרעהליך און קוועלען נאָר אָן... אַז וואויל אױז אױך, פעטערס פון היינט אָן בײן אױך אױך אַ פעטער. עפּים האָט מיר דער נאָמען פעטער אָנגעהױ-בען צו געפּעלען, אױז אַז עטליכע סאָל האָב אױך עס פֿאַר מיר אַבערעהערט מיט גרויס פּערגענגען: פעטער פּעטער מענדעלי! פעטער ר' מענדעלי!...

כּבּדי צו פֿאַרגלעטען מײן פּעהלער אַקענען אלטערן, הױב אױך אָן אױף איהם דחמות צו האָבען און אײנעהמען איהם מיט גוטע דײדעלעך: ר' אלטער, אױך אױז, געבעק, נישט גוט צו זײען, אױדער שפּאַרט שױן, געבעק, אָן פּײם עק וואָגען; עס מוז אױך, געבעק, וועה סאָן די בײנער פונעם צופּיעל זײען אױף אױן אָרט: קומט, אױך בעט אױך, צו מיר אױפֿן וואָגען, דאָרט מאַך אױך אױך אַ גוט געלעגנען; מיר וועלען געהמען צו בײסלעך בראַנפּען, זײך קריכען אלע אַראָב — מײן אלטער לאָזט זײך נישט לאנג בעמען, מיר קריכען אלע אַראָב פונעם וואָגען. בײן סכּבד מײן פּערדיל צו שלעפען זײך פֿאַראױס, אלטערס שפּאַצע איהם פון הימען. מיר צוגעהען זײך אַביסעל די פּײס, קריכען אױף דערנאָך צו מיר, דערענדיגען דעם אַשר-יצר, מאַכען להײם, אױך בײן זײס ווי לאַקריצע, ווינשעווען אלטערן אָהן אײז עק, מיט טרעהרען אין די אױגען פֿאַר גרויס פּרײד, גלאַס אזײ זײך. זײ אַ פעטער. דער-וואָרט אױך פּישקען, גיב איהם אונטער היג, רײן איהם דעם יצירה-עס צושפּילען איהם זײך די געבליטען און די מעשה הױכט זײך אַצונד אָן.

בײ מענדעלי מוכר ספרים אױפֿן וואָגען, פּישקע הױכט וועדער אָן אױף זײן שטייגער אױך העלף איהם אונטער, בעסער אױס אױף מײן שטייגער, אלטער האָט קײן צײט נישט, מײכט אונטער אױף זײן שטייגער, און ד מעשה דערצעהלען זײך ווימער אױז:

אױפֿן אַנדערען סאָג, פּרײמאָג, אױז אין בית-מדרש דאָרט אױז

ייחודלע מוכר ספרים

שמעוטרטל געווען שרעקליך ענג פון די אַרמעליים, וואָס האָבען זיך געשמופּט, צונויפגעשטיקט אַרום דעם שמש, אינליכער בעזונדער האָט געוואָלט זיין דער ערשטער, בעקומען דעם בעסטען פּלעט אויף שבת צו אַ גנדי, אָדער צו אַ יוסטען בעל-הבית, וואָס מאכט אַ פעטען קוגל. העכער פּון אלע אַז געשטאנען דער פּלעט צו דעם בעל-טאַקע. גורדיגער פּון אלע שמעהען געוועהנליך די פּלעטען צו בלי-קדוש און קהלים-לייט, ווייל זיי האָבען ליעב אליין גוט צו פּרעסען און יענעם גיבען זיי ספּות. די גבאים פּון חבּרות קרעכצען, זיפּען אויף יודישע אַרמעליים, געבען, און עסען גיבען זיי אויף אַ שפיץ מעסער. נאָר אויף צו בעשמירען די ליפּען, אַרמעליים האַלטען פּאַר אַ אומ-גלוק צו זיי אַריינפאַלען און וויכען זיי ווי אַ עיפּוש. בעקומט איינעל צו זיי אַ פּלעט, לאַכען די איברוגע ווי פּון איינעם, וואָס בעקומט אַ בערדע... דער שמש פּונם בית-סדרש און געווען זעהר ביי, ער האָט געשריגען, אַז היינט זענען דאָ אַרמעליים עפּים מעהר ווי תּמיד. — קבצנים! האָט ער געשריגען, וואָס זענט איהר ווי די היישרעקען בעפּאלען אונזער שטאָרט, געבען זי נישט אויסצוגלעטען, נישטאָ וואו אַיך אַרדינצונאָן! נאָר אַ שטראָף פּון גאַט, אַ אַנשיקעניש! — ער שרייבט, בייזערט זיך און די אַרמעליים טהוען וויערס, שמופּען זיך און הערען נישט קיין וועלט. איין קול: מיר! גוט מיר, מיר! אויבליכער רוקט דעם שמש אין האַנד אַריין עטליכע גראָשען. דער שמש, וואָס זאָל ער, געבען, פּאַן. געהבט צו, בייזערט זיך און גוט פּלעטען. איך מיט דער האַרבאַמע זענען מיר געשטאַנען אין דער זייט פּונדערווייטענס. ערשטענס, האָבען מיר נישט געקענט און, צווייטענס, טאָקי נישט געהאַט די הענה זיך צו שמופּען צווייטען אונזערע בערען, מוהסיס. פּיינע פּרויט, אומענס וזענען דאָ בערען, אַריסמאַקראַמיצען, אַפּיל צווייטען קבצנים, די אַרעמע אַריסמאַקראַמיצען זענען נאָך מויענט טאָל ערגער פּון די גנדישע... דער ממור איז געווען, עס פּאַרשטעהט זיך, איינער פּון די ערשטע, ער האָט פּאַרד בעקומען צוויי גוטע פּלעטען פּאַר זיך און פּאַר מיין ווייב, זיי האָט אַפּיל פּערשפּאַרט זיך צו שמופּען. ער האָט דעם שמש אַנגעוויזען אויף איהר פּונדערווייטענס! קוקט נאָר, זייט מוחל, אָט דאָרט שטעהט זי, מיין בלינדע, געבען זיך אַז דער עולם איז אוועק, זיך צולאָזן איבער דער שטאַרט, אינליכער טוט זיין פּלעט צו זיין בעל-הבית, בין איך מיט מיין האַרבאַמע צו געגאַנגען, אויף גאַטס בעראַטה, צום שמש און געבעטען פּאַר אונז פּלעטען.

פּיטשע דער קויפּער

ער האָט עפּים מיט אַ זיס-זויער שמיכעלע אויף אונז אַ קוק געניכען און נישט געענטפּערט קיין וואָרט. — דערפאַרעכט זיך, זאָג איך צו איהם, אויף צוויי נפּשות, קאלעקעס, געבען. אַ גאַנצע וואָך קומט אין אונזער מויל קיין לעפעל געקעכט נישט אַריין.

— נישטאָ מעהר קיין פּלעטען, ענטפּערט דער שמש, איהר האָט דאָך געזעהען, וואָס דאָ האָט זיך ערשט געטאָן, נישטאָ ציין וואָהין צו שיקען.

— נאָט אַיך, זאָג איד, און שמופּ דעם שמש אין דער האַנד אַ זעקסער, געהבט, זייט מוחל, און דערפאַרעכט זיך אויף אונז, זייט אונז סחיה, איהר וועט האָבען אַ גרויסע מצוה.

— הער נאָר די רופּט זיך אָן דער שמש שוין אַפּיסעל וויכער. דיין געלד בעראַף איך נישט, איין פּלעט געפינט זיך נאָך ביי מיר און קען איהם איינעם פּון אַיך געבען, אויב איהר ווילט, וואָרפּט צווישען אַיך גורל.

— גוט איהר, איהר גוטס— בעט איד און וויין אָן אויף דער האַרבאַמע.

— איהם ניט, איהם— בעט די האַרבאַמע און ווייט אָן אויף מיר— ניין, איך וועל דעם פּלעט אַבו-חזיר נישט געהמען!

אַ הויכע צייט איז אוועקגעגאַנגען מיט בעטען און דינגען זיך, איינער דעם אַנדערען האָבען מיר איינגערעדט צו געהמען דעם פּלעט און אינליכער פּון אונז האָט זיך אַבגעזאָגט געשוואוירען, ער וועט עס בשום-אויפּן נישט געהמען. דעם שמש האָט די זאָך עפּים גיאה געטאָן, ער האָט געגלעט דאָס בערדיל און געקוקט אויף אונז זעהר פּריינדליך.

— ווייטס איהר וואָס רופּט ער זיך אָן, נאָך מעריב זאָלט ביידע שטעהן אין פּאַלעש געבען דער מיר. אַז דער עולם וועט גערן פּונם דאווען, וועלען זיך סתּמא געפינען יודען, אַיך צו געהמען אויף שבת, איך וועל פּאַר אַיך אויך בעינען.

אזוי איז טאָקי געווען. נאָכ'ן דאווען פּרייטאָג צו נאכט, אַז דער עולם איז געגאַנגען פּון דער שול, האָט דער שמש זיך געווינדעט צו צוויי בעלי-הביתים אין פּאַלעש און זיי געבעטען, וויזענדיג אויף אונז, צו געהמען אורחים אויף שבת. — איך האָב, כּילעפען, שוין קיין האַרץ נישט געהאַט, האָט ער זיך פּאַרענפּערט, צו שימען אַיך היינט פּלעט.

בערענדיג מיט דער צהר

מען, און לאז איה נישט אויס כמעט אלע וואך. נאר אויב איינער
 נעמט ווילען איז, נעהט אים די דאווען ארבעלייט.
 — און 1 — האבען ביידע זיי אגענויפטן — וועלכער יוד זאגט
 זיך עס פון און און אורח אויף שבת? איין טאג אין דער וואך איז
 דא, וואס א יוד קען האמש אביסל עטהען, פאר וואס זאל ער אין
 דעם הייליגען טאג אויך נישט מחיה זיין נויטערע פרעגונגען, נעבען, און
 טיילען זיך דערמיט, וואס גאט האט געגעבען? מיר בעפען איהן.
 שמש, אלע וואך, אלע וואך טאקי זאלט איר און אונז נישט פארנעמען.
 די בירדע בעל-הבית, זענען געגאנגען פאראויס, ארום זיי קיי-
 דערלעך — יונגעלעך, בחורים, אויסגעצוגאנגען און אגעטאן שבת'דיג.
 אלע האבען געשיינט און געשמועסט צווישען זיך פרעהליך. מען האט
 געווען בעשיינעליך, אז אין זיי איז דא די נשמה-התורה, דעם
 יודענס צווייטע שבת'דיגע נשמה, איה מיט מין הארגאנגע זענען נאך-
 געגאנגען שטיל פון הינטען און בירדע געווען עפס צופרידען.
 — גוט שבת — האט מין בעל-הבית, אריינקומענדיג אין שטוב.

געוואנט פרעהליך דעם ווייב, וואס איז געווען אויף אבייטקל ריין.
 קלאר אגעטאן און געלויבטען ווי א פריגעסין, אויפן שוים ביי אורח
 האט זיך געשפילט א קליין קינד נאר א ליאלקע און ביי די זייטען
 זענען געשפרונגען צוויי שענע אויסגעפוצטע מירלעך. — גאט האט מיר
 בעשעהרט א אורח אויף שבת, זיסט מין ווייב, וואלסטו דאך מיר
 און שטוב נישט אריינגעלאזט — לאזט ער אויס מיט א שטיינעלע און
 נעהט זיך זאגען הייך אויף א קול, שלום עליכם! געהענדיג
 איבער דער שטוב אהין און אהער. ביי, אשתי חילי, האט ער זיך
 געשטעלט, זינגענדיג מיט א ניגון, אקענען דעם ווייב, גענומען דאס
 קליינע קינד צו זיך אויף די הענט און עס געקויפט, געהאלט, בשעת
 די אויבערדיגע קליינע קינדער האבען זיך אורח געהאנגען פון אלע
 זייטען לעבעדיגע פרעהליך. עס האט זיך געראכט, אז אין שטוב זענען
 טאקי געקומען די נוסע הייליגע מלאכים פונם, שלום עליכם! — איה
 דעריבער עס איז דא אוי, ווייל דענסטאל האט מיר דאס הארץ
 עפס שטארק געצויגען און געצויגען צו מין הארגאנגע מירלעך....
 מין בעל-הבית, ווי עס האט אויסגעזעהן, איז געווען פון מיטלען
 שטאנד, די בענשליכט האבען געברענגט און ריין געווען פון מיטלען
 ליכטער, איה ווייס נישט — פון אמתן אדער פון ווארשאווער זילבער.
 דער טיש איז געווען גענויט מיט פארגעלייגעטע מעלעך און די

דייטש דער קהילה

קולישטען אובערדערעקט מיט א געשטיקט מיטשטובל, א פליענעל היין
 האט געפליעלט אויפן טיש, פון וועלכען אימליכער האט קירוש געמאכט.
 ביים עסען האט די בעל-הבית'סע מיר געגעבען אלצייטונ גענוג און
 זיך אליין געבעטען, אונטערדערמירבען, זיך נישט צו שעדמען און עסען.
 ס'איז געווען גאנץ גוט, נאר מיר איז אביסלע נישט איינגעגענגען, אז
 איה האט ביי אימליכט שטיקעל פיש, ביי אימליכען ווי לאקשען, ביי
 אוימליכען ביסען פלייש און צימעס, מיר דערמאנט אין איה. ווער
 הייסט, אויב זי, נעבען, האט דאָרט אזא וואוילטיג ווי איה. נאך דעם
 עסען האט מען מיר געבעטען אויף נאכטלענער. — לאָז ער בליבען
 דאָ געבטיגען, האט די בעל-הבית'סע שטילדערהייט געוואָנט צו דעם
 טאָן, וואוהין וועט ער געהן אהין, אין דעם שענעם הקדוש, אין דעם
 שטאַל, לאָז ער האָטש א נאכט אביסלע זיך אויסרוהען, — נאָך געכטיגער
 נאכט, נישט היינט-דערמאכט, איז מיר טאקי שטארק נייטיג געווען אויס-
 צוהען זיך, אפשר נאָך נייטיגער פון עסען, עס וואָלט געווען נאָר
 אַדערקויקעניש, צו לינגען דאָ אין א וואַרמער שטוב אויף א קלישען און
 אויסליכען זיך אביסלע די בייער. נאָר איה האט מיר אַבער דער-
 מאַנט אין איהר און מיט א שענעם דאנק זיך אַבערזאָגט פון נאכטלענער.
 זי האט געבעטען שבת אויף דעם אייגענעם הויף טאקי אין א שטוב.
 איה בין אריין אהין נאך איהר, האב זי גענומען און מיט איהר
 פּאַלד אַוועקגעגאנגען.

אין ס'איז געווען מחיה גוט צו געהן.
 — קום! האב איה צו איהר געוואנט, קום, לאמיר אביסלע
 שפאצירען, אין הקדוש אריין איז עפס נישטאן אזוי וואס זיך צו אילען.
 דערמאנענדיג זיך אין דעם הקדוש, איז מיר א פראגט איבער
 דעם לייב איבערדענגאנגען. יענער אלמער יוד, דער קראנקער, וואס
 היינט געבעטען דאָרט ביי נאכט אזוי געקריכענט, האט פון מאַרגען פריה
 געהאט די נוסת, געפאַבט מיט דער נשמה — און איז נאָך ליכטבעני-
 שטן געשטאַרבען. מען האט איה געלענט איבער שבת אין הויז,
 דאָרט וואו איה האָב בעדאָרפס געכטיגען.
 מיר זענען געגאנגען און פּערזאָנגען ערניץ אין א געטיל מיט
 גערטער און בייטער, וואס האבען ארויסגעגעבען געשמאקע ריחות.
 אומעטום איז געווען שטיל, מען האט נישט געהערט קיין שאַך, אלע
 אין שבערטיג האבען, זיי דער שטייגער פון יודען פרייטאָג צו נאכט

נאך דער העמטערע, שוין לאנג געשלאפען, מיר האבען זיך געזעצט אויפן גראָן ערגיץ אין אַ ווינקל, געבען אַ פלייס.
 מיר זיצען ביידע, קוקען אַ היבשע צייט און שוויגען, אימליכער פון אונז אין פערטראכט, מיין האַרבאמע מוהם דערנאָך אַ ויפּן מיטען פּוּנים האַרצען און ברוּםט שטילערהיים פאַר זיך זעהר טרויער, דאָס בעקאַנטע לידעל:

דער טאטע האָט מיר געקוילעט,
 די מאמע האָט מיר געגעמען...

אויך גיב אַ בליק, טרעהרען ניסען איהר זיך פון די אויגען, עס פלאַמט איהר דאָס פנים, זי קוקט אויף מיר און שמייכלט זעהר בעטריבט. די כוחות האָט זי מיר אַרויסגענומען מיט איהר קוק דענסטמאָל אויף מיר, עס האָט מיר פאַרקלעהרט דאָס האַרץ, געקלאַפט זיי מיט האַמערס אין די שלייפּען, אויך ווייס נישט, וואָס טוהט זיך אַזוינס מיט מיר און... צום ערשטען מאל חאַפּט זיך מיר עפּים אַליין פּוּנים מויל אַרויס, נישטא מיינע...—א, פּישקע, זאָגט זי שטיל און וואַרנט זיך מיט טרעהרען, אויך וועל עס נישט אימבאלאטען, אַ שטעקע אויך עס אַביסעל פון איהם אויס!—

פון העמען?— רוף אויך מיר אַניעט אַנגעזענדען— פון איהר פון דעם מוהם אַ קיינק איהם אין די בייניע אַיאָן!

— אַי דו זאָלסט וויסען, פּישקע, דו זאָלסט וויסען!...
 אויך נעהט זי אַניעט ביי דער האַנד, ביים קאַפּ און בעט זי מיט טרעהרען אין די אויגען, מיר אויסצוגעסען איהר שווער, ביטער האַרץ, זי לענט אַרויף ביידע הענד אויפן פנים, ביים זיך אַניעט גאָהענט צו מיר און נישט מיר איבער אויף אַ ציטערדיג קול, מער אויף דעם וואונק, עפּים אַזוינס, אַז דער רוח מען טאַקי האַפען דעם סכּוּר, ער זאָל קיין הַחַיִּה-הַמּוֹתִים נישט אויפּשטעקען!—

פּישקע איז זייער געבליבען שטיל, עפּים שטאַרק צוקאַכט אַז פּעראַומערט, און בכרי איהם בערדיענדיג צו טאַכען, אַרויסצוהאַרע-טאַפען ביי איהם אַלצרינג, וואָס מיר האָט זיך געגלונט צו-וויסען, הויב אויך איהם אָן אונטערצוהיידען, אַביסעל צו רייצען און טרע אַזאָג אַזוי:

— די האַסס נאָך נאָר נישט געזאָגט, פּישקע, אייב ריין האַר-באַטע איז אַ שטען מיידל, וואָס קען, דאַכט זיך, אַ האַרבאמע מיידל, אַזוי געפּעלען!

— וואָס הייסטו!— מאַכט פּישקע שטאַרק אויפּגעראַכט— ווער דעמט ביי אַ ווירטישער מאַכטער פון עטניקייט! אַז זי איז שטען, איז זי פאַר זיך שטען, וועמען געהט עס אַניעט? די האַרבאמע איז אמת טאַקי נאָר ניט קיין מיאומע, אַ פנים, אַקאַפּ מיט האַר מלא חן, אויגען אַפּאַר האָט זי, נאָר ברייאַנטען, נאָר וואָס וואָלט מיר דען אַלצרינג אַנגעזענדען?... עפּים אַ שאַלטיק בין איך, אין זינען צו האַבען אַוועלע זאַכען, נאָכצולויפּען שטענע נקבות?... נאַרישקייטען!... מיר האָט גע-ניסען איהר גומסקייט, איהר גומסקייט, דאָס רחמנות האַבען איהרם אויף מיר, זיי אַ שוועסטער, און ווידער צוריק, דאָס רחמנות האַבען ביים אויף איהר, זיי אַ ברודער אין דער נויט, — אָס וואָס!...

— מילא, וואָס מאַכט עס אויס? — רופּט זיך אַלבער אָן— זיי זאָגט מען עפּים: לאָז זיך זיין פון מיוועל, אַבי עס זאָל הייסען פּיבעל... בקיצור, האָט זי דיר איבערגעגעבען עפּים אַזוינס, גו פּישקע, וואָס-זשע איז דאָס עפּים אַזוינס, גו, גו, גו!
 אַלבער טרייבט אונטער אויף זיין שטייגער פּישקע הויבט אָן אויף זיין שטייגער, אויך העלף איהם אונטער, בעסער-אויס אויף מיין שטייגער און די מעשה דערצעהלט זיך ווייטער אַזוי:

— קנייפען האָב אויך שוין לאַנג געטערקט, זיי דער סכּוּר,

ספרות פאר אונדז

אויף אים איז ד' ביניע אראן פלעגט קניפען א סאך די האר-
 באפע, געבעה. אויך האב געמיינט, דאס זענען זיך גלאס אזוי קניס
 פון ארשע, וואס שלאגט פייניגט א מענשען, געבעה. נאר אי עס האט
 זיך פון איר קלאנג-זיך רענסטאבל פאר מיר דערווייזען, זענען דאס
 געווען נאך אנדערע מיני קניס. עס האט געהאט עפס נאך איין אנדער
 מעס... פער יוד-הרע-קניס... דער סמור פלעגט זיך צו איר שטארק
 שטעפען. ער פלעגט זי נישט לאזען צוריה. האט ער זי רעכטאפט
 א סאך ערניג אליין, איז ער צו איר צוגעשטאנען מיט זיסע ריידעלעך.
 אזוי און אזוי, גערעדט פאר פייער, פאר וואסער, צוגעזאגט גילדענע
 בערג, און אז איר האט נישט געהאלפען מיט גוטען, האט ער אג-
 געווייבען מיט בייען, געמאכט א מורא, ער וועט איר פערבייטען
 דאס לעבען, ארויסלאזען אויף איר א שלעכטען ריך און איר כאן
 צום מוים, און דערביי סאך זיך געפויפט א חאפ טאן זי מיט גוואלי.
 געענדיגט האט זיך עס געוועהנליך דערמיט, וואס זי פלעגט זיך
 אויסרייסען פון זינע הענט, אירם דערלאנגען א סאך נאך א זען און
 ציך, אז דער רוח האט אירם גענומען, ער פלעגט עס איר אויסרייסען
 לען דערנאך מיט פראצענט, זי פייניגט מיט ארבייט און אויסרייסען
 איר שטיקער פלייש, שפעטער אביסעל האט דאס אייגענע סאך זיך
 אָנגעווייבען ווידער אויף דאס ניי, וויסער מיט גוטען, וויסער מיט
 בייען, וואס מעהר זי האט אירם געוויבען, איז ער אלץ מעהר צו
 איר צוגעשטאנען, און פארבייגעהענדיג א סאך פלעגט ער זי פאר
 מענשען א סארקע טאן, קלאַפערט אומערן, אויך דערלאנגען א קניס,
 גלאס אזוי זיך.

אזעלכע מיאכע מעשיות מיט איר האבען זיך געמאכט זענען
 אָפּט, וואָס אויך זיך פאר דעם מויל נישט ברענגען, נאך די גע-
 טיגע איז געווען פער, פער, א שרעק! געבען בי נאכט נאך דער
 בייער סדומה אין הקדש, אז דער גאנצער עולם דאָרט האָט ער
 געשלאָפּען און זי די האַרבאָמע, געבעה. האָט איינגעהויקענען אין
 צעהנטען נישט ווייט פון דער טיר, און אויבקעלע אויך געדעמעלט.
 וועקט זי פּלוצלים אויף עפּס אַ שוויקען איר און אויער אַררין, דאָס
 איז נשוטן דער סמור. — דיר, געבעה, איז שלעכט דאָ צו לינגען,
 רעדט ער צו איר מיט רחמנות, קום, איך האָב פאר דיר זענען אַנט
 אָרט, וואו דו וועסט קענען זיך אביסעל אויסרוהען, געבעה, זי ראיגט
 אירם זענען פאר זיך נישט האָרן און בעס אירם, צו נשון און

זיך רוח אַררין, ער הויבט אָניעט זינע אָנשטעלען אזוי און אזוי, ער
 נישט איר אויף אַנצהרעניש פון מיר, אז ער ווייסט, נישקשה, איר
 מחתבה-שאַפּט מיט מיר... ער שרעקט זי, אז קיינע וועט זי פון אירם
 די ערד און מיר וועט ער דערנאָך דעם עק, דער רוח געהט אירם,
 דעם סמור, און סאָט אויס אירם אַחה-רעה און אלעמעלע צוגלייך
 און איין צייט, ער איז גוט, ער איז שלעכט, ער ווערט אַ שיינען
 און... האַפט אַ ברהאָר אין באַק, אז די ציידן פאלען אירם שיער נישט
 ארויס, עס צושפּילט זיך אין אירם די רציחה, ער מוהט זי אַנעהם
 ווי אַנגלן און גיט זי אַ שלידער אין הויז אַררין, וואָס וויסער איז
 געווען, ווייסט אירם דאָך שוין.

נאָך דעם וואָס די האַרבאָמע, געבעה, האָט מיר איבערגעגעבען
 דענסטמאָל, זינענדיג מיט מיר אויפן גראָן, בין איך אַהיבשען צייט
 געבליבען ווי דערשלאָגען, אַהן לשון, נאָך אינוועניג האָט עס מיר
 געצופּט געגעסען ווי אוואַרעם. עס האָט מיר געגעסען אַ ברענענדיג
 געפיהל פון בעס אויף דעם סמור, אַהיים וודוי געפיהל פון רחמנות
 אויף איר, געבעה, און נאָך עפּס אַזעלכס נאָך אַהן אַנאָמען, וואָס האָט
 מיר געצויגען, געצויגען... און אָנגעהאָפּט ביים האַרצען, פּלוצלים האָט עס
 מיר געגעבען אַ שטאַרקען ציה, אזוי, אז דאָס האַרץ איז מיר שיער
 נישט אַרויסגעפאלען, אויך געהט זי אָן ביי דער האַנט, וואָס איז
 נאָך געלעגען אויף איר פּנים און כּוה אַזאָך עפּס נישט מיט
 מיין קול ?

— נשמה מינע! דאָס לעבען וועל אויך פאר דיר אוועקגעבען.
 — אַך, פּישקען! — זאָגט זי מיט אַזאָפּן, סוהט זיך אַרדק
 געהענטער צו מיר און שפּאַרט אָן דעם שטענען מיר אויפן אַקסעל.
 עס ווערט מיר עפּס ליכטיג אין די אויגען, וואָרט כּוה און
 אלע מינע גלירער, אויך רעד און געהט זי איין ווי אַגעטייע שוועס!
 מער מיט גוטע ווערטער, מרייט זי: נישקשה, נאָט וועט העלפען!
 און שווער איר, אז אייביג וועל אויך איר זיך אַגעטרייער ברודער.
 זי מוקט מיר אַררין אין די אויגען, סוהט דערנאָך אַזוי שמיכלע און
 זאָגט, אַראַבאַלענענדיג דעם קאָפּ:

— אויך ווייט נישט, פאר וואָס, פּישקען! מיר איז אַזנר עפּס
 נישט אויפן האַרצען, עס גלוסט זיך מיר לעבען...
 אַהיבשען צייט האָבען מיר אוועקגעשמועסט מיט אַנינג האַרץ
 און דער געמאכט האַפּנונגען. ווי נישט קען העלפען מיר זאָלען נאָך

פּישקע דער קרומער

זען אין רוקען: — וועסט שוין נישט קראנג ווי צו ווארטען אביסל פון איה וועל פארנעהמען צו מיר אין מאָרבעלע דאָס געבראַטענע הינהעל, דעם פאלומעשיק פיש מיט דעם שיםעל פעכשע, וואָס איה האָב אין אַיילעניש אַיבער דיר דאָ איבערגעלאָזט. עס האָט נישט געדויערט קיין יאָר, נישט ער מיר הייטער אַזעל.

— צעהל, פישקע! זאָגט ער, נישט איינס, נישט צוויי, נישט דריי, פינף, פינף... דאָס האַסטו דיר פאר מיר, אַזונד לעג איה איה אַקניטיל פאר דער האַרבאַטער. צעהל פישקע! נישט נין, נישט צעהן... וואָס איז דאָס פאר אַגאַנג אַרומשעלעפּען זיך מיט אַטיידל פיינאַכט אין פערבאַרענע ערסער! — נישט צוועלף, נישט דרייצען... איה האָב דיה, נישקשה, געזעהן פרידער, אַרומשפּאַצירענדיג מיט אורד איה הונטערשעלעך... נישט זעכצער, דאַכט זיך, נישט זעכצער... — עס האָט אין מיר זיך אַנגעזונדען דאָס בלוט פון זינע לעצטע ווערטער.

— מבור! טוה איה אַנעטיר, די ביסט נישט הערטה צו דער־מאַנען איהר נאַמען, — שפּרינג דערפֿי מאַקי געשווינד אויף און עס־זיך אין איהם איין מיט די ציידן, סאַזן אַמלחמה איה מיט די ציידן, ער מיט די הענה, פיייע האַבען זיך שרעקליך פינד און איינער דעם אַנדערען וויל מאַכען דעם מוים, ער רייכט מיה מיט פּוּח פון זיך אַזעק, האַלט מיה שטיף אין די הענד, קוועטשט מיה, אַשרעק, און טוהט מיט מיר דערנאָך אַזאַרף ווייס פון זיך, ווי מיט אַ קיילכלעל.

— בענש נומל, זאָגט ער, וואָס מיט חסד, וואָס מיר קומט עפּים נישט אויס, דיה דאָ צו בעל־דברין, בלייב דאָ, פישעלע, זיך אויסרוהען ביו מאַרנען, אַנשטאַם די געפילטע פיש וועלען זי מאַרנען האַבען אַלבערדיג פישעלע... אַנמע נאַכט! וואָס זאָגסט דו אַן עפּים צום ווייב? זי וועט נאָך היינט בעקומען דעם גרום.

מיט די ראַזיגע ווערטער געהט ער אַזעק און פערבאַכט זי מיר.
די ערשטע זאָך סיניע, אַז איה פון צו־זיך געקומען, איז געווען צו געהן צו דער טיר, איה רייס זי און רייס, אומבוסט די מיה, זי איז גוט פאַרשמעקט פון דרויסען, איה ווייס נישט, וואָס צו מאַן קלאַפען שטאַרק האָב איה מורא, מען זאָל נישט דעהערען און אַזוי בלייבען איז איה שלעכט, איה שטיעה און דער קאַפּ דעהרט נישט מיר

אַ מאַך אויפגעריכט ווערען אַזוי ווי מיר פיייע ווינשען. פּלוצים הערט זיך נישט ווייט פון אונז אַביסל אין דער זייט עפּים אַ קלאַפען. איה קיך מיר אַרום, לאָז מיר געזען פאַמעליך עטליכע טריט האַרט געבען דעם פלייס אין שאַטען און דערזעה אויף יענער זייט געסיל אַקצען עפּים אַגעשטאַלט פון אַ מענשען, וואָס באַפּרעט זיך איבער אַ קלעיער. עפּים האָט עס מיר אינוועניג געטראַגען, געשמוסט ווייטער אויף אַ פּאַר־טריט, גוט צוקוקענדיג זיך און... אַ קיינע איהם אין די בייניע אַינע! דאָס איז געווען דער מבור, ער דרעהט אַב דאָס שלעסעל און ווערט באַרד אַרשוואַונדען אין קלעיער אַריין, אַרויסצוגינגענען אַלדרינג, וואָס מען שטעלט געווענהעטליך אַראָב אַהין אויף שבת, ווי אַ בלייז לויפט אין מיר דורך אַ געדאַנק: פּישקע! אַ צונד זיי זיך אין איהם גוקט פאַר דיר און פאַר דער האַרבאַטע, געבען. אַ צונד האַסטו זייט, גיכער מאַך צו די טיר מוים קלעיער און לאָז ער לינגען דאָרט געפאַנגען ווי אַ פּער אין דער געץ, ביז מען וועט איהם מאַרנען דערטאַפען, איהם ברעכען אַ בייין און געבען זיין פּסק. ערשט דענטמאַל האָב איה געפיהלט דעם טעם פון גוקט זיך זיין, ווי גוט, ווי געשטאַק דאָס איז; עס האָט אין מיר געקאַכט דאָס בלוט און איה בין געווען דוּל ווי אַ שכור. צו־לויפּען צום קלעיער, אַ געהט טאַן די טיר און צומאַכען זי מיט אַ קלאַפּ — דאָס האָט נישט געדויערט קיין סך צייט. אַצונד ליג דאָ בענגאַבען ווי אַ הונט! זאָג איה אַליין צו מיר מיט אַ לעכעלע. טוה אַ געהט די קליאַמקע און וויל פאַרשטעקען, דער סקאַבעל אַבער איז אַבגעבוירען אין דער זייט, איה ציה, שלעפּ, אומבוסט! עס שטעהט נישט צו, איה טוה מיר אַן אַ כוּח, דערלאַנג אַ ציה מיט ביידיע הענד און אַט־אַט האַלט עס שוין אויף אַ שטייגער — פּלוצים טוהט זיך אַ עפען מיט אימפעט די טיר פון אַ געוונטען שלעפּ אינוועניג און אין פּייה אַריין אין קלעיער, אַנשלאַגענדיג זיך מיט דעם דעם מבור דאָרט אויפן טרעפּיל. — אַזוי, ר' פּישקע! מאַכט דער מבור נאַכדעם ווי מיר זענען געשטאַנען אַ וויל איינער אַ קעגען דעם אַנדערען שטיל, — דאָס האַסטו מיט דיין כּוּח אַליין זיך דאָ געפאַרעט מיט דער טיר און געוואַלט צוליב מיר כּוּחלע שבת זיין! זעהר אַנגעלעגנט, כּלעבען, קום, קעצעלע אַ ביסעל אַראָב אונטען און לאַמיר דין האַטש אַ ביסעל מכּבד זיין... ער טוהט מיר אַ שטופּ פון די טרעפּ אַראָב, איה ברעך שיצער נישט האַלדו און געניק איה מיך אַויס אויף דער ערד. אַ צונד, כּלפּ מינער, נאָ דיר דערווייף אַ אויפגאַב, דערלאַנגט ער מיר אַנטען

פאר שרעק, פאר בעס, פאר חקדמאג און יסורים פון די פרישע קלעס. איך געה אראפ פון די טרעף, מהו מיה אוואָרף אויף דער ערד און ליג אין איינע צרות. נאָר דער געדאַנק וואָס מאַרגען וועט דאָ מיט מיר זיין, ווי מען וועט מיר מאַכען דעם גוטען, ברוך-ה-בא, און זיך צוגעפלויען אַנקוקען דעם גנב; עס וועט היסקען, מען האָט מיה געהאַפּט, מיט טויזענט אויסגעטראַבעטע מעשיות דערצו, ווער אין גאָס גלויבט וועט מיה שלאָגען און עס וועט נישט העלפען פון מיין זיט קיין שום תּוּרִיז — אַם דער דאָזיגער געדאַנק האָט מיר געענבערט אין קאַפּ, ווי טוט איין ענדער, און מיה נישט גלאָוט אייליגען. נאָר אין מיטען-דריינען דאַכט זיך מיר, ווי עס דראַבעט זיך עפּים אויף מיר, איך שטרעק אויס די הענט און האַפּאַנעט אַשמשער, וואָס גליבשט מיר זיך פּלינג אַרויס פון צווישען די פינגער מיט אַפּישט. איך שפּרינג-אויף פאַר שרעק, עס ווערט מיר נישט גוט און עס בעי שלאָגט מיה אַקאַלער שוויס. האַלבענדיג זיך קיים אויף די פּיס, כאַפּ איך אַינעס אין דער פינגער אַקאַלער, פּייכטע וואַנד, צו וועלן בער איך רוק מיה צו. איך שטעה אויף אַנגעשפּאַרט אין דער וואַנד און טראַכט מיט אַביטער האַרץ: רבונו של עולם, וואָס איז דאָס פאַר אַלעבען? פאַר וואָס שטראַפּסט-דו מיה אויף וואָלט דען נישט בעסער געווען פאַר מיר, פאַר דער וועלט, אַז איך זאָל נאָר נישט געווען געבוירען ווערען? פאַר וואָס קומט מיר עס אויף... אויף מיה צו בעליידיגען? — בי דעם דאָזיגען געדאַנק פרעכט מיר דאָס האַרץ און איך בעוואַשט מיה מיט טרעהרען, עס וויינט זיך מיר און עס טראַכט זיך: רבונו של עולם, חוּא ביט-דו? איך בלייב דערנאָך שטעץ דערשלאָגען, נישט צווייסיקן, וואָס מיט מיר מהו זיך, עפּים ווי אַגל. פּלוצלם גיט אַסקריפּ די טיר, אַ שטאַלער ליכטיגער פּאַס שיינט אַרײַן מיר פאַר די אויגען און עס הערט זיך טריט, ווי עטיצער געהט שטיל אויף די סרעפלעך. די האָר שטעלען זיך מיר קאַפּיר פאַר שרעק, אַם אָט מהוּס מען מיר אַהאַט און מען רעכנט זיך מיט מיר אַז ווי מיט אַגב, און ווי איך שטעה אויף אין שרעק און ציטערניש, האַלבענדיג אַראַנגעלאָוען דעם קאַפּ — הער איך ווי מען רופּט שטילערהיים מיר ביים גאַמען: פּישקע, פּישקע, — און טאַן פּאַר דערועה איך נעמען מיר זי, די האָרצאַכטיג איך ווער לעבעדיג און מהו אַ געשרי פאַר גרויס פּרייד. — טא: כאַכט זי אַנגעהענענדיג מיה ביי דער האַנד, קום נײַכער אויפן פּון דאָסען.

—

— נשמה, די האַטט מיה דערהאַלמען ביים לעבען שריי איך — שטאַרק צווישט פאַר שמחה און — איך בין זיך מודה, צום ערשטען מאל, אונטערן אין קלער — מהו איך איהר אַקויש... איך פרעג זי, ווי ארום זי האָט זיך אהער גענומען? זי אָבער בשר מיה שוויגען, דערבאַנט מיר, אַז מיר געפינען זיך ביי נאַכט אין אַפּרעמדען קעלער. — קום נײַכער, וועסט וויסען אַלצייג אַביסעל שפּעטער — אַזוי זאָגט זי און פּוהרט מיה ביי דער האַנד אַרויס אויף דער גאַס. געהענדיג אויפן וועג, האָט זי מיר עס ערקלערט נאָר פּשוט אַזוי: אין עמליכע רגע אַרום נאָך מיין אַוועקגאַנג האָט איהר עפּים דאָס האַרץ געזאַגט, סײַז נישט גלאַט, מען בעדאַרף גען אַלע זייטען איך בין, זי קומט צו ביז צום עק פּוינט פּלייט, קוקט אין אַלע זייטען און דערוערט אויף יענער זייט גאס אַקענען שטעמט עטיצער איינגע-פּוינגען נעמען אַרעכיל און פּאַברעס זיך עפּים. טראַכטענדיג, אַז דאָס בין איך, לאָוט זי זיך גען ווייטער און צוקומענדיג גאַהענט האַרנט זי עפּים ווערטער: „אַצונד, ר פּישעל, ליג דאָ אין קעגן ווי אַהנד, סײַז שוין גוט פּאַרשטעקט, נישטקעהי. עס ווערט איהר מונקעל אין די אויגען און זי בלייבט שטען פּערדולט, פּלוצלם וואַקסט פאַר איהר אויף דער כּוּמ, מהוּט זי אַקניפּ און כאַכט דערביי מיט אַשטיי-קעלע; גוט שבת, סקאַזיל קומט, רביצין אַשען מירדעלע, נישטקשהו שלעפט זיך ביי נאַכט ארום אויבער די גאַכען און נאָך קלאַמפּערישט פּרוּם... אַהיים געה, הצופּה, הולטייקע איינע? ער מהוּט זי אַשטופּ מיט דער קניע אין וואַקען און זי כּוּז מיט איהם געהן, נישט צו רעדן קיין וואָרט. אויפן וועג קוקט ער זיך אַלץ אַרום, איבערלייגענדיג די די פּול אַנגעשטאַפּטע טאַרבע פון איין אַקסעל אויפן אַנדערען, פּאַרדעכט נישט דערביי אויך צו שפּעטען און צו מאַכען מיט איהר ווינע אַנשטעלען, זי געהט, נעכט, שטאַרק פּעראומערט, פּעראַנגט זי ווייט, אַז איך געפּין מיה אין אַשלעכטער לאַגע, אונטערליך מיר אַז העלפען, אַז דער כּוּמ האַלט זי נעכען זיך און לאָוט פון איהר קיין אויף נישט אַז. פּלוצים גיבען זיך אַ וויי אַקומפּאַניע יודען, וואָס געהען פון אַפּו-זכּר לעבעדיג-פּרעהליך און רעדן, לאַכען הויך אויף אַ קיל, ווי דער שטייגער פון יודישע קינדער, מען לאַכט עפּים פון איינעם, וואָס האָט זיך פּאַרנעמען און געטראַגען דאָס פּאַטשייליכען אום שבת. דער כּוּמ געהט זיך געשוונד און דער זייט, רעדט זיך אין אַילענדיג.

פישקע דער קרויסער

אלייט? דו מינסט, בלב שבכלבום. דאָס וועט דיר געשענקט הערען ו
 גיין! איה וועל דיר ווייזן, יונגליב איינער, אין דין סאמען אריין,
 מיט דין דראַבקע, אין איהר סאמענס סאמען און סאמענס סאמען
 אריין! מיט איהר אינאיינעם וועל דיר ווייזן, הער עלטער איז —
 נא, נא! הויבט זי אָן טיך צו שלאָגען — נא דיר פאר היינט, פאר
 געבטן און פאר פרייהער, נא, נא, די פפרה זאָלסט זי
 מערען! —

איה רייס טיך קיים אלעבעדיגער פון איהרע הענד ארויס און
 לויף אַפּעט עכליכע טריס ווייס אויף דער גאס. זי שמערת נאָך
 אַהויבטע ווילע אין דרויסען און שרייט, דערנאָך געהט זי אריין אין
 הייז און שרייבערדיג ליגט ווי אַהונד אין דרויסען, פערשפּאַרט זי פאר
 מיר דעם טויער מיט אַשטארקען קלאַפּ.

איה שמעה מיט דער האַרבאַטער, געבעה, אין דרויסען און
 קוקען אונז אָן. בירע זענען מיר שמאַרק בעטריבט, אונז בירע איז
 געשטעלען אויפן האַרצען דערפון, וואָס דאָ איז ערשט געשעהן. די
 צרות לאָזען אונז בירע נישט אינגשטען אויף איר אָרם און מיר לאָזען
 זיך געהן, וואוּהין די אויגען קוקען, איינער מיט דעם אנדערען נישט
 צו רעדן קיין וואָרט, בירע פּערטראַכט, אַז איה בין צו זיך געקומען.
 זעה איה, מיר געפינען זיך אויפן שוהלעהויף. דאָס האַרץ האָט מיר
 גערייסען קוקערדיג אויף דער האַרבאַטע, געבעה, ווי זי ווערט עס
 פּערשפּאַרט. די אנדערע נאָכט, אַז זי האָט נישט קיין רוה. איה
 טראַכט ביי מיר, וואָס ס'הוט מען, וואו ערניג געפינט מען איהר
 אַ נאכטלענער? און עס פאלט מיר אַיין זעהר אַ גוט אָרט — די
 וויבערשע שוהל!

אַז נאָס הינט געהאַלפּען, מיר זענען בשלום אריין, נאָך טויס
 טיה, אויף אַ צעפּראַכען טרעפּל, וואָס האָט זיך געווינט, געשאַקלעט
 אונטער אונטערע פּיס און אין דער פינסטער אַנגעטאַפט אַ אַפּענע מיר,
 פּאַלען מיר פּלאַצלים אויף עפּיס ווייכט, עס ווערט אַ געווענער.
 אַ שפּרינגענדיג אַרומ אונז, אויף אונז און איבער אונז, מיר האַפּען
 קלעפּ, הינטען, אין די ווייטען, נישט צו וויסען, פון וואַנען דאָס איז
 אונז געקומען. איה וואַרף מיר אַהין אַהער, צאפּעל מיט הענד און
 מיט פּיס און האַפּ אָן אַ באַרד, פון וועמען מינטס איהר? אַ באַרד
 פון אַ ציגאַר... דאָס זענען געווען ציגען, וואָס האָבען, ווי געווענליך,

און האַפט זיך אַריין אין אַ שמאַל געטיל. מיין האַרבאַטע האַפט דער-
 ווייז אויך, אַנטפּרופּט אין דער אַנדערער זייט און ווערט אַנטרונען.
 עס פאַרשטעהט זיך, זי לויפט געשווינד מיר אַרויסצונעהמען פון
 דער קלעטה. נאָר שטעלט אייך פאַר איהר האַרצוועהענאָג, אַז זי פּער-
 דרעהט זיך לויפּענדיג אין געסלעך, און קען נישט טרעפּען צום אָרט.
 וואו מיר זענען פּרייהער געוועזען? זי ווייכט, אַז איה בין אין אַ גרויס-
 סער סכּנה. מען בעדאַרף מיר גיבער בעפּרייען, איין רגע איז אַ צונד
 טייער און דאָ דרעהט זי זיך און ווייכט נישט צו מיר דעם וועג...
 אַ היבשע צייט האָט אַזוי געפּרופּט, ביי גאָט האָט געהאַלפּען, זי האָט
 געפונען דעם קעלער און מיר בעפּרייט.

מיר געהען אַזוי בייזע און רעדען מיט אַ פּרעהלעך געמייטה.
 איה איהר: נשמה מינע! דו ביסט מיר היינט בייגעשטאַנען אין די
 נויטען. און זי מיר: פּישקע! דו האָסט מיר געווינט ווי אַ בורדער
 געכטען, געדיינקט-די, דאָרט אין הייז, ביי נאָכט. געכטען... נאָר נישט
 ווייט שוין פון הקדש בעפּאַרט אונז אַ מרה-שוורה און עס געהאָט
 אונז אַב דאָס לשון. דאָס האַרץ האָט אונז געזאָגט, אַז מיר געהען
 נישט אויף קיין גוטס, צפּיס גלאָס וועט שוין די היינטיגע נאָכט אַזוי
 נישט אַבפּרופּען.

איין העלפט טויער פּונט הקדש איז געווען צוגעמאַכט. די
 צנדערע העלפט געביטעל אַפּען, אַזוי, אַז אין דעם הייז האָט פון דער
 גאָס אַררינגעשיינט אַ ליכט. צוקומענדיק צום טויער שטעלען מיר זיך
 אַ וויילע אַנדער מיט אַ פּערקלעהמט הצרף, דערנאָך געהט אין מיר
 צום ערשטען אַררינגעזעהן שטייל. קיים שטעק איך אַריין דעם קאַפּ אין
 הויז, דערזעה איך, כמעט טאַק איך דעם טויער, דעם ממור, ווי ער
 זיצט זיך אַנגעלעהענט מיט מיין ווייב, פּרעסען פון דער סאַרבע און
 ס'הויפּן זיך וואוּיל. דער ממור שושקעט איהר עפּיס אין אויער אַריין
 און ווערט באַרד ווי אויסגעטרעקט. זי שטעהט אויף אין איין פּעס
 און האַפט זיך אויף מיר אַרויף מיט אַ מויל: דו אַזוינער און אַזוינער.
 אין דין האַפטענס סאַטען אַריין! דו וועלט עס ביי מיר די גאַנצע
 געכט מיט אַזע הילטייקע, אַזע דראַבקע אַרומשאַרעלענעווען? דו
 מיינסט אפּשר, איך ווייט נישט דייע מיאוסע גענג? איך ווייט,
 גישקשה, אַרצדינג שוין גאַנג און שטיק געבען, אין זיך, האָב
 אַ פּערפּרופּטע גאַל. אַזוי דאַנקסט דו עס מיר אַב פאַר מיין גוטקייט,
 וואָס איך האָב דיר אַרויסגעפּיהרט אין דער וועלט, געכאַכט פון דיר

א חוקה צו נכטיגן אינאיינעם מיטן קלישען צאפ אין דער ווי-
בערשער שוהל.

— וואו ביסט-ווי עריגן? — רוף איך מיין האַרבאַטע, — שרעק
דיך נישט, דאָ זענען, אַהן עין-הויז, זעהר פּינע ציגען! נישט קיין
אַרים שטעטלע, אַ פּנים, איך זוך אויף, טרייב אַרויס די ציגען, זיי
זאָלען היינטיגע נאַכט מחל זיין נעכטיגען אין דרויסן. אַליין געה
איך טאַק באַד איך אַרויס, זאַגענדיג איהר אַ גוטע נאַכט, און כאָך
גוט צו די סיר.

ביים אַראָבנען פּונם סרעפּיל שטעלט מיר זיך אַקעגען דער
צאפּ, אַנגעבויגען דעם קאַפּ מיט די לאַנגע הערנער, שטאַרק אַנגע-
דרודערט דערפאַר, וואָס איך האָב אַזוי מיאוס בערדייגט זיינע ווייבער.
איך ראַנגעל מיך מיט איהם אַוועק אַ צייט, ער לאָזט מיר נישט אָב
און געהט מיר נאָך פּוס-טרייט. ביז מיר איז געראָטען, אַריינצוזאָפּען
זיך אונטען אין קלייזעל אַריין.

איך קלייזעל דיגען אויף טיש און אויף ביינק אויסגעצויגען
מקבלים און שלאַפּען ווי די פּריצים, איפּערפּינעדיג זיך מיט נעו
צווישן זיך אויף אַלערליי קלרות, אַ מחיה געווען צו זעהען, ווי געשמאַק
אַהן עין-הויז, זיי זענען געשלאַפּען. מקבלים איז טאַק אויף דער וועלט
נוט, האָב איך מיר געטראַכט און זיי אין האַרצען מקנא געווען. דאָס
זענען עפּים גאָר אַנדערע מיני קבצנים, גידישע... איך זוך מיך אויס
אַ אַרט אינטערין אויווען, טהו מיר אַ וואָרף דאָרט אויף אַ באַנק און ווער
נאַר מיר איז אַפּער נישט בעשעהרט קיין גוטס אויף
יער וועפּט. עס דויערט נישט לאַנג, וועקט מען מיר אין רעכטען מיטען
שלאַף: יונגער מאַן, שטעהט, זייט מוחל, אויף! איך רייב אויס די
אויגען און דערזעה כאָר מיר היבש יודען מיט ערענטעט פּנימער.
דאָס זענען געווען פּון דער חברה-האלים מענשען, וואָס קומען אַלע
שבת גאַנץ פּריה זאָגען תּהלים און האַבען זייער אַרט דאָ אונטערין
אויווען. אין פּריה, מען מוז אויפשטעהן, איך גיס אָב נעגעלעזעסער,
ועץ מיר אַנידער, קיים וואָס איך האַלט דעם קאַפּ. ציה מיר, געניץ
און זאָג תּהלים.

נאָך דעם פּסק, ווער-ען איך האָב יענעם פּרייטאָג צוגאכט פּון
מיין חייב געהאַפּט, איז שוין פּאַרענטפּערט געוואָרען אַלצדינג, וואָס
איהר משתּענע אַיפּפּיזיטונג אַקעגען מיר אין דער לעצטער צייט
בעשײט. עס האָט זי געברענגט מיין חבּר-וויין מיט דעם האַרבאַטע
מידל, וואָס דער סמור האָט עס איהר איבערנעגעבען מיט שווערעם
אַבגעטאַקטע לענען, ער האָט פּי זיך געקלערט, אַ דורכדעם וועט מיין
חייב מיר נישט וועלען מעהר קענען, אַ שפּיי סאָן אויף מיר און
אַניעק. ס'איז אַפּער געווען אַ פּאַלשע רעכנונג, אַגשטאַט דעם, זי זאָל
מיט אַ קאַלשער לעבער מיר לאָזען לאַפען מיין ווען און אויף אייביג
מיט מיר זיך צוגען, האָט נאָר אין איהר געברענגט אַ העליש פּיער.
סמישט, איהר כאָן זאָל אַווינס סאָן! עפּים אַ האַרבאַטע מידעל זאָל
פּישקען בעסער געפעלען פּון איהר! דאָס איז דאָך אַזאַ פּעלי-
דינג, וואָס שווער אַראַבצולשלינגען. ניין, מען קען אַווינס נישט
דערלאָזען.

— אַי, די קשיא איז דאָך, פאַר וואָס זי... דייע, מיין איהר,
מיט דעם סמור? — קען זיך אַלסער נישט אַינהאַלטען און מהוט
אַ פּרעג מיט אַ נמראַ-גינגן.

— זייט איהר, דאָכט זיך, נאָגן גערעכט — ענטפּערט פּישקע — נאָר אויף
אַזוי פּיעל האָב איהר אין דער גלופּסקער באָר מיר אויסגעלערענט שכל צו
פּאַרשטעהן, אַז דאָס איז קיין קשיא נישט, וואו נאָך ערנען ריכט מען פּון
אויסלעבן אַב מעהר זי אין דער באָר? און ווער דוקא אַוועלבע, וואָס האָבען
געמענט, כּילעבען, סאַקע שטומען. איינער, וואָס האָט קיין וואָהר זאָרם נישט,
שפּעט אויס יענעם, אַז ער איז אַ לינגער; אַ וועלבער, וואָס מען מהאַר
איהם קיין גראַשען נישט געטהויען, רעדט אויף יענעם, ער איז אַ גנב.
אַ קאַרנער, וואָס העט פאַר אַ פעניג זיך די אויגען אַרויסגעמהען, לאַכט
שפּעט איז אַ חויר אַ שלעכטער מענש, וואָס האָט אַ שטייערן דאָרף.

דעם יענעם רשע, און אויגער האָס פאר אַ פיצעל כבוד איז ער פארסונג אייך אלצייג, בערערס יענעם, אז ער לעבנס נאָך כבוד, בעריל דער שפּיטער פּלעגט אַ מאָל צווישן זיך אין אַ שמועס, זיך אָנחאפּען ביים קאַפּ; אַי, איז איך פארשטעה נישט, ווי לעגט זיך עס די צונג אָבצוויכמען פון יענעם, וויסערדיג זעהר גוט ביי זיך, און מען איז אליין אַ גנב, אַ ליגנער, אַ חזיר, אַ שלעכטער, אלצייג האָס אין דער קאַרט?

— הערסט-דו, חכם מיינער! פּלעגט איהם אָבערספּערן איציק דער דומער, דאָס איז טאָק די נאָגע צרה, האָס מען ווייסט נישט, זיינע פּליי אין דער נאָך זעהט נישט קיינער און יענעם אַ שפּריינקלע איז דעם אַנדערן גרויס אין די אויגען.

שפּעריל, איינער פון יענע במלנים, האָס האַלמען זיך אויף אין באָך, פּלעגט מאַכען מיט אַ שפּיטערע אָנזעהערדיג זיך ביים בעריל: לאָזט זיך דינען, רי בעריל! לאָזט זיך דינען, רי איציק! איהר האָט ביינע אַ מעות, דער אמת דערפון איז, ווי איך האָב דערקלערט. פשוט אזוי: אימלכער ביי זיך מיינט, ער מעג, דער אַנדערער סהאָר נישט.

נערעכט, שפּעריל!—לאָז איך ארויס אויף אַ קיל, אונטער עפּרינגענדיג פון מיין אָרס און פּערטראַכט מיך טאָק, באַלד, שפּעריל! הערער האָבען אונטערנעבען היירוף דעם סיפּעל, וואָס ליגט אינוועניג ביי אימלכען פון אונז, זינדיגע מענשען. ער האַפט זיך אויף צוטראַגט מיר דעם מות, אויפּוהרערדיג דאָרט מינע אלע געדאַנקען און קראַצט אויך אים עפּים אַלסע מעשויות, פארלענערטע אין דעם זכרון. עס הערט אין מיר אַ קאַכעניש, אַ ריריד פון אַלערליי מיני געשטאַלטען, וואָס זענען פּלוצלים הי פון דער ערד אויסגעוואַקסן. און אָנווייזנדיג אויף זי רעדט אים מיר דער רוח ארויס שפּאַק פּערקריגענדיג זיך?

— אָם האַסט-דו דיר די אַלע שפּעט געשוז? זי אַלע מענען. מענען, מענען....

די דאָזיגע שפּעט געשוז דרעהן זיך אין דעם האַנדעל, אין אַמערוישע זאכען, אין חברות, אין דעם יודישקייט און אין דער גאנצער פּוהרונג, וויבער און וויבלעק אַלע סאָרטען, פון דער אַלטער און הינטערער העלם זענען אויך דאָ גאַנץ יודי. אַלום עליבם!

פארשווינגען! כאָר איך אליין צו מיר, נאָט ווייסט דעם אמת, אַז איך בין גערן אייער פּנים נישט אָנצוקוקען און דעם נאָמען אייערן מערה פאר דעם מויל נישט צו ברענגען, אזוי נמאָס-ומאוס זיט איהר מיר געוואָרען. נאָך וואָס קען מען טאָן? אז דער שוואַרץ-יאָהר האָט אויך אַזנד גערעכט צו טראַגען, קען מען אַיך אזוי נישט אַבלאָזען: מען מוז איהם צולייב טאָן און פון אימלכען האַטשט נעמט דערצעהלען.

— וואָרט אַכטעל, פּישקעו האָט קיין פאראויבעל נישט, רי אַלמער! רוף איך אַיך אָן—איך האָב אַיך עפּים צו דערצעהלען, נאָך לאָמיר אַכטעל מיך בעמראַכטען. און טראַכטענדיג דאָ אזוי גיב איך אַ נעמט איינעם פון דער גוטער בנפוא, קום צום סמיק! ער וואָרפט זיך ביט הענד און מיט פּיס, קרעכצט, שרייט, ווי דער געפּענטער האָרן בשעת פּפרות שלאָגען. רי איבויגע לייט קוקען מיך אָן קרום און מאַכען אַ ביינע מינע, איהר זאָל שווייגען. נאָראַנים! טראַכט איהר ביי מיר, איהר הער אַיך הי דאָס מילכיגע קלינגעל. מיך וועט איהר מיט ביי, אין אויבזענדיקערטען פעלץ נישט איבערשרעקען. מאַלפעס זיט איהר, נישט קיין בערלינג! דער סיפּעל צוהיט זיך אין מיר און ניט מיר אונטער השק; אזוי אזוי נעהט זי, נעהט זי צום סמיק, רי אַלע שפּעט געשוז!—הערט, זיט מוחל, רי אַלמער, אַשנע מעשה אין אַ יודישער שטאָרט ערניג זענען די פּיינע לייט, וואָס דער שפּיטער זייער אויב, וויב איך אָן אזוי צו דערצעהלען און בלייב אין דער מיט רעך הי דערצוואַרען. די וויבער ווינקען צו מיר מיט אַ געבעס. נטער. זיכער רי מערעלי, האָט דחמנות, זאָנט נישט אויס!... זי מאַכען חן, קוקען און בעמען מיך מיט ברענענדיגע אויגעלעך, דער וויבערשער חן מאַכט מיך ווייך ווי אַ מייג, פון זייערס אַבליק ווער איך צוטראַגען. דערביי דערפאָן איך מיך אין מיין גדר, איינצוקויפּען זיך אין דער חברה פּעטערס. האַפט אַיך דער האַטעל-מאַכער! כאָך איך מיט אַ שפּיטערע און ווערנענדיג זיך, צו אַלמער! זען איך צו: זי מיי איהר, יענע פּיינע לייט אין דער שטאָרט דאָרט. עפּים גלובט מיר זיך הינט נישט דערצעהלען מיין מעשה לאָזען זי נעקן צו אַלדי שוואַרצע יאָהר!... האָט קיין פאריבעל נישט, רי אַלמער.

— פארקעהרט. מדינא-תוהי, פון מיינע-מענען מינען זי אויך, האַטש כאַלד, די פּפרה הערען. נאָך וואָס איז דאָס פאר אַ גאנג יענעם איבערשלאָגען, אַריינפאלען איהם אין די רעך מיט מעשויות, אייערע מעשויות!... אזוי רופט זיך אָן אַלמער און קוקט מיך אַזוי

א'וויילע אן, מאכענדיג מיט די אקסלען, עפס אזוי, נלייז ווי גערעדט; אלעכערדיגער זאק, משיינס-געזאגט, עס שוים זיך פון איהם ניין מאס רעד און אויפהער, שטארק נימט, כלעבען, זינע מעשיות! סאמער וויסט איהר צו וואס... און אסאך געבענדיג דערנאך אין דער וויט אפאר מאל: פע, פעז סהוט ער אסאךע פישקען: ג, וואס? מילא בקיצור דער שפיגל?

פישקע הויבט אן אויך ויין שטייגער, אויך נאך איהם אריינס אויף מיין שטייגער, אלסער טרייבט אונטער אויף ויין שטייגער - און די מעשה דערצעהלט זיך ווייטער אזוי:

— די צייט איז זיך דערווייל געגאנגען און אויך מיט מיין ווייב זענען מיר אלץ וואס ווייטער זיך מערד פאנאדער-געגאנגען, זי האט נאך שטארקער זיך אוינגעט מיט דעם סבור, זענען געווארען חברי לאפ, גאנץ נאדענטע שמעלקעס און פלענען שוין ביידע, ווי א פריץ מיט א פריצה, אין די הייזער אריינגעהן. מיר האט עס שוין מערד נישט אזוי אויסגעמאכט, דער קאפ איז מיר געווען שטענדיג פארדרעהט מיט דער הארצאמער, געבען, זי איז מיר קיין רגע פונעם זינען נישט אזויס, געהט אייך האב אויך געטראכט, פון מינעוועווענען האמש אין דער ערד, ווארגט זיך ביידע מיט די הייזער! ביים בעגענענען זיך אסאל מיט די פאר ליט, פלעגט דער סבור מיר אנקוקען מיט געשפעט, עפס ווי גערעדט: איך האב דיר אנגעפייט גוט, נישקשה... איך האב געוועהטליך אויסגעשפיען און בין מיר געגאנגען מיין וועג, טראכטענדיג ביי זיך: און אזוי ווי שלעפט זיך מיט איהר ארום, האט העלפט עס דיר? אזוי איז אאשה-איש. הע-הע, גוט פארשוואן-קעוועט, נישקשה! אבער אויך האב דיר אויך אנגעפייט, דו סבור איינער! פוקע זיך, ווער צוועצט...

מיט מיר האט אנגעהויבען אין די הייזער ארויסצוגעהן אין אלמעשקע, פונעם סבור'ס פעקל, ארשע-ברושע, אנאמקע גיב אזוי ווי ער. אין ער האט עס געמאכט מיט מיר גאנץ גוט, אימליכער האט איהם געמוזט געבען, אזא רחמנות-פנימל פלעגט ער קענען מאכען, אנווייזנדיג אלץ מיט א קרעמץ טיעף פונעם הארצען אויף מיר, ביטענע קאלעקע, געהייסען האט עס עפס, אויסטער מאכע מיט א אוימליקליך קינה, געבען. — הינק, פישקע, הינק גוט, חבשיט מינער! פלעגט ער מאכען, אונטערשטופענדיג מיך פון זינען, ביים אריינקומען אין א שטוב, פערקיים דאס פנינעל און זיפן, זיפן, דו

דונס איינער, זי חתקען מיר, נישקשה, פאר ריינס אויפן בעצא-הלקי, אויפן וועג געהענדיג פלעגט ער מיך אלץ לעהרנען מאכען די שיעור. אבשפעטען פון די בעלי-הבתים, א קיני, אציפ סאן און שילשען מיך דערביי: פערחאפט זאלסטו זי הייזען! גאר אין גוטען מוסה, איינמאל האט ער מיר, אין שפאט קלאמפערשט, געגעבן א באכעצע איי הארצען, דא אין לעפעלע, אזוי אז אויך האב שיער די נכפא נישט בעקומען, די נדבות פלעגט ער געוועהנטליך צו זיך צוגעהייבען און סאיז מיר שווער געווען א גראשען ביי איהם אויסצוהייסען, וואס פויג דיר, פישקע, געלד? פלעגט ער שפאסען, אז דו ביסט אליין געלד, דו זאלסט מיר דערלעבען הינקען מיט די פיסעלעך און קרעקען אויף אלע גלידערלעך ביי דו וועסט מיטן קעפעלע אנלענען, חבשיט מייער, איינמאל בין איך צו איהם שטארק צוגעשטאנען, עס האט מיר געצוואונגען די נויט, און האב געבעטען חלק מיטן הארבען הארט, אקוק געבענדיג, אז איך סאן איהם דא אזוי, האט ער גע-עפענט אויף מיר א פויל: שמוס, קרימער הונט! אוימויס חעמט-די דאס פארייען ביי מיר אין בויד: אוימויס וועל אויך דיר, אזא גבלה, ארומפיהרען דאך חרבות, שיינען איך וועל דערצעהלען דירן חייב, אויך קען דיר נישט און האב מיט דיר נישט וואס צו מענהן, קענען קען איך נאר דירן חייב, זי האט דיר מיר איבערגעגעבען, פון איהר האב אויך אזא סחורה בעקומען און מיט איהר וועל איך שוין מסתמא זיך אברעכענען...

שלעכט! אצנד האב אויך קלאר אריינגעזעהן, אז איך בין ביי דער האליאסטרע אזוי ווי א בער ביי די צינייער, מען פיהרט מיך ארום צו מאכען מיט מיר די קאפעקע, מען האט ביי מיר צוגע-נומען מיין חייב, זי אריינגעגארט אין זאק אריין און זי העלפט נאך ווי אויך אונטער אקענען מיר, זי גיט מיר איבער ווי סחורה האלימיעס, גנבים אין די הענד!... שלעכט, ביטער, סאיז שוין גאר אים וועלט.

אויך האב שוין אריינגעזעהן, סאיז פערפאלען, צווישען מיר מיט מיין חייב וועט שוין קיין לעבען מערד נישט זיין היינט צו וואס, האב איך געטראכט, זאל איך מיר דא האלמען? מען בעדארף אנט-לויפען, ווי צום ניכסטען אנטלויפען. אסאך איבעריגער צווישען אועלכע גנבים איז א זינד פאר גאט, דאס זענען דאך מעשען, וואס זאבען נישט קיין גאט אין הארצען, וואס טרעט נישט קיין האנד אין

קאלטע וואסער אריין, אראנגעוואוינענע פון זיך אינגאנצען דעם יאָר, ווילען נישט וויסן פון זיין ארבייט, פון דאגת הפרנסה און זיך אויף אנדערע אָנגעוואָרן. נאָגען, יאָגען יודיש בלוט און זענען נאָך זיי דם-שונאים, איך אײַ: בין בי מיר אויף מיאוס אראָנגעפאלען, ביי-מאכטענדיג מינע אלע נענג אין דער גאנצער צייט צווישען דעם דאָזיגען פעקל שלעכטע מענטשן. נאָר ניט דער אייגענער וואָס פריהער עס האָט צו מיר זיך צוגעקלעפט פיעל נישט קיין שעגע זאכען פון זיי, איין מוסעל פכור צו ווערען פון אזוי צרות און בייז—איז אַרויסצוויימען זיך פּוּנים מיאוסען פעקל און וויכען זיי ווי אַ עפּוּש. נאָר וואָס מיהוט מען אַבער מיט איהר? ווי לאָזט מען איבער זי, די האַרבאָמע מינע? מיר איז פּירעקוקמען, זיי איך שמעה אין אַ פּערדאָרבען אָרם, אַ שרעקליכע גרוב, נאָר אַ גהינם, אין איין אויער אַריין שרייט מיר עפּוּס אַ קול: פּערשפּיל נישט דיין נשמה, פּישקע, זיי נאָט איז דיר ליעב, אַנשליף! און אין דעם אנדערן אויער קלינגט מיר זיי פון דער האַרבאָמע מינער אַ קול: פּישקע, פּישקע!.. מען בעדאָרף אויסקלייבען איינס פון בידע: אָדער אהין אין דער ליכטיגער וועלט, ריין פון זונד, פון צרות און בייז, אָדער דאָ אין דעם גהינם נאָר אינאיינעם מיט איהר, איך האָב מיר גוט אויסגעוויינט און... נאָט זאָל מיר נישט שמראָפען פאר די זונד—איך בין געבליבען היינטער ביי דער האַליבאַרטע

א געדאנק מיט דער האַרבאָמע אינאיינעם אַנשטונען גו ווערען פּוּנים גוטען פעקל. נאָר דאָס אַבער האָט דאָך אנדערש נישט געקענט זיין סידען אויפגעבוירען צו ווערען פּריהער פון מיין הייב, וואָס וועט דער הכלית זיין פון מיין אַרומפּריהערן זיך מיט אַ מידיל גלאַס אזוי? די וועלט וועט סומלען און מראַכמען נאָט הייסט וואָס... איין רפואה איז דאָ — גמ, נאָר וועט מיין הייב אַבער, מראַכט איך ביי מיר, וועלען געהמען גמ? זי איז דאָך אַ שלאַק, אַ אַנשיקעניש פון זיין ליבען נאָ-מען, אז איך וועל זאָגען גמ, וועט זי, מיר אויף צושפּרינגעניש, זאָגען: ניין! די גרעסטע הנאה, אין דער לעצטער צייט, איז ביי איהר געווען, מיר צו פּייניגען און צו סאָן מיר אין דער גאַל אַריין, פּונדעמאָוועגען האָט עס מיר נישט אַפּגעשראָקען און האָב מיר פּירענעמען אַרומ דער זאָך צו אַרבייטען מיט גוטען אָדער מיט בייזען, אפשר וועט נאָט.

רחמנות האָבען, דערווייל האָב איך די זאָך געהאַלטען ביי מיר כּבוד, קיינער זאָל דערפון נישט וויסן.
 פּערדרוס מיט קיינים פון דער האַליבאַרטע מעהר נישט געוואָלט אין די הייזער אַרומגעהן, דאָס האָט מיר גענוג צרות געקאָסט, נאָר איך האָב מיר אַיינגעשפּאַרט, מיין טויט זאָל דאָ זיין, וויל איך פּערה קיין בער נישט זיין ביי די דאָזיגע צייניגער. דער כּבוד מיט זיין פּעקל ליט זענען דערמיט שמאַרק נישט צופּרידען געווען און האָבען מיר מיט די הענד געוויזען, ווער עלטער איז, שלאָגענדיג מיר איינפאַל, רופּען זיי זיך אַינעם: פאר וואָס-זשע זאָלען מיר דו, אומויסט פּירדען, שעגע סוּרה, אז די ווילסט נישט אַרביימען, ווילסט נישט פּערדינען? געה דיר אוועק צו אַלדי שוואַרצע יאָהר!—אַפּילו די רגע, ענטפּער איך זיי, ניט מיר אָב מיין הייב, מיין ווייב!—זיי האָבען זיך אַנגעקוקט איינער דעם אנדערן און אַרויסגעלאָזט אַ גרויס געלעכטער. עס פאַר-שמעה זיך, אז דאָס וואָס איך האָב געזאָגט, ניט מיר אָב מיין ווייב, איז נאָר געווען אַ אויסרעד, אין האַרצען האָב איך נאָר געמיינט: האַלט זיך מיט איהר, מיט אַיער שטיק סוּרה און לאָ זי געהמען ביי מיר גמ, אמת טאָק, פון די קלעפּ, וועלכע איך האָב געהאַפט פאַר מיין עקשנות, האָט מיר גוט וועה געטאָן, נאָר דערפּי האָט מיר הנאָה געטאָן, מראַכטענדיג ביי זיך: נישקשטה דאָס וועט מיר ניצען צום עסק-אז זיי וועלען זעהן, איך בין אַיינגעשפּאַרט און מוויג זיי מעהר נישט, וועלען זיי גערן זיין מיניגער פּוּר צו ווערען און דאָס וועט מיר ערנאָך העלפען צום גמ.

כא

—בתורה!—גיב איך אַ זאָג צו מיין ווייב, צושאַרענדיג זיך צו איהר מיט גוטען איינפאַל, אז מיר זענען געווען אַליין און געוואָלט אין אַ שמועס מיט איהר אַ סאָפּ סאָן ווענען גמ—וואָס זאָסט-דו, בתורה, צו מיר?

בענדערלע בוכר ספרים

— ווער די כפרה פישקען— בעקום איך פון איהר א קוביע
 אשוכה.
 — אים האסטו דו?— כאך איך ווי אַנגעברויגט זיך— איך מיט
 איהר אלץ אדרבה ואדרבה און זי אלע טידע-ווידער; ווער די כפרה,
 פישקען פאר וואָס!
 — בעקום-ישע די ניכפא-וואָגס זי מיט א קרום פנים, אוועק-
 דוקענדיג זיך פון מיר.
 — זאָלסט מיר געזונט זיין, בהיה!— רוף איך מיר אַינעם מיט
 גומבן— וואָרף, כילעבען, אוועק דינע נאָרישקייטען און לאָמיר
 לעבען ווי גאָס האָט געכאַטען.
 — ווער די כפרה, פישקענע, מיט דער הולטיקע דינער
 אינאיינעם!

א-א, ווער די כפרה די בעסער מיט דעם פסור דינעם! מראכט
 זיך ביי מיר און ארויס מיט דער שפראכע גאנץ ריין; דער-אויס, בהיה!
 זי זאָגט מען עפּים, א בה-ישראל נים מען נישט, ווילסט נישט קיין
 לעבען, איז דאָך דאָ רערויף ביי יודען עפּים אַנט, רויט אָדער פּוייס!
 — אַהא, די הולטיקע גלוסט זיך איהם! זוכער פּשוין דאָס ווייב
 און האָצעניו מיט דער דראַקען א, נישט דערלעבען וואָלט איהר עס.
 זוכער העט איהר בידע מיטן קאָפּ אנלענען. נישקשה, עס העט איהר
 נישט געשענקט ווערען, דער חוּמה דינער, קייען העט זי פאָ
 מיר די ערד. הערסט-דו, פישקעלען אין טאמעם טאמעם טאמעם...
 מיין ווייב האָט זיך צושיינען אַזוי, אַז איך האָב געהאַפּט די
 פּים אויף די פלייצעס און אַמעק.

מיט מיר איז געשאַפּען שמאָל, שלעכט ארום אַך אַרום איך
 אַליין האָב קיין האָניג נישט געלעקט, בין פּערשוואַרצט געוואָרען אין
 די האָרבעסטע, נעכט, האָט איהר געהאַט איהר עדהרדף אויסקומעניש,
 זי האָט גענאָמען אין מיין זכות, מיין ווייב האָט זיך פּערהאַלמען צו
 איהר, ווי אַ בעל-הכבוד'טע, געהאַט איבער איהר צו שאַמען. נאָר עפּים
 נישט נאָך איהר וואונש, האָט זי מיט איהר זיך גאָס אַנגעריכטענט, און
 דער כסור פון זיין זיט האָט איהר געכאַט אַ פינטקערן פּסק בעזונער.
 יאָו אַך און העק איז אונז בידע געווען. אַנווער נאָניע טרייסט איז
 געווען, וואָס שפּעט ביי-נאַכט, ווען אלע האָבען געשלאָפען, פּלענען
 מיר זיך אַרויסגעגרינגען אין דרויסען, צו שמועסען האַמע אַביסעל און
 אַינער דעם אַנדערן אויסצוגימען דעם שאַרעע ביטערע האַרץ.

פישקע דער קויסער

אויסמאָל זיצען מיר זיך אַזוי ביידע ביי נאָכט געבען דער גרויסער
 שוהל, דער הויסעל איז אויסגעשטערענט און אַרום אונז איז שטיל.
 זישטאָ קיין לעבעדיג בעשעפעניש. זי ויצט געבען מיר אויף אַ שטיין,
 אַיינגענוערט, אַיינגעהיקערט, פּרעהרען ניסען איהר זיך פון די אויגען
 און ברוםבעלע פאַר זיך שטאַרק אומעמיני איהר בעקאָנט לידעל
 דער טאמע האָט מיר געקילעט.

די טאמע האָט מיר געגעסען...
 אויבליכט וואָרט איהרם שניידט מיר דאָס האַרץ ווי מיט אַ פּע-
 וועלען מיר, אַם-דריצה-חשם, אויפגעריכט ווערען. איך טאָך איהר אַ גאַנץ-
 צען צעמעל פון אונזער לעבען שפּעטער, אַז מיר העלען מיט דעם
 אויבערשטענס הילף בידע פון צרות אויסגעלייט ווערען. איך שמעל
 איהר אַנדער פאַר די אויגען אַלצדינג לעבעדיג, מאָל איהר אויס די
 גלופסקער געמויערעטע באָד מיט אויבליכט פּיצעלע דאָרט, ווי איך העל
 מיר אַרויף הייסער אַיינדרעהען, און אַז גאָס וועט דערזיכען דאָס
 מול, קען איהר מיט דער צייט בעקומען דאָרט אַשמעלע פון אַ הויסער.
 זי אַליין קען אַפּשר אויך מיט דער צייט האָבען דאָרט אַ מהוּכעסטיג.
 גיין אַטוקערין אָדער עפּים אַנדערש אויבנס. און ווען נישט, קען מען
 אין גלופסק אויסזוכען אַנדערע מיני פרנסות, פאַר אַרמעלייט אין
 גלופסק אַרץ-ישראל, זי איז אַהן עין-הרע גרויס, היינער זענען
 דאָ ווי סיסט, די מענשען זענען אַהן הכמות, ווייסען נים פון קען
 צערעכענענעם, אויבליכער פּרום זיך וואָס ער וויל און מ'איז רעכט.
 דאָרט קענען, אַשטייער, נאָני שטענע בעל-בתיים זיך געהן אַנגעריכטען,
 אַבגעשליסען, פּערדריפעט ביי דעם האַלד און נאָרנישט; אָדער אין
 מיטען העלען טאָג זיך שפּאַצירען אויף דער גאָס אין עפּים אַפּאַר-
 שמאַלציעוועט האַלאַטיל, צוהאַרשטעט און נאָרנישט, אָדער פּאַרקערט.
 אַרמעלייט קענען נאָר אַמאָל אַרויסגעהן אַנגעמאָן אין זיך, אין טאמעס
 און אויך נאָרנישט, דאָרט איז שווער אונטערצושטייען צווישען קבצנים
 און גנדים נישט זיך, דער הלבושה, נישט אין דעם גאַנצען פּירענג.
 זעהר אַפּט טאכט זיך, אַז גבאים אין אַלעליי חבורות דאָרט זענען
 אַליין פאַר זיך נאָר קבצנים, צייען זיך דערפון דאָס שמוקעל פרנסה
 אינאיינעם מיט די רייכע, איינער העלפט דעם אַנדערען און מ'איז זיך
 אַנט לעבען. אַרויס איז נישט קיין שאַנדי, מען פּעראַרף נאָר האָבען
 מול, ווערט מען אויסגעריכט באַלד, וויפּיעל זענען דאָ אויב, וואָס ערשט

נישט לאנג זענען זיי געווען קליין, זייערדי, משרותים, קבצנים, געבער.
 און פלוצלים געווארען לייט, נאנצע פיהרער, פלולק אין דער שטאדט
 מענדלע נאך, אז איך אליין, ווי די קוקסט מיר אן, קען מיט דער
 צייט אויף הרגען אפהער, א מאכער און עם וועט, אבי-ירצה-הישם,
 זיין גוט. מיר וועלען לעבען אין עושר און פבוד און נחת, לאך נישט,
 נשמה מיניע, איך בין נאך ניט צו ווייס פערקראכען. אין גלופט איז
 אזעלכס נאך פון די געוועהנטליכע זאכען, מען פערואף נאך גלייבען
 אין גאט, ביי זיך נישט זיין אראפגעפאלען און זיין א יוד... מיט
 צוהילן, און גלופט, גלופט ווי דערלעכט מען שוין זיך אויסרייסען.
 פון דעם מיוואסען פעקיל און נוכער, מאמע, צו דרוי

— און פישקען איך האב שוין קיין כוח נישט מער אויסהאלן.
 מען— זאגט די הארצאמע מיט א ויפן טיעף פונם הארצען, אןשפא-
 רעדיג זיך מיטן קאפ מיר אויפן אקסעל און אויף דעם פנים איז
 אירד געלענען עפס ווי אנעכעט. איך גלעס זי, מרייט זי און
 שטארק זי מיט גוטע האפנונגען. זי ווערט אביסעל פרעהליכער,
 קוקט מיר גלייך אין די אויגען אריין און לאכט— פישקען זאגט זי שטיל,
 דו בינסט מיין איינציגער אויף דער גאנצער וועלט, בינסט מיין מאמע,
 מיין ברודער, מיין פריינד, מיין אלצוינד, ווער, פישקען, זיי מיר געטריי-
 און פארנעם מיר נישט. שווער מיר דא ביי דער שוהל, וואו עס
 דאווען אונד רי מרים און צווישען וועלכע עס געפינט זיך אפשר
 אויף מיין טאטע, וועלכען איך האב הענט געקענט, און איז א ערות.
 שווער מיר, אז המיד וועסטו מיר בלייבען געטריי...
 איך האב מיר א נעהם געטאן שטארק קנעלען מיט מיין הייב
 ווענען גט, געארבייט, גערעדט אהין-אָהער. ביי צווישען אונד איז אבי-
 געמאכט געווארען אזוי דאס ביסעל געלד, וועלכס ביי מיר האט זיך
 אָנגעוואמעלט אין דער גאנצער צייט, וואס איך האב געארבייט פאר.
 מיר אליין, האב איך בעדארפט אירד אין האנד אָנגעבען טאקי פאלד,
 נישט איינזעלענען עם פרייער, ווי דער שטייגער איז, און הייב דעם
 האב איך נאך זיך מרהייב געווען, דעם גאנצען ווינטער, וועלכען מיר
 וועלען דערלעבען, מיר צו לאוען, נאך און שום מענות, חברה זאל
 מיט מיר מאכען די שפיל, דאס הייסט, מיר לאוען פיהרען און די
 הייער און די נכות, וועלכע מען וועט מיט מיר מאכען, געהערען
 צו מיין הייב פאר אירד בתורה, דער סמור האט מיט א שטייכלע
 מיר געבראכען די פינער וועל שריר וקום און געזאגט מול-פוב, איך

בין הייער געווארען א בער, א גוט שטיקעל סחורה, דער אלטמעשקער
 איז ווייטער טאקי מיט מיר אין די הייער ארומגעגאנגען און איך האב
 אלץ געמוזט הינקען גוט, ויפצען, קרימען זיך, מאכען אָנשטעלען, ווי
 ער האט מיר געהייסען.
 נאך פסח זענען מיר געקומען ערניץ אין א שטערטיל, אין
 חערסאָנער צופרייער, וואו איך האב די ערשטע צייט געארבייט לויט
 מיין התחייבות, נאך דערנאך האב איך געזאגט: גענוג לאן שוין זיין
 דאָ טאקי איין עק, מיין ווייב האט החלל זיך געקויקקעלט, געבעטען
 א כאָר מען זיך מיטש צו זיין, צום סוף האט זי געענטפערט: גוט,
 פאָרנען געהט זי גט, ס'איז מיר ליכטיג געוואָרען אין די אויגען,
 אזוי שטארק האב איך מיר דערפריעהט, פאר שימחה האב איך נישט
 געקענט איינזען אויף א ארטי עם האט מיר עפס געזויגען אין
 דרויסען. איך האב א היבשע צייט מיר ארומגעפאצירט אין די נאכטן
 אין אין איין וועג טאקי מיט חשק געגאנגען אויך אין די הייער, מראכטע-
 דיג ביי זיך וואס קען עם שארמקען אויף דער הייכער שעה, ביים
 אַיאָנען פון קעסט, וועט מען בעדארפען האָבען עטליכע גראָשען.
 דער עסק מייער איז געגאנגען גוט, אז, אין די הייער ארומגעווי, ווי
 דענסטפאל, געדענק איך נישט שוין פון א צייט, עם מרעפט זיך אזוינס
 איין סאָל אין הונדערט יאָר, אז גאט וויל העלפען א מענטשען, העלפט
 ער אירם מיט אלעמען. אין וועלכער שטוב איך בין אריין, בין איך
 לעדיג פון דאָרט נישט ארויס, דאס מול האט מיר דענסטפאל געשפילט
 אן האב בעדארפט גראָד מרעפען אין א שטוב, וואס דאָרט איז געווען
 א פרייט, דער עילם איז געווען שטארק פארלעקט, לעבעדיג, פריעהליך,
 מען האט מיר געגעבען א גוטען טויגן פראנפען, א גאנץ קידוש-געלעל,
 איך א גרויסען שטיק לעקעה, א מלכות-ברוימעל און דערצו נאך עפס
 געלד מיט א רוינענעלעלע, איך האב מיר איינגעהאלטען, נישט צו
 פערזוכען אפילו קיין ברעקל און בעדארפען די אלע גוטע זאכען ווייט
 אין דעם בוועס, צו פרייענען עם א מנהג מיין הארצאמע מידל.
 מען האט בעדארפט זעהן, מיט וואס פאר א פרייט איך בין עם געגאנגען
 דעם גאנצען וועג, אלץ געטראכט ביי מיר: היינט ביי גאט, אז דער
 שילם וועט שלאפען, וועל איך אירד דאס געבען. לאן זי געבען, אויך הנאר
 האָבען, זי איז געפאָרעפערעווסט, פערוואָגעלט, האט א הארץ פול מיטפרייט, זי
 האט געבען נישט עוואט אין אירד לעבען קיין זיסע מינט, נא, לאן זי ווייסען:
 א פישקע איז א גוטער ברודער, ער זאָרנט זיך פאר אירד און הייב

מענדעלע סוכה ספר

די אפ'עס ווי דאס שווארצאפעלע אין אויב. ער וועט בארי אל'ין נישט
עסען און איהר דאס לעצטע, דעם בעסמען ביסען אוועקגעבען. עס
האָט מיר זיך געדאָכט, ווי מיר ביידע זיצען געבען דער גרויסער שוהל
און האָבען שטארק געהאָ. זי עסט, קוויקט זיך מיט דעם לעקען און
איך איהר: נשמה מייע, לאָ דיר וואויל בעקומען; טראַכטענדיג
דערביי ביי זיך: א נוסעך סימן! הלואי אין גיכען לאַמיר עסען לעקען
ביי אונז... איך זאָג איהר אַניעס די בשורה: סאָרגען ווער איך אויס-
געלייזט, סייין הייב געהט גט, און זי שינט קוועלט נאָר אָן. מיר
קלערען, ווי אזוי שטילערהייט אַרױסצוזאָפּען זיך פון דער האַליאַסערע
אין סאָכען אַ פּיליטוה. ביי אונז ווערט פאַרמיט וועגען דעם אַ נאַנצער
פלאַן און ס'איז דאָ אַהאַפּונג, אַז עס וועט אַם-רדע-השם, זיין גוט...
אַז מיט אַזעלכע געדאַנקען בין איך מיר גענאַנען דעם נאַנצען וועג
און מיר פּרדגעשטעלט גליקען אויפ'ן וועג האָב איך נאָך בעגענענט
אַ וואַסער-טרענער מיט פּולע עמער, דאָס איז דאָך געווען אַ נוסעך
סימן, נאָר וואָס אַבער לאָזט זיך אויס?

עס לאָזט זיך אויס, וועה איז מיר, אַ מיינ, איז אַ מענשיגען בעי-
שעדרט אַסנליק, העלפען איהם נישט קיין נוסע סימנים אויך, צעהען
ניווע אפילו זאָלען איהם מיט פּולען איבערגעהן דעם וועג. אַז איך
בין פאַרנאָכט געקומען צוויק אין הקדש, האָב איך שוין דאָרט נישט
געמראָפען די האַליאַסטרעטע... אין דער צייט, וואָס איך האָב מיר לויט-
מיט אַרומגעשפּאַצירט אין דער שטאָרט, זענען די שענע ליט דערוויל
אַוועקגעפאַרען און ס'ווייב, אויך מיין האַרבאַסע, געבען, מיט זי...
דאָס איז שוין געווען דעם ספור'ס מלאכה, ווייט אַ שפּיצעל—זאָל ער
אַזוי וויסען פון זיין לעבען צו זאָגען, ווי איך האָב דענסטאָל געוואָסען.
אויף וואָס פאַר אַ וועלט איך בין, זאָל איהם, רבינו של עולם אויף
דרעהען אינוועני אין בויה, ווי מיר האָט זיך גערעהט דער קאַפּ.
חושף אין פינסטער איז מיר געוואָרען אין די אויגען, פינסטער איז
מיין העלט, דאָס איינציגע שטענדיג, וואָס האָט מיר געשיינט, איז
פּלוצלים פּערשוואַנדען געוואָרען, נישטאָ, וועה איז מיר, נישטאָ מיין
טרייסען נישטאָ מיין האַרבאַסע, געבען... איך בין וויסער עלענד ווי
אַ צייט, איינער אל'ין אין דער נאַנצער וועלט, און זי וואו איז זי.
וואָס טרום, געבען, זי ווייט פאַר וועמען וועט זי קענען, האַנטש אַמאָל
אויסווינגען, אַסניסען איהר שווער ביטער האַרץ, אויף יודען אַ וועה
סאָג, ס'איז מיר אַ וועהסאָג טאָקי אין צוויגען

פּישקע דער קורסער

אַרױסגעהענדיג שפּעטער פּונם בוועס דאָס שטיקעל לעקען.
וואָס איך האָב איהר עס אָנגענרייט, איז מיר געוואָרען אַ לאָך אין
האַרץ, איך האָב עס געהאַלמען שטיף, אָבערנאַסען עס מיט טרעהרען,
זיי עפּוס אַ זאָך, אַ זוכר, וואָס בלייבט איבער נאָכ'ן מוים פון אַ געליבט
קינד, פון אַ איינציג קינד, נישט בעשעהרט דיר צו פּערווענען עס, צו
דערקוויקען זיך אין אַין סאָל אין דיין לעבען, אַסנליקליכע, ביידע נשמה
מיינען איך קוק, קוק אויפ'ן שטיקעל לעקען, קוש עס, וויקעל עס דער-
נאָך אין זיין אַין אַבן-טוב און בעהאַלט עס ווידער אין בוועס, סאָג
פּענדיג עס אָפּט און צו-קוועטשענדיג עס צום האַרצען... ווייט איך, וואָס
מיר איז געשעהן!...

כב

פּישקע האָט ביי זינע לעצטע ווערטער אַרױסגעלעגט ביידיע הענד
אויפ'ן פּנים, זיך שוועקגעקעהרט אין דער ווייט און געהלפעט. מיר
האַבען געפיהלט זיין האַרץ און איהם געלאָזט צורה, אויף אונז אל'ין
איז אויך אָנעפאַלען אַ טרה-שחורה, מיר זענען געבליבען זיצען
שטיל, אויסליכער פּעריטעפּט אין זינע געדאַנקען, אַלסער מיינער האָט
זיך אל'ין געקראַצט אין דער פּאַה, געפיהרט די האַנד איבער'ן פּנים,
אַנדעווענדיג פּנים שטערען און אויסלאָזענדיג מיט דער באָרד, וועלכע
ער האָט אַרױסגעזאָפּט מיט אַלע פינג פּינגער און געמאַכט דערביי:
עס, עס... מען האָט געווען, ער איז צומראָגען, מיט איהם איז עפּיס
נישט גלאַט, איך אל'ין בין עפּיס געווען אויך צורדעהם, פּישקעס
געשיכטע האָט מיר געקאַמערט, נאָך נאַנץ לאַנג האָב איך פּיעל סאָל
ביי מיר געמראַכט: רבינו זאָל עולם! וואָס איז דאָס אַווייט, זיין פּער-
ליאַבעט עפּיס האָב איך געהערט, עס טרעפט זיך אַמאָל אַזעלכס, נאָר
וואָס דאָס איז, האָט מיין מוה נישט גענומען, ביי אונז פּלעגט מען
אויף אַזעלכע זאָכען געוועהנליך זאָגען: ס'איז אַ אָנעפאַנגענע זאָך,
אַ פּישוף, עפּיס אַזאַס בין פּלעשעלע איז דאָ דערציג עפּיס אַ מיין קייטימכץ

מענדעלע סוכר ספרים

פון אלטער נזיה, א מכשפה'סע, און דאס וואס אלסע מכשפה'סעס זענען פארמיט אפצושטאן אונלעכע שפיצלעך, אויף אראפצובריינגען רייסעני-דיג אויף אבערעס דעם מאן, וואס האט אונקענענאפען דאס הייב, די געמאכט פאר א ענוגה—דאס איז דאך קלאר ווי דער טאג, דערויף זענען דאך דא אסק עדות: כשריע יודען מיט בערד... פעללאפעס זיין האט ביי אונז געהייסען עפס אזא מין שלאפקייט, ווי קדחת, אשמייער, ארפוק, אמאנקאליע, די נוכפא, די שלעכטע זאך, וואס דערצו איז טאקי נאך א בעל-שם אדער, להבדיל, דער טאקער. ביי א שמועס דערפון פלעגט מען זיבען מאָל אויסשפייען, אָנגעהעמעניג זיך ביי די בערמען, און מאַכען דערביי מיט אַפערקיריט פרום פנימיל, גליטט-דאָ געדאַכט, נישט פאַר קיין יודישע קינדער געדאַכט... אויף איז אַמציא געווען צו לאַכען אויס יענע פעללאפּעטע ווידער שמייער איז צו לאַכען אויס אַ משוגענעם, אזא שלאַפּקייט אָבער, געדענק אויך, ווען עס האָט זיך געמאַכט, האָט זיך עס געמאַכט סירדען נאָך ביי די גרויסע גנדיס, אָדער ביי די גרויסע קפּצנים, אין בעל-הבתי'שען גראַד אַקעגען האָט מען נישט געוואוסט אפילו מיט וואָס מען עסס עס.—דאָס איז דאָך האָב איך אָפּט ביי מיר געמאַכט אַוואונער פאַר וואָס איז דאָס אויף און וואָס איז דאָס אויפֿזען עס מוז דאָך האָבען אַ מעם, פּונדער אַלעזער נזיה איז גארשיקטיג, ווידאָס פּלעשעלע דער מעס אויך ביי קינאָפּאָל דערמיט נישט צופּרידען געווען, הונט יודען האָבען עס געהאַלטען פּון מיר פאַר אַ שטיקעל אפּיקורסות—שטייט, ווי גלויבט מען עס נישט אין פּישוף, אין דעם טאַקער, אין שריים! איך האָב געזוכט ביי מיר, געזוכט אַ מעס און, דאַכט זיך, געפונען, גרויסע גנדיס איז אויף דער וועלט צו גוט, האָבען אַלצדינג, עסקען, טרינקען דאָס מייערסטע, דאָס בעסטע אָהן זאָרב, אָהן קאַפּדערהעניש, עס געהט זי אָפּ נאָך קדחת—דעריבער לינגט זי אין זינען צו מאַכען קוצעני-מעניעני, ערנסט, אָדער גלאַט אזוי אַ שפּילכעזן דאָס איז שוין זייער סובי, ווידער-זשע די גרויסע קפּצנים פון דער אַנדערער זייט, זי איז אויף, אויף זייער שמייער, גוט, האָבען גארנישט, קדחת וואָס איינזשעטעלען, עסקען קעסט ביי דער וועלט אָהן קאַפּדערהעניש און קומען אויפֿן גריי-מען, בושט אין דער זייט! דעריבער גלויבט זיך זי אויף אונלעכע מעשיות, זשענדיגע עסקים פון דרעהען זיך און מיני התנות איז געווענהעמליך נאָך אין דעם הויכען און אין דעם נידעריגען שטאַנד, דער איבעריגער עולם אונזערע, פּונ'ס מיטעלען סאַרט מענטשען, איז המיד פּערטראַגע

משקע דער קרוסער

אין דייזשע באַרשטיש, אידם דארט דער קאַפּ פאַר דעם שטיקעל ברויט, זוכט פרנסה, ביי אידם איז ראשית חכמה געשעפט, אלצדינג—געשעפט, התנה האָבען איז אויך אַגעשעפט, ער האַנדלעל אַיין אַוויב, דינגט זיך פּרייער גוט אויס ווענען דעם סקא, ווענען גיין, ווענען אויסליבס פּיעלעל בעווערער, אלצדינג פינקטליך אויסערעבענעם, אפילו אַ שטריימיל און די שבת'דיגע קאַפּאַטע מוז אויך שטעטן פּירוש אין די תנאים, זענען די תנאים דערפילט גוואָרען, כּפי דעם מדובר, קום-זשע, פּלח-לעב, אונזער דער חוזה מיט דעם שדכן, מיט דעם ברחן, מיט דעם גאַנצען פעקל פּלח-קודש, וואָס לעקען פּונ'ס געשעפט אָב אַ בייגערעל, זי אַ וויב, האָב קינדער, רייס קריעה און ווער פּערשוואַרצט מיט מיר אינאיינעם ביי הונדערט און צוואַנציג יאָהר, אויב דיר גלום זיך לעבען, נישט שטאַרבען פאַר דער צייט. אויב דו ביסט שען אָדער מייאוס, קלוג אָדער אַ נאר, דאָס איז שוין דיין עסק, פון מינעם-ווענען איז אַלץ איינס, אַ פּלונז'טע איז אַ פּלונז'טע, מיר זענען נישט קיין פּריצים, האָבען נישט קיין צייט צו-קוקען צו זיך אונלעכע זאכען, ווידען זענען מיר, סודרים, מעקלער, קרעמער, סודר אין דער פרנסה! — זעהר פּיעל זענען דאָ פון מיר גראַד יודען, וואָס רעדען כּמעט נישט, עסקען נישט ביי איין טיש מיט די ווייבער, קוקען זי וועניג אָן, און ס'איז נאָגן רעכט, ביינע צדיים זענען צופּרידען און ווינשען, ווען עס קומט אויס אַ סאָל, הלוואי אז לעבען אויף אַלע גוטע ליים און אויף זייערע קינדער געוואָגט געוואָרען! שטאַרבט ביי איינעם דאָס הייב, בערנאַכט ער זי, זיצט נאָך אידר שבעה נאָגן יודישליך און האַנדעלעל באַלד טאָקי און אַלצווייטע פּרייער, נאָך אַ סאָל, פאַר שלשים, און אויף אזא שמייער אויך די דרויסע, פּירטע, די פינפטע... ביז דער אַלטער יודענע, וועלכע ער געהט צום לעצט אין די אַלטע געשייגקעט יאָהרען, אונזער דעם אימערד געווענהעמליך, מיט אידר אין אַרץ-ישׂראל אַרין צו פּאַהרען, הייסען הייסע עס ביי יודען די גאַנצע התנה, ס'קייט זיין אַ מצוה, ווי גאָט האָט געבאַטען... ווי אַ שמייער, דעם יודענע עסקען שבת איז נישט גלאַט נאָך פרעסען ווענען דער הייסט אַכילה, וויל אַ וינדיגער מענטש בעראַרף עסקען, נאָך וואָס דען עס הייסט ס'קייט זיין שלשם-עודות! דעמבליכע אויך דאָס גלעזעלע ווין פּסט ביים סדר, טרינקט עס דען איד אַלס משונה גראַב, וויל אַביסעל ווין איז מוחיה און נאָך די קינדלעך טאָקי נאָך אַ דערקוויקעניש הלילה! ער מאַכט דערביי מיט אַפּערפּרוסט פּנימיל!

מענדעלע זוכר כפרים

דרייט מוכן ומוזן—אויך בין מיר גרויס, אויך בין מיר בריים מקיים ווי די סוזה בוס'ען: דעם ערשטען, צווייטען, דריטען, פערטען פוס... אויבער איינער עסט, טרינקט, האָט חתונה אַלץ מום אַ לשם-יחוד, צוליב קודש-אשר-הוא אויך דער שכינה.—נאָר דאָס אַלצדינג איז אַבער נישט געוואָגט געוואָרן. רען אויף פּישקען, אין זיין שלעכטער לאַגע, אין וועלכער ער האָט זיך געפונען, איז דאָס האַרבאַמע מיידיל פאַר איהם געווען אַ גליק, זיין טרויסט, זיין לעבען, זיין אַלץ מיט-אַינגאָרעדער. אז מען טרייניקט זיך, האַפט מען זיך אָן פאַר אַ שמרוי. היינט וואָס-זישע איז פאַר אַ וואונדער, פּישקע האָט זיך אָנגעהאַפּט אין דער האַרבאַטער מיט זיין גאַנץ ליב און לעבען און איז צו איהר צוגעוואָסען געוואָרען? אז עס ריהרט אָן פּי דער נשמה, דענסטאַל שרייט דאָס האַרץ, שרייבט. רערט איינע ווערטער פּי אַלע מענשען גלייך, דאָס לישן פּונגם האַרץ? איז איין לשון פאַר גרויס און קליין, פאַר דעם געלעהרענטען און פאַר דעם גראַבען מענשען—וואָס-זישע איז פאַר אַ וואונדער, אז פּישקעס האַרץ האָט זיך דאָ אויסגעוואָסען אין אַזעלכע הייסע געפּיהלען, רינגע מענשליכע ווערטער? דעריבער טאַקיי האָבען זיינע ווערטער געויהרט. מיר צונעמען ווי אַפּידעלע, וואָס רערט, שפּילט אומעמינגע שטייגער. אַלע בעל-דרושנים און מוסר-ספרים אינאיינעם האָבען קיינמאַל מיר אַזוי נישט געויהרט, געמאַכט ווייך, גוט און פּרום, ווי אַקעכץ פּון אַ צובראַכען האַרץ, ווי דעם פּלי-זמרים אַ שפּיל אויפ'ן פּידעלע... מילא גאַנץ רעכט, אויך בין שטאַרק געויהרט פּון פּישקעס דער-צעהלונג, בין אויך מיר דעריבער פּערטראַכט, אַבער די, פּערדיל מינים. פאַר וואָס ביסט-דו פּערטראַכט? אַ גאַנג אַביסעל, משטיינס-געוואָנט. קיים וואָס ער ריהרט זיך, עס זאָל איהם דאָס אַנהויבען אַרען, וואָס אָט באַלד איז שטעט-באַב און מען בעראַרף זיך אַילען מיט קינות אין אַסוף שטעט-לעקע. ער געהט נאָר נישט מיט דעם גלייכע וועג, פּערקריכט אין דער זייט געבען דער הבואה, שטעלט זיך צו-וויילען אָב און שטישעט גראַז, די שטענע שקאַפּע איז ניט בעסער פּון איהם, טרום איהם נאָך און האַפט אויף אַ קיי, דאָס איינצע טאַקיי וואָס איז חדר, אז דער רבי פּערקוקט זיך אַמאָל אין דער זייט, פּערוויגט דאָס קינר, אַדער האַמפּערט זיך מיט דער רביצין, פּערקו-קען זיך אויף די הלטרדים און פּאַלשעווען אין דעם לערנען, אויך שוין די רפואה, וואָס דער מלמד, נעהט די ביטש און טוה אַוויי דעם שליסמול טיינעם, זאָגענדיג איהם דערפּי מוסר, ער שטעלט אויף די

שפּיקע דער קינסער

אויבערן, שטרעקט אים דעם האַל, שטעקט אַרויס אַ שפּיץ צינגעל, דרינגט מיט אַ הוינטערשטען פּוס און שטייסט גענען מיר מיט דעם חידיל, אַ, דו ביסט אַיין עוזה-פּנים רוף אויך אַן און בין איהם שוין טאַקיי גוט כּכּבּד מיט דער ביטש, ער האָט אַפּילו נישט גע-האַלט ליידען, טאַכט אַ פּערדרישען קינסער, אַהייב מיט דעם הינטען און געהאט ברעה אויסצושטרעקען זיך אויף דער ערד, נאָר ער האָט זיך פּאַלד מילש געווען, אַ ציה געטאָן מיט אומפּעס דעם וואָגען און אָנגעהויבען זיך ווייטער צו שלעפּען.

גערטריבען אויף זיין שטייגער, פּישקע הויבט אָן אויף זיין שטייגער, אויך נאָך איהם טאַקיי אַרבייט, פּערטייטשט אויף מיין שטייגער און די מעשית דערצעהלע זיך ווייטער אַזוי:

— אויך וועל אייך דאָ נישט קיין ים ברייטן, איינער אַליין האָב אויך מיר דערנאָך אויף אַרעסער טראַקס געלאָזט, געטראַכט, טאַמער וועל אויך מינע ליים דאָ בעגעגענען, אַדער הערען עפּים וועגען ווי נאָר אומיוס די מיד, זיי זענען ווי אין וואַסער אַרין, דאָס לעבען איז מיר נמאס געוואָרען פּון שטענדיגען אַרומשלעפּען זיך, אויך האָב געחלש'ט אויסוואַהען זיך אַביסעל, ויצען אויף איין אַרם, ווי איך בין געוועזען געווען פּריהער, נאָט האָט געהאַלפּען, אויך האָב מיר לסוף פּאַרשעפּט קיין אַרעם.

די ערשטע פּאַר מען איז אַרעם פאַר מיר געווען אַ מייס, אויך האָב מיר דאָס אַרומגערעדעט עלענד, פּרעמד, אַליין נישט צו-ווייסען, וואו מיר אַהינצונאַן, אַלצדינג איז פאַר מיר געווען ניי, עפּים וויל משונה, קיין הקדש, ווי אין אַנדערע יודישע שטעט, האָב אויך דאָס נישט געפונען, היוער אויף אַרומצוגעהן אויך נישטאַ, ביי אונז אין די יודישע שטעט זענען דאָ היוער, טאַקיי וואָס היוער הייסען, יודע רינגע, אָהן חכמות, אָהן קונצען, מיט די טירען צו דער גאַס, אין קליין שטופּעלע די מיר, קומס-דו גלייך אין שטוב אַרין, ברויכט נישט טאַכען קיין גרויסע צערעמאָניעס, אָט איז דאָס גאַנצע בעל-הבתיקיים, אַלצדינג וואָס נייסט איז צו עסען, צום שלאָפּען, בעי דאַרפסט אַביסעל וואַסער, האַס-דו עס, בעראַפּסט די פּאַמייניצע, איז זי דאָ, וואָש די הענד און זאָך ריר אַשר-יצר, וויפּיל דיין האַרץ גלומט, אָט איז דער בעל-הבית, די בעל-הבית'שע, דאָס הוינעווער, זאָגט נאָט העלף! שטרעק אים די האַנט, בעקומס-דו דיך דיין גרבת.

א קיש די מוזה און געה דיר געווענערהיים ווייטער. — היינט איז סאך נאך פון דרויסען גרינג צו דערקענען א יודענס הויז. דאס בערנעלע סיסט, דאס רינשאקל, די פענסטער, די ווענר, דער דאך שרייבן: דאס איז א יודיש הויז. אין דעם ריח אליין דערקענט איהר, אז דא ויצט א יוד. . . אקענען-ישע דארט אין אדעס זענען די הייזער, משטייג-געזאגט, עפס ווילד, הייך אומסעלעמפעט. דער גאנג איז געוועהנטליך דורך א בויער אין א הויף, דארט קריך אויף טרעפ, ווך א מיר, האסטיג שוין געפונען א מיר, איז י נאך פערשלאסען, עפס איז זי מיט א גלעקל, מיט גאנצע צאצקעס. דו בלייבסט ביי דיר עפס אראנגעפאלען, פיהלסט, אז דו בוסט אריים, נידעריג, האסט קיין פנים נישט, שטעהסט א רגע דערשלאגען, מאכסט דיר דערנאך הארץ, געהמט זיך מיט גרויס דרף-ארץ פארן גלעקל, עם צימערט דיר אָבער די האנט, סוהסט א קליין ציהעלע, כמעט ווי גארנישט, שרעקסט זיך עפס אליין פון דין ציהעלע, גלייך ווי דו וואָלסט ארויס אקענען יענעס מיט א גראַב וואָרט, איהר געשאַלטען אין מאמען אריין, און טראַגסט זיך באלד סאָקע אָב. . . טאפסט דו א מאַל אַן ערניץ עפס א אנדער גאנג, פאלט אויף דיר אַניעס א קעכענע, אבע- דינבער, אָדער עם לאָזט זיך נאָך אויס, דאָ ויצט נישט קיין יוד. וואָס הייסט עס וואונדערסט דו זיך שטארק, וואָס איז דאָס פאר א שטאַרט? וואָס זענען עם פאר הייזער? וואו זענען עם אונזערע אַרמלייט מיט די מאָדעס? איהר האָב מיר אַרומגעבלאָקעט אין די נאסען, זיך גוט צוגעקוקט צו אַלצדינג דאָרט, סאָמער ועל איהר זעהן עמיצען מיט א סאַרבע, אויסצופרעגען איהם מכח דעם עסק, ווי אזוי מען גערט דאָ אין די הייזער ארום, נאָך ווי אויף צו-להכעיס האָב איהר נישט בעגעגענט קיינעם, און ווי איהר דרעה מיר דאָ אזוי ארום, בעמערק איהר פונדע- ווייטענס עפס א יונגען-סאָן, געקליידעט דימט, גערט ווי איינער, וואָס ווייסט נישט דעם העג, קוקט אויף די הייזער און ווארפט זיך אין אלע זיימען גאס, דער דאָזיגער פארשוין, טראַכט איהר ביי מיר, מוז נישט זיין קיין הייזער, מען בעדארף איהם נאַכטעהן, זעהן, וואָס ער סוהט, ער געהט אריין אין א הויף, איהר נאָך איהרם. ער זוכט און לאָזט זיך דערנאָך אַרויפגען אויף א טרעפ, מינער-אויף ארויף. ער געהט אריין אינוועניג אין א פאַרדער-חדר, מינער שפעלט זיך אויף יענער זייט געבען דער מיר, עם הייזערט נישט לאנג קומט ארויס איינער, א גענאַלשער, עפס נאָך א פרייץ, א פנים. דאס איז דער בעל-הבית.

דער יונגען-סאָן גיט איהם עפס א ביכעל, אַרויסוועהמענדע עס פרידער פון א קעשענע, פרייט און לאנג ווי א כאַרבע, דער גענאַלשער סוהט א בליק אויף דעם שער-בלעטל און ווארפט עם באלד סאך דעם יונגען-סאָן צוריק, פערקיימערנדיג זיך ביי אַ ביזער: לאָזט מיר צוהיט מיט אַייערע שטאַכטעס! מיר טויט עם כלל נישט, דער יונגער סאָן מענהט, לויבט זיך אין סאָן אריין, ער האָט געמאַכט עפס אזוינס נאָך אַנטויק. עס העלפט איהם אָבער נישט און ער געהט, געבען, בבושה זוהפה ארויס, מינער אריין און בעס פשוט א נדבה, איהר בעקום באלד עטליכע גראַשען און רוק מיר געשווינד ארויס מיט א פריעהליך הארץ, אצינד, טראַכט איהר מיר, בין איהר אויף דעם אמתן וועג, נאָט שיקט צו דעם שפינער זיין פלאַקס, דעם שיינקער זיין בייער און דעם אַריימאָן דעם גר זיין וועגוויזער, מען בעדארף איהם פונים אויב נישט אַבלאָוען. איהר געהט דעם פאַרשוין נאָך שטילערדייט, ווי א קוה א קעלבל, וואו ער, דארט בין איהר, איהם געהט עם שלום-שלימומל, אומעסום האפט ער, גיבען, זיין פסק, דאָ אזוי: נישט אויסצוהאַלטען, ווי זי האָבען זיך היינט צילאָזט און דארט אזוי: געהט איהר געוונטערדייט, מיר בעדארפן אַזעלכעס גיט האָבען! דער שפיץ איז, ער געהט אוועק צוקאָכט מיט לעדיגע הענד און מיר געהט עם, אַרן עין-הרע, נאָך נישט שלעכט. איהר געהט א גראַשען, א צווייער, א דרייער, וויפיעל מען גיט. — וואָס איז דאָס, וואונדער איהר מיר, פאר א מין אַריימאָן אַזוינער? אין מיין לעבען האָט מיר אַזעלכס זיך קיינמאָל נישט געהלומט, א פנים, דאָ איז אזא מנהג-אַריימעלייט מיט ביכלעך. גיט מאַדישע קבצנים און נאָך אַנגעמאָן דימט! נאראַנים, צו-האָט בעטלען מיט ביכלעך און האָבען א פייג, אז מען קען בעטען גרבות פשוט אַזוי! איהר בין זיך גוה ווי אונזערע זידעם-געה מיר אין די הייזער פשוט אַרן חכמות און סאָך עם בעטער ווי אנדערע מיט די ביכלעך. נאָך ווי די מעשה איז, אויב זי זענען נאראַנים אַדער נישט, דערווייל האָלט איהר מיר פעסט אין מיין קבצן מיט די ביכלעך. געה איהם נאָך שטילערדייט פום-מרום און היט מיר ווי ווייס נאָך מעגליך, ער זאָל מיר נישט זעהן, החלה איז דאָס גענאנגען גאנג גוט, נאָך שפעטער האָט ער, א פנים, בעמערקט ווי איהר שלעפ זיך איהם נאָך און דאָס איז איהם שטארק נישט געפעלען. ער האָט אַנגעהויבען זיך אָפּ אַרומצוקוקען, אַבצושטעלען, און געזוכט ווי מינער פפור צו ווערען, איהר האָב מיר געמאַכט הם, געקוקט אין דער זייט קלאַמפשיט, ווי

ספרעלע ספר ספרים

נישם אידם מיין איך, און נעה מיר מיין העג. נאך אין הארציען האָב איך געטראכט נײַן, דו וועסט זיך בײַ מיר נישט אויסדרערען, ברודערױ ווען דו שוויגסט נישט קיינעם און דײַ אַליין אויך נישט, שוויגסט-דו אָבער מיר, אַ רביױ זײַן אין דײַ הײזער ארומצוגען ביסט-דו יעצט אַ נומער, חכם מינער!.. צום לעצט האָט זיך מיט אונז געמאַכט אין אײַן פּלוצלױם קומט אָן מיין קבצן הײבט האָט זיך געקליבען עסען מיטאַן און פּלוצלױם קומט אָן מיין קבצן מיט דײַ ביכלעך. עס הײבט דעם זיך אָן אַמענהײן פּון בײדע צדדױם: אײנער ווײל אַרײַנדערען, אַנדערען, אַוואָרט פאַר אַ וואָרט, דער בעל-הבית ווערט שױן גוט אין כױם. בעלױם מײנעם צו דער מיר אַכטעל גראַבלױך, דערזעהט דאָרט מױך און שיקט אונז בײדע אָב צו אַלדױ-שוואַרצע-יאָדל. דער בשױפּות/ער פּסק אונזערער האָט שױן סטױל געפּוהרט דערצו, מיר זאָלען אײנער מיט דעם אַנדערען זיך בעסער דערקענען. בײַם אַראַנצױן פּון דײַ סרעפּ קוקט מױך אָן מיין חבּר וײס עפּױס שטאַרק אָנגעברױנט. אױך פּערדרעה דעם קאַפּ אין דער וײס און מױס נישט וואָס צו טאָן. אױך וואָרט, ער זאָל גען פּרידער, מיר שטענען אזױ אונזעק עטלױכע מינוט און בײדען אױן נישט גוט. מיין שוואַך טרוט מיר דערנאָך אַ פרעג:

— וואָס ווײלט אױדל, רײ יודן?
 — נאָרנישט!— ענטפּער אױך— דאָס אײנענע וואָס אױדל.
 — דאָס אײנענע וואָס אױדל!— מאַכט מיין שוואַך, אױסעמעטניוּט מױך מיט אַקױ פּון קאַפּ בױן דײַ פּױס זעקל פּערזוואַנדערט— אױדל וײס אױך אַ מחבּרן
 אױך האָב געמױנט, מחבּר איז עפּױס אַרײַטשעס וואָרט און עס הײסט וואָס בײַ אונז אױף פּראָסט יודיש קבצן, זײנער אַ חבּר אין דער פּרינסט, דערײבער ענטפּער אױדל אױדל אפּױט בעלד סאַקי אױף מײַטש:

— יא, אַ מחבּר.
 — וואָס האָט אױדל עפּױס געמאַכט— טרוט ער ווידער אַ פרעג.
 — אױך האָב געמאַכט נאָר נישקשדהױג— ענטפּער אױך, טראַכטעני-דין בײַ מיר: אױף אױך געוואָנט געוואָרען!— אַפּערציג גראַשען האָב אױך געמאַכט.
 — ווי הײסט אױדל חבּוּד— גױט ער מיר נאָך אַמאָל אַ פרעג.
 וײטער מײַטש, טראַכט אױך מיר, ער פּרעגט זיכער, ווי הײסט אױדל קבצן, חבּר מינער

פּױטקע דער קױסט

— פּױשקע... מו אױך אַ זאָג קודן און שאַרף.
 — קען אױך האָבען דעם כבוד מיט פּױשקען בעקאַנט צו הער-רעגן— טאַכט ער עפּױס מיט אַ זױס חנדיעלע.
 — אָה, מיט אַלע כבודן, זענד אָנגעלױנט, כּילעבען, זאָג אױך, אָנקוקענדיג אױדל נאָך פּריינטלױך.
 — נג, וואו איז ער, דער חבּוּד?
 — אָט בײַן אױך דאָך סאַקי אַליין דאָ פאַר אײערע אױגען, געהט צו אַלדױ שוואַרצע יאָדל!— טרוט ער אױף מיר אַ געשרי און פּלױדט אונזעק געשווינד און אין כּעם.
 אז אױך בײַן אַרױם פּונגס הױף, זעה אױך, מיין שוואַך לױפּט ווי אַ משוגענער, ער איז שױן גאַנץ ווײס, טרוט זיך פּלוצלױם אַ געהט אין אַ געסעלע און איז פּערשוואַנדען געוואָרען. אױך בײַן געבליבען שטען עפּױס ווי אױסגעפּאַטשט און וואַנדער מױך, וואָס איז דאָס פאַר אַ מיין נפש, נאָר אַ משוגענער סאַקי. אָט איז ער גוט, פּלוצלױם קומט אױדל אָן דער שניען און ווערט אָנגעצונדען! דאַכט זיך, אױך האָב אױדל נאָרנישט געוואָנט אזױנס. אױך האָב אױדל געענטפּערט מײַטש מיט אױן לשון, נאָט אױך נײעס, מחבּבּאַר, חײבאַרײסוּ בײַ אונז אױף זידיש הײסט עס פּראָסט קבצן סאַרבע, אױבעריגענס האפּט אױדל דער אַטעל-מאַכער!.

כ

אין אַ קורצער צײט אַרום האָב אױך מיט אַרײַעס מױך שױן בעסער בעקענט, בײַן קלאָר געווען אין דײַ אַלע ווײנקעלעך און הױטער-געמלעך, געהאַפּט דעם ספּרױה און געוואוסט, וואו עס עפענט זיך אַ מיר, אַרעם איז ווי אַ מאַכעקעקעלע מיט אַ סעקרעט, מען ברױכט אַ וויסען דײַ שפּרױגושונקעלע, וואו צו געבען אַ קוועטש דענסטאַל

עפענס עס זיך גרינג אויף, מען שמעקט אריין די פינגער און געהט א גוטען שמעק סאבאקע. עס האט זיך פאר מיר געעפענט א קוואל פון הייזער, אזעלכע וואס פאמען צום עסק, מיט אלע גוטע מעלות ווי ביי אונז. ארמעלייט האבן איהן שוין גענוגן וויפיעל דאס הארץ גלומט, גאנצע מחנות פון אלערליי סארטען; ארמעלייט מיט כארבעס, ארמעלייט און סארבעס, אזעלכע וואס ערגיץ נישטאן נאר אין ארעס, ירושלים, פרינקען, סערקישע און פערסישע יודען, וואס פלאפען לשון-קודש; אלסע יודען, קבוצים מיט וויבער, אויך און הייבער, וואס פארהען אויף דער עלטער שטארבען אין ארץ-ישראל און עכען דער-וויל דארט קעמט, קינדלען, לעבען אויף דער וועלטס רעכענונג; ענוות, יודינעס מיט ספאזמעס, יודען געבראכענע מיט מיוזשין וואס קומען זיך היילען אין דעם לימאן. מקבלים אלס-פעטערישע, וואס רייבען זיך ארום פראסעס יודען אין די בתי-מדרשים, און מקבלים פון היינטיגער וועלט מיט געגאלטע בערד, וואס רייבען זיך ארום די בראדער, פראנצויזען אין די קאפינעס און טראקטירען. אביניס אב-געפיינטע, אויסגעפוצטע ווי די גנידים, אזעלכע מאקי, וואס האבען להלוטין נאך נישט און אזעלכע וואס האבען, ראכט זיך, הייזער און דאך גרויסע דלפנים, מיוסע קבוצים... וויפיעל ארמעלייט איך האב געגענגט פון אונזער ווינקעל, האבען נישט געקענט גענוג אבליבען ארעס, הגם איך ווייס נישט די גליקען זייערע דארט. איינער האט מיר געגעבען צו פארשטעהן, וואס דער גאנצער הילוק איז צווישען א ארימאן ביי אונז אין די שמערמלעך און אזעלכע דא. דארט עסט דער ארימאן דאס טרוקען שטוקעל ברויט פערפינסטערט, פערוארנט און דא עסט ער טאקי אויך דאס איינען שטוקעל ברויט, נאר א קא-טערינקע שפילט איהם דערבי צו, אין ארעס שפילט די קאטערינקע א גרויסע ראליע, אויך דער גאס א קאטערינקע, אין די הייזער א קא-טערינקע, אין די טראקטירען א קאטערינקע, אין די קאטערינעס א קא-טערינקע, אין שוהל להבדיל—פעל!—אויך א קאטערינקע, שמענויג איז אין ארעס נאר א קאטערינקע, דו-הא! עס קאטערינקע זיך, עס שפילט. עס זינגט און עס פייפט, דארט אין א טראקטיר זעהט-דו אפס, זיצ א שפור און קרעכצעט, זינגט, קראסנאז דיעוושקא, זייערס א מיין לידעל, אקענען זיצען פערפוסעטע יודען, זינגען א שטוקעל פון זמירות, איער, אום יסודו מער" מיט א שניידערשען סארט, לעבעריג-הרעהליך

געהערדיג איין פאל ביי דער זייט גאס, פיהל איך הונטען אין דעם רוקען א געשמאקען ועץ, איך געהט עס אָניעט פאר ליעב, זיך דערויס נאך נישט צו מאכען, טראכטענדיג, איינער פינט עולם האָט אין איילעניש אומערן מיר א שטופ געטאָן, באַר אָבער פיהל איך נאָך א זעץ, ווי מיט א שטיק האָלץ, איך קוק מיר אום און דערוועה יאָנטעל דער האַלערע-חזן וצט אויף דער גאס! מיט איין ביינקעלע אין דער האַנד אָנגעשפארט אויף דער ערד און דאָס אַנדערע ביינקעלע האַלט ער אויפגעהייבען און קוועלמ, שמאַכט פאר פרייד, וואָס ער האָט מיר געגענגעט, איך האָב מיר אויך דערפֿרעהט שטאַרק מיט יאָנטעלן, מיט וועלכען איך האָב אין גלופסק זעהר גוט געלעבט און געווען ביי איהם אויף דער חתונה אויפ'ן הייליגען אָרט, אין דער האַלערע, נישט זיינט געדאכט.

— אזוי, פישקע—זאָגט ער אָנגעבענדיג מיר א שלום-עליכם— דו ביסט אויך דאָ אין אונזער אַרעס? איך אָשען שמעטיל מין אַרעס!— און אַקוק געבענדיג, אז איך קניישט מיר, מאַך פון זיין אַרעס עפֿים נישט אזא פרוש, מאכט ער אביסעל מיט פערדראָס, גלייך ווי איך וואָלט איהם צושטעכערט די געראַליע און איהם געטראָפען אין קנעפֿיל.

— האָ, דוין גלופסק אפֿשר איז א שטאַדט? א וואָרעס, וואָס זיצט אין הרין סיניס, קיין זיסערס פון דעם איז נאָר נישט, וואָרט, איך אַעל דיר ווייזען אביסעל מין אַרעס, וועלען מיר דערנאָך הערען, וואָס דו וועסט דענסטמאָל זאָגען.

יאָנטעל דערצהלהט מיר פון זיין גרויסקייט אין אַרעס, אלע קוקען און האַבען הנאה, ווי ער רוקט זיך אויפ'ן געזעס, ער איז א שטוקעל חשוב אין פיעל קלייטען, מען ניט איהם אָב זיין גרבה גאנץ פֿיין, נישט פערזינדיגען, עס געהט איהם, אָון עין-הרעל, גאנץ גוט, אז איך האָב איהם אַפֿרעג געטאָן וועגען זיין ווייב, האָט ער געענטפערט מיט א שטייכלעך:

— א שפען ווייב, משטיינס-געזאָגט, האָט מיר גלופסק געגעבען וואָס פאר אַגוסט קען זיין פון א האַלערע-ווייב? די האַלערע האָט איהר פריהער געמעגט געהמען איידער זי איז צו מיר אָנגעקומען, דאכט זיך, עס פעהלט איהר די אונטערסטע לויפ, פונדעסטמוסענען ארבייט אין איהר דאָס מויל, שרייעט, פילדערט, פליידערט, מאַהלט ווי א מיהל, פיעל בעסער נאָך פון אַנדערען מיט צוויי געזונטע ליפען.

שקענען א הייב, טראכט איך ביי מיר, העלמט נישט קיין מיטעל, איז זי א שלאק, שרייט זי אפילו אהן ביידע, אפילו אויך אהן איין לייב, אפילו אהן א נאָז דערצויג, און פאָלט אויף דיר, אָן אפילו בלינדער-הייט אַהן אוינגען... איך דערצעהל יאָנסען אין קורצען אויך די נעשיכטע מיט מיין בלינדער ווייב אַרצידנג וואָס איך בין פון איהר אין דער לעצטער צייט אויסגעשטאַנען.

— נאַרעלע! — זאָגט יאָנסעל — טוה ראָס אייגענע וואָס איך, א שפיי אויף איהר און איין פּק, לאָז זי געהן צום רוה.
— וואָס הייסט, יאָנסעל, א שפיי, גלאָס געה צום רוה אַהן א גט? איך בין דאָך צפּיס א יוד און פּעדאַרף חתונה האָבען.
— אַזוי, חתונה האָבען-מאַכט יאָנסעל קוקענדיג אויף מיר מיט א געלעכטער — טאַק א אמת'ער גלופסקער, כ'לעבען! בלייב נאָר, פּישקע, אַביסעל דאָ, אין אַדעס, וועלען מיר דענסטמאָל זעהן...

פון יענער צייט אָן, זינט מיין בעגעגעניש מיט יאָנסעל, פלע-נען מיר זיך אָפּט צונויפקומען און רוקען זיך ביידע איבער אַדעס, ער אויפ'ן געזעס און איך מיט מייע קראַנקע פּיס. יאָנסעל איז נאָר געגאַנגען דרינען, מיר אַרץ אַרויסצושטעלען זיין אַדעס און צעריהמען זיך פאַר מיר מיט די שטענע גאַסען, שטענע הייזער און נאָך אַנדערע זאַכען, גלייך ווי זיי וואָלטען געהערט איהם און איהם דערטון א סך אַרויסצוקומען. ביי אַיטליכס מאָל ווייזענדיג מיר צפּיס, פּלעגט ער קוקען אויף מיר מיט א שיינענדיג פנים, שמאַלען פאַר גרויס פּערצוגיגען, צפּיס אַזוי ווי דורך יענעם שפּן הויז, יענעל שטענער גאַס, בעקומט ער א גרעסערען ווערטע און מייע אוינגען, און אַרץ מאַכען, טאַרקענדיג מיר: "י, פּישקע! א שטענע שטאַדס אַדעס? אפּער, הא, אין דיין גלופסק האָס-דו אויך אַזוינס? —

— הער אויס, יאָנסעל! — זאָג איך צו איהם איינמאָל, אַז ער האָט מיר אָנגעטאַרקעט די זייטען, ווייזענדיג מיר פונדערווייטענס דעם ברוואָר, וואו עס האָבען געשפּאַצירט א גרויסער פּוּם מענשען און צו וועלכען, ווי איך האָב בעמעקלט, ער האָט זיך צפּיס געשיינט, נישט געהאַט קיין מוטה צי-געהען נאָהענט — וואָס זאָל איך דיר זאָגען, יאָנסעל, אַדעס איז אַרדאי א שטענע שטאַדס נאָר א שאַד כ'לעבען, וואָס נישטאָ דאָ קיין מענשען!... אַרדבה זאָל קען מען די היגע לייט אַרומען מענשען? געהען אַזוי אָנגעטאַן, לעבען אַזוי מענשען? קלי-אַרדבה, ווי דאָס אויף דיין ברוואָר פּיהרען זיך מאַנטעלען אונטער

פּישקע דער קריכער

די הענט מיט נקבות, ס'איז דאָך נאָר א בושוח זידען געגאַלטיג, נקבות מיט האָר, הינטען שלעפט זיך ווי נאָך א שטיק קלייד און קענען דערמיט די גאַסען, פאַרענט אַינסענטיגען מיט דער נאַנצער ברום און דרויסען. פּע, חלשות, כ'לעבען!... ווי געהט מען אהער אונזערע יודען, גלופסקער יודען דענסטמאָל, זעהט-דו, וואָלט עס טאַק געהיימען א שטאַדס, געהאט א פנים, ווישליך, מיט שענע אַינפיררען, ווי עס געהער צו זיין.

יאָנסעל האָט שווינענדיג זיך גערוקט מיט מיר הייטער, נישט געהאַט, א פנים, וואָס מיר צו ענפּפערן, אויפ'ן וועג קומען אונט אַקענע א פאַר פייע לייט, פּראַנציווען, יאָנסעל שמרעקט אויס די האַנד, איי-גער פון די לייט שמעלס זיך אַפּיעט רעדען מיט איהם עמליכע ווערטער און ניט איהם א נדבה.

— וויסע-דו, פּישקע, ווער די דאָזיגע זענען? — מאַכט יאָנסעל מיט גדלות און די אייגעלעך שיינען איהם פאַר גרויס הנאה, יענער, וואָס האָט מיר גענעבען די נדבה, איך דער עלטסטער סלמד דאָ ביי אונז און הלמוד-הורה, מינער א בעקאַנער, דו פּארשטעהסט! אַיאָ פּישקע, ער האָט שוין א פנים?
— אַזא יאָר וואָלען האָבען אַלע מייע שוואַמס — ענכפּער איך איהם און טוה א שפיי-פּוּם שטענעס סלמד קען איך טוה שוין אַנשטייטען, האָט פאַר א מין הלמוד-הורה, כשטיינס-געזאַנג, מוז דאָ ביי אַיך זיין, איך פרעג דיר נאָר, יאָנסעל, ווי שעהסט-דו זיך נישט זאָגען, אַז אַזוינס איז נומ, גיין, דו ביסט שוין דאָ קאַליע געוואָרען, יאָנסעל! ביסט געוואָרען אַוועלכער ווי די אַלע היגע לייט... אַ סלמד אַביסעל! כ'לעבען, נאָר אונזער הלמוד-הורה-סלמד, ר' הערצעלע סויג-להבדיל! ר' הערצעלע סויג איז א יוד מיט'ן פולען מויל, פול אין דער גאַנצער שטאַדס און טוהט זיין זאָך בשלמות, נאַנץ פּיין, אויף לויזער, א שודוך אויספירער, ער, אויפ'ן הייליגען אָרס תהילים זאָגען, א פרק משניות לערנדיג, וויטער טאַק ער, געהט ער, ווי דער שטיינער איך, אַלע וואָך אין די חיווער, געלד צונויפגעבען, טראַגט מען איהם די נדבה אַקענען; לויפט ער שמת-הורה מיט די הלמוד-הורה-וונגלעך צו די גנדים מאַכען א, מי-שפרך, ניט מען איהם אומעטום קרויז סטכען מיט דער פולער סאַס, ער שרייעט, צאן קרשים! און די אַנגלעך-מע-מע! — עס האָט א פנים, און דיין פּראַנציוו וואָס וואָס פאַר א פנים קען ביי אַוועלכען האָבען ווי תהילים זאָגען, זיין, מי-

שברך? וואס פאר א מעם קען האַבען זיין קידוש מאכען, זיין געזען אויף א לוי, משייטס-געזאגט?...

האַמט-דו דאָך אַ גראַבען מעזת, פּיטקען-פּאַלם מיר יאָנעל אַרין אין די רעך-אַ מינער טרום נאָר קינאָפּל נישט אַזעלכע זאכען: ווייט פון אַזעלכע זאכען אפילו נישט וואָס צו זאָגען.

וואָס הייסט, ער טרום נישט אַזעלכע זאכען? — מאָך אַך פּערזאָנלעך-ווי געשיקט זיך עס, אַ תּלמוד-תּורה-מלמד זאָל נישט טאָן אַזעלכע זאכען: נישט מאַכען קיין מי-שברך די גנדים, נישט בעראַבען די פּינע-בריות, נישט...

— טאַשאַ, פּיטקען! — שלאָגט מיר אַבער יאָנעל די רעך-ער בענראַבט זיי נאָר אויף אַ אַנדער שטייגער, נישקשה, די פּינע בריות זענען צופּרירט... —

פּע, פּע! — טרוי אויך אין איין קול און פּאַרשמעק די אַייערען, נישט צוהערען, נאָר יאָנעל לאָזט מיך נישט צו רוה און רעדט איבער מיר טאָקי ווייטער:

ווייט-דו ווער דער צווייטער איי, וואָס איז מיט דעם מלמד געזאָגען דאָס איז אַ גרויסער פּינע-בריה, אַ נאַנער סודער אין עטאַר-זאָבען, ווי ביי אַיך דאָרט אַהרן יאָסל שטילפּיער.

— פּע, פּע! — טרוי אויך אַ געשרי שטאַרק אויפגעראַכט, אַזוי אַז מענישען, וואָס זענען פּאַרבי געזאָגען האַבען זיך אַרומגעקוקט — אַט אַזעלכער הייסט ביי דיר, יאָנעל, אַ פּינע-בריה: ווי אונזער ר אַהרן-יאָסעל! וואָג האַמט להבדיל, ר' גהרן יאָסל איז אַ יוד כּים אַ פּאַרד, מיט פּאות, דאָס יודישקייט ליגט איהם אויפן פנים און אין די הענט ביי איהם ליגט יודיש געלד, עולמות-געלד, פון אלע חבּרות געלד, נאָך אויך נאָך געלד, מען גלויבט איהם אויף נאמנות, מסתּמא אַז ער נעהמט, הייבט ער דאָך אַז ער נעהמט און וואָס מיט דעם געלד צו טאָן, מען קען זיך דרינען שוין אויף איהם פּערלאָזען, דיין פּינע-בריה טוז האַבען אַ טען בוסעל נאמנות, אויף וואָס קוקענדיג קען מען אַזעלכע געפּאָזען אויף זיין יודישקייט אַזוי זינע אונטער-געטורענע פּאות?

— אויף נאמנות, כּילעבען-שפּאַרט זיך יאָנעל מיט מיר-מיט פּנות, אַיין פּאות, אַלץ איינס ווי אויך בין אַ יוד!

עס! — מאָך אַיך-וואָס ווילט-דו דאָ מיר אויסדרינגען? מילא טייטק אַיך דיר שוין דאָס נאמנות, אַבער ווי קען מען אַזעלכע סוכר

זיין מיט סוכר, מיט מצוה? אַ טען שטיקעל מצוה טוז דאָס זיין ביי דיין פּינע-בריה, פּע, כּילעבען! נאָר אַ געלעכטער, אַז די וועלט זאָגט, פּערציוו ווערט ארום אָדעם ברענט דער גיהנם, איז טאָקי אמת.

— פּונדעסטענען-טאכט יאָנעל מיט אַ שטענדיגע-טעל-אז מיר פּיעל ליבער דאָ אין גיהנם, ווי אין דיין גלופּס, אין ג-יען יאָנעל איז אין מינע איינען אינגאנצען איבערקעזערט געוואָרען.

זעטס דאָס איהם שטאַרק צולאָזען און מיר פּלענען זיך שפּאַרען זעהר אָפּט, וואָס ביי איהם האָט געהייסען גוט, איז ביי מיר געווען שלעכט, אַטן וואָס ביי מיר גוט, איז ביי איהם געווען שלעכט, מיר האַבען זיך נישט געקענט אויסגלייכען, אַ שטייגער זענען דער גרויסער שוהל, זענען דעם חזן און דעם רב דאָרט, אַ חזן, משייטס-געזאָגט, אין אַ מענע-ווערענער דאווענט קאָריש! ער אליין זאָל עס אַרבייטען, אַ טריגשטיקען דעם פינגער אין נאָרגעל, האַלמענדיג זיך ביי דער באַק זיי אונזער חזן ר' ירהימאל קלאַנזומער, שרייען קולות אויף דער געמבע, פון דער געמבע אַ חאפּ טאָן זיך אין פּיסטעל-געזאנג, ווידער אויף דער גראַבער סדרגע, ברומען, זענען ווערטער אַרויף און אַראַב, פּאַרנעקן זיך אין שטייגער, צוגיבען זיך מיט אַ זיס וואַלעכיל, אַ בעמלע-דיל פּאַר דעם רבּונו של עולם: סאַטעניו, פּאַכערניו אוי וועה איז מיר, וועה! אַריינלענען דאָס גאַנצע לעבען און אָבערן מיט שווייס אין יקום-פורקן, אין דעם מי-שברך-אזוי צו אַרבייטען-היללהו ער אליין שוויינט מיטטענס, נאָר קייט רופּט ער זיך אָן אַוואָרט, האַפּען עס אויף די משוררים, צולענען עס אויף מעלעלעק, נעהמען עס אויף די פּלים אלעלי, אויסגעמישט אינאיינעם קאַשע מיט מאָרן-און דאָס הייסט ביי זיי דאָרט קאָריש, וואו אַ וואַלעכיל! וואו אַ קליוואַנער בעטלערל, אַ פּאַניען! וואו אַ יקום-פורקן! זיי נאַנען ראַלע שפּילט ביי זיי אונזערס אַ שטיקעל דרויב, דער, אין-פּאָרד, מען מאַכט פון איהם אַ צימעס, און וואָס נאָך-אַ געלעכטער, כּילעבען! — האַלמענדיג די תּורה אויף די הענט דרעהט מען זיך דערפּי אַרום מיט די הקפות, דאָס איהר געהערט, שבת מיט די הקפות, ווי אין שבת-תּורה... משייטס! וועט איהר זיך וואונדערן, וואו איז דער רב? ווי דערלאָזט עס אויבנס דאָרט דער רב? נאָר הערסט-דו, אַט דאָס איז דאָך טאָקי דער נאַנער פּערדראָס, אַז דער שטענער רב טאַנצט אויך אין קאַן, רוקס זיך נאָך פּאַראַזיס, אויך אין אַ מענע-ווערענער מיט אַ געפּוזט בערדל און דאָס אַ פנים, פּע... דאַכט זיך גענוג חלשות, און יאָנעלען

דאס נאָר געפעלען—געוואָלד, שרײַ אױך, יאָנמעל האָס אױך דױר געײַ
 שׂען? מױנע ביס-די, צױ חסר-דעקע; וױ קומס אױניס צו דױר, וױ
 פּערקױכס מען עס אױוױ מױאום געוואָלד, אַ רוח אין דױן סאַמע
 שׂרױן... און ער קוקט מױך אָן, שמאַכט מיט אַ שױנענדיג פּינסיל.
 מאַכענדיג דערבױ נישט מער וױ: פּישקע, ביס אַ נאָר פּאַרשטענעס
 נישט, וואָס נוס אױו, הױנט גער, רעד, מענע מיט אױעלכען. און אױך
 האָב אַ קוק געמאַן, סױו פּערפאַלען, יאָנמעל אױ אױנענפאַרט, סױו
 מױס אױהם נאָר נישט צומאַכען, האָב אױך מױר געגעבען דאָס וואָרט.
 מערד הענען דעם נישט צו רעדען, אױך לאָן זױ וױ ארעם פון מױ.
 געטווענען אפּילו מױסן קאַפּ אראָב אױבערקערערען, געהט עס מױ
 מערד נישט אָן.

—הער-אױסו—זאָ אױך אױנמאַל צו יאָנמעלן—שפּאַרען זױך מױס
 דױר הענען ארעמער אױנפּירירונגען וױל אױך שױן מערד נישט, וױ
 ביסס אַ געבראַממענער עקשן און אױך וועל מיט מױנע ווערער בױ דױ
 נאָרנישט פּעלן, לאָמיר בעמער רעדען הױ-זאַכען, אױך וױל זױך
 מױס דױר מױשב וױן הענען מױר, וואָס קען פון מױר דער הבלות וױן
 דער ענין און דױ הייזער ארומגעגען, האָס זױך מױר שמאַק צוגעגעבען.
 סױו דאָ הױנט ארמעלייט גענוג אָהן מױר אױך, וואָס בעפאַלען דױ
 הייזער וױ דױ הייזערעקען און וועלען באלד פּערפליצען דױ וועלפּ,
 דױ בעל-הבתיים בלאָזען זױך, שרײַען: געוואָלד, נישט אױסצוהאַלמען,
 עס וואָלס נוס געווען צו האַכען עפּיט אַ שמוקעל פּרנסה, דאָס,
 בלעבען, צו וואָס זאָל אױך מױך געהמען.

—קױן קאַנמאַרען מאַכען—ענטפּערט יאָנמעל—מױן אױך, הױלסט-
 דו נישט, קױן קלױס מױס צעלניק אױך נישט, וואָס דען-זשע, אַ שמויגערי
 —לאָך נישט, יאָנמעל—זאָ אױך צו אױהם—רעד, וױ אַ מענש.
 עפּיט, וואָס קאַנמאַרען און צעלניק אױך דען נישט אַ בױ יודען מערד
 קױן פּרנסות
 אָהן—מאַכט יאָנמעל—סױו דאָ, דאָ ווערד פּיעל, וױ אַ שמויגער,
 האַלמען דױ סאַקסע, וױן אַ גבאי און חבּרות, רױבען זױך ארומ מאור-בעל-הנסי-
 פּושקעס, דרעהען זױך ארומ שמאַרט-זאַכען, ארומ דױ פּינע בריות, וױן
 אַ בל-לך, אַ קאַבלעפעל און דעסליכען זענען נוסע פּרנסות, נאָר,
 אַ קאַסאַ: אױעלכע ווענען נישט פאַר דױר, לאָמיר זױך געהמען צױט
 צעמעל יודישע פּרנסות פון קלױנעם סאַרס, ט, פּישקע, האַנדלען מיט

פּלמע קלױדער, אַ שמויגערי ווערד פּיעל יודען דערגערען זױך דערפּון
 נאָר נישקשהדיג.
 —ניין—גיב אױך יאָנמעלן צו פּאַרשטען—אַלע קלױדער מױ
 מען דאָך קױפען, אױסלאַמען און דערצו דאַרף מען דאָך געלט, אױך.
 פּאַקע פּאַרשטען אַ ביסעל דױ מלאכת, און דאָס אױ פאַר מױר שווערליך
 מיט גלופסקער תּחנותים, אַ שמויגער, אױ נאָך אַהאַלבע צרה, וואָס
 מאַכט עס דען אױס, און צווימען אַביסעל, אױ אַרער אױ פּערלאַמען
 אָבער דאָ מיט דױ ארעמער אױ דאָך אַ שרעק, ארעמער תּחנותים,
 מחילה, זענען מיט גאַנצע צערעמאַניעס, דרױ-אַרץ, עפּיט נאָר אַ כּוּרָא
 צו זױ זױך צו-צױהרדיען.

—אױב דו שרעקסט זױך פאַר ארעמער תּחנותים—מאַכט יאָנ-
 מעל—לאָן-זשע וױן ציבעלעס, קאַבעל, צוגעלענעמע לימענעס, כּוּ-
 ראַנצען וברכות, נאָר מױס אָבער וויסען, און דאָ אױ דױ סאַרע זױך
 אױנצושפּאַנען אױן אַמאַשקע און ארומפּירירען עס אױבער דױ גאַסען
 שרױענדיג אױף אַ קול מיט אַ נינון.
 —שרײַען קען אױך ווערד שׂען—ענטפּער אױך—דערױף בױן אױך
 אַ מױסמעל, אָבער אױנשפּאַנען זױך וױ אַ פּערד און שלעפען, האָב אױך
 קױן פּוח נישט, הױנט וואָס דעם אױ דאָך אױך וויסער דױ אױנצען
 מעלש: און דױ סתּמקום וואו געהמט מען דערצו דױ קלינגערס, געדרו
 —הער אױס, פּישקע—מאַכט יאָנמעל, מיט אַ ערענטס פּינס
 פּרנסות אָהן מױה, אָהן געלד ארױנצולענען, זענען נאָר יענע, דױ
 פּרױהרדיגע... פּינס הױכען סאַרס, וויסער, וויס אױך קױן אַנדערע
 נישט, זאָן, אררבה, דו

—בעמער פון אַלע זאַכען—זאָ אױך צו יאָנמעלן—געפעלט מױר
 אַ פּאַר, און דער גלופסקער געמויערער פּאַר, וואו אױך האָב מױך
 אױספּירירטען, אױ מען פון מױר שמאַק צופּירירען געווען, אױך האָב
 געמוינט, ווען נישט דױ אומקליכע תּחנה מױנע, וואָלס אױס מױר
 שױן לאַנג דאָרט געוואָרען אַ מענש, אױך וואָלס שױן אָנגעשפּאַרט
 הענט ווייט, אױב דו ביסט יאָ אַ שמוקעל חשוב אין ארעם, מױ-זשע
 מױר דױ טובה, נוסיער, זימער יאָנמעלע, און העלף מױר זױך ארױנצו-
 דרעהען דאָ ערניץ אין אַ פּאַר, זע אַ ברודער, יאָנמעל, און וױו מױר
 דױן גרױסקױס דאָ!
 —אַזונד, פּישקע—מאַכט יאָנמעל צו מױר מיט אַ שמויגעלע—
 אַזונד וועל אױך דױר סכּוה דױן בקשה נאָרנישט ענטפּערן, געה, וױ

מענהערע סוכי ספרים

בוזחל, פריהער און קוק אליין אַניעס מיט דינע אוינען די הונע באַי
 דען, דערנאָך וועלען מיר שוין שמועסען.
 אײַ האָב געפֿאָלגט יאָנטלען און בין געגאנגען אין איין באָר.
 אין דער אנדערער, איז מיר פֿירגעקומען עפֿים משונה ווילד, האָט
 איהר געהערט אַביסעל אַ באָר: דאָרט איז ליכטיג, ריין ווי אײַן אַ שטוב.
 דאָרט שטעהען גוטע פֿאנקעטלעך, טאקי גוטע, ווי אײַך בין אַ יוד
 פֿרודען זיך דאָרט, זאָל דער אויכערשטער היכען! מען זעהט נישט
 הענגען דאָרט קיין איין העמד אפֿילו, סײַז נאָר אַ געלעכטער, אויף
 גאמנות! — ניין, סראכט אײַך בײַ מיר, אין אזע באָר קען אײַך נישט
 זיין, דאָס איז נישט פֿאַר מיר, ניט דאָס, ניט יענען, ניט דער הענט.
 וואָס אין אונזער גלופֿסקער באָר, דאָרט איז נאָר עפֿים אנדערש, עס
 האָט עפֿים טאקי אַ פֿנים, מענשען האַלטען זיך דאָרט אויף, מען
 ליגט זיך אין קומפֿאַניע אויסגעצויגען אויף די ביינקן מען שמועסט,
 מען דערזעהלט מעשיות, מען רעדט פֿון אַלגריני, וואָס פֿערלויפֿט
 זיך אין דער וועלט. סײַז עפֿים אזוי גוט, אזוי געשמאק, סחיה,
 כליבענען... אײַך בין געגאנגען אין נאָך און נאָך באָרען, אַלע נישט
 וואָס בײַ אונז. עפֿים שמעקט דאָרט נישט דער ריח, וואָס אין אונזער
 געבויערשטער באָר! היינט זיערע מקוה איז נאָר אַ געלעכטער, אונזער
 מקוה-וואסער פֿיהלט מען, עס האָט עפֿים אַנדער טעם, אַנדער
 קאָליר און איז עפֿים געדיכטער, ווי אנדערע וואסערען. מען פֿיהלט באַלד
 סײַז זידישליך... דאָרט אָבער איז דאָס מקוה-וואסער לויטער.
 גלאַס וואסער, ווי וואסער בעדערף געווענהעמליך זיין, וואָס מען קען
 עס טרוינקען...

ג, פֿישקע? — האָט מיר יאָנטעל אַ פֿרעג געטאָן דערנאָך מיט
 אַ שמיכעלע — האָסטו געוועהן אַ היגע באָר?
 — עס! — האָב אײַך געענטפֿערט — נישטאָ פֿון וואָס, משיינים-געוואָגט,
 צו רעדען. בײַ אײַך איז אַלץ ווילד, הויך אינגאנצען, דיין אַדעס איז
 פֿאַר מיר נישט קיין אָרט.

ישטע דער סוכי

סוכי

מיט אַדעס בין אײַך טאקי נישט צופֿיריען געווען, נאָר איבער
 דעם ווינטער האָב אײַך גענוגט דאָרט פֿערבלייבען, וואָרום ווי לאָזט
 מען זיך עס ווינטערצייט נאקט און באָרפֿים אין וועג צוויין
 און דערצו נאָך איינער אליין אין אַ פֿרעמד ווינקעל? ווי באַלד
 אָבער עס האָט אַ וואָרט געגעבען די ליכטיגע זון און געשמעקט מיט
 זומער, האָט עס מיר עפֿים געטאָרעט, נישט געלויזט מיר איינציגן
 דרויג אויף איין אָרט. אַ סאָל פֿלעגט פֿאַר מיר דער זומער זיין, ווי
 געווענהעמליך, זומער, גאָרנישט! סײַז וואָרעם, ליכטיג, טעג
 גריכע, גרין אומעטום, מילא איז גוט, און נישט קאלט. בהמות געהען
 אין דער שטערערע, איז דאָ מילך, אַביסעל סמעטעניע. סײַז נאָך דאָ
 צום ברויט אַ גרינע ציבעלע, אַ קיאָפֿעל, אַ דעטיכעל, פֿאַר אַ וידען
 אַ אָרעמאָ אַ גרויסע זאָך, אַ גאנצער חשבון. היינטום סאָל אַקענען
 האָט פֿאַר מיר דער זומער עפֿים נאָר אַ אנדער פֿנים געהאט אײַך
 ווייט נישט, ווי זאָל אײַך מיר אויבריקען, עפֿים האָט ער גערעדט
 ווערטער, אומגעגעגעבען דעם האַרץ עפֿים אַ חשק... מיר דערבאָנט
 אַלץ אין איהר, אין מיין האַרבאָטער, אויסליכט גרענעלע, אינליכט
 גרין בייםעלע און אויסליכט שפּיל פֿון אַ פֿיינעלע האָט מיר עפֿים
 דערזעהלט, אָבגעגעבען אַ גרום פֿון איהר. עס האָט מיר זיך אַלץ
 געטראָכט: אַם אזוי איז זי מיט מיר געוועסן, אזוי האָט זי געקוקט,
 אזוי — געלאכט און אזוי אויסגעגאָסען איהר ביטער געטומט. עס האָט
 מיר זיך צושפּילט די געבליטען, מיר בעפֿאלען אַ זומע טרה-שחורה
 אין עס האָט מיר עפֿים געצויגען, געצויגען ווייט אויף, אהין... וואָס
 גאָר אַ שייכות דאָס אַלצדינג קען האָבען מיט דעם זומער, אויב דאָס
 איז געווען אינגאנצען זיין אַרבייט, אָדער נאָר עפֿים אנדערש, עפֿים
 אזע מיין שלאָפֿקייט, אַ ספּאַומע אזוינע? — דאָס ווייט אײַך נישט, אײַך
 ווייט נישט מערה, מיט מיר איז געווען עפֿים נישט גלאַט, אײַך האָב
 געזאָגט ווי אַ ליכט געוואָרען נאָר נישט דער איינערע וואָס פֿריהער.
 — פֿישקע, מיט קראַנק? — האָט יאָנטעל אַנקוקערדיג מיר

מענדעלע ספר פורים

יינמאך געפרעגט -- ביזט עפוי שטארק פונם פנים אראב. וואָס
 קומט זיך ווער?
 -- עם, נאָרנישט -- ענטפער איה, אָנהאפערניג זיך מיט בירד.
 זינד ביים האַרציען
 -- די פיהלסט נישט דאָס האַרץ? -- סאכט יאָנטעל -- דעריצו איז
 זיין כוּלה, אַ שטיקעל פרויס גוט אַינגעטונקס אין זאלץ אויפן
 יוכטערן סאַגן.
 -- ס'איז מיר אָנגעזאָצן אויפן האַרציען גענוג אָרן דעם --
 ענטפער איה מיט אַ ויפּץ -- עפויס פיהל איה, ווי עם ציהט מיר, ציהט
 און עם לאָט מיר גוט אַיינציען.
 -- איה פאַרשטעה שוין, פאַרשטעה -- סאכט יאָנטעל מיט אַ שטיי-
 כיערע -- עם ציהט דך אין דין גלופסק ציהט דך. אָרן, וואו די
 גריקאַיאַקטע בליהט, האו עם טוישטשעט דער דלות און קנאַבעל
 און ציבעלעס נבען די שטוב. שעה-ושע דך נישט, פיישקע, און
 געה דיר אָרן אין דין רוח אָרין.
 אין עטליכע מעג ארום האָב איה זיך געווענעט מיט יאָנטעל
 און מיר געלאָט צופוס אין וועג אָרין...
 דער קאָפּ איז מיר געשלינגען אין עק העלם, דאָס האַרץ האָט
 מיר געזינגען צו איהר, אַלץ געטראַכט, וואו איז זי, וואו געפוינט
 זיך אַזונד זי וואָס סאכט זי, ווי לעבט זי, נעכטקע, אַליין אָרן מיר?
 און די פויס טינגע זענען געזאנגען, ווי אַליין פון זיך, געזאנגען פאַסע-
 ליכען אויפן וועג קיין גלופסק. איה בין געזאנגען דורך דערפער.
 דורך שמערט, דעם נאָנצען וועג געטראַכט, געזוכט מיט די אויגען.
 סאַמער העל איה בעגענענען זי איה בין זיך אָנגעזאנגען גענוג און
 אויסגעווען אַ העלם יודישע שמערס. וואָס מערד געהענטער צו
 גלופסק, איז מיר געוואָרען גרינגער אויפן האַרציען איה האָב
 זיך סחיה געווען מיט די יודען פון אונזער ווינקעל, זייער לשון.
 זייער גאַנג. זייער שפייגער לעבען און פירונג איז פאַר מיר
 געווען נאָר אַ דערקוויקעניש, בילעכען. עפויס האָב איה מיר געפיהלעט
 הימיש צווישען מינגע לייט, אייגענע מענטשען. פון אונזער ווינקעל די
 יודען זענען סאַך סחיה! אָרן צועמעאַניעס, אָרן חכמות, הערען
 נישט קיין וועלט, נאָרשע סאַרעס. רעד דיר, אַרין חכמות, הערען
 אַ קול, ס'ווי דיר פריי אַלדינג, פראָמט ווי נאָס האָט געבאַמט, וועסט
 עסק איז -- שען אָדער סיאום, אויב עם פאַסט אַדער נישט, יענעם גע-

מישקע דער קרויסער

פּעלס נישט זי לאָז ער פערטאכען די אויגען, פאַרשטעקען די אויערען.
 געסטאדע איה פאַרפול... איה בין ביסליכוויי נעקומען צו די קעפּטען.
 געוואָרען רודינגער, געטראַכט פון גלופסק, פון דער געמיינערטער פאַר
 און געהאַפּט צו השמיהת-ברך.
 אָם אזוי בין מיר איה מיר אין אַ שטינג פריה-מאַריגען געזאנגען
 צווישען ווייץ און קאַרען און פערגאנגען ביז צו אַ גרויסען, געריכטען
 האַלד. איה בין אַרין ספּליק אביסעל אין וואַלד, אָנגעלענט זיך דאָרט
 מיט מיין פּעקל, אַראָבעוואַרפען פון מיר די קאַפּאָטע און זיך אויס-
 געטרעקען אונטער אַ בוים צווישען הויך גראָן, וואָס האָבען מיט די
 גרויסע, ברייטע בלעטער מיר פאַרשטעלט ארום און ארום. ס'לאַ
 וואָס איז דאָ איבערצומאַרבעטען אַ וואַלד -- אַ וואַלד, ווי אלע וועלדער.
 בייםער זענען זיך ביימער, גראָן-גראָן, פייגעלעך -- פייגעלעך און איה
 בין מיר איה און מעג מיר סאַך האַפּען אַ דרעמיל, זיך אויסרוהען
 אביסעל פונם וועג איה ציה מיר, געניץ פערטאָך די אויגען און --
 הערט מיין הלוים.
 עס דאַכט מיר זיך אַ שאַך, עפויס ווי טריט און אַ קנאַקען פון דאָרע
 ריכלעך. איה שטיק-אויף די אויערען און האַרץ מיט צוגעכאַמטע אויגען.
 דער שאַך ווערט אַלץ שטאַרקער, די טריט אַלץ געהענטער. עפויס
 הויבט עם מיר אָן צו אַרען, וויל עפענען די אויגען, נאָר שווערליך.
 איה ליג ווי אַ קלאָץ און קען פאַר גרויס מירינקייט מיר נישט רירען.
 די טריט אַבער ווערען באַלד שטילער, איה בערוהיג מיר, גיב מיר
 איבער דעם שלאַף, די געדאַנקען פלאַנטען זיך מיר און ס'איז מיר
 עפויס גוט, אזוי גוט... עפויס הערט זיך אַ שטיל אונטערניג גינגיל.
 דאַכט זיך אַ בעקאַנטס, דאָס גינגיל צוגעהט זיך אין אלע גלידער, רייסט
 אויס אַ שטיק האַרץ, עם גלופט זיך היינען און דערפּי פיהלעט זיך
 סאַך, ווי עם קומט צו אַ שטיק גענוג. עפויס נאָר ווי אויף אַ בעדעקענעם
 פאַר דער חופּה, עם וויינט זיך חתן-בלה און עם לאכט זיך, בירדע זאָכען
 אונאַיינעם, ווי אַ זון מיט אַרענען צו גלייכער צייט. -- פּלוצלים פיהל
 איה, עפויס טרום מיר אַ געהט ביי די האַר און עם טרום אַ געשרי. איה
 האַפּ מיר געשווינד אויף, צוגעהט פאַר מיר די גרויסע בלעטער פונם
 גראָן און דערועה אַ מעפיל מיט שטאַרקע רויטע פּליינציעס, וואַלע-
 רענדיג זיך נישט ווייט פון מיר אויף דער ערד, ווימער אביסעל רוקט
 זיך עטציער, ווי אַנקבה, זיצענדיג אויפן גראָן און קוקט זיך ארום
 אין איינע שרעק, מיר איז באַלד איינגעפאַלען, וואָס דאָס בעמיט יענע

האָט דאָ, אפנים, געקליבען פיליזיפּעס, פּערטיפּס אין דעם זוכען און כּשעח מיטער, אונטערזונדענדיג עפּיס אלידעלע, האָט זי פּלוצלים אָנגיט סאַפּט מיין קאָפּ און זיך שטאַרק איבערגעטראָגען, איה שטעק געשויער אויף, נעהם דאָס מעגל און געה איהר עס אָנצונראַגען, סאַכענויג פּונדערוויימענס נישקשה נאָג פּרינגליך, נאָר קוים קום איהר צו סאָ הענט, פּאַלס מיר פּון די הענד דאָס טעפּיל ארויס, איה סוה אנדער, כליב פּערטיפּעס—און באַלד שטעהן מיר ביידע, שמויף העלפּענדיג זיך בי די הענד, איה און מיין האַרבאַטע...

דאָס איז געווען סאַקן וואכענדיג, נישט קיין הילם, איה האָב געקוקט און געזעהן נאָגן קלאָר, פּאַר מיר שטעהן געזונטע ביטער, אויבען אויף די צווייטען שפּרינגען פינעלעק, סווישטען, זינגען זיין פּרעהן זיך מיט אונז אינאיינעם, ביידע זענען מיר איבערקליקליך, פּרע הען זיך און לאכען מיט טרעהרען, ביידע וואונדערן זיך, פּרעהן איינער דעם אנדערען, פּון וואנען ער האָט פּלוצלים זיך אהער געמויט, און ביידע רעדען, דערעהעלען, וואָס מיט אטליכען האָט זיך פּאַכרעט זי דערעהעלען די גרויכע ציוה, וואָס זי, געבעק, איז אויבלי שטאַנען זונט די האַלאַסטרע האָט מיר פּאַר אַ יאהרען אין שטענדיג דאָרט אויטקעוואָרפּען, דאָס איז געווען דעם סמויט אַרביים, איה האָט זיך נישט געלונט, מיין ווייב זאָל געהען גמ, בכדי זי וואָל נישט באַלד צושטעהן צו איהם מיט געוואַלד, ער זאָל מיט איהר הענה האַכען, איהם האָט נאָר געטוינט אַ בלינדע, אַבער נישט קיין בלינדע ווייב, סאַכען מיט איהר חן און געלט—דאָס זאָל ער און זיין זאָל זי זיך געזונטערהייט יענעס, דערביי האָט ער געהאַט נאָך אַ סוין, מיר צו פּערזונטען מייע יאהרען, איה זאָל נישט זיין פּרי אינפּענדענט, איהם איז איה שטאַרק נישט געפּלען מיין פּרינדשאַס מיט דער האַרבאַטער, דאָס האָט איה שרעקליך געשטאַכען און ער האָט פּיין זיין ווייט געטאָן סוטעל, די פּריינדשאַס זאָל נישט גען ווייכע... אַזי ער איז מייער פּאַר געוואָרען, האָט ער מיין ווייב ביטליכוויי זיין די לאפּעס אַריינגענומען און איהר דערנאָך געוויזען, הער עלטער איז, וויטענדיג זעהר גוט, אַז פּון זינע הענד איז איהר שוין אומגינגליך זיך אויסצודרעהן, וואָרום וואָס קען אַ פּלונדע אייער אַליין סאָגן טבעטער וואָס זי איהר זיך שטאַרק צוגעגעסען, ער האָט זי איבער געגעבען דעם אלטעשטען, צו געזען מיט איהר און די הייער און סאַכען די קאַמעדיע זי אַ סאָל מיט מיר, דער כּוכב האָט איהר

ערעהעט דאָס בלוט, זי געהיהרענעם געשלאָגען און דער אלטעשטעקער האָט געזונטער מיט איהר געלערענט בליק, זי איז אין אַ קרעצער צייט געעליכעט געוואָרען, פינכטער ווי די ערד—דאָס נאָגע יאהר האָט זי האַלאַסטרע זיך אַרומגעשליפעט, אין פּיעל שטעטט אויסגעווען, און היינט פּאַר סאַג זיך געשטעלט אויסרוהן דאָ אין וואַלד, איהר האָט זיך פּערגלונט געזען קלייבען פּיליזיפּעס און האָט פּלוצלים—אוי לאָזט זי איהם מיט אַ שמויכעלע — אָנגעטאַפּט אַ גוטע פּיליזיפּע, סוין אַליין...

איה פּון מיין ווייט דערעהעל איהר אַלדונג, וואָס מיט מיר האָט זיך פּאַכרעט און זי איהר בין אויף היינט אין דער פּריה געקומען אהער, געהינדירט אויפן וועג קיין גלופּסק, בי אונז איז געבליבען פּון היינט אָן זיך מעהר נישט צושידען, אינווענעדען אַלע מיטעל, מיין ווייב זאָל געהען גמ, אויב חלילה נישט, וועלען מיר ביידע פּון דער האַלאַסטרע אַנצוגען ווערען, און וואַרען, וואָס נאָט וועט געבען, און ווי מיר זינען זיך דאָ אוי, שטאַרק הנאה האַכענדיג איינער פּונם אַנדערען, הערט זיך אין וואַלד אַ קול אַהדו!

— דאָס איז אַ קול פּון אונזערע לייט, זאָגט מיין האַרבאַטע, דאָס זונט מען מיר, און שפּעטער אַ וויילע קומט צו אַפּאַרשויין, וועלכען איה האָב באַלד דערקענט, דער פּאַרשויין האָט מיר עפּיס קרום אָנגעקוקט און געשטייכלט פּאַר זיך מיט אַ געשעפּט, מיר סאַכען נישט לאַנג שיהות און לאָזען זיך געהן, דער פּאַרשויין לויפט פּריהער, איהל זיך, אפּנים אָנצוגען די גוטע כּעוה, און מיר איהלען זיך נישט, געהען פּאַכען ליה, הינטער אַ קרעטיטעלע, אַ חודבא, אויף אַ היכשע שברעקע וויטליך אין דעם וואַלד, זעה איה, שטעהען בעקאַנטע ביידע, ווייכער אַכטעל איה אַ פּרייט פּלאַץ, אַרומגערינגעלט מיט כּיימער, ברענט אַ פּיערעל, די שטעטע חאַלאַסטרע אַרום, און סאַזי פּרעהליך, דעם ערשטען, שלום עליכם, שטעקט מיר אַב דער כּוכב מיט ברייטקייט, הויף אויף אַ קול: א, א, א גאַסט, כּלעבען! וואָס סאַכט אַ ווייז איה האָב סאַקן נאָך איהר געכיינקט, די פּישעל!—באַלד דערויף לאָזען זיך הערען קולות: קומט מקבל פּנים זיין דעם, גני דין און פּון אַלע זימען שטיכען זיך מיר כּעוה-וויילדע, כּשונגענע, שלום-עליכם, מיט קניס אין קלעפּ הינטען אַרום, אויז אַ דאָס היטעל איז מיר פּונם קאַפּ אַראָפּ געפּלען, און ווי איהר דרעה כּיך דא, זיך דאָס היטעל, צי-דעקענדיג

סענרעלע סוכר סטריס

דערווייל דעם קאפ מיטן עק פאלע פון דער קאפאמע און האפ קלעס נאך א שרעק, זליהטיגז ביין וויב מיט א פרייד אין איין קול; וואו אז ער, מייער? וואו, וואו פישקע... איהר פרייד האט מיר ערנרע געשטאנען ווי פון די פייע לייט די קניפ. צום גס סויג מיר פלל נישט אזע פרייד, טראכט איה מיר, האב מיר בעסער פינט, ווי דער גאנצער עולם דא, זי אבער היינט זיך אויף מיר, אלץ פישקע, מיין פישקע! מיר איז שטארק נישט גוט געווארען אַנקוקערדיג זי, אַבלענדע א דארע, א שלאפע, אלע יודענע וואו איז איהר לייב, איהר געזונט איהרע פעטע באקען און איהר פיסק איהר האב מיר בעראפט אנטאן א פוח א פרעג צו געבען זי, פון יוצא ווענען; וואס מאכט די, בתורה

—דו ביסט טאקי גערעכט געווען, פישקע, זאנערדיג א מאל; אין גלופסק האבען מיר ביידיע, פרוד-השם, א שניעם נאמען געהאט, אויכליכער האט מיר געקענט און אויף מיר פכוד געלענט, —מאכט מיין טיב הויף אויף א קול, אלע זאלען הערען, אַנעמענדיג דערפֿי א שטאַלע מינע, ווי א אַנעקומענער גניד, וואָס דערזעהלע פון זיין גרויסקייט אין די פרייהערדיגע יאָרען, און געטאָן א זיפן סינף פּוּנִים האַרצען—גענוג זיין גענוג, אהיים, אהיים צוויק אהיים פיהר מיר, פישקע, צוויק אין אונזער שטאדט, צו אונזערע הייזער, אונזערע בעלי-בתיים—

סאיז מיר געוואָרען פינסטער אין די איינע פון איהרע רעי, אזעלכעס איז מיר נאך נים אייגענפאלען צו הערען פון איהר און איר הויב מיר שטארק פערקריסט, דער סמור האָט זיך אויך מיאוס פער- קריסט, טראכטענדיג זיכער, אז איהר וויל דערזאגען די סחורה און ביי איהם צוגעהמען די פרנסה, איהר האב נאך געטראכט: אדרבה ביי דיר בלייב עס, איהר בין דיר זי מוחל פונעם גאנצען הארצען, עס האט אן איהם געברענגט די רציחה, די איינע זענען איהם פערלאָפען מיט בלוט, אַנקוקערדיג מיר ביי, דערנאָך האָט ער זיך אויפגעוויכען פון זיין זרם, געוואָרענעס און איז אונגעקענענען שטארק אין בעס.

וויבער און מידלעך פון דער שענער האליסטרע האָבען זיך געפאָרעט געבען דעם פייער, צוגעשמעלט סעפלעך, געשארט, גערקויב, געבאקט קארטאפלעס, א טייל בחורים שמעהען-צו און שפילען זיך מיט זיי אונטער, דערלאנגען א זעץ, א קניפ און זאנערדיג דערפֿי

גלייכעוועלעך, די הייבער זענען קלאַסערשט ביי, נריים אויסווייטען די אויגען, ווילען, שליסען און קיבען טאקי באַלד פאר געלעכטער, לאָזען זיך חאפען ווי א דהון פונעם האָהן, הען ער ווארפט אויף איהר א אויזעל מיט אַראָנענלאָזענע, צושפּרייטע פּליזעל, און איז בקבל גארהב דעם פיק, העלכען ער סהום איהר אין קעפּל—ווידער אַטייל זענען צווישען, צושפּרייט אין וואַלד, איינער לינגט מיט דעם רוקען צוויף און דראַפּעט, דער אנדערער לאַטעט עפּים א קאפּטאָן, יענער קראַנט זיך, טאפּט און ווכט עפּים מיט א שטארק ערענט פּנים. נאָך עכליכע שלאָגען זיך, פּרויזען, ווער וועמען וועט בייקומען, עס קאָנט זיך, עס רעשט זיך, חברה לעבט... מיין הייב האַלט מיר פעסט מיט די הענט, נאך איין נוף, איין נשמה, דערט און רעדט פאר פייער, פאר וואַסער, זי קלאָנט זיך אויף איהר פינסטערען מול, דערזעהלע אורד שווער ביטער געמוטה, ווי אזוי זי איז עס אַכטעל אַנעקומען און ווינטש נישט אנדערש, איהר זאל זי פון דאָנען אונטער-היידען, לעבען מיט איהר אינאיינעם, ווי נאָס האָט געכאַטען, ביז הונדערט, עפּים צוואַנציג יאָהר, איהר ענכפער איהר איין וואָרט אייפֿן צעהנטיק, לעבען אָרן לשון, און זיך ווי פון איהרע הענט זיך אויסווערדען, אז איהר האָט זיך שוין אויסגעלאָזט דער און מיר זענען שוין גענוג אויף איין אָרם זיך אַנעקומען, איז מיר לכּוֹף געראַכטען פון איהר זיך אויסצוריי- סען, אַכטעל פּרי צו עכהטען, איהר הויב פּאַלד אויסגעווכט מיין האַרבאָט, און מיט איהר שטילרעהרע אונטע אַכטעל אין דער זייט, דער שטייט אונזערער האָט זיך אַנעוויכען דערמיט, אז סאיז שטאַרק נישט פרעהליך, פון נמיטען זיך מיט מייער איז נאָך נישט צו דענקען, זי וועט פּרויזערען מיין קאָפּ, נישט וועלען אפּילו הערען, ווידער-ושע דאָ צו בלייבען ביי דער נטייער פּנופּיא איז אוראי נישט גוט, דאָס הייסט, פּשוט זיך פּערקויפּען דעם רוה, אויף דאָס ביי ווערען א בער און מאַנען אויף די לאַפּקעס, וואָס דען-ושע סהום מען אַהוישע צייט זענען מיר אזוי געוועזען און אונזער שמועס האָט זיך אויסגעלאָזט דערמיט; אין פּויריה, מען בעי דארף מאַכען אפּליסיה, און אזוי ווי די האַליסטרע האָט ברעה דאָ צו געכיינען, איז פאר אונז קיין בעסערע צייט און קיין בעכער אָרט נישט געווען ווי אַכצוטאָן עס טאָקן די היינטיגע גאָט, דאָ אין דעם האַלד, ווי מיר זענען און בעטראַכטען גוט דעם פּלאַן, ווייזט זיך פּונ- דערווייטענס דער סמור מיט עפּים אַפּאַר פּערד, —לאַמיר נישט חור- מען—זאָגט מיין האַרבאָטע—ביז ער וועט צוקומען געהענטער, עס

פישקע דער קי

סווג נישט, ער זאל אונז זען זינענדיג אינאיינעם, בעסער קאמט צעצייטענס זיך צוגעהן.

זי געהט אויפן און איין זייט און איהר דער אנדערער. דער סמור און עפוס ווי שטארק בעשעפטיגט געווען, זיך אלץ געפולט מיט דעם אלטענשטען, וואס איז געווען זיין גאנצער פלינגע-ארומנאנט. איהר האב איבערמירען מיט דעם סמור זיך גאנצענט נייט צו בענענענען און מיר געהאלטען אלץ בעווענדע. פישעט חברה האט געארבייט, געשיפט, פערטראגען געווען מיט זיך, איז צו מיר צו געגאנגען סוין הארבעט, מיר איינגעוויסט אין איהר, אז איהרע די זון וועט זיך זעצן, וויל דער סמור זיך ריהרען מיט דער הא-ליאסטער אין וועג אריין, די פאר פערד, וועלכע ער האט געבראכט צופיהרען, זינען געגעהרעט און ער אילט זיך, אפנים דעריבער אועק פון דאנען, פון אונזער פריהערדיגען גאנצען פלאן האט זיך איינגעלאזט אטייך, איהר בין געבליבען שטענדיג אבהענדיג, נישט צו וויסען וואס מען מוהט. עס האט מיר פארקלעבט ביים הארצען, פאר גרויס פערדראם, אזוי אז דער קאפ האט זיך מיר געדרעהט און מיר קוים געהאלטען אויף די פיס, מיין הארבעטע האט מיר אָנגעקוקט מיט גרויס רחמנות, די אויגען האבען איהר געברענט זיי פייער, דאס פנים האט איהר געפלאמט, און נאכדעם אז זי האט אַוויילע גע-טראכט, זאגט זי צו מיר מיט אַציינערדיג קול:

— פישקע! זאלסט שפעטער אביסל זיך געפינגן אין דעם חברה'לע, דאָס אויפן בוידעם, די פארשטיהעכט...
— איהר פארשטיה, פערשטיהט—רוף איהר מיר אָן לעבעדיג, אונ-טערשפרינגענדיג פאר פרייד—און דו וועסט דערנאך אהין אונטערקומען?
— יא, שאן—מאכט זי און סוהוט מיט'ן קאפ אַשאַקעל אויף יא—למען-השם שמיל, דו הערסט?

מיט מיין ווייב האב איהר נישט געהאלטען אזוי פאר נייט זיך צו געווענענען, הגם ס'איז אויף איהר געווען אַרומנות, נאך ווער איז איהר שולדיג זי האט געגעבען דעם ערשטען רים און דער רים צווישען אונז איז געווארען דערנאך אלץ גרעסער, גרעסער, פערפאלען, וואס האב איהר געקענט כאָפן אז, נאך אַ הויז אלע אנדערע זאגן, איז מיר אומפונקליך געווען מיט איהר אויף ווייטער זיך צו פערבינדען. אומפונקליך מיט איהר זיך צונויפגעווען ווי דער הימלעל מיט דער ערד.

איהר האב, עס פארשטיהט זיך, פארגעסען דעם יעד געזונט' און שטילערהיים זיך געלאזט געהן צו דעם חרבה'לע.

מיט וואס פאר אַהארץ איהר בין אין דעם חרבה'לע אריינגע-גאנגען, איז גרינג צו פארשטיהען. נאך אזוי פיעל פוין און געבראכטע ליד האט נאָס געוואלט צונויפפיהרען מיר מיט דער האַרצאמער אין איין וויכט קרעטשמעלע, וואס דאָ האט בערארפט אייבערשפולט ווע-רען אונזער ביידענס גורל און פון אַזונד אָן אַנוויבען צו פירען אַ ניי לעבען. ארויפקריכען אויפן בוידעם איז מיר אָנגעקומען זעהל גרינג, וואָרום דאָס שטיבעל איז געווען נידעריג, מיט דער הימער-כסעט וואָנד, וואָס אין הויז אריין, אָנגעבויען כמעט בוי צו דער ערד. די ספעליע איז געווען ערמערווייז, געלעכערט מיט גרויסע שפאלטען, אזוי אז מען האט געקענט פונים בוידיים אַרוינקוקען אינוועני אין דעם שטיבעל אַריין. איהר זיך מיר אין אַ ווינקעלע און ווארט, עס מ'אָכטען מיר דאָס הארץ, קלאפּט זיי מיט אַ האמער, איסליכע מינוט צוהט זיך סער ווי אַ יאָהר, איהר האָרן מיר-צו צו אַ מינדעכטען שאַך. אַ מינע-סעט בעוועגונג פון אַ שמרויעלע ערניץ, דאכט זיך מיר סריט, זי געהט... אַ מינדעט בלאַזעלע פון אַ ווינקעלע, דאכט זי מיר מיין נאָ-מען, זי רופט... פלוצלים קומט מיר צו די אויערען פונים שטיבעל אונטער עפּיס אַ קול, דער געדאנק, אז דאָס איז זי, אָס איז זי, באלד, באלד ווערען מיר אויסגלייזט—האָט מיר צוקאכט, געווארפען פון היץ אין קעלס, איהר וויל מיר אַנרופען, פערחאפט מיר אַכער דער אַמהעם, עס רינגט מיר נישט דאָס מויל, אין דער דאָזיגער הייסער רנע הער איהר טאקן גאנגן שאַרף מיין נאָמען און די אויגען מינע דערוועהן זיך אַ שפאלט—וועמען איהר, דעם סמור מיט דעם אַלבעשטענע... זיי שבוועטען צווישען זיך אזוי:

— די געהט אויף דיר ריין שטיקעל סוהוד—זאגט דער סמור-פארשטיהעכט

— נישקשה ענטפערט דער אַלבעשטער—מינס האב איהר שוין געטאן, איהר האב נאך מורא, זי זאל נישט פנר'ען, דער אַלבער סקראב לינג אַזונד ווו אַ מויסטע און קען זיך נישט ריהרען, אזוי האב איהר אַדער געבראכען די בינגער.

— און דעם הינקערדיגען פלאַסקערדיגע—פיהרט אים דער סמור-געזעם איהר אויף מיר, אַנקוקען קען איהר נישט זיי פריצו-פנים, אזוי

ציגט האָב איך איהם. איך וועל מיך מיט איהם אַפּרעכען, נישקשע
איך האָב נאָך מיט איהם אלטע חשבנות.
ס'איז מיר ענמפאלען דער מאמעס מילך, הערענדיג אזעלכע
שרעקליכע ווערטער.

— ווי עס זעהט אויס— מאכט דער אלטעשקער— זענען דייע
געלאַקענעטע סוסים ווידשע, דאָרע, דערשלאַגענע, קאלטענעוואַסע, מיט
אויסגעקרוסטע רוקענס, מיט דינע העללעך, גערעלעך און סווידען, ווי
אזערע פאַראַפּאַשקעס, פינע בריות.

— אַבבאַלען זאָל דיר די צונג, די אלטער סטורמאָקן— ווידעלע זיך
דער סמוך— געה בעסער, ווּך, שמעק, פּלב איינער, דאָ אין הויז,
אויפֿן בוידעס, טאַמער וועסט-דו, פּאַציאָפּען עפּים אלטע בעל-העגלה-
שע זאכענישען, וואָס קענען אונז מיינען, פאַרס איז דאָך עס אַ מאָל
געווען זי אַיינפאַרהויז, משיינענע-געזאַנעט.

עס בעשלאָגען מיך אַנסטען, מיר איז נישט גוט צום שטארבען.
איין כּיכ צימערט מיר שטאַרק און טרום, נישט ווילענדיג, אַ זעץ אין
דער סטעליע, די פּאַר שניע ליט פּעררישמען די אויגען אַרויף,
שטענענדיג אַ ווילע פּערגאַפּט, דערנאָך לאָוען אַרויס בירע אין
איין קיל:
— עפּים שטע זיך פון דער סטעליע! מיין בעדאַרף טאָן דאָרס
אַקוי.

עס פּערדרעהט מיר זיך דער קאַפּ, עס קלינגט מיר אין די
אזערען, שווינדעלט אין די אויגען און איך שוועב עפּים אין לופּטען...
יא, טאַן אין לופּטען, אַ פּאַר אַיווערנע הענד סחוגען מיך אַ האַפּ
און שליידערען מיך פּונעם בירעם אַראָב אויף דער ערד; איך דערהער,
ווי מען מאכט מיר אַ ברייטען, ברוך הפּא, מיט דעם גאַנצען סטעליע,
ספּאַציל קומט, רי פּישעל! און דערועה באַלד פאַר מיר דעם ממוך
מיט אַ פּנים, אַ שרעק אַנצוקוקען, עפּים נאָר אַ פּנים ווי ביי אַ קאַזי,
בשעת זי קלייבט זיך צו דערשטיקען דאָס געחאַפּעטע מייול, דעם
אַלבעשטיקען האָב איך שוין נישט געזעהען. ער איז, אַ פּנים, אַוועק-
איבערלאָזענדיג מיך אויף אויף אויף מיט דעם ממוך.

— אַ נג, נפּישיל— מאכט דער סמוך— זאָ ווידווי... דאָס וואָס איך
האָב בעדאַרפט טאָן דיר אַ מאָל, דאָרס אין קעלער, וועל איך עס
דיר טאָן אַזינדי, פּייבוישקע פאַרגעסס נישט, נישקשע
איך פאַל איהם צו די פּיס, וויין בעס מיך ביי איהם, ווי ביי אַ גולד.

מיר צו שיינקען דאָס לעבען, עס העלפט נישט, ער געוהט אַרויס
אַ מעסער, האַלט עס מיר אַקענען די אויגען, מיט גוים הנאה צו-
קוקנדיג, ווי איך צאַפּעל, פּלאַטער, איך פרוב מיך איינשמעסען
איהם מיט דעם נג-יעדן, זאָג איהם צו עולם-הבא, אַ גאַנצע וועלט,
שיינק איהם מיין חלק לעולם-הבא אויך, אַלצדינג וואָס נאָר מענילך.
ער שטשרעט אויס אויגען און שווייגט, איך הויב אָניעס צו שרעקען
איהם מיט דעם געהם, מיט גאַטס משטם, דער אייבערשטער וועט
איהם שטראַפען, זיך נוקם זיין פאַר אומטולדיג בלוט, ער פּעריכטט
די ליפּען, טרום אַ הויב אין דער הויך דאָס מעסער— און אין דער
שרעקליכער רנג, וואָס אָט-אַט לינגט מיר דער הלף אויף דעם האַלץ,
טהוט עס איהם פּלוצלים עפּים אַ האַפּ פון הינען, נאָר ניט מיט קיין
מענשליך געשריי: ניי, ניי, וועסט עס נישט טאָן!— ער ווערט שטאַרק
פּערטישט און קוקט זיך אין שרעקניש אַרויס.

דאָס האָט איהם אַ האַפּ געטאָן דאָס האָרפאַמע מיידיל!
— הצופּה, אַרויס!— דערלאַנגט דער סמוך אַ געשריי, באַלד ווי ער

איז צו-זיך געקומען— אַרויס, הצופּה! וואָרום...
— ניי, ניי, פון דאָנען געה איך נישט אַרויס! דערהרנעט זאָל
איך דאָ ווערען אונאַייניג מיט איהם!— שרייט בעהאַרעם די האָרפאַמע
אין פּאַלט דעם סמוך אויפֿן האַלץ, וויינט מיט ביטערע שרעהען,
גלעט איהם און הלטיט פאַר איהם, ער זאָל מיך אַבלאָוען, זאָגט
איהם צו דאָס אייביגע לעבען און אַ שטול אין נג-יעדן, דער סמוך
טהוט זי פון זיך אַוואָרף ווי אַ סיאָטיטיק, שלפּ, פּלובט אויף וואָס
די וועלט שטעהט, און אַז די ריזחה איז איהם אַביסעל אַנגעזאַנגען,
ווערט ער זיך צו מיר מיט די ווערטער:

— עס טרום מיר זעהר לייך, וואָס איך אליין האָב דאָ ריך, מיין
טונפּהיל, נישט גע'בעל-דבר'ט, נאָר אויב דיר האָט געשפּילט דאָס
טרפּהגע מול דינס, איך זאָל דיר, פּערשטונקען נפּשיל, נישט צו-
קוועטטען ווי אַבינה, דאָך איינזאַנען שרוקען אַרויס פון מינע הענד
זעסט-דו נישט.

ער געהט אַ שטריק, מיט וועלכער ער איז געווען אַרויס
געטראַטעלט, שטעלט זיך בינדען מיר הענד און פּיס, מאַכענדיג
דערפּיי:

— ליב-זשע דאָ שטיל, הונד איינער, קיין פּארע זאָל מען פּאָן
דיר נישט הערען! ליג ביז די פּונדה דינע וועט דאָ אויף דיר קומען.

סענדעלע מוכר כספים

גאר געדענק-זושע, פלאסקערדיגע, טאמער סרעפס זיך א דיר א נם, עפס א באבע דינע אין קבר העש זיך פאר דיר מידען, און געהט פון דאנען א לעבעדיגער ארויס, זאלסטו זיך היטן, מיר פאר די אויגען זיך נישט צו הייען, וואָרום באלד, פּולוספּע לי איהך דיה און סאָך היק...

אַננעסאָן מיר מיין רעכט, געהט ער זיך צו דער האַרבאַטער, וויס האָט זיך געוואָלנעט אויף דער ערד, געאַמערט, געקלאָגט, קוקענדיג אויף מיר און זיך געריסען ביי די האַר.

— א, דו חנופה איינע! בייזערט זיך דער סמור, א שטופ געבענדיג זי, געבעק, מיטן פּוס—אויך וויס, נישקשה, פאַרשטעה אלעדינג, דאָס איז געווען אַ געגנערעמע זונג—א חנונה אָהן פּלי-ומר, דאָ אויפן בורדעם... א שיען מירעלע, נישקשה, און פאַר מיר גיט זי זיך אויס פאַר אַ רביצין. פון היינט אָן וועסטו זיין ביי מיר וויסן, חנופה איינע!

ער כּוהם זי אַ האַפּ אין די הענר און אומקעהרענדיג זיך צו מיר מיט אַ זאָג: שא, חונם, געדענק מינע ווערער! ווערט ער מיט איהר געשווינד אנטרונען.

אין גיהם קען מען אוי פיעל יסורים נישט לירען, וויפיעל איה האָב איבערגעליטען. איה בין געווען נישט אין גיהם, נאָך דער גיהם אין מיר. עס האָט אין מיר געקאָכט, געברענט א הייליש פיינע, די האַר זענען מיר געשטאַנען קאַפּיר, עפּס האָב איה געפּוילט, ווי שטעכען ביה ווי שפּילקעס און דאָ טאָרד מען נאָך נישט הויך וויינגן, נישט כאָן קיין פיפּס.

שפעטער אביסעל האָבען מיר אין די אויערען זיך פערטראָגען קולות: אַ סקרופ פון רעדער, אַ ליאַרעם, אַ געשריי פון מענישען, דאָס בעמיט, חברה האָט זיך גערהרט, די האַליאַסטרע האָט זיך געלאָגט אין וועג אריין און מיט דעם פּעקל לייט—מיין האַר, מיין גוטע, בודנע, אומביליקע האַרבאַטער, געבעק... .

אַ הובשע לאַנגע צייט בין איה געלעגען ווי א שטומע טאַג, געבונדען אויף אלע פּיער, מיט אויגען ווי די באַנקעס פון הייסע טרעה-רען, די שטריק האָט מיר זיך איינגעשטונען אין לייב אריין און ביי אַ מיטעס ריהרעלע מיר געניטען ווי אַ מעסער, עס האָט מיר דעריזו נאָך געפרעגט אַ שרונג, אָט, האָב איה געמיינט, עקט מיר זיך דאָס לעבען, פאַר גרויס וועהטאג האָב איה דערנאָך אָנגעהויבען שרייען.

פּיסקע דער קרומער

סאָמער וועט עמיצער דעהרערען, די האַליאַסטרע האָט, נאָך מין רעבנונג, שוין געמיט איינפאַהרען גאַנץ ווייס, איה שריי, אָבער אומיוסט, שריי צו דער וואַנד, עס טריקענט מיר אין האַל, עס בעשלאָנגען מיר אַנשטען, דאָס שרייען קומט מיר שוין אָן שווער, איה מוז צווישן אַברודען, די לאַנע מינע ווערט האָט וויטער ערנער, נישטאָ שוין קרין בוז צו שרייען, די גשמא היינט מיר אויפן שפיץ נאָן, דער מלאַך, הבור, פיהל איה, אין נאָך איהר ויקומען, מען בעדראף שמאַרבען, יונגערדייט פון דער וועלט געהן, איה מוז מיר אָן אַ פּוּח, געהט זיך צונויף מיט אלע מינע קרעפטען און מראַכט, לאַמיה האַמט סאָן דאָס לעצטע געשריי—לאָן הילכען די תקועה גדולה פון מין אומביליקה לעבען... .

נאָך נאָט אָבער האָט איה, לי אלטער, געבראַכט איהר זיט מיר בייגעשטאַנען אין דער גוט און מיר ביה דעהלעכען ביים לעבען

177

אַ מישקע האָט געענדיגט זיין אומצייגע מישה, איז צוגעלאָגען די נאָט און אונזער סערדלעך האָבען זיך פאַרשלאַפּט צום גיינעם באַרג, וואָס פאַר גלופסקי, דער גלופסקער גינער באַרג איז געקאָנט כמעט דער גאַנצער חלק, נאָך מוז גאַנץ אלטע צייטען טראָגט זיך ווענען אדם אדם צווי-שען דעם עולם אַ לידעל, וואָס קינד און קינד קענען עס, וואָס אלע מאַ-סעס און אַמען געהען דערמיט אַיין און פּערווייגען פרעקעלעך קינדער, מיין טאַטע, זאָל האָבען אַ ריכטיגען גינער, פּלעגט מיר קינדוויין אין אַרץ זענען דאָס לידעל:

אויף דעם גינעם באַרג,
אויף דעם הויכען גראָן,

ספר סענדעלע ספר ספר

שמעון אפאר דייטשען
מיס די לאנגע בייטשען.
הויכע מאנען זענען זיי,
קורצע קליידער מראגנען זיי,
אבינו מלך.....

דאס לידעל פלעגט מיר זעהר געפעלען, פיער בעסער פון אלע לידלעך. עפס איז מיר דער גרינער בארג אזוי וואונדער-שען פריי געקומען אין מיין קינדערש קעפול! עס האט מיר זיך געזאכט, ער איז נישט גלאם גראָם פון ערד, ווי די פראַכטע בערגלעך ארום מיין שמערמיל, ניין ער איז עפס, ווי זאָגט מען עס, נאָר פאַפּיחוט... ווי דער הר הוינים, דער בארג לבנון, פון ארץ-ישראל-ערד...—הָן דו דיטשען דאָרט, זיי זענען מיר פירנדקומען עפס נאָר מ'טונה ווילד, אַזוי בעס זיי מחילה, עפס אזעלכע מיני בעשעפעניש, מיני בהמות אזעלכע, אַקסען, שור-הברזן, זיי שמיטען מוס די לאנגע בייטשען און לאָזען צו גלופסק נישט צומערטען, ווי דער סמבטיון צו די רויע גידעלעך, אריין אין גלופסק מוז מען האפען א שמיץ, און אלע דאָרט האָבען א פנים פון אַנבעשעמסענע... שפעטער, אז אַזוי בין ארויס פון די קינדערשע שילעך און אויבונעווען א העלט, אין גלופסק אויך, האָב אַזוי שוין געזעהן אלצייט מוס אנדערע אויגען און פערשטאנען, ווי עס געהער צו זיין דעם פשט פנים לידעל, דער גרינער בארג איז פשוט טאָק א באַרג, נישט אזוי גרוי ווי בלאַטיג, זעהר גריבעריג, און די דייטשען, הויכע מאנען דאָרט, זענען געוואָגט געוואָרען אַקענען יענע מאנען מיט לאַנגע הענד און קלעפיע פינגער, וואָס לקחיע גען און שניידען אַב קלימקעס, געוועהנטליך איז דער שטייגער, דאָס ערשטע טאָל אַריינצופאָהרען קיין גלופסק אַהן אַ קלימקע, דערנאָך אַ מען איז שוין גוט אַנגעלערענט, לאָזט עס עטליכע הערטס פאַר גלופסק עפס נישט רוהען, די אויגען האפען, ווי פון זיך אליין, אַ קוק הינטערן ביידל, די הענד—א כּאָפּ דאָס קלימקעל, די בונעמקעשענע, צו-שפּילנדיג די קאַפּאַטע אויף אלע קינעלעך, אַזוי בין אויסען דערמיט, אז דער גרייכענדיג דעם גרינעם באַרג האָבען אלע אונזערע אברים, די נאָ אויך, געפיהלט פון דערווייטענס גלופסק, און ערשט שפעטער א ווילע, אז מיר האָבען אין אלע וויכען זיך גוט צומוינקען, א טאָפּ געמאָ אין וואָגען, האָב אַזוי מיר דערמאָנט אין פּיטשען, און געזעהן מי זיי זאָט, געבנדיג, פּעראַומערט, שטאַרק בעהייבט.

פּיטשען דער קוימער

אויך נעהם מיר שרייטען פּיטשען, שטאַרקען איהם מיט נומע
רעד, טאכענדיג זיך דערביי קלאַמפערשט פּרעהליך, און לאָז אויס מיינע
שטייט-ווערטער מיט דער אנדערער העלפט פונים פּרעהדענדיגע בעקאַנג.
מען לידעל:

אבינו מלך—
דאָס האַרץ איז מיר פּרעהליך
פּרעהליך וועלען מיר זיין,
מירינקען וועלען מיר ווין,
קרעפלעך וועלען מיר עסען—
און אונזער ליבען נאָם
קיינמאָל נישט פאַרגעסען.

נישט פאַרגעסען, ער קען העלפען.
— אויך פרעג אייך נישט מעהר, די מענדעליז— מאַכט פּיטשען
מיט א ביטער געמוטה— צו וואָס האָט עס נאָם בעדראַפּט מיר מיט איהר
וידער צונויפּפּירערען, בכדי באלד טאָק אונז צושיידען? עס זאָל אונז
פּלוצלים אַ שוין מאַן דאָס מול, בכדי באלד טאָק זאָל אונז נאָך ער-
נער פינסטער ווערען אין די אויגען... ס'איז עפס נאָר ווי אַ צו-
לכּעסס און געוואַלד, רבּונו של עולם, אַקענען העמען, אַקענען צוויי
אומגליקליכע, ביטערע קאַליקעס, וואָס איהרע אַזע וויסס לעבען אין
יסורים, אין וועהרונג, וואָלט פאַר זיי פּיעל גלייכער געווען נאָר מיט
געבורען צו ווערען!...

אויך טאָק אַ פרום פּינמיל און שאַקלענדיג מיטן קאָפּ זאָג אויך:
כּעמפּע-מיין וואָס האָט אזוי פּיעל געהייסען? מען טאָרט נישט רעדען
אוינאָס... געוואָגט האָב אַזוי עס, נישט וויל דאָס איז ביי מיר געווען
אַ נומער ענבעטער אויף דער קשיא, נאָר גלאַם אזוי, וויל דער שפּייגער
אין דער וועלט איז שוין אזוי, אז איינער פרעגט פאַר צרות שטאַרקע
קשיות, מוז דער אנדערער זאָגען מוסר, אַבשלאַגען איהם האַמט מיט
טע-טע-סיי, אַבזאָגענדיג דעם מוסר, פון וואָס ווענען, עפען אַזוי אַב-
אַ טויל און רעד ווערטער פּשוט ווי אַ מענטש, אזוי:
— זאָג נאָר, פּיטשען, ווי דאָס מירדעל הייסט ביז אהער דאָס-סדר
זי אַלץ גערופּען די האַויבאַטע, מיין האַרבאַטע, אַזונד וויל אַזוי אויסען
ווי זיי הייסט.

— אַטענע וואָס, די מענדעליז— רופּט זיך אַן פּיטשען, אַנקענדיג

סוף פערזאנלעכערט—אקעגען וואָס, איהר בעס אייך, ווילט איהר עס
 אזוי וויסען צו וואָס אומזום אויסגעבען אַ מיידלס נאָמען?
 —פאַרשטעהט-דו, נארעלע—ענטפער איהר—דאָס קען אַ מאָל
 צונגן קומען. אייך מינע ניעווע קען זיך באַבען, איהר זאָל עפּים
 נאָשמעקען, אויספאַרשען, לאַמיר וויסען איהר נאָמען, נישקטו זעהר
 מעגליך, דו פאַרשטעהטסט אז דוין שאַדען זאָל זיך נאָך אויפזוכען, איהר
 זאָל זיין דער שליח.
 —ביילע הייסט זי—חאפּט זיך פּישקע זאָגען מיט אַ קול—זי
 הייסט ביילע!
 פּלוצלום הערט זיך עפּים אַ שטארקער קרעכץ מיט אַ קלאַפּ, ווי
 עס האָט זיך עפּים אָנגעריסען. איהר קוק מיר דערשראָקען אום און
 דערוועג: מיין אלטער לינגט אויסגעצויגען אויפן וואַגען, זיפצט און איז
 בלייב ווי די וואַג.
 —וואָס איז אַיך, די אלטערע—מהו איהר אַ פרעג—איהר
 ווילט אפּער געהמען אַביסעל בראַנפען—אַיך איז נישט גונץ
 בעט... ענטפערט: אלטער, שטארקט זיך און זעצט זיך ווי
 דער איהר.
 —זאָג מיר פּישקע!— הויב איהר וויסער אָן, נאָכדעם אז איהר
 האָב מיר בערווינגט וועגען אלטערין— וויכטיגו נישט, ווי די מאַכט
 איהרע האָט געהייסען און פון וואַגען זי איז?
 —יאָ, ענטפערט פּישקע— מיין האַרבאָטע האָט מיר דער-
 צעהלט, אז איהר מאַכט פּלעגט מען רופּען על קע, זי געדענקט, ווי
 דורכין שלאָף, אז די מאַכט האָט זיך גענוג מיט איהר מאַן אין
 סונדאָיערדעוועקע. זי פּלעגט עס זעהר אָפּט דערטאָנען און אויסלאָזען
 איהר שווער, ביטער האַרץ צו איהר וויסעט מענטשליך, געבען.
 —מיט איהר מאַן אין סונדאָיערדעוועקע!—מאָך איהר פּערזאנלעכערט—
 ווער זאָל דאָס דאָרט זיין איהר מאַן, דער רשע-מרושע מיט אַ שטיי-
 גערן האַרץ, וואָס האָט דערווייטערט זיין קינד, זי געמאכט אזוי אומ-
 גליקליך? האַ, מאַכער ווייסט איהר, די אלטער, ווי אזוי זאָל ער
 דאָרט ביי אַיך אין שניידערטיל הייכען?
 אלטער איז געוועזען ווי אַ טויטער, אויסגעבלאָצט אַ פאַר אויגען.
 עקאָט עפּים משונה ווילד מיט אַ אָפען מויל, אזוי אז ס'איז מיר
 טפּאלען דאָס געזונט.
 ער האָט געהייסען...— רייבט פּישקע דעם שמערען און

חיל זיך דערבראָנען דעם נאָמען—ער האָט, הויב, דאכט זיך, געהייסען...
 עזאָרט אַביסעל.
 —אלטער הייסט ער...— מהום אלטער אַ געשריי און פּילט
 אַנדער אויפן וואַגען.
 — יאָ, טען אזוי, אזוי!—זאָגט פּישקע קוקערדי איהר אלטערין,
 נישט אָנהויבען צו פאַרשטעהן, וואָס זיין געשריי בעטייט— דאכט זיך
 נאָך, עפּים איהר אַ צוגעשמעניש, יקנהיז, די טומע פּלעגט ביים
 בעבערעל עטיקער פּלייש אויסרייסען, רופּען זי דערביי יקנהיזיכע,
 יקנהיזים מעכטערלי, ווען זי פּלעגט האַבען גרויסע צרות, ווען מן האָט
 זי אָנגעשאַפט פּוּנים אָרט.
 איהר אַכער האָב מיר שוין אָנגעשמויסען, וואָס די נאָניע מיטח
 בעטייט און בין געבליבען עפּים ווי מען נוסט איינעם אָב פּוס
 אַ אַקראַף.
 אלטער חליפעט און שלאָגט זיך מיט דעם קלאַט אין האַרצען,
 מעבענדיג דערביי!
 — אַבנס הבאחי! איהר האָב איהר פּעררויכט דאָס לעבען, זי
 געבען, איז טאָקו גערעכט!
 דער טאָטע האָט זי געקליבעט...
 אַ שטראַף פון גאָס איז דערפאַר פון אַ צייט אייך מיר אָנגעשיקט
 צעוואַרען, וואוּוין איך קעהר מיר און ווענד מיר, געהט עס מיר נאָך
 שלום-שלימוכל...
 איהר הייב אָן פאַר רחמנות צו טרייסען מיין אלטערין, דער
 איהר אַייס דאָס האַרץ און פאַרגלייבט אַביסעל זינע ונד: ער איז
 דאָך נישט מעהר ווי בשר-ורוס, פּלייש און בלוט. דער יצהר-רע איז
 ביי אונז, זינדיגע מענשען, זעהר גרויס, גאָנג גרויסע צדיקים אפּילו
 זענען אין אַזעלכע זאכען... געהאַפּט און קענען אין דעם ענין פון
 חתונה האַבען מיט דעם יצהר-רע נאָך נישט מאַכען, זעהר פּיעל פון
 אונזערע עלטערן, צדיקים, זענען געווען לאַפענדיגע, געלענען אונטער
 דעם ווייס פּאָנאָפּעל, געכאַן איהר ווילען און צובריבען אפּילו אַיי-
 גענע קינדער פון אַ אנדער ווייב, אויב נאָך זי האָט געהייסען...
 פּישקען זעהט די גאַנצע זאָך אַייס עפּים משונה. ער וועט פּער-
 האַנדערט מיט אַ פאַר אויסגעשמעלכע אויגען, קאָס ווילד עפּים איהר
 אַלמערין, איהר מיר און ווייסט נישט וואָס צומאָן.
 דערווייל ווערט שטאַק-נאָכט, די שמערען פּונקלען, ווינקען אַ

שטערעלע סוכר ספרים

אונז פונם הימעל מיט זייערע שיינענדיגע ליכטיגע פנימליך, נלייך ווי זיי מישען זיך איין אין אונזער שמועס, ווילען עפס זאגען. און ביים עק הימעל הויפט אָן, ווי פון דער ערד, ארויסצוגען א גרויסע לבנה, וויס ווי סייער. דאכט זיך, זי קוקט גלייך נאָר אייף אונז. אלע דאָרט אויבען קל-קען, דאכט זיך, ווילען זעהן דעם שפיין, מיט וואָס די דאָזיגע מעשה וועט זיך אויספלאַנען... מין אלטער זעצט זיך געשווינד אויף, הייבט אויף זיינע אויגען צום הימעל און רעדט מיט האַרץ:

— איך שווער ביי דעם, וואָס לעבט אייביג, אז איך וועל נישט קומען אַ היים צום חייב און קניעה, נישט חנונה סאכען מין בחולה ביז איך זיך נישט אויף מין פּערהאַנגעלט קינדו הימעל און ערד זענען ערוהן איך פאָהר טאָן באַרד און ווער, וועה דאָרט דעם, וואָס וועט מיר זיך אַקעגען שטעלען...

שישקע פאלט אַרויף אלטערין אויפן האַרצען, האַלזש איהם, קוישט אַ היבשע ווילען אָהן ווערענדיג, און אזו שטאַרק צושישט, דערנאָך שיסט ער אים אויף אַ וויינענדיג קול מיט אַ געפנט:

— געוואָרד ראַטעוויגט, ראַטעוועט זי!... מין אלטער שפּרינגט געשווינד אַראָפּ אויף דער ערד, קריכט אַרויף צו זיך אויפן האַנגען, און געזענענדיג זיך מיט אונז פּונדעווייטונג, דרעהט ער אים דעם דישיעל, סהוט אַ שטיץ די שקאפע און פאָהרט זיין וועגס. איך מיט פייטקען קוקען מיר איהם אַ היבשע צייט פון הנצען נאָך, נישט צו רעדען קיין וואָרט. דערנאָך גיב איך אַ פליק צום הימעל, ווי לבנה און שטערען געהן זיך זייער נאנג, נאָר נישט דאָס פנים, וואָס ס'הער, שטאַרק הויך, האַפּענדיג, ווייט פון אונז, מענטשעלעך. עס ווערט עפס אומעשיג, נישט פּרעהלן אויפן האַרץ...

איך ס'הו אַ שטיין מין אַדלער, ער זאָל מוחל זיין זיך שלעפּן אַ ביסעל נכען—און שפּעטלעך פיינלעכט פאָהרט מין בידו אַפער די טריבערדיגע גאסען פון גלוציק, מיט אַ קלאַפּעריי, אַ געטיי, אַנזאָגענדיג דעם ערלעס, הנה זייט וויסען, נאָך צוויי פרישע יודען זענען אַנגעקומען קיין גלוציק...

Фишка-хромой (перевод)

*Моему любимому, дорогому
другу Менаше Марголису¹
приносит эту книгу в дар
от всего сердца*

Автор

Дорогой друг!

Печален мой напев в хоре еврейской литературы. В моих сочинениях дан образ еврея со всеми его характерными чертами, если он иной раз и поет что-нибудь веселое, издали кажется, что он плачет, заливаясь слезами. В его песнопениях слышатся траурные ноты. Смеется, а на глазах у него слезы. Хочет повеселиться, а из груди у него вырывается тяжкий вздох, и всегда только и слышишь: «Ох, горе горькое!»

Я очень далек от спесивого самомнения, от мысли, что я, мол, соловей в нашей литературе. Но в одном отношении я все же очень похож на него. Этот меланхолический певец поет свои песни и заливаются на грустный лад как раз в весеннюю пору, когда весь мир словно вновь рождается, когда все цветет, благоухает, сияет и светится и у каждого радостно на душе.

Оба мы, дорогой друг, начали нашу работу в еврейской литературе как раз в весеннюю пору жизни евреев в нашей стране². От шестидесятого года нашего века³ для евреев начинается новая жизнь — жизнь, полная добрых надежд на будущее. Оба мы в то время были еще очень молоды и горячо взялись за перо, работая с увлечением каждый на свой лад. Ваши произведения пользовались большим успехом у народа. Люди восхищались, читая ваши замечательные книги и статьи по многим важным вопросам еврейской жизни, слушая ваши прекрасные речи в защиту народа и дружеские поучения, призывающие познать самих себя, познать жизнь, не ронять своего достоинства и держать себя наравне со всеми. Из уст ваших сыпался жемчуг, сверкающий, переливчатый, навсегда оставшийся украшением еврейской литературы.

И я со своей стороны в ту радостную весеннюю пору подтягивал, писал, играл на свой лад. В моей игре одна струна обычно звучала грустно и отчасти наводила на слушателей меланхолию. Одни слушали меня охотно, с болью в душе, другие морщились и поеживались, были недовольны тем, что я задеваю их за живое и напоминаю о невеселых вещах. Но как бы то ни было, я играл и делал свое дело.

Та прекрасная пора миновала. Горе отшибло у меня охоту к писанию. Я надолго лишился дара речи.

И если я сейчас снова взялся за свое высохшее перо и снова заговорил, то это благодаря вам, только вам, чье общество придало мне новые силы. Ваши умные речи, ваша постоянная работа на пользу нашего народа приободрили меня и внушили желание тоже приняться за работу. От священного огня, постоянно пылающего в вашем сердце, и в мое сердце залетела искра, оно воспламенилось и горит сейчас, как никогда в годы юности.

Да, оба мы начинали свою работу в литературе в одно и то же время, но участь наша не одинакова: вы забрались высоко, вы имеете дело с бриллиантами и алмазами еврейской истории, вы демонстрируете прекраснейшие драгоценности прошлого нашего народа, лучшее и самое дорогое в его жизни. Вы имели дело с Гилелем, рабби Меером, рабби Акибой⁴ и другими корифеями, достойными представителями людей высшей категории. Мне же

¹ Марголис Менаше (1837–1912) — автор нескольких очерков о талмудическом праве и законоучителях Талмуда.

² Менделе Мойхер-Сфорим имеет в виду намечавшееся в 60-х гг. прошлого века смягчение системы репрессий против евреев, достигшей при Николае I крайних пределов.

³ То есть XIX столетия.

⁴ Законодатели Талмуда.

было суждено спуститься на нижнюю ступень езрейской жизни, в подвалы. Мое достояние — тряпье, гниль. Я постоянно вожусь с нищими, с бедняками, с обездоленными, а также с никудышными людишками, с комедиантами и тому подобными существами, ничтожными и низкими. Мне снятся только попрошайки. Перед моими глазами вечно носится сума, исконная огромная еврейская сума... Куда бы я ни повернулся, всюду мне мерещится сума, о чем бы я ни вздумал рассказать, мне приходит на ум сума!

Везде и всюду — сума, еврейская сума!

Да, дорогой друг, благодаря вам во мне снова вспыхнуло желание писать, и вот перед вами — грехи наши тяжкие! — снова сума: Фишка Хромой, с которым я выступаю после столь долгого молчания. Я сознаю, что мой Фишка Хромой не такой уж ценный дар, которым я мог бы отблагодарить вас за вашу дружбу. Но, зная ваше доброе сердце и расположение к людям, я надеюсь, что вы моего бедного Фишку примете приветливо. Возможно, что вы даже пригласите его к себе в гостиную, познакомите с вашими домочадцами и гостями. Фишка расположится у вас со своей сумой, будет вам рассказывать истории и доставит вам удовольствие.

При мысли об этом улыбается от радости и благодарит вас от всего сердца *автор*.

1

Едва пригреет солнце и в стране нашей настанет лето красное, когда люди как бы рождаются вновь, а сердца их ликуют при взгляде на прекрасный божий мир, — как у евреев начинается самая унылая пора, пора скорби и слез. Вереницей тянутся печальные дни постов, самоистязания, стенаний и плача — от самой пасхи и вплоть до осенней слякоти и промозглых осенних холодов. И для меня, Менделе-книгоноши, наступает тогда самая страдная пора: я тружусь, день за днем разъезжаю по городам и весям и снабжаю сынов Израиля всем необходимым для плача: скорбными песнопениями, покаянными молитвами, специальными молитвами для женщин, всякого рода причитаниями, молитвенниками на будние и праздничные дни. Словом, евреи все лето рыдают, слезами заливаются, а я тем временем дела делаю... Но не в этом суть.

Разъезжая таким образом, я однажды ранним утром, в день Семнадцатого Тамуза⁵, сидел на облучке своего фургона. На мне, как и полагается, был талес, филактерии, а в руках — кнут. Глаза мои были закрыты, чтобы не отвлекаться во время молитвы созерцанием божьего мира. Но словно назло, она, эта так называемая природа, была удивительно хороша, и меня как зачарованного тянуло полюбоваться ею. Я долго боролся с собой. Дух добра твердил мне: «Фу! Не полагается!..» Но лукавый, приоткрывая мне один глаз, не переставал подстрекать: «Глупости! Наслаждайся, чудак этакий!»

Перед моим взором открывалась изумительная панорама: поля, расцвеченные белоснежной гречихой в цвету, перемежались золотисто-желтыми шелковыми полосами пшеницы и высокими матово-зелеными стеблями кукурузы; в прекрасной зеленой долине, заросшей по обеим сторонам орешником, струился хрустально-чистый ручей, и солнечные лучи, окунаясь в нем, вспыхивали сверкающими золотыми блестками. Стада овец и коров на пастбище казались издали то темными, то красными, то пестрыми пятнами... «Фу, фу!» — укорял меня дух добра, напоминая талмудическое назидание: «Если еврей, находясь в пути, прерывает изучение Священного писания и произносит: «Как красиво это дерево, как прекрасно это поле!» — он уподобляется самоубийце». Но в тот же миг лукавый обдает меня опьяняющим благоуханием стогов свежего сена, пряностей и кореньев, он заливается дивными, за душу хватающими трелями птиц, ласкает мое лицо теплым ветерком, нежно шевелит волосы и шепчет на ухо: «Любуйся, наслаждайся, пользуйся жизнью, глупец этакий!»

Я бормочу что-то невнятное, сам не слыша, что именно. Все мысли, все чувства мои взбудоражены, так и подмигивает выругаться: «Дохлые вы существа!.. Нет в вас ни капельки жизни!.. Затхлые души, застывшие, черствые... Высохшие прутья!..»

Раскачиваясь в притворном усердии, я пытаюсь отогнать от себя эти мысли, а в это время слышу произносимые мною помимо воли известные слова молитвы: «...возвращающий души мертвым телам...»

— Что такое? Это насчет кого? — спохватываюсь я, устыдившись своих непристойных мыслей. И дабы загладить свою вину перед всевышним, я пытаюсь сделать вид, что слова мои относятся вовсе не к людям, а к моей лошаденке... Стегнув ее легонько, я произношу: «Ну, ты, дохлятина!..»

Недурная увертка! Но на сей раз это не подействовало, меня больше всего огорчало то, что подобные мысли пришли мне в голову именно сегодня, когда нужно плакать, рыдать от великого горя, постигшего сынов Израиля: полчища Навуходоносора, царя вавилонского, вторглись в Иерусалим и превратили город в развалины. Я корчу жалостливую гримасу и пласивым голосом принимаюсь читать приуроченные к нынешнему дню покаянные молитвы. Голос мой становится все громче и печальнее, особенно когда я произношу горькие слова:

— «И гремучий змей, коварный злодей с полуночных морей, словно бурной волной, занес меня в край чужой, а разбойник лихой властной рукой хватает со зла и козу и козла...»

⁵ День поста (обычно в июле) — в память осады Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором.

Стоит еврею излить душу в пенопении или вдоволь наговориться, читая покаянные молитвы, как ему кажется, что он выполнил все, что от него требуется, и он, как только что наказанный ребенок, поплакав, снова чувствует себя вполне довольным. Я сижу, облокотившись на облучке, поглаживаю бородку. Настроение у меня хорошее. «Я сделал все, что полагается. Долгов за мной нет. Теперь, господи, твоя очередь. Прояви, отец, милосердие твое!»

— Ступай, ступай, милая! — обращаюсь я к лошаденке ласково, извиняясь в душе перед ней за прозвище «дохлятина». Моя кляча опускается на колени, бьет мне челом и стонет, словно хочет сказать: «Господин мой! А как же насчет еды?» — «Умница, честное слово!» — говорю я, подавая ей знак, что можно встать с колен. Недаром в молитве сказано: «У тебя, Сион, всякая скотина умом одарена...» Но не в этом суть.

Это изречение снова наводит меня на мысли о народе. Я погружаюсь в размышления о его мудрости, о его нравах, о его заправилах и злосчастном его положении. Голова у меня мотается из стороны в сторону. Мне мерещится гремучий змей, Навуходоносор с его полчищами, ужасная война, бои, драки. Полчища рушат стены, вышибают двери, стекла. Волоча за собою старую рухлядь, какие-то узлы, евреи бегут и голосят... Хватаю палку, кидаюсь вперед и... грохаюсь наземь, растянувшись во весь свой рост.

Очевидно, во время молитвы, не во грех мне будь зачтено, я малость вздремнул. Гляжу — мой фургон попал в лужу, — на извозничьем языке она называется «чернилницей». Заднее колесо зацепилось за ось какого-то другого фургона. Моя несчастная лошаденка стоит, переступив одной ногой через оглоблю, она запуталась в вожжах и сопит, как гусь. Из-за фургона доносятся ругань и проклятия на еврейском языке, часто прерываемые хриплым кашлем. «Еврей, — думаю я, — ну, это не так страшно!» И сам тоже уже разгневанный направляюсь к нему.

Под фургоном, запутавшись в упряжи, лежит какой-то еврей, облаченный в талес и филактерии, — не разберешь, где у него кнут, где ремни от филактерий.

Он барахтается и изо всех сил старается выкарабкаться. «Как это так?!» — кричу я. А он в ответ: «Что это значит?» Я вымещаю на нем всю свою злобу. Он тоже в долгу не остается. Друг на друга мы не глядим. Я кричу: «Что это за манера спать во время молитвы?» А он мне: «Как это еврей позволяет себе дрыхнуть?!» Я чертыхаюсь, а он и того пуще. Я хлещу его лошаденку, а он, еле выпутавшись, подбегает и начинает стегать мою конягу. Обе они встают на дыбы, а мы, разъяренные, готовы уже, как петухи, кинуться и вцепиться друг другу в пейсы. С секунду мы стоим, молча пожирая один другого глазами. Замечательное, надо полагать, было зрелище: два еврея-«богатыря», облаченные в талесы и филактерии, стоят нахохлившись, готовые помериться силами и подраться в чистом поле, точно в синагоге, не будь рядом помянута!.. Стоило полюбоваться на эту картинку. Мы стоим, смотрим, и кажется — вот-вот раздадутся звонкие оплеухи, как вдруг мы отскакиваем друг от друга и оба, изумленные, восклицаем в один голос:

— Ой, реб Алтер!..

— Ой-ой, реб Менделе!..

Алтер Якнегоз — человек коренастый, упитанный, с брюшком. Лицо у него заросло грязновато-рыжими волосами, которых с лихвой хватило бы на пейсы, бороды и усы не только для него, но и еще для нескольких человек. Среди моря волос островом выступает широкий, мясистый нос, большую часть года безнадежно заложенный и совершенно не используемый по назначению. Лишь изредка, перед пасхой, когда все кругом тает, реки вскрываются, а хозяин налегает на него всей пятерней, нос Якнегоза трубит трубой на всю Туняядовку и заводит концерт заодно с индюками. Изумленные жители местечка наперебой предлагают Алтеру понюшку табаку, со всех сторон сыплются пожелания: «На здоровье!», «Будьте здоровы!».

Вообще в эту пору в еврейских местечках носы начинают проявлять усиленную деятельность: на них, должно быть, влияет *благовонье*, наполняющее воздух... Таков обычай, установившийся еще исстари, точно так же, как спокон веков козы плодятся в начале марта... Но не в этом суть.

Алтер Якнегоз — туняядовский книгоноша, мой давнишний приятель. Человек он замкнутый, не чересчур умен, не слишком красноречив, вечно нахмурен, точно сердится на весь мир. Однако по натуре своей он человек неплохой.

После обоюдного радушного приветствия мы принялись выпытывать друг у друга, или, как у нас говорят, «прощупывать, что у ближнего на возу лежит», разнохивать, что на свете слыхать.

— Куда изволите путь держать? — спросил я у Алтера.

— Куда мне путь держать? Так... — ответил он в свою очередь вопросом по еврейскому обыкновению не отвечать прямо, а говорить полусловами, намеками: — Еду! Несет нелегкая... С головой в пропасть... А вы, реб Менделе, куда направляетесь? — попытался он «прощупать» меня.

— Туда!.. Куда обычно едешь в эту пору.

— Догадываюсь. Туда, значит, в Глупск, куда и я сейчас еду! — сказал Алтер и скорчил гримасу, точно опасаясь, как бы это не повредило, не дай бог, его делам. — Но почему же, реб Менделе, вы на этот раз едете как-то стороной, проселками, а не прямой дорогой?

— Да так уж на сей раз вышло! Кстати, давно по этой дороге не ездил. А вы, реб Алтер, как очутились здесь? — поинтересовался я. — Откуда изволите ехать?

— Откуда? Черт его знает!.. С хваленной ярмарки. Вот вам и Ярмолинцы! Чтоб им провалиться!

Пока мой Алтер проклинал Ярмолинцы с их ярмаркой, на дороге показалось несколько крестьянских возов. Еще издали крестьяне подняли крик: почему загорожена дорога? А подъехав поближе и увидев меня и Алтера облачен-

ными в талесы, с огромными филактериями на лбу и длинными, широкими ремнями, болтающимися на шее, они грубовато, с насмешкой закричали:

— Бачите, які фанаберії цяці... Егей, трясця вашій матері дайте дорогу! Ей, швидче, жидки, лапсердаки!

Мы с Алтером тотчас же с жаром взялись за наши фургоны. Несколько крестьян, надо правду сказать, хоть они и не евреи, великодушно стали нам помогать. От их толчка мой фургон сразу выскочил из «чернильницы». Не будь их, мы бог весть сколько времени провозились бы тут да еще вдобавок могли позорно порвать свои талесы. А с мужичками дело сразу пошло на лад: они толкали по-настоящему, крепкие руки дали себя почувствовать; мы же, не в пример им, больше кряхтели, чем на самом деле толкали... Но не в этом суть.

Как только путь освободился, мужики уехали своей дорогой, не переставая, все время оборачиваться в нашу сторону и издеваться над тем, как мы в длинном «поповском» одеянии возимся с лошадьми и возносим молитвы богу с кнутом в руке... Кое-кто из них, свертывая кончик полы «свиным ухом», кричал: «Жид, халамей!» Но Алтера это не очень задевало.

— Тоже мне господа! — заметил он с гримасой. — Есть кого стесняться!..

Меня, однако, их насмешки глубоко заделали: за что? Господи, за что?..

— Боже всемогущий! — заговорил я языком причитаний. — Отверзи очи твои и обрати свой взор из Еышнего чертога своего на сынов твоих. Взгляни, как богобоязненные евреи твои стали посмешищем лишь за то, что честно и благоговейно блюдут заветы твои! Обрати на нас милосердие твое, и да обрящем мы милость и любовь в глазах твоих и в глазах всех людей на земле. Защити излюбленное стадо твое и прости над ним милосердие свое. Воззрись и на меня в награду за то, что восхваляю и прославляю имя твое днесь. Пошли мне, рабу твоему Менделю, сыну рабы твоей Гнендл, и всем евреям хлеб наш насущный, и прибыльные дела, и душевный покой. Аминь!

2

Не мешкая долго, мы залезаем в свои кибитки и отправляемся в путь. Я еду впереди, Алтер за мной в кибитке, крытой старыми рваными рогожами, на четырех разной величины колесах, ободья которых стянуты веревками и закреплены деревяшкой между спиц. Просмоленные ступицы, болтаясь на осях, скрипят, кудахтают и места себе найти не могут. Кибитку с трудом волочит высокая, тощая, длинноногая кляча с изъеденной спиной, сплошь покрытой коростой и гнойниками. Всклобоченная грива полна сена и пакли, вылезавшей из ветхого хомута.

Моление у меня шло уже к концу: осталась лишь кое-какая мелочь, которой обычно не придают особого значения.

Но едва я покончил с молитвой, как снова началась борьба с дьяволом-искусителем. «Выпей, — стал он меня подзуживать, — хвати рюмочку! Подкрепись!» — «Что ты! — отбиваюсь я от него с укоризной. — Разве можно нарушать пост в такой день!» — «Глупости! — слышу я в ответ. — Что тебе сейчас до Навуходоносора? Есть худшие беды, и то на них внимания не обращают! Не будь дураком! Ты ведь стар, немощен... Сойдет!»

Провожу рукой по лицу, как бы отгоняя от себя назойливую муху, а тем временем бросаю мельком взгляд на свою котомку, лежащую в кибитке. В этой котомке у меня всегда имеется про запас добрая толика спирта, гречневые коржики, ржаной пряник, чеснок, лук и прочая снедь. У меня слюнки текут, есть хочется до смерти, в животе урчит: «Ради бога, рюмочку водки! Ради бога, закусить чем-нибудь!» Быстро отворачиваюсь и, дабы отвлечься от зловредных мыслей, углубляюсь в созерцание окрестных полей.

На голубом, ясном небе ни облачка. Стоит знойный день. Воздух совершенно неподвижен. Хлеба на полях, деревья в лесу как бы застыли, не шелохнутся. Коровы на пастбище лежат усталые, вытянув шеи, и, лишь слегка пошевеливая ушами, жуют свою жвачку. Иные роют рогами землю, бьют копытом и режут, мычат от жары. Бык, задрвав хвост и мотая головой, носится по лугу. Внезапно остановившись, он наклоняет голову к самой земле, нюхает, раздувая ноздри, и, брыкаясь, начинает реветь. Возле старой, кривой, полузасохшей вербы, когда-то ударом молнии расщепленной надвое, стоят лошади, положив головы одна другой на шею, чтобы как-нибудь укрыться от солнца, они хлещут себя хвостами, отгоняя слепней. Высоко на ветке покачивается сорока. Издали кажется, что она облачена в белый талес с черными полосами понизу и горячо молится. Она бьет поклоны, вертит головой, слегка подпрыгивая, и отрывисто сокочет. Потом, затихнув, она вытягивает шейку и смотрит ничего не видящими заспанными глазенками. Кругом — нерушимое безмолвие, ни единого шороха, ни звука. Птица и та не пролетит. И только комарье да мошкара носятся как бешеные в воздухе, жужжат и свистят, пролетая мимо ушей и поверяя какие-то свои тайны... Да еще кузнечики в траве и в хлебах стрекочут...

Зной, тишина, изумительная красота.

Я разлегся на возу в одной, извините, рубашке и арбаканфесе, сдвинув на самую макушку стеганую шапку и опустив до пят бреславльские шерстяные чулки, которых я, грешным делом, не снимаю и летом. Я весь взопрел. Сам по себе пот был бы мне, пожалуй, даже приятен, если бы солнце не светило прямо в лицо. Потеть я люблю и в бане в самую жару могу часами лежать на верхнем полке... Отец мой, царствие ему небесное, с детства приучил меня к этому. Он был горячий, закаленный человек, страсть как любил париться, потеть! Этим качеством он приобрел известность и снискал всеобщую любовь среди своих сограждан. В этом сказывалась изюминка его еврейской души, весь ее пыл. Потому его и считали почтенным, богобоязненным человеком и говорили о нем с уважением: «Да, в искусстве париться он дока! Он до тонкости понимает, что такое баня! Потеть он умеет, на это он мастер!»

Еврею вообще не привыкать стать потеть. Нет ни одной субботы, ни одного праздника, которые еврей мог бы справиться, не потрудившись до седьмого пота. Во всем мире, пожалуй, не найдется ни одного народа или племени, которые могли бы в этом отношении поспорить с евреями... Но не в этом суть.

А как хочется освежиться, когда ты в испарине! В горле у меня пересохло, пить хочется до смерти, к тому же терзает голод. Лукавый снова насаждает на меня, еще пуще прежнего. Он приводит мне весь перечень еврейских блюд: жаркое с кашей, кисло-сладкое мясо, лапшевник с «жуликом» — фаршированной шейкой, фарфель⁶ со шкварками... Помираю! До чего аппетит разыгрался, а бес продолжает свое: галушки, голубцы, студень с ломтиками печенки, редька с луком, индючьи гребешки с тушеным пастернаком... И вдруг, не знаю каким образом, перед моими глазами как из-под земли вырастает моя кстомка. «Лехаим, чудак этакий! — журит меня сатана. — Довольно дурака валять!» Рука моя как-то помимо воли протягивается к котомке, раскрывает ее и быстро хватается фляжку. Воровато озираюсь по сторонам и встречаюсь глазами с мой лошадежкой. Почесывая голову о конец оглобли, она обернулась в сторону кибитки и смотрит на меня укоризненно, будто хочет сказать: «Вот погляди! Задняя нога у меня распухла, обвязана тряпкой, глаз гноится, на шее болячка. Убей меня бог, если я когда-нибудь знала вкус овса. И тем не менее — что поделаешь? — тащусь голодная, хвораю, разбитая, а из работы не выпрягаюсь...» Фляжка выскользает у меня из рук и водворяется на свое место. Отодвигаю котомку подальше от себя и, пристыженный, глубоко вздыхаю: «Вот у кого нужно уму-разуму учиться! Бог ставит нам в пример животных... Нет, коняга моя! И я тащу свое ярмо, я тоже от работы не отлыниваю. Ничего, уважаемая, черт нас обоих не возьмет! И человеку и скотине господь помогает...» Но не в этом суть.

Стоит еврею однажды побороть в себе гнусную страсть к чревоугодию, как еда для него утрачивает особое значение и он уже всю жизнь может обходиться почти совсем без нее. Даже сейчас, в наши дни, найдется немало евреев, у которых сохранились лишь едва заметные признаки желудков. Есть все основания надеяться, что со временем — только бы не перевелись на свете «коробочный сбор» и разные благодетели — евреи все больше и больше будут отвыкать от еды, так что у последующих поколений от внутренностей, если не считать геморроя, вообще никаких следов не останется. Зато уж и вид будет тогда у евреев — всему миру на удивление...

Я хочу этим сказать, что, оттолкнув от себя котомку, я как-то приободрился и почувствовал себя гораздо лучше. Я стал думать о торговых делах, напевая мотив какой-то скорбной молитвы. Казалось бы, все в порядке. Но в это время нелегкая принесла хорошенькую молодую крестьянку с кувшином земляники, самого любимого моего лакомства.

Будь на моем месте кто-либо другой, какой-нибудь святоша, он истолковал бы эту историю по-своему: сам сатана, мол, в образе женщины явился ему под благовидным предлогом... Ничего подобного! Я нарочно внимательно присмотрелся. Обыкновенная крестьянка! Предлагая купить у нее всю землянику вместе с кувшином за пятак, она сунула мне ягоды под самый нос. От аромата у меня дух захватило. В рот набежало полно слюны, сердце запылало. Даже в глазах помутилось — до того захотелось ягод. Из опасения, что я не смогу устоять против соблазна, я соскочил наземь, как человек, удирающий от пожара. Непонятно, как я себе рук и ног не сломал!

— Реб Алтер! — закричал я не своим голосом, намереваясь призвать его в свидетели.

Реб Алтер лежал, растянувшись, на возу спиной, извините, кверху, подперев обеими руками голову. Его красное как мак лицо, раскрытая рыжеволосая грудь, весь его загорелый, обожженный вид говорили о том, что он изнемогает от жары, так что мне его даже жалко стало.

— А-а? — замычал Алтер в ответ, не двигаясь с места. — Что случилось?

Крестьянка с земляникой, гляжу я, куда-то исчезла, будто сквозь землю провалилась. И я, чтоб выйти как-нибудь из положения, спрашиваю Алтера:

— Как вы думаете, который теперь час?

— Сколько времени, спрашиваете? — глухим голосом отвечает Алтер. — Понятия не имею! До вечерней зари глаза еще не раз на лоб полезут... Ну что ж делать... Ах, жара какая!

— Жара первостатейная! — говорю я, шагая рядом с кибиткой Алтера. — Греетесь, реб Алтер? Я думаю, пора бы наших «орлов» попасти: устали, бедняги, еле ноги тащат. До тракта на Глупск еще добрых две-три версты, да, пожалуй, и с хвостиком. А неподалеку отсюда, там, где начинается лес, я вижу слева хорошее местечко, где можно попасти лошадей.

Несколько минут спустя мы свернули с дороги и добрались до места, где был и лес, и прекрасные поля, и болотце, и прочие замечательные вещи. Мы распрягли наших рысаков, пустили их на травку у опушки леса, а сами прилегли под деревом.

3

Алтер Якнегоз тяжело страдал. От жары он еле дышал, вздыхал, кряхтел, так что меня от жалости за сердце хватало. Чтобы несколько приободрить Алтера, а кстати, поболтать немного и убить таким образом время, я затеял с ним разговор:

⁶ Фарфель — крошки теста в виде горошин

— Жара, видать, здорово вас донимает, реб Алтер?

— Бе! — односложно ответил Алтер и, насупившись, забрался дальше под крону дерева, хотя это и не спасало от проникавших сквозь ветви лучей солнца.

— Трудно дается этот пост! Вы, я вижу, стонете! — стал я допытываться, твердо решив про себя во что бы то ни стало добиться от него ответа.

— Бе! — снова произнес Алтер, залезая еще дальше под крону дерева.

Меня этот ответ, однако, не удовлетворил. «Эге! — подумал я. — Ты упрям! Ну ничего, ты у меня заговоришь! Оставим в покое жару и пот. Надо затеять деловой разговор, — это лучшее, единственное средство развязать еврейю язык».

Купец даже на смертном одре мигом оживает, как только услышит о делах, и в такую минуту даже ангелу смерти к нему не подступиться. Я и злейшему врагу своему не пожелал бы попасть к купцу в такой момент, когда дело ему еще только мерещится. Он готов тогда уничтожить взглядом всякого, даже лучшего Друга, даже брата родного... Но не в этом суть.

Обращаюсь к Алтеру.

— А мы с вами, реб Алтер, — говорю я ему, — кажется, дело сделаем! Хорошо, право, что мы сегодня встретились. Эх, есть у меня товарец — первый сорт! Чистое золото!

Средство подействовало! Алтера будто подменили. Он приподнялся и посмотрел на меня, насторожившись. А я его стал еще больше подзуживать:

— На сей раз, реб Алтер, мы с вами будем торговать за наличный расчет. Ведь вы из Ярмолинцев едете, с ярмарки. У вас, наверное, не взглянуть бы, полны карманы денег...

— Да, да! Полны карманы... Сердце у меня полно болячек... — нахмурившись, ответил Алтер. — Знаете, что я вам скажу, реб Мендл... Ничего, конечно, не попишешь... Но человеку без счастья лучше вовсе не родиться... Дела! Захотелось мне новых дел! Другой бы на моем месте — ого-го! А у меня ничего не выходит, все, как говорится, маслом вниз летит! Этакое несчастье! Даже рассказывать больно. Но виду показывать нельзя. Хоть плачь да слезами умывайся. Что же делать?

Ясно, что с моим Алтером что-то неладно, с ним приключилась какая-то беда. Сейчас, когда язык у него развязался, достаточно лишь немного нажать, чтобы он наговорил с три короба. За мной задержки не было. Я нажал основательно, мой Алтер раскачался и принялся рассказывать о своей беде:

— Словом, приехал я в Ярмолинцы на ярмарку. Приехал, стал со своим фургоном на площади, понимаете ли, выложил товар. Ну что ж! Ничего. Стою, дожидаясь покупателей. Горе мое понесло меня на ярмарку. Скверные у меня сейчас дела, не про вас будь сказано. Жмут со всех сторон. Типограф требует денег. Это бы еще с полбеда, — пусть требует. Плохо, понимаете ли, что он не хочет больше товару давать!.. А старшая дочь у меня в летах. Девице, понимаете ли, замуж надо. Вот и изволь ломать себе голову — искать жениха. Женихи, конечно, есть, но жениха, то есть, понимаете ли вы меня, — жениха! — нет... А тут, как на беду, моей жене вздумалось родить мальчика, к тому еще перед самой пасхой. Вы понимаете, что это значит, когда жена рождает мальчика! Шума-то сколько! Но ничего, конечно, не попишешь...

— Вы не взывайте, — говорю я Алтеру, — что я вас перебиваю. Зачем вам было на старости лет жениться на молодой, чтобы она вам ребят плодила?

— Господь с вами! — удивляется Алтер. — Мне ведь нужно было взять хозяйку в дом. Чего еврей добивается от женитьбы? Ничего! Ему, бедному, хочется иметь хорошую хозяйку...

— Зачем же, реб Алтер, — спрашиваю я, — вы развелись с вашей первой женой и покалечили ей жизнь? Ведь она была хорошей хозяйкой.

— Бе! — помрачнев, отвечает Алтер.

— Бездетной ваша первая жена тоже, слава богу, не была, — не унимаюсь я. — А куда ваши дети, бедняжки, девались?

— Бе! — глубоко вздохнув, повторяет Алтер и, почесав голову, машет рукой.

«Бе!» у нас — замечательное словцо с бесчисленным количеством значений. Оно пригодно для ответа на любой вопрос. В любом разговоре можно его использовать, и всегда оно будет к месту. При помощи этого самого «бе!» всегда можно вывернуться, когда попадаешь в неудобное или затруднительное положение. Мошенник и банкрот, прижатый к стенке кредиторами, отделяется обычно этим восклицанием. «Бе!» выручает человека в нужде, когда оказывается, что он, бедняга, врет. Тому, кто часа два подряд морочит вам голову, вы можете ответить: «Бе!» — даже не слушая и не понимая, чего он, собственно, хочет. Тем же «бе!» отделяется почтенный, с виду очень смиренный человек, когда он потихоньку ужалит кого-либо, уважаемый деятель — когда совершит какую-либо пакость, мягкосердечный, бесхитростный человек — когда оказывается, что и мягкосердие и бесхитростность его — одно лишь притворство, а пороков у него — несть числа. Словом, «бе!» имеет множество значений, поддается любому, даже самому неожиданному толкованию, например: «А мне на тебя наплевать!», «Жалуйся на меня господу богу!», «Это уж как вам угодно!», «Накось выкуси!» — и так далее в том же духе. Сметливая голова сразу догадывается, куда это словцо метит, и понимает настоящий его смысл.

«Бе!», произнесенное Алтером, было горестным. В нем звучало и что-то вроде раскаяния, и тоска, и сознание своей вины. На душе у него, без сомнения, камнем лежало его позорное поведение в отношении первой жены и

ее детей. Во всякой беде, приключавшейся с ним, он, должно быть, усматривал наказание божье за свои грехи. Свидетелем тому был его тяжкий вздох, его жест, даже почесывание головы, — все это означало: «Прикуси язык да помалкивай... Пропади оно пропадом!»

Совість терзала меня: к чему было беречь старые раны? Вечная история с евреями! Любят совать нос в сокровенные дела других, залезать с вопросами в душу, когда она и без того болит, ноет от горя. Меня помимо этого огорчало то, что труд мой пропал даром. Алтер уже было раскачался, заговорил, язык у него стал работать как настоящий маятник. И нужно же было мне ни с того ни с сего задеть какое-то колесико внутри и остановить весь механизм! Теперь придется начинать все сызнова! Но я не поспешил, снова дал Алтеру полную дозу лекарства от немоты. Подобрал к нему ключик, искусно завел — и маятник, сиречь язык у него, снова начал работать.

4

— Словом, стою это я возле фургона, — снова начал Алтер на свой манер. — Стою и наблюдаю. Ярмарка как ярмарка — кипит! Народу много. Евреи по горло заняты делами, видно, что тут они прямо ожили. Еврей на ярмарке — что рыба в воде. Тут, понимаете ли, он полон жизни. Прямо-таки, по слову праотца Иакова: «Да множатся они, как рыба, на свете». Не правда ли, реб Менделе? Ведь недаром евреи говорят: «На небе ярмарка»⁷. Не значит ли это, что для еврея загробная жизнь — это ярмарка? Словом, так это или не так, евреи орудуют, носятся, торгуют, на месте устоять не могут. Среди купцов вижу я Берла Телицу... Был он когда-то помощником у меламеда, потом слугой, а сейчас он — реб Бер, владелец большой лавки, крупные дела делает на ярмарке! Короче говоря, ничего не напишешь! Кругом шум, гам, кутерьма... Бежит, вижу, еврей. За ним второй, третий, иные носятся парами, вспотевшие, шапки на макушках... Тут пощупают, там потрогают, скок туда, прыг сюда. Один начинает вдруг крутить большим пальцем, покусывать кончик бороды — пришла, видно, в голову удачная мысль. Словно угорелые носятся маклеры, сваты, старьевщики, маклерши, курятницы, бабы с корзинками, евреи с торбами, с пустыми руками, молодые люди с тросточками, обыватели с брюшками... У всех лица пылают, каждому некогда, минута — червонец! Словом, короче говоря, все как полагается... Похоже было — вот им счастье прямо в руки дается! Эх, и завидовал же я каждому из них! Все зарабатывают, загребают золото, а я, злосчастный, стою как истукан сложа руки возле своего рваного, битком набитого книгами и всякой рухлядью фургона, обвешанного со всех сторон нитями для ципес и разного рода амулетами. Шутка ли — «Плач благочестивой Сарры!». Всей-то благочестивой грош цена... Вот и ухитрись на такие заработки прожить, обернуться да еще дочь замуж выдать! Проклинаю в душе и дочь, и фургон, и дохлую клячу свою — лучше бы их не было на свете! Хватит, надо и мне что-нибудь делать! Работать! Авось господь смилуется! Короче говоря, шапка у меня сдвинулась на макушку, рукава сами собой засучились, ноги, будто по собственной воле, подходят к какому-то возу, и вот я уже жую соломинку, каким-то образом попавшую с воза ко мне в рот. Жую соломинку, а голова тем временем работает. Поморщился, пощурился и сразу же ударил себя пальцем по лбу. Есть! Прекрасное дельце! Порождать двух купцов, порядочных людей, имеющих лавки на ярмарке. Кто они такие? Один, понимаете ли, это реб Элиокум Шаргородский. Второй — реб Гецл Грейдингер. Бросаю свою торговлю — ко всем чертям фургон с клячей и с типографом заодно! Горячо принимаюсь за новое дело. Идет на лад! Есть надежда, что пойдет. Словом, я подталкиваю, дело двигается. Ношусь от реб Гецла к реб Элиокуму, от реб Элиокума к реб Гецлу. Ношусь уже, как и все, занят делами не хуже других, хлопочу, работаю, носом землю рою, — дело обязательно должно выгореть, именно здесь, на ярмарке! А то как же? Можно ли придумать лучшее место, чем ярмарка?

Короче говоря, тут же, в спешке, в суете, стороны свиделись, понравились друг другу, оба разохотились, — чего же еще? Мои будущие родственники пылают, горят желанием, тянутся один к другому, — они готовы! Я таю от радости: верный заработок все равно что в кармане! Я даже стал прикидывать, сколько дать приданого за своей дочерью. К тикю на наволочки я на этом основании уже раньше приценился, собирался даже купить у старьевщика поношенную бархатную накидку. Рубахи — это уже последнее дело, как бог даст... Словом, короче говоря — ладно... Слушайте, однако, какие бывают дела на свете! Без счастья лучше и не родиться. Когда дошло уже до сговора, вспомнили как раз о женихе и невесте, и вот тут-то и оказалось... Как вы думаете что? Честное слово, рассказывать больно... Оказалось — чепуха! Нет, чепуха — это что? Шиворот-навыворот! Вы только послушайте, что за несчастье, какое наказание божье! У обоих родителей — что бы вы подумали? — у обоих родителей — сыновья!..

— Помилуйте, реб Алтер! — раздражаюсь я хохотом. — Простите вы меня, как мать родная, но как же это вас угораздило совершить такую глупость — затевать сватовство, не зная заранее, у кого из родителей дочь, а у кого — сын?!

— Ну конечно! — с досадой поморщился Алтер. — У меня, право же, не меньше ума, чем у других, и учиться мне не у кого. Разве вы не знаете, как у нас обычно сватают?! Казалось бы, реб Менделе, вы хорошо знаете наши нравы, знаете, как проходит сватовство и женитьба. Что же вы так удивляетесь моей беде? Ведь это с каждым легко может случиться! Я прекрасно знал, что у реб Элиокума должна быть девица, да еще какая девица! Клад! Год тому назад я ее видел своими глазами, клянусь

⁷ Еврейская поговорка, означающая беспочвенность, никчемность

вам счастьем! Но что ты будешь делать! Когда человеку не везет, ничего не поможет, как ни мудри. Надо же было этой хвале-ной девице заторопиться и, будто назло, выйти замуж. Спешка, видите ли, на нее напала, как будто иначе невесть какая беда могла бы приключиться! А я и понятия об этом не имел! Знать бы мне так нищету свою! Теперь посудите сами. Ведь я прихожу к человеку и говорю ему человеческим языком, как водится: «Реб Элиокум! Хочу породнить вас с реб Гецлом!» Кого я мог иметь в виду? Разумеется, дочь реб Элиокума. Ее, конечно, и сына реб Гецла. Растолковывать тут как будто нечего. Даже смешно! К чему? Само собой понятно, что женятся не двое мужчин друг на друге, а, как водится, мужчина на женщине. Казалось бы, я со своей стороны делал все как полагается. Никто, клянусь вам, не сделал бы лучше! Словом, я говорил ясно, определенно, о самом главном: о приданом, о содержании молодых. Вы не должны к тому же забывать, что на ярмарке, да еще с купцами, нельзя тратить лишних слов, говорить о мелочах, — разговор должен быть короткий, только о самой сути, только о деле: ведь некогда! Вот вам, стало быть, мой ответ.

Теперь обратимся к реб Элиокуму. Он со своей стороны, услышав, что я предлагаю ему породниться с реб Гецлом, несомненно понимал, что речь идет о его сыне, — иначе и быть не могло! В самом деле, ведь не ему же я сватаю сына реб Гецла! Это же бессмыслица! Мысль о дочери ему и в голову не могла прийти — он-то хорошо знал, что у него на выданье не дочь, а сын-жених. Выходит, словом, что обе стороны правы. Вот и все. Теперь вы понимаете?

— Бе! — произношу я, еле удерживаясь от хохота и стараясь скорчить серьезную мину.

— Ну, слава тебе господи, лишь бы вы поняли! — отвечает Алтер, ткнув меня пальцем и воскликнув нараспев: — О-о! — точно я своим «бе!» угодил прямо в точку.

И должен правду сказать, что объяснения Алтера действительно заставили меня призадуматься. В самом деле, что тут невозможного? При наших нравах, при том, как у нас заключаются браки, — почему бы такой истории и не приключиться? У меня невольно снова вырывается «бе!», и я смотрю при этом на Алтера как-то особенно дружелюбно.

— Не правда ли? — говорит Алтер, снова ткнув в меня пальцем. — Вы поняли, не правда ли? Однако погодите! Это еще не все. Кое-какая надежда у меня еще тлеет. Я, знаете ли, если взялся, так легко дела не бросаю.

— Господь с вами, реб Алтер! Что вы говорите? — Я даже подскочил от изумления, будучи уверен, что у Алтера от жары в голове помутилось. — Какая же могла оставаться надежда после того, как оказались два жениха?

— Не беспокойтесь! — унимает меня Алтер. — Не беспокойтесь, реб Менделе! Все в порядке. Искорка во мне еще тлеет. Господь поражает, господь и исцеляет. У меня на примете был еще Телица. Собственно, мысль о Телице была у меня еще с самого начала. Там девицы надежные, можете мне поверить. У меня спервоначалу вертелись в мыслях все трое: Элиокум, Гецл, Телица. Из них нужно было выбрать пару. Угораздило же меня остановиться на реб Элиокуме, а Телицу покуда отодвинуть в сторонку. Но когда со мною стряслась такая беда, — что прикажете делать? Пришлось вывести на рынок Телицу, да еще разукрасить, возвеличить его, представить со всяческим почетом: реб Вершил! Словом, я стараюсь загладить свой промах у прежних своих клиентов. Виноваты, мол, отчасти я, отчасти они, а отчасти доля наша. Но, видать, не суждено было, не было на то воли божьей... Начинаю воспевать на все лады: реб Вершил, не сглазить бы, богат, прекрасной души человек, благотворитель, староста многих братств. Шутите — реб Беришл! О том, что он умница, и говорить не приходится, — это само собой понятно, раз человек богат... Словом, ничего! Искра надежды разгоралась во мне все ярче и ярче. Все к лучшему, думаю я, даже то, что всплыли, точно масло на воде, два жениха... Теперь я имею для них двух девиц, как по заказу. Реб Беришл поправит все мои дела, и все, бог даст, будет хорошо. Короче говоря, работаю изо всех сил, ношусь как угорелый. Казалось бы на первый взгляд — все обстоит благополучно, дела идут на лад. Но что вы скажете! Надо же, чтобы как раз в это время закончилась ярмарка. Все вверх дном! Все разъезжаются, разбегаются, дела кончены, и пропали все мои труды — столько трудов!

— Теперь вы понимаете? — обращается ко мне Алтер с мольбой в голосе, протягивая обе руки, словно он жалуется, изливает предо мной свою наболевшую душу и ждет от меня помощи. — Понимаете? Когда нет счастья, хотя бы крупинцы счастья, — тогда ничего не поможет, как ни мудри. Прогневал я господя, наказывает он меня все время за грехи мои... «За наличные деньги» — говорите вы? Лишнего гроша у меня в кармане нет, горе мое горькое!

— Эх, точно в бане! — восклицаю я и резко передвигаюсь на другое место.

Алтер уставился на меня широко раскрытыми глазами, покачал головой и с возмущением, ни к кому якобы не обращаясь, сказал:

— Вы тоже хороши! У человека, не приведи госпожи, сердце на части разрывается, желчь от горя закипает, человек душу выкладывает, а вам — ничего! Думаете только о своей шкуре. Шутка ли, жарко, как в бане! Растаете, не дай бог... Но я понимаю эти фокусы... На попятный пошли, как только узнали, что у меня наличных нет и что со мной дела не сделаешь.

— Ну что вы! — ответил я, потянув Алтера за бороду. — Как это вам, реб Алтер, могло такое на ум взбрести? Я имею в виду совсем другое. Ваша неудача на ярмарке напомнила мне одну очень интересную историю, приключившуюся однажды в бане. Я ее до сих пор забыть не могу. Точь-в-точь... Только там это было покороче и закончилось с треском. Стоит ее послушать. О, да вы потеете, реб Алтер! Подвиньтесь, пожалуйста, немножечко вон туда. А я полежу тут, спиной к солнцу, и буду рассказывать.

Рукавом рубахи Алтер вытер пот с лица, вытащил из-за пазухи фарфоровую люльку с намалеванной на ней красавицей. Проволочкой, прикрепленной на цепочке к томпаковой крышке, он прочистил короткий чубук, у которого тонкий мундштучок и нижняя часть сделаны из серовато-черной кости, а средняя, матерчатая, вышита бисером. Бросив мельком взгляд на красавицу, Алтер закурил трубку, затем растянулся под деревом во весь рост. Я откашлялся, улегся поудобнее и начал свой рассказ.

В Глупске в каменной бане с давних пор ютится парень — Фишка Хромой. Кто такой Фишка, откуда он взялся, поинтересоваться этим ни мне, ни кому-либо другому и в голову не приходило. Не все ли равно? Околачивается какой-то Фишка, как и все другие беспризорные существа, ему подобные... Появляются они у нас, у евреев, как-то неожиданно, точно грибы, сразу готовые до мельчайших подробностей, — никто и не приметил, как они понемногу вырастали, даже признаков никаких не было!.. Торчат где-то по трещинам нищие, рожают потихоньку, — кому какое дело? — плодятся и размножаются. Урожаи, не сглазить бы, на славу! Мелюзга встает на ножки, и на свет божий выскакивают вдруг новоиспеченные маленькие евреи: Фишки, Хацкели, Хаймки, Иоськи, голые, босые, в одних рубашонках, путаются под ногами на улицах, в домах и молельнях.

Красавцем назвать Фишку нельзя. У него большая приплюснутая голова, большой широкий рот с кривыми желтыми зубами, он шепелявит, не выговаривает буквы «р» и сильно припадает на ногу.

Фишка был уже в летах, и если бы это зависело от него, он давно бы уже женился и осчастливил Глупск несколькими ребятишками. Но такова уж была его злосчастная доля — о нем забыли, и он, как это случается иногда в нашем книжном деле с какой-нибудь рухлядью, превратился в «лежалый товар». Забыли о нем даже во время «холерной рекрутчины», когда набирали женихов⁸. Глупская община в большом смятении хватала несчастных, калек, убогих, нищих и на кладбище среди могил венчала их с первыми попавшимися девицами, чтобы таким образом унять эпидемию. В первый раз община женила знаменитого безногого Ионтла, который передвигается на сиденье при помощи двух деревянных колодок. Его обвенчали с известной нищенкой, той, у которой зубы как копыта и нет нижней губы. Холера, конечно, испугалась этой молодой четы и после того, как с перепугу побила в Глупске множество людей, схватила ноги на плечи и поспешила убраться... Во второй раз выбор пал на Нохумцю, глупского юродивого, известного дурачка. Дурачок этот на кладбище при всем честном народе покрыл голову девице, у которой голова с самого детства была, с позволения сказать, покрыта «венцом»⁹ и о которой в городе говорили, что она гермафродит. Народ, говорят, на этой свадьбе здорово повеселился, люди приятно провели время и на радостях выпили среди могил уйму водки. «Ладно, — говорили они, — ничего! Пусть плодятся дети Израиля холере назло, пусть множатся, пусть и нищие поживут в свое удовольствие...» Но не в этом суть!

Словом, о Фишке община забыла. На Глупск снова нагрянула холера, но и на сей раз она Фишке не помогла. Он по-прежнему оставался холостяком. Чего уж больше... Есть в Глупске некая безносая тетка. Ее дело — сочетать живых мертвецов: она боится, как бы не засиделись какие-нибудь калеки, нищие, убогие девицы. Для этого она пляшет среди улицы под пиликанье скрипача, подпевающего фальцетом, и собирает на тарелочку подаяние. Так вот даже эта добродетельная, милосердная тетенька совершенно забыла о Фишке и оставила его без жены. Очень жаль, конечно, беднягу, можно ему посочувствовать, но такова уж, видать, его доля.

Фишка обыкновенно ходил босиком, без кафтана, в одной лишь грубой заплатанной рубашке, в длинном замусоленном арбаканфесе и широких портках из толстого полотна со множеством складок. Занимался он тем, что в пятницу ходил по улице и выкрикивал: «Хозяева, в баню пожалуйте!» — а по средам: «Хозяюшки, в баню!» Летом, как только появлялись овощи, на улице слышался его шепелявый голосок: «Пожалуйте сюда! Вот молодой чеснок!» В бане он сторожил одежду, подавал шайку воды, мастерски укладывал грязное белье, подносил курильщикам уголек, перекидывая его из одной руки в другую, и получал за все это целых два, а то и три гроша. На этом основании Фишка считался причастным к лицам духовного звания и имел кое-какие права, как, например, — ходить вместе с извозчиками и банщиками к местным обывателям в праздники пурим и хануку за подаянием, приходиться с этой компанией на семейные торжества у посетителей бани и получать рюмку водки с куском медового пряника, а в пасху ходить с сумой и собирать куски мацы.

Я очень хорошо знал Фишку, любил с ним беседовать, и слова его порой доставляли мне истинное удовольствие. Он вовсе не был таким отпетым дураком, каким казался. Каждый раз по приезде в Глупск я первым делом спешу в каменную баню прожарить одежду, чулки, попарить косточки на верхнем полке. Говорите что хотите, но это для меня самое большое удовольствие. Что, кажется, может быть лучше, чем пропотеть как следует? Уверяю вас, даже сейчас это доставило бы мне огромное удовольствие, если бы солнце не светило прямо в лицо.

— А ну-ка подвиньтесь, реб Алтер! Подвиньтесь, пожалуйста, еще немного! О! Вы, я вижу, здорово потеете, не сглазить бы! А ну-ка подвиньтесь еще малость. Вот так, так!

— Да ладно! Хватит! — сердится Алтер. — Лежу, кажется, хорошо. Не тяните, прошу вас, за душу. Рассказывайте покороче.

— Не торопитесь, реб Алтер! День еще велик! — отвечаю я и продолжаю рассказывать.

Когда я несколько лет тому назад, будучи в Глупске, увидел издали на улице Фишку, я попросту не мог прийти в себя от изумления. Мой Фишка, гляжу, ковыляет на своих хромых ногах, одетый щеголем — в новенький черкасский кафтан, в новые ботинки и чулки. На голове большой плюсовый картуз, а на груди новая, из-под иголки ма-

⁸ Во время какой-либо эпидемии верующие евреи устраивали венчания на кладбище. Для этого подыскивали женихов и невест среди калек и нищих.

⁹ Покрыта «венцом» — паршой

нишка из туго накрахмаленного ситца в больших красных цветах! «Что бы это могло значить? — думаю я. — Может быть, община все-таки избрала его «холерным женихом»?» Но в Глупске в тот год холеры не было. Вы, может быть, подумаете, что там почистили реку, убрали с улиц смрадные кучи идохлых кошек или домовладельцы постановили, наперекор древнему обычаю, больше не выбрасывать мусора и не выливать помоев перед самым носом у своего дома? Боже упаси! Как можно заподозрить еврейскую общину в таких делах? Просто обошлось каким-то чудом... Правда, люди и тогда жаловались на животы и помаленечку умирали, но это было просто легкое поветрие. Приписывали его свежим огурцам. Изголодавшаяся беднота набросилась на молодые овощи... Однако, слава богу, обошлось... Но не в этом суть.

Тем временем, пока я раздумывал и удивлялся, Фишка исчез. А у меня в ту пору как раз поясница, не тем будь помянута, разыгралась, колики одолели. Давненько крови себе не пускал, банок не ставил, за несколько месяцев всего-навсего какой-нибудь десяток пиявок поставил!.. Вот я и решил на следующий день обязательно отправиться пораньше в баню, провести там несколько часов и уж заодно хорошенько выведать там про все... Не только насчет Фишки, но и насчет иных важных дел: политики, разных слухов и всего, что творится на свете и в городе. Ведь это единственное место, где человек может разузнать кое-что, выложить, что у него на душе, и полакомиться кое-чем у других. В бане узнаешь множество всяких секретов, там заключаются сделки, а сутолоки там даже больше, чем на ярмарке. Стоит заглянуть туда в пятницу, — вот когда там интересно: в одном углу сидят цирюльники со своими причиндалами, вокруг них множество народу. Один цирюльник бреет голову, другой полосует бритвой спину, одному ставят банки, у другого снимают их, и еврейская кровь рекой льется по полу, под ногами у людей, смешиваясь с листьями от веников и сбритыми волосами. Свечка цирюльника оплывает, брызжет, сердито фыркает, разгорается причудливым зловещего цвета пламенем... По стенам, под потолком, возле печи развешано, как в крупнейшем магазине, много всякого платья: рубахи, чулки, всякого рода арбаканфесы, всех видов исподники, фуфайки, кафтаны, круглые стеганые шапки.

С верхнего полка доносятся крики. Одни лежат обессиленные, кричат и стонут, другие вооружены веничками и кричат: «Ради бога, родненькие! Смилюйтесь, поддайте пару!» Баня остывает, все кричат, но никто и руки не протянет, чтобы плеснуть ведро воды на горячие камни, пока не отыщется какой-нибудь озорник и не нагонит жару, как в пекле, хоть задохнись. Два изможденных еврея ссорятся из-за шайки, вырывают ее друг у друга из рук и ругаются как очумелые. Тощий меламед, который бродит как неприкаянный без посуды, примиряет их, — и все втроем макают свои замусоленные тряпки и моются из одной шайки. Почетные места занимает знать: тут сидят богачи, солидные люди. Они беседуют о делах, о серьезных вещах: о таксе на мясо, о нынешних озорниках, о рекрутском наборе, о выборах гласных, о выборах раввина, о том о сем, о новом полицмейстере. К ним смиренным котенком подсаживается какой-нибудь почтенный обыватель и заводит разговор о талмудторе, о новых гонениях на евреев, о разных греховных деяниях в городе и при этом нашептывает что-то каждому по секрету... Вдруг подходит какой-нибудь ловкий парень, который метит в гласные, и с льстивой улыбочкой приглашает на верхний полок самого почтенного и авторитетного домохозяина, которого он намерен лично, собственной персоной, попарить с шиком, как следует. Почтенный обыватель, который тоже метит на какую-нибудь должность и жаждет лакомого кусочка, ухватывается за эту идею и с поклоном и льстивой улыбочкой приглашает на полок кого-либо другого из знати. Все забираются на верхний полок, веники взлетают, и сделки заключаются... Благодаря знатым людям жарница в бане становится невыносимой, и все от мала до велика хватаются за свои шайки. Народ стонет, охает, восторгается, и вот тогда-то я забираюсь высоко-высоко в уголок, один-одинешенек, и принимаюсь парить косточки на чем свет стоит.

— Ах, реб Алтер, подвиньтесь! Ну хоть немножечко, вон туда к северу!

Алтер укоризненно смотрит на меня, пожимает плечами и произносит:

— Н-на! Н-на!..

— Погодите немного, — успокаиваю я. — Что за спешка? Сейчас, сейчас! Дайте только передохнуть.

6

Алтер что-то долго возился с мундштуком, который был безнадежно забит. Затем он, досадуя и проклиная, отвинтил чубук, вставил вместо мундштука гусиное перо, снова закурил и выпустил, как из трубы, целое облако дыма. Я слегка расправил старые кости и продолжал свой рассказ:

— На другой день пришел в баню заблаговременно, задолго до того, как народ стал помаленечку собираться. Банщик Берл сидел в сенях на скамье среди шаек, составленных пирамидкой, и вязал веники, просматривая листья с таким серьезным видом, с каким хозяйки перебирают горох. Неподалеку у печки стоял сторож Ицик, человек с окладистой бородой, который вот уже лет тридцать только тем и занимается, что смотрит сложа руки на узлы с вещами, говорит каждому при выходе «с легким паром!» и таким образом добывает себе пропитание. Он громко зевал, потягиваясь всем телом, подсчитывая, сколько потребует жена его, чтоб справить субботу, и, беседуя с Берлом насчет нынешних скудных заработков, высмеивал каждого посетителя в отдельности, всех под орех разделявал: этот, мол, такой, а тот — сякой, перевелись, мол, прежние люди и баня уж не та, что прежде. Бывало, меньше алтына и сквалыга не даст, а нынче... Ицик сплюнул и закончил: «Нынче пропади они пропадом все вместе!..»

Берл и Ицик встретили меня очень радушно: давненько-таки не видались, а я считался у них желанным гостем. Разговорились о разных вещах, и тут я вспомнил о Фишке. Где, спрашиваю, наш Фишка?

— Фишка! — говорит Берл, потряхивая веником. — Эге-ге! Фишка в люди вышел: женат, счастлив дальше некуда!

— Фишка! — подхватывает Ицик и качает головой. — Фишка нынче барином стал! Дай бог всякому... Ну, Фишка! Он о таком счастье никогда и не мечтал.

И вот что рассказал мне под конец банщик Берл:

— Однажды в четверг, под вечер, затопил это я все печи, здорово устал от работы и прилег с нашей братией в бане на скамьях — дух перевести. Кроме нас, лежали, растянувшись, еще несколько бездельников, проживающих тут. И вот лежим это мы спокойно, покуриваем, оживленно беседуем — и вдруг слышим: кто-то подкатил к самой бане. Ну, что ж, подкатил так подкатил, не все ли равно? Не успели мы, однако, оглянуться, как входят три здоровенных молодца и все в один голос:

— Добрый вечер, друзья! Где Фишка? Давайте сюда Фишку!..

Тут уж я малость перепугался: что за разговор такой? Почему такая спешка? «Давайте сюда Фишку!» Однако, с другой стороны, я подумал: чего тут пугаться? Фишка, упаси бог, не вор, крупными делами он тоже как будто не ворочает, а если даже допустить, что эти люди — ловцы¹⁰, так опять-таки Фишке их страшиться нечего: при его хромоте можно, слава богу, рекрутчины не бояться.

— Вам нужен Фишка? — отвечаю я, набравшись духу. — Его сейчас нет. Но скажите мне, дяденьки, на что вам Фишка, хотел бы я знать?

Дяденьки переглянулись, затем один из них выступил вперед и говорит:

— Ну, что ж, можем вам сказать. Отчего же? Тут стыдиться, упаси бог, нечего: дело житейское. Суть вот в чем.

Слепую сироту вы, конечно, знаете? Ту, что с давних пор сидит обычно у «мертвой» синагоги, возле старого кладбища, и попрошайничает, напевая известную песенку, которую какой-то сочинитель для нее составил. Так вот эта слепая сирота в нынешнем году овдовела. Она поторопилась обручиться с каким-то грузчиком, обязалась прилично одеть его, дать ему все, что потребуется, да к тому еще немного денег в приданое. Нынче должно было состояться венчание. Приготовили прекрасный ужин, водку, булки, рыбу, жаркое, бульон с курицей — все честь честью, как полагается. Влетело это, разумеется, в копеечку. И вот: все готово, невеста разодета, сияет... Пошли за женихом. А этого сокровища, представьте, и дома нет! Ждем час — нет, ждем другой — не является... Пропал человек. Что же в конце концов оказывается? Парень, сгореть бы ему, раздумал! Бабушка его, видите ли, которая уже много лет служит кухаркой у нашего богатея, дай ему бог здоровья, плачет, убивается, скандалит: не нравится ей невеста, не пристало ее внуку на такой жениться. Как- никак она столько времени служит у местного богача, близко знакома со многими горожанами, пробирающимися к ее хозяину черным ходом, через кухню. Она прекрасно готовит, славится своими галушками... Шутка ли, богатева кухарка, — она задает тон в мясной лавке, синагогальный служка приходит к ней лично с пальмовой ветвью в праздник кущи, помощник кантора из молельни специально для нее читает на кухне сказание об Эсфири, а проповедница Рикл приходит к ней по большим праздникам выпить стаканчик цикория! Разве допустимо, чтобы сейчас, на старости лет, внук опозорил, обесчестил ее? Нет, хоть режь его, хоть убей его, хоть караул кричи — не поможет! Не желает он жениться, не подходит ему невеста. «Думайте обо мне что хотите, — говорит он, — называйте как угодно, жалуйтесь хоть самому господу богу!» Так и остались мы ни с чем. Обидно, однако, не столько то, что жениха потеряли, сколько то, что ужин пропадает. Что делать с ужином, с такой рыбой, с таким жарким? Мы-то сколько хлопотали, набегались, намаялись за целый день. Нам еще и за сватовство кое-что причитается. Право, жаль столько трудов, наших трудов! Думали мы, думали, прикидывали, размышляли и вспомнили про Фишку! Честное слово, пусть он выручит всех из беды. Пусть Фишка будет женихом, не все ли равно? Ему-то что? Вот мы и пришли взять его к венцу наместо грузчика.

В это время как раз заявился Фишка. Мы за него взялись, схватили раба божия и — без лишних разговоров:

— Иди, брат, на своих ходулях! Довольно дурака валять! Иди, парень, под венец!

Все было сделано так быстро, что Фишка и оглянуться не успел. Братия хорошо поужинала, ела, пила в полное свое удовольствие и не скупилась на пожелания новобрачным.

Фишка носит теперь тот самый черкасский кафтан, который предназначался грузчику, и стал совсем приличным человеком. Его дело теперь — приводить утром жену, слепую сироту, на ее место у старого кладбища, а под вечер отводить ее обратно домой. О хлебе насущном Фишке заботиться нечего. Жена у него бой-баба, заработок у нее верный. Парочка живет в любви и согласии, а попрекать друг друга недостатками им не приходится.

Вот, реб Алтер, что рассказал мне банщик Берл. Видите, — говорю я, — какие дела на свете бывают. Как у нас сочетают, как венчают хромых со слепыми. А ради чего? Ради того, чтобы благодетели могли сытно поесть и напиться! Так водится у бедняков, у нищих, так же водится и у богачей. И у них очень часто заключаются подобного рода нелепые браки. Конечно, там и ужин другой, и обхождение благопристойное... Но не об этом речь. Право же, реб Алтер, не горюйте! Не удалось вам сочетать двух мужчин, зато, бог даст, сосватаете другую пару. Вы только

¹⁰ Ловцы — те, кто ловит рекрутов

духом не падайте. Ничего! Вы, я вижу, годитесь для этого, вы сразу мастерски уловили самую суть! Наоборот, вы начали очень хорошо, совсем как заправский сват! А что парень... Ну... Бе! Ничего не попишешь! Зато уж если вы где-нибудь пронюхаете девицу, дело пойдет как по маслу. Будь она слепая, немая, кривая, — иди, дочка, жалуй с богом под венец! Типограф требует денег, кляча есть хочет, девицу надо замуж выдавать, жена, в добрый час, мальчика родила... Иди же, дочка, шагай под венец!..

Сделайте одолжение, подвиньтесь немного, реб Алтер! Чутьочку дальше. О, вы, не сглазить бы, потеете, как бобр! Потейте, потейте на здоровье!

7

— Словом, как бы то ни было, а пока что скверно! — произносит Алтер, как бы ни к кому не обращаясь.

Огорченный, опечаленный, он вздыхает, и крупные капли пота выступают у него на лице. Он поднимает глаза и смотрит на меня с такой трогательной миной, с таким жалостливым выражением лица, словно младенец, жаждущий припасть к груди матери. Алтер, бедняга, имел в виду заработок, ему хотелось заключить со мною какую-нибудь сделку: как же это возможно, чтобы два бородатых еврея среди бела дня лежали без всякого дела?! Если бы два торговца попали куда-нибудь на край света, на необитаемый остров, где, кроме них, не было бы ни души, можно не сомневаться, что один из них затеял бы со временем какую-нибудь торговлю, другой тоже завел бы какое ни на есть дело, и оба стали бы торговать друг с другом, открыли бы один другому кредит, давали бы товар на комиссию, да так бы и кормились друг возле дружки...

Алтер и в самом деле спросил:

— Что у вас там, почтеннейший, сегодня в кибитке?

Это означало: «Распаковывайте, реб Мендл, выкладывайте товар!»

Ничего не поделаешь! Лениться нельзя. Я выкладываю свой товар, Алтер — свой, и мы старательно принимаемся за дело. Толкуем, прицениваемся, меняем... Я предлагаю Алтеру книжки каких-то умников с короткими строчками, от которых я — увы! — никак избавиться не могу. Но и он не дурак, он их и в руки брать не желает.

— Гнилой товар! — говорит Алтер поморщившись. — Бред заплесневелых старых, просидевших скамьи греховодников! Кто их знает, что они там насочиняли! Для кого? Ведь ни один человек из народа ни слова в этих книжках не понимает. Тарабарщина какая-то, прости господи, а не язык!.. Я уже однажды сглупил, возил с собой такой товар... Бросьте, реб Менделе, дайте что-нибудь путное!

Я выкладываю самый ходкий товар книжку за книжкой. Алтер все еще мнется, ищет недостатков. Одна книжка ему все же пришлась по вкусу: он к ней сразу прилип. Это и в самом деле было нечто замечательное. Листы в этой книжке были разных цветов и разной величины. Буквы тоже какие-то сумасшедшие и разных шрифтов: то крошечные, то крупные, то четырехугольные, то круглые. А набор совсем какой-то дикий: то узенькие полоски с мелкими буквами по бокам, то широкая полоса с более крупным шрифтом посередине, внизу свисает брюхо, усаженное крошечными буквами, будто усеянное маком, а между отдельными столбцами тянутся вдоль и поперек дорожки, похожие на белые узкие тесемки. Все это качества, которые евреи в наших краях ценят очень высоко. Во многих местах и страницы были перепутаны. Но ведь в этом-то вся и изюминка: пусть человек поломает себе голову, пусть догадается и разыщет что к чему. Прочсть обычно, просто, как полагается, — на это у каждого невежды ума хватит!.. Об опечатках и говорить нечего, — это уж обязательно! Но на них никто не обижается: у еврея, слава богу, голова на плечах, ничего, он может и сам догадаться, чего хотел автор! Зато язык, язык книжки был замечательный! Ни слова не понять! Как раз в еврейском вкусе! Есть у нас немало книг, написанных таким языком, что не сразу поймешь, в чем дело, и все же разобраться в них кое-как можно, можно раскусить, догадаться, наконец, что автор намеревался сказать. И в этом нет ничего особенного. Хорошей, по-настоящему хорошей у наших доморощенных философов считается только такая книга, в которой ничего понять нельзя, сколько бы ты себе ни ломал голову. Если непонятно, значит, что-то тут кроется!.. Но не в этом суть.

Мой Алтер ухватился за этот товар обеими руками, и по всему было видно, что душа его возрадовалась. Потом мы меняли причитания на сказки, молитвенники на «Тысячу и одну ночь», грамоты на ладанки, поменяли сотню житомирских тропарей на бершадские арбаканфесы, семисвечники на «волчьи зубы», субботние медные подсвечники на витые свечи и детские гарусные ермолки. Обе стороны от всех этих операций пока еще ни гроша в глаза не видели, но были чрезвычайно довольны самим процессом торговли. Как-никак поработали, поторговали, дело делали, не сидели сложа руки.

Меланхолию Алтера развеяло словно дым, выражение его лица доказывало, что ярмолинецкая ярмарка и все неудачи улетучились у него из памяти. Он что-то про себя высчитывал на пальцах, склонив левое ухо, точно внимательно прислушиваясь к расчетам невидимого бухгалтера, сидящего у него в голове. Судя по всему, расчеты эти сулили, с божьей помощью, заработок: рот расплылся во всю ширь и меж густых усов зазмеилась сладкая улыбка.

Между тем наступили сумерки. Подул приятный ветерок, и по небу поползли обрывки долгожданных облаков. Деревья потихоньку зашевелились, склоняя друг к другу головы, беседуя на своем языке после столь долгого молчания. Ветерок разбудил сонных хлеба, колосья, как маленькие дети, проснулись и сердечно расцеловались. Ожили божьи создания в поле, в лесу и в воздухе. Одна за другой заливаются певчие птички — на ветвях, на кустах, внизу и в вышине. Они расправляют перышки, чистят себя клювиками, отряхиваются, раскачиваются и оглашают воздух сладостным и звонким

песнопением. Бабочки, богато разодетые в атлас, бархат и старинные шелка, униженные драгоценностями, пляшут, порхая в воздухе, взмывают кверху и шаловливо кружатся. Два аиста, точно гвардейцы, стоят в траве на длинных красных ногах, задрав головы кверху, и горделиво поглядывают. Какая-то озорная птичка резвится, перелетает с дерева на дерево и кричит «Куку!», «ку-ку!» — будто играет в прятки. Из хлебов переключается с ней другая: «Пик-бер-вик! пик-бер-вик! пик-бер-вик!» — будто говорит: «Никогда тебе меня не поймать, хоть соли на хвост насыпь! Убирайся-ка, уважаемая, подобру-поздорову!..» Неподдалеку в рощице щелкает соловей, заливаясь на все лады, рассыпается трелью. И все живое вторит знаменитому певцу. Даже лягушки в пруду заквакали, даже мухи и пчелы — и те не молчат, а жук-сорванец жужжит на лету. Это был концерт, который стоило послушать... Весь мир словно ожил и приобрел радостный облик. Весело и приятно было слышать и видеть все вокруг, вбирать в себя ароматы, доносившиеся со всех сторон.

— Хорошо, реб Алтер! Чудесно, реб Алтер! Что-то тянет за душу, что-то говорит сердцу: хорош божий мир, сколько жизни в нем! Так и хочется ринуться туда, броситься с руками и ногами.

— Что это вы, реб Менделе... Фи, реб Менделе!.. — морщится Алтер. — Помолились бы лучше. Пора уже. Смотрите, как бы вы на радостях не позабыли прочесть покаянную молитву...

Я подвязываю чулки, подпоясываю кафтан и начинаю весело, нараспев, фальцетом читать молитву. Мой Алтер вступает вслед за мной басом, и оба мы возносим хвалу всевышнему, в то время как и коренья, и злаки на полях, и все животные и птицы в лесах славословят и поют гимны господу.

Уже в самом начале молитвы, когда Алтер, так сказать, выложил весь ассортимент упоминаемых в ней кореньев и благовоний: чистый ладан, корень-ноготок, имбирь и волокна шафрана, — он тем временем достал из-под облучка извозчицью благовонную жидкость — ведро с дегтем. С молитвой он справился быстро, и в то время как я успел добраться только до середины, он уже смазывал колеса.

— Не медлите, реб Менделе, поторапливайтесь! — подгоняет меня Алтер. — Принимайтесь за вашу кибитку, а я тем временем за лошадами схожу. Пора и в путь. До ночи мы еще, пожалуй, порядочный конец сделаем.

Алтер тут же уходит, а я принимаюсь за свою кибитку и воздаю ей должное. Я не тороплюсь, смазываю колеса основательно, не жалея дегтя, осматриваю оси, каждую мелочь в отдельности. Уходит на это довольно много времени, а мой Алтер не возвращается. Лошадки, видать, забрели далеко в лес и хорошенько подкормились. С этой мыслью я бросаю взгляд на солнце, которое уже близится к закату. Прошло еще довольно много времени. Солнце уже село. Последние лучи его постепенно сползают с деревьев, на которых они только что так весело играли, прощаются с лесом — спокойной ночи!

Меня охватывает безотчетный страх. А вдруг Алтеру стало дурно? Шутка ли, так обильно потеть после долгого поста! А вдруг он лежит где-нибудь в обмороке? Или напал на него кто-нибудь? Как-никак лес — место глухое, в стороне от дороги! Нельзя больше ждать, нужно пойти посмотреть.

Набираюсь храбрости и отправляюсь в лес. Хожу, ищу — напрасный труд: Алтер с лошадьми точно в воду канул. Я забрался уже довольно далеко, дошел до длинного узкого оврага, разделяющего лес на две части. Овраг зарос кустарником и какими-то колючими деревцами и тянется в одну сторону до большой дороги, а в другую — куда-то вдаль, к черту на кулички. Лес дремлет, накрытый сверху темным пологом. Кругом тишина. И только изредка слышишь, как два высоких деревца, растущих по соседству, о чем-то перешептываются, склоняя головы и лаская друг друга ветвями... Где-то шелестят, трепещут листочки, будто что-то волнует их, не дает им успокоиться. Это лес говорит во сне. Ему мерещится ушедший день со всеми его горестями и радостями. Вот слышен шорох сухих прутьев — это снятся лесу безвременно вырубленные деревья. Что-то стукнуло — упало внезапно разрушенное злодеем ястребом гнездо с маленькими невинными птенчиками... Оттого-то и шепчутся листья над погибшей матерью и ее детьми, явившимися лесу во сне... Какая-то мрачная туча надвигается на лес, охватывая и мою душу. Фантазия-чародейка, всемирно известная обманщица, плутовским путем устанавливает какую-то связь между мной и оврагом, над которым я стою. Передо мною возникает множество причудливых образов, а моя разгоряченная фантазия воспринимает их и обрабатывает по-своему. Видения разрастаются, обретают страшные черты и возвращаются в овраг еще более чудовищными и пугающими... Является мне мертвец, убитый Алтер Якнегос, и кости наших погибших коняг. В моей голове все это искусно приправляется тысячью всяких подробностей и тут же немедля возвращается в овраг с добавлением здорового рыжего злодея и волка со страшной оскаленной пастью...

Я уже собрался спуститься в овраг, когда меня неожиданно остановила мысль: ведь наши кибитки брошены там, в поле, на произвол судьбы! От всего нашего добра может, пожалуй, и следа не остаться! Не мешало бы раньше всего взглянуть, что там делается. А может быть, Алтер давно уже вернулся с лошадьми и беспокоится сейчас обо мне? Эта мысль кажется мне разумной и придает мне бодрости. Надежда все более растет, разрастается и разрывает окутавшую меня мрачную тучу. На душе становится светлее.

Я быстро пускаюсь в обратный путь.

8

С божьей помощью добрался благополучно, не сломав себе ноги, хотя по пути не раз падал, второпях налетая на дерево. Подниматься, если ты упал в лесу, не так зазорно, как в городе, где люди стоят и смеются над тобой. Я каждый раз вставал, вознося хвалу всевышнему за то, что все обошлось благополучно. «А коль скоро милость господня

ко мне так велика, — думал я, — почему бы мне не надеяться, что я застану Алтера с лошадьми на месте?» Однако так много милости я у бога не заслужил.

Алтера нет!

Стою ошарашенный. На душе очень скверно! Бог знает, что случилось с Алтером, жив ли он? Постаралась, видать, судьба его злосчастная. Это, конечно, неспроста. Да и мои дела неважны. Как быть? Что будет со мной? Я рассчитывал сбыть в Глупске свой товар, набрать там как можно больше траурных песнопений ко дню девятого аба, с тем чтобы наделить ими, как я это обычно делаю, все окрестные местечки. Траурные три недели уже начались, времени в обрез, часа лишнего терять нельзя. Стоит мне замешкаться в пути — люди в местечках останутся без молитвенников. Евреи — без скорбных гимнов!.. Нетрудно себе представить, как это будет выглядеть в канун девятого аба: люди уже покончили с молочной лапшой, проглотили по крутому яйцу, посыпанному золой, сидят уже мрачные на земле в одних чулках с протертыми пятками, блохи кусаются, озорные мальчишки держат наготове колючки репейника, ждут только начала, ждут, что называется, доброго слова, — а тут нет молитвенников! Менделе куда-то провалился ко всем чертям, не доставил скорбных гимнов!.. Вдесятером пользуются одним молитвенником. Толкотня, теснота, перепутались усаженные колючками волосы — бороды и пейсы, перемешались блохи... Друг другу прямо в нос отрыгивают только что съеденными яйцами и лапшой... Страдания женщин не так еще велики: они хватают что-нибудь первое попавшееся под руку — будь то жалобная молитва, псалтырь, требник или пасхальное сказание — лишь бы печатное, не все ли равно? — и голосят над ним, плачут навзрыд. А что требуется, кроме рыданий?

Скверные дела! Куда ни кинь... Горько на душе... Но не в этом суть.

Отчаиваться все же нельзя. Надо что-то предпринимать, — не сидеть же сложа руки. Нужно снова отправляться на поиски. Взглядываю на звезды и вспоминаю, что уже пора перекусить. Принимаюсь за свою котомку, перекидываюсь с горя несколькими словами со своей бутылкой — буль-буль-буль, — прямо в рот, закусываю наспех, больше для очистки совести. Прощаюсь с бутылкой снова — буль-буль-буль — и быстро отправляюсь в путь.

Я снова в лесу, снова у оврага. Спускаюсь вниз. Но, скажем правду, на сей раз я не один и на душе у меня уже не так скверно, как раньше. Идем вдвоем, беседуем о приключившейся со мной истории — и ничего! — не так уже грустно... Видать, принимаясь второпях за бутылку после стольких страданий и мучений, я хватил лишнего, выпил больше, чем следовало натошак, и почти ничего не ел: кусок в горле застревал. Этот лишний глоток помог мне в нужде, как отец родной. Он придал мне бодрости и развязал язык во время этой приснопамятной прогулки. Таков уж я по натуре: стоит мне в праздник выпить лишний глоток, и — пошел сыпать словами, как из дырявого мешка. Обращаюсь к стенке и сладко при этом улыбаюсь. В такие минуты я делаюсь добрым, мягким, все тело у меня словно расплывается, становится каким-то легким, жидким, как каша-размазня. Вокруг со всех сторон болтаются какие-то частицы Менделе, — не чувствуешь даже, где самая важная точка, где центр, ухватиться не за что. В такие минуты я будто раздваиваюсь. Один Менделе тянется в Егупец, другой — в Бойберик, а ноги не знают, кому подчиняться. Один спрашивает, другой отвечает. Мой голос доносится ко мне будто издалека, словно эхо, да и не мой это вовсе голос, звучащий как из пустой бочки. Однако голову я все же не совсем теряю, кое-какие следы сознания остаются, как во сне.

— Добрый вечер! — здороваюсь я, низко кланяясь. — Куда изволите шагать среди ночи? — Вот... дурачье, лошадиные мозги! — отвечает второй Менделе с добродушной усмешкой. — Вздумалось им запропасться. Смех, да и только! — Тут яма, реб Менделе! Берегите кости! И правда, честное слово, яма! Я уже, собственно, упал. В двадцатый раз, кажется. — Встаньте же, будьте добры! Неприлично все-таки валяться. — Благодарю вас, уважаемый! Я уже снова нащупываю кнутом дорогу... Чудеса, право! Кусты расхаживают! Ну и пускай себе на здоровье!.. Пошли вместе за компанию. Чур только не царапаться!.. Ай, опять царапаются! Нехорошо, чуть глаза не выкололи, тьфу! — Плюньте, реб Менделе! Сейчас избавимся от них. Выходите на тропинку, вот тут, пожалуйста, в чистое поле. — Я уже здесь! Ах, какая луна, словно хлебная дежа, чудесная луна! С носом, с глазами!.. Погодите-ка, а не освятить ли луну? — «Мир вам! Да будет с вами мир... — Мир вам! — Да будет с вами мир! Так же как я перед тобою прыгаю, а коснуться тебя не могу...»¹¹ — Прыгайте же, дяденька! Гоп! Гоп!.. «Пусть враги мои не смогут коснуться меня...» А чего они хотят от нас? — начинаю я вдруг всхлипывать. — Да разве я виноват, что живу и есть хочу? Тоже мне тело, прости господи! — Как щепка! Вечные хвори, боли... И у меня была мать, ласкала меня, целовала... Горе мне, ведь я же сирота! — раздражаюсь я плачем. — Тише, тише! — утешает меня мой двойник. — Что поделаешь? Как не стыдно пожилому человеку с бородой, женатому, обремененному детьми, плакать под открытым небом, перед луной? Тише, неприлично, право же! Тише, черт вас не возьмет! Ничего! Осторожно, здесь забор. — Да, честное слово, действительно забор. Я даже здорово треснул. Что делать? — надо перелезть. Вот так, так. Большое спасибо, я уже обеими ногами в огороде. — Добро пожаловать, почтеннейший! Потрудитесь идти вперед. — Не беспокойтесь, иду. Какой, однако, урожай! Бобы, горох, огурцов без счету! — Попробуйте, дяденька, не стесняйтесь. На здоровье! — Огурчики хороши! Объедение!.. А?.. Удар!.. Что означает этот удар?

Удар исходил от здоровенного мужика, который схватил меня сзади и основательно намекнул на то, что лазить

¹¹ Слова молитвы, произнесенные в ночь полнолуния

по чужим огородам неприлично. Удар означал, что таскать по ночам чужие огурцы не полагается. То ли от побоев, то ли от свежих огурцов, но я почти совсем протрезвился. Одно мгновение я стоял оглушенный, будто очнувшись от сна. Первым моим словом было, разумеется, — «Спасите!..». Однако я тут же одумался и, решив притвориться ничего не понимающим, вежливо спросил у мужа:

— Чи не бачили, чуеш, туточки жидка с конями? Кажи-но, чоловіче!

Но тот и слушать ничего не желает, знай тащит меня за рукав, подталкивая сзади и приговаривая: «Идем, идем!..» Ничего не поделаешь, иду, отказываться неудобно: нельзя же поступать по-свински. И приходим мы, таким образом, к какому-то дому, возле которого стоит бричка, запряженная четверкой добрых коней. В окнах виден свет.

При входе в дом мужик толкает меня вперед, а сам, сняв шапку, останавливается у дверей. Поневоле снимаю шапку и я почесываю голову и стою, ничего не понимая.

За столом сидит писаришка и пишет, скрипя пером. Перо поминутно просится в чернильницу — губы смочить, после того как его стошнит на бумаге. Писарю немало хлопот с этим пером: макая его, он каждый раз морщится и ругается. Видно, что оба, бедняги, мучаются, оба недовольны: перо — неуклюжей рукой и безобразными ошибками писаря, а писарь — омерзительными кляксами. Он нажимает — оно пачкает... Посреди комнаты стоит «красный воротник» с медными пуговицами, некое подобие человека с животом и одутловатой физиономией. Маленькие глазки его мечут молнии, а когда зрачки закатываются, видны налитые кровью белки. Он покручивает длинные усы и говорит басом, распекая двух субъектов, стоящих понутив головы близ дверей. Один из них высокий, с здоровенным бритым затылком и серебряной серьгой в левом ухе, второй — тощий, с острой бородкой, с бляхой на груди. Держа обеими руками длинную палку, он мигает глазками и ежеминутно кланяется. «Красный воротник» злится на первого, кричит: «В кандалы! В Сибирь такого старосту!..» — и второму: «Исполосую, сотский, такой-разэтакий, так-перетак!»

Стою ни жив ни мертв. Трясет меня как в лихорадке. В голове гудит, звенит в ушах. Не слышу и не вижу, что кругом творится. Я даже толком не слышал претензий мужика, когда тот на меня жаловался. Но когда «красный воротник» обрушился на меня с грубой бранью, я сразу же пришел в себя. Перед моими глазами мелькал кулак, доносились страшные слова: вор, контрабандист, мошенник, кандалы, тюрьма, кнуты, Сибирь!.. И вдруг он добирается к моим пейсам, хватает в сердцах со стола ножницы и начисто срезает мне один пейс! Я обливаюсь слезами, глядя на валяющийся на полу клочок волос, седой стариковский пейс, росший вместе со мной с самого раннего детства, выдавший вместе со мной на своем веку и радость и горе. В молодости моей мать ласкала, холила этот черный, красивый, вьющийся локон, наглядеться на него не могла. Он был украшением моего лица в лучшие годы, когда я был свеж и крепок здоровьем. Он преждевременно поседел, бедняга, от горя, но седина его не была для меня зазорной. Оба мы состарились от перенесенных мытарств, нужды, нищеты и бедствий, незаслуженной ненависти и гонений. Кому он, бедный, мешал? Кому причинили зло мои седые волосы?

Сердце мое кровью обливается, безмолвно протестует, но я молчу, не произношу ни слова. Гляжу молча, как овечка, которую стригут, а из глаз невольно текут слезы. Моя оголенная щека пылает, лицо, надо полагать, страшно изменилось. На меня, должно быть, жалко смотреть: у «красного воротника» сразу будто язык отняло, он заговорил со мной ласково, положив обе руки ко мне на плечи. Под медной пуговицей, видать, забилося человеческое сердце. Моя седина и весь мой вид свидетельствовали о моей честности, и, словно извиняясь передо мной, он набросился на приведшего меня мужика, который из-за какого-то завалывающего огурца таскает старого человека, он цыкнул на него и выгнал вон. Сам он взял свою фуражку, походил по комнате, отдавая распоряжения, затем вышел на улицу. Вскоре донесся стук отъезжавшей брички.

Люди в доме сразу ожили. Писарь отшвырнул перо, посылая его ко всем чертям. Староста и сотский выпрямились, подняли головы и, махнув рукой в сторону улицы, переглянулись, будто говоря: «С богом! Скатертью дорога, только бы тебя больше не видеть!..» Затем староста перевел дыхание, залез всей пятерней к себе в волосы и, тряхнув головой, проговорил: «Ну и становой!..»

Когда я рассказал им о своей беде, крестьяне посоветовали мне отправиться в корчму, что неподалеку от деревни. Там сейчас должно быть много народу, едущего с базара. Авось у них я что-нибудь узнаю. Я поднял свой пейс, спрятал его в карман, подвязал платком щеку и, пожелав спокойной ночи, ушел.

9

Корчма была осажена подводами и телегами, частью пустыми, с оставшейся на дне соломой, частью — груженными всякими вещами, то ли непроданными, то ли купленными на базаре. На одной телеге лежала в мешке свинья. Она высунула рыло из дыры и оглушительно визжала. К задку воза, доверху нагруженного новыми лопатами, глиняными горшками, плошками и корчагами, привязана была пятнистая однорогая корова, изо всех сил рвавшаяся с привязи, — ей хотелось поскорее вернуться к своим подружкам в хлев с доброй вестью: ничего, мол, от меня еще не избавились, опять, слава коровьему богу, свиделись!.. Пара седых широкопузых ладных волов стояла, запряженная в ярмо, и сосредоточенно и безостановочно с аппетитом жевала жвачку. Можно было подумать, что они с головой ушли в чрезвычайно важное дело и своими воловьими мозгами хотят додуматься до чего-то очень умного. Арендаторова коза забралась тем временем на воз. Она то и дело совала голову в какой-то мешок, набивала себе

полон рот и фыркала, помахивая хвостом. Озираясь по сторонам, она быстро жевала, поводила мордой и трясла бородой. Старая, изможденная дворняга с перебитой ногой и колтуном на кончике хвоста, оставшаяся на старости лет без службы и живущая подаванием, приблизившись к возу, почтительно посмотрела на козу, сделала еще несколько шагов, повела носом... Затем, отыскав высохшую, обглоданную кость, убежала со своей находкой в сторонку и, растянувшись на земле, принялась грызть, положив при этом голову набок, на передние лапы. Лошаденке, запряженной в один из возов, надоело стоять без дела на одном месте, дремать, качать головой и пряхать ушами. Она вздумала нанести визит паре волов, отводивших душу над мешком полowy, и напроситься в гости на ужин. Но на ходу ее телега задела колесо другого воза и чуть не опрокинула его. Другая лошадь, выскочив из оглобел, наступила на ногу третьей. Та встала на дыбы и заржала. Перепуганная коза торопливо соскочила с воза, наступила дворняге на хвост, и пес, ковыляя на трех ногах, стал поспешно удирать, оглашая двор неистовым визгом.

С большим трудом пробиваюсь сквозь строй возов и пристально смотрю по сторонам, нет ли здесь моей пропажи. Направляюсь в корчму.

Все, что происходит в корчме, я воспринимаю не сразу, а постепенно. Первое угощение получает мой нос. Уже на пороге меня встречает пронзительный и сложный смрад водки, махорки и человеческого пота. Когда нос гулко отчихался в ответ, наступает очередь ушей. Смешанный гул голосов — тонких, грубых, осипших, скрипучих и хриплых — врывается в уши оглушающим скрежетом. Когда нос и уши получили свое, за работу принялись мои бедные глаза. После долгого блуждания в полумраке, среди густой толпы слившихся в одну массу людей глаза понемногу начинают различать сальную свечку в глиняном подсвечнике, стоящем вдалеке на длинном деревянном столе. Свеча горит режущим глаза красным огнем в нимбе подобных радуге желто-зелено-сине-серых кругов горячего пара и облаков дыма, лениво расползающихся по всему помещению. Постепенно из тусклого тумана выплывают носы, бороды, бородки, чубы, лица и физиономии мужчин и женщин. Выплывают кучки людей. Часть еще держится на ногах — они выпили всего лишь четыре-пять рюмок. Двое пьянчуг в сторонке обнимаются и от полноты чувств ругают друг друга самыми отборными словами. Возле них стоит баба, босая, в короткой юбке и вышитой рубахе с глубоким вырезом, любуется ими и, ласково похлопывая то одного, то другого по спине, приговаривает: «Хватит! Домой! Домой!» Но пьяная пара еще больше тает от взаимной любви, еще крепче обнимается и валится на пол. В другом углу на длинных лавках за выпивкой и закуской сидят два крепких мужика, пьют на пару и оба уже, что называется, под мухой. Еще один, страстный любитель спиртного, здешний завсегдатай, попыхивая трубочкой, кланяется издали то сидящей за столом паре, то еще кому-то и произносит: «Ваше здоровьице!» — хотя никто на него и не оглядывается. Наконец из полумрака вырисовывается фигура женщины, подвижной, расторопной, в потрепанной смушковой шубейке с неким подобием платка на голове... Это жена шинкаря собственной персоной. Она хлопочет среди бочонков, бутылей, стопок и рюмок, связок баранок, вареных яиц, вяленой рыбы и жестких кусков печенки. Рот у нее ни на минуту не закрывается, руки все время в движении: она толкует, говорит с каждым в отдельности, подает и принимает — либо наличные деньги, либо залогов, записывает мелком на счета своих клиентов черточки и кружочки.

Брожу как чужой среди всего этого народа, пытаюсь заговорить с одним, с другим, но толку мало... Как Алтер говорит: словом, короче говоря, ничего не выходит...

Между тем толпа в корчме редет. Народ понемногу разъезжается. Подхожу к хозяйке, держа свой кнут под мышкой, на виду. Делаю я: это с умыслом, из высших соображений: корчмарки, знаю я, любят извозчиков, подкупают их водкой, закуской и еще кое-чем, чтобы те заезжали к ним с пассажирами. Кнут сослужил службу и здесь: он снискал мне благорасположение хозяйки. Между нами завязался разговор:

- Добрый вечер!
- Добрый вечер!
- Где ваш муж?
- А на что вам мой муж?
- Так, вообще...
- А может быть, я пригжусь?
- Ну, что ж, пожалуй!

Слово за слово — разговорились. Рассказываю ей, какая беда стряслась со мной, в какое тяжелое положение я попал. Она сочувственно вздыхает. Подперев голову рукой и положив два пальца на щеку, она то и дело приговаривает:

- Вот так история! Скажите на милость!..

И снова вздыхает. Я рассказываю подробно, кто я такой, как меня зовут, чем я торгую, а она в свою очередь говорит без умолку, выкладывает всю подноготную, жалуется на мужа-ротозея, рассказывает о детях, о заработках... Между нами устанавливается близкое знакомство. Выясняется, что мы даже дальние родственники! Ее зовут Хае-Трайна — по имени моей какой-то троюродной тетки со стороны бабушки. Радость, восторг! Она расспрашивает меня о моей жене, о детях, о каждом в отдельности. А тем временем приходит ее муж, и Хае-Трайна единым духом сообщает ему радостную весть:

- У нас гость! Дорогой гость! Реб Менделе Мойхер-Сфорим! Мой родственник!..

И тут же, упершись в бока, гордо заявляет:

- А ты думал — я в хлеву родилась? Ничего, авось и мы не хуже других! Можешь гордиться моей родней!

«Бог ты мой! — думаю я. — Пусть так. Саул искал ослов — и обрел царство¹², я ищу лошадей — и нашел Хае-Трайну!..»

Муж Хае-Трайны — человек с длинным носом, с редкой льняной бородкой и такими же пейсами и бровями. Когда молчит, он жуёт язык, а прежде чем вымолвить слово, облизывается так, что, глядя на него, начинаешь понимать, что значит «шляпа»... Приветствуя меня, он бормочет что-то невнятное, и по всему его поведению я сразу же вижу, что он у жены под башмаком и дрожит перед ней как в лихорадке. Впоследствии выяснилось, что соседи его прозвали: «Хаим-Хона Хае-Траинин», а ее самое зовут «Хае-Трайна-казак».

— Где это ты пропадал до сих пор? — берет мужа в работу Хае-Трайна. — Куда это тебя, растяпу, черти носят? Слыханное ли дело? Бросил дом, хозяйство, и хоть бы что... Ничего, ничего, реб Менделе свой человек, при нем можно говорить откровенно. Что ты за растяпа, наказание ты божье! Полюбуйтесь на него! Стоит как истукан и язык жуёт...

— Ведь ты же... сама же... ты меня... меня к Гавриле посылала за мешком картошки... меня посылала! — оправдывается Хаим-Хона, предварительно облизнувшись.

— А учитель, этот хваленый учитель, хвор был мешок картошки притащить? Ест он небось за десятерых!

— Так ведь учитель-то... учитель пошел отводить пеструю корову с теленком... в поле отводить!.. — объясняет Хаим-Хона.

— Ты уж помолчи лучше, знай жуи свой язык! — отвечает Хае-Трайна, сердито глядя на мужа. Затем она обращается ко мне с жалобой: сколько ей, бедной, приходится терпеть от всех! Не будь ее, весь дом пошел бы прахом... При этом она то и дело повторяет: «Ничего, с вами можно говорить, как с отцом родным, ведь вы свой человек, реб Менделе!»

Я стараюсь примирить супругов и облегчить участь мужа. Ради установления мира я даже привираю, обвиняю вообще всех мужей, и себя в том числе, и льщу, превозношу до небес всех жен, а в особенности Хае-Трайну. Без них, упаси бог, весь мир полетел бы кувыркком... Хае-Трайна смягчается.

— Дай вам бог здоровья, реб Менделе! — говорит она с сияющим лицом и тут же обращается к мужу, на сей раз по-хорошему: — Хватит тебе язык жевать! Возьмись-ка лучше, Хаим-Хона, вытри рюмки и тарелки, из которых мужичье жрало. Реб Менделе, наверное, сильно проголодался, — говорит она мне, поднимаясь с места. — Я сужу по себе. В базарные дни мы всегда запаздываем с ужином. Все, слава богу, некогда. Пойдемте, — милости просим к нам в дом!

Прямо из шинка попадаешь в темную комнатушку, откуда одна дверь ведет в такую же комнату, а другая, налево — в просторное помещение с низким потолком, земляным полом и маленькими окошками. Стекла в окнах частью потрескались, частью составлены из кусочков, а частью и вовсе выбиты. Лишь кое-где в уголке торчит, словно единственный зуб у старухи, застрявший осколок стекла, который при малейшем дуновении ветерка раскачивается и уныло звенит: «зим-зим-зим»... В углу, что к улице, стоит стол, возле него по стенам длинные, узкие некрашенные скамьи. В другом углу — кровать со множеством перин и подушек: больших, средних, маленьких, крошечных, высящихся пирамидой до самого потолка. Вдоль печи тянется широкая лавка, по ночам служащая кроватью.

По стенам развешаны картины, покрытые паутиной, засиженные мухами и тараканами. Из-под густого слоя грязи проступают какие-то смутные блики. «Восток»¹³, разукрашенный кроликами и какими-то причудливыми зверьками — полукозами-полуоленьями, полульвами-полуослами, полулеопардами-полудраконами. Высокий Аман¹⁴, одетый унтер-офицером, висит на виселице, едва достигающей ему до плеча, так что, пожалуй, скорее, виселица болтается на нем. Рядом стоит торжествующий Мордудхай¹⁵ в раввинской шапке, в атласном кафтане с пояском, в кацавейке, в туфлях и чулках, с пейсами, — настоящий Мондруш¹⁶. Его окружают бородатые и носатые личности с бокалами в руках, провозглашающие: «Лехаим, реб Мордудхе!» Жену Амана, Зереш, мухи так разделали, что от нее осталось лишь полголовы и небольшая часть бюста. Наполеон, бедняга, тоже попал в еврейские руки. Горе ему! Как он, несчастный, выглядит! По одну сторону от него висит изображение жены Потифара, отвратительной мегеры с распутной улыбкой, хватающей за полы Иосифа Прекрасного, а с другой — замызганное, сильно наклоненное вперед зеркало, из-за которого торчит высохшая пальмовая ветвь и голые ивовые прутья.

В комнате толчется плотная, дебелия девка с пухлыми, как сдобные булочки, щеками. На голове у нее очень мало волос, а позади болтаются две косички. Локти у нее плотно прижаты к бокам, а руки выставлены вперед, точно оглобли, между которыми она двигается, скользит, не поднимая ног, головой вперед. Двигается она быстро, неся в руках скатерть, тарелки, и накрывает на стол.

Хае-Трайна шепнула ей что-то на ухо, и девица, повернув оглобли, устремила голову вперед, затем засемила ножками и тотчас же исчезла из комнаты. В уголке о чем-то спорили четверо девочек и мальчиков, — они ссо-

¹² Библейское выражение о Сауле, который в поисках ослиц обрел титул царя

¹³ «Восток» — картина с надписью «Мизрох» («Восток»). Верующие евреи вешают ее на восточной стене, к которой обращают лицо во время молитвы.

¹⁴ Аман — персонаж библейской книги «Есфирь»

¹⁵ Мордудхай — персонаж из той же книги.

¹⁶ Мондруш — клоун в народных представлениях

рились из-за щенка, который истошно визжал, и не обращали никакого внимания на то, что происходит в комнате. Хае-Трайна неожиданно налетела на них, втихомолку угостила одного щипком, другого пинком, затем взяла щенка и вышвырнула его из комнаты. Ребята ткнули друг другу кукиш под нос и разбежались по углам. Вскоре явился Хаим-Хона с большой кринкой сметаны. Жена взяла у него сметану, а нам велела идти мыть руки.

Вдруг в комнату вбегают паренек, без кафтанчика, босой, в одном арбаканфесе и штанишках.

— Учитель поймал в хлеву воробушка! — сообщает он радостную весть.

Все ребята застывают, ошеломленные, с вытянутыми от изумления лицами. Но прежде чем они успевают опомниться, входит молодой человек с разбухшим носом и толстыми губами. Он торопливо моет руки над помойным ведром, садится за стол и засовывает в рот большой кусок хлеба. Все это он проделывает в страшной спешке, не одарив никого даже взглядом, точно опасаясь, как бы, упаси бог, не опоздать, как бы не поели без него. Тем временем в комнату возвращается та самая дебелия девица со сдобными щеками, разряженная в субботнее платье, и тоже садится за стол. Хае-Трайна, указывая на девицу, говорит мне:

— Это моя старшая дочь, Хасе-Груня.

Все принимаются за еду — сначала чинно: зачерпнут ложкой и положат ее на место, вскоре, однако, наступает оживление: десять ложек деловито орудуют в общей миске и быстро направляются в десять ртов, хлебующих каждый на свой лад. Горячка, суматоха, все усиленно хватают: «вуф, уф, уф, вуф!» Мои новоявленные родственники все время подгоняют меня:

— Кушайте, не стесняйтесь!

А я — по своему: «ввиф-ффиф!»

Молодой человек с разбухшим носом не зеваает, трубится за десятерых и добирается наконец до птицы, намазанной на дне миски. Покончив с работой, он испускает глубокий вздох, идущий от самого нутра, выпучивает стеклянные глаза и смотрит на всех. Внезапно он приподымается, протягивает мне руку и говорит:

— Здравствуйте! Ваше лицо мне почему-то знакомо... Как вас звать?

Я называю себя. Он вскакивает от изумления:

— Реб Менделе!.. Реб Менделе Мойхер-Сфорим! Шутка ли! Кто же не знает реб' Менделе! Я как-то имел честь, будучи в Глупске, купить у вас молитвенник.

— Реб Менделе — мой родственник! — с гордостью заявляет Хае-Трайна и тает от удовольствия. — А это каш учитель! — рекомендует она молодого человека и тут же обращается к пареньку, который вбежал без кафтанчика: — А ну-ка, Ешийкеле, реб Менделе проверит тебя. Не стесняйся, дядя тебя не съест.

Ешийкеле ковыряет в носу, глядит насупившись в сторону и, подергивая плечами, говорит:

— Я стыжуся, я стыжуся...

— Сколько лет вашему Ешийкеле? — спраляюсь я.

— Моему Ешийкеле, дай ему бог здоровья, — отвечает счастливая мать, — весной исполнилось тринадцать.

— Ну, Ешийкеле, — обращаюсь я к мальчику, ласково ущипнув его за щечку, — скажи, не стесняйся, какой отдел Пятикнижия читают на этой неделе?

— Говори, говори! — подгоняют мальчика со всех сторон. Но Ешийкеле уставился в одну точку и молчит.

— Б... б... б... — пытается подсказать толстогубый учитель.

— Б... бугай! — выпаливает ученик, глядя на учителя.

— Ну, «Болок»¹⁷, «Болок», — отвечаю я сам за ученика и снова спрашиваю: — А что велел передать Болок?¹⁸

Учитель лижет палец, чтобы натолкнуть мальчика на правильный ответ.

— Лизать! — вскрикивает от радости ученик.

— Кто? Кто? — подгоняет учитель, с облегчением думая, что его питомец на пути к истине. — Кто? А?

— Учитель! — громко заявляет Ешийкеле.

— Ну что за тупица! — сердится учитель. — Кто, говорил Болок, будет лизать?

— Евреи! — отвечает Ешийкеле визгливым голосом.

— Так, так, евреи... — говорю я, потрепав мальчика по щечке. — Очень хорошо, Ешийкеле, ты знаешь.

Мать наверху блаженства. Она сложила руки на животе и радуется: благо, мол, чреву, выносившему такое со-кровище! Отец жует язык и тоже доволен.

После ужина Хае-Трайна заговорила со мной о моих делах:

— Через час-другой должен приехать мой Янко с лошадьми. Тогда, реб Менделе, садитесь верхом — вы на одну лошадь, мой муж на другую — и езжайте прежде всего за повозками с товаром. Заберите их сюда, а там видно будет. А куда что прилягте. Вот вам кровать и постель.

— Спасибо! — отвечаю я. — Но если я провалюсь в эти пуховики, вытащить меня будет нелегко. Бог знает, сколько времени я могу проспать, а время дорого. В другой раз, даст бог, когда я приеду к вам в гости с женой и детьми, тогда, видите ли, я распрощаюсь с вами со всеми и — будь что будет — надолго ринусь в бездну подушек.

¹⁷ Болок — библейское имя. Этим именем назван один из отделов Пятикнижия.

¹⁸ Согласно библейскому преданию, Болок (Валак) послал послов к Валааму и просил его проклясть евреев.

— Милости просим! Милости просим! — говорит с улыбкой Хае-Трайна. — Не забудьте же, — со всеми детьми! И Яхне-Сосю с собой возьмите! Не откажите, по крайней мере, взять хотя бы подушечку с собой, в ту комнату.

— Спокойной ночи! — прощается она со мной. — Спите спокойно, муж вас на рассвете разбудит!

10

Сама Хае-Трайна — женщина благочестивая, добрая, но клопы у нее в доме свирепые, сущие злодеи. Они напали на меня, чуть только я улегся в боковушке на топчане, и между нами началась война. Обе стороны заупрямились и действовали энергично: они ртом, я — руками. Они ползут, я подскакиваю, они — с претензиями: «Топчан, мол, наш, извольте не артачиться, уважаемый, давайте себя кусать!» Я вздыхаю и стиснув зубы почесываюсь изо всех сил, они кусают, я почесываюсь, они — на меня, я — на подушку, долой, ко всем чертям подушку! Треногий табурет падает, глиняный кувшин с водой летит с грохотом на пол. Тараканы бегают по полу, царапают, шуршат... Пух из разорванной подушки лезет в нос, в глаза. Топчан подо мной скрипит, трещит. Шум, тарарам! Я ошалел, растерялся, весь дрожу, ворочаюсь с боку на бок. Кусать не перестают. Воняет клопами!

Надоела мне наконец вся эта история, — надо бежать. Покидаю свое ложе и подбегаю к окошку — воздуху глотнуть и полюбоваться на божий мир.

По синему небу тихо и спокойно ходит золотая луна. Ее сияющее лицо серьезно, задумчиво. Кругом тишина... Задумчивость луны наводит на меня сладостную меланхолию, она что-то говорит моему сердцу, каждым взглядом своим томит мою душу. Луна будит во мне море чувств, в голове роятся думы, и все почему-то о себе самом. Невольно думается о горестной жизни, полкой страданий, обид и оскорблений, преследований и несчастий — минувших и настоящих... Хочется приласкаться, пожаловаться луне, как больное дитя — матери: «Ой, мама, больно!.. Ох, как приходится мытариться, мучиться!.. Мало того что вечно у тебя голова кругом, что из забот не вылезашь, так еще и другим глаза мозолишь. Мало собственных язв и ран, приходится еще терпеть невероятные муки от других. Тут еле дышишь, но и эта твоя жизнь, оказывается, кому-то в тягость. Ой, мама, как больно, как щемит сердце!»

Луна, обратив ко мне свой светлый лик, смотрит по-прежнему серьезно, задумчиво, и кажется, что она меня успокаивает:

«Тише, бедное дитя мое! Успокойся! Ну, что ж поделаешь?» Еще сильнее ноет сердце, горячие слезы навертываются на глаза, склоняю голову на руку и обращаю к луне ту сторону лица, на которой срезан пейс: пусть она видит, пусть она хоть взглянет!

Нахлынувшие на меня чувства сжимают сердце, туманят мысли, глаза, полные слез, смотрят на мир с трогательной мольбой: «Помогите, сжальтесь! Больно, больно!» Так в одиночестве рыдает проснувшийся ночью больной ребенок, глядя с немой мольбой во взоре. Нет никого! Никого! Никто не слышит! Все спят. Тихо. Только собачонка стоит на улице, поджав хвост, задрал голову, и беззлобно лает на луну. Но луна идет своим путем, спокойная, задумчивая, не замечая собачьего лая...

На душе у меня становится легче. Неясное теплое чувство надежды согревает меня и утешает без слов: такое чувство испытывает человек, когда выплечет перед господом богом все свои горести. Оно делает человека мягким и податливым, безгранично добрым, готовым за каждого душу отдать, обнять и расцеловать весь мир.

А они, клопики, разве не божьи создания? Разве это их вина, что они воняют, бедные? Как же им быть, если им самой природой положено кусаться? Ведь они это делают не по злой воле, не из ненависти, а только ради пропитания: им, бедняжкам, пить хочется, насытиться чужой кровью. Ну, что ж поделаешь? Где мое не пропадало? Впервые, что ли, мне встречаться с клопами? Да и кто же не страдает и не мучается из-за клопов?..

Отхожу от окна и, промолвив: «Тебе душу свою вверяю!» — валюсь на топчан и — ничего! — засыпаю. Снов рассказывать я не люблю. Глупости!

Встать на рассвете стоило мне больших трудов. Все тело ныло. Однако нужда заставила стремительно подняться с ложа. Жизнь еврея — в порыве. Нужда заставляет его бегать, носить, работать, действовать. Стоит только чуть-чуть ослабнуть порыву, как еврей падает замертво. Лишь в праздники он начинает ощущать все свои боли, тогда лишь он обычно удосуживается хворать...

Нужда подняла меня с моего ложа, нужда держала на ногах, она же усадила меня верхом на лошадь, она погнала, и я двинулся в путь вместе с Хаим-Хоной, мужем Хае-Трайны. Человеку трудно лишь с места тронуться, а там только пружину нажми — все идет как по маслу, он лезет даже туда, куда не нужно, куда его и не просят. Он тогда и на стену лезет. Я сразу собрался с силами, снова стал бодрим и свежим, как ни в чем не бывало.

Недаром в народе говорят: чужая душа — потемки. Вначале я думал, что Хае-Трайна обрадовалась мне просто потому, что неожиданно нашла родственника, да еще такого, который причастен к книгам! У нас ведь сама причастность к какому-либо делу — и та уже много значит. Еврей, будь он даже почтенный обыватель, когда ему приходится иметь дело с присутственными местами, начинает со сторожа: ведь сторож как-никак имеет касательство к начальству... Еврей поговорит с ним и уходит удовлетворенный. На первый раз, думает он, хватит. Сторож — человек не плохой... Служку казенного еврейского училища кое-кто величает «инспектором». Еврея-письмоносца называют почтарем, чуть ли не почтмейстером. Короче говоря, как в поговорке: «И прислуга раввина может законы толковать...»

Уже за ужином, глядя на дебелую, толстощекую дочку Хае-Трайны, которой пора под венец, я почувал, что радость Хае-Трайны не беспричинна: я могу ей пригодиться, чтоб просватать дочку. Похоже даже, что она на меня самого имеет кое-какие виды. Потому, должно быть, эта девица и разоделась... Все это стало гораздо яснее после разговора с Хаим-Хоной. Когда мы с ним ехали, он почему-то чрезмерно интересовался моим сыном.

— Вот как! — говорил он. — Значит, вашему пареньку, то есть пареньку вашему, уже исполнилось тринадцать лет и он все еще не жениха Я в его годы был уже женат, в его то есть возрасте... Моя Хае-Трайна мне по ночам спать не дает: жениха подай ей! Чего ты, кричит, лежишь колодой, разбойник! Жениха, бога ради! Девицу мою вы ведь видели, то есть дочку, она прекрасная хозяйка! Может быть, ей и вправду замуж пора, то есть выйти замуж... Как вы полагаете, реб Менделе?

Ведь вы человек ученый. Пора? Жена со мной нынешней ночью говорила... Она вас очень уважает... Все приходит неожиданно. Надо же было случиться, чтобы вы попали к нам... Право, мы очень рады... Стало быть, вашему пареньку, говорите вы, уже исполнилось тринадцать лет... То есть сыну вашему...

Вот так, беседуя, мы добрались до наших кибиток. Прежде всего я со всех сторон осмотрел свою кибитку. Слава богу, все цело. Подошел к кибитке Алтера. Тоже как будто ничего не тронута, все на месте. Однако, как только я взялся за полотнище, которым была покрыта кибитка, и пощупал его, меня охватила дрожь: под полотнищем что-то шевелилось... В испуге я отскочил далеко в сторону. В это время полотнище приподнялось, и я увидел перед собой сидящего на возу Алтера Якнегоза!.. На голове у него была повязка.

11

Что случилось с Алтером, где он пропадал, каким образом вернулся и почему у него оказалась повязана голова, — обо всем этом мы вскоре узнали от самого Алтера.

— Ну, — начал он, — иду это я, стало быть, за лошадьми. Ищу, ищу — нет лошадей! Ладно, думаю, видать, забрели далеко. Трава в лесу хороша, место тенистое, — почему бы им не забрести? Человек, к примеру сказать, и тот ищет, где лучше. Что ж, иду я все дальше и дальше. Однако, понимаете ли, — не видать, не слышать. Что ты будешь делать? Невесело! Вдруг чудится мне шорох в лесу, где-то по ту сторону оврага. Недолго думая спускаюсь вниз, потом взбираюсь на другую сторону, — нет ничего! Между тем становится уже поздно, надвигается ночь... Дело скверное!.. Снова послышался мне шорох. Я опять туда — всматриваюсь, ищу, — нет ничего! Тут уж меня, понимаете ли, досада взяла: что за история такая? Однако опять слышу шорох и будто бы шаги. Вот вы где, голубчики! Чтоб вам провалиться! Ругаюсь в сердцах и пробираюсь в самую чащу. Ага, думаю, попались!.. Но — где там! Оказывается, какая-то рыжая корова, черт бы ее побрал! Отбилась, как водится, от стада и забралась в лес. Дальше что? Я даже не знаю, где нахожусь. Однако стоять на месте толку мало... Пошел скрепя сердце куда глаза глядят и набрел на тлеющий огонек. Головни дымят, еще не совсем погасли, трава кругом вытоптана, валяются корки хлеба, яичная скорлупа, шелуха от огурцов, очистки лука и чеснока, тут же какие-то лохмотья и тряпки... Была здесь, видать, большая компания, — судя по всему, цыганский табор. Это и вовсе не весело! Народ такой, что легко мог увести наших лошадей. Вдруг доносится до меня издали какой-то голос. «Уж не зовет ли меня реб Менделе?» — приходит мне в голову, и я прибавляю шаг. Голос то пропадает, то опять слышится, и чем ближе, тем сильнее и истошнее, будто на помощь зовут! Страсти, да и только! Ничего, однако, не поделаешь. Я знай шагаю вперед. Другого выхода нет. Озираюсь лишь хорошенько по сторонам, приглядываюсь, голову свою берегу. Словом, поодаль вижу я вдруг корчму не корчму — развалину на курьих ножках. Что-то она мне не понравилась. Спрятался я в сторонке меж ветвей. Кстати, дубинку подобрал и взял в руки, для верности, знаете... Притаился и жду, — что дальше будет. В голову лезут всякие страшные истории о разбойниках, о глупских ворах. Вдруг снова раздается крик, отчаянный, словно человек в страшной опасности. И кажется мне, что крик этот доносится из лачуги. За сердце меня взяло. Подняло с места, и не успел я опомниться, как очутился возле корчмы, даже не понимая, как я сюда попал. В голове одна только мысль: свой, свой! Мало ли что, а вдруг реб Менделе в опасности! Я ведь не знаю даже, где нахожусь! Страшно, конечно, но раз уж так случилось, я не отступлюсь, хоть узнаю, что тут творится! Я, знаете ли, человек немножко упрямый. Словом, ступаю тихонько и чутко прислушиваюсь.

Доносится чей-то приглушенный крик, Подхожу к воротам, еле держащимся от ветхости. Шагнул в просторные сени. Иду на цыпочках, ищу, шарю в темноте, — ничего не слышать. Достаяю из кармана коробок спичек, дрожащей рукой пытаюсь зажечь огонь, — ничего не выходит: не горят! Наконец последняя спичка зажглась, и в ту же минуту я откуда-то со стороны услышал протяжный отчаянный крик. Спичка погасла, я снова брожу в темноте и вдруг на кого-то натыкаюсь. У меня волосы дыбом, не знаю, что со мной творится. К счастью, выглянула луна, и сквозь маленькое выбитое окошко в пропахшей плесенью комнатухе я увидел человека, связанного, как овца, по рукам и ногам. Он был смертельно бледен и едва дышал.

— Сам бог привел вас сюда! — промолвил несчастный. — Развяжите меня поскорей, а то мне конец приходит. Веревка врезалась в тело, а пить, пить хочется до смерти!

— Кто это вас связал? — спрашиваю я и, достав нож, разрезаю веревку.

— Пропади он пропадом! — ругается тот, расправляя члены. — Этакий разбойник, воруага!

— Вор? — спрашиваю я, насторожившись.

— Да, да! И вор, и все что хотите! Сегодня лишь украд пару лошадей.

Я даже подскочил, услышав это. Словом, начинаю расспрашивать, указываю приметы, и все выясняется. У того костра в лесу сидела, оказывается, целая орава бродяг, прощелыг, а один из них прогулялся по лесу и забрал наших лошадей. Допытываюсь, по какой дороге двинулся весь табор, и решаю: немедля отправиться по их следам. Спасенный пробует меня удержать, пугает: этот черт, мол, настоящий разбойник. К тому же он не один, с ним много народу — все почти такие же, как он. Но я не могу успокоиться. Остаться без лошади? Нет, нет! Я должен их догнать! Будь что будет. Так себя обставить я не дам. Сейчас каждая минута дорога. «Оставайтесь вы тут, придите в себя, а когда я, даст бог, вернусь с лошадьми, я захвачу вас с собой, поедем вместе!» — говорю я несчастному, к которому меня как-то сразу потянуло, и, взяв, как говорится, шапку в охапку, быстро двинулся в путь.

Ветхая, заброшенная корчма стоит в лесу почти на самой опушке, в том месте, где дороги расходятся: налево — на Глупск, на Вольтынь, а направо — в Подолию. Сворачиваю направо. Не иду, а бегу. Зол ужасно. Вора, попадись он мне, разорвал бы, кажется, в клочки. При моих блестящих делах мне не хватает только остаться в чистом поле без лошади, без гроша в кармане. Но ничего не поделаешь! Однако ноги начинают отказывать, желудок знать ничего не хочет, требует пищи. Диво ли, после такого поста! Скверно! Меня грызет мысль: напрасный труд, зря бегу! Ведь те подлюги снялись с места гораздо раньше меня, и к тому же они едут, а я пешком иду. Единственная надежда — а вдруг попутная подвода попадет. Хорошо еще, что луна светит и кругом все видать, как среди бела дня. Словом, иду, — уже не так быстро, не с таким подъемом, как вначале, но все же иду и смотрю во все глаза. Кругом ни души. Ничего не поделаешь... Продолжаю путь. Уж если я, понимаете ли, взялся за какое-нибудь дело, я так не отстану. Как будто колеса тархтят... Ко всем чертям! Точно назло, едут навстречу, в противоположную сторону. Коли не везет, так уж не везет! Обращаюсь к одному вознице, к другому... Куда там! Все пьяны как стельки. Тут я, понимаете ли, разозлился не на шутку! Прибавил шаг! Уж я далеко ушел вперед, да и время позднее. А я все еще надеюсь на попутную подводу, и действительно, кажется, будто издали какие-то подводы приближаются. Но черт бы их побрал, — снова встречные... Нет, думаю, на сей раз я этого так не оставлю! Последнее отдам, только бы подвезли меня. Подгоняю сам себя, иду решительно, но подводы вдали, как будто не двигаются с места.

Досада, понимаете ли, лопнуть можно! Но ничего не поделаешь... Словом, подошел я поближе, вижу — кибитки. «А может быть, это те самые бродяги и есть!» — мелькнула у меня мысль. Замедляю шаг, пробираюсь тихонечко и думаю: как тут быть? Вдоль дороги тянется рошица. Я — туда, спрятался за дерево, высовываю голову и разглядываю кибитки. Да! По всем признакам — они, те самые! Одна кибитка лежит опрокинутая, вокруг нее толпа: мужчины, женщины, молодежь, старики, ребятишки, оборванные, обтрепанные. Один стучит, другой гремит, третий что-то советует, четвертый клянет, ругается. Женщины визжат, ребята плачут. Шум, гомон, руготня, мордобой, стон, смех и плач — все вместе. Среди всего этого крика слышу голос: «Это все — новая коняга, чтоб она сгорела! Этакая дохлятина, всю дорогу в сторону тянула, будто назло. Вот еще напасть, чтоб ей сдохнуть!.. Файвушкина находка, холера бы его побрала!..»

— Горлопаны, вонючки поганые, чучела соломенные, безрукие, безглазые! Ничего знать не хотите! Вам бы только жрать да дрыхнуть! — ругается какой-то рыжий широкоплечий верзила и грозит кулаком.

Всматриваюсь пристально и вижу: у последней кибитки в шлее стоит распряженная ваша лошадка, реб Менделе! Ее, видно, хотели было взять в работу. «Ах ты, умница моя! — обрадовался я. — Ну и натворила же ты им делов!..» Так, а где же моя коняга? Моя кляча, вижу, стоит тут же, привязана к той же кибитке. Осмотрел я свою дубинку, достал нож... Тихонько, по-кошачьи, подбираюсь к кибитке, и в то время как вся орава занята осью, я перерезаю веревку, сажусь верхом и, не промолвив ни слова на прощание, уезжаю с обеими лошадьми.

Как будто недурно? Должно же было, однако, случиться так, что кто-то из этой оравы, черт бы его побрал, заметил меня и поднял гвалт. Началась суматоха. Рыжий верзила, вижу, сорвался с места и бежит за мной — вот-вот догонит. Я настегиваю, подгоняю лошадей, а они на сей раз не заставляют себя упрашивать и бегут изо всех сил. Рыжий начал уже отставать. Но в эту минуту мою клячу угораздило запутаться в шлеях вашей лошади, которые я второпях забыл снять. Кляча упала. Задержка, стало быть! Тут рыжий дьявол налетел и зверем накинудся на меня. Боремся мы с ним молча, онемев от злобы. Хотим друг друга повалить и падаем оба, сжимая один другого так, что кости хрустят. Короче говоря, работаем усердно: то я наверху и нажимаю на рыжего так, что из него чуть не дух вон, то, наоборот, он наверху, а я под ним. Ну, ничего! Я, понимаете ли, как тресну его под микитки, а потом в пах! Он подскакивает и валится как мертвый. Но чепуха! Это одно притворство! Отпустил я его, а ему только того и нужно было. Повозился он и вытащил нож. «Эге! — говорю. — Вот ты каков!» И хлоп его по руке, да так, что нож вывалился и отлетел далеко. Тогда он собрался с силами, прыгнул на меня, как кошка, царапает мне шею, того и гляди в горло вцепится... Но тут послышался вдруг колокольчик. Это его испугало. Ведь он как-никак вор.

— Ваше счастье! — рычит он. — Так вот же вам на память!

Трахнул меня по голове и исчез. Я тут же встал, опять сел на лошадь и поехал своей дорогой. Потом только я почувствовал боль. Пощупал — шишка на лбу! Но — наплевать! Я своего добился: лошадки, понимаете ли, у меня!

— Благодарите бога, что так обошлось! — говорю я и от радости обнимаю Алтера.

— Ничего! — отвечает Алтер. — Пусть и этот рыжий благодарит бога за то, что я целые сутки не ел и очень устал. А все-таки наши лошадки здесь.

— Где они, наши орлы? — спрашиваю я, озираясь по сторонам.

— Погодите, реб Менделе! — отвечает Алтер. — Человек, с которым я вернулся, повел их на водопой. Тут внизу есть речушка и хорошая трава. Не беспокойтесь. Он хорошо присмотрит за ними. Я тоже пришел недавно. Разбитый, усталый, бросился в кибитку, накрылся пологом, хотел вздремнуть. Но только глаза закрыл, вы пришли, реб Менделе. И слава богу, что видимся в добром здравии. А вы почему повязаны, реб Менделе? Зубы, что ли?

— Вы, реб Алтер, — говорю я, — пришли с повязанной головой, с шишкой на лбу, а я с повязанной щекой, без пейса, вы с человеком, которого спасли, а я с Хаим-Хоной, мужем Хае-Трайны! — вторично рекомендую я своего спутника, на сей раз со всем его титулом.

Алтер уставился вопросительно.

— Как? — изумился я. — Вы не знаете Хае-Трайны?

— Ну, ладно! — удрученно отвечает Алтер. — Пусть будет Хае-Трайна. Но какое отношение это имеет к вашему пейсу?

— Родственница, моя жена приходится родственницей! — простодушно замечает Хаим-Хона.

В то время как мы беседуем, сидя на травке, издали показываются наши кони. Они идут вприпрыжку, будто бегут. И кажется мне, что со вчерашнего дня вид у них стал совсем иной. Они гордо задирают головы, словно говоря: «Смеяться можешь, сколько тебе угодно, а ведь и на нас охотник нашелся... Ничего! Хоть и нога перевязана и глаз течет, а все-таки, когда надо ходить в упряжке, мы ходим, и ось, когда требуется, мы ломать умеем не хуже других. Вся беда наша в том, что мы — еврейские лошади. Вы, уважаемые, только обещаете кормить нас, а на самом деле! голодом морите». Когда моя коняга приближается ко мне, я ласково треплю ее по морде: «Ишь, озорница!..»

Следом за лошадьми появляется и новый знакомый Алтера. Увидав его, я от удивления всплескиваю руками и кричу:

— Фишка! Вот легок на помине!

— Тот самый Фишка? О котором вы мне рассказывали? — спрашивает Алтер, очень удивленный.

— Да, тот самый, что в бане служил! Ну, здравствуй, Фишка!

— Я вас, реб Менделе, тоже узнал! — говорит Фишка, отвечая на приветствие.

— Вашему Фишке надо спасибо сказать! — говорит Алтер, обращаясь ко мне. — Если бы не он, не видать бы нам лошадей, как ушей своих!

— Если бы не реб Алтер, — отвечает Фишка, тоже обращаясь ко мне, — Фишке был бы капут!

— Слышал, слышал! — говорю я. — Скажи-ка лучше, Фишка, откуда ты взялся?

— Это длинная история! — отвечает он, глядя куда-то в сторону.

С минуту разглядываю Фишку. Он, бедный, раздет, разут. Ноги у него распухли, окровавлены, загорел от солнца и тощ как палка — кожа да кости. Больно глядеть на него. Немало горя, видно, пришлось ему пережить. Я беру его за руку и говорю:

— Твою историю, Фишка, мы послушаем немного погодя. Времени впереди еще много. А сейчас отдохни вместе с нами.

12

Какому-нибудь сочинителю с лихвой хватило бы материала для красочного описания всех нас в то замечательное утро. Материалом могли бы послужить четыре пожилых еврея, возлежащих в вольных позах на зеленой травке и молча наслаждающихся природой: солнцем с его лучами, небом, капельками росы, певчими птичками, лошадаками — одно другого краше. Ко всему этому он мог бы кое-что добавить и от себя: стадо овец, пасущихся на лужайке, прозрачный ручеек, из которого «томимые зноем олени утоляют жажду». Он мог бы снабдить нас свирелями, на которых мы, подобно пастухам, играли бы хвалебный гимн — в честь возлюбленной невесты из «Пески песней». Торбы у нас, благодарение богу, собственные, в чужих не нуждаемся. Пусть сочинитель носится со своей. Однако хватит! Дальше просят не соваться! Влезать ко мне в душу, пичкать меня вашими остротами и сомнительными рассуждениями — это, знаете ли, не про вас. Поищите кого-нибудь другого... Свои мысли я предпочитаю излагать сам.

Попросту говоря, лежу я в компании, смотрю вокруг широко раскрытыми глазами и испытываю огромное удовольствие. От чего? Так, вообще. Хорошо на душе, без есякой причины. Напеваю я не с целью дать концерт или развить свой голос, а просто так: трим-брим, брим-трим... Так обычно напевают еврей — без слов, без дум, — когда забота о хлебе насущном на минутку оставляет его. Так обычно напевают евреи — каждый про себя и каждый на свой лад, когда они в праздничный день гуляют компанией, или в субботу после обеда, когда облачаются в халаты и теребят при этом — кто шнурок, кто бородку, или закладывают руки за спину.

Хаим-Хона тоже напекает с блаженным выражением лица. Затем он неожиданно встает, забирает свою бородку в кулак и, облизавшись, обращается ко мне:

— Ну, реб Менделе, я думаю, уже пора ехать. А?

— Вы уже хотите ехать домой? — спрашиваю я и тоже поднимаюсь. — Ну, что ж, счастливого пути!

— Что значит? — недоумевает Хаим-Хона. — А вы, реб Менделе, вы разве со мной не поедете? Ведь мы же говорили, мы же...

— Как же я могу? — отвечаю я, указывая на своих спутников.

— Милости просим! Пожалуйста! — говорит Хаим-Хона. — Пускай и они едут с нами. Моя Хае-Трайна готовит сегодня вареники. На всех хватит еды, то есть вареников.

— Очень вам благодарен! — отвечаю я с поклоном. — Некогда! Надо и о зароботке думать. Передайте вашей жене мой сердечный привет.

— Господь с вами, реб Менделе! Моя жена меня уб... — Хаим-Хона хотел сказать «убьет», но спохватился и, смутившись, закончил: — Без вас меня моя жена в дом не пустит! Она сегодня ночью обсудила со мной это дело... Понимаете? Ведь она вас ждет... И моя Хасе-Груня тоже... Вы понимаете?

— Понимаю, понимаю. Нужно, однако, набраться терпения. Моя жена меня тоже уб... то есть в дом не пустит, хочу я сказать, если я с ней не обсужу этого дела. Вы меня понимаете? Что поделаешь, реб Хаим-Хона!

Хаим-Хона стоял как побитый. Видно было, что он страдает. Он даже в лице переменялся.

— Сделайте мне одолжение, поедemте! — стал он умолять меня. — А если не можете, дайте хотя бы письмецо к Хае-Трайне. В письменном виде, а то она мне не поверит. Она будет обвинять меня, говорить, что я разиня, шляпа... Она... Она... Вы меня понимаете? Напишите несколько слов, учитель ей прочтет. Прошу вас!

Ничего не поделаешь — надо спасти человека. Хотя такой муж и стоит того, чтоб ему влетело как следует, но пусть ему попадет не из-за меня. Достаяю котомку, беру карандаш, вырываю из молитвенника первый чистый лист и, прислонившись к облучку кибитки, пишу:

«Моей именитой, почтенной родственнице, благочестивой Хае-Трайне, да живет и здравствует она, аминь!

Довожу до вашего сведения, что я, благодарение бегу, пребываю в полном здравии. Да не отвратит господь бог милости своей от нас и в дальнейшем и сподобит нас в ближайшем будущем слышать друг о друге радостные вести. Дай бог жить в довольстве, богатстве и чести, в добром настроении духа и ныне и во веки веков. Аминь! Вашим деткам, да будут они долговечны, я шлю сердечный привет, особенно дочери вашей, невесте, девице Хасе-Груне, прошу обязательно передать мой сердечный привет.

Затем извещаю вас о том, что товар я, слава всевышнему, нашел в целости вместе с кибитками на своем месте. И во-вторых, сообщаю, что лошади нашлись. Реб Алтер Якнегоз вызволил их из воровских рук. Все это, конечно, только благодаря заслугам наших предков. Воистину великие чудеса свершились. Мы даже недостойны столь щедрых милостей господних. Ваш супруг, да. сияет светоч его, расскажет вам обо всем подробно. Это достойно записи в летописях.

Прошу у вас извинения, Хае-Трайна, как у родной матери, за то, что беру на себя смелость защищать вашего супруга. Он, бедный, в большом страхе и крайне огорчен оттого, что я нынче не еду к вам, как было условлено. Пощадите его, пусть он, бедняга, не пострадает и не понесет наказания за то, что я не сдержал своего слова и не могу, как мы предполагали, приехать к вам сегодня. Вашего мужа, право же, от души жаль! Он всячески умолял меня, делал со своей стороны все возможное, расхваливал вас и особенно дочь вашу, невесту, которой я сердечно кланяюсь. Словом, он сделал все, что полагается делать преданному отцу... Вы меня понимаете? И, опять-таки, понимаете ли вы меня? Он даже соблазнял меня варениками и иными вкусными вещами. Но забота о хлебе насущном превыше всего. Приходится ради этого отказываться даже от вареников. Кроме того, ведь и у меня есть супруга. Понимаете? Вы, надеюсь, понимаете, что я имею в виду... В таких делах, знаете ли... Что значит муж без жены? Уповаю на всевышнего, — мы еще обязательно увидимся и на радостях, даст бог, покушаем у вас вареников, а может быть, и выпьем за счастье... Понимаете? А пока пусть ваш супруг не пострадает. Жаль его!.. Посылаю вам с вашим мужем подарок: «Новую молитву о хлебе насущном», «Молитву при освящении свечей и нового месяца», «Молитву праматерей Сарры, Ревекки, Рахили и Лиис»¹⁹, «Совершенно новую молитву на канун Судного дня» и еще посылаю вам «Чистый источник»²⁰, книгу, которую должна хорошо знать каждая женщина, дабы соблюдать все изложенные в ней предписания и правила. Это вам доставит большое удовольствие. И дочь ваша, невеста, тоже будет необычайно рада этой книге.

Хае-Трайна! У меня к вам просьба. Когда клопы, принадлежащие вашей милости, вчера, не нынче будь помянуто, терзали меня, я снял свои бреславльские шерстяные чулки и второпях оставил их на топчане. Разыщите их, пожалуйста, и пусть ваш супруг пользуется ими на здоровье. Это будет подарок ему от меня. Будьте здоровы и еще раз кланяйтесь вашим милым деткам, а также вашей дочери-невесте — особенно сердечно. Не забудьте, ради бога, о вашем супруге! У него очень угнетенное состояние. Мой кнут, который я забыл у вас в комнатушке, я дарю учителю. Он ему пригодится... Кланяюсь вам и вашим деткам, каждому в отдельности, а также вашей дочери особенно. Смирный Менделе Мойхер-Сфорим».

Когда я прочел это письмо мужу Хае-Трайны, он был счастлив и пришел в восторг от замечательного языка, каким оно написано. При каждом слове он хлопал себя по лбу и изумлялся: как может человек так писать? При этом он повторял: «Ах, какой язык! Чистый мед, честное слово!..»

Мы тепло распрощались, и он с легким сердцем уехал.

¹⁹ Библейские мифические праматери

²⁰ сборник религиозных предписаний и правил для женщин.

13

И я и Алтер чувствовали себя очень усталыми и разбитыми после вчерашней ночи. Мы решили поэтому вздремнуть часок-другой, а потом со свежими силами продолжать наш путь уже до самой ночи. Фишка взял на себя присмотреть за лошадьми и приготовить кое-что на обед.

— Я ночью спал, — заявил он, — ночью после происшедшей со мной истории заснул, как после бани. Реб Алтеру, когда он вернулся, нелегко было меня добудиться.

Алтер, по моей просьбе, кладет голову ко мне на колени, и я лезвием ножа придавливаю шишку у него на лбу. Потом мы зеваем, расправляем свои косточки и укладываемся в тени под деревом.

Если бы не солнце, посылавшее из своего шатра огненные обжигающие лучи, мы могли бы проспаться далеко за полдень. Раскрыв глаза, мы увидели неподалеку от нас веселый огонек, на котором варился в горшочке картофель, приправленный луком и сухой колбасой. Мы выпили по рюмочке и с аппетитом принялись за еду.

Расхваливаем поварские таланты Фишки. Картошка вкусная — сам царь мог бы есть такую картошку! Фишка доволен и приговаривает:

— Кушайте на здоровье! Приятного аппетита!

— Где это ты, Фишка, раздобыл сухую колбасу? — спрашиваем мы. — Из нашей картошки и лука могла бы получиться только «рыбная» картошка.

— Где я раздобыл колбасу? — отвечает Фишка. — У себя в торбе. Мне случайно удалось припрятать свою торбу от этого злодея, черти бы его побрали!

— Расскажи, Фишка, — просим мы его, — что с тобой произошло?

— Эт! — произносит он со вздохом. — Долго рассказывать. Очень длинная история.

— День еще велик, времени у нас, слава богу, хватит. Можно слушать. Давайте запрягать! — обращаюсь я к Алтеру. — Поедем, а Фишка нам по дороге будет рассказывать.

Когда повозки наши были уже готовы, я пригласил всех к себе в кибитку. Но Алтер уговорил нас сесть к нему. «У меня, — сказал он, — свободнее, не так много товару». Я пошел на уступки: мы сначала посидим немного у него, а потом у меня.

В КИБИТКЕ У АЛТЕРА ЯКНЕГОЗА

— Ну, Фишка! Давай! Выкладывай! — просим мы его, как только уселись в кибитке и добились от наших лошадок, чтобы они тронулись с места. Но Фишка мнется, сидит опустив глаза и хрустит пальцами.

— Не знаю, право... неловко как-то... Ни с того ни с сего — вдруг рассказывать! Не умею я. Неудобно, право...

Я подбадриваю Фишку. Алтер со своей стороны уговаривает его:

— Глупенький, трудно только начать. Стоит сказать первое слово, а там пойдет как по маслу. Я по себе знаю. Что тут особенного? Сам потом увидишь, что это пустяки... Словом, Фишка, женился ты, понимаешь ли, на слепой сироте. Ну, ладно, это мы уже знаем. Короче говоря, что же дальше?

— Дальше? Черт бы ее батьке и его прабабке! — в сердцах выпаливает Фишка. — Сыграли они со мной шутку!..

— Ну, ну, ну! — подгоняем мы замолчавшего Фишку. Фишка снова раскрывает рот и начинает уже несколько спокойнее:

— Ох и женушка!.. После свадьбы мы совсем неплохо жили. Как порядочной чете жить полагается. В долгу перед своей женой я как будто не оставался. Честное слово, отсохни мой язык, если вру! Ежедневно по утрам я, как полагается, отводил ее на место возле старого кладбища, где она обычно сидела на соломе и просила милостыню, причитая таким жалобным голосом, что всех за душу хватало. Несколько раз в день я приносил ей туда то горшочек супа, то горячую пышку, то соленый огурчик, то яблочко. На, мол, подкрепляйся! Человек сидит все время на одном месте, хлеб зарабатывает! Не раз, бывало, я просто так приходил проведать ее, посмотреть, как она себя чувствует, а заодно и, помочь ей справиться с выручкой: дать одному-другому сдачи с трех грошей, с алтына, напомнить ей о старых долгах, причитающихся с горожан, которые, проходя мимо, не расплатились тут же наличными, а пообещали отдать в другой раз, отогнать козу или корову, которым вздумалось, гуляя по улицам, выхватить из-под сиденья клоч соломы. Перед осенними праздниками я водил ее за город, на кладбище, на большую ярмарку. Там она обделывала свои дела не хуже всякого рода служек, канторов, причетчиц, почтенных попрошаек, псаломщиков, благодетельниц, могильщиц, плакальщиц и иных слуг боговых. И доилась коровка, родные мои! На жизнь, что и говорить, хватало! Но когда человеку хорошо, ему хочется лучшего, когда имеешь хлеб, хочется пирога.

— Знаешь что? — стала поговаривать моя жена, — Такие люди, как мы с тобой, такая пара, уверяю тебя, нигде на свете не пропадет. В нашей профессии изьяны — не изьяны, а достоинства. Другие на нашем месте зарабатывали бы большие деньги. Мы с тобой разини и не делаем того, что нужно. Послушайся меня, я чуть постарше и опытнее тебя. Возьми-ка, Фишка, выведи меня в божий мир, в новые места, и ты увидишь, — попомни мое слово! — будем в золоте ходить. Здесь уже почитай и делать-то нечего. Просидишь иной раз невесть сколько времени, пока кто-нибудь сжалится и подаст грош. Чего только люди не рассказывают об успехах холерного жениха Лекиша и жены

его Переле! Они сразу же после свадьбы уехали, и везет им, не сглазить бы, с тем самых пор! Мотл-попрошайка встретился с ними в Кишиневе, когда они ходили побираваться. Торбы у них, рассказывает он, полны всякого добра: кусков булки, побольше, чем те, что у нас по субботам дают дворнику, мамалыги, копченой баранины, колбасы, жира. Переле сияет как ясное солнышко. Загляденье, да и только! Разжирела, раздалась вширь, с двойным подбородком, графиня — да и только! Глупска она и знать не хочет! А люди, приезжающие из Одессы, надивиться не могут счастьем другого холерного жениха — Ионтла. Они видели, как он передвигается на сиденье от магазина к магазину. Господь бог помогает ему. Он недурно зарабатывает. Люди на него глядят не наглядятся. В Одессе, говорят, калек достаточно: со всех концов света туда добираются убогие, к ним уже привыкли. Но куда им до глупских! Каких поставляет Глупск, даже Англия не в силах поставять. Глупск, говорят люди, славится на весь мир. На глупского калеку бегут любоваться, как на чудище заморское... Право, и нас бог не оставит. Давай, пока лето не прошло, двинемся в путь. Не медли! Дня и того жалко.

Разохотила меня жена, и мы пустились в путь.

Что вам сказать, уважаемые? Грех жаловаться — дела у нас шли очень хорошо. В какую бы деревню, в какой бы город мы ни приходили — всюду мы были в чести. Каждый обращал на нас внимание, никто не отказывал. Всякая богадельня бывала для нас открыта, домов сколько душе угодно, — знай ходи и бери — и в карман, и за пазуху, и в торбу! Синагогальный служка брал с нас несколько грошей и за это направлял нас на субботнюю трапезу всегда вместе в один двор. Жена учила меня нищенствовать. Я в этом деле был еще новичок и не знал как следует всех правил хождения по миру. А она мастерица: знала все тонкости. Она меня учила, как надо входить в дом, как притворно стонать, кашлять, какую при этом корчить жалостную мину, где просить, а где и требовать милостыню, торговаться, приставать, настаивать... Когда благодарить, а когда и поносить, ругать, проклинать. Думаете, это так просто — ходить по миру? Нет! Это целая наука. У евреев, чтобы разбогатеть, нужно только счастье. Наглость, бесстыдство и другие качества приходят потом сами собой. Но для того чтобы стать еврейским нищим, по-настоящему нищим, одного счастья мало. Нужно знать еще много вещей, необходимых для дела. Нужно уметь притворяться, влезать в душу, так чтобы тот хоть лопни, а вынужден был подать милостыню.

Мы с женой были нищими-пешеходами. Вы, я вижу, дорогие мои, смотрите на меня с большим удивлением, вам непонятно, что это значит? Разрешите, я вам объясню. Уж если я начал рассказывать, то постараюсь растолковать, как умею, вам и это.

Нищие, как солдаты, делятся на пеших... Погодите- ка, тут ужасная путаница: сотни различных видов, трудных прозвищ. Черт их, в общем, знает! Нищих — что мусору... Есть и такие и этакие: бедняки, нищие, убогие, неимущие, побируши, бездельники, попрошайки, местные лизоблюды... Без числа, без счета!.. Погодите, дайте-ка мне подумать.

Однако и размышления Фишки ни к чему не привели. Он запутался в огромных полчищах нищих и никак не мог выбраться. Из его слов я понял, что нищие всех видов делятся у нас на следующие категории: пеших, или нищих-пешеходов, скитающихся пешком, и конницу, или нищих, кочующих в кибитках. Кроме того, они еще подразделяются на виды: городские нищие, то есть такие, которые родились в каком-либо городе, обычно где-нибудь на Литве, и полевые нищие, которые родились в поле, в кибитке. Их предки испокон веков кочуют. Это еврейские цыгане. Они вечно скитаются по белу свету, рождаются, растут, женятся, плодятся и умирают в пути. Это люди, свободные от всего — от налогов, коробочного сбора и тому подобного, от молитвы и от всех вообще предписаний еврейской религии.

Они никому не подчиняются. К разделу городских нищих относятся просто нищие: мужчины, женщины, девицы и парни, которые ходят с сумой по миру в начальные дни месяца и просто в будни и собирают гроши или куски хлеба. Большая часть подростков из этой категории бегают по улицам и пристаёт к прохожим так назойливо, что поневоле подашь им милостыню, лишь бы отделаться. Далее следуют нищие, промышляющие божьим именем. Это попрошайки, бездельники, ютящиеся в каждой молельне. Они читают Псалтырь и поминальную молитву над покойниками, на кладбищах и в годовщину смерти. К ним можно присовокупить и часть синагогального причта. К городским относятся также *нищенствующие во имя Священного писания и ради благодетелей*. Это отшельники, покидающие жен и детей, забирающиеся куда-нибудь на чужбину, в молельню, *изучающие талмуд* и живущие на общественный счет. Ешиботники, которые околачиваются без дела, почесываются за печкой в синагоге и кормятся по дням у городских обывателей. Евреи, расхаживающие с платочками в руках, и всякого рода благодетели, собирающие пожертвования якобы на богоугодные дела. *Скрытые нищие* из обывателей, получающие пожертвования и милостыню тайком. *Полунищие*, как, например, учителя талмудтор во многих городах, которые и ребят обучают и побираются в то же время, равно как и синагогальные служки, стряпчие, раввины: каждый из них наполовину то, что он есть, а наполовину, как и все прочие, — нищий с сумой. «Праздничные» нищие, которые обыкновенно побираются в пурим²¹ или накануне праздников, когда евреи вообще настраиваются на веселый лад и на радостях пускаются по миру целыми компаниями собирать милостыню якобы для других, несчастных. *Нищие-заемщики*, которые в течение всей жизни принимают пожертвования под видом краткосрочных займов: не сегодня-завтра, мол, они с благодарностью вернут должок.

²¹ Пурим — весенний еврейский религиозный праздник.

— Напомните мне, реб Алтер, — говорю я, после того как изложил по-своему сообщение Фишки и навел некоторый порядок в перечне наших нищих, — напомните мне, пожалуйста, может быть, есть еще какие-нибудь нищие, которых я, чего доброго, забыл внести в этот список!

— А не все ли равно? — отвечает реб Алтер и укоризненно морщится при этом, как морщится пожилой человек при виде дурачеств подростка. — Подумаешь, какая беда, если даже, не дай бог, забыли... Велика важность — список! Как будто нельзя, упаси бог, быть нищим, не состоя в вашем списке!..

— Не скажите, реб Алтер! — стою я на своем. — Наши нищие невероятно заносчивы, жаждут почета. Только померещится кому-либо из них малейшая обида — он готов вас живьем съесть. Упаси вас бог от нищего-аристократа! Видите, вот я и вспомнил! Есть, не взглянуть бы, еще много всяких нищих: достославные «внуки» праведников, евреи из Иерусалима, палестинские евреи, погорельцы, больные, страдающие геморроем и имеющие на то свидетельства от врачей, покинутые жены, всякого рода вдовы, сочинители, недавно появившиеся сочинители пи с произведениями своих мужей. Да и нас с вами, реб Алтер, тоже черт не взял. Можно смело прибавить книгонош. А уж если на то пошло, то и наших печатников и всякого рода редакторов и всех работников — наборщиков, корректоров, писателей, корреспондентов... Всех их в один ряд с остальной нищей братией!.. А сейчас, реб Алтер, надо этих людей рассортировать, поставить каждого на свое место в списке. Кажется, никого не забыл, а?

— Фи, бросьте, реб Менделе! — в сердцах говорит Алтер и начинает почесываться. — Довольно, хватит ваших нищих! У меня по всему телу зуд пошел, будто блохи одолели. По мне, вы могли бы сделать все это покороче: все евреи — сплошь нищие, и дело с концом. И все тут. Дайте Фишке продолжать рассказ и не перебивайте его. Подсказать слово, когда оно застревает у него в горле и он начинает давиться, или поправить его, — это еще куда ни шло.

С самого начала Фишка был вроде одного из тех канторов, которые кривят рот и произносят ломанные, искаженные слова, а я — его подпевалой, помогавшим ему в трудную минуту тем, что подхватывал слово, которым он давился. Без меня Фишку трудно было бы понять. Я потом покажу это на примере. Алтер же только подгонял его своими словечками: «словом, короче говоря», «в общем ничего». Так иной прихожанин в синагоге подгоняет и поторапливает кантора, предвкушая у себя дома добрую рюмку вина и праздничный обед.

— Мы с женой пьинадьежайи к пешим. Ну, можете себе пьедставить, как мы с моими бойными ногами меденно пьейсь, пойзьи, как яки... — так начинает Фишка на своем косноязычном наречии.

На исправленном при моей помощи языке это означает:

— Мы с женой принадлежали к пешим. Можете себе представить, как с моими больными ногами мы медленно плелись, ползли, как раки...

Так, с моими исправлениями, Фишка продолжает свой рассказ:

— Жена стала меня понемногу поругивать, проклинать, говорить мне колкости, сочинять для меня прозвища и попрекать больными ногами. Предъявляла ко мне претензии: она, мол, во мне окончательно обманулась. Она меня в люди вывела, обеспечила заработком, создала мне положение, а я ей не предан и все делаю ей наперекор. Однако это случалось редко. Я не обращал внимания на ее речи, проглатывал все обиды, думая про себя: все жены таковы, иначе и быть не может. Каждая жена потчует своего мужа словцом, а иной раз и тумакон. Как только гнев у нее остывал, жизнь снова налаживалась и Фишка снова бывал в почете. Она клала руку мне на плечо и говорила: «Айда, Фишка!» Я шагал впереди, она за мной, и у обоих бывало хорошо на душе. Так-то мы ползли и передвигались.

До Балты мы тащились что-то очень долго и упустили там большую ярмарку, славящуюся на весь мир. Жена была вне себя, страшно огорчалась, будто потеряла невесту какие богатства. Я старался ее утешить, убеждал:

— Ну, ничего особенного! Дома в Балте для нас, слава богу, остались. Мало нам столько домов, что ли, такого города? Не грехи!

А она знай твердит свое:

— Чтоб тебе сгореть вместе с твоими домами! На что мне, будь ты проклят, твой город, такой грязный город? И этакый город ты мне предлагаешь? Не желаю! Слышишь? Не хочу я такого города! Провались ты сам в это болото и подавись твоим городом, твоей грязной Балтой!

— Реб Алтер, есть! — восклицаю я неожиданно. — Вспомнил еще один вид нищих! Нищие-банкиры!

— Подумаешь, находка! — говорит Алтер, прищелкивая языком. — По мне, хоть бы их и на свете не было!

— Одного из этой братии, Симхеле Живучего, я очень хорошо знаю в Глупске. У него в особой книге записаны все дома с оценкой сколько каждый из них должен в течение года принести ему дохода. «Дома, — говорит он, — принадлежат мне, они платят мне подать, весь Глупск — моя вотчина!» Обычно он каждый день обходит определенный район. В дом он входит весело, развязно. Если сразу подадут милостыню — ладно. Если нет, он говорит: «До свидания! Ничего, я запишу за вами должок!» — и убегает.

А не слыхали ли вы, реб Алтер, истории о том, как один нищий из Глупска породнился с нищим из Тетеревки и дал в приданое все глупские дома? Это был Симхеле Живучий! А то, может, слыхали, как один богач, справляя свадьбу, устроил обед для нищих. И вот один из приглашенных нищих пришел в сопровождении другого, непрошеного. Когда его спросили: «Уважаемый, по какому случаю вы тащите за собой лишнего человека?» — он ответил: «Это мой зять, он у меня на хлебах...» Это опять-таки был Симхеле Живучий. Словом, Симхеле прибрал к рукам Глупск со всеми домами.

— По мне, ваш Симхеле Живучий мог бы окочуриться! — коротко замечает Алтер и просит Фишку продолжать. Фишка начинает на свой манер, я помогаю ему по- своему, и рассказ продолжается:

— Мы шли не прямо из города в город, все дальше и дальше вперед. Мы ползли то туда, то сюда, сворачивали то направо, то налево, как придется. Однажды мы очутились в городе, который мог бы провалиться к дьяволу, до того как я в него попал. То есть, против самого города я ничего не имею. Наоборот, город очень хорошо меня принял и дал мне все возможности поби раться, но там я повстречался с этим душегубом, чтоб его без ножа зарезало! Паралич его разбей! Вот как это было.

В городе, куда мы прибыли, расположилась «конница» — полевые нищие в кибитках. Нищие бунтовали. Дело в том, что некоторые местные обыватели, из нынешних, вздумали ввести новшество: чтобы нищим, за исключением стариков, больных и калек, ничего не давать. Здоровые парни, женщины и девицы, говорили они, могут служить, работать и собственным трудом заработать себе кусок хлеба. Глупая еврейская жалостливость ничего, мол, кроме вреда, не приносит. Из-за этого, по их мнению, среди евреев развелась такая уйма дармоедов, которые, подобно клопам, сосут чужую кровь и поедом едят людей. И вот горожане устроили нечто вроде фабрики и крепким, здоровым нищим, приезжающим погостить в этот город, предлагали заняться каким-нибудь ремеслом: вить веревки, шить мешки... За работу кормили. Нищие стали заглядывать сюда пореже. «Конница», которую мы здесь застали, была ужасно возмущена новыми порядками.

— Что ж это такое! — кричали они. — Светопреставление да и только! Где же еврейское милосердие? Значит, конец еврейству?!

Один из нищих, рыжий здоровенный детина, — разрази его громом! — был у них коноводом, он кричал больше всех:

— Содом!²² Настоящий Содом! Почему это богачи могут сидеть себе спокойно, как баре, а другие должны на них работать? Разве их богатство — не чужой труд, не чужая работа, не чужой пот?! Все они холят и берегут себя, а работать заставляют других. Богач, чем он толще, чем здоровее, чем жирнее у него брюхо, тем он солиднее и почтеннее, а наш брат должен, наоборот, скрывать свое здоровье, стыдиться его, будто украл. Каждый имеет право кричать, надрываться: «Почему такой здоровяк работать не идет?» Пора бы, честное слово, поменяться, пусть богачи попробуют поработать! В чем дело? Не в силах они, что ли?

— Правильно, Файвушка, правильно! Мы тоже евреи, тем же миром мазаны, что и они! — дружно поддержали нищие рыжего коновода, уходя один за другим из богадельни.

Однажды вечером прохожу я случайно мимо синагогального двора. Было уже темно. На улице вертится много всякого народа. Вдруг из-за угла доносится до меня чей-то плачущий голос, с мольбой, способной даже камень тронуть. Остановливаюсь и неподалеку от себя вижу согнувшегося в три погибели человека. На руках он держит подушечку, а оттуда доносится истошный визг младенца. Несчастный отец бросается го туда, то сюда, трясет, качает ребенка, стараясь унять его, и горько стонет: «Ах ты горе мое горькое! Жена умирает, оставляет у меня на руках такую крошку! Горе тебе, несчастная моя сиротинушка! Каково тебе будет без матери! А-а-а! Тише, тише! Ну, что же мне с тобой делать, бедняжечка моя?» Каждый прохожий подает ему сколько может, женщины пытаются утешить его добрым словом, а он знай твердит свое: «Ох, горе мне! Ох, несчастное дитя мое!» И все время трясет подушку и места себе не находит. Сердце у меня надрывалось от жалости к горемычному отцу и злосчастной сиротке, еще в пеленках лишившейся матери. Вытащил я из кармана три гроша и подошел поближе к несчастному. Но как только я протянул к нему руку, он меня как ущипнет, приговаривая при этом скорбным голосом: «Ой, лихо тебе!» И так выговаривает слово «тебе», будто имеет в виду меня. Хватаюсь за руку от боли, отскакиваю в испуге в сторону и несколько секунд не могу прийти в себя от изумления. Несчастный отец тотчас оборачивается ко мне, я всматриваюсь и чувствую, как озноб проходит у меня по всему телу...

— На сегодня хватит. Пойдем! Поддержи-ка ребенка! — говорит он и сует мне в руки подушечку.

Сиротка оказалась куклой, завернутой в лохмотья, а несчастный отец — рыжим жуликом, Файвушкой, побей его бог! Он это проделывал мастерски! Одновременно плакал и стонал за себя и пищал, заливался за ребенка...

— Вот так, — говорит он, — нужно поступать с дураками. Не хотят давать добром — приходится брать хитростью, без этого не обойдешься. И раввин, и даиен²³, и все прочие духовные лица наши — все они прикидываются, комедию ломают. Они орудут кривлянием, а я — горе мне! — моей несчастной сироткой... Главное, чтобы коровы доились!.. Скажи аминь, Фишка!

Во время нашего пребывания в богадельне рыжий черт стал примазываться к моей жене, приставать к ней, любезничать. Она ему почему-то очень понравилась. Он усиленно ухаживал за ней, старался ей услужить. Понемногу все больше втирался в доверие и добился того, что стал с ней запанибрата. Он просиживал с ней долгими часами и болтал, отпуская иной раз грубые, неприличные словечки. Моя жена затыкала уши и, казалось, даже слушать его не хотела. А когда он начинал расхваливать ее: она, мол, ядреная, гладкая, чистая, совсем в его вкусе, — она его, бывало, ругнет, ударит по спине, но все же смеется. Я тоже смеялся, — иной раз, правда, при этом кошки скребли

²² Содом — библейский город; согласно легенде, уничтожен богом за грехи его жителей.

²³ Дайен — помощник раввина

на сердце, но тут же думал: «Что мне до этого болтуна? Не сегодня-завтра мы от него избавимся. Разойдемся в разные стороны и никогда больше его противной рожи не увидим». И, наконец, по миру жена ходит все-таки со мной! А когда он пытался взять ее за руку и вести, она его сердито отталкивала:

— Идите, идите, фи! Я замужняя женщина! У меня есть, слава богу, с кем по миру ходить!

На другой день после встречи с этим рыжим дьяволом, разыгравшим несчастного отца, я побирался в одиночку. Жена с утра все жаловалась, что ей не по себе, она потягивалась, зевала — видать, от дурного глаза. Вот и осталась дома. Я и сам чувствовал себя неважно, что-то подпирало под ложечкой. Да и скучно мне было одному без жены, чего-то не хватало. Должен признаться, что с тех пор, как рыжий стал приставать к моей жене и заигрывать с ней, она стала мне дороже.

Иной раз, бывало, досада берет, весь горю от злости, а в то же время — сам не знаю почему — тянет меня к ней, — наваждение, да и только! Не знаю, как вам это объяснить, но это была какая-то сладостная боль, как от почесывания волдыря на теле. И больно, и вместе с тем как-то очень приятно... В общем, я в этот день побирался кое-как, без всякой охоты. Обошел наскоро свои дома, на живую нитку, как говорится, скорее пробежал, чем обошел, и вернулся домой раньше обычного.

Вхожу в богадельню и застаю свою жену рядом с этим рыжим жуликом. Сидят и о чем-то шепчутся. Лицо у нее пылает, голову склонила к нему, прислушиваясь к его словам, и сладенькая улыбочка не сходит с ее губ.

Когда я подошел и спросил, как она себя чувствует, жена вздрогнула, с минуту не могла слова сказать, не знала, что делать, затем, по сзоему обыкновению, ошупала меня и говорит:

— Знаешь, Фишка, отчего я больна? Это не от дурного глаза. Это оттого, что я пешком хожу. Цирюльничиха, которая заходила сюда, велела мне сходить в баню, попариться, поставить себе банки, хорошенько натереться на ночь и пропотеть. Нет, Фишка! Пешком я больше ходить не могу. Реб Файвушка так добр, что хочет взять нас с собой в кибитку. Как быть, Фишка? Что ты скажешь?

Рыжий дьявол — побей его бог! — поглядывал на меня одним глазком, ухмыляясь при этом так, что меня всего передернуло. Защемило у меня сердце, почувствовал я себя как мальчишка, которому ребе велит ложиться на скамейку, чтобы выпороть его. Я долго мямлил, ворочал языком, не зная, что сказать.

— Что же ты молчишь? Почему не отвечаешь? — раскричалась моя жена. — Я знаю, тебе дела нет до моего здоровья, ты хочешь поскорее от меня избавиться, в могилу раньше времени загнать! Погоди, погоди, изверг этакий! Не дождаться тебе этого. Сам раньше подохнешь! Слышишь, Фишка, гнида ты этакая! Я тебя в порошок сотру! Ни одного волоса на голове не оставлю! Зубы все повышибаю!..

Когда жена раскрывала рот, у меня в желудке холодело. Я стоял возмущенный, пришибленный, забитый, одному богу известно, каково было у меня на душе. Но что я мог поделать? Я склонил голову и сказал:

— Тише, не кричи, не волнуйся! Поедешь! Отчего ж не поехать?

— Вот так и говори! — сказала она уже мягче. — Почему же ты, когда с тобой говорят, стоишь как истукан? И ни слова не отвечаешь. Человек так добр, так любезен, хочет взять нас бесплатно, а ты хоть бы спасибо сказал! Стыдись, грубиян этакий!

Ну что я мог поделать? Пришлось и на это пойти, поблагодарить этого черта!

— Реб Алтер! Есть еще один! — восклицаю я.

— В чем дело, реб Менделе? Еще какой-нибудь клад отыскали? — насмешливо спрашивает Алтер. — Новый вид нищих вспомнили? Пошли вам бог находки получше! Хватит уже нищих.

— Нет, реб Алтер! Я имею в виду еще одного Хаим-Хону Хае-Трайны, как и он, трепещущего перед женой. Нашему Фишке, кажется, тоже не раз доставалось от его благоверной.

15

Фишка снова начинает на свой манер, я стараюсь, помогаю, как могу, Алтер подгоняет его по-своему, и рассказ продолжается:

— На другой день после этого разговора «конница» снялась с места и выступила из «Содома», как прозвала город эта шайка. Уходила ока с шумом, с гамом, со скрипом колес, проклиная город на чем свет стоит:

— Чтоб он сгорел! Чтоб его жители десять раз на дню подыхали с голоду! Чтоб они, как погорельцы, по миру скитались...

В трех кибитках было битком набито всякого народу: стариков, старух, женщин, девиц, парней, детей. Среди них был и я с женой. Мы в добрый час получили повышение: перешли на службу в «конницу».

Должен вам сказать, дорогие мои, что передо мной раскрылся совсем новый мир. Вначале мне с этой оравой было довольно весело. Насмотришься, бывало, и наслушаешься такого, что передать все это подробно нет никакой возможности. Я слушал, к примеру, как они издеваются, насмеваются над всеми, как они всех передразнивают. Каждый из этой полупочтенной компании на каком-то воровском языке рассказывал о своих похождениях. Один — о том, как он «стырил краюху» (украл хлеб), другой — как он «слямзил квочку» (украл курицу), третий — о том, как он «замотал юсы» (украл деньги), четвертый хвастал тем, что «отчихвостил фраера» (избил порядочного человека)... Богачей они проклинали почем зря, без всякого повода. Я готов поклясться чем угодно, что они ненавидят богачей

гораздо больше, нежели богачи их. Богач на их языке — это пиявка, раскормленная кишка, тупица, замороженная душонка, маменькин сынок, медный лоб и черт их ведаёт, что ещё. Считалось добрым делом напакостить по силе возможности богатому человеку. Чуть случалась какая-нибудь беда, они призывали на головы богачей всякие муки, корчи, колики и прочие болезни. Меня они иногда в шутку называли богачом, за то что я иной раз заступался за богачей и охранял их честь. Как-никак, а, пребывая в бане, я воспитывался среди богатых людей, возился с ними немало: стерег их вещи, подавал им узелки с бельём, одному принесешь шайку воды, другому подашь огонёк, ну и так далее.

Приходилось мне слушать разговоры между парнями и девицами, как они шутят, сватаются друг к другу. Одна кибитка родилась с другой. Умение притворяться ценилось очень высоко: оно необходимо для дела. Иной раз, при случае, они устраивали целые представления: один притворялся горбатым, другой — хромым, этот — слепым, тот — парализованным, одна — немой, другая — кривой. Но настоящие, не «поддельные» калеки, вроде меня и моей жены, были на особом счету. Они часто говаривали, что такие изьяны, как наши, для нищих — клад, дар божий: это чистый доход. Особенно ценилась слепота моей жены. Наконец, они попросту восхищались ее острым язычком. Волосы вставали дыбом, когда она раскрывала рот.

Рыжий черт вьюном вился вокруг моей жены, прямо вешался ей на шею. Он любезничал, ухаживал за ней, приносил ей всяческие подарки, чего только душа просит: вареный горох, бобы, сливы — все, что ему удавалось раздобыть. Но я решил: черт с тобой! Какое мне до этого дело? Увивайся, подмазывайся! Чего ты этим можешь добиться?.. Ничего! Ведь она — мужняя жена! Значит, опасаться нечего... Значит, ты имеешь в виду ее изьян: слепая, мол, может приносить хороший доход... Так вот же назло тебе, хоть желчью изойди, мерзавец этакий, жена моя куда только со мной по миру ходит. Чего же ты, дурак этакий, добился тем, что приманиваешь ее к себе, волочишься за ней? Побирается-то она все-таки не с кем-нибудь, а со мной! А ведь это самое важное!..

Эти мысли вызвали у меня сильное желание изучить нищенскую профессию до тонкостей, чтобы понравиться своей жене. Дело у меня пошло на лад. Я научился уже заходить в дом. Секрет в том, чтобы входить с недовольным видом, насупившись и требовать милостыню, как долг, не останавливаться у дверей, а лезть вперед, входить в комнаты и добираться даже до спальни, чтобы найти хозяина или хозяйку. Торговался я мастерски. Тут весь фокус в том, чтобы никогда не быть довольным тем, что подают. Подают тебе кусок хлеба — проси варева, тарелку борща, подают деньги — проси рубаху, старые кальсоны, чулки... Надо всегда морщиться, дуться, никогда не благодарить, ворчать, а иной раз и проклинать.

Что же делает рыжий дьявол, разрази его громом! Он стал ломать голову, как бы от меня избавиться. Он, видимо, полагал так: «По части нищенства ты, Фишка, в сравнении со мной — щенок. Я знаю все тонкости этого ремесла во сто тысяч раз лучше тебя. А уж если я надумал взять в оборот твою слепую, значит, так тому и быть. Ничего, братец, уж я о тебе позабочусь!..»

Он принялся за дело, и вскоре я стал для всех посмешищем. Я очень низко пал в глазах жены, потерял для нее всякое значение.

Я от нее только и слышал:

— Чтоб ты распух! Чтоб ты подох! Чтоб тебя черви съели, обжора, подлюга, такой-сякой разэтакий!

Рыжий, чтоб ему из мертвых не воскреснуть, не переставал под меня подкапываться, старался меня доконать и добился того, что все надо мной издевались и во всех кибитках только и разговору было, что обо мне. Каждую минуту придумывали что-нибудь новое, каждую секунду я получал другое прозвище. Всякий, кому не лень, мог со мной поступить, как ему вздумается. Я стал козлом отпущения. А если я иной раз, бывало, не стерплю и разозлюсь, все возмущались.

— Скажите пожалуйста! — говорили они в таких случаях. — Как наш *богач* взъерепенился! Чего доброго, еще заревет!

Когда я, избитый до полусмерти, обливаюсь, бывало, горькими слезами, мне говорили:

— Чему это ты так обрадовался, Фишка? Чего ты зубы скалишь? Полюбуйтесь, братцы, как Фишка хохочет!

— Дайте ему, ребята, — доносился голос рыжего дьявола, — дайте ему, бедному, хорошего тумака, стукните ему между лопаток! А если, упаси бог, не поможет, придется его погладить по головке, ухватить за ухо и сказать несколько слов по секрету. От этого у него слезы на глаза навернутся, как от хрена. Надо ведь спасать человека...

Нередко меня выбрасывали из кибитки, и я, на больных ногах, задыхаясь, изо всех сил бежал за ними вдогонку. А они хлопали в ладоши и, посмеиваясь, кричали:

— Bravo, Фишка! Вот так! Попляши, попляши! Посмотрите, братцы, как Фишка ножками дрыгает, как замечательно он танцует! Он мог бы на свадьбах плясать. Не сглазить бы его!

Однажды рыжий дьявол — разрази его громом! — вдруг заявляет:

— А знаете, братцы, Фишка-то ведь вовсе не хромым. Он только притворяется, жулик! Он над нами над Есеми издевается! Надо попробовать его выровнять. А ну-ка саданите его под живот, увидите, как он сразу выпрямит ножку...

Словом, мучили меня и истязали всячески. Эх, вспоминались мне счастливые годы, когда я барином сидел в бане и жилось мне как у бога за пазухой! Чего мне тогда не хватало?

— Ну что же! Взят бы да развелся! — перебивает Алтер. — На то у евреев и развод существует.

— Да, конечно! — отвечает со вздохом Фишка. — Если бы я сделал это вовремя, как бы хорошо было и мне,

а может быть, и еще кое-кому... Но я не знаю, что со мной случилось. Будто околдовали меня. Больно и стыдно признаваться, но что-то тянуло меня к моей жене... Как ни страдал я, сколько ни терпел, а все же чувствовал, что сохну по ней. Не знаю, может быть, это было упрямством с моей стороны: ежели тебе, рыжему дьяволу, хочется разладить нашу жизнь, избавиться от меня, так вот назло тебе буду держаться за нее, держаться пуще прежнего, обеими руками. А может быть, это было... не знаю, как сказать... так, вообще само по себе... Наваждение да и только! Нравилась она мне. Крепкая, полная, ядреная, круглолицая, не скажу, что красивая, но миловидная. Нередко случалось, что от боли и досады хотелось покончить с собой. Я желал смерти и себе и ей. «Сегодня, — думал я, — сегодня надо положить этому конец! Сегодня скажу ей: «Развод!» Но стоило мне только подойти к ней поближе, стоило ей заговорить со мной или положить мне руку на плечо и сказать: «Веди меня, Фишка!» — как у меня отнимался язык и я становился другим.

Как-то раз, когда мы с ней ходили побираться и оба были в хорошем настроении, я ей сказал:

— Бася, душа моя! Ну что толку от вечного скитания? Честное слово, нам это вовсе не подходит. В Глупске мы как-никак пользовались добрым именем. Ты меня там забрала из бани. Шутка ли, глупская каменная баня, в которой бывают такие львы, такие большие люди! Тебя тоже все знали и уважали. А сейчас мы скитаемся на чужбине с какими-то бродягами. Что за жизнь, прости господи!

— Уж не хочется ли тебе обратно в Глупск? — с раздражением спросила она. — Можешь возвращаться туда, если тебе так хочется. А я — ни в коем случае! В Глупске нынче и без меня достаточно нищих. Там что ни день они вырастают, свеженькие, новенькие, как из-под иголки... Там нынче обыватели друг к дружке за милостыней ходят.

— По мне, пусть будет другой город! — ответил я. — Выбери себе любой город, какой тебе больше по душе придется, и давай поселимся там. Когда знаешь, что город — твой, что дома — твои, обыватели — твои, тогда и само дело как-то лучше идет. Как это говорится: каждая собака свой мусор стережет...

— Скоро, Фишка, скоро! — сказала она, ласково похлопывая меня по плечу. — Давай еще немного поездим, потолкаемся по белу свету. Хорошо как-то, весело, приятно. Повремени малость, Фишка, со своим городом. Скоро, скоро!

Это «скоро» тянулось очень долго, и не было ему ни конца ни края. За это время я перебивал во многих городах, перетерпел немало горя и мук. И все это из-за него, рыжего черта, разрази его громом!..

Фишка глубоко вздохнул и умолк, прикрыв глаза. Мы дали ему немного прийти в себя. Затем он снова продолжал свой рассказ.

16

— Вдобавок к прозвищу «богач» я в последнее время получил еще новый титул — «приживальщик». Это новое звание присвоил мне все тот же рыжий мерзавец, черт бы его побрал! Так все в этой банде меня и называли: Фишка-приживальщик. А «приживальщик» у них до того позорная кличка, что, произнося ее, семь раз сплевывают.

Вражда, которая царит обычно среди ремесленников, торговцев, лавочников и иных людей одной профессии, ничто в сравнении с ненавистью, которую питают кочевые нищие к городским своим собратьям. Особенно не терпят они приживальщиков, всю эту свору мерзких паразитов, протухших аристократов, замызганных «почтенных людей». «Их, — с ненавистью говорили мои спутники, — точно клопов, полно в каждом доме, житья от них нет! С ними нянчатся, их откармливают на семейных торжествах, они дерут с живого и с мертвого, а мы, несчастные, выбиваемся из сил, мотаемся, трудимся, мучаемся и в поте лица своего добываем кусок хлеба... Вся эта мразь, все эти бездельники взяли на откуп псалмы Давида и торгуют ими. Если бы царь Давид знал, в чьи руки попадут его псалмы, какое прибыльное дело из его гимнов сделают эти гнилые, заплесневелые картузики с рожицами постников, он бы, конечно, не стал их и сочинять».

— Нет, Бася! — говорил рыжий черт моей жене. — Из вашего Фишки толку уже не будет. Нет, нет, это не наш человек! Он — приживальщик до мозга костей, со всем, что приживальщику присуще. И то, что вы с ним разъезжаете, бываете на людях, нисколько ему не поможет. В нищенстве он ни уха ни рыла не смыслит. Никудышный человечиска! У нас с ним будут одни неприятности. Эх, Бася! Мне бы такую Басю! Да я бы с вами, честное слово, горы перевернул.

Рыжий приманил все средства для того, чтобы поссорить нас с женой и отстранить меня от нее: сплетничал, выдумывал всякие небылицы... В конце концов ему удалось-таки придумать нечто совершенно новое. Он донес жене, нашептал ей, что я стакнулся с девушкой из другой кибитки и чересчур с ней любезничаю...

Среди этой банды действительно была одна горбатая девушка, с которой я и в самом деле очень часто любил беседовать и...

— Эге! Это что еще за девушка? — перебиваем мы с Алтером. — А ну-ка, Фишка, признавайся!

— Девушка эта была совсем чужой в кибитке, Она, бедная, достаточно натерпелась и настрадалась в юные свои годы. Признаюсь, я действительно любил посидеть и поговорить с ней. Мы изливали друг перед другом наши наболевшие души. Она жалела меня и нередко проливала слезы над моими и своими страданиями. Ах, если бы вы знали, что это за *девушка*! Если бы вы знали, сколько горя она, бедная, перенесла! — заканчивает Фишка со слезами на глазах.

Мы упрашиваем Фишку разъяснить нам, кто такая эта девушка и что с ней приключилось.

— Что ж, если вы меня так просите, — начинает фишка, вытирая рукавом глаза, — если вам еще не надоело слушать меня, я, так и быть, расскажу как умею. Слушайте и не взыщите, если у меня не все гладко получится.

Девушка эта была еще ребенком, когда мать привезла ее в Глупск вместе с узелком старого тряпья, Узелок мать оставила в лачуге у какой-то старой бабы, настоящей ведьмы. Наверное, это была маклерша по найму прислуги. Старуха уходила с матерью, обе пропадали весь день, а ребенок оставался один без еды. Когда девочка однажды стала плакать и умолять, чтобы ее взяли с собой, ведьма ужасно разозлилась и сказала матери:

— Ни в коем случае! О ней никто не должен и знать! Это может испортить все дело.

Спустя несколько дней мать взяла девочку с собой и потихоньку привела ее, в добрый час, в чью-то кухню. Вскоре они, однако, перешли в другую кухню, затем в третью и в общем за короткое время переменили немало мест.

Мать с каждым разом, при переходе к новым хозяевам, становилась все злее и безжалостнее к своей дочке. Отца девочка почти не знала. Дома он бывал редким гостем, постоянно в разъездах, а потом, когда началось скитание по кухням, она его и вовсе не видела. Она, наверное, и вовсе забыла бы о том, что у нее есть отец, если бы мать пятьдесят раз на дню не упоминала его имени, проклиная его и вымещая свою злобу на дочери.

— Чтоб ему голову сломать, твоему хваленому папаше! — ругалась она. — Желу погубил, бросил ее после стольких лет каторжного труда и болезней, и вдобавок еще навязал ей — чтоб ему сгинуть — обузу на шею, ребенка, из-за которого она ни на одном месте удержаться не может и должна его скрывать и прятать. Да и кому хочется держать кухарку с ребенком?

И действительно, нередко случалось, что хозяйка, когда ей почему-либо не нравился обед, прибежала на кухню с криком и визгом: «За что, мол, бог наказал ее такой прислужгой, которая снимает с супа весь жир и отдает своей любезной дочке!..» А дочка, несчастная, сохла, худела и кормилась объедками. Мать прятала ее, как краденую вещь, на печке. Там она просиживала целыми днями, забившись в уголок, скрючившись и не смея даже пискнуть. Ей, бывало, чуть дурно не становилось от запаха жареных гусей и печенок... Но она переносила все это молча, не проронив ни звука! Она, бедняжка, безмолвно терпела голод, выжидая, пока о ней вспомнят и сунут в ручку черствую корку хлеба, обглоданную косточку или что-нибудь из объедков. А случалось и так, что о ней и вовсе забывали, и если она, не в силах сдержаться, напоминала о себе, над печью показывалась кочерга, лопата, палка или половник, мать била девочку по головке, по ручонкам, по ножкам, по чему попало, призывая при этом все беды и напасти на голову ее отца и праотца, вплоть до патриарха Авраама. Так, в мытарствах и горестях, протекали детские годы девушки. От постоянного сидения в углу на печи скрючившись, согнувшись она, бедняга, на всю жизнь осталась горбуньей.

Сидя на печи, она часто видела в кухне какого-то молодого человека. Он приходил к ее матери. В его присутствии мать таяла, кормила его исподтишка, набивала ему карманы вкусными вещами, а иной раз давала и деньги. Часто он приходил поздно вечером и оставался ночевать в кухне. Иногда мать, принарядившись и досыта наглядевшись в зеркало, уходила куда-то надолго, бросив кухню на произвол судьбы. По всему видать было, что мать собирается замуж и по горло занята своим женихом...

Однажды в сумерки пришел какой-то человек и забрал из кухни вещи матери. Мать поблагодарила хозяйку за хлеб-соль, сняла с печи свою разутую и раздетую дочку и вышла с ней на улицу. Долго водила она ее по городу, пока не привела в какой-то переулок.

— Садись тут и жди. Люди сжалеются.

Так сказала мать и исчезла.

Бедное покинутое дитя сидело на улице, боясь шевельнуться, как и раньше, на печи. Моросил холодный осенний дождь.

Она сидела съезжившись чуть ли не в одной рубашонке, промокла вся до костей и дрожала от холода так, что зуб на зуб не попадал. Когда какой-то прохожий спросил у нее:

— Чья ты, девочка?

Она ответила:

— Мамина... Мама велела сидеть тихо... Кричать нельзя... А то кочерга или лопата будут меня бить...

Так просидела она, несчастная, до поздней ночи, пока какая-то женщина не заманила ее ласковыми речами к себе, куда-то на Пески, в маленькую лачужку на курьих ножках.

У этой женщины девочка пробыла довольно долго. И здесь ей жилось несладко. Женщина выдавала себя за ее тетку и велела себя так называть. Тетка была базарной торговкой, промышляла картошкой, горячими лепешками, кислицами и райскими яблочками.

Рано утром она обычно уходила на базар. Горбунья оставалась дома с ребенком торговки, укачивала его и помогала по хозяйству, то есть подбирала на улице щепки на растопку, лазила в подпечь за яйцами, которые снесли куры, очищала горшки от затвердевших остатков каши, стирала детское белье, сторожила деревянные ложки, которые сушились на завалинке вместе с детской постелью, и тому подобное. Вечером, когда торговка возвращалась с базара, она посылала девочку побираться — вымалывать куски хлеба. Этим хлебом и питалась она, да еще и «тетке» помогала.

Однажды летним вечером, одетая в одну только грубую холщовую рубашонку и юбку, она ходила, по обыкновению, побираться. Забралась куда-то далеко на край города и заблудилась. Солнце уже давно село. Па небо

надвигалась черная туча. Изредка сверкала молния и глухо рокотал гром. Вдруг откуда ни возьмись со стороны города показались какие-то фургоны, битком набитые людьми.

— Смотрите! — закричали пассажиры одного из фургонов. — Какая-то горбатая девчонка бродит по улице и плачет, бедная.

И тут же из фургона выскочил какой-то рыжий — опять-таки он, этот рыжий разбойник, побей его бог! — и стал расспрашивать у девочки, чья она.

— Я хочу домой, домой, к тетке, — отвечала девочка со слезами в голосе.

— Тише, дочка, не плачь! — сказал ей рыжий. — Сейчас отвезу тебя к тетке.

Он тут же схватил девочку, бросил ее в фургон и уехал с ней.

С этих самых пор бедная горбунья скиталась с оравой кочующих нищих, сделавших из ее горба доходную статью. Обычно, приезжая в какой-нибудь город, они усаживали ее, голую и босую, на людной улице и заставляли всхлипывать, выпрашивать милостыню, клянчить плаксивым голосом и тащить прохожих за полы. Если она, по их мнению, недостаточно хорошо разыгрывала комедию, плохо притворялась и добывала мало денег, с ней зверски расправлялись: ее били смертным боем, выбрасывали среди ночи на улицу. Разутая, раздетая, голодная, она, бедняжка, кричала и плакала по-настоящему... Она мне рассказывала, как однажды зимой, в лютый мороз, ее ночью вот таким манером выгнали из дому. Мороз скрутил ее, стал щипать и жалить тело, будто острыми иголками. Волосы на голове у нее застыли, в глазах то светлело, то темнело, вот-вот казалось, и конец. Выбиваясь из сил, она снова стала проситься в дом, рыдала, умоляла каждого из них в отдельности:

— Откройте, тетенька! Отворите, дяденька!..

— Дяденька! — кричала она. — Я на улице буду хорошо плакать...

— Спасите! Я теперь на улице буду хорошо просить! Тетенька! Я буду хорошо кричать!..

Но сколько она ни кричала — никакого ответа... Бедняжка притихла: она не чувствовала уже больше ни холода, ни боли. Сладостный сон овладел ею. Почудилось, что ее ласкают, гладят... Как хорошо, как тепло вдруг стало...

Еле живую унесли ее оттуда... Долго прохворала она после этой ночи.

Был у этой шайки и такой прием: едва завидят они издали какого-нибудь барина, купца или просто прилично одетого человека, едущего навстречу, они сейчас же высаживали горбунью на дорогу. И тут ей приходилось проделывать Есе, чему ее учили: бежать с протянутой рукой рядом с лошадьми, вертеться вокруг экипажа, всхлипывать, гнусавить, с жалостливой миной на лице вымаливать милостыню и во что бы то ни стало, даже ценой своей жизни, добиваться ее. Иной раз кучер с облучка хлестал ее кнутом, а она молча принимала удар и продолжала клянчить, так как хорошо знала, что удар кнутом — ничто в сравнении с тем, что ее ждет, если она, не дай бог, вернется с пустыми руками...

Всего, что она, бедная, натерпелась в свои юные годы, и не рассказать. Да и сейчас на ее долю выпадает немало горя. В аду и то вряд ли приходится терпеть столько мучений, сколько она, бедная, выносит. Ах, вся кровь во мне кипит, когда я вспоминаю о ней! Я охотно отдал бы жизнь за то, чтобы выволить ее!

На всем свете, друзья мои, нет такой доброй, такой тихой голубки, как она, такой ласковой, прекрасной души, как у нее!..

17

Рассказ Фишки произвел на Алтера и на меня удручающее впечатление. Алтер тер рукой лоб, точно его что-то укусило, и бормотал про себя: «Эт! Эт!»

— Знаете, реб Алтер! — заметил я с улыбкой. — А ведь Фишка, право же, втюрился в эту горбатую девушку. Тут что-то неладно...

— Не стану отрицать, — сказал Фишка, — я в душе действительно сильно полюбил ее, из жалости. Что-то тянуло меня к ней. Для меня было большой радостью иной раз посидеть с ней. Почему?.. Просто так! Мы беседовали или молча смотрели друг на друга. Лицо ее так и светилось сердечной добротой. И смотрела она на меня, как преданная сестра на несчастного брата, когда ему, бедняге, приходится особенно тяжело... А когда у нее от сочувствия ко мне навертывались слезы, мне становилось хорошо, тепло на душе. Мне все казалось... сам не знаю, что мне казалось. Что-то внутри обжигало меня, ласкало душу: «Фишка, ты больше не один во всем свете, ты больше не одинок, как былинка в поле». И горячие слезы подступали к глазам...

Моя жена — удивительно, право! — уже не интересовала меня. Я гораздо спокойнее относился к тому, что она любезничает с рыжим чертом. Правда, меня коробило от этого, но это было уже совсем не то, что прежде. Иногда в голову приходила мысль: хочешь тебе, Фишка, чтобы жена сказала: хватит, мол, скитаться, давай поселимся в каком-нибудь городе? И тогда я в душе отлынивал, старался увильнуть от прямого ответа, думал: «А что же будет с ней, с бедной горбуньей?..» Но вот что интересно! Как только я остыл к жене и перестал дрожать над ней, как прежде, она как будто стала относиться ко мне нежнее. Найдет на нее, бывало, такое настроение, вдруг она становилась доброй, ласковой, на шею мне вешалась. Правда, за это мне потом приходилось расплачиваться. Она всячески досаждала мне, преследовала и мучила меня в тысячу раз хуже, чем раньше, так что мне и жизнь становилась немила и я желал себе смерти. Меня бросало, как говорится, то в холод, то в жар! Я и понять не мог:

что с ней? Рехнулась она, что ли? Однако вскоре произошла одна история, и вот тут-то все и открылось. Я понял, отчего моя жена так бесится, в чем причина ее злобы. Больно и стыдно рассказывать об этом.

Фишка задумался. Помолчал с минутку, он энергично почесался и продолжал:

— Однажды мы прибыли в какое-то местечко и заехали, по обыкновению, прямо в богадельню. Должен вам сказать, уважаемые, немало богаделен видал я на своем веку и хорошо знаю, что они собой представляют. Однако все они были рай по сравнению с этой. Даже сейчас при одном только воспоминании о ней у меня начинается зуд по всему телу и я не могу не почесываться. Богадельня выглядела как ветхая корчма. Это была развалина с покосившимися стенами, с крышей, напоминающей помятую шляпу, задранный спереди и низко, чуть ли не до земли, спущенную сзади. По всему было видно, что несчастной богадельне до зарезу хочется завалиться и лежать на земле кучей мусора. Но жители города не давали ей падать, подпирали бревнами и уговаривали держаться впредь до лучших времен. Некое подобие ворот вело в большие сени с полуразрушенными, дырявыми стенами, сквозь щели которых проникал скупой свет. Земляной пол был весь в выбоинах, местами стояли непросыхающие, покрытые плесенью смрадные лужи от помоев, нечистот и дождя, протекавшего сквозь дырявую как решето соломенную крышу. На земле валялась соломенная труха вперемешку со всякого рода тряпьем: порванными в клочья нищенскими сумами, кусками рогожи, покоробившимися опорками, старыми подошвами и отлетевшими каблуками с торчащими ржавыми гвоздями, черепками, поломанными обручами, спицами от колес, волосами, костями, вениками, прутьями и всякой иной рухлядью.

Все это добро прело и распространяло нестерпимый «аромат». С левой стороны, сердито скрипя, отворялась замызганная дверь, которая вела в помещение с маленькими узкими, плохо пригнанными окошками. Часть стекол была выбита, а окна заклеены синей сахарной бумагой или заткнуты тряпьем. Сохранившиеся стекла, пыльные и грязные, покрылись по углам густым слоем плесени, некоторые из них от ветхости обрели какую-то странную зелено-желтую окраску, которая отсвечивала и резала глаз так же, как царапание по стеклу режет слух. Вдоль покоробившихся стен и возле большой печи тянулись длинные лавки из досок, положенных на чурбаки и поленья. Чуть повыше, над лавками, в стенах торчали вбитые колышки. С черного потолка свисали веревки с петлями, в петли был продет длинный шест. Колышки и шест были завешаны грязными кафтанами, юбками, всякими вещами и сумами нищих, проезжающих в кибитках или плетущихся пешком и временно проживающих здесь. Тут помещались и старики, и молодежь, и мужчины, и женщины — все вместе.

Богадельня к тому же является и местом призрения для больных. Здесь умирают местечковые бедняки, которым больше деваться некуда. Цирюльник делает все, что в его силах: ставит банки, пиявки, вскрывает вены и выкачивает на казенный счет кровь из бедняков до тех пор, пока они богу душу не отдадут... Тогда сторож богадельни, который в то же время состоит местечковым могильщиком, немедленно хоронит их совершенно бесплатно... Сторож со своей семьей живет тут же в какой-то, с позволения сказать, каморке. Помимо того что он сторож богадельни, могильщик, служка погребального братства, надзиратель больницы, исполнитель ролей «царицы Вашти» и «Мондруша» в представлениях в праздник пурим, ряженный медведем в вывернутом мехом наружу тулупе в праздник торы, подавальщик на семейных торжествах, шут и острослов, без которого не обходится ни одна свадьба или обрезание, — он вдобавок еще и поставщик сальных свечей. Свечи изготавливаются в богадельне, и тогда далеко вокруг распространяется страшное зловоние...

Ко времени прибытия нашей оравы богадельня была битком набита постояльцами. Сторож гнал их отсюда: довольно, мол, посидели, пора и честь знать! Отправляйтесь подобру-поздорову куда-нибудь в другое место! Но так как дело было в четверг, то гости имели в виду дождаться здесь воскресенья. Пол, лавки и печь были ночью сплошь заняты людьми. Все толкались, ссорились и ругались из-за места. «Конница» и «пехота» всячески — и словом и рукоприкладством — проявляли ненависть, которую они питали друг к другу.

В эту невероятную суету и суматоху врывались болезненные стоны лежавшего в углу старика, которого накануне привезли сюда на лечение. В другом углу надрывался и сверлил мозги младенец, которому в толчее отдавили ножку...

Лишь после того как дикий шум понемногу улегся, я отыскал уголок и кое-как устроился, чтобы отдохнуть. Но едва только я прилег, как ка меня напали целые полчища тараканов, клопов и каких-то невероятно крупных блох, намеревавшихся съесть меня живьем. У меня и сейчас начинается зуд по всему телу, и я не могу не почесываться при одном только воспоминании об этих лютых зверях. Увидев, что воевать с тараканами не так-то легко (таракан назойлив, а компаньон его — клоп — воняет), я уступил им свое место — пусть подавятся! Я вышел в сени и решил как-нибудь скоротать там ночь.

На дворе стояла кромешная тьма. Холодный, порывистый ветер бушевал, выл голодным волком, свистел и дул сквозь щели в стенах. Ключья соломы слетали с крыши и вместе со всяким прочим мусором дико плясали какой-то бесовский танец. Временами в сени проникали крупные капли дождя. Я забился в уголок, съежился и, дрожа от холода, в отчаянии думал: «Эх, баня, баня! Вот бы мне сейчас попасть к себе в баню! Ведь там поистине рай, теплынь, наслаждение! Как счастлив был я некогда в этом раю! Чего мне не хватало, что мне еще было нужно? Как хорошо, как чудесно там жилось!.. Так нет же! Принесла нелегкая мою жену... Из-за нее я изгнан из рая и должен сейчас скитаться по белу свету. Только на беду нашу созданы женщины, только на горе... К чему они? Что за польза от них? Право же, ничего хорошего...»

Но тут же я вспомнил о горбунье, и мне стало совестно перед самим собой. «Как же так? Ведь она такая хорошая, святая душа! Ведь быть с ней вместе — это радость! Хорошо, легко и весело на душе, когда сидишь и беседуешь с ней. И тысячу бань не жаль отдать за один ее ноготок! От одного ее взгляда становится тепло и радостно. Стыдись, Фишка! — укорял я себя. — Не грехи! Женщины приносят радость. Женщины могут осчастливить человека и даже ад превратить в рай...»

Эти сладостные мысли заставили меня забыть обо всех моих горестях. Уголок, в котором я прикорнул, показался мне уютным. Я перестал ощущать холод. С чувством начал я читать молитву на сон грядущий, и тут же глаза у меня стали слипаться. Я уснул.

Вдруг меня разбудил какой-то страшный крик.

— Как она вам нравится! — раздался чей-то голос возле двери, и вслед за этим в сени изо всех сил швырнули что-то тяжелое, камнем упавшее наземь. — Полюбуйтесь на эту кикимору! Тоже, человек! Подумаешь, графиня Потоцкая!.. Место тебе в сенях, дрянь этакая!..

Я сразу же узнал голос рыжего дьявола! Он еще пошумел, поругался, обзывая кого-то графиней Потоцкой и сплевывая при этом, потом с размаху хлопнул дверью.

Краешек луны вылез из-за разорванных туч, заглянул сквозь щели в крыше и осветил человеческую фигуру, свернувшуюся клубком и лежавшую тихо, без движения. Я поднялся с места и пошел посмотреть, что это там за «барыня» такая, или «графиня Потоцкая».

Взглянул — и меня точно громом ударило! В глазах потемнело, голова кругом пошла, как от первого пара в бане на верхнем полке.

Моя горбунья, бедная, лежала, не в силах двинуться от ушиба, полученного при падении, когда этот рыжий злодей швырнул ее оземь. Я стал, как только мог, приводить ее в чувство, а когда она, с божьей помощью, начала обнаруживать признаки жизни, я с нечеловеческой силой, как бывает, когда спасаешь кого-нибудь во время большого пожара, подхватил ее на руки и отнес к себе в уголок. Готов поклясться, что в ту минуту я ходил прямо, как все люди, ничуть не хромая. Она медленно раскрыла глаза и тихо вздохнула. Мне от радости показалось, что я обрел весь мир. Я чувствовал себя как нищий из печатных книжек, который ни с того ни с сего оказывается в великолепном дворце и восседает на мягких подушках рядом с какой-нибудь царевной... Я быстро скинул с себя кафтан и укутал им свою царевну, дрожавшую от холода.

— Ох! — вздохнула моя бедная горбунья, протирая глаза и озираясь по сторонам, словно не зная, на каком она свете.

— Что ты так смотришь? — спросил я. — Это я, Фишка. Хвала и благодарение господу за то, что ты жива!

— Горе мне! — отвечала она с глубоким вздохом. — На что мне жизнь! Лучше смерть, чем такая жизнь! Бог ведь добрый, милосердый... Зачем же он создает таких, как я? Неужели только для того, чтобы мучиться и страдать на свете?

— Глупенькая! — говорю я ей. — Уж бог-то, наверное, знает, что делает. Значит, ему угодно, чтобы и такие, как мы, жили на свете. Господь — отец, он видит, слышит и знает все. Думаешь, он не знает, как мы оба страдаем? Знает! Вот смотри, даже божья лука с неба заглядывает сюда к нам, в сени. Не грехи, глупенькая, не говори так!

Она уставилась на меня горящими глазами, и крупные капли слез при свете луны сверкнули, как бриллианты. Ее глаза и взгляд в ту минуту я вовек не забуду.

Проснувшись на другой день ранним утром, я увидел свою горбунью, лежащую в углу, завернутую в мой кафтан. Она спала как птеник, и бледное лицо ее было так хорошо, так умирительно хорошо... Губы у нее вздрагивали и вытягивались, слоено в мольбе. Казалось, что она умоляет: «Не мучьте меня! Что я вам сделала? Чего вы от меня хотите? За что вы губите мою жизнь? Что я вам сделала? Что я вам сделала?»

У меня сердце на части разрывалось от боли. Слезы навернулись на глаза, и я заплакал...

Первым вышел из дому в сени рыжий дьявол, разрази его громом! Взглянул вороватыми глазами на меня, на горбунью и с ядовитой усмешкой вернулся в дом.

18

Фишка вдруг умолк и словно в смущении отвернулся. Сколько Алтер ни упрашивал его продолжать рассказ, ничего не помогало.

— Не стоит, право! — бормотал Фишка, краснея, бледнея, и продолжал все же молчать.

Было видно, что под конец он сам устыдился своих речей. Сначала, когда воспоминания обожгли его, он загорелся и заговорил, точно в жару, пылко изливая свою душу в таких словах, которые казались выше Фишкиного разумения. Речь лилась сама собой, он в это время забыл обо всем, что его окружает, и едва ли отдавал себе отчет в том, что говорит. Потом спохватился, прислушался к своим словам и, сам удивившись своему красноречию, смущенно умолк.

У кого из нас не бывает хоть раз в жизни такого светлого, счастливого часа, когда сами собой раскрываются уста и чистые, подлинно человеческие чувства изливаются подобно кипящей лаве из огнедышащей горы?

Ведь даже для Валаамовой ослицы²⁴ пришел час, когда она вдруг произнесла прекрасную речь. А что уж говорить о профессиональных ораторах! Нередко бывает так, что пустослов, обычно жующий жвачку, вечно болтающий

²⁴ Библейская легенда, повествующая о том, как заговорила ослица.

глупости, которые и слушать совестно, вдруг вдохновится и помимо собственного желания скажет что-либо толковое, так что и слушатели и сам он собственной персоной потом только диву даются, Самый бездарный кантор, кочерыжка, рулады и дикие завывания которого слушать тошно, и тот иной раз, случается, запоет с подъемом, с огоньком и блестяще исполнит праздничную молитву.

Но минет счастливый час — и ослица по-прежнему остается ослицей, оратор — болтуном, а кантор, с позволения сказать, — кочерыжкой... Однако не в этом суть.

Знавал я двух евреев, работавших в еврейской типографии. Вся их работа состояла в том, что они оба день и ночь вертели маховое колесо печатной машины. Они стояли у колеса один возле другого как намалеванные. Знай только верти и верти, не переставая, без конца, на одном и том же месте, на один и тот же лад!.. Но вот, случилось, иной раз их вдруг что-то взволнует... Тогда они принимались вертеть колесо с увлечением, с чувством, с воодушевлением. Глаза у них горели, пылали, а они вертели с таким наслаждением, точно в рай попали, точно не колесо они вертели, а мирами ворочали и выражали каждым поворотом колеса какую-то мысль, какое-то чувство, которое им покоя не дает. Но вот проходила эта минута: пыл угасал, они глядели друг на друга неподвижными от удивления глазами, сплевывали и, отвернувшись, продолжали вертеть колесо как обычно, снова похожие на истуканов.

Я гляжу на Фишку, как будто сразу утратившего дар речи, и думаю, как бы заставить его заговорить снова. Неожиданно приходит мне на память истукан рабби Лейба Сореса²⁵. Вспоминаю предание о том, как рабби создал глиняного истукана и вложил в него бумажку с именем божьим... Тогда истукан двинулся с места и стал выполнять все приказания рабби Лейба. «Прекрасно! — думаю. — Вот кстати вспомнил! Однако вместо имени божьего, которым воспользовался рабби Лейб, я применю иное средство: напому своему истукану о девушке...» Начинаю поддавать жару, подогреваю Фишку разговорами о его горбунье. Я и сам при этом увлекся, заговорил от души, с огоньком и закончил свою речь следующим образом:

— Сколько ни в чем не повинных, несчастных детей на свете страдает и мучается за грехи своих родителей, которые потворствуют своим прихотям, думают о глупостях, разводятся и бросают детей своих, свою плоть и кровь, на произвол судьбы! Что им до детей! Они думают только о себе, о своей собственной душонке. Каждый из этих хваленых родителей женится, выходит замуж...

Я запнулся и подавился словом. Мой Алтер, вижу, разволновался — лица на нем нет. У меня сердце екнуло: как же это я маху дал, проговорился при Алтере, которого каждое мое слово не могло не задеть за живое! Я очень жалел об этом, казнил в душе и отчитывал себя: «Эх, Мендл, Мендл, пора бы тебе взяться за ум, не выбалтывать всю правду, как мальчишка! Ведь у тебя, слава тебе господи, борода вон какая выросла! Пора бы уже быть посолиднее, понимать, что полезно и хорошо. Ох, язык твой, язык!»

В душе я дал себе обет впредь остерегаться: слушать, смотреть и молчать, как это делают все умные, порядочные люди, усвоившие эту полезную в жизни манеру. Я буду всех только хвалить, чтобы снискать таким образом всеобщую любовь. Мне представились целые полчища наших хваленых добряков, дядюшек с сияющими личиками. Они суетятся, юлят, со всеми запанибрата, без них ни одно торжество не обходится, они неизменно довольны всем, целуются со всеми, кто рангом выше их, буквально тают от радости, когда говорят с кем-нибудь о выпавшем на его долю счастье, со слезами на глазах и с приторно-сладкой улыбочкой желают ему всякого блага, без удержу расхваливают его добродетели и щедро сулят ему царство небесное... Они подхватывают и передают всевозможные новости, вырастают всюду, где только пахнет какой-нибудь пирушкой или празднеством. Глазки у них постоянно светятся, лбы блестят, щеки румянятся, а носы влажны и в пупырышках. Они довольны, веселы, преисполнены радости. Благо вам, дяденьки! Отныне и я буду дяденькой. Мне до того понравилось это звание, что я несколько раз подряд с большим удовольствием повторил: «Дяденька! Дяденька Менделе! Дядюшка реб Менделе!..»

Дабы загладить свою вину перед Алтером, я начал ухаживать за ним и улещивать его сладкими речами:

— Реб Алтер, вам, бедненькому, наверное, неудобно сидеть! Вы, голубчик, сползли на самый край! У вас, родной мой, поди, все косточки болят от долгого сидения на одном месте? Перейдемте, прошу вас, ко мне в кибитку, там я вас устрою поудобнее. Выпьем по маленькой, подкрепимся...

Мой Алтер не заставил себя долго упрашивать. Вылезли мы все из кибитки. Моей коняге предоставили честь плестись впереди, а кляче Алтера — позади. Размяли неги, затем забрались ко мне в кибитку и выпили по рюмочке. Я истекаю медом, расточаю Алтеру всяческие добрые пожелания и даже чувствую слезы умиления от беспричинной радости, как всамделишный дядюшка. Подбадриваю Фишку, поддаю ему жару, искушаю его. Кровь у Фишки разыгралась, и рассказ его начался снова, на сей раз

На возу у Менделе Мойхерсфорима

Фишка снова начинает на свой лад, я ему помогаю, поправляю на свой манер, а Алтер торопит, подгоняет по-своему, и повествование идет дальше.

²⁵ Согласно легенде, праведник Лейб создал из глины голема (истукана) и подчинил его своей воле

— На следующий день, в пятницу, в местечковой синагоге было невероятно тесно от нищих, плотным кольцом окруживших служку. Каждый хотел быть первым и получить билет с направлением на субботние трапезы к богатому или к какому-либо зажиточному хозяину. Выше всех ценился билет на трапезу у откупщика. Ниже всех — к лицам духовного звания и к общинным заправилам, потому что они любят сами хорошо пожрать, а другому ничего не дают. Старосты всякого рода братств стонут и вздыхают по поводу горестной участи еврейских нищих, а есть дают им, что называется, на кончике ножа, только губы помазать. Нищие считают несчастьем попасть к кому-либо из них и избегают таких благодетелей, как зловонного места. И если кому-нибудь достается такой билет, все остальные над ним издеваются, как над человеком, проигравшимся в карты...

Синагогальный служка был очень зол, кричал, что на этот раз нищих почему-то больше, чем когда бы то ни было.

— Гольтепа! — надрывался он. — Что это вы, как саранча, налетели на каш несчастный город! Сил никаких нет! Куда вас всех девать! Наказание божье, напасть да и только!

Он кричал и злился, а нищие продолжали свое, толкались и слушать ничего не желали. Все в один голос орали: «Мне! Давайте мне! Мне!»

Каждый старался сунуть служке в руку несколько грошей. А служке, бедному, ничего другого не оставалось, как принимать деньги, сердиться и раздавать билетки.

Мы с горбуньей стояли поодаль, в сторонке. Во-первых, мы не могли, а во-вторых, не осмеливались толкаться среди наших тузов, среди знати и воротил. Всюду имеются тузы и аристократы — даже среди нищих. Аристократы-нищие даже в тысячу раз хуже богачей... Рыжий черт был, конечно, одним из первых. Он сразу получил два хороших билета — для себя и для моей жены. Ей даже не пришлось толкаться. Он указал на нее служке издали: «Взгляните, пожалуйста, вон она, бедная, стоит, моя слепенькая!..»

Когда нищие ушли, разбрелись по городу, каждый со своим билетом, каждый к своему хозяину, я и горбунья подошли на всякий случай к служке и попросили билетов для себя. Он взглянул на нас с какой-то кисло-сладкой усмешкой и ни слова не ответил.

— Сжальтесь, — говорю, — над двумя несчастными калеками. Всю неделю горячего в рот не брали.

— Нет больше билетов! — отвечает служка. — Ведь вы сами видели, что тут творилось. Посылать больше некуда.

— Возьмите... — говорю я и сую ему в руку алтын. — Возьмите, пожалуйста, и сжальтесь над нами, поддержите. Сделайте доброе дело!

— Слушай-ка! — отвечает мне служка уже несколько мягче. — Денег твоих мне не нужно. Один билет у меня еще есть. Могу его отдать кому-нибудь из вас обоих. Бросьте жребий, если хотите.

— Отдайте ей, ей! — прошу я его, указывая на горбунью.

— Отдайте ему, ему! — просит горбунья, указывая на меня. — Нет, нет, я ни за что не возьму этого билета!

Довольно долго мы так упрашивали, уговаривали друг друга взять этот билет. Но каждый из нас отказывался и клялся, что ни в коем случае не возьмет. Служке это, видимо, понравилось. Он поглаживал бородку и смотрел на нас очень дружелюбно.

— Знаете что? — сказал он. — После вечерней молитвы будьте оба в сенях, у двери. Когда народ будет расходиться из синагоги, наверное, найдутся люди, которые возьмут вас к себе. Я тоже похлопочу за вас.

Так и было. Вечером после молитвы служка обратился к двум прихожанам и, указав на нас, просил их пригласить нас к себе на субботние трапезы.

— Мне, право, совестно было, — оправдывался он, — посылать к вам сегодня гостей. Я и так почти ни одной субботы не пропускаю. Но если будет на то ваша добрая воля — возьмите вот этих нищих.

— Пожалуйста! — ответили оба. — Какой же это еврей отказывается от гостя к субботней трапезе? Есть один только день в неделю, когда можно хоть немножко отдышаться. Почему же в такой святой день не помочь нуждающемуся, не поделиться чем бог послал? Нет, мы очень просим вас обязательно каждую неделю не забывать о нас.

Оба прихожанина шли впереди. Рядом с ними шли их дети — мальчики, подростки, чистенькие, одетые по субботнему. Все сияли и весело беседовали. Так и чувствовалось, что в их груди живет еще одна, вторая душа, ниспосылаемая еврею на день субботний. Мы с горбуньей тихо шли позади и оба были чему-то рады.

— С субботой! — приветствовал свою жену мой хозяин, входя в дом.

Она сидела в чистом, праздничном платье и была хороша, как сказочная царевна. На коленях у нее играл маленький ребенок, — не дитя, а кукла, а по обе стороны прыгали и резвились две хорошенькие разряженные девочки.

— Господь прислал нам гостя на субботу. Я ведь знаю, мой друг, что иначе ты бы меня и на порог не пустила! — закончил он с улыбкой и стал расхаживать по дому, распевая субботние гимны.

Дойдя до слов «Бравая жена»²⁶, он остановился возле жены, взял ребенка на руки и стал целовать и прижимать

²⁶ «Бравая жена» — гимн, который состоит из стихов библейской книги «Притчи Соломоновы». Читается религиозными евреями перед субботней трапезой.

его к груди, а остальные ребяташки окружили отца и весело тормозили его со всех сторон. Казалось, что в дом и в самом деле прилетели добрые святые ангелы, упомянутые в гимне.

Я рассказываю об этом так подробно, потому что в ту минуту меня особенно сильно тянуло к моей горбунье...

Мой хозяин был, судя по всему, человек среднего достатка. Субботние свечи стояли в ярко начищенных подсвечниках — не знаю, настоящего или накладного серебра. Стол был уставлен фаянсовыми тарелками, а субботние халы накрыты вязаной салфеткой. На столе искрилась бутылка вина, и каждый из нас произнес молитву над налитым ему бокалом. Во время трапезы хозяйка давала мне всего вдоволь и все время упрашивала кушать без стеснения. Все было очень хорошо. Но мне было немного не по себе: при каждом куске рыбы, при каждом глотке супа я вспоминал о ней. Кто знает, хорошо ли ей, бедняжке, там, так ли щедры ее хозяева, как мои? После ужина мне предложили остаться ночевать.

— Пускай переночует! — тихо сказала хозяйка, обращаясь к мужу. — Куда он пойдет? В эту знаменитую богадельню, в хлев... Пусть человек хоть одну ночь отдохнет немного.

После тяжелой ночи мне действительно очень нужно было отдохнуть, может быть, более необходимо даже, чем поесть. Было бы большим наслаждением полежать в тепле, с подушкой в голове, расправить немного кости. Но я вспомнил о ней и, горячо поблагодарив, отказался от ночлега. Горбунья находилась в другом доме на том же дворе. Я зашел за ней, и мы вместе сейчас же ушли.

На улице было светло и торжественно. Светила луна, и бродить было очень приятно.

— Пойдем, — сказал я ей, — погуляем немного. В богадельню нам торопиться нечего.

Когда я вспомнил о богадельне, у меня мороз пробежал по коже. Большой старик, так тяжело стонавший прошлой ночью, еще с утра потерял сознание, а вечером — уже после того, как зажгли субботние свечи, — умер. Тело его положили в сених, где мне предстояло ночевать, и там оно должно было лежать до воскресенья. Мы шли долго, забрели в какой-то переулок, весь в зелени и садах. Кругом царил тишина, не слышно было ни шороха... Все жители местечка, по обычаю, давно уже спали после праздничного ужина. Мы присели на траве возле забора.

Долго мы оба молчали. Каждый из нас думал о своем. Затем горбунья глубоко вздохнула и тихо, очень грустно стала напевать известную песенку:

Меня со свету сжил отец,
Родная мать живьем заела...

Я взглянул на нее — слезы так и лились у нее из глаз. Лицо пылало, и смотрела она на меня с грустной улыбкой. Всю душу мне выматывал этот взгляд. У меня защемило сердце, в висках застучало, будто молотками. Не знаю, что со мной творилось... Впервые у меня сорвалось с языка:

— Душа моя!..

— Ах, Фишка! — ответила она тихо, глотая душившие ее слезы. — Не выдержу я этого! Сколько мне приходится терпеть от него!

— От кого? — спросил я загоревшись. — От него? От рыжего дьявола, разрази его гром!

— Ах, если бы ты знал, Фишка, если бы только знал!..

Я беру ее за руку, глажу по голове и со слезами на глазах умоляю излить передо мной наболевшую душу. Она закрывает руками лицо, близко-близко склоняется ко мне и дрожащим голосом, больше намеками, передает мне нечто такое, за что черт мог бы и в самом деле побрать рыжего подлюгу, чтоб ему сгинуть на веки вечные!..

19

Сильно взволнованный и опечаленный, Фишка снова умолк. Для того чтобы заставить его заговорить и выпытать у него все, что мне хотелось знать, я стал его подзадоривать и будто невзначай спросил:

— Ты еще не сказал нам, Фишка, хороша ли она собой, твоя горбунья? Казалось бы, чем могла так понравиться горбатая девушка?

— Что значит! — ответил с явным раздражением Фишка. — Какой может быть разговор о красоте, когда речь идет о еврейской девушке? Если она хороша, то хороша для себя. Кому какое до этого дело? Горбунья, правду сказать, очень недурна: хорошее лицо, прелестные волосы, а глаза у нее — бриллианты да и только! Но разве все это могло бы меня заинтересовать?.. Шалопай я какой-нибудь, что ли, чтобы думать о таких вещах, бегать за красивыми женщинами? Глупости!.. Меня влекла к ней ее доброта, ее ласковость и то, что она, как сестра, жалела меня. А с другой стороны — то, что и я, как брат, жалел ее. Вот что!..

— Словом, не все ли равно? — сказал Алтер. — Как это говорится: будь хоть дьявол, да называйся Файвл!.. Короче говоря, она тебе рассказала нечто такое... Ну, Фишка, что ж это такое? Ну, ну!

Алтер подгоняет, Фишка начинает на свой манер, я ему помогаю, поправляю на свой лад, и повесть продолжается:

— Я давно уже замечал, что рыжий подлюга — побей его бог! — щиплет иногда бедную горбунью. Я думал, что это он со злости делает, как изверг, который вообще бьет и истязает людей. Но из ее жалоб в тот вечер я понял,

что это были иного рода щипки. Они имели совсем другой смысл... Рыжий сильно приставал к ней, покоя не давал. Только, бывало, застигнет ее где-нибудь одну, сразу начнет улещивать сладкими речами: так, мол, и так... Горюдил всякую чепуху, сулил ей золотые горы. А когда оказалось, что добром ему ничего не добиться, он стал угрожать ей, страшать, что он ей житья не даст, пустит о ней дурную молву и все же доконает ее. Не раз он пытался взять ее силой. Кончалось это обычно тем, что она вырывалась из его рук, а иной раз угощала его таким ударом в живот, что у него в глазах темнело. Он, конечно, в долгу не оставался, платил ей с лихвой, донимал ее работой, а каждым щипком вырывал у нее куски мяса. Проходило немного времени, и история начиналась сызнова: опять сперва добром, а потом истязания и побои... И чем больше она его избегала, тем сильнее он к ней приставал. Мимоходом он и на людях иногда задевал ее — толкнет, будто невзначай, или ущипнет...

Подобные гадости повторялись очень часто, — мне даже говорить о них не хочется. Но то, что произошло накануне, было из ряда вон! Ужас! Ночью, после дикой суматохи в богадельне, когда все уже спали, а она, горбунья, прикорнула, бедняжка, в уголке возле дверей, ее вдруг разбудил какой-то шепот над самым ухом. Это был рыжий.

— Тебе, милая, плохо тут лежать! — сказал он жалостливым голосом. — Пойдем, у меня для тебя хорошее место, сможешь, бедненькая, немного отдохнуть...

Она поблагодарила его за доброе отношение и попросила оставить ее в покое. Тогда он начал свои штуки... Так, мол, и так... Намекнул ей про меня: он, мол, знает о том, что она водится со мной... Стал страшать, что он ей покоя не даст, что он и меня доконает... Словно одержимый, он то прикидывался ягненком, то становился диким зверем, то ласкался, то бесился... Наконец стал охальничать и... получил такую затрещину, что едва зубов не лишился. Тогда он, разъяренный, схватил ее, как злодей, и вышвырнул в сени. А что было дальше, вы уже знаете.

Рассказ бедной горбуни в тот вечер, когда мы сидели с ней на траве, подействовал на меня так, что я долго не мог ни слова вымолвить, — до того я был пришиблен. Но сердце у меня ныло, будто червь его точил.

Я испытывал чувство жгучей ненависти к рыжему черту и горячее чувство жалости к ней, несчастной. Было и еще что-то — не знаю, как это назвать, — что влекло меня, влекло и хватало за душу. Меня вдруг потянуло так, что сердце чуть не выскочило из груди. Я взял ее за руку, все еще прикрывавшую лицо, и не своим голосом проговорил:

— Душа моя! Жизнь я готов за тебя отдать!

— Ах, Фишка! — ответила она со вздохом и, придвинувшись поближе, склонила голову ко мне на плечо.

У меня в глазах просветлело, сладостная истома разлилась по всему телу. Я стал утешать ее, как любимую сестру: «Ничего, мол, бог милостив!» Я поклялся, что навеки останусь для нее преданным братом. Она заглянула мне в глаза, улыбнулась и, опустив голову, сказала:

— Не знаю отчего, Фишка, но мне сейчас так хорошо! Жить хочется...

Мы долго с ней беседовали, на душе было легко, мы тешили себя надеждой на божью помощь, на то, что мы еще воспрянем и все будет так, как нам хочется.

Вдруг мы услышали стук, доносившийся откуда-то со стороны, неподалеку от нас. Я оглянулся и, плотно прижимаясь к забору, скрываясь в тени, сделал несколько шагов. Вижу: на противоположной стороне переулочка какой-то человек возится у погреба. Что-то толкнуло меня сделать еще несколько шагов, присмотреться... Оказывается, это рыжий дьявол, разрази его гром! Он отвернул замок и тут же скрылся за дверью погреба, чтобы украсть все, что прячут там обычно на субботу. Молнией сверкнула мысль: «Фишка! Вот когда пришла пора отомстить за себя и за бедную горбунью! Поторопись, захлопни дверь погреба, и пусть он там торчит, как медведь в западне, пока его завтра утром не поймут, не накостыляют ему шею, не воздадут ему по заслугам!» Только тогда познал я сладостное чувство мести. Вся кровь во мне клокотала. Я одурел, как пьяный. Добежать до погреба, ухватиться за дверь и прихлопнуть ее отняло немного времени. «Вот и лежи теперь там, пес!» — говорю я, торжествуя. Взялся за накладку и хочу запереть, но скоба оказалась отогнутой. Тяну из всех сил — напрасный труд! Напрягаю все силы, притягиваю скобу обеими руками, вот-вот, кажется, дело пойдет на лад, — но в эту минуту дверь от здоровенного рывка изнутри распахивается, я лечу в погреб и сталкиваюсь на лестнице с рыжим дьяволом.

— Ах, вот как, реб Фишл! — говорит рыжий после того, как мы с минуту простояли молча друг против друга. — Это ты, собственной персоной, тут возился с дверью и рискнул ради меня нарушить святую субботу?! Очень мило с твоей стороны. Пойдем, миленький спустимся немного ниже, я тебя по крайней мер. угощу.

Он толкнул меня с лестницы так, что я чуть себе шею не свернул и растянулся на земле.

— Теперь, уважаемый приживальщик, получай задаток! — сказал он, ударив меня в спину. — Придете тебе малость потерпеть, пока я спрячу к себе в торб' жареную курочку, рыбу и миску со студнем, которые я второпях из-за тебя тут оставил...

Не прошло и секунды, как он снова ударил меня.

— Считаю, Фишка! — сказал он. — Раз, два, три, четыре, пять... Это тебе за меня. А теперь получай за горбунью. Считаю, Фишка! Девять, десять... Это что еще за манера таскаться с девушкой по ночам в укромных местах?! Двенадцать, тринадцать... Не беспокойся, я еще раньше видел, как ты разгуливал с ней по закоулкам... Шестнадцать, если я не ошибаюсь, семнадцать...

Последние его слова меня взбесили.

— Мерзавец! — крикнул я. — Ты недостойн помп нать ее имя!

С этими словами я вскочил и вцепился в него зуба ми. Пошла настоящая война! Я зубами, он руками Оба мы

ненавидим и готовы убить один другого. Он с силой отрывает меня от себя, трясет, потом отбрасывает далеко в сторону, как мячик.

— Благодарю бога, — говорит он, — что все обо шлось, что мне не с руки тебя тут укокошить. Оставайся здесь, Фпшеле, отдохни до завтрашнего утра. Вместо фаршированной рыбы хозяева поймают завтра живую рыбку...²⁷ Спокойной ночи! Что прикажешь передать жене? Она еще сегодня получит привет от тебя...

С этими словами он ушел и запер за собою дверь.

Первым делом, как только я пришел в себя, было добраться до дверей. Ташу, рву — без толку! Дверь за перта снаружи. Не знаю, как мне быть. Сильно стучат, боюсь — услышат. Остаться здесь — тоже скверно. У меня голова закружилась от страха, от злобы, от до сады п боли, от полученных побоев. Спускаюсь вниз и вне себя от горя валюсь наземь. Что будет со мной завтра? Какую мне тут устроят встречу, когда все сбегутся поглазеть на вора? Ведь это будет значить, что меня поймали с поличным... Можно себе представить, сколько историй при этом сочинят! Всяк, кто в бога верует, будет меня колотить, и никакие объяснения не помогут.

Все эти мысли сверлили мозг, не давали успокоиться. В эту минуту мне показалось, будто что-то карабкается по мне. Протягиваю руку и хватаю крысу, с писком проскальзывающую между пальцев. Вскикиваю от ужаса, мне становится дурно, обливаюсь холодным потом. Едва держась на ногах, я в темноте нащупываю холодную, сырую стену и прислоняюсь к ней. Стою и думаю: «Господи боже мой, что это за жизнь? За что ты меня так наказываешь? Не лучше ли было бы и для меня и для всех, если бы я новее не родился? За что это?.. За что так обижать меня?..»

Сердце щемит у меня от этих мыслей, слезы ручьем текут из глаз. Я плачу и думаю: «Господи, где же ты?!» Пришибленный, ошеломленный, я застываю на месте как истукан. Вдруг слышу скрип дверей. Узкая полоска света ударяет мне в глаза. Слышу шаги: кто-то осторожно спускается по ступенькам. У меня от страха волосы на голове шевелятся. «Вот, думаю, схватят меня и разделаются со мной, как с вором!» И в ту минуту, когда я стою понуриив голову, весь дрожа от страха, до меня доносится тихий голос, называющий меня по имени: «Фишка! Фишка!» — и тут же я вижу возле себя ее, горбунью! Я оживаю и вскрикиваю от радости.

— Тише! — говорит сна, взяв меня за руку. — Уйдем отсюда поскорее!

— Душа моя! Ведь ты спасла мне жизнь! — восклицаю я, обезумев от радости, и, признаюсь, тут, в погребке, я впервые поцеловал ее.

Расспрашиваю, каким образом она сюда попала, ко она просит не говорить и напоминает, что мы находимся ночью в чужом погребке.

— Уйдем поскорее! Обо всем узнаешь немного позже, — говорит она и, взяв меня за руку, выводит из погреба на улицу.

По дороге она мне все объяснила очень просто. Спустя несколько минут после моего ухода она почуяла что-то неладное и решила пойти посмотреть, где я. Дойдя до конца забора, ока поглядела по сторонам и Увидела, что на противоположной стороне улицы кто-то стоит согнувшись возле низенькой крыши и с чем-то возится. Решив, что это я, она двинулась дальше, но, когда подошла поближе, услышала, как тот говорит: «Теперь, реб Фишл, лежи, околевай, как собака! Заперто крепко, на совесть!» У нее в глазах потемнело, она застыла в оцепенении. Но в это время перед ее глазами выросла фигура рыжего дьявола. Он ее ущипнул и сказал, ухмыляясь:

— С праздничком! Здравствуй, смиренница! Хороша девочка, нечего сказать! Таскается ночью по улице, а еще корчит из себя скромницу... Домой пошла, мерзавка, распутница этакая!

Он толкнул ее в спину, и она была вынуждена пойти с ним, не смея слово сказать. По дороге он все время озирался по сторонам и то и дело перекидывал свою туго набитую суму с плеча на плечо. Не забывал он также издеваться над горбуньей и приставать к ней, по своему обыкновению. Она, бедняжка, шла встревоженная и грустная. Она знала, что я в беде, но помочь мне невозможно, так как рыжий не отпускает ее от себя и смотрит за ней во все глаза.

Вдруг навстречу им показалась компания, очевидно возвращавшаяся с какой-то пирушки. Люди были весело настроены, оживленно беседовали и громко смеялись над кем-то из них, оставившим по забывчивости, несмотря на субботу, носовой платок в кармане²⁸.

Рыжий дьявол метнулся в сторону, потоптался в смятении и бросился в переулок. А моя горбунья тем временем также бросилась в противоположную сторону и исчезла.

Она, конечно, стремглав помчалась выручать меня из беды. Но представьте себе ее огорчение: она второпях запуталась в переулках и никак не найдет то место, где мы недавно сидели! Знает, что я в опасности, что меня нужно как можно скорее освободить, что каждая минута дорога, и как назло не может отыскать дорогу!.. Прошло довольно много времени, пока она наконец нашла погреб и освободила меня.

И вот идем мы с ней и беседуем в веселом настроении.

Я — ей:

— Милая моя! Ведь ты сегодня спасла мне жизнь!

²⁷ Непереводаемая игра слов: рыбка — по-еврейски «фишеле».

²⁸ Согласно предписаниям иудаизма, в субботу в карманах ничего нельзя было носить.

Она — мне:

— Фишка! Ты вчера помог мне, как брат. Помнишь, вчера ночью, в сенах...

Однако по мере приближения к богадельне нас стали охватывать мрачные предчувствия, и мы умолкли. Сердце нам предсказывало, что ничего хорошего нас не ждет, что эта ночь благополучно не кончится.

Одна створка ворот богадельни была закрыта, другая чуть приоткрыта, так что в сени с улицы проникал свет. Подойдя к воротам, мы со стесненными сердцами остановились. Затем я стал потихоньку продвигаться первым. Не успел я просунуть голову, как увидел почти у самых ворот рыжего выродка, расположившегося рядом с моей женой. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, и с наслаждением пожирали то, что было у него в торбе. Он шепнул ей что-то на ухо и тут же исчез. А она поднялась, разъяренная, и набросилась на меня:

— Ах ты, такой-сякой! Черта твоему батьке! Ты что это вздумал ночи напролет шататься с этой распутницей, с этой дрянью?! Думаешь, я не знаю о твоих гнусных проделках? Я все знаю, давно уже знаю, только молчу, несчастная, и мучаюсь! Так-то ты меня благодаришь за мою доброту, за то, что я тебя в люди вывела?! Думаешь, пес ты этакий, что тебе все это сойдет? Нет! Я покажу тебе, мерзавец! Покажу и тебе и ей, кто из нас старше! Вот тебе! Вот! — стала она меня колотить. — Вот тебе за сегодняшнее, за вчерашнее... На! На! На! Провались ты сквозь землю!

Еле живой я вырываюсь из ее рук и выбегаю на улицу. Она еще долго стоит в воротах и продолжает кричать, потом уходит в сени и с силой захлопывает ворота, крикнув мне на прощание:

— Валяйся на улице, как собака!

Стоим мы с горбуньей на улице и смотрим друг на друга. Оба мы опечалены, у обоих тяжело на душе от всего, что сейчас произошло. Но нужда заставляет двигаться дальше. Идем куда глаза глядят в глубоком молчании, погруженные в свои мысли. Придя в себя, я увидел, что мы на синагогальном дворе. У меня душа болела, глядя на горбунью. Бедная, как она мучается! Вот уже вторую ночь покоя не знает. Думаю о том, как быть, где бы найти место для ночлега? И приходит мне в голову — в женской молельне! Прекрасное место!

С божьей помощью, мы после больших трудов благополучно взобрались наверх по сломанной лесенке, качавшейся под ногами. Нащупали в темноте открытую дверь и внезапно упали на что-то мягкое. Поднялся шум, кто-то стал прыгать рядом с нами, на нас и через нас. На нас посыпались удары и сзади, и с боков, и не поймешь откуда. Я мечусь из стороны в сторону, руки и ноги у меня трясутся. Хватаюсь за чью-то бороду. За чью, думаете? За козью бороду... Здесь лежали козы, ночующие, по обыкновению, вместе с общественным козлом в женской молельне.

— Где ты? — окликаю я мою горбунью. — Не пугайся, здесь, не сглазить бы, очень много коз! Видать, со стельное местечко!

Я выгнал коз, попросил их провести эту ночь на улице. Сам я тоже вышел, пожелал горбунье спокойной ночи и плотно прикрыл двери.

Спускаясь по лестнице, я столкнулся с козлом, шедшим мне навстречу с низко опущенной головой и направленными на меня длинными рогами. Козел, видно, был очень недоволен тем, что я так бесцеремонно обошелся с его женами. Борьба с ним продолжалась долго. Он не отставал, следовал за мной по пятам, пока мне не удалось улизнуть от него в мужскую молельню, помещавшуюся внизу.

В молельне на столах и скамьях лежали, растянувшись как бары, разные почтенные попрошайки. Они спали, пересвистываясь носами на разные лады. Приятно было смотреть, как сладко они спят. «Хорошо им, в самом деле, живется на земле, — подумал я и в душе позавидовал. — Это нищие какой-то особой породы, аристократы...» Отыскал себе местечко возле печи, повалился на скамью и тут же уснул.

Но не суждено мне, видать, ничего хорошего в жизни! Прошло немного времени, и меня в самый разгар сна разбудили:

— Молодой человек, встаньте, пожалуйста!

Протер глаза и увидел перед собой порядочное сборище людей с серьезными физиономиями. То были члены братства «ревнителей Псалтыря», которые по субботам приходят чуть свет и тут, возле печи, читают псалмы. Пришлось встать. Омыл руки, уселся, едва держа голову. Потягиваясь и зевая, принялся читать псалмы.

20

— После взбучки, которую я в ту пятницу получил от своей жены, я понял, что означает ее странное отношение ко мне в последнее время. Ее бесила моя дружба с горбуньей. Сведения об этой дружбе доставлял ей рыжий черт и врал при этом без зазрения совести. Он рассчитывал таким образом добиться, чтобы жена плюнула на меня и бросила навсегда. Но он просчитался. Вместо того чтобы хладнокровно предоставить мне идти своей дорогой и окончательно разойтись со мной, жена вознегодовала еще сильнее. Слыханное ли дело, чтобы ее муж так поступил! Чтобы какая-то горбунья нравилась Фишке больше, чем она! Ведь это такое оскорбление, с которым примириться невозможно! Нет, этого допустить нельзя!

— А почему же она... жена твоя то есть, путалась с рыжим? — не сдержался и спросил Алтер.

— Казалось бы, вы совершенно правы! — ответил Фишка. — Но еще будучи в глупской бане, я научился понимать, что такие вопросы нечего задавать. Где еще так чествуют всех и каждого, как в бане? И кто? Именно те, которым,

право, следовало бы помалкивать. Человек, который никогда слова правды не скажет, смеется над другим и заявляет, что тот, мол, лгун. Плут, которому и гроша доверять нельзя, обвиняет другого в воровстве. Скряга, готовый за полушку глаза себе выколоть, хохочет, указывая на другого: вот, дескать, какая свинья! Злой, жестокосердый человек называет другого извергом. Честолюбец, на зсе готовый ради малейшей почести, злословит о другом: тот, видите ли, жаждет славы...

Извозчик Берл в разговоре с нами, бывало, хватался за голову:

— Ох, ох! Не пойму, как у человека язык поворачивается! Как можно осуждать другого, когда хорошо знаешь про себя, что сам ты вор, лгун, свинья, мерзавец и все что угодно?!

— Эх ты, умная голова! — отвечал ему в таких случаях сторож Ицик. — В том-то и беда, что в своем глазу человек бревна не замечает, а сучок в глазу у другого кажется ему бревном!

А Шмерл, один из бездельников, ютившихся в бане, замечал с усмешкой, зажав бороду в кулак:

— Позвольте, реб Берл! Позвольте, реб Ицик! Оба вы ошибаетесь! Правда, как я понимаю, попросту заключается в том, что каждый про себя думает: мне можно, а другому нельзя.

— Правильно, Шмерл! — воскликнул я, подскочив на месте, и тут же задумался.

Слова Шмерла поддали жару бесу, сидящему в каждом из нас, грешных. Он проснулся и во мне со злобным смешком и стал терзать мое сердце, мучить сознание, будоражить мысли и выкапывать старые истории, залежавшиеся в памяти. Всполошились будто из-под земли выросшие образы. И бес, указывая на них, с кривой ухмылкой произносит моими устами:

— Вот они, вся эта почтенная публика! Им-то все можно, все дозволено...

Этой публики полно повсюду — и в торговле, и в городских ведомствах, и в различных обществах, и в религиозных братствах, и во всем нашем быту. Немало тут и женщин — молодых и старых, всех пород и времен, старосветских баб и молодых дамочек... «Добро пожаловать, уважаемые! — говорю я про себя. — Господь свидетель, что я рад бы в глаза вас не видеть и имени вашего никогда больше не произносить. До того вы мне опротивели. Но что поделаешь? Уж раз принесла вас нелегкая, я не могу отпустить вас ни с чем. Придется, в угоду дьяволу, о каждом из вас хоть что-нибудь да рассказать».

— Погоди-ка минуточку, Фишка! Не взыщите, реб Алтер! — обращаюсь я к своим спутникам. — Я хотел бы кое-что рассказать, только дайте мне немного подумать.

Я выбираю одного из этой хваленной компании: «По жалуйте на расправу!» Тот мечется, стонет, орет, как связанный петух, чужой близкий конец. Остальные, косятся на меня, поглядывают недружелюбно, чтобы я молчал... «Дурачье! — думаю я. — Плевать мне на вас! Меня «букой» не запугаешь. Обезьяны вы, а не медведи...» Бес во мне разыгрался и подзуживает: «Так их, так! Бери их в работу, всю их честную компанию!»

— Вот послушайте, реб Алтер, интересную историю. В одном еврейском городе эти типы, как водится... — начинаю я рассказывать и застреваю на полуслове.

Женщины умоляюще смотрят на меня: «Милый, хороший реб Менделе, пощадите, не рассказывайте!..» Они кокетничают, смотрят горящими глазками... От их кокетства и от одного их взгляда я сразу таю. К тому же вспоминаю о своем намерении затесаться в компанию «дядюшек». «Ну вас к шуту!» — говорю я с улыбкой и, обращаясь к Алтеру, добавляю:

— Я имею в виду этих самых... отцов города... Однако неохота мне почему-то сегодня рассказывать эту историю... Провались они в преисподнюю! Извините, реб Алтер.

— Наоборот, пожалуйста! По мне, они могли бы хоть сию минуту околоть! Но что это за манера перебивать человека, вторгаться с историями, с вашими историями!.. — говорит Алтер и смотрит на меня, пожимая плечами, будто хочет сказать: «Вот, прости господи, дырявый мешок! Так и сыплет, удержу не зная! Подумаешь, очень нужны его истории! Кому? Зачем?..» И, отвернувшись, Алтер несколько раз произносит: «Фи, фи!» — а затем начинает тормозить Фишку:

— Ну, и что же? Словом, короче говоря, чем это кончилось?

Фишка начинает на свой лад, я следом за ним — на свой манер, Алтер по-своему подгоняет, — и рассказ продолжается:

— Между тем время шло своим чередом, а мы с женой чем дальше, тем больше отдалялись друг от друга. Она еще крепче снюхалась с рыжим вырожденком, стала с ним запанибрата. Они не расставались и уже вдвоем, как барин с барыней, ходили побираться. Меня это теперь не так трогало. Я постоянно думал о бедной горбунье. Мысль о ней не оставляла меня ни на минуту. «Ходите! — думал я. — По мне, можете хоть сквозь землю провалиться! Подавитесь вашими домами и благодетелями!»

При встрече со мной рыжий дьявол поглядывал с насмешкой, будто желая сказать: «Объегорил я тебя, околпачил как следует!..» Но я только отплевывался и шел своей дорогой: «А что тебе за выгода от того, что ты с ней валандаешься? Помогает это тебе? Ведь она же замужняя! Хе-хе, круто завинчено! То-то! И я тебя неплохо объегорил, черт этакий! Накось выкуси! Лопни!»

Со мной стал ходить за подаванием один старикашка из компании рыжего, такой же, как и тот, изверг и вор. Он со мной устроился недурно. Ему никто отказать не мог, он умел скорчить жалостливую рожицу и, указывая на меня, бедного калеку, вздыхал от самой глубины души. Он изображал несчастного отца, сопровождающего убогого сына...

— Хромай, Фишка, хорошенько хромай, сокровище Мое! — говорил он, подталкивая меня сзади, когда мы входили в какой-либо дом. — Скриви рожу и стони, стони, собака этакая! Ничего, они мне за каждый твой стон заплатят!..

По дороге он все время учил меня разыгрывать мою роль, издевался над горожанами, а иногда, бывало, ущипнет меня, дернет и с добродушным видом проклинает при этом:

— Ах, черт бы тебя взял!

Однажды он, якобы в шутку, так саданул меня в грудь под ложечку, что я чуть богу душу не отдал. Всю собранную милостыню он, конечно, забирал себе. Мне трудно было у него даже грош вырвать.

— На что тебе, Фишка, деньги? — шутил он. — Ты ц сам — деньги! Хромали бы только твои ноженьки да болели бы у тебя все косточки, пока не околеешь, сокровище мое!

Однажды, когда нужда заставила, я пристал к нему и потребовал свою часть. Увидев, что я не шучу, он набросился на меня:

— Молчать, хромой пес! Даром, что ли, я буду возить тебя в своей кибитке? Даром, думаешь, я буду водить такую падаль? Молчать, наглец! А то жене расскажу. Я тебя знать не знаю и разговаривать с тобой не хочу. Я знаю только твою жену. Она мне тебя передала, от нее я этот товарец драгоценный получил, а с ней уж мы как-нибудь сочтемся...

Скверно! Мне стало ясно, что я у этой оравы вроде медведя на поводу у цыгана. Меня водят и на мне наживаются. Жену у меня отняли, околпачили ее, теперь она же им помогает, а меня передает, как вещь, в руки жуликов и воров!.. Скверно, горько, дальше некуда!

Я понял, что дело пропащее, что с женой мне больше не жить. «Зачем же, — думал я, — мне тут оставаться? Надо бежать, бежать как можно скорее! Каждый лишний день пребывания среди таких воров — грех перед богом. Ведь это люди, для которых ничего святого нет, люди, которые палец о палец не ударяют. Скинули с себя все заботы, знать ничего не хотят о труде, о заработках... Паразиты, которые насели на людей, сосут кровь из народа, да еще питают лютую ненависть к тем, кто их кормит». Я и сам очень низко пал в своих глазах, когда стал думать обо всех своих похождениях за время пребывания среди этих бандитов. Ведь я совсем не тот, что был раньше. Я набрался от них много всяких гадостей. Единственное средство избавиться от всех этих бед и несчастий — это вырваться от них и бежать отсюда, как от чумы.

Но как быть с ней? Как оставить мою горбунью? Мне представлялось, что я стою над заклтым местом, над пропастью, что подо мною ад. В одно ухо чей-то голос кричит: «Спасай свою душу, Фишка! Беги куда глаза глядят!» А в другом ухе раздается голос горбуни: «Фишка! Фишка!..» Надо выбирать одно из двух: либо туда — в светлый мир, свободный от греха, от горя и мытарств, либо оставаться здесь, в аду, но зато вместе с ней. Я вдоволь поплакал и... да простит меня бог за грехи — остался...

Лишь потом, спустя некоторое время, мне в голову пришла мысль бежать вместе с горбуньей. Но для этого необходимо было прежде всего развязаться с женой. Что может быть хорошего от того, что я буду без толку водиться с девушкой? Ведь люди будут болтать и думать бог знает что... Единственное средство — развод. Но согласится ли, думал я, моя жена? Ведь это же язва, божье наказание! Если я заговорю о разводе, она мне назло откажет! Величайшим удовольствием для нее в последнее время было мучить меня и всячески досаждать мне. И все же это меня не испугало. Я решил так или иначе, добром или злом добиваться развода. Авось бог не без милости. Но до поры до времени я держал это в тайне, чтобы никто об этом не проведал.

После разговора со старикашкой я отказался ходить по миру с кем бы то ни было из этой шатии. Пришлось вынести немало горя, но я заупрямился: умру, а медведем на поводу у этих жуликов не буду! Рыжий черт со своей братией были очень недовольны и не раз пускали в ход кулаки.

Однажды, избивая меня, они сказали:

— Что же, мы тебя даром, что ли, возить будем, цацу этакую? Работать не хочешь, зарабатывать не желаешь — катись отсюда ко всем чертям собачьим!

— Пожалуйста, хоть сейчас! — ответил я. — Отдайте мне только мою жену, жену мою!

Они переглянулись и разразились хохотом. Само собой понятно, что жену я потребовал только для отвода глаз. В душе я думал: держите ее у себя, это золото, пусть она только разведется со мной! Правда, от побоев, которые я получил, у меня ныло все тело, но в то же время я был доволен.

«Ничего! — думал я. — И это пригодится. Увидят они, что я упорствую, что пользы им от меня никакой, тогда они сами рады будут избавиться от меня. А это поможет мне развестись с женой».

21

— Бася! — подкатился я однажды к жене, когда мы были одни, желая выведать, что она думает о разводе. — Бася, чего ты от меня хочешь?

— Провались к черту, Фишка! — коротко ответила она.

— Вот тебе и раз! — сказал я, притворяясь обиженным. — Я к ней по-хорошему, а она ругается: «Провались ты к черту, Фишка!» За что?

— Чтoб тебя паду́чая скрутила! — проговорила она, скорчив рожу, и отодвинулась от меня.
— Дай тебе бог здоровья, Бася! — сказал я спокойно. — Брось, право, свои глупости, и давай будем жить, как богом положено.

— Пропади ты пропадом, Фишка, вместе с твоей распутницей!

«Пропасть бы лучше тебе с твоим рыжим дьяволом!» — подумал я и заговорил в открытую:

— Послушай, Бася! Как это говорится, — еврейскую женщину принуждать нельзя. Не хочешь жить со мной — ну что ж! На то есть и развод у евреев. Не ладится — не надо!

— Ага! Этой шлюхи ему захотелось! Избавиться о г жены и поскорее с этой распутницей связаться! Не дождетесь вы этого. Оба раньше подохнете! Ничего, ей это даром не пройдет, твоей мерзавке, я ее землю грызть заставлю. Слышишь, Фишка!.. Чтoб твоему батьке и прабабке...

Жена так раскричалась, что я еле ноги унес.

Дела мои обстали скверно! Куда ни кинь! Мне и самому было не сладко, мытарился я ужасно, а бедняжке горбунье тоже доставалось немало, и все из-за меня. Жена моя вела себя с ней, как хозяйка с при слугой, всячески помыкала ею. А если горбунья жене в чем-нибудь не угождала, ока зверски расправлялась с нею, горемычной, а рыжий в свою очередь тоже истязал ее. Скверно было нам обоим! Единственное наше утешение заключалось в том, что поздно ночью, когда все спали, мы украдкой выходили на улицу, чтoб хоть немного поговорить и излить друг перед другом наболевшую душу.

Однажды сидели мы ночью возле большой синагоги. Небо было усеяно звездами. Кругом царил тишина. Ни живой души. Она сидит рядом со мной на камне, съежилась, сгорбилась. Слезы так и льются из ее глаз. Она тихонько напевает знакомую грустную песенку:

Меня со свету сжил отец,
Родная мать живьем заела...

Каждое слово ее для меня точно нож в сердце. Я старался утешить ее, успокоить ласковыми речами. Вот пройдет, мол, немного времени, и мы, бог даст, дождемся счастья. Я рисовал ей нашу совместную жизнь после того, как мы оба, с божьей помощью, избавимся от наших горестей. Я представлял ей все очень живо, рисовал во всех подробностях глупскую каменную баню, говорил о том, как я там снова устроюсь и, если счастье мне улыбнется, получу там со временем должность сторожа. Она и сама, может быть, найдет себе там работу: банщицы или что-нибудь вроде этого. А не то можно в Глупске найти и другие заработки. Для нищих Глупск — земля обетованная: он велик, домов в нем что мусору. И люди там без затей, без особых фокусов, каждый делает что хочет, и никому до этого дела нет. Там, к примеру, очень почтенные люди могут ходить в лохмотьях, замызганные, по шею в грязи, — и никто на это и внимания не обратит. Можно среди бела дня разгуливать по улице в каком-нибудь замусоленном балахоне нараспашку — и то сойдет. Или наоборот: нищий может щеголять в шелках и бархате, — и до этого тоже никому никакого дела нет. Там вообще трудно отличить бедняков от богачей — и по одежде и по манерам. Очень часто случается, что старосты разных братств сами по себе бедняки, а кормятся на общественный счет заодно с богачами, друг другу помогают и не ссорятся. Бедность — не позор. Было бы только счастье, тогда живо на ноги встанешь. Мало ли таких, которые совсем недавно еще были людьми ничтожными, маленькими, бедными, у других на побегушках и вдруг стали в городе видными персонами, коноводами, воротилами. Очень даже может статься, что я и сам, вот такой, каков есть, сделаюсь со временем общественным деятелем, важной персоной и все, бог даст, пойдет хорошо, будем жить в богатстве и чести.

Ты не смейся, душа моя, я вовсе не так уж далеко забрался. В Глупске это обычная история, надо только верить в бога, не падать духом и быть правоверным евреем... Уповать! Ах, Глупск, Глупск! Как бы дожить до того времени, когда можно будет вырваться из этой мерзкой банды и умчаться к тебе, отец родной!

— Ах, Фишка! У меня уже сил нет больше терпеть все это! — сказала она, глубоко вздохнув, и склонила голову ко мне на плечо.

Лицо ее выражало мольбу. Я стал ласкать ее, утешать, подбадривать надеждами на будущее. Она немного повеселела, заглянула мне прямо в глаза и улыбнулась.

— Фишка! — сказала она тихо. — Ты у меня единственный на всем свете! Ты мне отец, и брат, и друг — все! Смотри, Фишка, будь мне верен и не забывай обо мне! Поклянись мне вот здесь, возле синагоги, где сейчас молятся покойники, — среди них, быть может, находится и мой отец, которого я так мало знала... Он будет свидетелем... Поклянись, что ты всегда будешь верен мне...

Я изо всех сил принялся убеждать жену согласиться на развод, старался, уговаривал и так и этак. Наконец мы пришли к соглашению: деньги, которые накопились у меня за то время, что я работал один, я должен отдать ей немедленно, не закладывая их, как это обычно водится, у третьих лиц. Кроме того, я обязался в течение всей зимы быть в распоряжении этой шайки. Это значило — давать водить себя по домам, причем милостыня, которая благодаря мне будет собрана, должна быть отдана моей жене за развод.

Рыжий черт с усмешкой помял мне бока, подтвердил эти условия и поздравил. Я снова стал медведем на поводу, ценным товаром, и снова старикашка начал ходить по миру со мной, а я должен был как следует хромать, стонать, кривляться и ломать комедию по его указаниям.

После пасхи мы прибыли в какое-то местечко Херсонской губернии. Там я на первых порах работал, выполняя свое обязательство. Однако спустя некоторое время я заявил: «Хватит! Пора положить конец!»

Жена сначала колебалась, просила дать ей день-другой на размышление. Но наконец ответила: «Ладно! Завтра разведемся!»

У меня в глазах посветлело: до того я обрадовался.

Даже на месте усидеть не мог. Так и потянуло меня на воздух. Я долго гулял по улицам, а заодно уж с большой охотой собирал милостыню, думая: «Чем это может повредить? На первое время, когда перестанут кормить, надо иметь несколько грошей про запас».

Дела шли хорошо. Так успешно я уже давным-давно не побирался. Такие удачи бывают раз в сто лет. Уж если бог захочет помочь человеку, так во всем поможет. В какой бы дом я ни заходил, нигде меня с пустыми руками не отпускали. Счастье в этот день играло мне на руку: попал я в один дом, где как раз справляли обряд обрезания. Гости были уже порядочно навеселе, оживлены, веселы. Дали мне добрую рюмку водки, полную стопку, большой кусок пряника, пирожок и вдобавок немного денег и сдобную булочку. Я воздержался, ни крошки в рот не взял, спрятал эти вкусные вещи глубоко за пазуху, чтобы принести их в подарок моей горбунье. Вы бы видели, с какой радостью я шел домой. Думал: нынче ночью, когда люди будут спать, я отдам ей все это. Пусть и она, бедняжка, получит удовольствие. Она, горемычная, так одинока, заброшена, сердце у нее изранено. За всю жизнь счастливой минуты не видела. Пусть же знает, что Фишка, как преданный брат, заботится о ней и оберегает ее как зеницу ока. Готов сам не есть, а ей отдать последний лучший кусок. Мне представлялось, как мы сидим возле большой синагоги и наслаждаемся. Пряник, видать, пришелся ей по вкусу, а я приговариваю: «Душенька моя! Кушай на здоровье!» — и думаю: «Хорошее предзнаменование! Дай бог в недалеком будущем кушать пряник у нас на свадьбе...» Сообщаю ей добрую весть о том, что с завтрашнего дня я свободен, что жена согласилась на развод, и она сияет от счастья. Мы обдумываем, как бы потихоньку вырваться и удрать. И вот как будто у нас готов уже план, есть надежда, что все, бог даст, будет хорошо...

С такими мыслями шел я всю дорогу и рисовал себе ожидающее нас счастье. По дороге, кстати, повстречался мне водонос с полными ведрами. А ведь это уже безусловно добрая примета!

Кончилось это — горе мне! — очень печально. Уж если суждено человеку несчастье, так и добрые приметы не помогут, — хоть бы десять баб с полными ведрами повстречались. Когда я под вечер вернулся в богадельню, там никого из всей оравы уже не было!.. В то время как я в таком радужном настроении разгуливал по городу, вся эта банда уехала и увезла с собой и мою жену, и мою злосчастную горбунью... Это, конечно, рыжий черт постарался, это его проделка, будь он трижды проклят!

Я совершенно растерялся, не знал, что со мной творится. Голова кругом пошла! В глазах потемнело, весь мир словно померк. Единственная звездочка, светившая мне, и та вдруг закатилась. Нет больше моей утехи, нет моей горбуньи!.. Я одинок, словно камень в пустыне, один-одинешенек во всем свете! А она! Где она? Что она, бедняжка, делает?.. Перед кем может она хоть изредка поплакать, душу свою излить? Ах, друзья мои, как больно! Вдвойне больно!

Когда я позднее достал из-за пазухи приготовленный для нее кусок пряника, у меня сердце сжалось. Я крепко держал в руках пряник, обливая его слезами, как вещь, как память, остающуюся после смерти любимого, единственного ребенка. Не суждено тебе попробовать его, полакомиться хотя бы один раз в жизни, бедная моя, несчастная!.. Я смотрел на пряник, целовал его, потом завернул, словно драгоценный камень, и снова спрятал на груди, часто нащупывал и прижимал к сердцу... Я и сам не знаю, что со мной было?!

22

Фишка закрыл лицо руками и, отвернувшись в сторону, стал всхлипывать. Мы понимали его горе и оставили его в покое. Тяжелое настроение охватило и нас. Мы сидели притихшие, погруженные каждый в свои думы. Мой Алтер все время почесывал пейсы, проводил рукой по лицу — от лба до бороды, захватывая ее всей пятерней, и произносил: «Эт! Эт!..» Видно было, что он расстроен, что с ним творится что-то неладное. Я и сам был встревожен. Рассказ Фишки сильно волновал меня. Я уже давно и много раз задумывался: «Боже мой, что это значит — влюбиться?» Я слышал, что это случается, но что это такое, — этого мой ум не постигал. У нас в таких случаях обыкновенно говорили: это колдовство! Есть будто бы такое приворотное зелье, которое изготавливают старые ведьмы. А что старые ведьмы способны на такие проделки, что они могут верхом на метле вернуть мужа, бросившего жену, — так ведь это ясно как божий день! Это могут засвидетельствовать многие бородатые правверные евреи... Влюбиться, втюрииться, влопаться — это считалось у нас такой же болезнью, как лихорадка, к примеру, или как кликушество, как меланхолия, черная немочь, падучая болезнь, от которой может излечить либо святой, либо знахарь, не будь рядом помянут! Говоря об этой болезни, люди семь раз сплевывали, приподнимая веко, и приговаривали, скорчив смиренную мину: не тут будь сказано, не про нас будь сказано!.. Считалось добрым делом посмеяться над влюбленными, как потешаются над сумасшедшими. И если уж подобные истории случались, то, насколько я помню, либо у крупных богачей, либо у безнадежных бедняков. У людей среднего достатка даже не знали, с чем это едят...

«Удивительное дело! — часто думал я. — Почему это так? И что это такое? Ведь это же неспроста!» Старым ведьмам и приворотному зелью я значения не придавал. Это объяснение меня никогда не удовлетворяло, хотя

люди считали, что такое отношение к этим делам в некоторой степени вольнодумство с моей стороны: помилуйте, как можно не верить в колдовство, в знахаря, в чертей? Я упорно искал объяснение и, кажется, нашел.

Крупным богачам слишком хорошо живется на свете, у них всего вдоволь, они едят и пьют самое лучшее, самое дорогое, ни забот у них, ни хлопот. Чего им не хватает?.. Вот и лезут им в головы всякие шуры-муры. Серьезно ли это или чтобы только позабавиться от нечего делать, — кто их знает? Беднякам, с другой стороны, тоже по-своему хорошо: ничего у них нет, рисковать нечем... Живут они за счет общества, на всем готовом, — стесняться им нечего! Потому и они охочи до подобных историй. Вот и выходит, что такие дела случаются либо в высших, либо в низших слоях общества.

Остальной наш народ, средний человек, постоянно озабочен насыщением утробы. У него голова пухнет из-за куска хлеба, он ищет заработка. У него на первом плане дело. Для него все — дело! *Женитьба — тоже сделка.* Он приобретает жену, заранее поторговавшись хорошенько о цене, о приданом, о каждой мелочи — обо всем в точности. Даже меховая шапка и субботний кафтан и те упоминаются в предварительном брачном контракте. Если условия выполнены целиком согласно договору, пожалуйста, невестушка, под венец, со сватом, с бадженом и всей святой братией, которая недурно наживает на этом деле. Будь женой, рожай детей, надрывайся и бедствуй со мной вместе до ста двадцати лет, если тебе хочется жить, а не умереть раньше времени. Хороша ли ты или безобразна, умна или глупа, — это твое дело, мне безразлично: жена это жена. Мы не бары, некогда нам обращать внимание на такие пустяки. Мы торговцы, маклеры, лавочники, мы заняты делом!..

Есть очень много людей одинакового со мной положения, которые почти не разговаривают, не едят за одним столом со своими женами, редко видят их, — и все это считается в порядке вещей. Обе стороны довольны и при случае желают такой же благополучной жизни всем добрым людям и собственным детям! Если у кого-нибудь умирает жена, муж хоронит ее, справляет по ней неделю траура, как полагается, и тут же находит себе другую хозяйку, не дождав иной раз и положенных тридцати дней. Точно так же женится он и на третьей, и на четвертой, и на пятой... Вплоть до старухи, которую он берет напоследок, уже в старческие, дарованные богом годы, обычно под тем предлогом, что он собирается уехать с ней помирать в Палестину. Называется вся эта канитель выполнением завета божьего...

Точно так же еврей, например, ест в субботу не ради грубого насыщения едой, не потому, что грешный человек вынужден есть, а ради того, чтобы выполнить предписание о трех субботних трапезах. То же относится и к вину, которое пьют во время пасхальной трапезы, — не потому, конечно, что приятно выпить немного вина, особенно после жирных галушек. Упаси бог! Еврей скорчит при этом благочестивую рожицу: «Се выполняю завет твой, господи, и пью бокал — первый, второй, третий, четвертый...» Наш брат ест, пьет, женится, — все только во имя божье, ради благодати господней...

Все это, однако, никакого отношения не имеет к Фишке. В ужасном положении, в котором он пребывал, горбунья была для него счастьем[^] утешением, жизнью, — всем! Утопающий и за соломинку хватается. Что ж удивительного в том, что Фишка ухватился за горбунью всем своим существом и ничего, кроме нее, не видел? Когда душа задета, тогда начинает говорить сердце, говорить языком, одинаковым для всех людей — для больших и малых, для ученых и невежд. И нечего удивляться тому, что душа Фишки излилась в таких горячих чувствах, в таких чистых, человеческих словах. Потому-то его слова так растрогали, взволновали меня, словно скрипка, которая жалуется, напеваает что-то печальное. Все проповедники и все нравственнопоучительные книжки вместе взятые никогда не трогали меня так, не делали таким мягким, добрым и отзывчивым, как стон наболевшего сердца, как скрипка музыканта...

Словом, рассказ Фишки меня очень растрогал, вот я и задумался... Но ты, коняга моя, ты-то по какому поводу задумалась? Что это за шаг, с позволения сказать? Еле ноги волочит. Лошадку мою ничуть не трогает, что день девятого аба на носу, что нужно торопиться с доставкой молитвенников в местечки. Тащится почему-то не прямой дорогой, а по обочинам, поближе к посевам, то и дело останавливаясь и пощипывая травку. Кляча Алтера ведет себя не лучше, подражает моей лошади и тоже жует. Совсем как ребята в хедере: стоит учителю на минутку отвернуться, или начать укачивать ребенка, или повздорить с женой, как ученики сразу же начинают глазеть по сторонам, совершенно забыв об учении. Применяю то же средство, что и учитель: беру кнут и показываю его своей дохлятине, отчитывая ее при этом. Она настораживает уши и, высунув кончик языка, начинает брыкаться задней ногой и отмахиваться хвостом.

— Ах, вот как! Ты еще озорничать! — восклицаю я и основательно угощаю ее кнутом.

Коняга, правда, была недовольна и попыталась растянуться на земле. Однако одумалась, рванула кибитку и поплелась дальше.

Тем временем мы все пришли в себя. Алтер стал подгонять, по своему обыкновению, Фишка начал на свой манер, а я вслед за ним — истолковывать по-своему, и рассказ продолжался:

— Не буду особенно распространяться. Отправился я один по Одесскому тракту: авось встречу их или услышу о них что-нибудь. Однако все напрасно. Они словно в воду канули. Жизнь мне опостылела от вечных скитаний. Хотелось отдохнуть, посидеть на одном месте, как бывало раньше. Господь помог, и я добрался наконец до Одессы.

Первые дни в Одессе мне казалось, что я гибну. Я болтался одинокий, чужой, не зная, куда себя девать. Все здесь было для меня ново, все казалось диким. Богадельни, как в других еврейских городах, я здесь не нашел. Домов, в которых можно было бы побираться, тоже не оказалось. У нас, в еврейских городах, дома низенькие, без затей, без фокусов, с дверьми, выходящими на улицу. Стоит только слегка толкнуть дверь — и ты уже в доме. Никаких

церемоний — вот перед тобой как на ладони все хозяйство, все, что требуется для еды и сна. Нужна тебе вода — вот она. Нужно помойное ведро, — пожалуйста! Умывай руки и произноси молитву сколько душе угодно. Вот он — хозяин, а вот и хозяйка и вся семья. Говори: «Бог в помощь!» — протягивай руку. Получил милостыню, приложился к мезузе и шагай подобру-поздорову дальше.

К тому же и по наружному виду можно легко отличить еврейский дом. Кучка мусора, канава, окошко, стены, крыша так и кричат: «Это еврейский дом!» По одному запаху можно узнать, что здесь живет еврей... А в Одессе дома, с позволения сказать, какие-то дикие, несуразно высокие. Ход обычно через ворота во двор. А там изволь карабкаться по лестнице, искать двери. Нашел наконец дверь, а она, оказывается, заперта, вдобавок к ней для чего-то приделан звонок и разные финтифлюшки. Падаешь духом, чувствуешь, что ты беден, жалок, ничтожен... Стоишь с минуту пришибленный, потом набираешься храбрости и почтительно притрагиваешься к ручке звонка. Рука дрожит. Осторожно, едва касаясь, тянешь ручку вниз и теряешься, будто нагрубил кому-нибудь, обзвал нехорошим словом, выругал... Еле ноги уносишь... Отыщешь иной раз другой ход, но там на тебя налетает кухарка, слугитель или оказывается, что в доме живет не еврей. «Что это значит? — изумляешься ты. — Что это за город? Что это за дома? Куда девались наши нищие с торбами?»

Я бродил по улицам, внимательно присматривался ко всему, думал, что встречу кого-нибудь с сумой и расспрошу его о деле: как тут собираются? Но будто назло никто не попадался.

Однажды, когда я блуждал таким образом, я заметил издали молодого человека, одетого на немецкий лад. Шел он как человек, не знающий дороги, поглядывая на дома, переходя с одной стороны улицы на другую. Этот человек, подумал я, нездешний. Надо следовать за ним, посмотреть, что он делает. Вошел он во двор, я — за ним. Поискал он чего-то, а потом стал подниматься по лестнице, я — тоже. Входит он в переднюю, я — следом за ним и останавливаюсь у дверей. Прошло немного времени, выходит из внутренних покоев какой-то бритый господин, совсем как барин. По-видимому, хозяин. Молодой человек протягивает ему какую-то книжку, которую он вытащил из кармана, широкого и глубокого, как нищенская сума. Бритый взглянул на обложку и швырнул ее обратно, сердито поморщившись:

— Оставьте меня в покое с вашим барахлом! Мне это ни к чему!

Молодой человек стал убеждать, расхваливать себя, уверять, что он создал нечто замечательное. Однако все это не помогло, и он с позором вынужден был уйти.

Тогда подошел я, попросил без фокусов милостыню и, получив несколько грошей, поспешил уйти. На душе у меня повеселело. Теперь, думаю, я на правильном пути. Господь бог посылает ткачу пряжу, кабатчику — пиво, а нищему-чужеземцу — вожатого. Не надо упускать его из виду. Следую потихоньку за ним, как корова за теленком, — куда он, туда и я. Ему, несчастному, не везет, всюду отказывают. В одном месте говорят:

— Невыносимо! До чего они обнаглели!

В другом:

— Идите с богом! Не надо нам ничего этого!

В конце концов он уходит взбешенный, с пустыми руками, а у меня, не сглазить бы, дела идут недурно... Я беру грош, копейку, полторы — сколько дадут.

«Что это, — думаю я, — за нищий такой? В жизни мне ничего подобного и не снилось. Очевидно, здесь так принято — нищие с книжками. Новомодные побируши, да еще в немецком платье! Дурачье! К чему попрошайничать с книжками и получать кукиш, когда можно просто ходить по миру? Я поступаю, как деды наши поступали: хожу по домам без всяких штук и собираю больше, нежели иные с книжками». Но как бы то ни было, дураки они или не дураки, я пока что крепко ухватился за своего «книжника», потихоньку следую за ним по пятам и держусь как можно дальше, чтобы он меня не видел. Сначала это удавалось, но потом он, видно, заметил, что я плетусь сзади, и ему это не понравилось. Он стал оглядываться, останавливаться, стараясь избавиться от меня. Я прикинулся дурачком, стал смотреть якобы в сторону, будто не интересуюсь им и иду своей дорогой. Но про себя думал: «Нет, братец, ты от меня не отвертись! Если ты никому, даже себе самому, не нужен, зато ты нужен мне! Ходить по миру ты научил меня неплохо, умник мой дорогой!»

Наконец в одном из домов приключилась с нами такая история: хозяин собирался обедать, а в это время пожаловал мой нищий со своими книжками. Начался разговор — один хочет уговорить, другой отбояривается... Слово за слово, хозяин рассердился и не совсем деликатно указал моему «книжнику» на дверь. Но тут он заметил меня и послал нас обоих ко всем чертям. Общая участь невольно сблизила нас.

Спускаясь с лестницы, мой товарищ по несчастью смотрит на меня, сильно насупившись. Я отворачиваюсь и не знаю, как быть. Жду, пока он пройдет вперед. Стоим мы друг против друга несколько минут и оба чувствуем себя неловко. Наконец он спрашивает:

— Чего вы хотите?

— Ничего! — отвечаю я. — Того же, что и вы.

— Того же, что и я? — говорит он, удивленно окидывая меня взглядом с головы до ног. — Вы тоже автор?

Я решил, что «автор» — слово немецкое и что по-еврейски оно означает просто «бедняк», его товарищ по профессии. Поэтому я недолго думая ответил ему на том же языке:

— Да, автор.

— А что у вас вышло? — спросил он.

— У меня вышло совсем недурно! — ответил я, подумав: «Вам бы не хуже!», — грошей сорок примерно собрал.

— Как называется ваше произведение?

Опять, думаю, по-немецки! Он, очевидно, хочет знать, как меня зовут.

— Фишка! — говорю я коротко и ясно.

— Могу ли я иметь удовольствие познакомиться с Фишкой? — спрашивает он, умильно улыбаясь.

— Пожалуйста! С удовольствием! Я очень рад! — отвечаю я, дружески поглядывая на него.

— Ну, где же оно, ваше произведение?

— Да вот же я сам перед вами, помилуйте!

— Убирайтесь ко всем чертям! — крикнул он на меня в сердцах и, разозленный, убежал.

Выйдя из ворот, я увидел, что мой компаньон мчится как сумасшедший, убежал уже довольно далеко, затем неожиданно свернул в переулок и исчез. Я даже опешил и стоял как побитый, не понимая, что это за человек. Помешанный, что ли? То был так любезен, а то вдруг взбесился! Я, кажется, ничего плохого ему не сказал. Отвечал ему на его же языке. Новое несчастье! Какие-то «авторы»... По-нашему, по-еврейски говорят просто — нищий! А впрочем, ну его к черту!..

23

Прошло немного времени, и я с Одессой познакомился поближе, узнал все ее углы и закоулки, уловил секрет и научился двери открывать. Одесса — что табакерка с потайным замком: надо знать, какую пружинку нажать, — тогда она легко раскрывается, — засовывай пальцы и доставай добрую понюшку табаку.

Открылся передо мной непочатый край домов, пригодных для моего дела и ничем не хуже наших. Нищих оказалось сколько душе угодно, целые полчища *всяческих видов*: нищие с сумами и без сум, такие, каких нигде, кроме Одессы, не сыщешь: иерусалимские, сефардски²⁹, турецкие и персидские евреи, лопочущие по-древнееврейски; старики нищие с женами и без жен, которые на старости лет едут умирать в Палестину, а пока что кормятся, плодятся и живут на мирской счет; покинутые жены, истеричные бабы, ревматики, приезжающие лечиться на лиман; приживальщики старомодные, юлящие в синагогах вокруг прихожан попроще, приживальщики из нынешних, бритые, обхаживающие богачей и франтов в кофейнях и трактирах; бедняки, почтенные на вид, разодетые как богачи, а на самом деле без гроша за душой, и такие, за которыми числятся чуть ли не собственные дома и которые тем не менее из нищих нищие... Скольких нищих из наших краев я ни встречал, все они не могли нахвалиться Одессой, хотя я, собственно, не знаю, что хорошего они там нашли. Один из них объяснил мне, в чем разница между нашим, местечковым, и тамошним нищим. В местечке нищий ест сухую корку хлеба, озабоченный и мрачный, а здесь он хоть и грызет тот же сухарь, но при этом ему подыгрывает шарманка. Шарманка в Одессе играет большую роль. На улице — шарманка, дома — шарманка, в трактирах — шарманка, в комедии — шарманка, и даже в синагоге — прости господи! — тоже шарманка! В Одессе вечно суета, шум, сутолока. Шарманка визжит, Играет, поет, свистит... В трактире часто видишь — сидит пьянчуга, кричит, поет какую-то песенку про «красную девушку», а насупротив сидят захмелевшие евреи, напевают что-то субботнее или «Земля еси» на мотив портновского марша, весело и живо...

Шел я однажды по улице. Вдруг кто-то крепко ударил меня в спину. Я подумал, что кто-нибудь из прохожих второпях нечаянно толкнул меня, и решил не обращать внимания. Однако тут же последовал второй удар, точно поленом. Обернулся и вижу — Ионтл, «холерный жених», сидит на улице! Одной колодкой упирается в землю, вторую поднял и рад, счастлив, что встретил меня. Я тоже очень обрадовался Ионтлу. Мы с ним дружили еще в Глупске, и я был у него на свадьбе, на кладбище, во время холеры.

— Вот как, Фишка! — крикнул он, здороваясь со мной. — И ты у нас в Одессе? Хорош городишко моя Одесса, не правда ли?

Но увидав, что я морщусь и в особый восторг от Одессы не прихожу, он заявил мне, обиженный, как если бы я нанес оскорбление его родословной и задел его за живое:

— Уж не скажешь ли ты, что твой Глупск хорош? Вот уж подлинно забрался червяк в хрен и думает — слаще места нет... Погоди, я покажу тебе мою Одессу, послушаем, что ты тогда заговоришь!

Ионтл стал рассказывать о том, какое видное положение он занимает в Одессе. Все с удовольствием смотрят, как он передвигается при помощи своих колодок. К нему относятся с уважением во многих магазинах, милостыню подают ему с почтением, — грех жаловаться! Дела у него, не сглазить бы, совсем не плохи. Когда я спросил его о жене, он ответил с усмешкой:

— Ну и жену, с позволения сказать, дал мне Глупск! Что хорошего можно ждать от «холерной жены»? Холера могла бы ее забрать до того, как она ко мне попала. Казалось бы, у человека не хватает нижней губы! Тем не менее рот у нее работает — кричит, трещит, болтает, мелет что твоя мельница, почище другого с двумя здоровыми губами!..

²⁹ Сефардим — так называли евреев, проживавших на Пиренейском полуострове и в африканских странах.

«Жена, — подумал я, — это такая напасть, от которой ничего не помогает. Уж если она ведьма, она будет кричать, не имея даже обеих губ, не только одной, даже без носа будучи... А колотить тебя будет, даже если она слепая, безглазая...»

Я вкратце рассказал Ионтлу историю с моей слепой женой, все, что пришлось мне претерпеть от нее за последнее время.

— Дурачок ты! — говорит Ионтл. — Сделай то же, что и я: плюнь на нее, и дело с концом. Провались она к черту!

— Что значит — «плюнь»? Как это «провались она к черту» — без развода? Ведь я как-никак еврей, я жениться должен.

— Ах, вот как! Жениться? — говорит Ионтл, поглядывая на меня с усмешкой. — Эх ты! Настоящий глупчанин, честное слово! Ну, ладно! Поживешь некоторое время в Одессе, Фишка, тогда посмотрим...

С тех пор мы с Ионтлом встречались довольно часто. Вместе мы передвигались по Одессе — он на сиденье, а я на своих больных ногах. Ионтл все время старался показать мне свою Одессу, хвастал красивыми улицами, прекрасными домами и прочими такими вещами, как если бы все это было его собственностью и приносило ему какую-нибудь пользу. Каждый раз, показывая мне что-нибудь, он смотрел на меня с сияющим лицом и сопел от удовольствия. Можно было подумать, что чужой красивый дом или улица придают Ионтлу особый вес в моих глазах. Тормоша меня, он без усталости спрашивал:

— Ну, Фишка? Хорош город Одесса? Видал ты что-либо подобное в твоём Глупске?

— Послушай, Ионтл! — сказал я ему однажды, когда он мне здорово намял бока, указывая издали на бульвар, по которому гуляло множество людей и к которому он, как я заметил, почему-то не решался подойти поближе. — Ничего не скажешь, Одесса, конечно, город красивый... Жаль только, право, что людей здесь нет! Посуди сам, можно ли здешних жителей назвать людьми? Разве люди так одеваются, так живут? Ты взгляни только, как на твоём бульваре мужчины ходят с бабенками под руку! Ведь это же срам! Евреи бреют бороду³⁰, женщины не носят париков³¹, сзади у них волочится кусок платья, которым они улицу подметают, а спереди такой вырез, что вся грудь наружу. Фи, смотреть противно!.. Вот жили бы здесь наши евреи, глупские евреи, — тогда бы это был действительно город, и вид был бы у него приличный, и все бы здесь велось по-нашему, по добрым нашим обычаям, как полагается...

Ионтл молча передвигался рядом со мной, не зная, по-видимому, что ответить. По дороге встретилась нам пара прилично одетых людей, из «французов»³². Ионтл протянул руку. Один из них остановился, поговорил с ним и подал милостыню.

— Знаешь, Фишка, кто это такие? — с гордостью обратился ко мне Ионтл, сияя от удовольствия. — Вот тот, что подал мне милостыню, — старший меламед здешней талмудторы. Мой знакомый, понимаешь? Не правда ли, у него-то уж вид настоящий?

— Хорош вид! Всем бы моим врагам такую жизнь! — отвечаю я, сплюнув. — По виду этого меламеда можно себе представить, что у вас за талмудтора, с позволения сказать! Скажи, пожалуйста, Ионтл, как тебе не стыдно говорить, что это хорошо? Ты испортился, Ионтл! Стал таким же, как и все здесь... Вот это у тебя называется меламед? Да разве можно его сравнивать с меламедом нашей талмудторы, реб Герцеле-Мазиком? Реб Герцеле — еврей в полном смысле этого слова! Без него ничего в городе не обходится. Он всюду поспекает и делает свое дело солидно, с достоинством: на похоронах — он, жениха с невестой сосватать — опять-таки он, на кладбище Псалтырь читать — тоже он, параграф из талмуда растолковать — снова он... Когда он еженедельно ходит собирать пожертвования, ему деньги навстречу несут. А когда он со своими учениками ходит в праздники богачей поздравлять, ему всюду с почетом преподносят бокал вина для освящения... Вот это я понимаю! А твой «француз» — что? Как это будет, выглядеть, если такой вот станет Псалтырь читать п5 покойнику или произносить благословения? Как прозвучит в его устах освящение вина? Какой вид будет иметь его присутствие на похоронах, прости господи!..

— Ты глубоко ошибаешься, Фишка! — перебивает меня Ионтл. — Мой никогда ничего подобного не делает! Он и знать не знает о таких вещах!

— То есть как это он ничего подобного не делает? — удивляюсь я. — Где же это видано, чтобы меламед талмудторы не занимался такими делами? Как же это меламед не хоронит богачей, не...

— погоди, погоди, Фишка! — снова перебивает меня Ионтл. — Он хоронит их, только совсем на иной манер! Ничего, богачи не жалуются...

— Фи, фи! — кричу я, затыкая уши, чтобы не слушать.

Но Ионтл не отстает и продолжает:

— А знаешь, кто второй? Который шел с меламе- дом... Это важная шишка. Ворочает городскими делами вроде вашего Арн-Иосла Свистуна.

— Фи! Фи! — кричу я возмущенно, так что прохожие даже начинают оглядываться, — Это, по-твоему, важная шишка? Вроде нашего Арн-Иосла? Ты бы хоть рядом не упоминал их! Реб Арн-Иосл — еврей с бородой, с пейсами,

³⁰ Еврейская религия запрещает брить бороды

³¹ Согласно предписанию еврейской религии, замужним женщинам запрещалось показывать посторонним мужчинам свои волосы и ходить с непокрытой головой, поэтому они носили парики.

³² То есть из тех, кто одет по-европейски

благочестие у него на лице написано. У него хранятся деньги, общественные средства, средства разных братств и всякие другие деньги... Ему везде и всюду доверяют, на слово верят. Если он взял, значит, знает, что взял и как распорядиться взятыми деньгами. В этом отношении на него можно смело положиться. А твоему хлюсту кто станет доверять? На что глядя? На его «благочестие»? На подстриженные пейсы?

— Честное слово! — спорит со мной Ионтл. — Что с пейсами, что без них — одно и то же, уверяю тебя!

— Как бы не так! — отвечаю я. — Что ты хочешь мне доказать? Ладно там с твоим честным словом. Но как можно такого человека пригласить, скажем, восприемником при обрезании? Хорош восприемник, нечего сказать! Смеяться некому... Нет, если говорят, что на сорок верст вокруг Одессы пылает геенна огненная, значит, так оно и есть!..

— И все же, — язвительно говорит Ионтл, — я предпочитаю здешнюю геенну твоему глупскому раю!

Я потерял всякое уважение к Ионтлу. Одесса его испортила, и мы с ним часто спорили. То, что, по его мнению, было хорошо, на мой взгляд, было плохо, а то, что, по-моему, было хорошо, не нравилось ему. Не могли мы, например, никак столкнуться относительно большой синагоги, тамошнего кантора и раввина. Кантор, прости господи, носит какую-то хламиду, а богослужение совершает с хором! Добро бы он сам трудился, подпирал пальцем горло, держался за щеку, как наш кантор реб Рахмиел-плакса, ревел бы басом, потом срывался бы на фистулу, потом снова гудел бы басом, рубил бы слова, заливался, молил господа бога: «Отец родной! Батюшка наш! Горе мне!..», — вкладывал бы всю душу, истекал бы потом... Так нет же! Где там!

Сам кантор большую часть времени молчит, а чуть произнесет слово, певчие моментально его подхватывают, разжевывают, распевают на разные голоса, смешивают все в одну кучу, — и это у них называется петь хором! Никогда и не услышишь у них ни грустной, задушевной мелодии, ни чего-нибудь веселого. Ухватятся за строчку и возьмется с ней без конца! А вдобавок — смешно, право! — носят на руках свитки торы и ходят с ними вокруг амвона... Слыханное ли дело, чтобы в субботу носили тору, как в кущи?! Вы, пожалуй, спросите: а что же смотрит раввин? Как может он допускать такие вещи? Так ведь то-то и досадно, что раввин заодно с ними, лезет еще вперед, тоже в какой-то пелерине, с холеной бородкой, и выглядит... Фи! Казалось бы, смотреть тошно? А вот Ионтлу нравится!

— Помилуй, — кричу я, — Ионтл, что с тобой случилось? С ума ты, что ли, спятил? Ведь ты бог знает до чего дошел! Черт возьми тебя совсем!

А он смотрит на меня с сияющей рожей, шмыгает носом и твердит свое:

— Фишка, ты глуп! Не понимаешь ты, что хорошо.

Вот и толкуй с ним! Когда я убедился, что это дело пропащее, что Ионтл упрям и ничего с ним не поделаешь, я дал себе слово больше об этом не говорить. По мне, пускай его Одесса хоть перевернется! Меня это больше не касается.

— Послушай! — сказал я однажды Ионтлу. — Спорить с тобой об одесских порядках я больше не желаю. Ты упрям, и мне тебя не убедить. Поговорим лучше о более существенном. Хочу с тобой посоветоваться: как мне быть, как добиться какого-нибудь толку? Хождение по миру мне здорово опротивело. И без меня нынче достаточно нищих, они налетают на дома как саранча и скоро наводнят весь мир. Хозяева дуются, кричат. Невыносимо! Хорошо бы иметь какой-нибудь заработок. Посоветуй, за что бы приняться?

— Ни конторы, ни мануфактурной лавки, — отвечал Ионтл, — ты, я полагаю, открывать не собираешься? Чем же ты хочешь заняться?

— Ты не шути, Ионтл! — сказал я. — Давай говорить серьезно. Разве, кроме контор и мануфактурных лавок, никаких других дел нет?

— Что ты! — ответил Ионтл. — Дел сколько угодно!

Можно, например, взять на откуп коробочный сбор, сделаться старостой какого-нибудь братства, попечителем благотворительных обществ, втереться в руководство городскими делами, примазаться к каким-либо важным шишкам, во все вмешиваться, всюду совать свой нос... Однако, брысь! Все это, Фишка, не про твою честь! Давай-ка перейдем к профессиям сортом пониже. А что, если, например, торговать старьем? Очень многие кормятся этим совсем недурно.

— Нет! — объяснил я ему. — Ведь старье надо покупать, латать... Для этого требуются деньги, да и понимать нужно кое-что в этом деле. Это для меня трудновато. Будь то глупские исподники, к примеру, так еще с полбеды. Подумаешь, важность какая, если они немного порваны или не так аккуратно заплатаны. Но за одесские подштанники меня просто страх берет. С ними церемониться надо! Они уважения требуют! Шутка ли! К ним и притронуться боязно!

— Если ты так боишься одесских подштанников, — сказал Ионтл, — торгуй луком, чесноком, лежалыми лимонами, апельсинами и тому подобным. Но имей в виду, что здесь принято запрячься в тачку и развозить ее по улицам, выкрикивая нараспев свой товар.

— Кричать-то я умею неплохо! — ответил я. — На это я мастер. Но запрячься, как лошадь, и таскать тачку — это мне не по силам. И помимо всего вопрос опять-таки в деньгах. Откуда взять на это деньги?

— Послушай, Фишка! — серьезно заметил Ионтл. — Заработки без труда и без вложения капитала — это только те, о которых я тебе раньше говорил... Высшего сорта. Других я не знаю. Может быть, ты сам что-нибудь предложишь?

— Больше всего, — заявил я, — мне нравится баня. В глупской каменной бане, где я жил, мною были очень довольны. Для этого дела я годился. Если бы нэ моя злополучная женитьба, я бы там давно в люди вышел. Я бы уже высоко забрался. Если ты и в самом деле пользуешься уважением в Одессе, окажи мне такую услугу, дорогой Ионтл, помоги мне устроиться в какой-нибудь из здешних бань. Будь другом, Ионтл, покажи, что ты в силах сделать.

— Сейчас, Фишка, — улыбнулся Ионтл, — сейчас я тебе по этому поводу ничего не отвечу. Сходи, пожалуйста, и посмотри своими глазами здешние бани. А потом потолкуем.

Я послушался его, пошел в одну баню, в другую. Мне здесь показалось чудовищно странным. Ну что это за баня! Светло, чисто, как в какой-нибудь богатой квартире, стоят хорошие диванчики, в самом деле хорошие, честное слово! Выжаривать белье в такой бане — упаси бог! Ни одной развешенной рубахи не видать! Потеха, честное слово! «Нет! — подумал я. — В такой бане мне делать нечего. Это не про меня. Совсем не то. Не то удовольствие, что у нас в глупской бане. Там все это по-иному, там все как следует. Там нашему брату — рай земной! Лежишь себе в компании, растянувшись на скамье, беседуешь, слушаешь разные истории, узнаешь обо всем, что на свете творится. Так хорошо, приятно, наслаждение да и только!..»

Я походил некоторое время по баням, но все они не такие, как у нас. Дух совсем не тот, что в нашей каменной бане! А уж миква³³ в одесских банях и вовсе курам на смех. У нас в миквах воду сразу почувешь, у нее и вкус особенный, и цвет другой, она даже гуще обыкновенной воды. Запах сразу в нос ударяет... А в здешних миквах вода прозрачная, чистая, ну, просто вода, как и всякая другая, которую пить можно...

— Ну, Фишка? — спросил меня как-то Ионтл. — Видел ты здешние бани?

— Ну их! — ответил я. — Не о чем, право, говорить. Все у вас не как у людей, будто на смех. Нет, не про меня твоя Одесса!..

24

Хоть я и недоволен был Одессой, однако пришлось там перезимовать. Не мог же я пуститься в путь-дорогу зимой, разутый и раздетый, да еще один в чужой стороне.

Но как только солнце стало пригревать, как только потянуло весной, я лишился покоя, не мог усидеть на месте. Раньше, бывало, наступление лета меня нисколько не трогало. Лето как лето. Ничего особенного! Тепло, светло, дни стоят долгие, зелено кругом. Ну что ж, хорошо, нехолодно. Коровы уходят на подножный корм, значит, есть молоко, немного сметаны. Добавляется к хлебу зеленый лук, редиска, — все это для человека бедного большое подспорье, со счетов не сбросишь.

Однако на этот раз я совсем по-иному почувствовал весну. Не знаю, как бы это сказать, но она как будто обрела язык, говорила что-то моему сердцу, будоражила его, все время напоминая мне о ней, о моей горбунье... Каждая травка, каждое деревцо, щебетание каждой птички мне о чем-то рассказывали, передавали привет от нее. Я вспоминал: вот так она сидела со мной, так смотрела, так смеялась, так изливала свою наболевшую душу.

Взыграла во мне кровь, обуяла сладкая тоска, и что-то манило вдаль... Какое отношение все это имело к лету, оно ли было тому виной или нечто другое, вроде болезни, — не знаю. Знаю только, что все это было неспроста. Я таял, как свеча, на мне лица не было.

— Что с тобой, Фишка, ты болен? — спросил однажды Ионтл, глядя на меня, — что-то ты очень осунулся. Болит что-нибудь?

— Да так, пустяки! — отвечал я, хватаясь обеими руками за сердце.

— Сердце замирает? — спросил Ионтл. — От этого есть одно только средство: съесть натошак круто посоленный кусок хлеба.

— Мне и без того солоно! — сказал я, вздохнув. — Чувствую, что тянет меня куда-то, на месте усидеть не могу!

— Понимаю, понимаю! — сулыбкой отозвался Ионтл. — Тянет тебя в твой Глупск. Туда, где Гнилопятровка плесенью зацветает, где нужда песенки поет, где луком и чесноком разит. Не стесняйся, Фишка, шагай своим путем.

Несколько дней спустя я распрощался с Ионтлем и отправился пешком в путь-дорогу...

Мысли уносили меня на край света, сердце тянуло к ней. Я беспрестанно думал: где она, где она сейчас? Что поделывает, как живет ей, бедкой, одной, без меня? А ноги мои шли будто сами по себе, медленно шли по дороге в Глупск. Я проходил деревни и города и все время искал, смотрел по сторонам с одной только мыслью — не встречу ли я ее. Исходил я немало, повидал множество еврейских городов. По мере того как я приближался к Глупску, у меня становилось все легче на душе. Я оживал при виде евреев из наших краев. Их язык, их одежда, манеры, жизнь и обычаи — все это действовало на меня благотворно. Я почувствовал себя как дома, среди своих, близких мне людей. Нашенские евреи — действительно чудесные люди! Без церемоний, без затей, им дела нет до всего мира, до его глупых выдумок. Говори, кричи, делай, что твоей душе угодно, и все это просто, как бог велел. Кому какое дело, хорошо это или плохо, прилично или неприлично? А если кому-либо не нравится, пусть глаза закроет, пусть уши заткнет. Плюнь ты ему в рожу!

Я понемногу пришел в себя, успокоился, думая о Глупске, о каменной бане, и уповал на всевышнего.

В одно прекрасное утро шел я полем и забрел в огромный густой лес. Зашел немного поглубже, снял с плеч узелок, сбросил кафтан и растянулся под деревом в высокой траве, закрывшей меня со всех сторон. Словом, о чем

³³ Миква — бассейн для ритуальных омовений

тут раздумывать? Лес — как полагается быть лесу, деревья деревьями, трава как трава, птички как птички, а я — человек грешный... Почему бы, в самом деле, не вздремнуть, не отдохнуть малость с дороги? Потянулся, зевнул, закрыл глаза, и — послушайте, что мне приснилось.

Чудится мне шорох, будто слышу чьи-то шаги и хруст сухого валежника. Насторожился, прислушиваюсь, не открывая глаз. Шорох усиливается, шаги все ближе. Это начинает меня беспокоить, хочу раскрыть глаза, но веки отяжелели, лежу как скованный и двинуться не могу от усталости. Между тем шаги стихают, я успокаиваюсь, и меня одолевает он. Мысли путаются, становится как-то так хорошо, так приятно... Откуда-то доносится грустный напев, как будто знакомый... Мелодия проникает в душу, хватается за сердце, хочется плакать, и в то же время испытываю непередаваемое наслаждение. Так поют перед венцом: жениху с невестой и плакать и смеяться хочется, словно солнце и дождик в одно и то же время.

Вдруг кто-то хватается за волосы и вскрикивает. Я моментально просыпаюсь, раздвигаю руками траву и вижу неподалеку от себя на земле горшочек с земляничкой. Чуть подалее кто-то, кажется женщина, в испуге уползает от меня в траву. Я сразу понял, что произошло. Женщина эта, очевидно, собирала землянику, увлеклась, напевая песенку, и, неожиданно наткнувшись на мою голову, перепугалась. Я вскакиваю, беру горшочек и несу его к ней, вежливо говоря издали: «Ничего!..» Но только я подошел поближе, как горшочек вывалился у меня из рук. Я вскрикнул, растерялся, — и вот мы стоим оба, крепко сжимая друг другу руки, я и моя горбунья!

Это было наяву, а не во сне. Я смотрел во все глаза и совершенно отчетливо видел перед собою могучие деревья, птичек, порхающих по веткам, поющих и радующихся вместе с нами. Мы оба были счастливы и смеялись сквозь слезы, удивлялись, спрашивали друг друга, как мы очутились здесь, и говорили, рассказывали, что произошло с каждым из нас.

Она рассказала о тяжких муках, которые ей, бедной, пришлось перенести с тех пор, как вся орава год тому назад бросила меня в местечке. Это была проделка рыжего дьявола. Ему не хотелось, чтобы жена со мной развелась: он знал, что она тут же начнет приставать к нему и требовать, чтобы он на ней женился. Ему нужна была слепая, но иметь слепую жену он не хотел. Любезничать с ней и извлекать из ее слепоты доходы он был не прочь, а мужем ее пусть будет другой. К тому же была еще одна причина, чтобы всячески отравлять мне жизнь и не допускать, чтобы я стал свободным человеком, — он был очень недоволен моей дружбой с горбуньей. Эта дружба ему покоя не давала, и он пускал в ход все средства, лишь бы не дать ей развиваться... Избавившись от меня, он понемножку забрал мою жену в свои лапы и показал ей потом, где раки зимуют, отлично понимая, что ей из его рук не вывернуться. Ибо что может слепая поделывать одна? Потом она ему порядком надоела. Он передал ее старикашке, чтобы тот ходил с ней побираться, ломая комедию, как раньше со мной.

Рыжий черт испортил ей немало крови. Он измывался над ней, бил ее, а старикашка в свою очередь учил ее уму-разуму... За короткое время она превратилась в старуху, отощала.

В течение всего года банда таскалась из одного города в другой. А нынче на рассвете расположилась на отдых здесь в лесу. Моей горбунье вздумалось ягоды собирать, и вот — заканчивает она с улыбкой свой рассказ — она нашла хорошую ягоду, меня самого!..

Я со своей стороны рассказал ей все, что произошло со мной и как я сегодня утром попал сюда, направляясь в Глупск. Мы решили отныне больше не расставаться и приложить все усилия к тому, чтобы моя жена дала развод. Если же она, не дай бог, не согласится, мы с горбуньей от этой банды удерем, а дальше — как бог даст...

Так сидели мы, разговаривали и не могли нарадоваться, глядя друг на друга. В это время из чащи леса донеслось: «Ау!»

— Это кто-то из наших! — сказала горбунья. — Меня ищут.

Минуту спустя подошел какой-то тип, которого я сразу же узнал. Он искоса взглянул на меня и насмешливо улыбнулся. Мы немедля поднялись и пошли. Он побежал вперед, спеша, очевидно, сообщить добрую весть, а мы не торопясь следовали за ним. Позади ветхой, полуразвалившейся корчмы, поодаль в лесу, увидел я знакомые кибитки, а еще дальше, на поляне, окаймленной деревьями, костёр. Вся орава сидела вокруг огня и развлекалась.

Первым приветствовал меня рыжий.

— А-а! Какой гость! — развязно и громко начал он. — Как живете-можете? А уж я-то без вас соскучился, реб Фишл! Вслед за тем послышались голоса:

— Давайте приветствовать «богача»!

И со всех сторон посыпались приветствия, сопровождаемые щипками и ударами в спину, так что у меня даже шапка с головы слетела. Верчусь во все стороны, разыскивая шапку, прикрываю голову полой кафтана, а удары на меня так и сыплются... В это время подбегает с радостным криком моя жена:

— Где он, где мой муж? Где? Где Фишка?

Ее радость ужалила меня сильнее, нежели щипки, которыми встретили меня бандиты. В мои расчеты такая радость вовсе не входила: она подрывала все мои надежды на развод. «Лучше бы ты меня ненавидела так же, как и вся эта свора», — подумал я. Но жена будто назло повисла у меня на шее, приговаривая: «Фишка! Мой Фишка!» Мне прямо дурно стало при виде ее: слепая, тощая, бессильная старуха! Куда девалась ее дородность, здоровье, ее круглое лицо? Пришлось сделать над собою усилие, чтобы спросить хотя бы из приличия:

— Как ты поживаешь, Бася?

— Ты был прав, Фишка, когда говорил, что в Глупске мы оба, слава богу, пользовались добрым именем, что

там все меня знали и уважали! — сказала она громко, во всеуслышание, с гордым видом разорившегося богача, рассказывающего о своем величии в былые годы.

— Довольно скитаться, — добавила она, глубоко вздохнув, — домой, домой! Веди меня, Фишка, обратно в наш город к нашим домам, к нашим хозяевам!

У меня в глазах потемнело от ее речей. Этого я никак не ожидал. Я сильно поморщился. Рыжий дьявол тоже скривился, видимо полагая, что я готов ухватиться за это добро и лишиться его доходов. А я думал: «Пожалуйста, оставь ее себе, уступаю от всего сердца!..»

В нем кипела злоба, глаза у него налились кровью. Свирепо поглядывая на меня, он поднялся с места, заворчал и ушел разъяренный.

Бабы и девицы возлились возле огня, что-то готовили, подкладывали хворост, пекли картошку. Тут же стояли парни и заигрывали с ними, похлопывали их, щипали, отпуская при этом шуточки. Женщины притворно сердились, будто бы готовые глаза им выцарапать, обругать или проклясть, но тут же разражались хохотом и давали себя ловить, как куры, когда петух, волоча по земле распростертые крылья, дарит их благосклонным взглядом, а они охотно подставляют свои головы под удары его клюва. Часть нищих разбрелась по лесу. Один лежал на животе и храпел, другой чинил кафтан, третий почесывался, ощупывал себя и искал чего-то с серьезным видом. Кто-то с кем-то боролся, пробовал свои силы. Все шумели, смеялись и были очень оживлены...

Жена крепко прижалась ко мне, вцепилась в меня обеими руками — прямо-таки одно тело, одна душа, и без умолку говорит, жалуется на свою горькую долю, рассказывает, как тяжело ей жилось, сколько она перетерпела, требует, чтобы я обязательно забрал ее отсюда и жил с ней, как полагается, до самого гроба. Я отвечаю через пятое в десятое. Слова застревают у меня в горле, хочу как-нибудь ускользнуть от нее.

Когда мы с ней довольно долго так просидели и она наговорила досыта, мне наконец удалось отвязаться от нее и вздохнуть свободнее. Я сейчас же разыскал мою горбунью и потихоньку отошел с ней в сторонку.

Мы сразу же должны были признать, что дела наши обстоят очень скверно. О разводе с женой даже мечтать не приходится: она и слышать об этом не захочет. Остаться здесь с этой шайкой — и того хуже. Это значит просто продать себя дьяволу, снова сделаться медведем и плясать на задних лапах. Как же быть?

Мы долго думали и порешили, что — ничего не поделаешь! — придется бежать. А так как банда собирается здесь ночевать, то вернее всего сделать это нынешней ночью, здесь же в лесу. Более подходящего места и времени и представить себе нельзя. Сидя и обдумывая план побега, мы увидели издали рыжего выродка с какой-то парой лошадей.

— Не станем дожидаться, пока он подойдет поближе! — говорит горбунья. — Не надо, чтобы нас видели вместе. Давай загодя разойдемся.

Она ушла в одну сторону, я — в другую.

Рыжий, чем-то очень озабоченный, все время шептался со стариком — своим главным помощником. Я старался не попадаться ему на глаза и держался в сторонке. Моя горбунья улучила минуту, когда вся компания развеселилась и была занята своими делами, — подойдя ко мне, она шепнула на ухо, что рыжий намерен еще до захода солнца двинуться дальше в путь. Лошади, которых он привел, краденые, потому он, очевидно, и торопится убраться отсюда...

Весь план рушился. У меня даже руки опустились, я не знал, что делать. От досады так защемило сердце, что голова закружилась и я еле держался на ногах. Моя горбунья смотрела на меня с жалостью, глаза у нее горели, лицо пылало, и после минутного раздумья она с дрожью в голосе сказала:

— Фишка! Будь немного позднее в развалившейся корчме, на чердаке. Понимаешь?

— Понимаю, понимаю! — живо ответил я, подскочив от радости. — А ты потом туда придешь?

— Да. Тише! — проговорила она, утвердительно кивнув головой. — Да. Только, ради бога, тише. Слышишь?

Я не считал для себя обязательным прощаться со своей женой. Хотя, вообще говоря, ее было жалко. Но кто же виноват? Она первая подорвала наши отношения, а потом отчужденность между нами все росла и росла. Пропало! Что мне было делать? Да и помимо всего прочего я просто не мог больше быть с ней, не мог и сойтись с ней, как не может сойтись небо с землей. Я, понятно, «забыл» попрощаться и потихоньку направился к развалившейся корчме.

Каково было мое состояние, когда я вошел туда, понять не трудно. После стольких мук и страданий богу угодно было свести меня с горбуньей в какой-то заброшенной корчме. Здесь должна была решиться наша судьба, и с этой минуты нам предстояло начать новую жизнь...

Взобраться на чердак мне особого труда не стоило.

Домишко был низенький, задняя стена сеной склонилась чуть не до земли. Потолок местами прогнил, и с чердака сквозь большие щели можно было видеть, что делается в доме. Забился я в уголок и жду. Сердце стучит молотком. Каждая минута кажется годом. Прислушиваюсь к малейшему шороху. Шевельнется где-нибудь соломинка, а мне чудятся шаги, ее шаги... В каждом дуновении ветерка мне слышится зов, ее зов... Вдруг доносится до меня снизу чей-то голос. Мысль, что это она, что вот она пришла, что сейчас, сейчас мы будем на свободе, — эта мысль меня бросала то в жар, то в холод. Хочу окликнуть ее, но у меня дыхание захватило, язык не повинуется.

В то же мгновение я действительно довольно четко услышал свое имя и сквозь щель в потолке увидел... Но кого? Рыжего дьявола со старикашкой!

Они беседовали.

— Ты возьми на себя твоё сокровище! — говорил рыжий. — Смотри, как бы слепая ведьма не ускользнула. Понял?

— Не беспокойся! — отвечал старикашка. — Я своё сделал. Боюсь только, как бы она не подохла. Эта старая ружлядь валяется теперь, как мертвая, и двинуться не может, — так я её отколотил.

— А хромую гадину, — сказал рыжий, — я беру на себя. Видеть не могу его противной рожи, ненавижу! Я с ним поквитаюсь, будь уверен! У нас с ним старые счёты.

У меня кровь застыла, когда я услышал такие страшные слова.

— Видать, — сказал старикашка, — кони, которых ты увёл, — еврейские. Тощие, забитые, в колтунах. Хребты у них кривые, шеи худые, да ещё геморроем страдают, — ни дать ни взять наши святоши!

— Чтоб у тебя язык отвалился, старый хрыч! — выругался рыжий. — Поди лучше посмотри, собака этакая, в сенях, на чердаке, — не раздобудешь ли тут какое-нибудь извозчицье барахло, которое могло бы нам пригодиться. Ведь тут как-никак был когда-то заезжий двор, с позволения сказать.

Меня холодный пот прошиб, мне стало дурно. Одна нога стала дрожать и невольно ударила по настилу. Те оба подняли глаза и с минуту стояли ошеломленные. Потом оба в один голос сказали:

— Что-то сыплется с потолка! Надо посмотреть.

У меня голова кругом пошла, зазвенело в ушах, поплыло перед глазами, и я точно повис в воздухе...

Да, в воздухе. Две железные руки подхватили меня и швырнули с чердака наземь. Я услышал радушное приветствие:

— Добро пожаловать, реб Фишл!

Увидел перед собою рыжего и ужаснулся: он был похож на кошку, которая собирается задушить мышонка. Старикашки я уже не видел. Он, видно, ушел, оставив нас наедине.

— Ну, тварь этакая! — сказал рыжий дьявол. — Читай исповедь!.. То, что я должен был сделать с тобой когда-то там, в погребке, придется сделать сейчас. Файвушка ничего не забывает!

Я пал к его ногам, стал плакать и молить пощады, как у разбойника. Не помогло. Он достал нож и стал водить им перед моими глазами, с наслаждением взирая, как я весь трепещу. Я пытался уговоривать его, сулил ему загробную жизнь, весь мир, обещал уступить ему свою долю царствия небесного, все что возможно. Но он тарасил на меня глаза и молчал. Тогда я стал пугать его адом, божьим судом, говорил, что бог его накажет, отомстит за невинно пролитую кровь. Он плотно сжал губы и высоко занес нож...

Но в эту страшную минуту, когда нож должен был вот-вот опуститься, кто-то схватил его сзади с нечеловеческим криком:

— Нет! Нет! Ты этого не сделаешь!

Он растерялся и в ужасе стал озираться по сторонам.

Его схватила горбунья.

— Вон, мерзавка! — зарычал рыжий, придя в себя. — Вон отсюда! Не то...

— Нет! Нет! Я отсюда не уйду! Убей и меня вместе с ним! — кричала она и, упав к нему на грудь, стала плакать горячими слезами, ласкать его, умолять, чтобы он меня отпустил. Она прочила ему вечную жизнь и место в раю. Рыжий отшвырнул её от себя, как мячик, ругаясь и проклиная на чем свет стоит.

Когда злоба его немного стихла, он обратился ко мне:

— Очень жалею, что я тебя, дрянцо этокое, собственными руками не укокошил! Но уж если тебе посчастливилось и я тебя, гадину, не раздавил, как вошь, то так просто ты из моих рук все-таки не уйдешь!

Он взял веревку, которой был подпоясан, и связал меня по рукам и ногам, приговаривая:

— Лежи тихо, собака, чтоб и духу твоего не слышно было! Лежи, пока не подохнешь. Но помни, гадина! Если с тобой случится чудо, если бабушка какая-нибудь на том свете за тебя похлопочет и тебе удастся уйти отсюда живым, — берегись, не попадайся мне больше на глаза — в ту же минуту прикончу!..

Разделавшись со мной, он принялся за горбунью, которая лежала на земле, рыдала и, глядя на меня, рвала на себе волосы.

— А ты, потаскуха! — крикнул рыжий, пнув её, бедняжку, ногой. — Я знаю, я понимаю все! Сговорились! Свадебку без музыки справить хотели здесь, на чердаке... Хороша девочка, нечего сказать! А передо мной ломалась, святошу из себя корчила... Теперь ты у меня узнаешь, мерзавка этакая!..

Он схватил её на руки и, обернувшись ко мне, сказал:

— А ты молчи, собака! Помни мои слова!

И вместе с ней тут же исчез.

В аду не терпят столько мук, сколько я вытерпел. Не я был в аду, — ад был во мне. Внутри меня все клокотало, пламя сжигало меня. Волосы на голове дыбом вставали. Я чувствовал, как они, точно булавки, вонзаются мне в череп... А тут ещё и плакать громко нельзя!..

Прошло немного времени, и до ушей моих донеслись звуки: скрип колес, шум, крики... Это означало, что банда снялась с места, двинулась в путь... А вместе с этими выродками — моя душа, моя хорошая, моя бедная, несчастная горбунья...

Я долго лежал, как немая овца, связанный, с распухшими от горячих слез глазами. Веревка впивалась в тело и при малейшем движении резала, как ножом. К тому же меня мучила жажда. «Вот, — думал я, — конец приходит».

От невыносимой боли я стал кричать — авось кто-нибудь услышит. Банда, по моим расчетам, должна была уже отъехать довольно далеко. Я кричу, но все напрасно. В горле пересыхает, меня охватывает ужас. Кричать становится все труднее, приходится делать передышку... Положение с каждой минутой ухудшается. Нет больше сил кричать. Душа, чувствую, уже еле держится в теле, смерть пришла за ней... Приходится умереть молодым, проститься с жизнью. Собрал я все свои силы и подумал: в последний раз крикну, — пусть прозвучит трубный глас моей злополучной жизни...

Но тут бог принес вас, реб Алтер! Вы помогли мне в беде и спасли мою жизнь.

25

Была уже ночь, когда Фишка закончил свою печальную повесть.

Наши лошади дотащились до Зеленой горы, что под самым Глупском.

Зеленую гору под Глупском знает чуть ли не весь мир. С незапамятных времен о ней сложена песенка, которую знает и стар и млад, а матери и няньки унимают и укачивают ею младенцев. Моя мать, царство ей небесное, тоже, бывало, пела мне эту песенку:

На горе крутой,
Во траве густой Немцы-лиходеи,
На людей глаза,
День и ночь стоят,
Плетью им грозят.
Боже, наш владыка...

Песенка эта мне очень нравилась, гораздо больше других.

Моему детскому воображению Зеленая гора рисовалась изумительно красивой! Мне казалось, что она не просто из земли, как прочие холмы вокруг моего родного местечка. Нет! Это, казалось мне, должно быть чемто необычайным... Вроде Масличной горы или горы Ливанской.

А немцы, да простят они меня, представлялись какими-то чудовищами — не то коровами, не то быками... Они хлещут длинными кнутами и никому подойти не дают к Глупску, как река Самбатьен — к красноликим израильтянам... Кто хочет войти в Глупск, вынужден подвергнуться удару кнутом... И все в Глупске выглядят как набитые дураки...

Позже, когда я вырос из детских одежек и побывал во многих городах, в том числе и в Глупске, я на все стал смотреть иными глазами и понял как следует смысл этой песенки. Зеленая гора — попросту гора, и даже не столько зеленая, сколько грязная и ухабистая.

А под немцами-великанами подразумеваются люди с длинными руками и липучими пальцами, которые обворовывают приезжих, забирая последнюю котомку. Вошло уже в обычай в первый раз приезжать в Глупск без котомки. Наученные опытом, люди начинают беспокоиться еще за несколько верст до Глупска. Глаза невольно обращаются к задку кибитки, руки ощупывают котомку, боковой карман, застегивают кафтан на все пуговицы. Я хочу этим сказать, что, подъезжая к Зеленой горе, мы всем существом, даже носом, почуяли приближение Глупска. И лишь спустя некоторое время, когда мы хорошенько огляделись по сторонам и ощупали все, что лежало в кибитках, я вспомнил о Фишке и увидел, что он сидит грустный, глубоко опечаленный.

Я принялся его утешать, подбадривать, притворяясь веселым, и закончил свои утешительные речи словами из второй части все той же знакомой песенки:

Боже, наш владыка,
Радость многолика,—
Весело споем,
Душу отведем.
Будет брага литься,
Будем веселиться,
Будем пить, гулять,
Бога величать!

— Не горюй, Фишка! Бога нашего никогда забывать не следует. Он может помочь.

— Я, реб Менделе, спрашиваю вас только об одном! — с грустью отвечает Фишка. — Зачем понадобилось богу снова столкнуть нас? Неужели только для того, чтобы тут же разлучить? Чтобы счастье нам лишь на миг сверкнуло? Чтобы Потом нам еще темнее стало? Будто назло!.. И, господи ты боже мой, кому назло? Двоим несчастным, горемычным калекам, которым гораздо лучше было бы и вовсе не родиться, нежели так жить, так мучиться и страдать!..

Я корчу благочестивую мину и, покачивая головой, произношу:

— Те-те-те!

Это должно означать: «Таких вещей говорить нельзя!»

Произнес я это «те-те-те» не потому, что считал это удовлетворительным ответом на вопрос Фишки, а потому, что так уж водится: если кто-нибудь с горя начинает задавать каверзные вопросы, другой должен читать ему мораль и отвлечь его хотя бы таким вот «те-те-те». Отдав из приличия дань нравовучению, я обратился к Фишке уже по-человечески с вопросом:

— Скажи мне, Фишка, а как звать эту девушку? Ты все время говорил: «горбунья», «моя горбунья»... Хотелось бы мне знать, как ее имя?

— К чему это, реб Менделе? — ответил Фишка, с удивлением глядя на меня. — Зачем это вам знать? К чему зря выдавать девичье имя?

— Видишь ли, глупенький, — заметил я, — это может пригодиться. Я ведь постоянно разъезжаю: может случиться, что мне удастся кое-что пронюхать. Лучше, если я буду знать ее имя. Понимаешь, мало ли что! А вдруг твоя пропажа благодаря мне и отыщется.

— Бейля зовут ее! — сказал Фишка, обрадовавшись. — Ее зовут Бейля.

Внезапно раздался тяжкий стон и стук, будто что-то оборвалось. Это заставило меня испуганно оглянуться: мой Алтер лежал, растянувшись на возу, бледный как полотно и тяжело вздыхал.

— Что с вами, реб Алтер? — спросил я. — Может быть, рюмочку водки дать? Вам дурно?

— Бе!.. — ответил Алтер и, собравшись с силами, уселся вновь.

— Скажи-ка, Фишка! — продолжал я, успокоившись насчет Алтера. — Не знаешь ли ты, как звали ее мать, откуда она?

— Знаю! — сказал Фишка. — Моя горбунья рассказывала, что мать ее звали Элькой. Она как сквозь сон помнит, что мать развелась с мужем в Тунеядовке. Мать об этом не раз вспоминала, вымещая свою горечь на несчастной дочери.

— В Тунеядовке? — удивился я. — Кто бы это мог быть ее муж, злодей с каменным сердцем, отвергший свое родное дитя и сделавший его таким несчастным? Может быть, вы, реб Алтер, знаете у себя в местечке, кто это такой?

Алтер сидел ни жив ни мертв, выпучив глаза. Смотрел как-то дико, раскрыв рот... Я пришел в ужас.

— Его звали... — Фишка тер лоб, силясь вспомнить имя. — Его звали, кажется... погодите-ка...

— Алтер зовут его! — вскрикнул Алтер и упал.

— Да, да! Верно! — сказал Фишка, глядя на Алтера и не понимая, что означает его крик. — Кажется, еще и прозвище какое-то было у него, — Якнегоз! Мать, когда ей приходилось плохо, когда она лишалась места, истязала свою дочь, била ее и при этом звала ее «Якнегозиха, Якнегозово отродье!».

Но я уже догадался, что все это значит, и сидел ошеломленный.

Алтер всхлипывал и колотил себя кулаком в грудь, приговаривая:

— Воистину грешен! Это я отравил ей жизнь. Она права была, бедная: «Отец ее зарезал»... Божье наказание преследует меня за это вот уже сколько времени. И за что бы я ни принимался, все идет прахом.

Я из жалости стал утешать моего Алтера, успокаивать его, стараясь по мере сил заглядеть кое-как его вину: ведь он всего только человек, плоть и кровь. Бес, сидящий в нас, грешных людях, очень силен. Даже большие праведники и те в подобных делах... бывали не безгрешны и не всегда могли устоять против соблазна... Очень многие из наших патриархов, праведников были сущими тряпками, находились у жены под башмаком, делали все в угоду ей и даже прогоняли своих детей от первой жены, если вторая этого хотела.

Фишке все приключившееся казалось странным. Он сидел, широко раскрыв удивленные глаза, дико смотрел на Алтера, на меня и не знал, что делать.

Между тем наступила ночь. Звезды в небе мерцают, щурятся, кивают, будто принимают участие в нашей беседе и желают что-то сказать. У самого края неба, словно из-за земли, выплывает огромная, огненно-красная луна. Кажется, что она глядит прямо на нас. Все оттуда, сверху, как будто смотрит на нас и ждет, чем кончится вся эта история...

Мой Алтер быстро встает, поднимает глаза к небу и говорит с воодушевлением:

— Клянусь предвечным, что не вернусь домой к своей жене и детям, не выдам замуж свою дочь, пока не разыщу свое покинутое дитя! Небо и земля да будут мне свидетелями! Я сейчас же еду, и горе, горе тому, кто встанет на моем пути!..

Фишка бросается к нему на грудь, обнимает и целует его молча, без слов. Потом, придя в себя, он со слезами и мольбой в голосе говорит:

— Ради бога, спасите, спасите ее!..

Алтер быстро слезает, перебирается в свою кибитку и, попрощавшись с нами издали, поворачивает оглобли, настегивает клячу и уезжает.

Мы с Фишкой долгие минуты смотрим ему вслед, не произнося ни слова. Потом я бросаю взгляд на небо. Луна и звезды продолжают свой путь, но глядят они сейчас по-иному, совсем не так, как прежде: высоко-высоко, торжественно, далеко от нас, людишек. Становится как-то грустно, невесело на душе...

Нахлестываю своего орла, заставляю его прибавить шагу, — и поздней ночью моя кибитка катится по ухабистым улицам Глупска с грохотом и стуком, возвещая жителям:

— Да будет вам известно: еще два еврея прибыли в Глупск!

Из романа **Дос Штернтихл**

Всякий, кто знаком с нашей русской Польшей, знает, что такое маленькое местечко. Маленькое местечко — это нескольких домишек. Там каждые две недели торг по воскресеньям. Евреи торгуют водкой, зерном, рядом для мешков или дегтем. Есть там обычно и такой еврей, что стремится выбиться в цадики.

Городом называется место, в котором есть пара сотен каркасных домов, ряд каменных лавок. Там есть один новоиспеченный большой богач, несколько богатых лавочников, несколько коммерсантов, которые торгуют сельскохозяйственными продуктами: орехами, воском, медом и холстом, несколько крупных дельцов, которые оперируют частью деньгами больших богачей из половинной доли, а частью — деньгами богатых арендаторов, живущих в окрестностях города. В таком городе есть помещик («князь») и его усадьба. Ему принадлежит город и десяток окрестных деревень (это называется «ключ»). Кто-нибудь, кто пользуется уважением в помещицкой усадьбе, держит городскую аренду или даже аренду всего «ключа» в придачу. Есть в таком городе и крепкий еврей, состоящий в дружбе с капитаном-исправником. Есть там и сутяга, таскающий город и общину по местным судам, иногда доходя и до губернского. Помещик стремится заполучить к себе в город на жительство «хорошего еврея», чтобы был там хасидский ребе, поскольку от того, что евреи ездят к нему, увеличивается продажа водки, пива и медовухи. Все это принадлежит помещику — и он получает доход. Есть в таком городе содержатель винного погреба, часовщик и доктор, канторы бывший и нынешний, фактор, сумасшедший, брошенная жена, общинные служки и сарвер. Есть в таком городе и братство портных, погребальное братство, братство изучения Мишны и беспроцентное ссудное товарищество. В таком городе есть синагога и бесмедреш, иногда еще и клоыз или хасидский штибл. И если вдруг кому-то взбредет в голову назвать такой город местечком — то это наглец или дурак.

Большим городом называется место с парой тысяч домохозяев, с каменными домами помимо каркасных. Это уже совсем другое дело. Здесь иной может похвастаться, что при встрече с жителем другой улицы он его поприветствовал, приняв его за чужого. Да и правда, кто в таком большом городе может отличить своего от чужого? Там так много народу, что невозможно знать всех.

(перевод М. Крутикова)

Молодой человек вдруг попадает из русской Польши в Германию, причем напрямик в большой город вроде Бреслау — как же странно и непривычно ему поначалу!

Михл однажды уже выезжал из родного Лойгойополя — ездил в Бердичев на свадьбу. Его, проворного помощника меламеда, взял с собой в качестве прислуги лойгойопольский богач, и за это заплатил ему 8 рублей серебром, не считая еще 6 рублей подарка.

Что же увидел Михл в Бердичеве — большом городе? В десять раз больше грязи, чем в Лойголополе, в 15 раз больше ободранных женщин и обтерханных мужчин и в 38 раз больше нищих, которые хватают тебя за края одежды, в 40 раз больше телег, запряженных лошадьми. Все толкаются, куда-то быстро бегут, гонятся один за другим. Один ругается, другой дерется, десятеро ссорятся, пятеро кричат:

— Здравствуйте, как там у вас?

Всем некогда: один зацепился за колесо — и вот уже половина кафтана выдрана, сбоку кричат: «Поздравляем!», гремят жестяные коробки для пожертвований — «Милостыня спасет от смерти!», — тут же прямо на улице танцуют с халой перед невестой, играют клезмеры. Нищие с длинными палками в руках просят пожертвований, еще десятеро носятся с криком: «Держи вора, убегает!...»

И вот Михл увидел Бреслау. Город без грязи. Ни одного оборванного человека на улице. Все одеты, как панове, чисто и красиво. Даже ступеньки при входе в здания чисто вымыты, у дверей лавок никто не кричит: «Заходите, покупайте!»

И еще более удивительная вещь. Говорят, в Бреслау живут 10 000 евреев — а Михл до сих пор не видел ни одно-

го, кто был бы похож на еврея из Лойгойополя или Бердичева. А когда он спросил кого-то – ему рассказали, что евреи здесь тоже ходят одетые, как паны. Он все не мог взять в толк: как это паны могут быть евреями? А после, в субботу, он пошел в синагогу и увидел и услышал, как тут молятся. Каждый стоял на своем месте и молился, глядя в сидер. Михл даже специально заглянул в сидер – такой же! Своя, родная, привычная молитва, не сефардские какие-нибудь сидеры, все начинается с «Ма тойву». Вот стоит перед амвоном человек – но он не завывает и не бьется. Все тихо стоят на своих местах, серьезно молятся – и ведь это точно евреи! Женщины ходят разодетые, как аристократки, и говорят друг другу «Доброй субботы».

Вот суббота исходит, наступает воскресенье. Михл видит, как тысячи немков и немцев, от мала до велика, чисто и празднично одетые, отправляются куда-то загород. Но куда? В бесмедреш – нет, здесь нет привычных грязных бесмедрешей. На ташлах – тоже не может быть. Или это приехал губернатор или какой-нибудь новый князь?

В толпе Михл увидал еврея, у которого остался на субботнюю трапезу, – ну чистый граф! – с женой *пидбоком* – тоже одетой как графиня! Они вместе со всеми направляются загород. Михл подошел и спросил:

– Куда это все идут?

– Коммт, полак, хальтен зи унз фрай! – Идите с нами, поляк, сойдете за одного из наших! – отвечают ему.

Хоть Михл и не понял, что ему сказали по-немецки, он пошел вслед за всеми. Они добрались до большого, просторного сада. Туда все входят парами – и даже вместе с детьми. Пожилые евреи, которых Михл видел в синагоге столь серьезно молящимися, называют его «либихс гортн». Молодые люди, с которыми он шел, говорят:

– Ну, полак, хир ист дер гартен, волен зи унз фрай хальтен?

И тут Михл догадался, что то, что молодые называют «гартен» [*сад – нем.*], у стариков называется «гортн» [*огород – идиш*]. «Огород? – думает он. – На что мне огород, где растут всякие огурцы, кукуруза, свекла или даже вишня с черешней или груши, а то и сливы с яблоками?» – и неуверенно кивает:

– Йа...

«Да? Или нет?»

Хозяин, приютивший его вчера на субботнюю трапезу, хлопает его по плечу и приглашает в сад. Кивает жене – и та проводит его через ворота.

И вот Михл внутри. Он вместе со всеми панями прошел через красивые ворота! Из почтения он снимает шапку (сподек он убрал, как только приехал сюда, а вместо него купил себе картуз), но хозяева смеются и показывают ему, что здесь никто не снимает головных уборов – и он тоже может остаться в шапке.

Оказывается, что здесь, в саду, в «либихс гортн», нет никакой свеклы и кукурузы, и даже слив с грушами – и тех нет. А есть большая площадка, обсаженная какими-то штуками – такими, как на праздник сукес, но они не сорваны, а еще растут. Дальше – большие и маленькие деревья. Очень красивые, высаженные рядами или кружками. А между деревьями стоят столы, а рядом – скамеечки. И вокруг – публики не счесть, все пьют кофе и платят мальчишкам, которые приносят подносы с чашками, кувшинчиками кофе и молока и с сахаром, всего ползлотого. У нас за столиками сидят господа и дамы с детьми, пьют бутылочное пиво из красивых стаканов – и платят того меньше.

– Ах, как дешево! У нас в Лойголополе, – думает Михл, – стакан старой браги и тот стоит дороже!

<...>

Михла все это изумляет: как же так, всего один польский золотый – и он оказался в раю, среди господ и их хорошеньких дам! Он пил пиво, хозяин с очаровательной хозяйкой угостили его пивом; клезмеры играют – и красиво играют, в тысячу раз лучше, чем Ицикл Ливак из Лойголополя! И еще он гулял в раю целых два часа! И все это стоит всего один польский золотый! Вот как, оказывается, здесь люди живут... «А у нас живут как свиньи!» – говорит себе Михл.

(Перевод А. Полян)

ШОЛЕМ-АЛЕЙХЕМ (1859—1916)

Из цикла «Менахем-Мендл»

«ЛОНДОН»¹ (Одесская биржа)

I. Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку²

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я просто не в состоянии описать тебе город Одессу, его величие и красоту, его жителей с их чудесными характерами, а также блестящие дела, которые здесь можно делать.

Представь себе, стоит мне выйти с тросточкой на Греческую (так в Одессе называется улица, где заключаются всякие сделки) — и у меня двадцать тысяч дел! Хочу пшеницу — пожалуйста! Отруби? — Отруби! Шерсть? — Шерсть! Мука, соль, перья, изюм, мешки, селедки, — в общем, все что ни назови, можно найти в этой Одессе! Я поначалу наметил было два-три дельца, но они мне пришлось не по душе. И я шатался по Греческой до тех пор, пока не наткнулся на настоящее дело. А именно? Я торгую «Лондоном» и зарабатываю на этом совсем неплохо! Иной раз четвертной перепадет, иной раз полсотни, а при удаче — так и вся сотня. Словом, «Лондон» — это такое дело, которое может человека осчастливить в один день. Вот недавно приехал сюда какой-то синагогальный служака, хапнул одним махом тридцать тысяч, и теперь ему сам черт не брат! Говорю тебе, жена моя дорогая, золото здесь на улицах валяется! Я, упаси бог, не раскаиваюсь, что съездил в Одессу. Но ты, пожалуй, спросишь, как я попал в Одессу, — ведь я совсем ехал в Кишинев? Суждено мне, видать, свыше нажить добрых несколько рублей! Вот послушай, как господь бог направляет человека.

Когда я приехал в Кишинев к дяде Менаше за приданым, он меня спрашивает: зачем оно мне нужно?

— Стало быть, нужно! Не надо было бы, я бы не приезжал.

Тогда он мне говорит, что наличных у него сейчас нет, он может дать распоряжение к Бродскому в Егупец.

— Пускай будет Егупец! Лишь бы деньги!

А он говорит, что не знает, есть ли сейчас в Егупце деньги. Он может дать мне письмо к Бахраху в Варшаву.

— Пускай будет Варшава, — отвечаю, — лишь бы деньги!

Тогда он говорит:

— Зачем тебе Варшава? Варшава — далеко.

Если я хочу, он даст мне бумагу к Барабашу в Одессу.

— Пускай будет Одесса! — говорю я. — Лишь бы деньги!

— На что тебе так понадобились деньги? — спрашивает он опять.

— Стало быть, нужны! — повторяю я. — Не надо было бы, я бы не приехал.

Короче говоря, изворачивался он, как мог, но помогло это ему, как мертвому банки: раз я сказал: «Деньги!» — значит, деньги!

¹ Первая серия писем Менахем-Мендла «Лондон» написана Шолом-Алейхемом в 1892 году и напечатана в изданном им выпуске «Колмеваसर цу дер „Юдишер фолкс-библиотек“» («Извещение к „Еврейской народной библиотеке“»), Одесса, 1892. Шолом-Алейхем собирался издать третью книгу сборника «Еврейской народной библиотеки», но из-за отсутствия средств издал только означенный маленький выпуск.

² Касриловка — во многих произведениях Шолом-Алейхема вымышленное название местечка (городка) с густым еврейским населением. Это заброшенная беспросветная глушь, населенная в основном беднотой. Обитатели Касриловки «касрилики» — считают себя солью земли, но их представления и суждения о большом мире чрезвычайно наивны и смешны.

Тогда он достал два векселя по пятьсот рублей сроком всего на пять месяцев, на триста рублей дал письмо к Барабашу в Одессу, а остальные наличными: это, — говорит он, — будет мне на расходы.

Так как мне сейчас некогда, то пишу тебе вкратце. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Будь здорова, кланяйся от меня тестю, и теще, и деткам, чтоб здоровы были, и каждому в отдельности.

Твой супруг Менахем-Мендл.

Главное забыл! Когда я пришел с денежным письмом к Барабашу, мне говорят, что никакое это не письмо! А что же это? На вербе — груши! Пускай, говорят они, раньше прибудет от вашего дяди Менаше вагон пшеницы, и пускай эта пшеница будет продана, вот тогда вам дадут деньги. Интересная история! Я тут же написал дяде Менаше в Кишинев открытку, что если он не вышлет немедленно пшеницу, я ему телеграфирую! Словом, пиши туда, пиши сюда — ходил я по Одессе сам не свой. И только вчера прибыли из Кишинева сто рублей наличными и на двести рублей вексель. Теперь ты понимаешь, почему я тебе все это время не писал? Я считал, что эти триста рублей пропали! Отсюда следует, что человек никогда не должен отчаиваться. Есть на свете бог, он правду видит. Все наличные я всадил в «Лондон», купил комплект «госов» и «бесов»,³ и благодарение богу, — говорят, что есть уже прибыль!

Тот же.

II. Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что меня снова мучает давнишняя спазма, такую бы самую твоему дяде Менаше, который так ловко зажил эти полторы тысячи целковых приданого! Такую бы ему жизнь! Такое счастье! Моя мать, дай ей бог здоровья, говорит: «Послала кота по сметану!» Векселя я бы у него брала? А хворобу он не хочет? Лихоманку сроком на пять месяцев! Слушай, Мендл, дай бог мне соврать, но боюсь, что остальных денег ты не увидишь, как ушей своих, которые занесло аж в Одессу. Твое счастье, что мама ничего не знает об этих векселях: несдобровать бы тебе! А то, что ты пишешь о твоих заработках, всем нам, конечно, это очень приятно. Но — тысяча чертей тебе! Почему бы не написать по-человечески, что это за товар такой, которым ты торгуешь? Почем аршин? Или его продают на вес? Откуда мне знать, что это такое и с чем это едят? И еще одного я не понимаю: вот, ты говоришь, купил товар, и вот уже имеешь прибыль? Что же это за товар, который растет в цене, как на дрожжах? «Мухоморы, — говорит моя мама, — и те без дождя не растут!» А если товар и в самом деле вздорожал, почему же ты его не продашь? Чего ты ждешь? Чтoб к нему и подступу не было?

А почему ты не пишешь, где остановился, как столуешься? Как будто я тебе чужая, не жена до ста двадцати лет, а какая-нибудь полюбовница поганая! Как мать говорит: «Уйдет корова в стадо, так „до свидания“ не скажет!»

Послушал бы ты меня, Мендл, расторгнулся бы поскорее, собрал бы наличные и приехал бы домой. Найдешь здесь более приличное дело, чем вот это самое... Знать бы мне так лихорадку, как я знаю, что это такое!

И будь здоров, как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга Шейне-Шейндл.

III. Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она! Со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно: меня нисколько не удивляет, что ты не понимаешь, в чем смысл «Лондона». Коль скоро опытные купцы, бородачи, об этом понятия не имеют, так где уж тут разобраться женщине? Поэтому я все объясню, чтобы ты поняла, в чем тут дело.

Надо сказать, что «Лондон» — материя тонкая. Продают его только на словах, а видеть никто его не видит. И каждую минуту он то дорожает, то дешевет. То «гос», то — «бес». Это значит, что рубль в Берлине то повышается, то понижается. Все зависит от Берлина: как Берлин скажет, так и будет! Курсы прыгают вверх и вниз, как сумасшедшие, депеши летят туда и сюда, а люди носятся, как на ярмарке, делают дела, получают прибыль, а среди них и я. Шум, суета — одуреть можно! Вот, например, вчера я сделал «стеллаж»,⁴ стоил он мне полсотни, а сегодня утром, ровно в двенадцать часов, от моей полсотни и следа не осталось!

³ «Госы» — ценные бумаги, цена которых на подъеме. «Бесы» — ценные бумаги, цена которых падает.

⁴ «Стеллаж» — биржевая сделка, при которой покупатель обязуется: 1) принять от продавца обусловленные ценные бумаги и оплатить их стоимость; 2) если он их оставляет у продавца, то он должен оплатить курсовую разницу (дифференц); если он отказывается от сделки, то он должен уплатить неустойку (премия).

Но ты, наверное, не знаешь, что значит «сделать стеллаж», — надо тебе это объяснить. Дают, к примеру, полсотни за день, а тот «ставит курс». Ты можешь сделать из этого «стеллажа» «две стороны»: то есть два «беса» или два «госа», а то и просто остановиться и продать другому «втемную» до «закрытия» (так у нас в Одессе называется предвечернее время, как у вас, скажем, сумерки). И вот, если курс «отстает», то полетели твои пятьдесят рублей. Вот это значит «сделать стеллаж».

Но только ты не огорчайся, дорогая моя жена! Потерять полсотни — по здешним делам сущие пустяки! Бог может, пойдет «правой стороной», и я заработаю деньги, много денег! А насчет того, что ты пишешь о векселях дяди Менаше, то ты ошибаешься. Черт его еще не взял, он еще пользуется доверием! Если бы я уступил хоть немного, у меня бы эти векселя с руками оторвали! Но я не желаю. Если понадобятся деньги, я лучше продам парочку «госов» или «бесов». Но мне и это сейчас ни к чему. Я лучше куплю еще один «стеллаж». Чем больше «стеллажей», тем лучше! Ляжешь спать со «стеллажом», так и спится по-другому!

Так как я сейчас очень тороплюсь, то пишу тебе вкратце. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи.

Твой супруг Менахем-Мендл.

Главное забыл! Ты спрашиваешь, где я остановился и что ем? Так пишу тебе, жена моя, что я и сам не знаю, на каком я свете. Одесса — огромный город, все здесь очень дорого, дома высоченные — до небес, полчаса надо карабкаться по железным лестницам, пока доберешься до своего пристанища под самым небом. Окошечко крошечное, как в тюрьме. Я просто оживаю, когда наступает день и можно вырваться из этой тюрьмы туда, на Греческую. И вот там, на ходу то есть, и перекусишь, что бог пошлет, потому что — кто это может усесться кушать, когда надо поминутно узнавать, каковы курсы в Берлине! Зато фрукты здесь нипочем. Виноград едят, не как у вас в Касриловке в Новый год, только чтобы сотворить молитву над ним, — здесь его едят каждый день, на улице, без всякого стеснения.

Тот же.

IV. Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что смотрю я на тебя, как на сумасшедшего! Знать бы мне так твою Одессу, не к ночи будь помянута, как я понимаю, что ты такое болтаешь в твоём письме: «гос», «бес», «дилижанс»... Черт вас там ведаёт! Летят у тебя полусотенные, как галушки, — там у вас, видать, и деньги не деньги, трын-трава! Конечно, в золоте можно ходить при таких делах! Не понимаю, хоть ты мне голову сними, что это за товар, которого никто не видит? Кот в мешке!..

Слышишь, Мендл, не нравится мне все это! Я у отца своего не приучена к такого рода воздушным заработкам, упаси меня бог от них и в дальнейшем! Как моя мама говорит: «На воздухе и простудиться недолго...» Ты пишешь: «С дилижансом и спится по-другому...» Кто это спит с дилижансом? По-каковски ты говоришь? По-турецки, что ли? А насчет того, что ты пишешь, будто векселя дяди Менаше у тебя с руками оторвут, то если я в это и не поверю, большого греха не будет. Правильно мать говорит: «Не верь, пока не пересчитаешь...» Знаешь что, Мендл? Послушай меня, жену, — плюнь ты на Одессу и приезжай лучше домой, в Касриловку. Полторы тысячи у тебя есть, квартиру дает нам отец, лавки в аренду сдаются, — чего тебе еще не хватает? Зачем нужно, чтобы люди перемывали мои косточки, чтобы враги болтали, будто ты удрал в Одессу, а меня бросил, — не дожить тебе до этого! Скапуться за нашу Касриловку может твоя Одесса со всеми твоими домищами с железными лестницами, по которым надо карабкаться, как одурелому! Очень стоит ради этого портить себе желудок! Подумаешь, виноград дешев! Виноград надо жрать, а сливы чем плохи? У нас нынче урожай на сливы, пятиалтынный — ведро! Но разве тебя интересует, что дома делается? Ты даже не спрашиваешь, как дети поживают. Забыл уже, что ты отец троих деточек, дай им бог здоровья! Недаром мама говорит: «Дальше очи — дальше сердце...» Такую бы тебе болячку, какую правду она говорит!

Пока будь здоров и счастлив, как желает тебе

твоя истинно преданная супруга Шейне-Шейндл.

V. Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что сейчас пошел невероятный «бес», и я накопил себе «Лондона» целую кучу и обеспечил себя семнадцатью «бесами» и восьмью «стеллажами». Затем я должен получить несколько сот рублей «дифференцов», и тогда я, с божьей помощью, сделаю еще немножко «бесов». Посмотрела бы ты, дорогая моя, как тут заключаются сделки на слово, ты поняла бы, что такое Одесса. Простой кивок здесь все равно что контракт. Я выхожу на Греческую, захожу в кафе, сажусь за столик и заказываю стакан чаю, или кофе, или еще там чего-нибудь. Подходит ко мне один маклер, второй, третий... Не надо ни контрактов, ни расписок, ни строчки написанной! У каждого маклера книжечка и карандашик. Он достает книжечку и записывает, что я имею у него два «беса», а я достаю несколько рублей и плачу ему — удовольствие! А спустя час-другой, если бог захочет, узнают «таксировку» из Берлина, и прибегает тот же маклер и дает тебе четвертной билет — чистой прибыли, а потом, когда прибывают еще сведения, он сует тебе полсотни, а к концу дня, если богу угодно, набегает и вся сотня, а иной раз может случиться, что и две, а то и все три... Почему бы и нет? На то и биржа! Биржа — это игра, дело удачи. А насчет того что ты не веришь в векселя дяди Менаше, то могу тебе сообщить, что я их уже продал, — иначе откуда бы я взял деньги на такое количество «бесов» и «стеллажей»? «Стеллажи» — это не дилижансы, как ты пишешь. Дилижансы — это то, на чем ездят из Радомысла в Житомир, а «стеллаж» — это лист бумаги, на котором кто-нибудь пишет и расписывается в том, что когда настанет «ультимо», то есть в конце месяца, он обязан столько-то фунтов сверх того или иного курса — либо дать тебе, либо получить с тебя. Так что выбор за тобой, поступай как знаешь: хочешь давай, хочешь получай. Теперь ты понимаешь, что такое «стеллаж»? Если бог даст добрые «варьяции» на «Лондон» и в газетах заговорят о войне, русский рубль полетит вниз, а «Лондон» как двинется вверх, — ничего кругом узнать нельзя! Вот заговорили на прошлой неделе, будто английской королеве что-то не может, и тут же русский рубль упал, а «стеллажи» подскочили выше домов! Теперь в газетах пишут, что королева поправилась, — и русский рубль поднялся в цене, и уже можно покупать «стеллажи», сколько душе угодно. Словом, не беспокойся, дорогая моя, все, бог даст, будет, как у нас в Одессе говорят, «в наилучшем порядке!» Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме я напишу тебе обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Кланяйся сердечно деткам и всем остальным.

Твой супруг Менахем-Мендл.

Главное забыл! У нас в Одессе страшная жара, — изжариться можно, да и по ночам таешь как воск. Поэтому как только наступает вечер, город пустеет. Народ разъезжается на Фонтаны — на Большой Фонтан или на Малый Фонтан, а то и вовсе на «Ланджерон». Там имеется все, что душе угодно, можно купаться в море, можно слушать музыку — и все это бесплатно, без копейки денег!

Тот же.

VI. Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что я уже опять вожусь с зубами, дай бог твоим одесским «дронжикам»! Я здесь лезу на стенку от зубной боли, мучаюсь с его детьми, а ему хоть бы что! Живет себе, как господь бог, в Одессе, катается верхом на «дронжиках», купается в море, и музыка ему подыгрывает. Чего ему еще не хватает? Как моя мама говорит: «На метле бы он у меня верхом разъезжал, а не на дронжиках!» Одно из двух: если ты купец и торгуешь этим замечательным товаром, который называется «Лондон», то думай о торговле, а не об английской королеве. Думай лучше о своей жене. У тебя есть жена — до ста двадцати лет, и трое деток, дай им бог здоровья. Моя мама говорит: «Думай о себе, тогда забудешь о других...» А что касается твоих счастливых дел, то скажу тебе правду, у меня от них голова кругом идет! Не верю, хоть режь меня, что сотни так и летят прямо в руки! Что это колдовство такое, наваждение, что ли? Смотри, как бы ты от великой радости не тронул приданое. Имей в виду, если хоть один грош убудет из приданого, достанется тебе от матери!.. Хоть бы вспомнил! Ведь ты хорошо знаешь, что мне до зарезу нужна шелковая мантилья, шерсть на платье, два куска морозовского батиста. Всякую глупость я должна ему напоминать, — сам он, бедняга, ничего не знает, мозги у него высохли. Не зря моя мама говорит: «Кто сам не догадается, того в бок толкают».

Как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга Шейне-Шейндл.

VII. Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я уже далеко пошел, а именно — у меня уже полно «бесов», и я теперь в состоянии дать и взять сразу десять тысяч фунтов, двадцать тысяч фунтов, разумеется, при наличии «депо»... У меня уже крупные знакомства в конторах, и я уже могу себе позволить сидеть у Фанкони в кафе наравне с другими крупными спекулянтами, за белыми мраморными столиками и заказывать порцию мороженого, потому что у нас в Одессе такой порядок: чуть присел к столику — к тебе подходит человек во фраке и велит, чтобы приказали подать мороженое. Нельзя же быть свиньей, и поневоле велишь подать. Но не успеешь съесть одну порцию мороженого, как тебе велит потребовать вторую, иначе тут сидеть нельзя, и остается шататься по улице. Дельцу это, конечно, не пристало, да и городской следит, чтобы на улице зря не околачивались... Но так как людям все-таки нужно быть на улице, то они ловчатся, обманывают городского, прячутся от него как можно дальше... А если он все же поймает кого-нибудь, он тащит его, как драгоценность, прямо в участок: «Вот, мол, я доставил вам еврея...» Ты не веришь в крупные «варьяции» и «дифференции»? Это значит, что ты слаба в политике. Вот, к примеру, сидит у нас в кафе у Фанкони человек, которого прозвали «Гамбетта».⁵ День и ночь он говорит о политике и только о политике! Он приводит тысячу доказательств, что пахнет войной. Он слышит, говорит, каждую ночь пушечные выстрелы — не здесь, а у французов. Французы, говорит он, никогда в жизни не простят Бисмарку.⁶ Должна, непременно должна в скором времени вспыхнуть война, иначе и быть не может! Послушать Гамбетту, то нужно продать все, что имеешь, снять с себя последнюю рубашку и покупать «стеллажи» и «бесы» — бесконечное количество!

Ты пишешь мне насчет мантильи. Дорогая моя, я присмотрел для тебя кое-что получше: золотые часики с медальоном и золотой цепочкой, и брошь, и браслеты видел я в окне совсем недалеко от Фанкони... Замечательные вещи! Прима! Но так как я сейчас очень занят, то пишу тебе вкратце. Дай бог, в следующем письме я напишу тебе обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи.

Твой супруг Менахем-Мендл.

Главное забыл! Сутолока здесь, не взглянуть бы, очень велика, и люди так поглощены делами, что забывают о субботе и о празднике. Для меня, конечно, суббота — это суббота! Хотя бы камни с неба валились, я в субботу непременно иду в синагогу. Одесскую синагогу стоит посмотреть! Во-первых, она называется «хоральной», потому что потолок у нее колпаком, а особой восточной стены там нет.⁷ Все сидят лицом к востоку. А кантор (его зовут Пине; ну и кантор!) хоть и бреет бороду, но молитвы знает получше вашего старого верзилы Мойше-Довида! Ты бы видела, что он вытворяет, когда доходит до молитвы «Да будет благословенно имя владыки вселенной!». «Хвалебную песнь субботе» можно по билетам слушать! Вокруг кантора стоят певчие в маленьких талесах — красота! Если бы суббота бывала дважды в неделю, я бы дважды в неделю ходил слушать Пине. Не понимаю я здешних евреев, почему они не ходят молиться? И даже те, что ходят, не молятся. Сидят, как намалеванные, в цилиндрах, с жирными холеными рожками, в маленьких талесах и молчат. А если кому-нибудь захочется помолиться чуть погромче, к нему подходит служка с пуговицами и говорит, чтоб тихо было. Странные в Одессе евреи!

Тот же.

VIII. Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, что я не понимаю, с какой такой радости надо сидеть у Франкони, — сгореть бы ей! — за мраморным столиком и жрать с утра до ночи черт знает что! Лишь бы деньги тратить? И что это у вас там, в Одессе, за сумасшедший, которому снится, что стреляют, чтоб его самого застрелило! Войны ему захотелось! Как моя мама говорит: «Чужая кровь что вода!» Золотые часики с браслетами ты увидел в одесских магазинах? Нашел, чему радоваться! Что мне, Мендл, от твоих подарков, которые ты видишь за стеклом? Моя мама говорит: «Вареники во сне — это не вареники, а только сон...» Ты лучше зайди в магазин и купи мне кусок полотна на белье, и мадаполаму на наволочки, и пару байковых одеял, и немного серебра для дома, и еще кое-чего. Представь себе, даже Блюма-Злата, — чтоб ее пузырем раздуло! — и та уже куражится передо мной. Почему? Она, видишь ли, носит нитку жемчуга, чтоб ее задушило! Вот кому доля замужем! Людям везет во всем. Одна я

⁵ ...прозвали «Гамбетта». — Гамбетта Леон Мишель (1838–1882) — известный французский буржуазный политический деятель.

⁶ Бисмарк (1815–1898) — князь, представитель немецкого юнкерства, известный государственный деятель второй половины XIX века. С 1861 года — председатель кабинета министров и министр иностранных дел Пруссии, а с 1871 года, после разгрома Франции и объединения Германии — канцлер Германской империи.

⁷ ...восточной стены там нет. — В обычных (не «хоральных») синагогах места для сидения вдоль восточной стены считаются самыми почетными, при этом люди сидят спиной к стене.

родилась в такой злополучный час, что должна каждую мелочь мужу напоминать! Пусть тебе кажется, что ты купил еще один «гос» или «бес», или черт его знает, как это там у вас называется! Я говорю ему: продай, что имеешь, и сосчитай деньги, а он покупает еще! Чего ты боишься? Не достанешь потом этого товара? Я уже понимаю, что это за торговля и что за город твоя Одесса, когда суббота — не суббота, и праздник — не праздник, и кантор ходит с бритой мордой,⁸ - мои бы болячки на его голову! Мне кажется, из такого города и от таких людей бежать надо, как от поганой ямы, а он там завяз и вылезать не хочет. Как моя мама говорит: «Забрался червяк в хрен и думает, что слаще ничего и нету...» Поэтому и пишу тебе, дорогой мой муж, подумай хорошенько, что ты делаешь, и перестань проводить время в замечательной твоей Одессе, — пусть она сгорит, — как желает тебе

твоя истинно преданная супруга Шейне-Шейндл.

Да! Скажи мне, Мендл, вот эта «Франконя», о которой ты пишешь, что вы там просиживаете дни и ночи, — кто это такая, это «он» или «она»?..

IX. Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что пахнет уже крупными тысячами! Если бог даст и «ультимо» пройдет благополучно, то в моих руках главный выигрыш! Заинкассирую все свои «дифференцы», съезжу домой и возьму тебя, с божьей помощью, сюда, в Одессу. Квартиру снимем на «Ришелье», купим хорошую мебель и заживем так, как живут у нас в Одессе. Но пока я, не про тебя будь сказано, вожусь с желудком: видно, мороженое мне повредило... Теперь, когда прихожу к Фанкони, я мороженого не ем. Я велю подать себе напиток, который тянут через соломинку. Это и сладко и горьковато, вроде лакричного порошка с солью... Больше двух, в крайнем случае — трех стаканов этого напитка одолеть невозможно. А все остальное время приходится таскаться по улице и иметь дело с городовым. А это очень неприятно! Уж он давно ко мне присматривается, но до сих пор господь бог миловал: я каждый раз удираю от него и прячусь. Чего не делают ради заработка! Только бы реализация прошла благополучно, — тогда я, с божьей помощью, куплю тебе все, что пожелаешь, и гораздо больше, чем ты можешь себе представить. А насчет Гамбетты ты ошибаешься: вовсе он не сумасшедший, он только малость вспыльчив. Упаси бог сказать ему что-нибудь о политике не так, как ему нравится! Он готов разорвать человека на куски! Он утверждает, что не сегодня-завтра обязательно должно что-то случиться. А то, что сейчас вдруг тихо стало, — говорит он, — лишний раз доказывает, что война на носу. «Перед бурей, — говорит он, — всегда бывает тихо...» Вчера я мог продать несколько «бесиков» и два-три «стеллажа» и прилично заработать, но Гамбетта не дал мне этого сделать. «Я, говорит, вам голову оторву, если вы в такое время выпустите из рук товар! Наступает такая пора, — говорит он, — когда полусотенный „стеллаж“ будет стоить двести рублей, и триста, и четыреста, и даже тысячу, а почему и не две?..» Будь так, как говорит Гамбетта, даже наполовину, — и я разбогател! Надеюсь, что после реализации я поверну обратно на «гос», начну покупать рубли и давать «Лондон», на чем свет стоит! Я покажу им, что такое «Лондон» и что такое — рубль! Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме я напишу тебе обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи.

Твой супруг Менахем-Мендл.

Главное забыл! Ты спрашиваешь о Фанкони (не «Франконя» как ты пишешь), то это не «он» и не «она». Это — кафе, где пьют кофе, едят мороженое и заключают сделки на «Лондон». Дай бог мне хотя бы половину стоимости сделок, которые там заключают за день!

Тот же.

X. Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу а Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет свет его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что дети болеют корью, все трое, я ночей не сплю, а он там распивает какую-то бурду с

⁸ ...кантор ходит с бритой мордой... — Это свидетельствует о его недостаточной набожности, так как закон еврейской религии запрещает брить бороду.

лакрицей! Чего ему не хватает, скажите на милость! Головной боли? Ишь ты, как он распрыгался! В Одессу он хочет меня забрать! Думает, — только скажет мне: «Одесса», — я туда и полетела! Выбей эту дурь из головы, Мендл, ты меня туда не заманишь! Будь спокоен. Бабка моей бабки никогда там не бывала и обошлись без Одессы, так уж и я как-нибудь обойдусь. Так я тебя и послушалась: брошу отца с матерью и всех родных и помчусь в треклятую Одессу, чтоб она в огне сгорела! Говори что хочешь, Мендл, не нравится мне твоя Одесса. Терпеть ее не могу, сама не знаю, за что. По моему разумению, тебе следует распродать помаленьку твой товар и получить деньги. Мама говорит: «Из всех молочных блюд самое лучшее — это кусок мяса!..» А если ты немного и потеряешь, — черт с ним, их счастье! Что же касается твоего сумасшедшего Гамбетты (а я все-таки говорю тебе, что он сумасшедший!), который не дает тебе продавать, то я вообще не понимаю, при чем тут он? Какое ему дело? Плюнь ты ему в рожу, если он опять станет морочить тебе голову своими войнами! Послушай меня, Мендл, кончай с этим делом, продай все, ради бога! Заработал несколько целковых? И хватит. Сколько можно торчать в этой Одессе?

Но что говорить? Разве я что-нибудь значу? Ведь я же всего лишь Шейне-Шейндл, я ведь не Блюма-Злата! Блюма-Злата только пикнет на своего мужа, а его уже лихоманка трясет! Ради бога, Мендл-сердце, распродай все и собирайся в дорогу! Не забудь только дюжину вышитых сорочек для меня, бархату маме на пальто — пусть и она помнит, что зять ее был в Одессе и торговал с сумасшедшими, — кусок ситца модного рисунка и, если войдет в чемодан, немного стеклянной посуды, а остальное — по твоему усмотрению. И приезжай домой, пусть люди перестанут мне колоть глаза и чернить меня. Попробуй только меня не послушать! Ничего! По-моему сделаешь! Если бы так чирьи на спине у врагов моих, как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга Шейне-Шейндл.

XI. Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что день реализации настал, и все пошло кувырком, господи спаси и помилуй! Большая «варьяция», которой я ждал, как мессии, обернулась мыльным пузырем. Бисмарк, говорят, простудился, схватил насморк — и в политике пошла такая суматоха, что никто ничего не понимает! «Лондон» стал действительно на вес золота, но рубль провалился в тартарары, и пошел страшный «бес»! Ты, пожалуй, спросишь, где же мои «бесы» с моими «стеллажами»? Но дело в том, что теперь уже «бесы» не «бесы» и «стеллажи» не «стеллажи», никто не хочет брать, никто не желает давать, вот и поступай как знаешь! И словно назло, я рассовал свой товар таким людишкам, которых — чуть прижало, а их уже и раздавило. Словом, горе, чума, все вверх дном! Ах, если бы я изловчился на один день раньше! Но поди будь пророком! Теперь все бегают, как травленные мыши, безумие охватило каждого! Все кричат: «Лондон!», «Где мой Лондон?», «Давайте мне Лондон!», «Но где там Лондон?», «Что там Лондон?» Летят оплеухи, мелькают кукиши, родителей поминают, и я тоже, как и все... В общем, нигде, как видно, никакого «Лондона» нет!.. Короче, дорогая моя жена, кругом мрак... Все мои заработки, все придание, драгоценности, которые я для тебя купил, — все это пошло туда. Даже субботний кафтан пришлось снять и заложить.

Я сейчас в очень печальном положении, даже представить себе трудно, и так скучаю по дому, что вся душа истомилась! Проклинаю себя сто раз на дню! Лучше бы я ногу себе сломал до того, как приехал сюда, в Одессу, где человек ничего не стоит. Здесь можно умереть на улице, и никто даже не оглянется. Сколько маклеров кормилось возле меня, сколько их благодаря мне нажилось, а сейчас они меня даже не узнают! Раньше они меня здесь называли «касриловским Блейхредером»,⁹ а теперь сами же маклеры надо мной издеваются. Они говорят, что я не понимаю дела. «Лондон», говорят они, понимать надо! А где ж они раньше были, эти умники? Обо мне вообще больше не говорят, как если бы я умер! Лучше бы я и в самом деле умер, чем дожить до такого! И как назло, здесь этот Гамбетта, пропади он пропадом, виснет над головой и не перестает трещать на ухо о своей политике: «Ну, не говорил ли я вам, что будет „бес“?» — «Что мне толку от вашего „беса“, — спрашиваю я, — когда мне „Лондона“ не дадут?» А он смеется и говорит: «Кто же вам виноват. Биржу, говорит, понимать надо! А кто не умеет торговать „Лондоном“, пусть торгует солеными огурцами...» Говорю тебе, жена моя дорогая, — так опротивела мне Одесса с ее биржей, с Фанкони, со всеми этими людишками! Бежал бы куда глаза глядят! Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко. Даст бог в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. И кланяйся сердечно деткам, и тестю, и теще.

Твой супруг Менахем-Мендл.

⁹ Блейхредер — миллиардер, один из крупнейших банкиров в Германии того времени. Организовал Бисмарку заем для войны с Францией.

Главное забыл! Здесь, в Одессе, такой порядок: если кому-нибудь нужно одолжить немного денег, он обращается не к соседу, не к родственнику или к знакомому, как, скажем, у нас в Касриловке. Не потому, что лень к ним сходить, нет, — просто каждый знает наперед, что никто с деньгами не сунется: не дают, и дело с концом! Как же быть, если деньги все-таки нужны? Для этого существует «ломбард», который выдает какую угодно ссуду, был бы залог приличный: золото так золото; серебро так серебро! Медь? И медь сойдет, и одежина, и стул. Приведи корову, — тебе и под нее деньги дадут. Беда только в том, что оценивают в ломбарде все чересчур дешево! Зато проценты дерут без стеснения, кусачие проценты, так что процент подчас всю ссуду съедает. Вот ломбард и производит каждые две недели «леситацию», то есть распродажу невыкупленных залогов. Люди покупают вещи по дешевке и неплохо зарабатывают. Будь я при деньгах, я бы тоже этим занялся и вернул себе то, что потерял, да еще с лихвой... Но что поделаешь!

Без денег лучше не родиться на свет божий, а уж если родился, то лучше умереть... Не могу я больше писать. Пиши мне о твоём здоровье, как поживают детки, и кланяйся сердечно тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Тот же.

ХII. Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе: дурья голова, подумай, что ты натворил! Какой черт понес тебя в Одессу? Чего ты там не видал? Жареных рябчиков ему захотелось! «Лондон!» Мороженого! Бурды с лакрицей! Увидал, что «Лондон» банкротится, чего же ты вовремя не покончил с ним, согласился бы на какой-нибудь процент, как все купцы поступают! А люди где? А раввин? Господи боже мой, что это за отговорка — «ультимо-шмуляймо»? Ведь ты покупал товар, — куда же он девался?! Боже мой, какое несчастье! Чуюло мое сердце, что от Одессы — сгореть бы ей! — добра не будет! Я пишу ему: уезжай Мендл, плюнь на них с их «Лондоном», чтоб его холера забрала, господи милосердый! Удирай, говорю я ему, — удирай, Мендл! Как мать говорит: «Дырявая крыша, трещала б потише!» Нет, не слушает, — ведь я же всего только Шейне-Шейндл, горе мне, а не какая-нибудь Блюма-Злата. Нет, моя мама умница! Она все время твердит, что мужу потакать нельзя, мужа надо держать в руках, чтобы он чувствовал, что есть у него жена! Но что поделаешь, когда у меня такой характер, не могу я быть грубой, как Блюма-Злата, не умею я мужа в гроб вгонять, как она, не умею! Была бы твоей женой Блюма-Злата, — не дожить ей до того! — тогда бы ты знал, как велик наш бог! А насчет того, что ты говоришь о смерти, умник мой, то должна тебе сказать, что ты большой дурак: не по своей воле человек рождается, не по своей воле и умирает. А если даже потеряно приданое, так ничего больше не остается, как руки на себя наложить? Глупый! Где это сказано, что Менахем-Мендл должен иметь деньги? Разве с деньгами Менахем-Мендл не тот же Менахем-Мендл, что и без денег? Чудак! Против бога хочешь идти? Ты же видишь, что он не велит, чего же ты ерепенишься? Черт с ними, с деньгами! Пусть тебе кажется, что разбойники напали на тебя в лесу, или ты заболел и все приданое просадил ко всем чертям! Главное, не будь бабой, Мендл! Положись на предвечного, он — всех кормящий и насыщающий. Приезжай домой, — гостем будешь, дети тебя заждались... Посылаю тебе несколько рублей на дорогу и смотри, Мендл, не ходи ни на какие «лестации» и не торгуй старым тряпьем! Этого еще не хватало! Как только получишь мое письмо и деньги, немедленно распрощайся с Одессой. А как только ты выедешь из города, пусть он загорится со всех четырех сторон, пусть он горит и пылает, и сгорит дотла, как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга Шейне-Шейндл.

Конец первой книги

1892

/ МАТЕРИАЛЫ К ПОТОКУ «ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»

Из романа **Пятеро**

Начало этого рассказа из быта прежней Одессы относится к самому началу нашего столетия. Первые годы века тогда у нас назывались «весна» в смысле общественного и государственного пробуждения, а для моего поколения совпали также с личной весной в смысле подлинной двадцатилетней молодости. И обе весны, и тогдашний облик веселой столицы Черноморья в акациях на крутом берегу сплелись у меня в воспоминании с историей одной семьи, где было пятеро детей: Маруся, Марко, Лика, Сережа, Торик. Часть их приключений прошла у меня на глазах; остальное, если понадобится, расскажу по наслышке или досочиню по догадке. Не ручаюсь за точность ни в жизнеописаниях героев, ни в последовательности общих событий, городских или всероссийских, на фоне которых это все произошло: часто память изменяет, а наводить справки некогда. Но в одном уверен: те пятеро мне запомнились не случайно, и не потому, что Марусю и Сережу я очень любил, и еще больше их легкомысленную, мудрую, многострадальную мать, — а потому, что на этой семье, как на классном примере из учебника, действительно свела с нами счеты — и добрые, и злые — вся предшествовавшая эпоха еврейского обрусения. Эту сторону дела, я уверен, расскажу правдиво, без придирчивости, тем более, что все это уже далеко и все давно стало грустно-любимым. «Я сын моей поры, мне в ней понятно добро и зло, я знаю блеск и тлю: я сын ее, и в ней люблю все пятна, весь яд ее люблю».

I. Юность

В первый раз я увидел г-жу Мильгром и ее старшую дочь на первом представлении «Моны Ванны» в городском театре.

Они сидели в ложе бенуара неподалеку от моего кресла; в ложе было еще трое, но из другой семьи. Я их заметил по причине и лестной, и очень нелестной для моего самолюбия. Началось с того, что сидевший рядом со мною молодой коллега по газете, бытописатель босяков и порта, сказал мне под шум наполнявшегося зала: — Посмотри вправо, на ту рыжую евреечку в третьей ложе: как котенок в муфте! — Ему иногда прекрасно удавались сравнения: барышня в самом деле выглядывала из своей пушистой ярко-красной прически, как кошечка из мехового кольца на конфетной коробке. В то же время я увидел, что дама показала девушке на меня и что то сказала, видно мою газетную кличку, а дочь сделала большие глаза, недоверчиво пожала плечами и ответила (я это ясно видел по ее губам): — Неужели? не может быть!

Во втором антракте я пошел на галерку повидаться с приятелями студентами. Важный институт была в нашем городском театре галерка: царство студентов; боковые сиденья, кажется, чуть ли не только им и выдавались. Поэтому всегда там особо дежурил околоточный надзиратель, всегда какой-нибудь благообразный богатырь с двумя бородами на груди, как у генерала, и в резерве у него имелись городовые. Когда студенты буянили (например, когда старый Фигнер пустил петуха на высокой ноте в «Гугенотах», и ему по этому поводу кстати еще припомнили небратское отношение к сестре, сидевшей в Шлиссельбурге), — появлялись городовые и выводили студентов за локти, а надзиратель шагал позади и почтительно приговаривал: Пожалуйте, г. студент, как же так можно...

В этот вечер никто не буянил. Газеты уже две недели готовили народ к постановке «Моны Ванны»; не помню как, но несомненно вложили и в эту пьесу некий революционный смысл (тогда выражались «освободительный»; все в те годы преломлялось, за или против, чрез освободительную призму, даже пискливый срыв голоса у тенора, именовавшегося солистом его величества). Представление оправдало все ожидания. Героиню играла актриса, в которую все мы тогда были просто влюблены: половина барышень в городе подражали ее ласково-унылому голосу и подавали знакомым руку не сгибая, ладонью вниз, как она. «Фойе» галерки, обычно в антрактах похожее на аллею бульвара, где тянулись параллельно одна другой две тесные реки гуляющих, теперь напоминало форум: всюду кучки, и в каждой кучке спор об одном и том же — мыслимая ли вещь, чтобы Принцивалле просидел с Моной Ванной, в таком наряде, целую ночь и не протянул к ней даже руки?

Об этом шумели студенты и в той группе, где я нашел своих приятелей; сквозь их весьма повышенные тоны я слышал, что и в соседней толпе, особенно многолюдной, кипятились о том же. Вдруг я заметил, что в центре там стояла та рыжая барышня. На вид ей было лет девятнадцать. Она была невысокого роста, но сложена прекрасно по сдобному вкусу того полнокровного времени; на ней был, конечно, тесный корсет с талией и боками, но, по-видимому, без «чашек», что в среднем кругу, как мне говорили, считалось новшеством нескромным; и рукава буфами не доходили даже до локтей, и хотя воротник платья по-монашески подпирал ей горло, под воротничком спереди все-таки был вырез вершка в полтора, тоже по тогдашнему дерзость. В довершение этого внешнего впечатления, до меня донеслись такие отрывки разговора:

— Но мыслимо ли, — горячился студент, — чтобы Принцивалле...

— Ужас! — воскликнула рыжая барышня, — я бы на месте Моны Ванны никогда этого не допустила. Такой балда! Окружающие засмеялись, а один из них совсем заликовал:

— Вы прелесть, Маруся, всегда скажете такую вещь, что расцеловать хочется...

— Подумаешь, экое отличие, — равнодушно отозвалась Маруся, — и так скоро не останется на Дерibasовской ни одного студента, который мог бы похвастаться, что никогда со мной не целовался.

Больше я не расслышал, хотя начал нарочно прислушиваться.

Закончился спектакль совсем величаво. После первого и второго акта партер и ложи еще выжидали, что скажет высшая законодательница-галерка, и только по ее сигналу начинали бурно хлопать; но теперь сами своевольно загремели и ложи, и партер. Несчетное число раз выходил кланяться весь состав, потом Мона Ванна с Принцивалле, потом Мона Ванна одна в своей черной бархатной драпировке. Вдруг из грохота рукоплесканий выпала главная нота — замолчала с обеих сторон боковая галерка: знак, что готовится высшая мера триумфа, до тех пор едва ли не исключительная привилегия итальянских певиц и певцов — студенты ринулись в партер. Остальная публика, не переставая бить в ладоши, обернулась выжидательно; расписной занавес опять поднялся, но еще никого не было на сцене — там тоже ждали высочайшего выхода юности. Через секунду по всем проходам хлынули вперед синие сюртуки и серые тужурки; помню, впереди всех по среднему проходу семимильными шагами шел огромный грузин, с выражением лица деловым, серьезным, грозным, словно на баррикаду. Подойдя к самому оркестру, он сунул фуражку под мышку и неторопливо, может быть и не очень громко, с великим уверенным достоинством мерно и отчетливо трижды ударил в ладоши («словно султан, вызывающий из-за решетки прекрасную Зюлейку», было на следующий день сказано в одной из газет). И только тогда, в ответ на повелительный зов падишаха, вышла из-за кулис прекрасная Зюлейка; я видел, у нее по настоящему дрожали губы, и спазмы рыданий подкатывались к горлу; кругом стояла неописуемая буря; два капельдинера выбежали из-за кулис убирать корзины с цветами, чтобы очистить поле для того, что тогда считалось дороже цветов: на сцену полетели мятые, выцветшие, с облупленными козырьками голубые фуражки. Позади студентов стояли пристава и околоточные, каждый, как на подбор, с двумя бородами на груди; вид у них был благосклонный, разрешительный, величественно-праздничный, подстать пылающему хрусталу, позолоте, кариатидам, красному бархату кресел и барьеров, парадным одеждам хлебных экспортеров и их черноглазых дам, всему великолепию беспечной сытой Одессы. Я оглянулся на Марусю: она была вне себя от счастья, но смотрела не на сцену, а на студентов, дергала мать за вздутые у плеч рукава и показывала ей, по-видимому, своих ближайших друзей в толпе синих сюртуков и серых тужурок, называя имена; если правильно помню — до двадцати, а то и больше, пока не пополз с потолка, тоже величаво, пожарный занавес.

II. Сережа

Кто то мне сказал, что фамилия рыжей барышни Мильгром; и, уходя из театра, я вспомнил, что с одним из членов этой семьи я уже знаком.

Встретились мы незадолго до того летом. Я гостил тогда у знакомых, доживавших конец августа на даче у самого Ланжерона. Как то утром, когда хозяйева еще спали, я пошел вниз купаться, а потом задумал погрести. У моих друзей была плоскодонка на две пары весел; я кое как сдвинул ее в воду с крупно-зернистого гравия (у нас он просто назывался «песок»), и только тогда заметил, что кто то ночью обломал обе уключины на правом борту. Запасных тоже не оказалось. Нелепые были у нас на побережий уключины — просто деревянные палочки, к которым веревками привязывались неуклюжие толсторукие весла: нужно было мастерство даже на то, чтобы весла не выворачивались, не шлепали по воде плашмя. Зато никакого не нужно было мастерства на построение такой уключины: обстругать сучок. Но мне это и в голову не пришло. Наше поколение словно без пальцев выросло: когда отрывалась пуговица, мы скорбно опускали голову и мечтали о семейной жизни, о жене, изумительном существе, которое не боится никаких подвигов, знает, где купить иголку и где нитки, и как за все это взяться. Я стоял перед лодкой, скорбно опустив голову, словно перед сложной машиной, где что то испортилось таинственное, и нужен Эдисон, чтобы спасти пропащее дело.

В этой беде подошел ко мне гимназист лет семнадцати на вид; потом выяснилось, что ему едва 16, но он был высок для своего возраста. Он посмотрел на обломки уключин деловитым оком бывалого мужчины, и задал мне деловито вопрос:

— Кто тут у вас на берегу сторож?

— Чубчик, — сказал я, — Автоном Чубчик; такой рыбак.

Он ответил презрительно:

— Оттого и беспорядок, Чубчик! Его и другие рыбаки все за босявку держат.

Я радостно поднял голову. Лингвистика всегда была подлинной страстью моей жизни; и, живя в кругу просвещенном, где все старались выговаривать слова на великорусский лад, уже давно я не слышал настоящего наречия Фонтанов, Ланжерона, Пересыпи и Дюковского сада. «Держат за босявку». Прелесть! «Держат» значит считают. А босявка — это и перевести немислимо; в одном слове целая энциклопедия неодобренных отзывов. — Мой собеседник и дальше говорил тем же слогом, но беда в том, что я-то родную речь забыл; придется передавать его слова по большей части на казенном языке, с болью сознавая, что каждая фраза — не та.

— Погодите, — сказал он, — это легко починить.

Вот был передо мною человек другой породы, человек с десятью пальцами! Во-первых, у него оказался в кармане нож, и не перочинный, а финка. Во-вторых, он тут же раздобыл и древесный материал: оглянувшись, нет ли кого в поле зрения, уверенно подошел к соседней купальне со ступеньками и выломал из под перил нижнюю балясину. Сломал ее пополам о колено; половинку обстругал; примерил, влезет ли в дырку, опять постругал; выколупал кочерыжки старых уключин и вставил новые. Только недоставало, чтобы завершил стихами: «ну, старик, теперь готово...». — Вместо того он, с той же непосредственной, прямо в цель бьющей деловитостью, предложил мне способ расплаты за услугу:

— Возьмете меня с собой покататься?

Я, конечно, согласился, но при этом еще раз взглянул на его герб и, для очистки совести, спросил:

— А ведь учебный год уже начался — вам, коллега, полагалось бы теперь сидеть на первом уроке?

— *Le cadet de mes soucis*, — ответил он равнодушно, уже нанизывая веревочные кольца с веслами на уключины. По-французски это у него искренно вырвалось, а не для рисовки: я потом узнал, что у «их у младших детей были гувернантки (но не у Маруси и не у Марко, отец тогда еще не так много зарабатывал). Вообще он не рисовался, и более того — совсем и не заботился о собеседнике и о том, что собеседник думает, а поглощен был делом: попробовал узлы на кольцах; поднял настил — посмотреть, нет ли воды; открыл ящик под кормовым сидением — посмотреть, там ли черпалка; где то постукал, что то потер. В то же время успел изложить, что решил показенничать, так как узнал от соученика, проживавшего пансионером у грека, т. е. у чеха, преподававшего греческий язык, что этот педагог решил сегодня вызвать его, моего нового друга, не в очередь к доске. Поэтому он оставил записку матери (она поздно встает): „если придет педель, скажи ему, что я ушел к дантисту“, депонировал ранец у соседнего табачника и проследовал на Ланжерон.

— Компанейский человек ваша мама, — сказал я с искренним одобрением. Мы уже гребли.

— Жить можно, — подтвердил он, — *tout fait potable*.

— Только зачем же тогда ранец у табачника? Оставили бы дома, раз мать согласна.

— Из за папы невозможно. Он все еще необстрелянный. До сих пор не может успокоиться, что я за него расписываюсь под отметками. Ничего, привыкнет. Завтра я всю записку напишу его почерком: «сын мой, Мильгром Сергей, пятого класса, не был такого-то числа по причине зубной боли».

Мы порядочно отъехали; он прекрасно греб, и знал все слова на языке лодочников. Ветер сегодня опять разывается часам к пяти, и не просто ветер, а именно «трамонтан». «Затабаньте правым, не то налетим на той дубок». «Смотрите — подохла морская свинья», — при этом указывая пальцем на тушу дельфина, выброшенную вчера бурей на нижнюю площадку волнореза недалеко от маяка.

В промежутках между мореходными замечаниями он дал мне много отрывочных сведений о семье. Отец каждое утро «жарит по конке в контору», оттого он и так опасен, когда не хочется идти в гимназию — приходится выходить с ним из дому вместе. По вечерам дома «толчок» (т. е., по-русски, толкучий рынок): это к старшей сестре приходят «ее пассажиры», все больше студенты. Есть еще старший брат Марко, человек ничего себе, «портативный», но «тюнтя» (этого термина я и не знал: очевидно, вроде фюфана или ротозея). Марко «в этом году нищеанец». Сережа про него собственноручно сочинил такие стихи:

Штаны с дырой, зато в идеях модник;

Ученый муж и трижды второгодник.

— Это у нас дома, — прибавил он, — моя специальность. Маруся требует, чтобы про каждого ее пассажира были стихи.

Сестра Лика, по-видимому, тоже старше Сережи, «догрызла последние ногти, и теперь скучает и злится на всю Одессу». Моложе всех Торик, но он «опора престола»: обо всем «судит так правильно, что издали скиснуть можно».

К маяку, я забыл сказать, мы попали вот как: завидя дубок, на который мы бы налетели, если бы он не велел «табанить», Сережа вспомнил, что теперь у Андросовского мола полным полно дубков из Херсона — везут монастырские кавуны.

— Хотите, подадимся туды? Там и пообедаем: я угощаю.

Очень уютно и забавно было мне с ним, а на даче лодка никому до вечера не могла понадобиться; к тому же он обещал на обратный путь подобрать «одного из обжорки», тот будет грести, а я отдохну. Я согласился, и мы «подались» в порт, обогнув маяк и потратив на это дело часа три, из за ветра и зыби и необходимости каждые полчаса вычерпывать из под настила все Черное море.

— Сухопутные они у вас адмиралы, — бранился Сережа по адресу моих друзей, так нерадиво содержавших лодку.

К пристани среди дубков пришлось пробираться сквозь давку, словно в базарные часы на Толчке: малые суда чуть ли не терлись друг о друга, и Сережа знал, что дубок, что баркас, что фелюка и еще пять или десять названий. Очевидно, и его тут многие знали. С палуб, загроможденных арбузами, раза три его окликнули ласково, приблизительно так: — Ого, Сирожка — ты куда, гобелка? чего у класс не ходишь, с. с.? Как живет? — На что он неизменно отвечал: — Скандибобером! — т. е., судя по тону, отлично живет. С одной «фелюки» ему, скаля белые зубы, молодец в красной феске что-то закричал по гречески, и Сережа отозвался на том же языке; я его не знаю, но, к сожалению, разобрал окончание фразы — «тин митера су», винительный падеж от слова, означающего: твоя мамаша. В беседе со мной Сережа от этого стиля воздерживался. Впрочем, излагая мне свои взгляды на учениц разных одесских гимназий, он и раньше немного смутил меня своей фразеологией: самая шпачья форма у Куракиной-Текели — фиолетовый цвет хорошо облегает, логарифмы сторчат, как облупленные!

У пристани он, отказавши мне строго в разрешении внести свой пай на расходы, сбежал куда то и принес целый куль съестного. Тут же на лодке, окунув руки для гигиены в прорубь между арбузными корками, мы совершили самую вкусную в моей жизни трапезу. Но еще слаще еды было любоваться на то, как ел Сережа. Великое дело то, что англичане называют: *table manners* — не просто умение держать вилку и глотать суп без музыкального аккомпанемента, а вообще «обряд питания», ритуал сложный, особый для каждого рода пищи и для каждой обстановки, свято утоптаный поколениями гастрономической традиции. Что вилка? Немудрено, когда есть вилка, действовать так, чтобы и глядеть было приятно. Тут не только вилки не было, но она и вообще была бы неуместна. Бублик семитати: Сережа его не сломал, а разрезал его по экватору, на два кольца, смазал оба разреза салом, соскреб с гляцевитой поверхности кунжутные семечки, — ровно, как опытный сеятель на ниве, рассыпал их по салу, опять сложил обе половинки и только тогда, не ломая, впился в бублик зубами. Тарань: Сережа взял ее за хвост и плашмя, раз десять, шлепнул о свой левый каблук, объяснив мне: «шкура легче слазит». Действительно, его тарань дала себя обнажить гораздо скорее и совершеннее, чем моя, хоть я над своею оперировал при помощи его финки; и я все еще подрезывал прозрачные соленые пласты на крепких иглах ее скелета, когда от его тарани давно только жирный след остался у него на подбородке, на щеках и на кончике носа. Но высшей вершиной обряда был кавун. Я стал было нарезать его ломтями; Сережа торопливо сказал: «для меня не надо». Он взял целую четвертушку, поддержал ее перед глазами, любуясь игрою красок, — и исчез. Пропал с глаз долой: был Сережа и нет Сережи. Предо мною сидела гимназическая форма с маской зеленого мрамора вместо головы. Зависть меня взяла: я со стороны почувствовал, что он в эту минуту переживает. Хороший кавун пахнет тихой водой, или наоборот, это безразлично; но утонуть, как он, в арбузе — все равно, что заплывать пред вечером далеко в морское затишье, лечь на спину и забыть обо всем. Идеал нирваны, ты и природа, и больше ничего. Зависть меня взяла: я схватил вторую четвертушку и тоже распрощался с землей.

...Потом пришел тот «один из обжорки», и я невольно подумал по-берлински: — *so siehste aus*. — Сережа его представил: Мотя Банабак. Тому было лет двадцать, но, несмотря на разницу возраста, это были, по-видимому, закадычные друзья. По дороге обратно я заснул и их беседы не слышал; но все остальное я вспомнил тогда, после театра, сидя за чашкой восточного кофе и блюдцем сирского рахат-лукума в любимой греческой кофейне на углу Красного переулка.

III. В «Литературке»

На субботнике, в литературно-художественном кружке, после концерта, пока служителя убирали стулья для танцев, в «виноградном» зале Маруся, таща за рукав, подвела ко мне свою мать и сказала:

— Эта женщина хочет с вами познакомиться, но робеет:

Анна Михайловна Мильгром. — Между прочим, надо самой представиться: я ее дочь, но она ни в чем не виновата.

Анна Михайловна подала мне руку, а Маруся, наказав ей вполголоса: «веди себя как следует», ушла выбирать себе кавалера; ибо закон, по которому это делается наоборот, не про нее был писан.

«Виноградный» зал так назывался потому, что стены его украшены были выпуклым переплетом лоз и гроздей. Помещение кружка занимало целый особняк; кому он принадлежал и кто там жил прежде, не помню, но, очевидно, богатые бары. Он находился в лучшем месте города, на самой границе двух его миров — верхнего и гаванного. До сих пор, зажмурив глаза, могу воскресить пред собою, хоть уже сквозь туман, затушевывающий подробности, ту большую площадь, память благородной архитектуры заморских мастеров первой трети девятнадцатого века, и свидетельство о тихом изяществе старинного вкуса первых строителей города — Ришелье, де Рибаса, Воронцова, и всего того пионерского поколения негоциантов и контрабандистов с итальянскими и греческими фамилиями. Прямо предо мною — крыльцо городской библиотеки: слева на фоне широкого, почти безбрежного залива — перистиль думы: оба не посрамили бы ни Коринфа, ни Пизы. Обернись вправо, к первым домам Итальянской улицы, в мое время уже носившей имя Пушкина, который там писал Онегина; обернись назад, к Английскому клубу и, поодаль, левому фасаду городского театра: все это строилось в разные времена, но все с одной и той же любовью к иноземному, латинскому и эллинскому гению города с непонятным именем, словно взятым из предания о царстве

«на восток от солнца, на запад от луны». И тут же, у самого особняка «литературки» (тоже по братски похожего на виллы, которые я видел в Сиене), начался один из спусков в пропасть порта, и в тихие дни оттуда тянуло смолоу и доносилось эхо элеваторов.

В то подцензурное время «литературка» была оазисом свободного слова; мы все, ее участники, сами не понимали, почему ее разрешило начальство и почему не закрыло. Прямой крамолы там не было, все мы были так выдрессированы, что слова вроде самодержавия и конституции сами собой как то не втискивались еще в наш публичный словарь; но о чем бы ни шла речь, от мелкой земской единицы до гауптманова «Затонувшего колокола», — во всем рокотала крамола. Чеховская тоска воспринималась, как протест против строя и династии; выдуманные босяки Горького, вплоть до Мальвы, — как набатный зов на баррикады; почему и каак, я бы теперь объяснить не взялся, но так оно было. Партий еще не было, кроме подпольных; легальные марксисты и народники не всегда точно знали, чем они друг на друга непохожи, и безропотно числились, заодно с будущими кадетами, в общей безбрежности «передового лагеря»; но вместе с тем, не имея программ, мы умудрялись выявлять запальчивую программную нетерпимость. Кто то представил доклад о Надсоне, где доказывалось, что был он не поэт-гражданин, а поэт-обыватель, «Кифа Мокиевич в стихах»: два часа подряд его громили оппоненты за реакционность этого взгляда, и председательствовавший, грек, по профессии страховой инспектор, собственной властью лишил докладчика права на последнее защитительное слово, и так он и остался опозоренным навеки; а в чем был состав преступления, не помню, и неважно. Но тогда все это было потрясающе важно; и, как тот особняк стоял в главной точке города географически, так были четверги «литературки» средоточием нашей духовной суеты.

Оглядываясь на все это через тридцать лет, я, однако, думаю, что любопытнее всего было тогда у нас мирное братание народностей. Все восемь или десять племен старой Одессы встречались в этом клубе, и действительно никому еще не приходило в голову хотя бы молча для себя отметить, кто кто. Года через два это изменилось, но на самой заре века мы искренно ладили. Странно; дома у себя все мы, кажется, жили врозь от инородцев, посещали и приглашали поляки поляков, русские русских, евреи евреев; исключения попадались сравнительно редко; но мы еще не задумывались, почему это так, подсознательно считали это явление просто временным недосмотром, а вавилонскую пестроту общего форума — символом прекрасного завтра. Может быть, лучше всего выразил это настроение — его примирительную поверхность и его подземную угрозу — один честный и глупый собутыльник мой, оперный тенор с украинской фамилией, когда, подвыпив на субботнике, подошел после ужина обнять меня за какую то застольную речь:

— За самую печенку вы меня сегодня цапнули, — сказал он, трижды лобызаясь, — водой нас теперь не разольешь: побратимы на всю жизнь. Жаль только, что вот еще болтают люди про веру: один русский, другой еврей. Какая разница? Была бы душа общая, как у нас с вами. А вот Х. — тот другое дело: у него душа еврейская. Подлая это душа...

* * *

Анна Михайловна оказалась вблизи совсем моложавой госпожею с удивительно добрыми глазами; очень извинялась за выходку дочери — «вам не до старух, вы хотите танцевать». Я правдиво объяснил, что еще в гимназии учитель танцев Цорн прогнал меня из класса, обнаружив, что я никак не в состоянии постигнуть разницу между кадрилию и вальсом в три па. Мы сели в уголок за фикусом и разговорились; причем я сначала пытался беседовать галантно («моей дочери скоро двадцать лет» — «кто вам, сударыня, позволил выйти замуж в пригготовительном классе?»), но она просто отмахнулась и без церемонии сразу перевела меня в детскую:

— Слушайте, я действительно хотела с вами встретиться. Мой муж знал вашего покойного отца когда то на Днепре; мы часто о вас говорим, и я хотела вас спросить: отчего вы, человек способный, околачиваетесь без профессии?

Для первого знакомства это был очень обидный вопрос; но у нее был особый талант (потом еще в большей степени я нашел его у Маруси) говорить самые неподходящие вещи как-то по-милому, словно ей все можно.

— Без профессии? да ведь я уже сколько лет газетчик.

Она посмотрела на меня с неподдельным изумлением, словно бы я сказал, что вот уже десять лет прыгаю на одной ноге.

— Это ж не карьера. Писать можно еще год, еще два; нельзя всю жизнь сочинять фельетоны, Игнац Альбертович (это мой муж) охотно устроил бы вас у себя в конторе; или подумайте об адвокатуре; или что-нибудь, только нельзя же болтаться человеку в воздухе без настоящего заработка.

Я стал было доказывать питательные качества своего ремесла, но почувствовал, что не поможет ему защита: в ее представлениях о социальной лестнице просто не было для него ступени; в старину, говорят, так смотрели все порядочные люди на актеров; или, может быть, это проявился атавизм еврейский, и мое занятие казалось ей чем-то вроде профессии меламеда, за которую берется человек потому, что ничего другого не нашлось. Я бросил апологию и перешел в наступление:

— Откровенность за откровенность. Я знаю двоих из ваших детей: эту старшую барышню и Сережу. Скажите: как у них-то прививаются ваши благоразумные советы? Оба они прелесть, но что то, боюсь, не в вашем стиле...

— О, это другое дело. Они мои дети; я скорее на крышу гулять полезу, чем стану им советовать.

— Как так?

— Последний человек, которого люди слушают, это Мать; или отец, все равно. В каждом поколении повторяется трагедия отцов и детей, и всегда одна и та же: именно то, что проповедуют родители, в один прекрасный день, оказывается, детям осточертело, заодно и родители осточертели. Спасибо, не хочу.

«Умница дама», подумал я, и решил, что занятнее не проведу вечера, чем с нею. Эта семья меня уже заинтересовала; я стал расспрашивать о ее детях, она охотно рассказывала, минутами с такой откровенностью, которая и вчуже меня бы резнула, если бы у нее все это не выходило «по милому».

Между танцами подбежала к нам Маруся; сказала мне, указывая на мать: «берегитесь, она форменная демиверж — обворожить обворочит, а на роман не согласится»; и тут же сообщила матери: «весь вечер танцую с Н. Н.; влюблена; жаль, у него усы, но я надеюсь, что мягкие, царапать не будут», — и убежала.

— От слова не станется, — сказал я утешительно, думая, что Анна Михайловна смущена конкретностью этого прогноза; но она ничуть не была смущена.

— У девушек этого поколения, что слово, что дело — разница их не пугает.

— А вас?

— Всякая мать за всех детей тревожится; но меньше всего я тревожусь именно за Марусю. Вы в детстве катались на гигантских шагах? Взлетаешь чуть ли не до луны, падаешь как будто в пропасть — но это все только так кажется, а на самом деле есть привязь и прочная граница. У Маруси есть граница, дальше которой ее никакие усы не оцарапают — хотя я, конечно, не хотела бы знать точно, где эта граница; — но вот мой муж.

Игнац Альбертович был много старше, полный, с бритым подбородком, в очках; я и по виду сказал бы, что хлебник — так и оказалось. Судя по акценту, он в русской школе не учился, но, невидимому, сам над собою поработал; особенно усердно, как было еще принято в его поколении, читал немецких классиков — впоследствии цитировал на память чуть ли не страницы из Берне, а из поэтов особенно почему то любил Шамиссо и Ленау. В результате был на нем отчасти тот неопределимый отпечаток, который мы передаем смешным словом «интеллигент»; слово столь же зыбкого содержания, как у англичан «джентльмен». У подлинного джентльмена могут быть невыносимо скверные манеры, как и настоящий интеллигент может спокойно, даже зевнув, обнаружить незнание Мопассана или Гегеля: дело тут не в реальных признаках, а в какой то внутренней пропудренности культурой вообще. — Но вместе с тем в Игнаце Альбертовиче прежде всего чувствовался человек из мира «делов», знающий цену вещам и людям и убежденный, что цена, вероятно, и есть самая сущность. Это все я узнал после, когда сошелся с семьей, хотя и в той первой беседе мне врезались в память некоторые его оценки.

Анна Михайловна сразу ему пожаловалась, что я в контору не хочу, а намерен «весь век остаться сочинителем».

— Что ж, — сказал он, — молодой человек, очевидно, имеет свою фантазию в жизни. У нашего сына Марко, что ни месяц, новая фантазия; я ему всегда говорю: «С Богом, желаю успеха; только помни: если тебе удастся, я скажу: молодец, я всегда предсказывал, что из него выйдет толк. А если провалишься, я скажу: да разве я еще с его рождения не знал, что Марко дурак?».

Я поблагодарил за науку, но предпочел опять перевести беседу подальше от себя, на их собственных детей; это было нетрудно — Анна Михайловна явно любила эту тему, и муж ее тоже от нее не сторонился. Сережу они описали точно таким, каким я его уже знал; Игнац Альбертович, протирая очки, закрепил это описание формулой несколько неожиданной:

— Вообще шарлатан; люблю шарлатанов.

Зато о Торике (его звали Виктор), самом младшем, Анна Михайловна говорила почтительно: хорошо учится, много читает, ходит на гимнастику, недурно играет на скрипке, вежлив, охотно услужлив; когда у матери было воспаление легких, а Маруся тогда была за границей, Торик ходил за больною лучше всякой сиделки.

— Есть, — сказал Игнац Альбертович, — люди, которые любят суп с лапшой, а есть и такие, что любят его с клецками. Это не просто, это два характера. Лапша — дело скользкое: если повезет, наберешь целую копну; но есть и риск, что все соскользнет. А с клецками никакого беспокойства: больше одной не выловишь, зато с мясом, и уж наверняка. У нас Сережа любит суп с лапшей, а Торик с клецками.

Я долго смеялся, хотя слышал эту притчу и раньше, во многих версиях; но он очень сочно все это изложил. Я спросил:

— Теперь мне знакома вся галерея семейных портретов, но Сережа говорил, что есть еще сестра — Лика?

Анна Михайловна посмотрела на мужа, а он — на пол, и сказал раздумчиво:

— Лика. Гм... Лика — это не сюжет для разговора во время танцев.

<...>

V. Мир «Делов»

Конечно, была в этом доме и другая жизнь, помимо старшей дочери и собиравшейся у нее ватаги; только очень казалась она заслоненной, и сам Игнац Альбертович говорил о себе и жене и гостях не марусиных: — Мы — вторая

гарнитура... Между тем вышло так, что в дальнейшем ходе разных ответвлений этой веселой и горькой истории тем «заслоненным» достались видные роли; надо и их помянуть.

Были «Нюра и Нюта» — мать и дочь; дочь называла мамашу по имени. Собственно звали старшую даму Анной, а девицу Ноэми — на библейском имени настоял отец; он же, говорят, очень сердился за то, что мать и дочь, хотя бы неофициально, сливут как будто тезками наперекор еврейской традиции; но с ним мало считались, человек он был застенчивый, молчаливый, л часто уезжал по делам. Нюра и Нюта не только себе клички придумали похожие — они и одевались одинаково, и причесывались друг под друга и всегда были неразлучны. Кажется, они и губы подкрашивали — серьезная в те годы уголовщина. «В Нюре с Нюткой есть что-то порочное», уверяла Маруся; а Сережа их, напротив, защищал следующим образом: «Ничего подобного, просто дурака валяют»; причем этот обмен мнений произошел в присутствии самих Нюры и Нюты и моем и еще всякого разного народу, и никто не обиделся, только мать и дочь, сидевшие рядом, повернули друг к другу лица под одним и тем же углом и улыбнулись друг дружке одной и той же стороной губ. — Дочери было, вероятно, лет двадцать пять, она формально считалась приходившей к Марусе (у которой вообще бывало много и женской молодежи); мать ее числилась, конечно, гостьей Анны Михайловны; но впечатление было такое, будто Нюра и Нюта, где бы ни были, всегда, собственно, делают визиты друг другу.

Еще бывал там один гость, не разобрать чей; меня с ним раза три знакомили, пока я его заметил. Был это дальний племянник Анны Михайловны, уже взрослым юношей прибывший из местечка на Днепре; теперь ему было, невидимому, лет двадцать восемь, не меньше. Он называл хозяев «дядя» и «тетя», со всеми детьми был на ты, но этим близость и ограничивалась; приходил часто, но ни в каких общих затеях, играх, прогулках не участвовал; все так привыкли к его пассивному присутствию, что оно уже никого не стесняло, ни хозяев, ни гостей, ни его самого. Я попробовал однажды с ним разговориться, но успеха не имел; только вынес впечатление, что он и меня и всю компанию презирает, и вообще мужчина угрюмый и не очень доброжелательный. Фамилия у него была странная — Козодой; в семье называли его Самойло; он имел звание помощника провизора и служил в аптекарском магазине, а слова «аптекарский магазин» произносил оба с ударениями на предпоследнем слоге. Кто то пустил слух, будто он влюблен в Марусю; но все они были в нее влюблены, и меньше всего был похож на вздыхателя именно Самойло — кажется, даже не заговаривал с нею, а на ее редкие обращения отвечал равнодушно и деловито, не поощряя к продолжению беседы. Еще помню: говорили, что он о своем ремесле держится очень высокого мнения и называет себя не фармацевт, а фармаколог; Сережа это выговаривал: «фармаколух».

Затем помню еще двух родственников, между собою братьев, совсем пожилых; старшего звали Абрам Моисеевич, второго Борис Маврикиевич, и это различие в стилизации одного и того же отчества определяло многое в их несходной натуре. Старший, старик богатый, любил щеголять первобытной своей неотесанностью. Все ходячие престарелые словечки и остроты на эту тему я слышал от него. «Образование?» — говорил он, вытаскивая бумажник: «вот мое образование». Или: «Убеждения? вот...». Или: «Что, Игнац, твой Марко опять остался на второй год? Это ты дурак, а не он. Мой Сема тоже лентяй, но я что делаю?». Перед экзаменами встречаю в клубе его директора и говорю прямо: г. Суббоцкий, держу с вами пари на пятьсот, что мой сын опять застрянет. — И дело в шляпе». Брата своего Бориса Маврикиевича он терпеть не мог, всячески ему досаждал; за глаза называл его «этот шмендрик», а в глаза на людях не Борис, но «Бенреш».

Борис Маврикиевич был всего лет на пять моложе, но воспитан был или сам себя воспитал совсем по иному. Выражался правильно по-русски, а оттенки акцента сглаживал тем, что в присутствии русских старался говорить басом (это, говорят, помогает). Много лет назад, принимая грязевые ванны на Хаджибейском лимане, он познакомился с писателем Данилевским; тот ему подарил на память свой роман «Девятый вал», и Борис Маврикиевич оттуда всегда цитировал места, подходящие к теме данной беседы. Более того: когда в кредитном обществе, где он и брат его Абрам Моисеевич оба состояли членами правления, появился вдруг некий строптивый пайщик и произвел не помню какой скандал в годовом собрании, — я сам слышал, вот этими ушами, как Борис Маврикиевич о нем отзывался: «Это Робеспьер какой то; кончит тем, что и его какая-нибудь Шарлотта застрелит в бане». Росту он был богатырского, грудь носил колесом; раз я встретил его на Дерibasовской, в сизой крылатке вроде офицерской, а на голове у него была самая подлинная дворянская фуражка с красным околышком, и общий эффект был отменно православный. Он носил бакенбарды в полщеки, а подбородок брил ежедневно, с синевою, и по пятницам приходила к нему маникюрша.

В клубе он играл в винт исключительно с чиновниками — тут то и любил старший брат подойти и сказать во всеуслышание: «Бейреш, пора домой, твоя жена Фейгеле беспокоится», — а тот был холостяк, и никакой Фейгеле и на свете не было.

Смешили они меня до умору; но в одном должен признаться — эти двое, и с ними еще Игнац Альбертович, первые мне показали то, что потом в жизни много раз еще подтвердилось: что гораздо любопытнее говорить с купцами, чем с профессиональными интеллигентами. В естественном кругу моем я встречался больше с литераторами и адвокатами: потолковав о книгах, больше не о чем бывало нам беседовать, разве что рассказывать анекдоты судебные или редакционные. Но когда те три «хлебника», уставши от вечной игры в очко и в шестьдесят шесть, клали локти на стол и начинали пересушивать свои биржевые дела, я невольно заслушивался, и мне на час открывался весь божий мир и чем он живет. По тысячам дорог Украины скрипят телеги, хохлы кричат на волов «цоб-цобе», — это везут зерно со всех сторон к пристаням кормильца-Днепра, и жизнь сорока миллионов зависит от того, какие будут в этом сезоне отмечены в бюллетене одесского гоф-маклера ставки на ульку или сандомирку. Но и эти ставки

зависят от того, оправдаются ли тревожные слухи, будто султан хочет опять закрыть Дарданеллы; а слухи пошли из за каких то событий в Индии или в Персии, и как то связаны с этим и Франц-Иосиф, и императрица Мария Федоровна, и французский премьер Комб, и еще, и еще. Обо всем этом они говорили не вчуже, не просто как читатели газет, а запальчиво, как о деталях собственного кровного предприятия; одних царей одобряли, других ругали, и о тех и других как будто что то знали такое, чего нигде не вычитаешь.

Подтверждалось это мое впечатление также и тем еще, как тесно подружился с Абрамом Моисеевичем юнейший в доме Торик: Торик, несмотря на великую свою обходительность со всеми людьми без различия, не стал бы терять времени на разговоры, лишённые поучительности. Старик у него просиживал часами: хотя у Марко с Сережей была комната общая, Торику отвели, конечно, отдельную. Раза два и я напросился третьим в их беседу; в самом деле, занимательно и сочно рассказывал старик о Севастопольской кампании, о смерти Линкольна, о парижской коммуне, о Скобелеве, о процессе Желябова, о Буланже и тому подобных явлениях из хроники черноморской хлеботорговли. Но помню, что больше всего при этом мне imponировал не Абрам Моисеевич, а Торик; еще точнее — не сам Торик, который слушал и молчал, а его комната. Она была вся заставлена книгами, отражавшими разные стадии его духовного развития. «Задушевное Слово», «Родник», «Вокруг Света» и так дальше до ежемесячника «Мир Божий» — все в сохранности, в комплектах, в переплетах; русские классики; целая полка *Bibliothèque Rose* и всяческих *Morgueaux Choisis*; даже, к моему изумлению, «История» Греца, единственная книга еврейского содержания во всем доме. Письменный стол содержался в порядке; правильным столбиком лежали школьные тетради в голубых обложках, из каждой свешивалась цветная ленточка, приклеенная облатками и к обложке, и к промокашке; на стене висело расписание уроков...

А однажды случилось так: Анна Михайловна, когда мальчиков не было дома, попросила меня принести ей словарь Макарова с полки у Торики, но я ошибся дверью и попал в комнату, где еще никогда не был. Полагалось бы сейчас же отступить, но я про это забыл, так меня разом удивила обстановка и атмосфера той комнаты. Словно из другого дома: железная кровать, два некрашенных стула, облупленный умывальник, на нем гребешок, мыло и зубная щетка и больше ничего. На столе валялись книжки; заглавий я не мог прочесть с порога, но узнал их по формату — эту словесность тогда просто называли «брошюрами», и о том же ходе мысли говорил прибитый кнопками к обоям портрет Лассала. Подивившись на все это, я закрыл дверь, разыскал у Торики словарь, понес его Анне Михайловне и в коридоре встретил Лику: глядя прямо перед собою, она тщательно отвела плечо, чтобы я как-нибудь не задел ее за форменный темно-зеленый рукав, и прошла в ту комнату к себе.

VI. Лика

Летом Мильгромы жили на Среднем Фонтане. Дача находилась на десятой станции: достаточно для старого туземца назвать этот номер, чтобы восстала из забвения пред очами души его одна из характернейших картин нашего тогдашнего быта.

Если бы мне поручено было написать монографию о десятой станции, я бы начал издавека, и с сюжета чрезвычайно поэтического. Много раз уже, начал бы я, воспевали художники слова таинственную влекущую силу ночного серебряного светила, которой, говорят, послушны морские приливы (на Черном море высота прилива около вершка, но это к делу не относится). Зато, насколько знаю, никем еще не воспет притягательный магнетизм светила дневного; а между тем, есть в природе одно существо, которое не только имя свое и самый облик заимствовало у солнца, но и активно правит ему свое богослужение от восхода до заката, все время поворачиваясь лицом к колеснице жизнедателя Феба, и т. д. — От подсолнечника монография перешла бы к его семенам и подробно остановилась бы на значении этого института, не с точки зрения ботаники, ни даже гастрономии, но с точки зрения социальной. Символ плебейства, с презрением скажут хулители; но это не так просто. На десятой станции я видел не раз, как самые утонченные формации человеческие, модницы, директора банков, жандармские ротмистры, подписчики толстых журналов, отрясающая кандалы цивилизации, брали в левую руку «фунтик» из просаленной бумаги, двумя перстами правой почерпали из него замкнутый в серо-полосатую кобуру поцелуй солнца, и изысканный разговор их, из нестройной городской прозы, превращался в мерную скандированную речь с частыми цезурами, в виде пауз для сплевывания лупшайки. Этот обряд объединял все классы, барыню и горничную, паныча и дворника; и должна же быть некая особая тайная природная доблесть в тех точках земной поверхности, где совершается такое социальное чудо, — где обнажается подоплека человеческая, вечно та же под всей пестротой классовых пиджаков и интеллектуальных плюмажей, и, на призыв дачного солнца, откликается изо всех уст единый всеобщий подкожный мещанин... Впрочем, это наблюдалось, главным образом, после заката упомянутого светила, так что символизм той монографии вряд ли удалось бы выдержать последовательно; но основная мысль ее, настаиваю, верна. Характернейшей чертой десятой станции было то, что все там лужали «семочки» (никогда и никто у нас этого слова иначе не произносил), и любили это занятие, и несметными толпами ежевечерне стекались туда на соборный этот обряд, и под аккомпанемент его заключали договоры, обсуждали идеи, изливали влюбленную душу и молили о взаимности...

Сюда я, с разрешения хозяев, привез однажды знакомого живописца. У нас была в городе дружная компания художников-южан; общий приятель наш, известный в те годы поэт, драматург и беллетрист, описал ее когда то под кличкой «двенадцать журавлей»; дважды в месяц они пьяно и весело ужинали в одном из греческих ресторанчи-

ков, позади Городского театра, скупко допуская в свою среду иногда и писателей; меня пускали по ходатайству того драматурга, «за любовь к Италии», и под условием (после одного опыта) «никогда не писать в газете о картинах». Один из них, увидав меня как то на спектакле в ложе у Анны Михайловны, попросил: — познакомьте меня: интересные головы у всей этой семьи. — Я сообразил, что множественное число — только для отвода глаз, а зарисовать ему хочется Марусю.

Но, сидя у них за столом, он вдруг обратился к Анне Михайловне громко, с деловитой откровенностью специалиста, говорящего о своей специальности:

— Что за неслыханная красавица ваша младшая дочь!

Мы все, человек десять за столом, изумленно обернулись на Лиду. Никогда ни одному из нас это в голову не приходило; вероятно, и родным ее тоже. Лида была едва ли не просто неряха, волосы скручивала редькой на макушке, и то редька всегда сползала на бок; она грызла ногти, и чулки у нее, плохо натянутые, морщились гармоникой из под не совсем еще длинной юбки.

Главное — вся повадка ее, чужая и резкая, не вязалась с представлением о привлекательности, — не взбредет же на ум человеку присмотреться, длинные ли ресницы у городского. Посвященный ей Сережей «портрет» начинался так:

Велика штука — не язык, а пика:
А ну — ка уко-лика, злюка Лида!

А прав был художник, я теперь увидел. Странно: простая миловидность сразу бросается в глаза, но настоящую большую красоту надо «открыть». Черные волосы Лиды, там, где не были растрепаны, отливали темной синевой, точь-в-точь оттенка морской воды в тени между скалами в очень яркий день. Синие были и глаза, в эту минуту с огромными злыми зрачками, и от ресниц падала тень на полщеки. Лоб и нос составляли одну прямую черту, греческую, почти без впадины; верхняя губа по рисунку напоминала геральдический лук, нижняя чуть-чуть выдавалась в презрительном вызове навстречу обидчику. От обиды она бросила ложку, и я увидел ее пальцы, как карандашики, длинные, тонкие, прямые, на узкой длинной кисти; и даже обкусанные края не нарушали овальной формы ногтей. Прежде, чем вскочить, она возмущенно подняла плечи, и когда опустила их, я в первый раз увидел, что они, хоть и очень еще детские, срисованы Богом с капитольской Венеры — наклонные, два бедра высокого треугольника, без подушек у перехода в предплечья... Но ложка упала так, что брызги борща со сметаной разлетелись по всем окрестным лицам; стул повалился, когда она вскочила; и, не сказав ни слова, она ушла из столовой.

— Вижу, — вздохнул художник, — не захочет барышня позировать.

Анна Михайловна была очень сконфужена и без конца извинялась; гость, кажется, не обиделся, но почему то очень оскорбленным почувствовал себя я. Если бы не то, что вообще я с Лидой никогда и двух слов не оказал, я бы в тот же вечер постучался в ее камеру, вошел бы, не дождавшись «войдите», и выбрал бы ее всеми словами, какие только в печати дозволены. Но случайно эта возможность устроить ей сцену представилась мне через несколько дней.

Было это так: однажды ночью мы большой компанией взбирались по крутому обрыву, гуськом, я предпоследний, а за мною Лида. Утром прошел дождь, тропинка была еще рыхлая и скользкая. Из под ног у Лиды вдруг выкатился камень, она вскрикнула, села, и ее медленно потащило вниз. Я опустил, нагнулся и схватил ее за руку.

— Пустите руку, — сказала она сердито.

Досада меня взяла; точно малого ребенка, я потащил ее вверх, и она, словно и вправду упрямый ребенок, выворачивалась и локтем, и плечами, но все-таки добралась до прочного устоя. Там я ее отпустил; она смотрела мимо, тяжело дыша, и видно было, что в душе у нее происходит борьба: обругать ли? сказать ли спасибо? Я отстранился, дал ей пройти вперед; она шагнула, слегка вскрикнула и села, потирая щиколотку.

— Не надо ждать, — сказала она сквозь зубы, глядя все в сторону.

— Пройдет, тогда и пойдем, — ответил я с искренним бешенством. — По моим правилам не оставляют одной несовершеннолетнюю девицу, которая вывихнула ногу, даже если она невоспитанная.

Длинная пауза; сверху и голосов уже не было слышно, спутники наши перевалили через край обрыва. У меня отлегло раздражение, я рассмеялся и спросил:

— В чем дело, Лида; или, если угодно, в чем дело, Лидия Игнатьевна — за что вы так меня возненавидели?

Она пожала плечами:

— И не думала. Вы для меня просто не существуете. Ни вы, ни... — Она поискала слова и нашла целую тираду: — ни вся эта орава бесполезных вокруг Маруси, и Марко, и мамы.

— От ликующих, праздно болтающих, уведи меня в стан погибающих?

— Можете скалить зубы, мне и это все равно. И, во всяком случае, не в стан «погибающих».

— А каких?

Она опять передернула плечами и промолчала, растирая ногу. Полумесяц светил ей прямо в лицо; очень прав был тот художник.

— Знаете? — заговорил я, — раз, когда у вас было такое выражение лица, Сережа подтолкнул меня и сказал: Жанна д'Арк слышит голоса.

Вдруг она повернулась ко мне и взглянула прямо в глаза, в первый раз и, кажется, в последний за все наше знакомство; и невольно я вспомнил слово: посмотрит — рублем подарит. Не в смысле ласки или милости «подарок», взгляд ее был чужой и ко мне совсем не относился: но предо мной открылось окошко в незнакомый темный сад; и, несмотря на темноту, нельзя было не дать себе отчета, что большой чей то сад.

— Вы меня вытащили, — сказала она другим тоном, спокойно и учтиво, — напрасно я на вас огрызнулась; в искупление — я вам на этот раз отвечу серьезно, хотя, вообще, право, незачем и не о чем нам разговаривать. Сережа, если хотите, прав: «голоса». Я их все время слышу, со всех сторон; они шепчут или кричат одно и то же, одно слово.

Я ждал, какое, но ей, очевидно, трудно его было выговорить. Я попробовал помочь:

— «Хлеба»? «Спаси»?

Она покачала головой, все не сводя с меня повелительных синих глаз:

— Даже невоспитанной барышне трудно произнести. — «Сволочь».

Странно, меня не покорило (хотя написать только что эти семь букв на бумаге, я не сразу решился): грубое кабацкое слово донеслось из глубины того чужого сада не руганью, а в каком то первобытном значении, точно вырвала она его, на языке ветхозаветных отшельников, из затерянной гневной главы Писания. Теперь мы смотрели друг другу в глаза уже без насмешки с моей стороны и вызова с ее, серьезно и напряженно, два заклятых врага, которым настал час договориться до конца.

— Это вы о ком?

— Обо всех и ни о ком. Вообще люди. Итог. — Вы думали, что мои голоса кричат «хлеба!» и просят: приди и спаси? Это вы мне много чести делаете, не по заслугам: я-то знаю про голод и Сибирь и все ужасы, но мне никого не жалко и никого я спасти не пойду, и меньше всего в стан погибающих.

— Понял: в стан разрушающих? в стан сжигающих?

— Если хватит меня, да.

— Одна, без товарищей?

— Поищу товарищей, когда окрепну.

— Разве так ищут, каждого встречного заранее осуждая без допроса?

— Неправда, я сразу делаю допрос, только вам не слышно. Я сразу чувствую чужого.

Она подумала напряженно, потом сказала:

— Трудно определить, но, может быть, критерий такой: есть люди с белой памятью и есть с черной. Первые лучше всего запоминают из жизни хорошее, оттого им весело... с Марусей, например. А злопамятные записывают только все черное: «хорошее» у них само собою через час стирается с доски, да и совсем оно для них и не было «хорошим». Я в каждом человеке сразу угадываю, черно-памятный он или бело-памятный; незачем допрашивать. — Теперь я уже могу пойти, и буду на вас опираться, и наверху скажу спасибо, только уговор — как бы это выразить...

Я ей помог:

— Будьте спокойны, обещаю и впредь обходить вас за версту.

VII. Марко

Перед выездом на дачу произошло важное событие — Марко получил, наконец, аттестат зрелости. В их выпуске было, кроме него, еще несколько закоснелых второгодников, поэтому освобождение от гимназического ига было отпраздновано с исключительным треском. Мой коллега Штрок, король полицейского репортажа в Одессе и на юге вообще, принес в редакцию восторженное описание этой вакханалии; конечно не для печати, а просто из принципа, дабы в редакции не забыли, что Штрок все знает. Выпуск в полном составе явился в «Северную», славнейший кафешантан в городе, куда им еще накануне, как гимназистам, строго запрещен был вход; и так они там шумели, что дежурный пристав (хотя по традиции на июньские подвиги абитуриентов, все равно как на буйства новобранцев, полиция смотрела сквозь пальцы) не выдержал и пригрозил участком; на что старейший из второгодников дал, по словам Штрока, исторический ответ, с тех пор знаменитый в летописях черноморского просвещения:

— Помилуйте, г. пристав, — раз в шестнадцать лет такая радость случается!

Потрясенный этим монументальным рекордом, пристав сдался.

После этого я помню Марко с синей фуражкой на голове; но был ли под этой фуражкой летний студенческий китель или просто пиджак, т. е. сразу ли его, сквозь петли процентной нормы, приняли в университет, — не могу вспомнить. Это любопытно: биографию сестер и братьев Марко, насколько она прошла в поле моего зрения или сведения, память моя сохранила, и внешность их тоже, включая даже милые, но курьезные женские прически и платья того десятилетия; а самого Марко я забыл. Ни роста его, ни носа его, ни воспетого Сережей неряшества не запомнил. Когда очень стараюсь воссоздать его облик в воображении, получают все какие-то другие люди — иногда я даже знаю их по имени, иногда нет, но знаю, что не он. Знаю это по глазам: единственная подробность его лица, которую могу описать; не цвет, но форму и выражение. Очень круглые и очень на выкате глаза, добрые и привязчивые и (если можно так назвать без обиды) навязчивые: голодный взгляд человека, всегда готового не просто спросить, а именно расспросить, и всему, что получил в ответ, поверить, поахать и удивиться.

В первый раз мы по душам поговорили еще когда он был гимназистом: он подсел ко мне где то, или в гостях, или у них же дома.

— Я вас не слишком стеснил бы, если бы попросил уделить мне как-нибудь вечер наедине? Целый вечер?

— Можно, сказал я; — а позвольте узнать, в чем будет дело?

— Мне нужно, — ответил он, вглядываясь круглыми глазами, — расспросить вас об одной вещи: чего, собственно, хочет Ницше? — И тут же «пояснил»: — Потому что я, видите ли, убежденный ницшеанец.

Я не удержался от иронического замечания:

— Это что то не вяжется. Что вы ницшеанец, давно сказал мне Сережа; но ведь первая для этого предпосылка — знать, чего Ницше «хочет»...

Он нисколько не смутился — напротив, объяснил очень искренно и по своему логично:

— Я его пробовал читать; у меня есть почти все, что вышло по-русски; хотите, покажу. Я, вообще, видите ли, массу читаю; но так уж нелепо устроен — если сам читаю, главного никогда не могу понять; не только философию, но даже стихи и беллетристику. Мне всегда нужен вожатый: он ткнет пальцем, скажет: вот оно! — и тогда мне сразу все открывается.

Тут он немного замялся и прибавил:

— В семье у нас, и товарищи тоже, думают, видите ли, что я просто дурак. Я в это не верю; но одно правда — я не из тех людей, которым полагается размышлять собственной головой. Я, видите ли, из тех людей, которым полагается всегда прислушиваться.

Эта исповедь меня обезоружила и даже заинтересовала; но я все-таки еще спросил:

— Откуда же вы знаете, что вы уже ницшеанец?

— А разве надо знать хорошо Библию, чтоб быть набожным? Я где то слышал, что, напротив — у католиков в старину будто бы запрещено было мирянам читать Евангелие без помощи ксендза: чтобы вера не скисла.

Вечер я ему дал, это было нетрудно: мода на Ницше тогда только что докатилась до России, о нем уже три доклада с прениями состоялись у нас в «литературке»; книги его были у меня; все ли были тогда разрезаны, ручаться не стану, но рассказать своими словами — пожалуйста. Марко, в самом деле, умел «прислушиваться»; и, хоть я сначала мысленно присоединился к мнению семьи и товарищей, им же цитированному, вскоре, однако, начал сомневаться, вполне ли это верно. Если и был он дурак, то не простой, а *sui generis*.

Собственно, и «семья» держалась того же квалифицированного взгляда; по крайней мере отец. На эту тему Игнац Альбертович однажды прочитал мне вроде лекции. Началось, помню, с того, что Марко что то где то напутал, отец был недоволен, а Сережа старшим басом сказал брату:

— Марко, Марко, что из тебя выйдет? Подумай только — Александру Македонскому в твоём возрасте было уже почти двадцать лет!!

После этого мы с Игнацом Альбертовичем остались одни, и вдруг он меня спросил:

— Задавались ли вы когда-нибудь мыслью о категориях понятия «дурак»?

Тут он и прочитал мне лекцию, предупредив, что классификация принадлежит не ему, а почерпнута частью из любимых его немецко-еврейских авторов, частью из фольклора вольнского гетто, где он родился. Дураки, например, бывают летние и зимние. Ты сидишь у себя в домике зимою, а на улице вьюга, все трещит и хлопает: кажется тебе, что кто то постучался в дверь, но ты не уверен — может быть, просто ветер. Наконец, ты откликаешься: войдите. Кто то вваливается в сени, весь закутанный, не разберешь — мужчина или женщина; фигура долго возится, развязывает башлык, выпутывается из валенок — и только тогда, в конце концов, ты узнаешь: перед тобою дурак. Это — зимний. Летний дурак зато впорхнет к тебе налегке, и ты сразу видишь, кто он такой. — Затем возможна и классификация по другому признаку: бывает дурак пассивный и активный; первый сидит себе в углу и не суется не в свои темы, и это часто даже тип очень уютный для сожительства, а также иногда удачливый в смысле карьеры; зато второй удручающе неудобен.

— Но этого недостаточно, — закончил он, — я чувствую, что нужен еще третий какой то метод классификации, скажем — по обуви: одна категория рождается со свинцовыми подошвами на ногах, никакими силами с места не сдвинешь; а другая, напротив, в сандалиях с крылышками, на манер Меркурия... или Марко?

* * *

Еще как то наблюдал я его под Новый Год, на студенческом балу в «мертвецкой». Бал всегда происходил в пре-красном дворце биржи (пышному слову «дворец» никто из земляков моих тут не удивится, а с иноземцами я на эту тему и объясняться не намерен). «Мертвецкой» называлась в этих случаях одна из боковых зал, куда впускали только отборнейшую публику, отборнейшую в смысле «передового» устремления души; и впускать начинали только с часу ночи. Пили там солидно, под утро иные даже до истинного мертвецкого градуса; но главный там запой был идейный и словесный. Хотя допускались и штатские, массу, конечно, составляли студенты. Был стол марксистов и стол народников, столы поляков, грузин, армян (столы сионистов и Бунда появились через несколько лет, но в самые первые годы века я их еще не помню). За главным столом сановито восседали факультетские и курсовые старосты, и к ним жалось еще себя не определившее, вне фракционное большинство. За каждым столом то произ-

носились речи, то пелись песни; в первые часы ораторы говорили с мест, ближе к утру вылезали на стол; еще ближе к утру — одновременно за тем же столом проповедывали и со стола, и снизу, а аудитория пела. К этому времени тактично исчезали популярные профессора, но в начале ночи и они принимали перипатетическое участие в торжестве, переходя от стола к столу с краткими импровизациями из неписанной хрестоматии застольного златоустия. «Товарищи студенты, это шампанское — слишком дорогое вино, чтобы пить его мне за вас, тем более вам за меня. Выпьем за нечто высшее — за то, чего мы все ждем с году на год: да свершится оно в наступающем году... «Коллеги, среди нас находится публицист, труженик порабощенного слова: подымите бокалы за то, чтобы слово стало свободным...».

В тот вечер пустили туда и Марко, — хоть и тут я не помню, был ли он уже тогда студентом. Вошел он нерешительно, не зная, куда притулиться; кто то знакомый его подозвал к столу, где сидя и стоя толпились черноволосые кавказцы — издали не разобрать было, какой национальности — там он уж и остался на весь вечер. Оглядываясь на него от времени до времени, я видел, что ему с ними совсем по себе: он подпевал, махал руками, кричал, поддакивал ораторам, хотя большинство их там, кажется, говорило на родном своем языке.

Когда сам мало пьешь, любопытно и грустно следить, как заканчивается разгульная ночь. Постепенно деревенеют мускулы зеленых или фиолетовых лиц, застывают стекляшками глаза, мертвенно стучаются друг о друга шатающиеся, как на подпорках, слова; на столах налито, у мужчин помяты воротнички и края манжет замуслены, а кто во фраке, у тех сломаны спереди рубахи; вообще, все уже стало погано, уже в дверях незримая стоит поденщица с ведром и половой тряпкой... Удивительно, по моему, подходило к этой минуте там в мертвецкой заключительное «Gaudemus», самая заупокойная песня на свете.

Марко проводил меня домой; он тоже мало выпил, но был пьян от вина духовного, и именно кахетинского. Он мурлыкал напев и слова «мравал джамиэр»; два квартала подряд, никогда не видавши Кавказа, живописал Военно-грузинскую дорогу и Тифлис; что то доказывал про царицу Тамару и поэта Руставели... Лермонтов пишет: «бежали робкие грузины» — что за клевета на рыцарственное племя! Марко все уже знал о грузинском движении, знал уже разницу между понятиями картвелы, имеретины, сванеты, лазы, даже и языком уже овладел — бездомную собачонку на углу поманил: «моди ак», потом отогнал прочь: «цади!» (за точность не ручаюсь, так запомнилось); и закончил вздохом из самой глубины души:

— Глупо это: почему нельзя человеку взять, да объявить себя грузином?

Я расхохотался:

— Марко, есть тут один доктор-сионист, у него горничная Гапка; раз она подавала чай у них на собрании, а потом ее докторша спросила: как тебе понравилось? А Гапка ответила, тоном благоговейной покорности року: що ж, барыня, треба йихати до Палестыны!

Он обиделся; нашел, что это совсем не то, и вообще эта Гапка — старый анекдот, десять раз уже слышал.

— Кстати, Марко, — сказал я, зевая, — если уж искать себе нацию, отчего бы вам не приткнуться к сионистам?

Он на меня вытаращил круглые глаза с полным изумлением; ясно было по этому взгляду, что даже в шутку, в пять часов утра, не может нормальный человек договориться до такой беспредельной несурзности.

* * *

Теперь уже представлены читателю, на первом ли плане или мимоходом, все пятеро; можно перейти к самой повести о том, что с ними произошло.

<...>

IX. Иноходец

<...>

* * *

Помню один дом, кажется Роникера, в том участке, который мы с нею должны были обойти. Там была особенность, для меня еще тогда невиданная: двухэтажный подвал. Окна обеих этажей выходили, конечно, в траншею; но и за окнами внутри был сперва коридор, во всю длину фасада, и только уже из коридора «освещались» комнаты. Не умею описывать нищету, как не сумел бы заняться обрыванием крыльев и лапок у живой мухи, или вообще медленным мучительством. Помню, что неотступно зудела в мозгу одна банальная мысль: на волосок от того было, когда ты должен был родиться, чтобы вышла у Господа в счетной книге описка, или передумал бы он в последнюю секунду, что то перечеркнул и что то строчкой ниже вписал, — и здесь бы ты жил сегодня, в нижнем подвале, завидуя мальчишкам из верхнего, а они бы «задавались». Совестно было за свое пальто; за то, что перед этим просидел час в греческой кофейне Красного переулка за кофе с рахат-лукумом, растратив четвертак, бюджет их целого дня.

И, как всегда бывает, когда совестно, я проходил по берлогам насупленный, говорил с обитателями суровым казенным голосом, на просьбы отвечал сухо: Постараемся. Увидим. Обещать не могу.

Зато Маруся сразу — нет другого слова — повеселела. В первой же комнате она подошла к люльке, сделанной из ящика; я за нею. В люльке, под ключьями цвета старого мешка, лежал серый ребенок; от краев губ у него к ноздрям шли две морщины, глубокие как трещины, и черные луночки под веками. Когда над ним наклонилась Маруся, серое лицо вдруг мучительно исказилось, трещины растянулись до глаз, изо рта показались багровые десны, крошечный подбородок заострился, как у мертвого. Мать стояла тут же; она обрадовалась и сказала по-еврейски, и я Марусе перевел:

— Чтоб мне было за его сладкие глазки, барышня: он смеется.

У Маруси там все дети смеялись; сбегались, ковыляли, ползли к ней сразу, точно это была старая знакомая и все утро ее ждали. Я оставил ее где то на табуретке с целой толпой кругом, запись dokonчил один, и все время слышал из той комнаты гвалт, возню, писк, заливающийся детский хохот, как будто это не подвал, как будто действительно есть на свете зеленые лужайки и запах сирени и солнце над головой...

— Не знал, — сказал я, когда мы кончили, — что вы такая бонна.

От ее прежних нервов и следа не осталось; она весело ответила:

— Дети ко мне идут; я и сама на них бросаюсь на улице, няньки часто пугаются. Мама только на днях меня прошила не трогать русских детей, а то еще подумают, что я им даю леденцы с мышьяком: она прочла в газете, что был такой слух где то пущен в Бессарабии.

Мы опять сидели в дрожках; по уставу того времени, я обнимал ее за талию. Уже смерклось; вдруг она потянула мою обнимающую руку, чтобы стало теснее, сама ближе прижалась, повернула ко мне лицо и шепнула:

— Хотите, отдохнем от жидов? и от богатых, и от бедных? Идемте со мной сегодня вечером к Руницким; Алексей Дмитриевич просил и вас привести — он только нас двоих и не боится. А вы его?

— Гм... побаиваюсь, — честно признался я, и вдруг сообразил: — Эге, Маруся, — не из за него ли вышла у вас сегодня трагедия с мамой? Потому что трагедия была, это ясно: пахло на всю квартиру Эскилом, Софоклом и Эврипидом.

Она, подтверждая, задорно закивала головой:

— Ключья летели. Кстати пришел Самойло, мама еще и его на помощь призвала!

— Я не подозревал, что на верхах у предков смятение... О, Мария: неужели есть опасность, что тебя выкрестят и — как это выразить — примут в командный состав Добровольного флота?

Она все с тем же задором смотрела мне в лицо, близко-близко, и смеялась так, что зубы сверкали в блеске только что зажженных на улице фонарей:

— О нет, этого мама не опасается; она умная, она все знает.

— Что «все»? Не пугайте меня.

— Все, что со мною будет. И что я, в частности, и не выкрещусь, и не выйду замуж за моряка из Добровольного флота.

— Чего ж она боится?

— Мама, в сущности, очень консервативный человек: любит, чтобы во всем был раз навсегда заведенный порядок.

— Заведенный порядок? когда речь идет о Марусе? Дитя мое, вашему бытию имя катавасия, а не заведенный порядок.

— Значит надо, чтобы и в катавасии была система, без неожиданностей и без новых элементов; и вообще это не ваше дело. А к Руницким пойдете?

Этого Руницкого я видал у них уже раза три, с большими перерывами из за рейсов его парохода (чина его не помню; что-то ниже капитана, конечно — ему и 30 лет не было — но уже серьезный какой то чин). Он и мне, действительно, показался неожиданным элементом в их обстановке. Невидалью русские гости в наших домах, конечно, не были, хотя встречались редко, и туго акклиматизировались: но это бывали адвокаты, врачи, купцы, студенты — в каком то отношении свои люди. Моряка никто никогда не видал, кроме как на палубах. Маруся была в Мариинской гимназии вместе с одной из барышень Руницких, потом обе семьи жили рядом на даче одно лето, когда Алексей Дмитриевич получил отпуск; там он, кажется, катал ее со своими сестрами на маленькой яхте: но и это еще его «не обосновывало». Сами сестры бывали у Маруси редко, и вообще дачные дружбы не указ для зимних знакомств между людьми таких друг для друга экзотических кругов. Он это чувствовал, явно между нами робел; Маруся втягивала его в беседу, он честно старался попасть в ритм, ничего не выходило; да и нам всем было при нем чуть-чуть несвободно, словно это не гость, как мы, а наблюдатель. Был он недурной пианист, и гора, видно, у него спадала с плеч, когда Маруся его просила играть: наконец не надо разговаривать, а в то же время развлекаешь общество, как полагается по вежливости. Увидав его там в первый раз, я подумал: «больше не придет», но он вернулся из Владивостока и опять пришел, и еще опять.

Зато у них дома мы с Марусей провели чудесный вечер. Отца не было в живых, но при жизни он был думский деятель доброй эпохи Новосельского; до того был, кажется, и земцем; это чувствовалось в климате семьи (тогда еще, конечно, не говорили «климат», но слово удачное), и еще дальше за этим чувствовалась усадьба, сад с прудом, старые аллеи, липовые или какие там полагаются; Бог знает сколько поколений покоя, почета, уюта, не-

суетливого хлебосольства, когда гости издалека оставались ночевать и было где всех разместить... Культура? я бы тогда именно этого слова не сказал — слишком тесно в моем быту было оно связано с образованностью или, быть может, начитанностью. Мать, смолянка, не слыхала про Анатоля Франса, дочери называли баритона Джиральдони «душка»; Алексей Дмитриевич и в ятях был нетверд, хотя (он говорил: потому что) учился в Петербурге в важном каком то лицее, по настоянию сановного какого то дяди. Только сидя у них, я оценил, сколько было в наших собственных обыденных беседах, дома у Маруси, дразнящего блеска — и вдруг почувствовал, как это славно и уютно, когда блеска нет. Пили чай — говорили о чае; играли на рояле — говорили о душе Джиральдони, но младшая сестра больше обожала Саммарко; Алексей Дмитриевич рассказал про Сингапур, как там ездят на джинриксах, а мать про институтский быт тридцать лет назад; все без яркости, заурядными дюжинными словами, не длинно, не коротко, ни остроумно, ни трогательно — просто по хорошему; матовые наследственные мысли, липовый настой души, хрестоматия Галахова... чудесный мы провели вечер.

— Отдохнули? — лукаво повторила Маруся, когда я провожал ее домой.

Через несколько дней со мной о Руницком заговорила Анна Михайловна; мы тогда уже сильно успели подружиться; сама первая заговорила, и с большой тревогой.

— Он не то, что эта ваша ватага. Для них все — как с гуся вода; а он всерьез принимает. Да неужели вы сами не заметили, просидев еще с ним и с Марусей целый вечер?

— Право, не заметил; или сам не приглядчив, или уж такое у меня пенсне ненаблюдательное.

— А я вам говорю: он начинает влюбляться, по настоящему, по-тургеневскому.

— Но ведь главное тут — Маруся; вы мне сами когда то сказали, что за Марусю не боитесь?

— Сказать сказала, но тогда вокруг все были свои. А такого морского бушмена я ведь учесть не умею. Что, если он не из тех, кого можно подпустить вот на столько и не дальше, а потом до свиданья, и не дуйся? Я боюсь: тут не бенгальским огнем пахнет, а динамитом.

— Что ж она, по вашему, от натиска сдастся врасплох и замуж выйдет?

— Замуж она выйдет, только не за него; глупости говорите. Но взволнована, как то не по обычному, и она тоже... Мне жутко; уехал бы он поскорее туда к себе на Сахалин, и хоть навсегда.

— Можно спросить прямо?

— Да.

— Вы боитесь, что Маруся... забудет про «границы»?

Мы уже очень сблизились, она много и часто говорила со мной о детях, поверяла мне свое беспокойство за Лику и безнадежного Марко; вопрос ее не мог покоробить. Она подумала.

— Это?... Это мне в голову не приходило; нет, не думаю. Непохоже. Какая беда выйдет, не знаю, а выйдет... Словом, бросим это, все равно не поможет.

Она встала и пошла поправить подушки на диване, вдруг остановилась и обернулась ко мне:

— Замуж? Глупости говорите. За кого Маруся пойдет замуж, я давно знаю, и она знает; и вы бы знали, если бы дал вам Бог пенсне получше.

Х. Вдоль по Дерibasовской

<...>

Потом Екатерининская: бестолковая улица, ни то и ни се; притязала на богатство, щеголяла высокими франтоватыми домами вчерашнего производства, и почему то «сюдою» по вечерам вливался и на Дерibasовскую, и на близкий бульвар главный поток гуляющих; а чуть подальше, справа, шумные, как море у массивов, запруженные сидящими, окруженные ожидающими, темнели биржи-террасы кофеен Робина и Фанкони.

Но в то же время «сюдою» и няньки водили малышей в детский сад, что ютился под обрывом у самого бульвара; и приказчики и посыльные; с пакетами и без, тут же сновали между городом и портом; и сама портовая нация, в картузах и каскетках набекрень, а дамы в белых платочках, часто предпочитали, чем тащиться по отведенным для этого сословия плебейским «балкам» и «спускам», гордо взмыть к высотам прямо из гавани по ста девяносто восьми гранитным ступеням знаменитой лестницы (одно из восьми чудес света), — и наверху, мимо статуи Дюка в римской тоге, сразу вторгнуться в цивилизацию и окропить тротуары Екатерининской водометом подсолнечной шелухи. Не просто угол двух улиц, а микрокосм и символ демократии — мешанина деловитости и праздничатания, рвани и моды, степенства и босячества... Одного только человека не ожидал я встретить на том углу — а встретил: моего дворника Хому.

Уже несколько недель подряд, каждое воскресенье, попадался мне на Дерibasовской Хома: причепуренный, кубовая рубаша и белый фартук только что стираны и выглажены, борода расчесана. В первый раз, встретясь с ним глазами, я удивился: что он тут делает, за тридцать полей от своей законной подворотни? В руках у него не было папки, — значит, не в участок идет прописать жильцов, и не из участка; да и не по пути это совсем к его участку. Гуляет, как все? Не могло того быть, по самой природе вещей и понятий; притом он и не двигался, а стоял в подъезде чужого какого то дома с видом гражданина, знающего свое место, и тут оно, его место, и находится. Только

на следующее воскресенье заметил я, что он не один: позади, в тени подъезда, виднелось еще несколько белых передников. На этот раз, случайно, был со мной Штрок, наш полицейский репортер, мужчина всеведущий; он мне объяснил.

— Разве не знаете? Все по поводу ожидаемой демонстрации; вот и вызвали со всего города дворников позубастее на подмогу городовым.

Квартал между Екатерининской и Гаванной я проходил с ощущением (хотя бы даже только что и пообедал) гастрономического подъема, чаще всего машинально переправляясь на правый тротуар: там, в огромном и приземистом доме Вагнера, в 1лубине пустынного двора уютилась старая таверна Брунса, где в полночь, после театра, ангелы небесные, по волшебным рецептам рая, создавали на кухне амброзию в виде сосисок с картофельным салатом, а Ганимед и Геба (я путаю демонологические циклы, но благодарный восторг не покоряется правилам) сами за перегородкой отцеживали из боченка мартовское пиво. — Здесь, у Брунса, в одну такую ночь, по поводу, о котором будет рассказано в другой раз, Марко вдруг отстранил от себя уже поданное блюдо с сосисками и заявил мне, что отныне переходит на сурово-кошерную диету.

...Рука зудит воздать подробную хвалу и остальным углам: Красному переулку, с крохотными домиками в сажень шириной, последней крепости полутурецкого эгейского эллинизма в городе, который когда то назывался Хаджибей; тихой Гаванной улице, куда незачем было сворачивать извозчикам; Соборной площади, где кончалась Дерibasовская и начинался другой, собственно, мир, с иным направлением улиц, уже со смутным привкусом недалеких отсюда предместий бедноты — Молдаванки, Слободки-Романовки, Пересьпи, — словно здесь два города встретились и, не сливаясь, только внешне сомкнулись. Но нельзя без конца поддаваться таким искушениям; а главное сделано — мы добрались до угла Дерibasовской улицы и Соборной площади, где это началось — и там же, минуту спустя, кончилось.

Я не видел; но внезапно прибежал в редакцию коллега Штрок, поманил всех к себе и сообщил полушепотом: только что произошла «демонстрация». Их было около сотни, все молодежь, и больше евреи; около трети были девушки; одно красное знамя, и знакомый пристав божится, что на нем было вышито «долой самодержавия», в родительном падеже. Двадцати шагов они не прошли, как налетели со всех сторон полчища городских и дворников, понеслись женские вопли; свалка и ужас; появились казаки и стали разгонять публику, очищая тротуары копытом и нагайкой. Теперь демонстрантов угнали в соседнюю полицейскую часть; там заперты ворота, перед воротами стража, никто и мимо не проходит, только по всему городу у людей испуганные, придавленные лица, и все шепчутся: «смертным боем бьют, одного за другим...».

Часа в три меня вызвал в приемную редакционный служитель; он был единственный православный во всем помещении, кроме наборной, но и его звали Абрам:

— Там до вас дама пришла.

Дама была Анна Михайловна. В первый раз видел я так близко большое человеческое горе; хуже горя — горюешь о том, что уже случилось и прошло: но у нее было такое лицо, точно ржавый гвоздь воткнули в голову, он там, и нельзя от него избавиться; не «прошло», а происходит, в эту самую минуту совершается, вот-вот за углом, почти на глазах у нее, и она тут сидит на кожаном кресле, и помочь нельзя, а кричать стыдно.

— Там была Лика!

Я ничего не сказал; велел Абраму никого не впускать, притворил дверь, стоял возле нее, она сидела, оба молчали и думали, и вдруг и я почувствовал тот самый ржавый гвоздь у себя в мозгу: о чем ни старайся подумать, все равно через полминуты вспомнишь о ржавом гвозде. Оттого, должно быть, и говорят: «гвоздит». Одна мысль у меня гвоздила: как я тогда летом на даче взял Лику только за руку, только помочь ей на крутой тропинке обрывая, и как она вырывалась; и как, проходя мимо человека в коридоре, она вся сторонилась, чтоб, не дай Бог, и буфом рукава до него не прикоснуться. Недотрога, всеми нервами кожи, всеми нитками одежды; а теперь ее там бьют шершавыми лапами эти потомки деда нашего гориллы. — Так просидела у меня Анна Михайловна час и ушла, ничего не сказав.

Несколько подробностей я услышал вечером у себя дома, от нашей горничной Мотри, а ей рассказал очевидец и участник Хома. Над мужским составом демонстрантов, когда закрылись ворота, потрундился и он, до сих пор ныли у него косточки обоих кулачищ; загнали на пожарную конюшню, выводили оттуда поодиночке, а потом уносили. Другое дело барышни, с барышнями так нельзя, полиция тебе не шинок. Барышей, передавал Хома, покарали деликатно, по отечески, и без оскорбления стыдливости — в том смысле, что никого при этом не было, кроме лиц вполне официальных. Он, Хома, и тут предложил было свои услуги, но пристав не разрешил; дверь той комнаты была плотно закрыта, и работали исключительно городовые.

<...>

XII. Арсенал на Молдаванке

Я звал к себе Сережу и устроил ему без всяких церемоний жесточайший допрос. Он сначала сделал наивные глаза и спросил:

— А в чем дело? Почему нельзя обыграть богатого типа? И почему не все равно, как его обыграешь?

— Вы метафизику бросьте. Я вас спрашиваю: работаете вы с этой компанией или нет?

— Надо правду сказать?

— Всю!

— Так вот: я, пока что, больше присматриваюсь. Раза три уже дулся в банчок в одном таком доме, но мне так везло, что незачем было звать рыжего на помощь.

— К чему присматриваетесь?

— До хлопцев присматриваюсь и до техники. Хлопцы обворожительные, Маруся бы каждого мигом забрала в «пассажиры», на тебе даровой билет с пересадкой; только я их до Маруси не подпущу. А техника зато — палеолитическая. Курс четырех классов прогимназии. Я куды ловчее. Смотрите!

Он сунул руку мне за пазуху и оттуда, двумя пальчиками, за кончик, извлек червонную даму; а у меня и колоды во всем доме не было.

— Сережа, — сказал я, сдерживая бешенство и тревогу, — дайте мне сейчас же честное слово, что вы бросите и эту компанию, и все это дело. Вы уже попали к репортерам на зубок; чего вы хотите? осрамить отца и маму на всю Одессу? мало у них горя без вас?

Он смотрел на меня пристально.

— Эк вы волнуетесь, — оказал он с искренним удивлением; ясно было, что он взаправду не видит, из за чего тут горячиться. — Ладно, отошьюсь; жаль огорчать хорошую муужчину, хоть это вы я действуете против свободы личности, а потому реакционно. Отшился, баста; борода Аллаха и прочее. И насчет предков вы правы: нехай отдохнут от семейных удовольствий.

Я ему поверил, он в таких случаях, дав обещание, кажется, не врал; и после мне коллега Штрок тоже подтвердил, что Сережа «отшился». Месяца два у меня еще ныло внутри тяжелое чувство; но я его крепко любил, и скоро все стерлось.

* * *

А Марко, действительно, после того случая с сосисками у Брунса, перевелся на кошерное питание.

Началось это косвенно с того, что меня пригласили на тайное совещание об устройстве самообороны. Это было перед Пасхой; если я верно еще помню последовательность событий — но не ручаюсь — то через полгода после несчастья с Ликой. Адрес мне дали незнакомый, на Молдаванке или где то неподалеку. Оказалось помещение вроде конторы, но без дощечки на дверях; принимал нас молодой человек лет 28-ми, симпатичной внешности, с черной бородкой; Самойло Козодой, которого я там застал, называл его «Генрих», а другие никак не называли — по-видимому, и не знали его лично. Собралось человек шесть молодежи, большинство студенты. «Генрих» принес чайник, стаканы, печенье, оказал: — если что понадобится, я к вашим услугам, — и ушел в другую комнату, и никто его не удерживал.

Мы там решили объявить себя комитетом, собрать массу денег и вооружить массу народу. Говорили, главным образом, двое из студентов: один — большой видно философ, со множеством заграничных терминов в каждой фразе; зато другой, напротив, реального и даже немного циничного оклада, с резкими еврейскими интонациями, удивительно как-то подходившими к его ходу мысли.

— Не могу, — излагал философ, — никак не могу отрешиться от некоторого скепсиса пред этой концепцией: наша еврейская масса в роли субъекта охраны.

— Вы боитесь, что разбегутся? — Ну, а если разбегутся, так что? Накладут им? И пускай накладут: это их проучит, на следующий раз храбрее будут.

— Но не рациональнее ли было бы, — настаивал первый, — утилизировать элементы более революционные: поручить эту функцию, например, сознательному пролетариату?

— Вот как? — отвечал второй. — Мы за каждый «бульдог» должны заплатить три рубля шестьдесят, и я еще не вижу, где мы достанем три шестьдесят; а потом дадим эту штуку вашим сознательным, и спрашивается большой вопрос, в кого они будут палить?

— Это совершенно необоснованная одиозная инсинуация!

— Может быть; но чтобы на мои деньги подстреливали моих же — извините, поищите себе другого сумасшедшего.

Самойло, все время молчавший, вдруг сказал (я чуть ли не в первый раз тогда услышал его голос):

— Сюда пригласили, кроме нас, еще двоих, которые «состоят в партии», но они не пришли.

— Им квартира не нравится, — объяснил кто-то, понизив голос и оглядываясь на закрытую дверь второй комнаты.

— Ага! — подхватил циник. — Ясно: для них квартира важнее, чем еврейские бебехи; а нам нужны такие, для которых те бебехи важнее, чем эта квартира!

Мне из самолюбия неловко было спросить, чем плоха квартира; остальные, по-видимому, знали, и я тоже сделал осведомленное лицо. Большинство высказалось за точку зрения циника; мы приняли какие то решения, вы-

звали Генриха попрощаться и разошлись. Самойло жил в моей стороне города, мы пошли вместе по безлюдным полуночным улицам.

— Что это за Генрих? — спросил я.

Он даже удивился, что я Генриха не знаю. Оказалось, это был местный уполномоченный хитрого столичного жан-дарма Зубатова, который тогда устраивал (об этом слышал, конечно, и я) легальные рабочие союзы «без политики», с короткой инструкцией: против хозяев бастовать — пожалуйста, а государственный строй — дело государево, не вмешивайтесь.

— Гм, — сказал я, — в самом деле, неудобная штаб-квартира.

— Найдите другую, чтобы дали всем приходиться и еще склад устроить; а Генрих ручается, что обыска не будет.

— А сам не донесет?

— Нет; я его знаю, он из моего городка. Дурак, впутался в пропащее дело; но донести не донесет.

— Только ли «пропащее»? Люди скажут: скверное дело.

— Почему?

— Ну, как же: во-первых, с жандармами; а главное — в защиту самодержавия.

Говорить можно было свободно, прохожих не было, и мы нарочно вышли на мостовую; конечно, беседовали тихо. Что Самойло так разговорчив, я уже перестал удивляться; мне как-то недавно и Маруся обмолвилась, что с ним «можно часами болтать, и куда занятнее, чем с вами».

Теперь он на мои слова не ответил, но через минуту сказал:

— Все не оттого треснет самодержавие, что люди бросают бомбы или устраивают бунты. По моему если хотите, чтобы непременно случилось какое то событие, совсем не надо ничего делать для этого; даже говорить не надо. Просто надо хотеть и хотеть и хотеть.

— То есть как это? Про себя?

— Про себя. Где есть человек, хотя бы один на всю толпу, который чего то хочет, но по настоящему, во что бы то ни стало, — незачем ему стараться. Достаточно все время хотеть. И чем больше он молчит, тем это сильнее. Кончится так, как он хочет.

— Что ж это будет — черная магия, или гипнотизм какой то новый?

— Гипнотизм, магнетизм, это разберут доктора, а я только аптекарь. Я знаю по-аптекарьски: если один человек в комнате, извините, пахнет карболкой, вся комната и все гости в конце концов пропахнут карболкой. И почему вы говорите: «новый»? Всегда так было, и в больших делах и в маленьких делах; даже у человека в его собственной жизни.

Смутно мне подумалось, не о себе ли он говорит, о своих каких то умыслах; и, действительно, он прибавил, помолчал:

— Я вот там кис у себя в Серогозах и мечтал уехать в Одессу и стать фармакологом, а денег не было; что ж вы думаете, я барахтался, лез из кожи вон? Ничего подобного. Просто хотел и хотел, мертвой хваткой. Вдруг приехал дядя Игнац, посмотрел на меня и сказал: укладывай рубахи, едем. И во всем так будет.

— Теперь мне направо; до свиданья, мсье такой то, спасибо за приятную компанию.

Он все еще не привык называть людей по имени-отчеству, очевидно считая это фамильярностью. Мы расстались; я шел один и, по молодости лет, дивился тому, что вот и у такого рядового пехотинца жизни, оказывается, есть своя дума и своя оценка вещей.

Скоро все ящики в столах у Генриха наполнились «бульдогами» и патронами. Позже я слышал жалобы, что патроны не все были того калибра, а шестизарядные револьверы наши кто то назвал «шестиосечками»; но разбирали их бойко, с утра до ночи приходили студенты, мясники, экстерны, носильщики, подмастерья, показывали записки от членов комитета и уходили со вздутым карманом.

Пришел и Сережа, ведя на буксире нахмуренного молодца в каскетке, вида странного, хотя мне смутно знакомого: для рабочего человека слишком чист и щеголеват, — но и приказчики так не одеваются — на шее цветной платок, а штаны в крупную клетку; что то в этом роде описывал тот сослуживец мой по газете, бытописатель нашего порта и предместий. Немного знакомо было мне и самое лицо.

— Это иудей Мотя Банабак, — представил его Сережа, — я вас когда то познакомил на лодке; помните, когда еще учил вас, как едят гарбузы? Дайте ему шесть хлопущек, для него и его компании; я за них ручаюсь.

На Сережино ручательство я бы не положился, но Мотя Банабак предъявил и подлинную записку от студента-циника, с пометкой «важно».

— Это что за тип? — спросил я у Сережи, когда тот ушел со своим пакетом. — Не сердитесь — но не сплавляет ли он барышень в Буэнос-Айрес?

— Вы, кабальеро, жлоб и невежда: те в котелках ходят, а не в каскетках. А вы лучше расспросите брандмейстера Мирошниченко про пожар в доме Ставриди на Слободке: кто спас Ганну Брашеван с грудным дитем? Мотя. Пожарные сдрейфили, а Мотя с халястрой двинули на третий этаж и вынесли!

— Что вынесли?

— Как что? Ганну и дите. Мало?

— А еще что? не на руках, а в карманах?

Он очень радостно рассмеялся.

— Правильный постанов вопроса, не отрицаю. Но вам теперь какие нужны: честные борцы за мелкую земскую единицу — или головорезы с пятью пальцами в каждом кулаке?

Пропало, тот уже ушел, дальше спорить не стоило. Впрочем, и студент-циник, тем временем надошедший, присоединился к мнению Сережи:

— Нация мы, — сказал он, — хотя музыкальная и так далее, но не воинственная; только вот такое жулье у нас пока и годится — как он выразился, тот пшютоватый? — «в суубъекты охраны».

Марко у нас дневал и ночевал, и тут же «учился стрелять». Кто то ему сказал, что это можно и в комнате: надо стать перед зеркалом и целиться до тех пор, пока дуло не исчезнет и останется только отражение дырки. На этом маневре он умудрился разбить генрихово зеркало, но сейчас же сбегал вниз и купил два — про запас. Успешно ли подвигалось обучение, сомневаюсь, потому что он поминутно отрывался от «стрельбы», как только приходил новый клиент: со всеми пускался в разговор, тараша вылупленные глаза, и жадно пил каждое слово. Лица Марко я все таки не помню, но сейчас мне кажется, что у него должны были быть огромные уши, оттопыренные навстречу собеседнику, и из каждого уха широкие трубы вели прямо в сердце.

Самойло пришлось вызвать еще раз: он единственный из комитетчиков умел перевести на «жаргон» прокламацию и начертать анилиновыми чернилами квадратные буквы. Он же, пощупавши гектограф, покачал головою: тридцати копий не даст, я вам сварю на двести. Ушел, принес желатин, бутылку с глицерином и еще не помню что, целый час провозился, и на завтра, действительно, отпечатал высокую кипу фиолетовых листовок. Когда он их держивал на массе, нажимая и поглаживая, я нетерпеливо спросил:

— Сколько времени на каждый лист?

— Иначе нельзя, — ответил он назидательно. — Для всякого дела два правила: не торопиться — и мертвая хватка. (Раздать пачки с листовками по десяти адресам взялся Марко, но по дороге чем то увлекся, и через месяц я половину этой литературы нашел у него под столом; но я не виноват — ему это поручили, когда меня не было).

Самойло оказался полезен и стратегически. Пока он варил на керосинке жижу для гектографа, мы обсуждали, где какую под Светлый праздник поставить дружину; одну из них решили поместить у лодочника в самом низу Карантинной балки — лодочник был персиянин и сочувствовал. Самойло вмешался.

— Когда есть балка, глупо ставить людей внизу. Вы их разместите у верхнего конца: сверху вниз удобнее стрелять.

Так и сделали; а впрочем все это не понадобилось. Погром в то воскресенье состоялся, и кровавый, и до сих пор не забыт; но произошел он в этот раз не в Одессе. Мы устроили последнее ликвидационное заседание, послали сообщить владельцу оружейной лавки Раухвергеру, что уплатить ему долг в пятьсот рублей нам нечем, и попросились с Генрихом. Он долго жал мне руку, и сказал:

— Не благодарите: я сам так рад помочь делу, о котором нет споров, чистое оно или грязное...

В глазах у него было при этом выражение, которое надолго мне запомнилось: у меня так самого бы тосковали глаза, если бы заставила меня судьба — или своя вера — пройти по улице с клеймом отщепенца на лбу, и вокруг бы люди сторонились и отворачивались. Кто его знает, может быть, и хороший был человек.

Но Марко, отвергнув сосиски в таверне Брунса, пошел домой, разбудил Анну Михайловну и потребовал: во-первых, чтобы мясо впредь покупали в еврейской лавке; во-вторых, чтоб была посуда отдельная для мяса и отдельная для молочных продуктов, как у Абрама Моисеевича; и завтра же начать. Она его прогнала спать; тогда он на свои деньги завел две тарелки, сам их отдельно мыл, а домашних котлет вообще знать не хотел, и вместо того купил на запас аршин варшавской колбасы с чесноком. Колбасу он хранил на гвозде у себя в комнате, а комната у него была общая с Сережей; сколько из за этого потрясений вышло у них в доме, я и рассказать не умею. Три недели это длилось, пока Марко не объявил матери, что постановил вообще обратиться в вегетарианство; а также — не помню, в какой связи — приступить к изучению персидской литературы в подлиннике, и для того намерен с осени перевестись в Петербург, на факультет восточных языков.

<...>

XIV. Вставная глава, не для читателя

Честно: эту главу пишу только по чистой трусости. Я уже раза три начинал продолжение той ночи, но оно мне трудно дается, робею; три страницы бумаги только что разорвал. Для передышки напишу пока о другом. Один критик, разбирая книжку моего производства, указал с укором на большой недостаток: нет описаний природы. Это было лет десять тому назад, но мое самолюбие задето: надо попробовать. Конечно, такая глава — не для читателя: читатель, несомненно, описаний природы не читает; я, по крайней мере, всегда их при чтении безжалостно пропускаю. Я бы мог, ради упомянутого самолюбия, разбросать по разным местам этой повести десяток пейзажных воспоминаний, но это была бы ловушка; самое добросовестное — выделить их в особую главу (тем более, что оробел и хочу сделать передышку), и главу честно так и назвать вроде «не люблю, не слушай».

Летом наш берег... (Летом: что зимою, того я знать не хочу. Я очень люблю жизнь вообще, и свою жизнь особенно люблю и люблю ее припоминать, но только с апрелей до сентябрей. Зачем Бог создал зиму — не знаю; Он,

бедный, вообще много напутал и лишнего натворил. Большинство моих знакомых уверяют, что им очень нравится снег: не только декоративный снег, верхушка Монблана, просто белая краска на картине, можно полюбоваться и отвернуться, — но будто бы даже снег на улицах им нравится: а по моему снег — это просто завтрашняя слякоть. Я помню только лето).

Летом наш берег, глядя с моря, представляет сочетание двух только цветов, желтого и зеленого; точнее — красно-желтого и серо-зеленого. Берег наш высокий, один сплошной обрыв на десятки верст; никак теперь издали не могу сообразить, выше ли двухсот футов или ниже, но высокий. Желтый песчаник его костяка редко прорывался наружу, обрывы больше облицованы были той самой красноватой глиной, а на ней, в уступах или в расщелинах, росли рошицами деревья и кусты. Что за порода преобладала, из за которой общий облик получался чуть-чуть сероватый, не знаю; может быть, дикая маслина. Господи, какие чудеса палитры можно создать из двух только оттенков! Однажды с лодки я засмотрелся — в тот час солнце освещало обрывы под особенным каким то углом — и вдруг мне представилось, что все это не глина и не листва, а все из металла. Спит у Черного моря, раскинувшись, великан, и это его медная кираса. Давным-давно спит, сто лет его поливали дожди, и во впадинах меди залегла густыми пятнами ярь. Как то раз, уже много лет после разлуки с Одессой, я увидел эту самую радугу из двух цветов в Провансе и едва не запел от волнения, но в вагоне были чужие.

Настоящие каменные скалы помню только внизу, у самой воды или прямо в воде. Были и гранитные, где мы собирали креветок (их у нас называли «рачки») и миди, т. е. по ученому «мидии». Но больше и скалы были из рыхлого песчаника; самая высокая называлась Монах, у Малого Фонтана, и каждый год море смывало по кусочку, теперь уже верно ничего не осталось. А еще были «скалы» из какой то зеленоватой глины, мы ее называли «мыло», и в самом деле можно было отломать пригоршню и намылиться, даже в соленой воде.

Конечно, была и третья краска — море; но какая? Синим я его почти не помню, хорошо помню темно-зеленым, с золотистой подкладкой там, где сквозили полосатые мели. Кто то удивлялся при мне, почему наше море называли Черным: а я своими глазами видел его черным, прямо под веслами и на версту вокруг, и не в бурю или в хмурый день, а под солнцем. Но, по-моему, наше море надо было смотреть тогда, когда оно белое. Надо встать за час до восхода, сесть у самой воды на колючие голыши и следить, как рождается заря; только надо выбрать совсем тихое утро. Есть тогда четверть часа, когда море белое, и по молочному фону простелены колеблющиеся, переменчивые полосы, все тоже собственно белые, но другой белизны: одни с оттенком сероватой стали, другие чуть-чуть сиреневые, и редко-редко вдруг промерещится голубая. Постепенно восток начинает развешивать у себя на авансцене парадные занавески для приема солнца, румяные, апельсиновые, изумрудные — Бог с ними, я и слов таких не знаю по-русски; и, отражаясь, весь этот хор начинает, но еще смягченными, чуть-чуть отуманенными откликами, вплетаться в основную белую мелодию моря — и вдруг все загорится, засверкает, и кончено, море как море. — Это я лучше всего видел, когда рыбак Автоном Чубчик вез меня с Марусей к ней на дачу после ночи у меня в Лукании; но я забегаю вперед.

В описаниях природы принято называть по именам растения; я когда то умел, только имена были все, кажется, не настоящие. Был, например, плебейский красный цветок, на высоком стебле, а вокруг цветка колючий ошейник: его звали «турка» — идешь по тропинке и палкой сбиваешь турецкие головы; однажды я сбил три сразу одним ударом, как пан Лонгинус Подбипента, герба Зерви-каптур, у Генриха Сенкевича. Или был такой куст, по имени «чумак»: если потереть листьями руки, они вкусно пахнут гречневой кашей. Лучше всего, однако, не ломать головы над именами: если просто лечь на спину и зажмурить глаза, одна симфония запахов крепче свяжет тебя навсегда с божьим садоводством, чем целый словарь наизусть.

Из божьего скотоводства самый прекрасный зверь у нас была ящерица. Оттого ли, что в Европе другая порода, или просто оттого, что сам я старею, но вот уже, сколько лет и сколько стран, ящерицы попадают только серые. Наши на Черном море были пестрые: самоцветная смарагдовая чешуя, хвост и мордочка, а горло и брюшко в переливах от розового до золотистого. Однажды вечером, еще второклассники в Лукании, наловили мы нарочно десяток, заперли в крепости и битый час освещали их толстыми бенгальскими спичками, красными и зелеными; перепуганные зверьки то шмыгали от стенки к стенке, то застывали на месте, и такое было это пьяное празднество красок, какого я с тех пор и в столичных феериях не видел, где режиссеры почитались мастерами color scheme и антреприза не жалела тысяч.

Еще был один хороший занятный зверь, но совсем иной — краб, и жил он в подводных расщелинах массивов. Массивы — это громадные каменные кубы, которыми на много верст в длину облицованы берега, молы и волнорезы нашего порта; под ними ютились камбала и бычок, даже скумбрия или паламида («или»: когда идет паламида, скумбрии не будет — паламида ее съела); но больше всего было крабов. Мы их удили при помощи камня, шпагата и психологии... но я уже где то в старом рассказе это описал: и так слишком много повторяюсь. Посидеть бы теперь на массивах полчаса; я бы и крабов не стал беспокоить: только посидеть, свесив босые ноги, прикоснуться, как Антей, к земле своего детства.

Еще было одно Черное море, и даже Азовское при нем, с проливом, как полагается, но без воды: это были две большие котловины в Александровском парке, нарочно не засаженные ни деревьями, ни травой: там мы гурьбами играли в мяч... Господи, как это безжизненно выходит по-русски: «играли в мяч». Не играли, а игрались; не в мяч, а в мяча; даже не игрались, а гулялись; и в гилки гулялись, и в скракли, и в тепки; впрочем, и это я уже где то описывал. Когда всю жизнь пишешь и пишешь, в конце концов слово сказать совестно. Ужасно это глупо. Глупая вещь жизнь...

только чудесная: предложите мне повторить — повторю, как была, точь-в-точь, со всеми горестями и гадостями, если можно будет опять начать с Одессы.

* * *

Кстати, уж раз передышка: та песня про «лаврика» столько вертелась у меня на пороге Памяти, так просилась на бумагу после того, как я мимоходом ее помянул, что я не выдержал: ночь отсидел, и приблизительно восстановил. Зато теперь буду считать ее своим произведением: по моему, лучший из всех моих поэтических плагиатов. Правда, иногороднему читателю нужен для нее целый словарь — кто из них, например, слышал про «альвичка», разносившего липкие сласти в круглой стеклянной коробке? Но, в конце концов, я эту повесть и вообще не для приезжих написал: не поймут, и не надо. Вот та песня:

Коло Вальтуха больницы
Были наши двory.
В Ньюты зонтиком ресницы,
Аж до рта и догоры.
Ей з массивов я в карманах
Миди жменями таскал,
Рвал бузок на трох Фонтанах,
В парке лавриков шукал.
Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Я свару тебе картошки.
Откогда большая стала,
Шо то начала крутить:
То одскочь на три квартала,
То хотить и не хотить.
Я хожу то злой, то радый,
Через Ньюту мок и сох...
А вже раз под эстокадой
Мы купалися у-двох.
Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Горько мышке в лапах кошки.
На горе стоить Одесса,
Под низом Андросов мол.
Задавається принцесса,
Бу я в грузчики пойшел.
Раз у год придеть до Дюка,
Я вгощу от альвичка...
И — табань, прощай разлука:
Через рыжего шпачка.
Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Хто куплял тебе сережки?
Год за годом, вира-майна,
Порт, обжорка, сам один...
Тольки раз шмалю нечаяно
Мимо Греца в Карантин —
У Фанкони сидить Ньюта,
На ей шляпка, при ей грек.
Вже не смотреть, вже как будто
Босява не человек.
Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Разойшлись наши дорожки.

<...>

XVII. Богоискатель

Из Швейцарии я уехал, но еще долго шатался по заграницам, а перед самым началом японской войны попал в Петербург.

Марко изучал там уже не персидский язык, а санскрит, и жил в студенческих номерах. Был ли он еще вегетарианцем, не помню; но душа его была полна теперь новым увлечением — он ходил в заседания религиозно-философского общества. Именами преосвященных, иеромонахов и иереев он сыпал так, словно обязан и я знать, кто они такие. В номере у него лежали кипами какие то экзотические тома, и он занимал меня беседами о ставропигии, автокефалии и роли мирян в соборе; сообщил мне, что в армяно-грегорианской церкви не один католикос, а два, и кроме того три патриарха, а при них «вартapedы» шестой и десятой степеней; а вот армянские мхитаристы в Вене и Венеции — те другое дело, те монахи-католики (он презирал католиков). Косвенно заинтересовался он даже иудаизмом, и восторженно рассказывал мне про «лысого Боруха». Оказалось, в собраниях религиозно-философского общества, очень популярен некий бородатый еврей, по прозвищу Борух лысый; в миру он был марксист и считался истребителем Бунда, но с юности, заодно с непобедимым литвацким акцентом, сохранил огромный запас цитат из Талмуда и даже каббалы, а в смысле казуистической изворотливости «бил» (по словам Марко) всех православных академиков. На чем он их «бил», мне трудно было понять по круглому невежеству моему; но Марко знал теперь все оттенки различия в восприятии божества между иудаизмом и христианством, сопоставлял эманации Шехины с идеей триединности, и вообще был невыносимо глубок.

Я его не очень слушал, зато присматривался к его обстановке. Странно: неужели в номерах такая чистота горничная? Непохоже: в коридоре, в два часа дня, я пробирался через несколько поколений не подметенного сметья. И не только опрятность меня поразила, но и зеркальце в бантиках, и картинная галерея на стене — все открытки, и все на подбор уездного вкуса: он и она и луна, дед Мороз в слюдяных блестках, ареопаг голеньких младенцев в позе деловитой и физиологической; между прочим, несколько поодаль, портрет пухлой барышни в большой шляпе с тропическим лесом на полях. Я сделал лицо Шерлока Холмса и спросил без церемонии:

— Соседка?

— Соседка, — ответил он и вдруг завозился с книгами на столе. — Курсистка; т. е., она, видите ли, еще не на курсах, я ее готовлю.

Когда он меня провожал до лестницы, дверь рядом с его дверью приоткрылась, и выглянула та самая девица. Она была не только пухлая, но и густо наруганная, с подведенными глазами; однако еще в халате, и за нею виднелась разбросанная кровать и наляпанная вода на полу под принаряженным умывальником.

— Я сейчас, Валентиночка, — сказал ей Марко.

Недели через две я пошел вечером в гости, и там узнал, что на завтра утром появится в газетах объявление войны. Возбуждение было за столом огромное — и, как теперь особенно издали видно, странное: вряд ли повторялась эта психология когда либо в образованном обществе другой страны. Семья была коренная русская, хорошего земского направления, и почти все гости тоже; но война эта их волновала не как собственное личное событие, а как что то разразившееся рядом, очень близко, вот прямо перед глазами, но все же не совсем у них; словно заболел сосед по комнате, или словно потрясла и захватила их, до дна души захватила, драма на сцене: они сидят в партере, в двух шагах от рампы, но по ею сторону рампы.

Самое странное было, что никто ничего не знал. О Японии помнили по уже далеким учебникам: привыкли считать ее маленькой страной вроде Голландии, не понимали, как такая мелюзга топорщится воевать с Россией, и широко распахивали глаза, слыша нежданно, что там больше пятидесяти миллионов народу. Не представляли себе и того, что Россия на Дальнем Востоке совсем не тот великан, — что туда ведет за тысячи верст ниточка жалкой одноколейки, по которой медленно будет просачиваться взвод за взводом, еще скупее — провиант и амуниция. Еще меньше знали, конечно, где Манчжурия и кому она нужна: если что знали, то устные пересуды о каком то Абазе, о каком то Безобразове, которые там не то напутали, не то накрали — а что и как, неведомо.

И, несмотря на эту, сегодня утром еще несомненную, непомерность между мелюзгой и великаном, все почему то оживленно предвещали: наших побьют; и никто во всем доме от этой уверенности не пригорюнился. Там, на сцене, там побьют; тут у нас, в зрительном зале, насущная забота совсем иная — если пьеса провалится и лопнет вся антреприза, нам же лучше... Тогда меня это, конечно, нисколько не поразило, я ничего иного и не ждал; только теперь, оглядываясь назад, соображаю, как все это было странно, сколько нагромоздиться должно было вековых отчуждений, чтобы так извратился основной, произвольный, первоприродный отклик национального организма на вонзившийся в тело шип.

Еще накануне Марко со мной договорился встретиться на послезавтра за пирожками у Филиппова; он, конечно, опоздал на час, но я так и знал. Сетовать не пришлось: у Филиппова я застал знакомого, большого столичного литератора. Имени не назову, но все его помнят. Был это, по моему (хотя общее мнение до сих пор другое), человек не подлинно талантливый, а только зато с крапинами истинной гениальности: самая неудачная и несчастная комбинация. Талантом называется высокая степень способности что-то хорошо сделать: он, по моему, ничего хорошо сделать не умел, и все большие книги его о русских романистах и итальянских художниках, напряженно-вдумчивые, но никуда не доводящие, будут забыты. Но отдельной строкою он умел иногда поразить и даже потрясти — вдруг приподнять крышку над непознаваемым и показать на секунду отражение первоизданности в капле уличного дождя. Я раз от него (но речь шла о другом авторе) услышал хорошее слово для определения этой черты: «пховэзты в вэчность» — он был выходец хедера и говорил с этим оттенком. Беседовать с ним, когда в ударе, было большое наслаждение: как ночью в море плескаться в фосфоресцирующей воде, думал я не раз, вспоминая прошлое лето.

В тот день он был не просто в ударе, а весь трепетал от волнения. Подсев к нему, я ждал, что тут уже услышу далеко не вчерашние суждения. Он всю жизнь страстно рылся в капиллярнейших извилях русской души и мысли; мог

посвятить целую страницу умствованиям о том, что означают черные волосы у какого то героя «Бесов» («мертвая крышка между сознанием и бесконечностью»); прочел как то лекцию в Одессе (именно в Одессе!) о какой то иконе «Ширшая небес», и еще об одной — кажется, «Панагия» — и вообще о разнице между византийской иконописью и славянской (а сбор отдал целиком в пользу жертв кишиневского погрома); тогда мы и познакомились. Я считал, по простоте душевной, что такой человек, особенно по еврейской прямолинейности этих горящих натур, должен стоять за Россию органически, слепо и *quand tme*.

— Разгром, — пророчил он вместо того, — предначертанный разгром. И совсем не потому, что режим плох: само племя неудачливое.

— Вы это говорите? вы, который...?

— О, не смешивайте двух разных ипостасей национального лика. Русские на высотах зажигают несравненные вселенские огни, но на равнине мерцают лучины. В этом залог их величия: косная тусклость миллионов — ради того, чтобы гений расы тем ярче сосредоточился в избранных единицах. Полная противоположность нам, евреям: у нас талант распыляется, все даровиты, а гениев нет; даже Спиноза только ювелир мысли, а Маркс просто был фокусник.

— Почему же тогда не явиться у них гениальному полководцу?

— Современная война — как современная индустрия: никакая Кольбер не поможет, и никакой Суворов. Тут нужна инициатива каждого унтера; и больше чем простая смекалка — нужен факел осознанной воли к победе в каждой безыменной душе.

— Разве его нету — хотя бы в неосознанном виде?

— Нету. Этот народ — богоносец; избитое слово, но правда. А вышнее богослужение, как в древнем Израиле, осуществляется трижды в году, не чаще. Бог японца — земной бог: государство; это сподручный бог, у каждого солдата в ранце, ежечасно к услугам.

— Что ж, — сказал я утешающе, — за то многие надеются, что поражение даст нам конституцию.

— Какая пошлость! Не хочу всех парламентов мира за развороченный живот одного ярославского мужика. Стыдно и думать об этом: учитывать кровавые векселя.

— Господи, но уж если мучиться ярославскому мужику, то хоть не даром...

— Муки всегда «недаром»; все муки всегда и всюду — родовые муки; но незримых родов, где возникают новые стадии проникновения, новые акты надземных трагедии, а не новые аршины благополучия.

Тут уже мне стало трудно понимать его метафизику, и дальше я не помню; но вскоре пришел Марко, и тут я, наконец, нашел первого на весь Петербург цельного патриота. Он даже не извинился за опоздание; и сидел с поднятым воротом, ибо швейцар в воинском присутствии дал ему понять, что из под его тужурки высматривает фуфайка, а рубаху надеть он забыл — очевидно, убежал из дому еще до того, как встала поздняя Валентиночка.

— Позвольте, зачем воинское присутствие?

Оказалось, он решил пойти на войну добровольцем: с утра кинулся наводить справки, только никак не мог еще попасть именно в ту комнату, куда нужно, и в скитаниях не по тем канцеляриям претерпел уже много поношений; но видно было, что он приемлет страдания с радостью. Насчет солдатчины он решил бесповоротно: сегодня пишет домой; завтра пойдет в присутствие с одной знакомой курсисткой — т. е. она еще не на курсах, но и т. д. — она человек распорядительный и сразу найдет надлежащий стол, где его приведут к присяге и вооружат и посадят в вагон. То есть, конечно, будет еще обучение; но вряд ли надолго — он, видите ли, «учился стрелять» еще тогда в самообороне, на квартире у Генриха.

Мой собеседник его издали знал, встречал его на религиозно-философских беседах. Он деликатно усомнился, нуждается ли теперь отчизна в добровольцах; Марко, отвечая, подошел к предмету с более широкой стороны — насчет Одина и Зевса, св. Августина и Будды и шинтоизма и провиденциального посредничества России. Между ними завязался разговор не для моей темной головы; а я молчал и думал об Анне Михайловне. Сережа мне, правда, писал, что «марусин аргонавт» уплыл пока еще без катастрофы, но что «по гулким галереям дедовского замка бродит еженощно родовой призрак Мильгромов и каждую полночь вопит дискантом: гевалд!». Невесело там с Марусей; Лика — Лика; и Сережа — Сережа, и не раз у матери затуманивались мудрые терпеливые глаза, наедине со мною, при его имени. Там невесело в их веселом хохочущем доме; а теперь еще этот остолоп хочет подбавить радости. Мне пришла в голову мысль; я их оставил за пирожками и богопознанием и уехал к Марко в номера.

Валентиночка смутилась, но приняла меня радушно: Марко хвалил. Теперь уже было и у нее прибрано; та же пригородная роскошь, что у Марко, но, конечно, без книг, за то с чайниками, чашечками и канарейкой. Румяна были наложены заново и плотно, в русых кудряшках торчал бархатный бантик, на плече другой. Настояла, чтобы я снова пил чай с вареньем, несмотря на пиршество у Филиппова; и оказалась одесситкой — судя по говору, с Пересыпи. «Не люблю выходить», объясняла она, разливая чай, — «такой поганый народ, все пристают; конечно, я теперь, чуть что, моментально даю отскок на три франзоли». Слово «теперь» у нее повторялось почти в каждой фразе автобиографического содержания: ясно было, что прежде и теперь (так она и выразилась) — две большие разницы.

— Марко вас на курсы готовит? — спросил я участливо. — Фребеличка, бестужевские, или что?

Она посмотрела исподлобья, не издаваясь ли я; действительно, сглупил, не надо было спрашивать.

— Марк Игнатьевич добрая душа, — сказала она, и вдруг у нее дрогнул голос: — горобчика подберет на улице,

так и из него захочет сделать не знаю что; павлина. Никуды я не на курсы; шить вот хочу поучиться, только еще не умею рано вставать. Он меня в Художественный театр водил, когда москвичи приезжали — и то насилу отпросилась.

Ее чистосердечие мне понравилось, и я без обиняков перешел к делу: чтобы не давала Марко идти в солдаты — на нее одна надежда.

Валентиночка буквально рассвирепела; в голосе ее зазвенели громкие ноты, явно занесенные из того ее быта, который был «прежде».

— Ему в стрельяки? И я чтоб его повела в присутствие? Зеньки я ему вицарапаю... Он! Если есть на Колонтаевской лужа, а он сам на Канатной — обязательно хлюпнется в тую лужу; как по вашему, извините, говорится: шлимазель; или в театре я у москвичей слышала: двадцать два несчастья. Да в него еще тут на ученьи оттуда японская пуля попадет! Я ему...

Дело было в шляпе, Марко спасен; я подивился путаным стезям Провидения — не угадаешь, что человеку на беду и что может оказаться на благо. Я взял с нее слово, что об этой беседе Марко не узнает.

— Не беспокойтесь, — ответила она воинственно, — так богато ругаться буду, что и про вас забуду.

Больше я Марко в тот месяц не видел; вскоре уехал на юг и там обнаружил, что дома и не слыхали об этом его проекте: быстро управилась Валентиночка, даже написать не успел.

Встретились мы с ним опять в Петербурге летом того же года. Я написал ему свой адрес; на другой день, часа в три, он влетел ко мне сам не свой от счастья, схватил обеими руками за рукав, утащил из передней в комнату и сказал, задыхаясь:

— Знаете, что только что случилось, полчаса назад? Плеве убит, бомбой!

И, подбросив фуражку в потолок, он в голос закричал:

— Банзай!

Это ура на языке самураев и гейш, самый тогда популярный возглас на устах читающей протестующей России, стоило целой исповеди. Даже сквозь искреннюю радость мою по поводу его потрясающей новости, я не мог опять не подивиться могучему размаху его душевного маятника.

Мы решили пойти пошататься, подслушать, что говорит улица. Но удалось это не сразу: фуражка его, оказалось, улетела не в потолок, а на вершину саженного шкафа. Никак нельзя было достать со стула, пришлось придвинуть стол; но наконец мы вышли.

Улица оказалась в том же настроении, что и Марко и я. Кто шел вдвоем, те улыбались и одобрительно качали головами; которые встречались и, останавливаясь, пожимали руки друг другу, с первого слова говорили: Здорово! — Но по настоящему вслушаться в людской говор мне не удалось: Марко мешал. Всю дорогу он мне рассказывал о себе. Он окончательно решил сделаться брамином. Кроме того, он теперь учится у настоящего йога искусству дышать. Это, видите ли, самая важная вещь на свете — вводить кислород во все закоулки дыхательной системы; это очищает не только кровь, но и серое вещество мозга; и самую мысль. Каждое утро — десять минут упражнения; еще лучше вдвоем, только надо обязательно утром, а вот если кто поздно встает, тогда хуже...

<...>

Ххii. Еще исповедь

В тот вечер я пошел говорить с Сережей. Торик предупредил меня, что родители уйдут в оперу, и сам он тоже уйдет, чтобы никто не мешал, а Сережа раньше десяти не уходит. В самом деле, еще из передней я услышал Сережин голос: он что то наигрывал на рояле и подпевал.

— Чудесную песенку привез знакомый из Парижа, — сказал он мне, сияя: — Janneton prend sa faucille pour aller couper les joncs. Говорят, старинная. Вот уже час корплю, хочу перевести. Нравится вам начало? -

Наступил июль горячий,
По деревьям бродит сок.
Прогуляться в лес на даче
Вышла Таня на часок.

— Я к вам не за тем, Сережа: у меня серьезное дело, и неприятное.

— Погодите, сейчас; ужасно трудно подобрать все рифмы не просто на «-ок», но на «-сок», avec la consorine d'arpu. Слушайте:

Вдруг четверку повстречала:
Каждый строен и высок.
Первый скромно, для начала,
Ущипнул ее в... висок.

В висок ущипнуть нельзя, но это — для ваших целомудренных ушей: у меня на самом деле другая рифма, более щипательная. Дальше еще не готово. Слушаю; только не ругайтесь, если вдруг сорвусь на минутку напеть следующий куплет. Что нового на Риальто?

Я притворил дверь гостинной и сказал очень просто:

— Сегодня Мотя Банабак еще с одним товарищем произвели «экс» у Абрама Моисеевича; и сделали это по вашему поручению. Вы знаете, чем это пахнет?

Он стоял предо мною, ловкий, стройный, изящно одетый во что то специально домашнее, одна рука в кармане, в другой папироса. Ни одна бровь не дрогнула, но ход его мыслей отразился на лице явственно. Сначала он удивился, откуда я знаю, хотел было отрицать; сейчас же сообразил, что не стоит, улыбнулся чистосердечно и спросил тоном любознательной деловитости:

— Чем пахнет?

— Чем угодно, от арестантских рот до расстрела.

— Кабальеро, я четыре года проторчал на юридическом факультете. Почтенный хлебник Авраамий, сын Моисеев, будет молчать, как скумбрия, немая от рождения, пойманная, нафаршированная, зажаренная, съеденная и переваренная.

— Не ручайтесь!

— Ручаюсь. Что визит к нему произошел по моей инициативе, он доказать не может; а зато есть два свидетеля, что он подговорил их учинить налет на своего же брата Бейреша, сына Маврикиева, и еще заплатил им за это шесть тысяч рублей. Знаете, чем это пахнет?

Это была здоровая логика, бесспорно. Первый натиск мой, со стороны самосохранения, он отразил. Я на минуту сбился с нити; стоял и почему то думал о том, что сегодня он все время говорит по-русски, без обычных своих гаванских словечек, и это с самого моего прихода: сразу, что ли, почуял, что я пришел не по шуточному делу?

— Дело не в этом случае, Сережа, — сказал я, собравшись с мыслями. — Я теперь не сомневаюсь, что вы связались с налетчиками вообще. Никакого оправдания у вас нет, вы это не для «партии» делаете — да еще через Мотю. Это просто гнусная низость.

Он прищурил глаза и проговорил раздумчиво:

— Я бы мог, собственно, указать вам на дверь и даже помочь вам в деле утилизации одного отверстия.

Я ответил опять очень просто:

— Не будьте идиотом, Сережа.

Он пожал плечами; несколько минут ничего не говорил, только постукивал носком; вдруг потер лоб, просиял, счастливо кивнул мне головою, сел к роялю и (сказав мне: — Минутку!) запел, брэнча аккомпанимент:

Но второй был смел, и смело
Бросил Таню на песок.
Третий ловко и умело
Развязал ей поясок,
А четвертый...

Вот еще только четвертый, собака, не дается. «Ce queefit, le quatrieme...».

Я бесновался внутри; право, не за него тревожился, пусть идет ко всем, если так ему нравится: Анна Михайловна не выходила у меня весь день из головы, моя старшая и первая любимица в этом доме. Это ради нее, чтобы не стыдно было смотреть ей в глаза, я тогда в Лукании сказал Марусе «чур» и не дотронулся: только ради нее, пора выдать правду. Женщина с изумительным гением понимания, безропотно несущая свое бессилие — бессилие всех матерей и отцов в том поколении перелома и распада; женщина, вздернутая Богом на дыбу, чем дальше, тем выше; и вот ей этот обаятельный мерзавец готовит еще один поворот колеса, натягивающего канаты. У! портовые словечки знал и я, самые последние, самые хамские: страшно хотелось бросить их все ему в лицо, и еще плюнуть в придачу, по настоящему плюнуть мокро, и уйти. Но хватило, спасибо, рассудка поступить иначе. Я собрал у себя в глотке самые ласковые, самые музыкальные и задушевные ноты голоса и сказал ему:

— Сережа, за нами столько лет дружбы. Если вы не слышите, что за крик боли стоит у меня теперь в душе, вы глухой. Ради Бога, Сережа!

Он медленно повернул ко мне крутящийся табурет у рояля, оперся локтем о зазвеневшие клавиши и посмотрел мне в глаза по своему, открытым и честным взглядом удалой и безграничной своей природы.

— Во второй раз вы меня спасти хотите, — сказал он тоже с глубокой, грустной дружбой. — А я во второй раз спрошу вас, и, поверьте, не для зубоскальства, а совсем искренно: в чем дело? Почему нельзя? Это ведь не то, что взять у нищего. Может быть, я нравственно глух, но ведь это от природы, это органическое мое увечье, а не вина.

— Но зачем, зачем?!

Он опустил голову и задумался на минуту. Потом он заговорил, рассеянно слегка постукивая пальцами по клавишам; и всю эту речь его я помню сквозь тихую втору отрывистого рокота рояля, как ту исповедь Маруси помню сквозь лунный свет и зеленый шелест. Наигрывал ли он бессознательно какую то известную мелодию, или просто сами невольно создавали ее одаренные пальцы, но даже меня, туго откликающегося на музыку, странно захватило

и подчинило ее подавленное журчание, и с ним уже без отпора вливались в мое сознание его слова.

— Все равно, милый друг мой, — говорил он, — я ведь пропаду. Я не прилажен для жизни. Это дико звучит, когда речь идет о человеке, сплошь усеянном, как я, полуталантами: и на рояле, и карандашом, и стихотвор, и острослов, и что хотите. Может быть, в этом и болезнь, когда все человеку дается, к чему ни приложит руку: как тот царь, у которого все в руках превращалось в золото, и он умер с голоду.

— Неправда, из вас бы вышел отличный адвокат...

— Да я у кого то и состою помощником — даже где то записал, у кого именно. Ничего не выйдет: не могу я работать. Даже легкой работы не выношу: не в усилении дело — для игры я целый день вам пудовые мешки буду таскать; но если это не игра, если «нужно» — не могу. — Вы прочли Вейнингера?

— «М» и «Ж»? при чем это?

— «Ж». Я знаю, это еще более дико сказать о малом с такими широкими плечами; и гимнаст я хороший, и, честное слово, совсем нормален в том — вы знаете — специфическом смысле; но ведь я, собственно, женщина. Барышня-бабочка, рожденная только для холи и забавы и баловства. Родись я девушкой, никто бы не попрекнул меня за то, что я не создан для заработка: у них это в порядке вещей, если внешность подходящая. Кто-нибудь тогда бы кормил и наряжал меня для украшения своего быта и дома, и еще благодарил бы каждый день за то, что я позволяю. Меня бы тогда «содержали»... Сознаться вам? Это слово «на содержании», которое для каждого настоящего мужчины звучит так поганно, меня оно не коробит. Уже несколько раз я был на самом пороге и этого переживания; почему то не поддался, сам не знаю почему; но и это еще возможно.

Я почти застонал: гнев мой давно прошел, осталась только тупая, тяжелая боль. Я сказал:

— Вы говорите так, как будто теперь вы нищий.

— Я и есть нищий. Куда плывут у меня деньги, сам не знаю. Выпил кофе за четвертак, ничего не купил, а ушло пять рублей. Тоже черта той дамочки: легче далась бы черная магия, чем арифметика собственного кошелька. Это и значит «нищий»: тот, у которого над душой каждую секунду висит гнусная, подлая забота — где достать? Для дамочки это просто: потерлась плечиком о плечо отца, или мужа, или друга и попросила умильно: дай! Пусть иногда откажет — но хоть не стыдно. А на мне галстук и брюки, я числюсь мужчиной. Папа c'est un chic type, сам приносит конверт 1-го и 15-го, а мне это — как хлыстом по лицу. Никудышный я; пропаду все равно, не стоит хлопотать.

Мы оба молчали; вдруг он заговорил бодрее, и аккомпанимент на рояле зазвучал громче:

— Между прочим: этот подвиг с Авраамием в моей биографии первый. Вдруг осенило. И денег его я пока не тронул; собственно потому, что не привык еще как-то принимать ассигнации из рук моего друга Моти Банабака — привык наоборот. Предрассудок...

Он повернулся к роялю и стал наигрывать внимательнее, что то бормоча, потер лоб одной рукою, нахмурил брови, кинул мне рассеянно: — Простите... — и опять запел, сначала вполголоса, но со второй строчки уверенно:

— А четвертый... Но из драмы
Надо вычеркнуть кусок,
Чтоб, узнав, и наши дамы
Не сбежали в тот лесок.

И он совершенно преобразился. Отпихнулся ногой, три раза перекрутился вместе с табуретом, удержался против меня: его лицо сияло подлинной беспримесной радостью, он с силой провел ногтем большого пальца по всей клавиатуре с диэзами и бемолями и закричал:

— Готово! Нравится?... И вы не тужите: во второй раз обещаю вам честно — ни-ни. Этого — ни-ни; не хочу вас отпустить опечаленного. А пропасть — пропаду.

XXIII. В гостях у Маруси

<...>

— Что тогда было в долине Лукания?

Маруся легла ко мне, обвила мои руки тесно вокруг себя, свои вплела мне в волосы, прижала губы к уху и зашептала:

— Страшная вещь была. Я туда ехала, как одержимая, с обрыва бежала, как одержимая: знала, что это конец, через минуту я буду женой Алеши, я так хочу и так надо, пусть мне будет больно и страшно и все развалится навсегда. Так и сказала Алеше, внизу, на том самом месте, где ты меня судил и простил; даже не сказала — велела. И вдруг — даже объяснить не умею — как будто лопнула во мне пружина, и я не я, и все по другому, чужой человек с чужим человеком. Он еще только руки протянул ко мне — и разом отстранился, и, сразу все понял. Не сказал больше ни слова, отвел меня наверх, отыскал извозчика, отвез домой; помню, зубы у меня стучали. У подъезда помог мне вынуть ключ из сумки, сам отворил дверь и снял шляпу. Я хотела сказать «прости ты меня Христа ради» — ведь я за полчаса до того уже была в душе крещеная и венчанная в церкви. Ничего не сказала, и он ничего не сказал.

Маруся толчком откинулась от меня, опять села, оперлась о ту вторую подушку, закинула голову; потом подняла руки и долго смотрела на них в косом свете с улицы.

— Собственно говоря, — сказала она громко, равнодушно, даже усмехнувшись, — ведь у меня, собственно говоря, кровь на руках.

— Не болтайте глупостей, — отозвался я сердито.

— О, меня это не мучит. — Она говорила, в самом деле, очень спокойно. — Может быть, это мы в такое время живем: все пистолеты, виселицы, погромы. Меня кровь не пугает. Я только за маму тревожусь.

Я не понял: — За маму? В чем дело?

Она объяснила медленно, с долгими запинками, подбирая слова; говорила опять совсем спокойно, по-видимому, ничуть не испытывая той жути, которой во мне отзывались ее странные мысли. Странные? Не уверен, чтобы совсем неожиданные: в этом рассказе уже несколько раз сорвалось у меня имя «Ниобея», и теперь я не помню, родилось ли оно в моем сознании только после этой беседы и после всего — или тоже, как Марусино предчувствие, задолго раньше, «так», «почему то».

— Так, почему то, — говорила Маруся. — Почему то мне мерещится, что мамини дети все плохо кончат; то есть все кроме Торика — Торик не наш. Вот уже Марко пропал, как тто совсем по дикому, как никто никогда не пропал. Лика — Лика палач до корня волос, до обкусанного края ногтей; кого задушит, ее ли придушат, не знаю, но я как то уже давно ее списала со счета. А Сережа — Сережа меня затащил однажды в кавказский кабачок, там один черкес плясал с пятью кинжалами во рту: это ведь и есть Сережа — ох, напорется. И хуже всего одно: мама это знает, мама всегда про это думает.

Я молчал, настолько подавленный, что даже не попытался вставить подходящее возмущенное замечание — «какая чепуха!» или в этом роде.

— Кроме Торика, — повторила она. — И еще я пропустила Марусю. Я зверек без когтей, никого не придушу, и кинжалов у нас в доме нету; но убейте меня — как то не могу вообразить себя старушкой, или просто пожилой дамой. Это свои вы мне когда то читали стихи: «Цветок сирени, ты свой убор покинула весенний, когда весна прошла»?

Я, наконец, взял себя в руки:

— Весьма польщен: мои; но вы, мой друг, оказывается — тайная истеричка. Гидропатия вам нужна: нна такую блажь один ответ — холодная вода; или оттаскать за косы.

Но Маруся уже смеялась, тормоша мои волосы:

— И то правда; вероятно, сама в это не верю, иначе не жилось бы мне так безоблачно, как живется. Утром забуду все, что теперь вам нагадала.

Я сказал: — Хотите, я вам скажу, как я вас «разгадал», здесь, за эти два дня?

— Хочу.

— Вы мне тогда в Лукании сказали: будь у меня талант певицы, или другой талант, я бы спряталась от всего мира, одна одинешенька или с моим рабовладельцем. А я спрашиваю: может быть, есть женщины, для которых высшая песня, песнь песней — это ребенок и муж, и вообще вся эта ванна спокойной нежности, в которой вы живете?

— «Весьма польщен», — она передразнила мой давнишний ответ, но глаза ее смотрели серьезно.

— Понимаете, — настаивал я, — жил-был человек, от роду художник, но не знал, что он художник; только почему то все портил чужие обои, рисуя на них арабески. И вдруг его взяли на выучку, дали полотно и краски: целый день вымазаны у него руки и лицо и самый нос, и ничего ему больше на свете не нужно. Или жила-была девушка, от роду с неслыханным, несметным зарядом нежности в душе; разбрызгивала эту нежность направо и налево, не считая и не жалея и не выбирая, стоит ли, пока...

— Пока не попала в ванну? Может быть.

Она зевнула и соскочила с кровати.

— Одно несомненно: мой наряд скорее подходит для ванны, чем для визита. И мы уже опять вернулись к началу начал — к истории о том, как ваша героиня «разбрызгивала нежность»; значит, круг сюжетов завершен, и я иду спать. Утром напою вас кофе; только еще булочек не будет, но я вам поджарю сухариков. Яйца как хотите — всмятку или яичницу?

Но она еще с минуту простояла у моей кровати, прощаясь за руку; смотрела на меня задумчиво, склонив голову на бок и щекоча себе губы пушистым кончиком одной косы; опять как будто хотела нагнуться и раздумала.

— О чем это вы молчите так нерешительно, Маруся?

Она не ответила, высвободила руку и пошла к двери, но у двери опять остановилась и повернулась ко мне лицом.

— О чем?

Она засмеялась и ответила мне так, как будто снова ей двадцать лет, снова она рыжий котенок в муфте, ничему не научилась и ничего не забыла:

— Я вам признаюсь. Я стояла и думала: надо бы с ним попрощаться по особенному — может быть и в самом деле не увидимся? Но, как изволите видеть, я передумала. Мы с вами все сроки пропустили; и вообще не надо, пусть так останется, как было. Мона Ванна (она опять зевнула) бьет челом Жофруа Рюделю; впрочем, это, кажется, из двух разных опер. Засни, мой родной; «сни меня», если можно так выразиться.

Она ушла. Где то пробило час ночи; после этого я слышал, как она спускалась на нижний этаж, на цыпочках, но уже не босиком — очевидно решила дожидаться мужа. Потом приехал Самойло; потом я заснул. Утром они меня накормили кофе, яичницей, хрустящими горячими сухариками, проводили оба ласково; брочка довезла меня до Люстдорфа, оттуда я на трамваях добрался до Большого Фонтана и до Одессы, а назавтра уехал в Петербург.

<...>

XXV. Гоморра

У турок еще до сих пор, кажется (и я уже где то этим похвастался), Одессу в официальных документах называют Ходжа-бей, по старинному имени того места на черноморском берегу. У нас в городе это имя сохранилось только в названии одного из лиманов: Хаджибейский лиман. На Хаджибейском лимане, летом 1909-го года, приблизительно, кончился любимец мой Сережа; впрочем, технически остался жив, и, пока живы были родители, конечно, не покинут; я даже думаю, что не будет покинут, покуда жив Торик; а живы ли еще Анна Михайловна и Игнац Альбертович и Торик, и сам Сережа, не знаю — с 15-го года не был в России, с 17-го никто мне оттуда не пишет. Во всяком случае, тогда, на Хаджибейском лимане, он остался технически жив, но для себя и для всех кончился. Я его с тех пор не видал. Несколько месяцев после события он еще проживал у отца, но гостям не показывался, даже мне; потом уехал из дому и зарылся в нору, неведомо где, без знакомых, без книг, один-одинешенек в вечной темноте. Если жив еще, то сегодня, может быть, рвет на себе волосы или тихонько стонет, шепча: если бы я только еще на полвершка дальше отшатнулся, вправо или влево...

Знаменитый у нас адвокат, который защищал Ровенского (добился для него, действительно, большого снисхождения — полтора года арестантских рот, если верно помню), был хороший мой знакомый. После процесса я просидел у него долгий вечер, чуть не ночь, и расспрашивал о том, чего никак понять не мог. Не о роли Сережи, конечно: для Сережи, должно быть, и это необычное переживание, пока не кончилось такой страшной расплатой, было только еще одним любопытным опытом над неограниченными возможностями жизни; проделывая тот опыт, он, вероятно, совсем не был ни потрясен, ни даже просто захвачен его чудовищной неестественностью — Сережа, вероятно, опять только развлекался, и через час после начала «опыта» уже внутренне подавлял легкую зевоту. — Но те? как это могло случиться? Я знал их давно, с первого своего посещения у Анны Михайловны; знал, что весь наш круг и «весь город» подтрунивал над их причудами, над их подчеркнутым сходством и одинаковыми платьями; пусть даже над их увлечением Сережей, под конец уже совсем явным; но я знал их давно и, как мне казалось, знал насквозь, помнил их безукоризненную светскую сдержанность — кажется, никогда (кроме разве той пьяной «потемкинской» ночи в Александровском парке, под крепостью — но ведь тогда все устои мира у нас на минуточку пошатнулись), никогда с их стороны я и мало-мальски вольного жеста не видел; и вдруг...

Я ничего не понимал.

— Все дело в постепенности, — говорил мне адвокат, — в постепенности, и еще в одной коротенькой фразе, в просительной фразе из трех коротеньких слов. Вы мне только что рассказали, что давно слышали именно эту фразу от самого Сергея Мильгрота — когда еще юношей отговаривали его от общения с какой то шайкой шулеров; но дело не в Сергее Мильгроте, дело в том, что эта фраза характерна, убийственно характерна, для всего его поколения. Фраза эта гласит: «а почему нельзя?». Уверяю вас, что никакая мощь агитации не сравнится, по разъедающему своему действию, с этим вопросом. Нравственное равновесие человечества искони держится именно только на том, что есть аксиомы: есть запертые двери с надписью «нельзя». Просто «нельзя», без объяснений, аксиомы держатся прочно, и двери заперты, и половицы не проваливаются, и обращение планет вокруг солнца совершается по заведенному порядку. Но поставьте только раз этот вопрос: а почему «нельзя»? — и аксиомы рухнут. Ошибочно думать, будто аксиома есть очевидность, которую «не стоит» доказывать, до того она всем ясна: нет, друг мой, аксиомой называется такое положение, которое (немыслимо доказать; немыслимо, даже если бы весь мир (взбунтовался и потребовал: докажи! И как только вопрос этот поставлен — кончено. Эта коротенькая фраза — все равно, что разрыв-трава: все запертые двери перед нею разлетаются в дребезги; нет больше «нельзя», все «можно»; не только правила условной морали, вроде «не украдь» или «не лги», но даже самые безотчетные, самые подкожные (как в этом деле) реакции человеческой природы — стыд, физическая брезгливость, голос крови — все рассыпается прахом. Для нравственных устоев наших этот коротенький вопрос — то же самое, что та бутылочка серной кислоты для глаз и лица. Ваш Сергей Мильгром только получил обратно ту же дозу, которую сам первый плеснул куда не полагается.

Большой оратор был тот адвокат; и я всегда замечал, что в беседе с такими нужно сто пудов терпения. У них, на душе всегда лежит запас неиспользованного красноречия: надо ему дать излиться, покуда начнется разговор о сути. Они — вроде крана для горячей воды: сначала идет холодная, и долго. Впрочем, может быть, я слишком любил Сережу и злился за эту правду.

— А второе — постепенность, — продолжал адвокат. — Нет такого трудного предприятия, которого нельзя было бы одолеть секретом постепенного воздействия. Нужно только хорошенько разобраться в понятии «трудность», расчленив его на отдельные моменты, и не браться за все сразу, а по порядку, один за другим: на каждый сначала

брызнуть той самой кислотой, подождать, пока подействует кислота и пройдет боль, а потом — номер второй, по очереди. Разрешите задать нескромный вопрос, ведь мы наедине: случилось ли вам когда-нибудь — я ищу слов — *dbaucher une jeune fille trs pure?* Или лучше оставим личные наши тайны, обратимся к литературе: что такое был Дон-Жуан? Не байроновский, и даже не тот, которого изобразили Тирсо де Молина и особенно потом Соррилья: тот действует натиском, магнетизмом, ему достаточно одного монолога, после которого чистой девичья на двенадцатом стихе уже побеждена. Это чепуха. Нет, вы попробуйте вообразить себе настоящего, «исторического» Дон-Жуана: Хуан Тенорио, сын захудалого помещика из окрестностей Севильи, мот и бретер, но совсем не Адонис. Чем он брал? Тысяча три жертвы в одной Испании, не считая заграничных, и в том числе такие недотроги, как донна Анна: чем он их победил, одну за другой?

(Мой собеседник хорошо знал по-испански и выговаривал «донья Ана»; но мы не обязаны).

— Я утверждаю: не магнетизмом, продолжал он, — а исключительно постепенностью. Донна Анна говорит: не хочу вас слушать, «нельзя!». А Дон-Жуан спрашивает: а почему «нельзя»? И готово: через два дня она уже слушает. Но есть у нее второй окоп: на свидание ночью ни за что не приду — уж это действительно нельзя! Он опять: а почему «нельзя»? И через три дня, уже на тайном свидании, он начинает применять ту же разрыв-траву к поцелую руки, к поцелую щеки, потом постепенно к каждой пуговке или пряжке ее многосложного наряда...

Я потерял терпение и прервал:

— Но ведь то была каждый раз одна донна Анна, а не две сразу! и не мать и дочь!

— Разница, если вдуматься, только в том, что слушали силлогизмы вашего друга две пары ушей, а не одна; а силлогизмы придумать и на эту тему не трудно. Тем более, что влюблены в него были несомненно обе; и времени было много. Дружба эта тянется лет восемь. Очень легко могу себе представить все стадии развития этого милого *mpage trois*. Сначала, скажем, сидели они втроем на скале, где-нибудь на берегу моря, луна и прочее; он сидит посередине; взял обеих за руки, маму Нюру за правую, дочку Нюту за левую, держит и не выпускает. В первый раз они, впрочем, высвободили руки, мама Нюра даже, вероятно, погрозила ему пальцем: нельзя. А он обиделся, огорчился, надулся: почему нельзя? докажите. Конечно, нельзя доказать; в следующий раз руки остались у него. Через месяц — или через год, времени было масса — уже его руки вокруг обеих талий; сначала без прижима, потом «с»... Не стоит продолжать, можете и сами дополнить, мне тошно. Только поймите одно: если это все проделывать осторожно и постепенно и медленно, то обе дамы так с этим нарастанием тройственной интимности свыкаются и срastaются, что посторонние, конечно, ничего заметить не могут. Вы говорили давеча: как же могло это за столько лет никому не броситься в глаза? «Бросаются в глаза» только резкие, внезапные перемены: выдают себя только люди, еще не свыкшиеся с новым положением; постепенность, напротив — залог полного самообладания. Вероятно, ужее давно они втроем проводили афинские ночи — содомские ночи, если хотите, — по разным гостиницам, и в той именно обстановке, которую мне описывал, задыхаясь, несчастный Ровенский... брр! а на завтра, на людях, при вас, ни намека нескромного, ни лишнего прикосновения, только невинно влюбленные женские глаза... сам-то ваш Сергей, конечно, ничуть не был «влюблен».

Я заходил по комнате, стараясь придумать форму для вопроса, который мне почему то казался тогда самым важным и самым страшным; но ничего не надумал, остановился и спросил в упор:

— А это правда, что они ему давали деньги?

Он ответил:

— Несомненно. Установленный фактический факт. Между нами — хотя я считаю Ровенского очень порядочным человеком — у меня ясное впечатление, что именно эта сторона дела и явилась для него последней каплей яду. Не по скупости: совсем он не скупой человек и не копеечник; типичный одесский еврейский коммерсант, прибрел когда то нищим из местечка Волегоцулово, попал в эту портовую метелицу радужных и «Катенек» и векселей приходящих и уходящих, и сразу потерял счет деньгам. Разве вы сами не замечали, что дед наш Шейлок, к сожалению, давно умер и потомства не оставил? Нет теперь во всем православии, несмотря на всю ширь славянской души, такого безнадежного мота — по-одесски «шарлатан» — как этот тип полуобруселого еврея. Если бы ваши Нюра и Нюта разоряли его на брильянты, Ровенский бы только кряхтел да подписывал вексельные жиры. Но это — брр!

Тут он вспомнил посмотреть на меня и увидел, должно быть, что со мной творится. Я забился в самый далекий угол; если бы мог, в стену бы влип от боли и стыда. Это, правда, говорил мне сам когда то о себе Сережа, у них в гостинной, в перерывах между куплетами французской песенки: *Si vous le saviez, mesdames, vous iriez couper les joncs* — еще тогда говорил, или намекал, что ничуть ему не страшны были бы женские подарки; и мне тогда показалось, что я ему поверил. Теперь было ясно, что не поверил; всему поверил, только не этому...

Мой собеседник был хороший, душевный человек; напрасно у меня до сих пор о нем проскальзывали досадливые нотки, словно его это вина, что свихнулся у меня большой и красивый любимец. Он заговорил по другому, участливо:

— А вы на это иначе взгляните. Тот же вопрос и та же, верно, постепенность, но уже не с его стороны. В первый раз он с хохотом рассказал Нюре и Нюте: вдрызг проигрался, хоть стреляйся! Они сейчас предложили ему помочь; он их высмеял, может быть и слегка отодрал за уши, если они уже были достаточно тогда между собою близки для такой формы выговора за несурзное предложение. Но при этом Нюра, или Нюта, или обе, успели спросить: позвольте, Сережа, в чем дело — почему нельзя? Его же собственным оружием, понимаете. Прошел месяц или год, или три, кислота действовала, предрассудок разрыхлялся (ведь это же, действительно, только предрассудок: что

деньги будто бы не пахнут, это обонятельная и химическая неправда, но ведь пола-то у денег в самом деле нет). Словом, — неизбежно пришел момент, когда оказалось, что «можно»...

— Страшное это слово «можно», — говорил он мне потом, чуть ли не на заре. — И вот что я вам скажу, только не повторяйте от моего имени — я, вы знаете, давно переменял в паспорте вероисповедную пометку и тем отказался от права судить свою бывшую общину; да и принципиально я, как вы знаете, не ваш единомышленник, верю в ассимиляцию и сознательно хочу ассимиляции. Но нельзя закрывать глаз на то, что первые стадии массовой ассимиляции — тяжелое явление. Русская культура велика и бездонна, как море, и чиста, как море; но, когда вы с морского берега сходите в воду, первые сажени приходится плыть среди гнилой тины, щепок, арбузных корок... Ассимиляция начинается именно с разрыхления старых предрассудков; а предрассудок — святая вещь, это еще Баратынский пел: «он — обломок древней правды». Может быть, все истинное содержание морали, даже содержание самого понятия культурности состоит из предрассудков; но в каждой культуре они — свои, самобытные, и при переходе от одной ко второй получается долгий срок перерыва — прежние пали, новые еще не усвоены; очень долгий срок, может быть и не одно, и не два поколения, а больше. И знаете что? только не рассердитесь, вы большой у нас муниципальный патриот — я тоже — а все таки это правда: нет во всей России более яркой панорамы этого перерыва культурной преемственности, чем наша добрая веселая Одесса. Я не только о евреях говорю: то же с греками, с итальянцами, с поляками, даже с «русскими» — ведь и они, в массе, природные хохлы, только «пошлысь у кацапы»; но всего яснее, конечно, это сказало на евреях. Оттуда, вероятно, и особая эта задорная искрометность здешней среды, над которой так смеется вся Россия и которую мы с вами так любим: так ведь нередко бывает, что эпохи развала устоев считаются эпохами блеска. Но оттуда же и жульничество наше, и ласковое отношение к вранью бытовому и торговому, и что на десять девиц из почтенных домов девять деми-вьерж, а десятая зеро-вьерж; и Сергей ваш оттуда, и Нюра, и Нюта.

— ...А как это все произошло? — спросил я. Градоначальник запретил газетам писать о подробностях дела на Хаджибейском лимане, суд прошел при закрытых дверях; репортер Штрок из нашей редакции, конечно, все знал, пытался даже рассказать и мне, но я его прогнал. Зачем тут спросил, сам не знаю; ответ адвоката хорошо помню, но подробно рассказывать не хочется, разве что несколько штрихов. Ровенский еще за три месяца до того раздобыл эту бутылочку с кислотой; очень мучился человек, уже больше года почти не говорил с женой и дочерью, старался по делам уезжать из города, чаще всего без надобности. В этот вечер тоже сказал (горничной), будто уезжает, а сам спрятался в кофейне на Ланжероновской, наискось против своего подъезда; видел, как подъехал на лихаче Сережа, и как уехал с дамами. Проследил их до лимана и до той гостиницы; околавался под освещенными окнами час и два, пока там не потухла керосиновая лампа. Тогда позвонил, снял и для себя комнату, в чулках прошел по коридору, в левой руке была бутылочка, в правой нарочно заготовленный молоток; молотком он и прошиб расшатанный дешевый замок того номера и ворвался в комнату. Лампу они потушили, но на столике горела стеариновая свеча. Увидя молоток и сумасшедшие глаза, Сережа вскочил и бросился вырывать молоток; Ровенский не боролся, уступил, но перенес бутылочку из левой руки в правую и плеснул Сереже в лицо. Потом он говорил, что хотел то же сделать и с женой, а дочку Нюту «просто хотел задушить», но уже не поднялась рука; или «сразу все равно стало», как он говорил потом на суде.

Седенькая уже была старушка Анна Михайловна, когда я ее после этого увидел, а ведь только лет пять тому назад казалась старшей сестрой Маруси. Я у них долго просидел, дурень дурнем, слова не шли из горла; она тоже молчала. Игнац Альбертович, тоже страшно подавшийся по внешности, и тут еще не сдался внутренне: старался поддержать разговор на посторонние темы, цитировал длинные строки из виландова «Оберона»; даже из Клопштока.

XXVI. Неладное

Письмо, под влиянием которого я собрался еще раз поехать в гости к Марусе, было длинное и беспорядочное. Конечно, слов я уже не помню, и нечего притворяться, будто помню; а все же так оно живо у меня в памяти, что не только его мысли, но и звучание берусь восстановить верно.

«<...> Я теперь ужасно много про себя философствую; не рассердитесь, если выйдем бессвязно. Может быть, есть души, которым нет на свете места вне молодости. «Молодость» — это значит такая пора, когда ничего еще не решено, поэтому все еще можно решить, как хочется, или как тебе хоть кажется. Стоишь себе на пороге всего мира, перед тобою сто дверей, можешь открыть какую угодно, заглянуть, не входя, -. не понравится, захлопни и попробуй другую. Это дает страшное ощущение всемогущества: молодость и есть всемогущество. А потом, когда все это прошло, — точно сняли с тебя императорскую корону. Все люди с этим мирятся, т. е. даже не подозревают, что была корона и ее сняли; но есть, очевидно, исключения. Иногда мне кажется так: низложенных королей много было в истории, но у них оставалось важное утешение — мечтать о реванше. Но представьте себе такого короля, который на минуту отлучился из королевства — а королевство взяло и утонуло, как Атлантида. Ходи весь век разжалованный, и даже мечтать не о чем. — Должно быть, годам к 35 это все пройдет <...>».

<...>

XXVII. Конец Маруси

Я восстановил обстоятельства этого события сейчас же на месте — я прибыл в Овидиополь через сутки. Много мне помог наш репортер Штрок, которого редакция туда специально послала; и он был так потрясен, так лично принял это горе, что раз в жизни забыл прикрасы и выкрутасы, а просто действительно расспросил всех, кого можно было, и все передавал подробно мне. Очевидица была только одна, та гречанка-соседка, по имени Каллиопа Несторовна, и она тоже не все могла видеть — окна ее квартиры и квартиры Самойло Козодоя во втором этаже были не прямо одно против другого, а наискось. Я тоже говорил с Каллиопой Несторовной, после того, как допрашивал ее Штрок, но через десять минут махнул рукой и попросился: не хватило духу мучить молодую женщину, у которой и на третий день еще губы и руки тряслись от ужаса. — За то охотно и говорливо описывала горничная Гапка: хотя ее при этом не было, но из ее рассказов мне выяснилась обстановка, в которой это все произошло; и сам я тоже вспомнил одну часть той обстановки — в прошлый, первый мой приезд Маруся в той же кухне и в том же «балахоне» кипятила молоко для первого их ребенка. Словом, я всю картину вижу перед собой, и уверен, что правильно. Только не хочется; покороче...

Надо прежде объяснить про устройство их домика. В нижнем этаже была аптека, при ней склад, и еще одна большая комната, из которой они сделали столовую и там же принимали гостей. Наверху была спальня, детская, и две маленькие комнатки: одна — Марусина «норка», другая — где тогда поместили меня, и еще кухня довольно просторная, даже с полатами, по местному «антресоли», где спала Гапка. Окно из кухни и было то окно, что наискось против окна Каллиопы Несторовны; а дверь выходила в коридор, и в коридоре, у самой двери, стоял деревянный сундук, вышиною несколько ниже обыкновенного стула; и стоял он именно у той стороны кухонной двери, где ручка.

По утрам теперь Маруся, в хорошую погоду, отправляла Гапку покатать полугодовалого младшего; старший, которому шел третий год, уже проявлял характер. Очень активный ребенок был этот Мишка — да простит ему Бог это роковое качество. ООн давно уже научился без помощи карабкаться по деревянной лесенке на второй этаж. Главное же его достижение было — собственноручно отворять дверь на кухню. С пола дотянуться до ручки он, конечно, не мог, но придумал ухищрение: взбирался на тот сундук, оттуда, пыхтя, обеими руками нажимал ручку, дверь открывалась, он слезал с сундука, входил и заявлял:

— Бачь, мамо (или: бачь, Гапко) — я відчинила!

Когда Маруся на кухне возилась с керосинкой, и при этом находился Мишка, ему запрещалось проникать в мамин угол, чтобы не обжечься, и он это правило научился строго соблюдать: играл тогда у двери, по большей части открытой (чтобы мог выбегать на коридор, не заставляя Марусю отпирать — с этой стороны сундука не было): строил дворцы из кирпичей кухонного мыла, или скакал верхом на палке половой щетки.

Тот день был жаркий, но ветреный, окна были открыты «настежь». Самойло не было, ученик дремал в аптеке, Гапка ушла покатать Жоржика в колясочке, старший ребенок был в саду, а Маруся поднялась в кухню. Там она так поместилась у окна — сбоку, возле самой плиты — чтобы видеть Каллиопу Несторовну, которая что то шила, сидя у себя на подоконнике; и они оживленно переговаривались через неширокую тихую улицу. А на плите стояла керосиновая машинка.

Штроку гречанка рассказала, что она в то утро («в сотый раз») «смеялась с Марьи Игнатьевны», зачем та непременно три раза кипятит детское молоко. «И наговорили вам в гимназии за эту стерилизацию! чепуха — как же мы с вами без этой церемонии такие мамочки-булочки выросли?». А Маруся, тоже в сотый раз отвечала формулой из какого то детского фокуса с игральными картами: «наука имеет много гитик» — нет такого слова «гитика», это для фокуса — но смысл был тот, что доктора так велят, они ученые, и не нам с вами против них спорить.

Молоко стало подыматься, Маруся сняла кастрюлю, остудила молоко (совсем? или немного? не знаю, как это приказано в науке), и опять поставила на огонь, повернувшись спиной к машинке, оперлась плечом об оконный косяк и продолжала переговариваться с соседкой. И тогда Каллиопе Несторовне вдруг показалось, что пламя на сквозняке высунуло шальной язычок и лизнуло рукав Марусино балахона. Я не знаю, как называется та материя, но одно хорошо помню — когда Маруся прильнула и шептала мне на ухо про ту ночь в долине Лукания: паутина.

Дальше, как передавал Штрок, соседка не умела ничего связно передать: все путала, описывала раньше такое, что по ходу вещей могло только быть позже, и наоборот. Но она ясно помнила, что даже крикнуть не успела во время: так ярко ей сразу представилось, что сейчас должно произойти, что у нее голос отнялся; и Маруся, очевидно, только по искажившемуся лицу гречанки поняла, что на ней загорелось платье. Каллиопа Несторовна уверена была, что Маруся только поняла, а не почувствовала: хотя она быстро повернулась и отскочила, но по лицу видно было, что ей еще не больно.

И еще за одно ручалась Каллиопа Несторовна: что в ту же самую секунду, еще прежде, чем начать срывать с себя распашонку, Маруся шарахнулась к половой щетке, нагнулась, схватила конец палки и «вымела дите в коридор», и щеткой же захлопнула за ним дверь.

После этого только попыталась она что то сделать со своим платьем; но уже ничего нельзя было сделать. Каллиопа Несторовна уже нашла свой голос, уже кричала, и сквозь свой крик услышала, что Маруся стонет: видела, как она, еще стоя на ногах посреди кухни, извивается и бессмысленно тормозит руками, хватаясь то за грудь, то за колена. Еще через секунду она что то начала кричать, но гречанка сама кричала, ничего понять не могла. Кажется,

Маруся подбежала сначала к окну, может быть, хотела выбраться, но не посмела, и только потом стала кататься по полу; или сначала упала, потом вскочила и высунулась в окно — ничего уж нельзя было разобрать из рассказа соседки.

Нервно дергая редкие усы и не глядя на меня, Штрок объяснил мне, чего не видела Каллиопа Несторовна; чего, может быть, никогда и не бывало до тех пор на земле, и не верю, что еще снова будет: и второй Маруси не будет.

— Главное вот что: когда ученик взбежал по лестнице, дверь на кухню оказалась запертой на ключ изнутри; а ключ потом нашли на улице. Понимаете? Там, за дверью, плачет испуганный Мишка; и там этот проклятый сундук, и Мишка уже верно лезет на сундук и собирается «відчинять». Значит: она бросается к двери — или, может быть, уже ползет к двери на четвереньках — и поворачивает ключ. Я бы первым делом кинулся вон из кухни, к людям: а она запирается на ключ, потому что в коридоре Мишка. — Пойдите, это еще не самое главное. Почему ключ оказался на улице? Ясно. Не только мне и вам, но всякому человеку в такую минуту прежде всего хочется выбежать. Мадам Козодой, в конце концов, тоже только человек, ей тоже хочется выбежать; чем дальше, все больше хочется выбежать, или уже, скажем, выползти. Тут уже даже не на секунды счет, а на какие то сотые доли; но для нее каждая такая доля — целый промежуток, и с каждым промежутком ей становится все яснее: не выдержу, выбегу! А там Мишка. Ключ у нее, скажем, остался в руке. Или еще иначе: ключ остался в двери, и вот пришла такая доля секунды, когда рука сама потянулась к ключу. И тут мадам Козодой говорит сама себе: Нет. Нельзя. И чтобы не было больше спору, выбрасывает ключ на улицу. Это, должно быть, и есть то место в рассказе соседки: «подбежала к окну».

Аптекарский ученик был, как полагается в этом сословию, юноша узкоплечий и тонкорукый и выломать двери не мог. Пока сбежались мещане, куда вышибли дверь, прошло много времени. Земский врач объяснил мне положение с точки зрения огнеупорности различных тканей. Распашонка сама по себе не такая страшная вещь: ее скоро не стало. Но ночные сорочки Маруся получила в приданое, Анна Михайловна бережно выбрала самое дорогое полотно: прочный материал, упрямый, горит медленно. И лифчик был на Марусе, она после второго ребенка уже боялась за фигуру и с утра его надевала; и лифчик был тоже хорошего качества.

— Я видал виды, — сказал мне земский врач, — но такой основательной, добросовестной божьей работы, до каждого волоска на макушке, до каждого ногтя на ноге — это мне еще не попадалось.

Маруся умерла часа через три после того, как ее подобрали. Незадолго до конца прискакал Самойло: услышал, нахмурился, пошел к Марусе, посмотрел, еще глубже нахмурился; прошел в аптеку, отобрал, что надо, и вернулся к жене делать примочки или впрыскивания или что вообще полагается.

Врача в то утро куда-то далеко вызвали, он уже Маруси не застал; а у Самойло я не решился спросить, была ли она при сознании — так и не знаю. Но Штрок, человек все же не тонкого такта, спросил его при мне:

— Очень мучилась мадам Козодой?

Самойло ему ничего не ответил. Потом, когда остался со мной наедине, он вдруг сказал отрывисто:

— Дурак. Мучилась, пока меня не было. Когда я приехал и увидел, в чем дело, баста: больше не мучилась. Муж фармаколог; «фармаколух», как выражался Сережа.

* * *

«Сни меня»... Я уже это писал: мне по настоящему никогда ничего не снится, зато я по ночам, сам себя баюкая, иногда сам себе выдумываю сны. Или, скажем, письма, которых никогда никто мне не писал; напимел, письмо с того света. Оно мне столько раз «снилось», что и сейчас помню каждое слово наизусть; странно — не все подробности совпадают с реставрацией коллеги Штрока, и почему то у гречанки отчество не то. Вообще глупо, что мне хочется приложить это «письмо», но все-таки приложу; не целиком, только последние страницы:

«Первое, что я заметила, это испуг Каллиопы Стаматиевны: у нее лицо перекошилось, голос оборвался, вытянула ко мне руку с указательным пальцем, перегнулась, чуть в окно не вывалилась; она еще совсем молоденькая девочка. Я оглянулась на себя: вижу — левый рукав у меня зацепился за гвоздь на шкафчике, и огонек от спиртовки его облизывает. Я, знаете, прежде всего подумала: вот теперь Самойло скажет: «ага? я тебе что говорил? не смей ходить на кухню в балахоне из паутины!». И начала отцеплять рукав от гвоздика; глупая такая аккуратность — надо было просто рвануть и отскочить: впрочем, может быть, уже и не помогло бы, очень это все быстро сделалось. Словом... да Бог с ним, я описывать не умею.

Почему я подумала тут именно о щетке, сама не знаю; только я покаяться готова, что подумала о щетке, а вовсе не о Мишке; и с ключом то же самое. Я бы на суде присягнула, что даже мысли о Мишке у меня во все время в голове не было; правду сказать — не до Мишки мне тогда было; это страшно неприятная, совершенно сумасшедшая вещь.

Милый, вы только не подумайте, будто я жеманюсь или рисуюсь — что говорю «неприятно», вместо «больно». Конечно, это называется по настоящему «больно», и то еще не то слово. Но вам никогда разве не приходило в голову, какое это противное, унижительное понятие — «боль»? Самое пассивное переживание на свете, рабское какое то: ты — ничего, тебя не спрашивают, над тобой кто то измывается. Я и родов больше всего из за этого не любила, из за обидности, из за надругательства. Хамом становишься от этого, скотиной без стыда, пусть все глазают, пусть весь городишко слышит... не надо, милый, не расспрашивайте про это. Нехорошо было. Я к крану бросилась, но он

не поворачивался; Каллиопа Стаматиевна что то кричала, я тоже... Нехорошо.

Одно странно: как медленно догадывается человек, что случилось бесповоротное. Я думаю, так бывает, когда начинается у тебя злющая какая-нибудь болезнь — рак, что ли: «неужели именно у меня? Не может быть!». Уже давно знаешь, а не верится. Тут «медленно» не подходит — вероятно, и шестидесяти секунд не понадобилось Господу Богу на всю эту шутку с Марусей; а все-таки медленно. Уж космы у меня шипели, и уже всюду было — ну, «больно» — а я все еще, кажется, сама над собою хохотала: точно борщом залила новое платье, стряхиваю капли и рассчитываю, что, может быть, еще удастся вычистить пятна кипятком и пойти в гости, и все сейчас станет по-прежнему — правда, все станет по-прежнему? Самойло, Мишка, мама, все ангелы небесные, скажите, что это ничего, это только так, сейчас все окажется по-прежнему...

Словом, — прошло, и не стоит об этом говорить.

Об одном, пожалуй, стоит. Я, конечно, понимаю, у людей все это называется «героическая женщина»... Первое слово совсем тут не при чем, вся суть во втором слове. Я, сидя там в Овидиополе, много думала о нас, женщинах. Я вам писала: были такие минуты, когда за один леденец, и даже леденца не нужно, могла бы я стать неверной женою; просто так, ни с того, ни с сего; и после того отряхнулась бы, напудрила нос и побежала бы кипятить молоко, безо всяких угрызений. Знаете что? Не подумайте только, что я кощунствую: мама для меня святая. Но если бы мне доказали, что и у мамы был в жизни такой леденец, я бы не очень огорчилась; кажется и не очень удивилась бы. Не в этом суть, верные, неверные, серьезные, развратные... Мы, как это сказать — мы все «лойяльные». Все: мама, и маркушина Валенточка, и Лика по своему — Лика, если не к людям, так, скажем, к идолу своему какому то, которого еще даже на свете нет. Все такие, кого я знаю; вероятно, даже Ньюра и Ньюта, если бы с ними познакомиться (я их, собственно, не знала — как было разговориться по настоящему, когда они всегда вдвоем?). Что такое лойяльность, я определить не умею, только одно говорю вам наверное: если когда-нибудь, милый, все у тебя на свете треснет и обвалится, и все изменят и сбегут, и не на что будет опереться — найди тогда женщину и обопришь. Я не хвастаюсь, сохрани Боже, я не важничаю за наше сословие: только это правда.

Вот и все, друг мой. Не жалейте, что вы тогда приехали по моему же вызову, а я вас не дождалась. Это лучше — я тогда была в таком настроении, что, может быть, не сдержала бы слова, которое вам дала в письме, и нам теперь обоим было бы не по себе. Так лучше; прощай, милый».

XXVIII. Начало Торика

Полгорода было на похоронах: шесть колясок с венками, и почти целая страница объявлений в газете. Никто не знал и не думал, что столько народу слышало о Марусе. Наш редактор, который никогда ее в глаза не видал, и вообще любил, чтобы его считали сухим человеком, тоже пошел, а потом написал в газете (хотя уже давно перестал сам писать): «словно даже совсем чужие люди пришли, не только отдать поклон величию самопожертвования, но и просто попрощаться с прекрасным воплощением юности, прелести, всего чистого и хорошего в жизни».

Первый брел за гробом никчемный, растерянный старичок, с лицом давнишнего нищего; но, все-таки, одет был так, как полагалось в таких случаях по правилам его поколения, воспитавшего себя на почтенной и степенной немецкой литературе — цилиндр и черные перчатки. Абрам Моисеевич, тоже в цилиндре, поддерживал его под руку. Анна Михайловна лежала дома, доктор не велел вставать, и она сама, говорят, не порывалась пойти, вообще ничего никому не сказала. Самойло я почему то на похоронах не помню, хотя он, конечно, был. Помню Торика: шел бледный и строгий, и незаметно, но точно следил за порядком. Перевозку тела и все прочее устроил он, ездил в братство отвоевать лучшее место на кладбище и лучшего кантора, и погребальщики все делали по его мановениям.

«...И приюти ее в высотах, где обитают святые и чистые, — светлые, как сияние небес...».

Хорошие у нас есть молитвы. Но другая была странная, даже бессмысленная, где нет ни слова об утрате, а есть только безропотная хвала обидчику-Богу. Слушая, как бормочет ее не то Самойло, не то Игнац Альбертович, я кусал губы от бешенства и думал про себя:

— Камнем бы я запустил в тебя, Господи, если бы ты не запрятался так далеко.

С кладбища я ехал на извозчике с Абрамом Моисеевичем; о чем мы сначала говорили, не помню; только одно меня поразило. Я ему сказал, думая, что это его порадует:

— Вы правы, Торик — золото. Надежный человек.

Вдруг я заметил, что у него лицо передернулось. Он и так все время был искренно подавлен, что называется убит, но держался: тут я почувствовал, что старик вот-вот разрыдается или опрокинется в беспомыслие. Но он взял себя в руки, и только проворчал совершенно неожиданное слово:

— Гладкая гадюка, склизкая...

Хоть не до Торика мне было и не до их размолвок, но я вытаращил глаза при таком отзыве о стародавнем его любимце. Но расспрашивать не решился, кажется; или, может быть, спросил, в чем дело, но он не ответил.

На другой день, или третий, я пошел к старикам. К Анне Михайловне меня не пустила деловитая сестра, приглашенная из частной лечебницы; а Игнац Альбертович сидел, как полагается, на полу в гостиной, небритый по траурному уставу, и читал по уставу книгу Иова, из толстой Библии с русским переводом. Принял меня спокойно, говорил тихо; не о Марусе, а главным образом об Иове.

— Замечательная книга. Конечно, только теперь ее понимаешь, как следует. Главное в ней — это вот какой вопрос: если так случилось, что делать человеку — бунтовать, звать Бога на суд чести, или вытануться по-солдатски в струнку, руки по швам, или под козырек, и гаркнуть на весь мир: рады стараться, ваше высокоблагородие! И вопрос, по моему, тут разобран не с точки зрения справедливости или кривды, а совсем иначе: с точки зрения гордости. Человеческой гордости, Иова (он, конечно, произносил «Иова»), моей и вашей. Понимаете: что гордее — объявить восстание или под козырек? Как вы думаете?

Никак я, конечно, не «думал», никогда не читал Иова; ничего не ответил, он ответил сам:

— И вот здесь выходит так: гордее — под козырек. Почему? Потому что ведь так: если ты бунтуешься — значит, вышла бессмыслица, вроде как проехал биндюг с навозом и раздавил ни за что, ни про что улитку или таракашку; значит, все твоё страдание — так себе, случайная ерунда, и ты сам таракашка.

Я начал понимать и стал больше вслушиваться, и вспомнил, что когда то мне эти люди с зерновой биржи и вправду казались большими жизнеиспытателями, и школа «делов» большою школой.

— Но если только «Йов» нашел в себе силу гаркнуть «рады стараться» (только это очень трудно; очень трудно) — тогда совсем другое дело. Тогда, значит, все идет по плану, никакого случайного биндюга не было. Все по плану: было сотворение мира, был потоп, ну, и разрушение храма, крестовые походы, Ермак завоевал Сибирь, Бастилия и так далее, вся история, и в том числе несчастье в доме у господина Иова. Не биндюг, значит, а по плану; тоже нота в большой опере — не такая важная нота, как Наполеон, но тоже нота, нарочно вписанная тем же самым Верди. Значит, вовсе ты не улитка, а ты — мученик оперы, без тебя хор был бы неполный; ты персона, сотрудник этого самого Господа; отдаешь честь под козырек не только ему, но и себе, т. е. не все это здесь этими словами написано, но весь спор идет именно об этом. Замечательная книга.

Помолчав, он заговорил именно о той молитве, которая меня на кладбище разозлила:

— Вот возьмите этот самый Кадиш — зауспокойная молитва, самая главная, на всех поминках ее говорят, и по нашему закону никакой другой не нужно. А содержание — «Да возвеличится и да будет свято имя божие» и больше ничего. Не только о покойнице ничего, но просто никакого намека на все происшествие; ну хотя бы «покоряюсь Твоей воле» — даже этого нет. Вообще, если хотите, дурацкий набор слов: «благословляю, прославляю, превозношу» — еще что то пять комплиментов того же сорта: совсем похоже, как «Бейреш» — Борис Маврикиевич, знаете — писал Анне Михайловне из Италии: «дражайшая, любезнейшая, пресловутая Анюточка...». Кажется, будь у Господа желудок, его бы стошнило от таких книксенов. А на самом деле вовсе не чепуха: это он нарочно, это он черта дразнит.

— Кто «он», почему черта?

— Он — кто сочинил молитву: рабби Акива, если верно помню; как раз очень умный человек. Рассуждал при этом так: вот, стряслась беда, стоит этакий осиротелый второй гильдии купец перед ямой, все пропало и больше незачем жить. Стоит перед ямой и мысленно предъясняет Богу счег за потрапу и убытки; такой сердитый стоит — вот-вот подымет оба кулака и начнет ругаться, прямо в небо. А за соседним памятником сидит на корточках Сатана и ждет именно этого: чтобы начал ругаться. Чтобы признал, открыто и раз навсегда: ты, Господи, извини за выражение, просто самодур и хам, и еще бессердечный в придачу, убирайся вон, знать тебя не хочу! Сатана только этого и ждет: как только дождется — сейчас снимет копию, полетит в рай и доложит Богу: «ну что, получил в ухо? И еще от кого: от еврея — от твоего собственного уполномоченного и прокурриста! Подавай в отставку, старик: теперь я директор». Вот чего ждет Сатана; и тот второгильдейский купец, стоя над могилой, это все чувствует. Чувствует и спрашивает себя: неужели так-таки и порадовать Сатану? сделать черта на свете хозяином? Нет, уж это извините. Я ему покажу. — И тут он, понимаете, начинает ставить Господу пятерки с плюсом, одну за другою; без всякого смысла — на что смысл? лишь бы черта обидеть, унизить, уничтожить до конца. Иными словами: ты, Сатана, не вмешивайся. Какие у меня там с Богом счеты — это наше дело, мы с ним давно компаньоны, как-нибудь поладим; а ты не суйся. — Та же мысль, понимаете, что у «Иова»: еврей с Богом компаньоны.

Анну Михайловну я, несомненно, после того видел, и не раз; но странно — ничего об этом не помню. Собственно еще раньше не помню: с самого несчастья с Сережей. Вероятно, так устроена у меня память. Когда то Лика, еще подростком — в единственном разговоре, которым меня в те годы удостоила — объяснила мне разницу между памятью белой и черной: и сама гордилась тем, что у нее память «черная» — удерживает только горькое. У меня, если так, «белая»: очень тяжелые впечатления она выбрасывает, начисто и без следа вылушивает, и не раз я это замечал. Хвастать нечем — пожалуй, в своем роде права была Лика, считая свой сорт высшим сортом.

Ничего не помню о моей Ниобее со времени этих двух ударов; даже того, как наладились у нее отношения со слепым; даже того, очень ли она хваталась за последнего Торика — в те короткие месяц или два, что еще подарил ей Торик.

Торик выждал корректно семь дней, пока отец сидел на полу. На восьмой день Игнац Альбертович принял ванну, выбрился и пошел на биржу; а Торик созвонился со мною в редакции, что будет у меня вечером по личному и существенному делу.

Его — то я хорошо помню, особенно в тот вечер. Я, кажется, несколько раз написал о нем: безупречный, или «безукоризненный»: право, не в насмешку. Я действительно больше никогда не встречал такого человека: люби его, не люби его, придрататься не к чему; даже к безупречности этой нельзя было придрататься — она была не деланная, и ничуть он ее не подчеркивал, просто натура такая ряшливая, без сучка и задоринки, неспособная ни передернуть карту даже случайно, ни обмолвиться неправдой, ни притронуться к чужому добру, ни даже просто в чем бы то ни было внешне или внутренне переборщить.

А пришел он сообщить мне большую новость, и просить, чтобы я взял на себя подготовить стариков.

— Вы, из нашего круга, второй, которому я это рассказываю. Первый был Абрам Моисеевич: я, во-первых, именно пред ним считал себя нравственно обязанным — думаю, вы понимаете причины; кроме того, думал его просить переговорить с папой; но он это очень тяжело принял, так что я уж не решился.

Я молчал, глядя на ковер. Помолчал и он, потом вдруг заговорил:

— Мне бы хотелось, чтобы вы меня поняли: не «оправдали», но поняли. Если согласны выслушать, я постараюсь изложить свою позицию совершенно точно, не передвигая ни одного центра тяжести: это нетрудно, я все это продумал давно и со всех сторон: еще с пятого класса гимназии. Ничего не имеете против?

Я вспомнил, что это было, приблизительно, в его пятом классе гимназии, когда я застал его за учебником еврейского языка, или за «Историей» Греца, или в этом роде. Основательный юноша, добросовестный: если что надо «продумать», начинает с изучения первоисточников. И столько лет вынашивает в уме такую контрабанду — и никто не заметил, даже друг его Абрам Моисеевич, мудрый как змей, насквозь видящий каждого человека, издали знающий, что творится в маленьком счастливом домике где то в Овидиополе. Я сказал, не глядя на него — Слушаю.

— Начну с одной *mise au point*: я не хотел бы создать впечатление, будто мне это решение, что называется, «дорого обошлось», что пришлось «бороться» с самим собою. Эмоционального отношения к этой категории вопросов у меня нет, с самого раннего детства было только отношение рациональное. Но именно в рациональном подходе нужна особая осторожность; и рациональный подход, по крайней мере для меня, совершенно не освобождает человека от этической повинности быть чистоплотным. Например: мне кажется, попади я в кораблекрушение, никогда бы не соскочил в лодку, пока не усадили бы всех женщин и детей и стариков и калек; по крайней мере, надеюсь, что хватило бы силы не соскочить. — Но другое дело — корабль, с которого уже давно все поскакали, или внутренне решили соскочить; притом спасательных лодок вокруг — сколько угодно, места для всех хватит; да и корабль не тонет, а просто неудобный корабль, грязный и тесный, и никуда не идет, а всем надоел.

Я пожал плечами:

— Откуда вы знаете? Вы здесь в Одессе никогда и не видали настоящего гетто.

— Нет, видел: с отрочества и до последних лет, как почти все мои товарищи, готовил на аттестат зрелости экстернов — «выходцы пинского болота», как их называла Маруся. Это, мне кажется, очень верный способ для изучения данной среды: по образцам; может быть, гораздо более точный способ, чем разглядывать эту среду изнутри, когда из за гвалта и толкотни ничего не разберешь. Толковый химик в лаборатории, повозившись над вытяжкой крови пациента, больше узнает о болезни, чем доктор, который лечит живого человека с капризами, припадками и промежутками. И мой диагноз установлен бесповоротно: разложение. Еврейский народ разбредается куда попало, и назад к самому себе больше не вернется.

— А сионизм? или даже Бунд?

— Бунд и сионизм, если рассуждать клинически, одно и то же. Бунд — приготовительный класс, или, скажем, городское училище: подводит к сионизму; кажется, Плеханов это сказал о Бунде — «сионисты, боящиеся морской качки». А сионизм — это уже вроде полной гимназии: готовит в университет. А «университет», куда все они подсолнательно идут, и придут, называется ассимиляция. Постепенная, неохотная, безрадостная, по большей части даже сразу невыгодная, но неизбежная и бесповоротная, с крещением, смешанными браками и полной ликвидацией расы. Другого пути нет. Бунд цепляется за жаргон; говорят, замечательнейший язык на свете — я его мало знаю, но экстерны мои, например, цитировали уайтчепельское слово «бойчикль» — хлопчик, что ли — ведь это *tour de force*: элементы трех языков в одном коротеньком слове, и звучит естественно, идеальная амальгама; но через 25 лет никакого жаргона не будет. И Сиона никакого не будет; а останется только одно — желание «быть, как все народы».

Я мог задать еще двадцать вопросов: — а религия? а антисемитизм? — но у него, должно быть, на все готовы были непромокаемые ответы; я промолчал, он продолжал:

— Лучшая школа для всего этого, по моему, наша семья: дети, мы пятеро. Каждый по своему ценная личность, только без догмата: и смотрите, что вышло. Отдельно о каждом из нас говорить не хочу; только хочу защититься, чтобы вы не подумали, будто я Марусе не знаю цены. Хорошо знаю: стоило, тысячу раз стоило Господу Богу сотворить мир со всеми его мерзостями, и стоило целому народу для того протащиться сквозь строй мук и разложения, если за эту цену может раз в поколение расцвести на земле такой золотой василек; существо, одержимое одной заботой — всех приголубить, всем дать уют. Но вы сами знаете, что и Маруся — цветок декаданса.

Я помолчал и спросил:

— Чего торопитесь? Даст Бог, скоро помрут родители; а у вас времени много впереди.

— Не знаю, много ли времени. Говорят, министерство внутренних дел торгуется теперь с синодом, хочет ввести новое законодательство, которое всю эту процедуру очень усложнит, во всяком случае отсрочит получение полных прав. Но не в этом дело, поверьте. Я по натуре строитель, человек плана и распорядка; план у меня большой, на

долгую дистанцию; в этом году я кончаю университет, надо начать строиться. Не могу топтаться на месте — да еще выжидать с нетерпением, скоро ли поохорону маму и отца и Абрама Моисеевича.

— Он причем?

— Он, как раз, самая у меня болезненная точка; оттого я ему первому и сказал. Дело в том, что он давно составил завещание в мою пользу; и жирное. Потому что не знал: если бы знал, скорее на призрение бездомных собак оставил бы свои деньги, как тот сумасшедший грек Ралли (это иждивением Ралли по всему городу у акаций стоят зеленые жестянки с водою, с надписью «для собак»). Что же — промолчать? обокрасть человека? Это все не в моем вкусе: я пошел к нему и сказал, чтобы дать ему время переписать завещание; вероятно, уже переписано.

Тут я посмотрел на него, встретился глазами — он, по-видимому, и все время не прятал от меня взгляда. Прямой взгляд, глаза порядочного человека, которому нечего скрывать; и ни тени рисовки — рассказывает мне, в сущности, об очень благодородном и тонком своем поступке, но просто, как о вещи сама собою понятной. Одет хорошо, без Сережиной щеголеватости, но хорошо; «standesgemaess», как полагается молодому интеллигенту, который подает надежды и будет персоной, но пока еще ничего особенного не совершил, и так и знает. Ни кольца, ни брелоков, в сером галстуке булавка с матовой головкой — вероятно, не дешевая, но маленькая и строго-матовая.

— А церковь выбрали?

— Выбрал. Думал сначала о том армянском иерее в Аккермане, который очень упростил церемонию; но слишком уж это было бы экзотично. Сделаю, как все, поеду в Выборг к тамошнему пастору Пирхо; я уже списался.

XXIX. L'envoi

Вероятно, уж никогда не видать мне Одессы. Жаль, я ее люблю. К России был равнодушен даже в молодости: помню, всегда нервничал от радости, уезжая за границу, и возвращался нехотя. Но Одесса — другое дело: подъезжая к Раздельной, я уже начинал ликующе волноваться. Если бы сегодня подъезжал, вероятно и руки бы дрожали. Я не к одной только России равнодушен, я вообще ни к одной стране по настоящему не «привязан»; в Рим когда то был влюблен, и долго, но и это прошло. Одесса другое дело, не прошло и не пройдет.

Если бы можно было, я бы хотел подъехать не через Раздельную, а на пароходе; летом, конечно, и рано утром. Встал бы перед рассветом, когда еще не потух маяк на Большом фонтане; и один одинешенек на палубе смотрел бы на берег. Берег еще сначала был бы в тумане, но к семи часам уже стали бы видны те две краски — красно-желтая глина и чуть-чуть сероватая зелень. Я бы старался отличить по памяти селения: Большой Фонтан, Средний, Аркадия, Малый; потом Ланжерон, а за ним парк — кажется, с моря видна издали черная колонна Александра II-го. То есть, ее, вероятно, теперь уже сняли, но я говорю о старой Одессе.

Потом начинают вырисовываться детали порта. Это брекватор, а это волнорез (никто из горожан не знал разницы, а я знал); Карантин и за ним кусочек эстокады — мы на Карантин и плывем; а те молы, что справа, поменьше, те для своих отечественных парусодиков, и еще больше для парусных дубков, и просто шаланд и баркасов: Платоновский мол, Андросовский, еще какой то. В детстве моем еще лесом, бывало, торчали трубы и мачты во всех гаванях, когда Одесса была царицей; потом стало жиже, много жиже, но я хочу так, как было в детстве: лес, и повсюду уже перекликаются матросы, лодочники, грузчики, и если бы можно было услышать, услышал бы лучшую песню человечества: сто языков.

Помню ли еще здания, которые видны высоко на горе, подъезжая с моря? Дума была белая, одноэтажная, простого греческого рисунка; на днях я видел в американском Ричмонде небогатый, уездный тамошний Капитолий, немного похожий на нашу думу, и час после того ходил сам не свой. Направо стройная линия дворцов вдоль бульвара — не помню, видать ли их с моря за кленами бульвара; но последний справа наверное видать, Воронцовский дворец с полукруглым портиком над сплошной зеленью обрыва. И лестница, шириной в широкую улицу, двести низеньких барских ступеней; второй такой нет, кажется, на свете, а если скажут, где есть, не поеду смотреть. И над лестницей каменный Дюк — протянул руку и тычет в приезжего пальцем: меня звали дю-Плесси де Ришелье — помни, со всех концов Европы сколько сошлось народов, чтобы выстроить один город.

У людей, говорят, самое это имя Одесса — вроде как потешный анекдот. Я за это, собственно говоря, не в обиде: конечно, очень уж открывать им свою тоску не стоит, но за смешливое отношение к моей родине я не в обиде. Может быть, вправду смешной был город; может быть, оттого смешной, что сам так охотно смеялся. Десять племен рядом, и все какие, на подбор, живописные племена, одно курьезнее другого: начали с того, что смеялись друг над другом, а потом научились смеяться и над собою, и надо всем на свете, даже над тем, что болит, и даже над тем, что любимо. Постепенно стерли друг о дружку свои обычаи, отучились принимать чересчур всерьез свои собственные алтари, постепенно вникли в одну важную тайну мира сего: что твоя святыня у соседа чепуха, а ведь сосед тоже не вор и не бродяга; может быть, он прав, а может быть и нет, убиваться не стоит. — Торик сказал: «разложение». Может быть, и прав; адвокат, защищавший Ровенского, тоже говорил о распаде, но прибавил: эпохи распада иногда самые обаятельные эпохи. — А кто знает: может быть, и не только обаятельные, но и по своему высокие? Конечно, я в том лагере, который взбунтовался против распада, не хочу соседей, хочу всех людей разместить по островам; но — кто знает? Одно ведь уж наверно доказанная историческая правда: надо пройти через распад, чтобы добраться до восстановления. Значит, распад — вроде тумана при рождении солнца, или вроде предутреннего

сна. Маруся говорила, что сны самые чудесные — предутренние сны. Чьи эти стихи? «Еще невнятное пророчество рассвета, смарагд и сердолик, сирень и синева: так мне пригрезались не спетые слова еще, быть может, не зачатого поэта; певца не созданной Создателем страны, где музыкой молчат незримые виденья, и чей покров на миг, за миг до пробужденья, приподымают нам предутренние сны». Боюсь, что стихи мои; старея, все чаще цитирую себя. Прочитирую (во второй раз) еще и это: «Я сын моей поры — я в ней люблю все пятна, весь яд ее люблю».

«Потешные»... Вот я бреду по улицам моего города, и на разных углах встречаюсь с ними опять. Первый налетел на меня вислужий ротозей с вытаращенными глазами: я лица его не помню, сто раз уже присягал, что не помню, но какие же другие могли быть у него глаза, всю жизнь высматривавшие, где начинается чудо, и во всем видевшие чудо? Англичанин один написал перед смертью глубокое слово: «Господи, я старик, обошел всю твою землю и не нашел на ней ничего заурядного». Все чудо, каждая пылинка чудо, и Марко это знал; оттого и глаза должны были быть вечно вытаращенные. И какие могли быть, если не растопыренные, у этого человека уши, чтобы всю жизнь вслушиваться, не зовет ли кто — все равно, Грузия или Россия, с реки или с набережной, утопая в проруби или спьяна? Зовут и баста: надо пойти.

На следующем углу опять стоит молодцеватый студент в папахе и «правит движением»; а сам пьян. Зачем правит движением? Так: взбрело на ум, подвернулся угол без городского, а извозчиков со всех сторон масса. Если бы чуть иначе сложились случайности его жизни, и подвернулось бы племя в Африке, вчера похоронившее черного царька, или шайка контрабандистов в этой самой Одессе, семьдесят лет тому назад; или партия в литовском подполье, все равно какая — мог бы и там, ни с того, ни с сего, вдруг стать на минуту правителем; или даже навсегда, потому что, если ты рожден королевичем, то уж иногда нелегко выкарабкаться из под мантии, как она тебе ни надоела. Что такое «рожден королевичем», это давно известно: это ребенок, которого поцеловала фея в колыбели. В день рождения Сережи большая была суматоха в замке у фей, всех вызвали на службу, всех до одной; всех добрых фей, только добрых, ни одной злой ведьмы к нему не пустили; каждая принесла подарок, которого хватило бы на жизнь богатырю из богатырей, богатырю духа или тела; только фей было слишком много.

На третьем углу, не благоволя меня заметить, прошла, брезгливо сторонясь, холодная синеглазая красавица в наряде богатой и утонченной содержанки — а я знаю, что под бархатом на ней жесткая власяница, и еще пояс из колючей проволоки. Если бы царапнуть ее и попробовать языком вкус кровинки — обожжет купоросом. Вся цельная страстность самой неукротимой расы скопилась в этой крови; каждая фибра души — металл; Бог ее знает что за металл и в каких пропасть лежат его залежи, но металл сотой пробы. Я ее в последний раз видел в ресторации «Вена», но на самом деле живет она подвижницей в скиту, истязая себя во славу такого Христа, какого и хлысты еще не придумали: Христа-ненавистника; каждый псалом начинается со слова «проклинаю», и молиться полагается сквозь зубы... — Лет десять назад я встретил в Париже знакомую, которую долго продержали на Лубянке. Она мне рассказала, что одно время с ней была в камере молодая или моложавая женщина, брюнетка с синими глазами, совершенно греческий профиль — нос и лоб одна линия. Эта вторая узница страшно убивалась не за себя, а за мужа, который попался серьезно, и раз ночью, сквозь сухие рыдания, нашептала моей знакомой на ухо всю правду про этого мужа: действительно, серьезно попался. У моей знакомой тоже был тогда муж, арестованный еще раньше: в ту ночь она тоже расплакалась и тоже расшептала. На утро синеглазую «наседку» вызвали, и больше она не вернулась; мою знакомую скоро выпустили и, отпуская, указали адрес, где можно получить вещи и документы, оставшиеся от ее мужа. — Я спросил: — А ногти были обкусанные, не помните? — но она не заметила.

Торика я ни на каком углу не встречу: «не наш», сказала Маруся.

С Марусей не на улице будет у меня свидание, мы сговорились встретиться у меня в Лукании. Но по дороге я проеду мимо их прежнего дома; не посмею позвонить и подняться, только сниму шляпу и проеду мимо. Звонкая мостовая покрыта соломой, чтобы колеса не грохотали, чтобы тихо было вокруг бойни божией, бессмысленной и беспричинной, и вокруг бездонной и бесконечной боли. Наверху, во втором этаже, спальня убрана по милой наивной моде fin de siècle; с подушки два сухих глаза в упор глядят на комод, на комод пять карточек, все малыши в коротеньких юбочках или в штанишках до колен, и в каждой карточке, посередине, насквозь торчит ржавый нож.

А над Луканией опять будет полумесяц, пахнет отцветающими цветами, слышится только что отзвучавшая музыка мелодий, которых давно уже нигде не играют; и опять все будет, как тогда в нашу безбрачную ночь, только говорить надо будет не словами, а думами. Я буду думать о том, какое чудное слово «ласка». Все, что есть на свете хорошего, все ведь это ласка: свет луны, морской плеск и шелест ветвей, запах цветов или музыка — все ласка. И Бог, если добраться до него, растолкать, разбудить, разбранить последними словами за все, что натворил, а потом помириться и прижать лицо к его коленям, — он, вероятно, тоже ласка. А лучшая и светлейшая ласка называется женщина.

Потешный был город; но и смех — тоже ласка. Впрочем, вероятно, той Одессы уж давно нет и в помине, и нечего жалеть, что я туда не попаду; и вообще повесть кончена.

ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ

Из романа **Повесть моих дней**

Повесть моя написана кратко, и в определенном смысле, отрывочно. Происходит это, прежде всего, оттого, что я никогда не пытался (за исключением одного-двух случаев) изобразить в ней знаменитых людей, с которыми свела меня судьба, даже и в том случае, если они сыграли видную роль в жизни поколения и нации; и этим я, понятно, снизил ценность и занимательность сего сочинения, ибо ценная сторона всякой автобиографии не в автопортрете, а в портрете другого, но что поделаешь? Отпущенное мне время не позволяет воскресить все, что столь живо еще в моей памяти, да и не судья я людям, ни живым, ни уже умершим. Но разве сумеешь изобразить существо из плоти и крови, удержавшись вовсе от оценки или суждения?

Однако и летопись моих дней я развернул здесь только наполовину, показав жизнь писателя и общественно-го деятеля, но не жизнь частного человека. Две эти сферы жизни разделены во мне очень высокой перегородкой: по мере возможности, я всегда избегал их смешения. В частной жизни были и есть у меня друзья и враги, дорогие связи, невозполнимые потери и незабываемые воспоминания — все это ни разу не сказалось и никогда не скажется на моей публичной деятельности. И хотя на весах моей внутренней жизни эта половина перевешивает все остальные впечатления, и хотя роман моей личной жизни более глубок, многоактен и содержателен, чем роман публичной деятельности, — здесь вы не найдете его.

Мое родословие

Мать моя родилась в Бердичеве более ста лет тому назад. Отец ее, реб Меир Зак, был торговцем. Насколько мне известно, в моей родословной не было раввинов или каких-либо священнослужителей ни с той, ни с другой стороны. Единственным утешением мне может служить то, что моя жена как-никак ведет свое происхождение от Дубенского маггида. Хотя я не слышал подробностей о детских годах моей матери, из того немногого, что она иногда нам рассказывала, у меня сложилось представление, что члены ее семьи принадлежали к городской верхушке.

Память моя сохранила несколько эпизодов из ее рассказов, в особенности великолепие субботы и пасхальный вечер в доме ее отца. Я побывал в Бердичеве в начале этого столетия и даже тогда застал еще на железнодорожной станции православных грузчиков, которые изъяснялись на гораздо более чистом идиш, чем я сам, а в говоре их звучал настоящий еврейский распев. Даже и тогда это все еще был самый еврейский город из всех городов Украины, и таким, с еще большей определенностью, был он в дни маминого детства. Дедушка был несомненно человеком просвещенным и прогрессивным и, может статься, даже вольнодумцем, по мнению окружающих, ибо он послал маму в обновленный хедер учиться немецкому языку и западным манерам. Этим манерам обучались с помощью куплетов. Например, если тебя представляли важной даме, следовало сказать:

Bonjour, madame charmante,
Un tekef a Kusch in die Hand¹.

Мама говорила по-немецки, хотя и с ошибками, и по ее выражениям было заметно, что она учила литературный язык, и любимыми писателями ее юности были Шиллер и еще один автор, ныне забытый в самой Германии, — Цшокке. Русский язык она стала учить только после замужества, видно, из необходимости общаться с прислугой, и, хотя с сестрой и со мной она говорила всю жизнь только на этом языке, она производила решительные разрушения

¹ Добрый день, очаровательная дама (франц.),
и тут же поцелуй в руку (идиш).

в русской грамматике. Она понимала также древнееврейский язык, язык Пятикнижия и молитвы, и была большим знатоком и немалым педантом во всем, что касалось религиозных установлений и обрядов.

Однажды я спросил маму: «Мы хасиды?» — и она ответила не без раздражения: «А ты что думал — миснагдим?» С тех пор и поныне я себя причисляю к потомственным хасидам. Еще одну решающую вещь узнал я из ее кратких ответов. Было мне тогда лет семь или меньше, и я спросил ее: «А у нас, евреев, тоже будет свое государство?» Она ответила: «Конечно будет, дурачок!» Я не задавал больше этого вопроса, хватило с меня ее ответа.

Кроме сестры Тамары, был у меня еще брат Мирон, или «Митя», первенец в семье. Его я совершенно не помню, потому что он отошел в иной мир, когда я был еще младенцем.

Пока жив был отец, мы не знали нужды, но он умер, когда мне было шесть лет, и мы остались без всяких средств к существованию. Мы едва сводили концы с концами, пока не подросла сестра и не начала, с шестнадцатилетнего возраста, давать уроки; этим она спасла нас от нищеты. Мои воспоминания — воспоминания о лишениях. Жили мы в мансарде, и родители моих богатых товарищей, с которыми я играл во дворе, не позволяли им посещать меня, чтобы к ним не пристал дух бедности, и мама, со рдей стороны, тоже не разрешала мне преступать порога их дома.

Вообще мама слыла гением. После смерти отца, когда она вернулась в Одессу с двумя сиротами, был созван семейный совет в доме ее брата Абрама Зака, чтобы обсудить, что делать с нами, и один из сыновей дяди, процветающий адвокат, высказал такое мнение: «Достаточно у нас образованных, пошли девочку учиться на швейку, а парня научи столярному ремеслу». Совет, быть может, был и не плох, да еще не проникла в те дни идея Umschichtung [букв. переход в другой класс, здесь «пролетаризация». Ред.] в сердца среднего класса, — и с тех пор ни мы не появлялись в доме этого советчика, ни он у нас, и если бы я встретил на улице его жену и сыновей, — а они были самыми близкими нашими родственниками, — то не узнал бы их. Лет двадцать спустя попытался этот племянник заговорить с мамой во дворе синагоги, просил прощения и объяснял, что она не поняла его. Мама отвечала: «Я не сержусь, всего доброго». И прошествовала в женское отделение синагоги.

Я не из поклонников Яфета (также как не из поклонников Сима...), но есть черта в характере северных народов, которую я разделяю: поклонение женщине. Я убежден: каждая, даже самая обычная женщина — ангел, и это правило не знает исключения. Если женщина не проявила этого качества, то потому только, что не представился случай, но придет день — и вы увидите. С тремя женщинами свела меня жизнь, и у всех трех нашел я это качество, что же касается первой из них — мамы, — то я не помню ни одного дня в жизни, чтобы она не была вынуждена биться, хлопотать, преодолевать трудности.

Я почти ничего не знаю о нашей жизни до болезни отца — одни обрывки, но это фрагменты эпопеи: не в смысле необычности событий, напротив, это глава, похожая на тысячи глав из истории тысяч женщин, чья жизнь — повседневный подвиг. Она родилась в богатстве, жила в богатстве, еще вчера был у нее дом полная чаша, муж — повелитель, царь и вождь в своем кругу, а она царица его, и в момент все рухнуло: положение, капитал, будущее, и на ее плечах больной старик, одряхлевший за одну ночь и уже приговоренный к смерти. Она собрала всех нас, привезла в Берлин, созвала лучших врачей. Те обследовали отца, покачали лысынами, пошептали друг другу какие-то латинские слова и затем изрекли на непонятном немецком языке: продолжим лечение...

Мать покинула нас на два месяца, вернулась в Одессу, продала или заложила мебель и драгоценности и вернулась бороться за жизнь отца. В течение двух лет профессора пытались обмануть себя, что рак — это не рак, наконец, признали, что надежды нет. Мать не отступила: в России тоже есть знаменитые хирурги, как знать? Повезла нас в Киев, повезла нас в Харьков, из Харькова нас едва не выслали, потому что отец перестал делать взносы в купеческую гильдию, и мы лишились права жительства в этом городе. Мама добилась приема у губернатора и получила отсрочку от высылки, пока не будет оперирован отец. Но ничего не помогло. Не знаю почему, но оттуда мы поехали в Александровск, небольшой городок на Днестре: может быть, отец хотел умереть в родных местах, на берегах реки, свидетельницы дней его молодости и его прошлого величия.

После смерти отца мы вернулись в Одессу. Помнятся мне маленькие комнаты и свежие булочки, которые мама дает каждое утро сестре и мне, а сама ест только то, что осталось со вчера. Но совет дядиного сына был отвергнут без оговорок: и сестру, и меня она послала в гимназию.

Отца я совершенно не помню, вернее, помню очень смутно, но слышал о нем рассказы и даже легенды. В те годы закладывалось и подымалось торговое богатство Одессы, стольного града хлебной Украины, отец, по-видимому, был одним из лучших создателей этого богатства. Заправляло на хлебном рынке «русское общество пароходства и торговли», РОПИТ, оно числило отца среди главных своих агентов. Говорили, что он был главным скупщиком зерна на всей территории правобережной Украины, области, которая кормила Европу в те годы. Стоило бы написать пространный роман (но такая опасность не грозит, ибо не найду я для этого досуга) о поездках отца на пароходах РОПИТа по Днестру, от Херсона до уступов, перегораживающих русло реки, которые называются «пороги» по-русски и «гирло» (устье) по-украински, в сопровождении многочисленной свиты помощников, специалистов по определению качества зерна, учетчиков и просто людей без пользы и без профессии, которых в Одессе звали странным именем «лапотот»; может быть, его можно ближе всего передать только словом «бездельник». Отец, видимо, был человеком очень ценным в глазах правления, ибо спустя много лет после его смерти я привык видеть в нашей мансарде одного из директоров РОПИТ'а, который являлся с визитом к маме всякий раз, когда заезжал в Одессу. Даже имя его я случайно запомнил — Пчельников. Он выпивал стакан чаю и не уставал расточать похвалы отцу.

Евреи звали отца Ионой, русские — Евгением. Он родился в Никополе, городе на берегу Днепра. Отец его держал семь почтовых станций на одном из главных трактов, ибо тогда железная дорога не дошла еще до этого края. Станции имели смешанное назначение: постоялого двора, харчевни, почты и конюшни для почтовых лошадей. Один из моих друзей нашел имя дедушки в списке первых подписчиков на первую газету на древнееврейском языке, которая выходила в России, «Гамелиц», если я не заблуждаюсь. Адмирал Чихачев, директор компании РО-ПИТ, однажды сказал отцу: «Имя тебе Евгений и ты гений». Может быть, он преувеличивал, а может быть и был прав, но во всякое свое посещение Приднепровья я слышал от многих то же самое. Однажды в Александровске собрался вокруг меня десяток стариков, ветеранов торговли зерном, и до полуночи пытались они растолковать мне, в чем состояли чары, которыми обладал мой отец. Я не понял их, но у меня осталось огромное впечатление от переплетения связей, отношений, сетей, нитей влияния, которые связывают Аргентину с Украиной, Черное море с тремя океанами, Валплац в Вене, резиденцию министра иностранных дел Австро-Венгрии, с Капа Ровиной, где собирались зерноторговцы в Одессе. Одно уразумел я: они говорили мне, что отец совершал свои расчеты в уме «до осьмушки копейки» (я не унаследовал этого дара, для меня даже таблица умножения китайская грамота). И еще одно: много раз предупреждали его, что помощники обворовывают его. Он неизменно отвечал: «Тот, кто ворует у меня, беднее меня, и, может быть, он прав». Именно эта философия и передалась мне по наследству.

Способности отцу достались, как видно, от его матери, о которой я тоже слышал немало легенд, но здесь не место рассказывать их. Духовное наследие со стороны деда было другого рода: преувеличенная нервозность, граничащая с истерией, симптомы которой я обнаружил у многих представителей моей родни. Один из них, мой младший дядя по отцовской линии, из странной породы обаятельных прохвостов, гениальный лжец, лжец милостью Божьей, обладатель единственных в своем роде музыкальных способностей — он умел щелкать соловьем, и половина населения Никополя собиралась у окна его дома, чтобы послушать его трели, — на старости лет спятил с ума и подписывал свои письма ко мне «Иисус II». Но отец любил его больше, чем многих других братьев, и однажды дал ему ответственное поручение — надзирать за отгрузкой зерна за границу, а сам уехал на две недели. Вернувшись, он застал полное расстройство в делах и мрачные лица в конторе РОПИТа. Через несколько дней после этого открытия он почувствовал подозрительную боль внутри, врачи поставили диагноз — рак, и послали его в Германию. Мы провели там два года, останавливаясь в Берлине зимой и в Эмсе на Рейне летом. В Берлине я ходил в немецкий детский сад, а в Эмсе видел однажды старого кайзера Вильгельма, который приподнял шляпу в ответ на мой поклон: тогда еще в мире существовала вежливость, даже и в этой части света. Отец не выздоровел.

Одним из трех факторов, которые наложили печать свободы на мое детство, была Одесса. Я не видел города с такой легкой атмосферой, и говорю это не как старик, думающий, что на небосклоне потухло солнце, потому что оно не греет ему, как прежде. Лучшие годы юности я провел в Риме, жил в молодые лета и в Вене и мог мерять духовный «климат» одинаковым масштабом: нет другой Одессы — разумеется, Одессы того времени — по мягкой веселости и легкому плутовству, витающим в воздухе, без всякого намека на душевное смятение, без тени нравственной трагедии. Я не скажу, Боже упаси, что обнаружил в этой атмосфере избыток глубины и благородства, но ведь ее ласкающая легкость именно и состояла в отсутствии какой бы то ни было традиции. Из ничего, из нуля возник этот город за сто лет до моего рождения, на десяти языках болтали его жители, и ни одним из них не владели в совершенстве. Среди моих многочисленных знакомых был только один, чей отец тоже родился в Одессе: поистине, нет благородства без традиции и без трагедии. Город эфемерный, как клещевина пророка Ионы, и все, что произрастает в нем, — материальное, нравственное, общественное — тоже Ионова клещевина, преходящий случай, острота, авантюра. Правда, конечно, дело почтенное, но и ложь не преступление, ибо ведь и у собеседника есть кипучее, гибкое, мгновенно вспыхивающее воображение. Добавьте еще ненасытное любопытство к тому, что принесет восходящий рассвет, всякая весть о нем — великое событие, толпа бурлит, руки взмываются ввысь, стены биржи и столики кафе сотрясаются от буйства криков. Поцелуи тоже дешевы, более чем дешевы — даром (и однако эти девушки, сколько мне помнится, все впоследствии вышли замуж и все до одной стали напористыми матронами).

На ребенка, воспитывающегося в такой среде, она может оказать дурное или хорошее влияние, это зависит не от среды, а от самого ребенка. Один впитает подлость (Полонский, русский поэт, написал роман из жизни Одессы и назвал его «Дешевый город»), а другой, напротив, усвоит буйство, авантюризм, любопытство, неиссякаемую бодрость — так что каждое утро чудо — снисходительную улыбку, которою равно откликнется на поражение и на удачу. Странно: как раз в книгах английского поэта, воспитанного самой строгой традицией в мире, всю свою жизнь отстаивавшего эту традицию, нашел я отголосок этой психологии. Киплинг написал (я не помню дословно): «Победа или беда: умей отнестись равно хладнокровно и к той и к другой, ибо и то и другое — обман». На старости лет он обобщил опыт своей жизни, обратившись к Создателю: «Боже! Я обозрел всю землю Твою и не увидел на ней ничего обыденного: все, что я увидел, — чудо». Быть может, я тоже представитель этого второго рода.

Отрочество

В моей метрике значится: «Девятого дня месяца октября 1880 года родился сын у никопольского мещанина Евгения Жаботинского и его супруги Евы, которая нарекла его именем Владимир». Здесь три ошибки: отца звали Ионой, сыном Цеви, мать -Хавой, дочерью Меира, а родился я 5 октября, (18 по новому стилю), по расчету моей

матери в неделю, когда в синагогах читают раздел Торы «Ваейра» («И явился») из кн. Бытие. До своего семнадцатого года жил в Одессе, дома и на улице мы разговаривали только по-русски, мама пользовалась идиш только в беседах с моими престарелыми тетушками; сестра и я научились понимать этот язык, но ни разу нам не пришло на ум обратиться к маме или к кому-нибудь другому на идиш. Сестра научила меня читать по-русски, было мне восемь лет, когда один из наших соседей вызвался обучать нас обоих древнееврейскому языку, и этот добрый человек был Иегошуа Равницкий. В течение нескольких лет, пока мы не сменили квартиру, я брал у него уроки, и я протестую против басни, будто я не знал слов «Берешит бара элохим...», до того как вступил в лагерь сионистской деятельности. Мама никогда не допустила бы этого! После появился у меня другой учитель, имя которого я забыл. Он готовил меня к бар-мицве. Читали мы с ним и стихи Иегуды Лейба Гордона. Один из сыновей дяди, который квартировал у нас в течение года, обучал меня французскому языку, а у сестры, изучавшей в гимназии английский, я взял несколько уроков этого языка.

Помимо уроков древнееврейского, в ту пору у меня не было никакого внутреннего соприкосновения с еврейством. После смерти отца я до конца года ходил три раза в день в небольшую синагогу ювелиров, что была неподалеку от нашего дома, но не участвовал ни в каких других молитвах, кроме кадиша. Дома строго соблюдался кашрут, мама зажигала свечи вечером в пятницу и молилась утром и вечером, и сестра тоже выучила благодарственную молитву и «Шма», но все эти обряды не проникли в наши сердца. В библиотеке еврейских служащих торговых предприятий, куда я бегал каждый день, чтобы сменить том, «проглоченный» мною накануне, было много еврейских книг. Я их не читал. Раз или два попробовал и не нашел в них никакого движения, только печаль и уныние: «неинтересно». «Убеждений» у меня в эти дни и позднее, возможно, до двадцатилетнего возраста и далее, не было ни в том, что касается еврейства, ни по какому-либо социальному или политическому вопросу. Если бы меня тогда спросил христианский юноша, как я отношусь к евреям, я ответил бы, что я «люблю», но на вопрос еврея я дал бы другой и более полный ответ. Разумеется, я знал, что в конце концов у нас будет «государство» и что я тоже перееду туда жить, ведь это известно и маме, и всем тетушкам, и Равницкому, но это было не «убеждение», а такая же естественная вещь, как, например, помыть руки утром и съесть тарелку супа в обед.

Я ошибся: одно «убеждение» выработалось у меня еще на заре детства, и по сей день оно определяет все мои отношения к обществу. Правда, некоторые люди утверждают, что это не убеждение, а мания. Поистине, я помещался на идее «равенства». Тогда эта моя склонность выражалась в гневных протестах против всякого, кто осмеливался обратиться ко мне на «ты», а не на «вы» — то есть против всего совершеннолетнего человечества. Этой мании я остался верен по сей день: на всех языках, на которых имеется это различие, даже к трехлетнему ребенку я не обращаюсь иначе, чем на «вы», и если бы я даже захотел поступить иначе, то не смог бы. Я ненавижу всей душой, и это органическая ненависть, которая берет верх над всяким аргументом, над рассудком и над самим бытием, любое представление, которое намекает на «неравноценность» людей. Возможно, это не демократизм, а нечто противоположное ему: я верю, что каждый человек — царь, и если бы я мог, то создал бы новое общественное учение, учение о «панбасилевсе».

Когда мне исполнилось семь лет, мама послала меня в частную школу, учрежденную двумя еврейскими девицами, госпожой Лев и госпожой Зусман. В ней было два класса, одна девица была учительницей по общеобразовательным предметам в первом классе, а другая — во втором. Мальчики и девочки учились вместе: очень редкая вещь в те дни. Я бегло описал эту школу в рассказе «Белка», также как историю моей отвергнутой любви, вспыхнувшей в соседстве с женской купальней: правда священна. Добавлю только, что я не помню, чтобы мы учили что-нибудь «еврейское» — историю еврейского народа, например, или молитвы, — и то обстоятельство, что именно этого я не помню, характерно для моей «национальной» индифферентности, о которой я упоминал ранее.

Четыре раза держал я экзамен для поступления в гимназию, в реальное училище, в коммерческое училище — и проваливался. С 1888 года был введен закон, согласно которому в государственные учебные заведения принимался один еврей на девять христиан, и поэтому возросла конкуренция между экзаменуемым Моисеева закона. Поступить удавалось лишь настоящим вундеркиндам или тем, чьи родители давали солидный куш учителям, а я был гол с обоих боков. Наконец, не знаю каким чудом, меня приняли в подготовительный класс второй прогимназии, курс обучения которой я завершил в возрасте 14 с половиной лет и перешел в пятый класс Ришельевской гимназии. Два этих учебных заведения я ненавидел, как и все гимназисты: до сих пор, услышав от своих маленьких друзей, что они любят свою школу, я только диву даюсь. Отпетым и закоренелым лентяем был я все годы своей учебы, ненавидимым большинством учителей, и не было счета скандалам и конфликтам, которые возникали у меня с чиновниками от российской педагогики.

Из этой цепи происшествий упомяну одно: меня прогнали с выпускного экзамена в прогимназии. Я передал соседу шпаргалку с переводом латинского отрывка, учитель перехватил ее, и нас обоих отослали домой, и только после каникул нам разрешили экзаменоваться снова. Я не знаю другого примера такого наказания за столь мелкое преступление, но между мной и учителями существовала взаимная ненависть.

Должен, однако, признать, что я почти не чувствовал антисемитского духа в этих государственных учебных заведениях: может быть, потому, что вообще русское общественное мнение — правое и левое — было погружено в спячку весь этот период, вплоть до последних лет XIX века, недаром называют его в России «безвременьем», то есть периодом безликости. Ни со стороны наших учителей, ни со стороны наших однокашников, мы, еврейские ученики, не испытывали гонения, и, что всего страннее, несмотря на это, мы всегда держались особняком от своих

христианских товарищей. Нас было десять в классе: сидели мы вместе, и если встречались в частном доме, чтобы играть, читать или просто болтать — все это было только в своем кругу. Лишь у некоторых из нас были друзья из русского лагеря. Меня, например, связывала верная дружба со Всеволодом Лебединцевым, отличным юношей, чье имя будет еще упомянуто в этом повествовании. Много раз я ходил к нему в гости, и он навещал меня, но ни разу не пришло мне на ум ввести его в наш обособленный круг, и он не ввел меня в свой круг, — хотя мне и неизвестно, был ли у него «круг». Еще более странно, что и в нашем еврейском «кругу» не веяло еврейским духом: если мы читали вместе, то иностранную литературу, предметом наших споров были Нищие и вопросы морали, морали вообще или морали половой, а не судьба еврейства и не положение евреев в России, которое тяготело над всеми нами.

Кроме отрывочного знания латыни и греческого (и это я ценю по сей день), всему, чему я выучился в детские годы, я выучился не в школе. Разумеется, я много читал, без руководства и наблюдения, но по воле случая я мог выбирать. Прежде всего, от времени отцовского величия нам остался книжный шкаф, в котором я нашел все сочинения Шекспира в русском переводе, Пушкина и Лермонтова. Этим трех авторов я знал от доски до доски еще до того, как мне исполнилось четырнадцать лет, и еще и поныне не без труда нахожу я стихотворение Пушкина, которое не было бы мне знакомо и которого я не знал бы до конца. Но остальную русскую литературу я и тогда не очень жаловал (быть может, кроме поэзии), да и теперь она чужда моему духу. Я не склонен углубляться в бездны души, сердце мое вожделеет действия, моими любимцами в детстве были приключенческие писатели, которыми зачитывались мои сверстники, и я сожалею, что новое поколение молодежи, как я слышал, отошло от них: от Майн Рида, Брет Гарта, Вальтера Скотта и им подобных. Этот выбор, банальный и здоровый, спас меня от преждевременной духовной зрелости, болезни молодежи, которая появилась в позднейший период. Когда же я исчерпал все богатства той библиотеки, и в ней не осталось ни одной не прочитанной мною приключенческой книги, и я был вынужден перейти к «серьезной» литературе, я предпочитал таких иностранных авторов, как Диккенс и Золя, Шпильгаген и Джордж Элиот гениям русского романа — из страха перед психологией. И все же, следует признать, что наиболее сильное впечатление произвела на меня русская книга — «Обрыв» Гончарова: этот роман обозначил духовную границу между моим детством и юностью, сам не знаю почему. С другой стороны, четыре творения из сокровищницы мировой поэзии, которые я любил больше всего (и люблю поныне), служат решительным доказательством поверхностной простоты моего вкуса: «Сирано» Ростана, «Сага о Фричьофе» Тегнера, «Конрад Валенрод» Мицкевича (мой польский однокашник в прогимназии научил меня своему языку) и больше всего — «Ворон» Эдгара По. Будь я богат, я бы сделал себе подарок: эти четыре вещи, переплетенные вместе, каждая из них на языке оригинала, памятники культа великолепного жеста и прекрасного слова, которого я не встречал в жизни.

Не подумайте, упаси Боже, что в эти годы я был домоседом. По вечерам я читал, но всякий свободный час до наступления сумерек я проводил в городском парке (парк в Одессе по своему размеру занимает изрядную часть самого города) или на берегу моря. Порою я отправлялся поутру в гимназию, — но вот улыбается солнышко, распустилась сирень... и я бросал ранец в бакалее, что была около нашего дома, и бежал в порт ловить раков на огромных камнях мола, которые называются «массивами». В парке с компанией таких же бездельников я играл в «казаков и разбойников» и возвращался домой, гордясь царапинами и синяками на лице и на теле, полученными от соприкосновения с палкой, мячом или камнем. Однажды я и еще двое товарищей заплыли так далеко, что встревожился смотритель пляжей и погнался за нами на лодке с багром в руках. Несколько лунных ночей мы провели на арендованной шаланде (возможно, без ведома самого рыбака), которая заплывала за маяк. Мы сочиняли русские морские песни или нашептывали нежные признания девушкам.

Было мне 15 лет, и я учился первый год в гимназии Ришелье, когда один из еврейских учеников пригласил меня к себе домой и представил своим сестрам. Одна из сестер играла на рояле, когда я вошел в комнату; впоследствии она призналась мне, что странное явление — негритянский профиль под буйной шевелюрой — заставило ее расхохотаться за моей спиной. И все же в тот первый вечер я снискал ее благосклонность, когда назвал ее — первый из всех ее знакомых, «мадемуазель». Было ей десять лети звали ее «Аней», Иоанной Гальпериной, и это моя жена.

И ремесло свое я избрал тоже в детстве: начал писать еще в десятилетнем возрасте. Стихи, разумеется. «Печатали» я их в рукописном журнале, который издавали два молодых человека, ученики не моей школы (один из них, если я не ошибаюсь, теперь посланник советов в Мексике); позднее, в шестом классе, мы в нашей школе тоже основали тайную газету, и ее мы уже распространяли на гектографе, а я был одним из ее редакторов. «Тайную!» Ибо это было запрещено согласно российским законам вообще и гимназическим правилам в частности; однако в нашей газете не было даже намека на «политику», не из страха, а из того равнодушия к ней, которое я описал ранее, и тем не менее газета наша называлась «Правдой», и главный редактор, христианский юноша, чьи родители были выходцами из Черногории, влюбился в том году сразу в двух девиц. Одну из них звали Лидой, а другую Ленной; в конце концов верх взяла первая, и он избрал псевдоним Лидин, которым подписывал свои статьи; если бы победу одержала Лена, то он подписывался бы Лениным!

Я перевел на русский язык «Песнь песней» и «В пучине морской» И. Л. Гордона и послал их в «Восход» — не напечатали. Перевел «Ворона» Эдгара Аллана По и послал в «Северный вестник», русский ежемесячный журнал в Петербурге, — не напечатали. Написал роман, название и содержание которого я не помню, и послал его русскому писателю Короленко, и он из вежливости ответил мне, то есть посоветовал «продолжать». Не сосчитать всех рукописей, что я посылал редакторам и получал назад — или не получал — в возрасте между 13 и 16 годами. Я

уже отчаялся в своей будущности, уже страшился, что мне написано на роду быть адвокатом или инженером. Однажды я случайно развернул ежедневную одесскую газету и нашел в ней статью под названием «Педагогическое замечание». Моя статья! Довожу до сведения грядущих поколений дату — 22 августа 1897 года — и содержание: острая критика системы выставления отметок в школах, ибо такая практика может вселить зависть в сердца слабых учеников.

В эти дни в Одессе жил Александр Федоров, известный русский поэт. Он увидел перевод «Ворона», пригласил меня к себе, ободрил меня и представил редактору газеты «Одесский листок». Я спросил последнего: «Стали бы вы публиковать мои корреспонденции из-за границы?» И получил ответ: «Возможно. При двух условиях: если вы будете писать из столицы, в которой у нас нет другого корреспондента, и если не будете писать глупостей».

У него были корреспонденты во всех европейских столицах, за исключением Берна и Рима. Мама просила: «Только не в Рим! Поезжай с Богом, раз ты уж решил оставить гимназию, но на худой конец в Берн, там среди студентов есть дети наших знакомых».

Кстати, среди прочих волшебных сказок, которыми незаслуженно разукрасили летопись моей жизни, слышал я и такую, будто меня «исключили» из гимназии. Боюсь, что если бы я не оставил тогда ее, в конце концов меня бы действительно выгнали, но случайно я ушел из нее по своей доброй воле еще до этого неотвратимого события.

Ибо мне атмосфера гимназии опротивела, и я решил оставить ее при первой же возможности, даже не закончив курса. Жестоко боролся я за это решение с членами своей семьи, родственниками и знакомыми. Молодой читатель не поймет, что значила «гимназия» в глазах еврейского общества сорок лет тому назад: аттестат зрелости — университет — право жительства вне «черты», — короче говоря, человеческая, а не собачья жизнь. А я уже ученик седьмого класса, еще полтора года, и я смогу надеть синюю фуражку и черную тужурку студента. Что за безумие пожертвовать такими возможностями и разрушить их, и, прежде всего, Бога ради, почему?

Хоть убейте меня, я не знал почему. Потому. И, быть может, нет объяснения тайнам хотения, которое более точно выражало бы их, чем «потому».

Де Монзи, известный французский политик и друг сионизма, однажды сказал мне: «Я понимаю в сионизме все, кроме постановки вопроса о языке». И он привел мне с большой аналитической силой и превосходной логикой множество убедительных аргументов против древнееврейского языка, который разрушает всякую связь между мировой культурой и «народом, который создал эту культуру». Я искал удовлетворительный ответ, не нашел и ответил: «И все-таки древнееврейский язык. Почему? Потому». Де Монзи воздел руки горе и сказал: «Теперь я понял. Вы правы. Страсть, не поддающаяся объяснению, выше всяких объяснений».

Не следовало бы вспоминать об упорном характере народа, собираясь всего лишь поведать о подростке, улизнувшем из школы. Но это был не единственный случай в моей жизни, когда я покорялся необъяснимому «потому», и я не раскаиваюсь.

Был у меня в Одессе дядя, старший брат матери, дядя Абрам, состоятельный коммерсант, знаток древнееврейского языка и бритый маскил, человек умный и многоопытный. Он — единственный из всех родственников — ни разу не спросил меня «почему?», но в канун моего отъезда, когда я зашел проститься с ним, сказал мне вещь очень разумную и полезную:

— Я слышал, что ты хочешь стать писателем и ради этого избрал странный путь. Это не мое дело. Но вот что ты должен помнить: если ты преуспеешь, все согласно станут уверять, что ты умница, а если не повезет, скажут: «невежда, и мы всегда знали, что он просто дурак».

Весной 1898 года я оставил гимназию и отправился в Швейцарию, и этим завершился период моей юности и созревания. Было мне 17 лет, был я не очень «симпатичный», ибо склонялся к парадоксам и позе и имел преувеличенное мнение о себе, и не было у меня плана или линии в жизни, одна лишь жажда жить.

Берн и Рим

Я проехал через Подолию и Галицию, третьим классом, разумеется. Поезд полз, словно черепаха, останавливаясь во всех местечках. На всех станциях, днем и ночью, в вагон входили евреи; на перегонах между Раздельной и Веной количество слышанного на языке идиш было больше, чем за все прошлые годы моей жизни. Не все я понимал, но впечатление было сильным и горестным. В поезде я впервые соприкоснулся с гетто, своими глазами увидел его ветхость и упадок, услышал его рабский юмор, который довольствовался вышучиванием ненавистного врага вместо бунта... Теперь, состарившись, я научился различать под покровом этого пресмыкательства и насмешки достаточную степень гордости и смелости; тогда я не знал этого, тогда я склонял голову и молча вопрошал себя: и это наш народ?

В Бернском университете (который размещался в том же здании, что и главное полицейское управление) я записался на отделение права. Признаюсь к своему стыду: я не помню имен своих профессоров, кроме имени еврея Рейхсберга, да будет земля ему пухом, из уст которого я впервые услышал об учении Карла Маркса. Гораздо больше заинтересовала меня жизнь «русской колонии». Было в ней около трех сотен душ, в большинстве своем евреев и евреек, и я был самым молодым из них. Сначала я несколько выделялся, потому что решил быть вегетарьянцем и не столовался в их общественной столовой. Но мои попытки самому готовить себе окончились неудачей: поныне

помню я «какао» собственного производства — плотные коричневые комья, плавающие на поверхности молока, которое чаще всего перекипало и сбегало на пол, прежде чем я успевал снять кастрюлю со спиртовки. После двух недель такого режима, в продолжение которых я был голоден, словно целая волчья стая зимой, я отчаялся в своей вегетарьянской вере и обратился в постоянного посетителя столовой колонии.

Я не стану описывать жизнь колонии, это уже делали неоднократно. Описано уже и то пьянящее и заораживающее впечатление от перехода из царства гробового молчания, каким была Россия сорок лет тому назад, к этому шумному бурлению. Все слова, запрещенные в России, превратились здесь в обыкновенные слова вроде «здоровствуйте», «спасибо» или «пожалуйста». Революционная литература, о которой еще какой-нибудь месяц назад мы говорили только шепотом и намеками между собой в Одессе, здесь вся была в книжном шкафу, доступном каждому. Свобода — это свобода говорить и спорить, но не действовать. Мы жили под сенью Альп, а видели во сне Волгу. Мы уподоблялись шутихе, рассыпающей свои искры с невероятной скоростью, поскольку она вертится в воздухе, не связана ни с каким двигателем и ничто ее не сдерживает.

Дважды в неделю собирались сходки в колонии, на которых, как правило, велись споры между фракциями Ленина и Плеханова или между «эсдеками» и «эсерами» (люди моего поколения помнят, в чем заключалось различие между ними, остальным нет смысла и объяснять). Иногда устраивались «вечера», пели русские песни, но Житловский — не помню, учился ли он в Бернском университете или его на какое-то время занесло к нам, — требовал неизменно, чтобы пели также песни на идиш. Однажды колонию посетил Нахман Сыркин и много говорил о слиянии сионизма и социализма. Он не нашел большого числа приверженцев, потому что среди нас было еще мало сионистов. Но мне хорошо запомнилась эта беседа, ибо я тоже выступил с речью, впервые в моей жизни, и при том с «сионистской» речью. Я говорил по-русски примерно так: не знаю, социалист ли я, ибо я еще не познакомился как следует с этим учением, но то, что я сионист, — несомненно. Ибо еврейский народ очень скверный народ, соседи ненавидят его — и поделом, изгнание его ожидает,

Варфоломеевская ночь, и его единственное спасение в безостаточном переселении в Палестину. Председатель собрания — молодой Лихтенштейн (годы спустя он стал почтенным деятелем в Палестине и там умер несколько лет тому назад), перевел мою речь на немецкий язык с энергической лаконичностью: «Оратор не социалист, потому что он не знает, что такое социализм, но он законченный антисемит и советует нам укрыться в Палестину, иначе всех нас вырежут». Видно, впечатления от поездки через Галицию проникли в самую глубь моей души! После окончания собрания ко мне подошел Хаим Раппопорт (один из нынешних руководителей коммунистических лидеров во Франции) и сказал, улыбаясь во весь рот: «Я не предполагал, что в среде русской молодежи сохранился еще такой зоологический юдофоб!» «Но я не русский!» — воскликнул я. Он не хотел поверить мне.

В это же лето я начал свою литературно-сионистскую деятельность, избрав на сей раз более подходящую форму: в петербургском ежемесячном журнале «Восход» я напечатал стихотворение «Город мира». Боюсь, я позабыл, чему учил меня Равницкий и что слово «ир» («город») начинается с буквы «аин» и думал в простоте душевной, что «Ирушалаим» следует переводить как «город мира». Теперь я, разумеется, знаю, что это противоречит и правописанию и действительности.

Осенью я переехал учиться в Рим и оставался там три года подряд. Если есть у меня духовное отечество, то это Италия, а не Россия. В Риме не было никакой русской колонии. Со дня прибытия в Италию я ассимилировался среди итальянской молодежи и жил ее жизнью до самого отъезда. Все свои позиции по вопросам нации, государства и общества я выработал под итальянским влиянием. В Италии научился я любить архитектуру, скульптуру и живопись, а также литургическое пение, над которым в те времена потешались приверженцы Вагнера и теперь потешаются приверженцы Стравинского и Дебюсси. В университете моими учителями были Антонио Лабриола и Энрико Ферри, и веру в справедливость социалистического строя, которую они вселили в мое сердце, я сохранил как «нечто само собой разумеющееся», пока она не разрушилась до основания при взгляде на красный эксперимент в России. Легенда о Гарибальди, сочинения Мадзини, поэзия Леопарди и Джустини обогатили и углубили мой практический сионизм и из инстинктивного чувства превратили его в мировоззрение. В театре уже сошли со сцены Сальвини, Росси, Аделаида Ристори; Д'Аннунцио писал лучшие свои пьесы для Элеоноры Дузе, Эрмети Нобели возродил классическую трагедию от Шекспира до Альфиери, Эрмети Цакони предоставил права гражданства в душе южной публики горькому колдовству Ибсена, Толстого и Гауптмана; и место на деревянной скамье на галерке в театре стоило от 40 грошей до лиры, не считая четырех часов стояния в «хвосте» до открытия дверей. В большинстве музеев я чувствовал себя как дома; не осталось ни одного заброшенного уголка в переулках предместий Богго и по ту сторону Тибра, который не был бы знаком мне, и почти в каждом из этих предместий мне довелось снимать квартиру, здесь месяц, там два, потому что неизменно после опыта первой недели хозяйки, жены торговцев или чиновников, вечно на сносях, протестовали против непрерывной сутолоки в моей комнате, визитов, песен, звона бокалов, криков спора и перебранок и наконец всегда предлагали мне подыскать себе другое место, чтобы разбить там свой шатер.

Славной страной была Италия тех дней, на пороге XX столетия. Если бы от меня потребовали найти слово, которое передает в полной мере общую основу всех потоков политической мысли, взаимодействовавших в итальянском обществе, я избрал бы тот устаревший термин, над которым уже тогда смеялись и который теперь стал сущей мерзостью и табу в глазах молодежи в Италии и во всем мире: «либерализм». Это понятие широкое, расплывчатое благодаря своей широте: мечта о порядке и справедливости без насилия, всечеловеческое видение, сотканное из

сострадания, терпимости, веры в то, что человек по природе своей добр и справедлив. Тогда еще не ощущалось в воздухе ни малейшего намека на тот культ «дисциплины», который нашел свое выражение в фашизме. Если сохранились в моей памяти симптомы, предвещавшие уже тогда приближение какой-то перемены в умах, то еще не Муссолини предвещали они, а Маринетти, литературное и философское течение, присвоившее себе (и это тоже произошло не тогда, а несколько лет спустя) титул «футуризма», течение, историческое назначение которого, возможно, состояло в том, чтобы послужить прологом для движения Муссолини. Среди моих товарищей студентов я уже знал нескольких, которые с горечью и гневом протестовали против иностранного туриста, упорствовавшего в своем восприятии Италии как «музея», хранилища остатков прошлого великолепия, относившегося к новому итальянцу как если бы он был лишь элементом пейзажа: элементом, радующим глаз, если это лаццарони, одетый в лохмотья и играющий на мандолине, элементом излишним и мешающим, если он пытается строить фабрики, которые портят впечатление от живописного вида древних руин. Из уст этих избранных я уже слышал: «Придет день, и мы пошлем ко всем чертям этих туристов. Новая жизнь, фабричные трубы — вот истинная Италия; может быть, лучше сжечь все картины от Боттичелли до Леонардо, разбить все скульптуры, и на месте Колизея построить колбасную фабрику». Словно раннее эхо учения Маринетти слышится в этих идеях: аэропланы прекраснее трелей неаполитанского романса, будущее лучше прошлого; Италия — страна фабрик, страна машин и электричества, она никак не выпас для прогулок мирового безделья, которое ищет в ней эстетическую забаву; новый итальянец — любитель порядка, организатор, педант в ведении бухгалтерских книг, строитель и завоеватель, упорный и жестокий — таково было предвещье фашизма. Но в те дни даже Маринетти еще не знали. По долгу журналиста (я перешел в газету «Одесские новости», и она осталась моей постоянной газетой почти до самой мировой войны) и по внутренней склонности я всматривался с особой пристальностью в жизнь Монтечиттории, то есть здания, в котором помещалась палата депутатов Италии. Его лицо мало чем отличалось от лица большинства парламентов той наивной эпохи: «правое» правительство и «левая» оппозиция. Но как умеренны были и «правые» и «левые» по сравнению с сегодняшним экстремизмом с обеих сторон! Во главе «левых» стояла, разумеется, фракция социалистов, и к ней примыкал духовно и я, хотя ни разу ни в Италии, ни в России я формально не вступал в партию. Ее конечную цель — национализацию орудий производства — я считал тогда естественным и желательным последствием развития общества; я верил также в то, что «рабочий класс» — знаменосец всех неимущих, независимо от того, наемные ли они рабочие, лавочники или адвокаты без клиентуры. Еще не обозначилось со всей резкостью и точностью эгоистическое содержание «классового сознания», которое только после победы Ленина в России раскрылось в полной мере. Антонио Лабриола, главный глашатай марксистской доктрины в Италии, проповедовал ее не только с университетской кафедры: ежевечерне встречался он со своими студентами в кафе «Эранио» на улице Корсо (теперь она называется Корсо Умберто). Я тоже был в числе этих студентов. Он беседовал с нами о событиях в Италии и за границей, о Трансваальской войне, о «боксерском» восстании в Китае, о прошлом и о будущем. Он относился к нам как наставник и советчик: однажды он велел мне сопровождать его ночью и по дороге выговаривал за то, что за день до этого видел меня в компании нескольких юношей, подозреваемых в склонности к анархизму.

Энрико Ферри я лично не знал, но он оказал еще большее влияние на мой ум, чем Лабриола. Официально его курс в университете назывался «Уголовное право», то есть был посвящен учению о преступлении и наказании, но его лекции отличались поистине энциклопедической широтой, охватывая ближнее и дальнее, явное и тайное, общество, душу, наследственное право, материю и дух, переустройство общества, литературу, искусство и музыку. Также благодаря своему ораторскому искусству он властвовал над нами: он считался, если я не заблуждаюсь, одним из десяти лучших ораторов в Европе своего поколения, собратом Жореса по гениальности в этой области, — но Жореса мне не довелось слышать.

И странное дело: не было проблемы, которой мы не занимались бы в кружке Лабриолы или в своем студенческом кругу — от положения негров в Америке до поэзии декадентов, кроме единственного вопроса, которого мы никогда не касались — еврейского вопроса. Помню, однажды вечером, в ходе спора о тех же декадентах, Лабриола подверг резкой критике книгу Макса Нордау «Выврождение» и припомнил при случае несколько других грехов автора, но и на сей раз обошел молчанием его самый большой грех — сионизм. Не умышленно — забыл, и все мы забыли, забыл и я. Не было тогда в Италии не только антисемитизма, но и вообще не было никакого выработанного отношения к евреям, как не было установившегося отношения к бородачам. Впоследствии (по прошествии многих лет) я узнал, что в числе наиболее близких мне членов этого кружка было два или три еврея; тогда однако, в годы моего учения в Риме, мне не пришло на ум спросить их, кто они, так же как они не спросили меня об этом.

Возможно, я допустил неточность, когда сказал: «Забыл и я». Возвращаясь всякий раз из Одессы в Рим после каникул, я еще трижды проезжал не только Галицию, но и часть прежней Венгрии между Мункачем и Кашау (теперь их называют Мукачево и Кошице в Чехословакии) — области с плотным еврейским населением, и то же впечатление, что вызывало у меня тогда чтение истории итальянского Возрождения, возникло в моей душе, скорее неосознанное, подспудное, но, быть может, и более сильное. Не забыл, возможно, уже тогда дал я обет в душе, что после лет учения отдамся сионистской работе, ведь я подмечал все то, что относилось к идее еврейского государства. Но этот «обет» был пассивным обетом: я не думал о нем, не интересовался даже конгрессами, которые собирались из года в год в Базеле, и после единственного «туристского» посещения римского гетто (и это тоже только благодаря историческому палаццо семейства Беатриче Ченчи) больше не посещал его. Признаюсь со стыдом в еще большем преступлении: как-то раз, находясь в веселой компании девушек и юношей, в ходе их беседы (полупочтительной,

полунасмешливой) об обычаях католической церкви одна из девушек, сидевшая возле меня, спросила: «А вы, господин, православный?» Я ответил утвердительно. Не знаю сам, почему я так ответил: нет сомнения, что я не упал бы в их глазах ни на волос, если бы сказал правду, — но возможно, я опасался, что потеряю в их мнении, если признаюсь перед этими свободными людьми в том, что я раб.

...Однако все это лишь одна сторона моих римских воспоминаний, и не самая существенная. Главным в этот мой римский период была жизнь, жизнь молодого, здорового и легкомысленного существа, живущего, как и все остальные итальянцы вокруг. Я настолько ассимилировался в этой среде, что не выделялся из нее. Это был единственный период во всей моей жизни, когда я действительно жил в другом народе, одной жизнью с гражданами этой страны. С русскими в России я почти совсем не «жил». А теперь, вот уже более десяти лет я обитаю в Париже среди эмигрантов — словно оказался на заброшенном острове в обществе спасшихся после кораблекрушения, как будто кроме нас никого здесь нет, так что мало-помалу я забываю французский язык... Итальянский по сей день для меня мой язык, возможно, даже в большей степени, чем русский, хоть я теперь и запинаясь и подыскиваю забытые слова в разговоре. Тогда, в дни моей молодости, я говорил по-итальянски, как итальянец, жители Рима принимали меня за уроженца Милана, а сицилианцы за римлянина, но не за чужеземца. Между моими и их мыслями, реакциями, выражениями радости и гнева и повседневными привычками не было никакого различия. Нет недостатка в людях, которые назовут такой образ жизни пустой тратой времени и сил, но я не сожалею. Действительно ли «промотал» свою молодость тот, кто умел и выпить и погулять, познал легкие суетные удовольствия и сумасбродства, отдал молодости то, что ей причиталось, и только пройдя этот коридор, ступил на порог зрелости со всеми ее заботами? Я видел жизнь русской колонии в Берне, видел впоследствии жизнь своего поколения в России, которая готовилась к трем революциям, и читал слова Бялика, приговор и горестный и уничтожающий: «Душу мою сжег ее собственный пламень». Души своей я не сжег, во всяком случае, даже если я и обжигался иногда, то это был не внутренний сухой огонь, но огонь действительности, ожог от контакта с людьми и вещами вне меня самого. Так лучше, и я не раскаиваюсь.

Я повествовал о фрагментах из этой жизни (разумеется, сильно приукрашивая их) на страницах «Новостей». Когда не было другой темы или цензор решал «зарезать» мою статью, я писал «Итальянский рассказ». Большинство этих рассказов невозможно спасти от могилы, да и не имеет смысла — для читателя; но я, если речь идет обо мне, быть может, получил бы все-таки удовольствие от беглого обозрения глав моей юношеской глупости. Не изобразил ли я в них коммуну, которую мы основали с компанией таких же сумасбродов, как я сам? Не рассказал ли я о деле Пренады, невесты моего друга Уго, которую мы выкупили из публичного дома и вывезли оттуда в торжественной процессии с мандолинами и факелами? А спор, который вспыхнул между мною и Уго, тем самым другом моим Уго, и как я послал двух «секундантов», чтобы вызвать его на дуэль от моего имени, и как уже было назначено утро для нашей встречи на вилле Борджиа, и куплены пистолеты, и особый совет наших товарищей-студентов провел несколько ночей за «Рыцарским кодексом» (Il Codice Cavalleresco), пока они не отыскивали в нем параграф, согласно которому не было основания для поединка в таком случае (а вот в чем заключался сам случай, я уже забыл)? Или появление мое в официальном качестве свата, в черном фраке и желтых перчатках, когда я уселся перед синьорой Эмилией, прачкой и женой извозчика, и от имени своего товарища Гофридо просил «руки» ее старшей дочери Дианы?

Я много писал. Дважды в неделю мои письма печатались в «Новостях» под псевдонимом «Альта-лена» (признаться, я избрал этот псевдоним по смехотворной случайности: тогда я еще не слишком хорошо знал итальянский и полагал, что это слово переводится как «рычаг», лишь впоследствии я выяснил, что оно означает «качели»). Некоторое время спустя мои статьи стали печататься в петербургском «Северном курьере», либеральной газете, издаваемой князем Баратынским; некоторые вещи я печатал по-итальянски в социалистическом «Аванти», а одну довольно большую статью опубликовал в римском ежемесячнике, название которого не помню, — о «литературе настроения» в России, о Чехове и его направлении, я и Горького причислил к этому разряду. В то время мы знали Горького только по коротким рассказам, казавшимся отголоском учения Ницше, которое облакалось в русское одеяние. Он прославлял людей воли и действия, казнил презрением рабов «рефлексии», выхолащивавших и глушивших всякое смелое начинание. Читателям ежемесячника я представил Чехова и Горького в виде двух противоположных концов одной и той же логической цепи: один выражал уныние, тоску, жажду перемен, и да здравствует перемена, строить или разрушать — все равно; а другой отвечал: отдайтесь на произвол судьбы, живите в полную силу, и будь что будет! Я упоминаю о содержании этой статьи здесь потому, что впоследствии нашел эти противоположные концы одной цепи и в поэзии Бялика: первую — в «Далекой звезде», вторую — в «Мертвецах пустыни».

Весной 1899 года я поехал в Одессу держать экзамен на аттестат зрелости со своими однокашниками, но провалился по очень важному предмету — по древнегреческому языку. Я вернулся в Рим и продолжил свои занятия там — вне университета больше, чем в нем. Летом 1901 года я снова приехал в Одессу, намереваясь затем вернуться в Италию и закончить курс обучения на юридическом факультете. К своему великому удивлению, однако, я обнаружил, что за это время я «приобрел имя» как писатель, и господин Хейфец, редактор «Новостей», предложил мне писать ежедневный фельетон с немалым месячным окладом в 120 рублей. Я не устоял перед этим искушением, отказался от диплома, от карьеры адвоката и от любимой Италии и остался в Одессе, начав новую главу в истории моей молодости.

Журналист

Эта новая глава длилась два года, и она — последний этап на моем пути к сионистской деятельности. Я застал другую Россию. Вместо «уныния и тоски» — нервическое беспокойство, всеобщее ожидание чего-то, весеннее настроение. За время моего пребывания за границей произошли важные события: революционные партии вышли из подполья, убили пару министров, там и сям вспыхивали волнения среди рабочих и крестьян, все студенчество было охвачено брожением. Нелегко объяснить молодому читателю общественную и политическую функцию, которую выполнял университет в эти дни. Назначение этого учреждения в качестве школы было совершенно забыто: университет превратился во фронт борьбы за освобождение. Если бы нас спросили: «Кто встанет во главе тогда, когда придет день?» — мы бы ответили в один голос: «Конечно, совет выборных студентов». Так оно в Одессе и было: когда разразилась первая русская революция 1905 года, рабочие-электрики обратились к студенческому совету и потребовали, чтобы тот дал приказ: тушить фонари на улице или нет?

В правительственных кругах уже замечались признаки сматения. Ослабла узда: вопреки предварительной цензуре (всякая строка без исключения, даже хроника и объявления, подлежали цензурной проверке перед печатьем), в каждой газете появлялись крамольные статьи; опасные слова «конституция» и «социализм» произносились вслух на публичных лекциях. Я застал в Одессе «Литературно-художественный клуб»: раз в неделю, по четвергам, мы собирались, чтобы обсудить новую книгу или пьесу, которую ставил в те дни городской театр, но во всех речах и докладах звучали намеки на «освобождение», и в спорах по поводу «Потонувшего колокола» Гауптмана сталкивались (каким образом — не знаю) принципы Маркса и «Народной воли». Всеволод Лебединцев, тот самый мой русский друг, которого я упоминал на первых страницах, делил свое время и энтузиазм между тремя устремлениями: он изучал астрономию в университете; проводил свои вечера в итальянской опере и ухаживал за молодой певицей Армандой Делли-Абатти; а сверх того был активным членом партии эсэров. На мой вопрос, как все это совмещается в одной душе, он ответил: «Как ты не понимаешь, что все это одно и то же». Теперь мне этого не понять, но тогда это было мне понятно.

В таком же ключе писал и я сам. Несколько лет тому назад я случайно наткнулся на отрывки из статей тогдашнего «Альталены». Чепуха и болтовня, по моему отстоявшемуся и установившемуся мнению, теперешнему мнению. Но тогда, как видно, в этой болтовне таился некий глубинный намек, связывавший ее с основным вопросом эпохи. В этом меня убеждало не столько возрастание числа адептов и почитателей, сколько — и, быть может, даже в большей степени — гнев врагов. Враги объявились у меня с самого начала моей деятельности в качестве фельетониста, и не только из лагеря консерваторов, напротив, из таких же прогрессистов, как я сам, и к тому же из наших братьев, сынов Израиля. Такие люди были и в редакции «Новостей», и несчастный редактор Хейфец немало претерпел из-за моей статьи «Скрывают тенденцию газеты». С той же ненавистью я столкнулся и в Литературном клубе. Меня пригласили прочесть доклад, и я избрал тему: «Судьба литературной критики». Я попытался доказать, что эта профессия — профессия прославленная и важная в истории русской словесности, целью которой всегда было обнаружение идеи или направления, которые скрываются за художественным образом, уже выполнила свое назначение и отжила свой век, ибо «есть периоды мысли и есть периоды действия, и наш век — век действия». К моему вящему удивлению, мой доклад был принят с гневом со всех сторон, оратор за оратором поносил и бранил меня, и когда, наконец, подошла моя очередь выступить с ответным словом, председатель, человек спокойный и вежливый, один из уважаемых членов греческой общины, объявил, что не предоставит мне слова, ибо «аплодисменты, раздавшиеся после последних речей, служат удовлетворительным завершением этого диспута». Я не думаю, что в этом проявилась некая смутная склонность к антисемитизму: еврейские докладчики в большом числе выступали с той же кафедры, и ко всем к ним публика относилась с любовью или равнодушием; среди моих хулителей были и евреи, и христиане, и единственный, кто защищал меня, был как раз христианин. Не антисемитизм, а другая причина, причина, которая была связана, как видно, со мной, — некое особое качество или свойство, вызывавшее раздражение. После этого первого опыта я несколько раз убеждался в одном: то, что прощалось другому, не прощалось мне. Даже от друга я слышал: «Ты обостряешь противоречия». Возможно, в продолжение этого рассказа мне еще представится случай указать на эту неудобную особенность, которая часто запутывала и затрудняла мою общественную деятельность. И все же я наслаждался жизнью в эти годы. Ощущение «популярности», от которой теперь я хотел бы бежать на край света, сладостно и приятно юноше в двадцать один год. Журналист — это было важное звание в русской провинции тех лет. Приятно пройти (бесплатно) в городской театр, один из лучших в стране, и приятно, что капельдинер, одетый в ливрею эпохи Марии-Антуанетты, кланяется тебе и провожает к креслу в пятом ряду, в начале которого прибита табличка с гравированной надписью: «г-н Альталена», Редактор Хейфец умел подбирать способных молодых людей: под его крылышком начали свою литературную деятельность Кармен, автор рассказов о жизни босняков в одесском порту и голытьбы из нищих предместий, и Корней Чуковский, который ныне считается крупнейшим писателем красной России. Когда мы входили с ними в кафе, соседи перешептывались друг с другом: может, было бы лучше, если бы мы не слышали, что они шептали, но, поверьте мне, они пели нам дифирамбы, и Кармен подкручивал кончики своих желтых усов, Чуковский проливал свой стакан на землю, ибо его чрезмерная скромность не позволяла ему сохранить спокойствие духа, а я в знак равнодушия выпячивал свою нижнюю губу, хотя и знал, что в этом не было надобности — она и без того была достаточно выпяченной от природы...

Этой осенью 1901 года городской театр поставил мою первую пьесу «Кровь». Кто поверит теперь, что в дни своей молодости я сочинил пацифистскую пьесу, против войн вообще и против Англии в частности? Я писал ее еще в Риме: тему, связанную с бурской войной, я взял из рукописи одного из своих друзей (он Гофридо в моем рассказе «Диана»), но изменил сюжет, ввел новые лица и т.д. и т.п.: три действия в стихах! Звезды нашей городской труппы с Анной Пасхаловой во главе играли в пьесе, но театр был пуст: может быть, пришли три сотни человек, может быть, меньше, и половина из них были мои приятели или знакомые. Они аплодировали, разумеется, и вызывали меня на сцену в конце спектакля. Я вышел кланяться, в черном и длинном рединготе, который я заказал специально к этому дню, наткнулся на подъемный канат и несомненно упал бы навзничь, если бы меня не удержала за руку госпожа Пасхалова. Я не спал всю ночь, встал, едва занялась заря, и побежал купить газеты, все газеты, даже «Полицейские ведомости», и проглотил рецензии, и они не отравили моей радости. Но только дважды, не больше, играли мою пьесу в Одессе... Год спустя, на той же сцене поставили мою вторую пьесу, тоже в стихах, но в одном действии, и в ней тоже играла Пасхалова (мы стали с ней друзьями, после того как она спасла меня от позора перед занавесом). На сей раз рецензенты не сжалились надо мной и приготовили, словно заранее сговорившись друг с другом, одни и те же остроты по поводу названия пьесы «Ладно». Они писали: «Неладно», «Нескладно».

Хотя я не помню, — и слава Богу, что не помню, — о чем я писал изо дня в день все эти два года, я уверен, что мои статьи не обнаруживали никакой постоянной политической линии. Учение Лабриолы и Ферри? Я не отрекся от него в глубине души, но просто не прибежал к нему и не интересовался им. Может быть, только одну идею я подчеркивал и на страницах газет и в своих выступлениях с трибуны «Литературного клуба» (ибо, несмотря на обиду, я не прекратил посещать его): идею «индивидуализма», той «панбасилеи», о которой я уже упоминал несколькими страницами ранее и на которой, если бы Творец благословил меня достаточным умом и знанием, чтобы формулировать новую философскую систему, я основал бы и построил все свое учение: в начале сотворил Господь Индивидуума; каждый индивидуум — царь, равный своему ближнему; ближний твой — в свою очередь — тоже «царь», и уж лучше пусть личность прегрешит против общества, чем общество против личности; ради блага индивидуумов создано общество, а не наоборот; и грядущий конец истории, пришествие Мессии — это рай индивидуумов, царство сияющей анархии, игра взаимооборствующих человеческих сил, не стесненных законом и границами, и у общества нет иного назначения, кроме как помочь павшему, утешить его, поднять его и дать ему возможность снова вернуться к этой игре борений. Если вслед за этими томами, первый из которых ныне предлагается еврейскому читателю, появятся мои стихи «Ноэла» и «Шафлор» в прекрасном переводе Райхмана и они поразят читателя своим полным отрицанием обязанностей личности в отношении нации и общества, — то должен признаться, что такова моя вера по сей день.

Мне могут указать на противоречие между таким взглядом на вещи и содержанием моей национальной пропаганды: один из моих друзей, который читал эту рукопись, напомнил мне, что слышал от меня и другой припев: «В начале сотворил Бог нацию». Здесь нет противоречия. Разве второй куплет не сформулирован против тех, кто утверждает, что «в начале» сотворено «человечество»: я верю всем своим существом, что в состязании между понятиями нация стоит впереди человечества, так же как индивидуум стоит перед нацией. И если подчинит некий индивидуум всю свою жизнь служению нации, то и это не противоречие в моих глазах: такова его воля, а не долг. В небольшой пьесе «Ладно», которая была поставлена на одесской сцене в 1901 году, я посвятил длинный монолог этой идее. Быть может, и его г-н Райхман переведет, и он появится в одном из следующих томов тоже. Но вот вкратце его содержание: ты рожден свободным, свободным от долга по отношению к высокому и к низменному; не приноси жертв, ибо не из семени жертвы произрастет благословенный плод. Воле своей воздвигни алтарь, воля — твой единственный водитель, куда она поведет тебя — туда иди, куда бы ни вел твой путь, на небеса или в преисподнюю, и чем бы ни оказался: подвигом или грехом, празднеством или мытарством, или даже бременем служения народу: ибо и это бремя возложил ты на себя не как покорный раб, по приказу, а как свободный человек и как властитель, который осуществляет свою волю. Кто знает, хоть я и состарился и уже не жду перемен в беге своей жизни, но, возможно, еще до конца повести моей жизни мне выпадет вписать в нее также главу, которая выпатит и воплотит эту мою главную веру.

Большинство читателей «Новостей» читали охотно мои статьи, но ни один из них не относился серьезно к ним и к их тенденции, и я знал это. Однажды — и это была, кажется, единственная из всех статей этого периода, которую стоило бы спасти от погребения, — я назвал себя и всех остальных своих собратьев по перу черным по белому «клоунами». Статья была направлена против одного журналиста из конкурирующей газеты, человека достойного, спокойного и безликого, не умного и не глупого, анонима в полном смысле этого слова, который стал для меня своего рода забавой и над которым я потешался при всякой возможности и без всякой возможности, просто так. Однажды я обратился к нему прямо и написал: разумеется, без причины и нужды травил я тебя и буду травить, потому что мы клоуны в глазах бездельника-читателя. Мы болтаем, а он зевает, мы желчью пишем, а он говорит: «Недурно написано, дайте мне еще стакан компоту». Что делать клоуну на такой арене, как не отвесить пощечину своему собрату, другому клоуну?

К моему сионизму тоже относились как к чему-то несерьезному. Действительно, я не присоединился тогда еще ни к одной организации, не знал никого из сионистов в городе, но несколько раз посвятил один или два абзаца этой теме. В почетном петербургском ежемесячнике появилась статья некоего Бикермана, написанная в стиле, который величали в то время «научным». Он разносил сионизм в пух и прах, доказывал, что еврейскому народу выпала

счастливая и завидная судьба. Я написал пространный ответ, с аргументами, к которым и ныне мне нечего прибавить; на другой день я встретился с одним из своих знакомых, Равницким, тоже несомненным почитателем Сиона. Он сказал мне: «Что это за новую забаву вы нашли себе?»

Жил я дома у мамы с сестрой. У них произошли большие перемены за время моего пребывания в Италии: сестра вышла замуж за врача, уроженца Александровска-на-Днепре. Это река и город отца. Я побывал там. Половина его жителей еще помнила «Иону», маму приняли, как вдовствующую царицу, и вечерами за чайным столиком на веранде нам рассказывали легенды о подвигах отца, о былом величии Днепра и об украинской торговле зерном. Полтора года спустя — я был тогда в Риме — умер зять, и в доме остались две вдовы и четырехмесячный младенец (теперь он инженер электрической компании в Хайфе). Сестра совладала с горем, открыла женскую школу и начала развивать ее мало-помалу в гимназию. Всегда в их квартирах была комната, которую они называли «моей», и при каждом моем возвращении в Одессу требовалось только постелить простыни на мою кровать.

Однажды посреди ночи — это было в начале 1902 года — сестра разбудила меня и прошептала «полиция». Вошел офицер в голубом жандармском мундире. В течение часа он рылся в моих книгах и бумагах, нашел какую-то «запрещенную» брошюру и пачку моих статей, которые напечатали в итальянской газете, издававшейся в Милане, и предложил следовать за ним: «Я получил приказ доставить вас в Крепость». Я поцеловал маму и сестру. Они не плакали и не жаловались, мама только сказала мне тихо: «Да благословит тебя Господь», и мы уехали. Крепость находится далеко за городом, за горой Чумкой, позади христианского и еврейского кладбищ. Дорогу я скоротал за любезной беседой с околоточным надзирателем, и он сказал мне: «Читал я, сударь, ваши статьи; весьма недурственно».

Одесская крепостная тюрьма помещается в великолепном здании. Мне, слава Богу, есть с чем сравнить ее, и ни разу не была посрамлена моя патриотическая гордость. Она построена крест-накрест, в четыре этажа, внутренние перекрытия все из цемента и железа. Тогда еще не было в ней электрического освещения, и в камере, куда меня поместили, я нашел маленькую газовую горелку. Я лег и уснул как мертвый. Утром меня разбудили крики со всех сторон, то есть крики действительно раздавались со всех сторон, но разбудил меня один и тот же монотонный речитатив, который повторялся без перерыва и без остановки: «Новый сосед — номер 52 — подойдите к окну — не бойтесь — мы все друзья — все политические. Новый сосед — номер 52...» Не сразу я понял, к кому обращается кричащий, но в конце концов вспомнил, что на двери моей камеры я видел номер 52. Окно было высоко, но, подставив стул, я взобрался на широкий подоконник и представился соседям через железную решетку. Мне дали кличку «Лавров», по имени одного из основоположников русского социалистического движения. «Желябовым» прозвали предыдущего обитателя моей камеры, который был уже в Сибири, и по традиции я должен был унаследовать это имя, но я отказался от этой опасной чести (настоящий Желябов был одним из убийц императора Александра II). Я узнал также клички своих соседей: «Гэд», «Мирабо», «Гарибальди», «Лабори» (в честь адвоката Дрейфуса), моего верхнего соседа прозвали «Саламандра», нижнего «Селезень», а один парень с верхнего этажа был «Господом Богом». Через сутки я уже знал наперечет истории большинства заключенных и их общественные обязанности в тюрьме. Половину из них посадили месяцем раньше за демонстрацию с красным флагом на Дерибасовской: «Гарибальди», столяр с Молдаванки, нес знамя и был смертельно избит во дворе полиции, о чем он рассказывал с очень веселым смехом. Некоторые были ветеранами движения, в частности «Мирабо», душа общества, неизменный председатель всех «собраний», верховный арбитр в спорах и высший духовный судья, выносивший решение по любому спорному вопросу марксистского учения, — это был Абрам Гинзбург, инженер из Литвы; года два тому назад его имя попало мне на глаза в газетах красной России — ему был вынесен очень суровый приговор за «вредительство» на одном из процессов, характерных для советского режима. Горе государству пролетариата, если такие люди у него во «вредителях»: был он достойный человек в полном смысле слова, образованный марксист, революционер без страха и упрека, прирожденный вождь. Лица его я не видел ни разу, но изо дня в день, семь недель подряд, я слышал его голос, когда он вел, расположившись на подоконнике, наше самоуправление, спокойно и корректно, тактично и уверенно.

Я написал — председатель всех «собраний», и поистине, такой свободы слова мы не знали даже в Литературном клубе. Каждый вечер, когда стихал шум в крыле воров, которое было в другой стороне корпуса «крепости» (ибо эти простодушные люди засыпали с закатом солнца), мы проводили лекции с дискуссиями. «Мирабо» читал лекцию о великой французской революции, другой ветеран по прозвищу «Зейде» («дедушка» на идиш) излагал нам историю Бунда; меня тоже пригласили прочесть лекции по вопросам моей профессии — о декадентах, о возрождении Италии (из уважения к «Гарибальди») и, разумеется, об «индивидуализме» (эту лекцию меня, однако, не попросили повторить). Для рабочих, попавших в это общество, тюрьма превратилась в школу революции. Проводились и демонстрации: Первого мая. Те, у кого были деньги, покупали в тюремном ларьке какой-то особый сорт табака. Табак был форменная отравка, но продавался он в красных бумажных пачках. Красную оберточную бумагу распределяли между всеми обитателями политического отделения. Вечером мы залепливали ею стекла наших ламп, а лампы выставляли в окнах; и гуляющие, которые ехали конкой к «Фонтану» или к «Аркадии», видели издали красное освещение и аплодировали; возможно, они не аплодировали, возможно, также ничего не видели, ибо первого мая еще нет дачников. Но если уж выбирать между «действительностью» и легендой, то лучше верить в легенду.

Меня вызвали на допрос: в канцелярии тюрьмы я застал жандармского генерала и помощника гражданского прокурора, молодого человека, которого я несколько раз видел в Литературном клубе. Я спросил: «Запрещенная

книга, которую вы нашли у меня, — это памятная записка министра Витте „Земство и самодержавие“. Что в ней преступного?»

Мне ответили, что книга печаталась в Женеве. Это было очень скверно. Но в ней имелось также предисловие на четырех страницах, написанное Плехановым, и это было еще хуже. Помимо того, у меня нашли итальянские статьи, и они-то были подписаны моим именем.

— Разве запрещается печатать статьи в Милане?

— Разрешается, более того — разрешается писать в них что угодно, если они не содержат ложных сведений, порочащих государство. Поэтому-то мы послали ваши статьи, сударь, официальному переводчику, который определит, не опорочили ли вы наше государство...

Семь недель провел я в этой тюрьме, и это одно из самых приятных и дорогих мне воспоминаний. Я полюбил своих соседей, хотя и не видел их лиц. Я поднаторел в «телефоне». Веревку с грузом на конце вращают за решеткой и в определенный момент отпускают, чтобы она полетела в сторону соседа, чья камера справа, слева или вверху и который должен поймать ее. Таким способом можно передать ему книгу, записку или красную бумагу. (В воровском отделении это устройство называлось «леха доди», ибо усилилось еврейское национальное влияние на этот особый народ и на его *lingua franca*.) Полюбил я и воров, особенно юношу, который приносил мне борщ и мясо со словами: шампанское! И даже начальника тюрьмы я полюбил, жандармов и стражников: они были вежливы и очень предупредительны с нами, то ли благодаря приказу свыше, то ли вследствие сложного положения в стране, ибо кто знает, не бросят ли их завтра в тюрьму и не наденет ли этот самый «Мирабо» голубой мундир?

Но через несколько месяцев после моего освобождения этой идиллии пришел конец. Однажды ночью стражники напали на моих друзей, избивая их кулаками и дубинками, а начальник «крепости» был уволен от службы без пенсии. Он встретил меня однажды на улице и спросил, не найду ли я ему другой должности.

Я вышел на свободу, потому что официальный переводчик не нашел в моих статьях «посягательств на достоинство государства», но тяжелого преступления — брошюры министра Витте — с меня не сняли и мне запретили выезд из Одессы до суда. Я и не выезжал, кроме одного раза: в октябре того же года подошла моя очередь явиться для отбывания воинской повинности в Никополь, город, где родился мой отец. Прибыл туда я ночью, а уже на заре пришли жандармы, чтобы посмотреть, что в чемодане у одесского революционера. На призывном пункте я набрал очень большое число очков (ибо отбирали новобранцев по жребию) и вернулся домой счастливым и в полной уверенности, что до скончания своего века я не надену солдатской шинели.

ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ

Моя столица

За последние годы раза три мне случилось выступать на банкетах с одной и той же речью. Банкеты были в честь совершенно разных лиц, в разных странах и на разных языках, Один раз мы чествовали певицу в Нью-Йорке, в другой раз поминали умершего писателя в Париже, в третий раз почетным гостем банкета был художник — я его очень люблю, но уж право не помню, где это было. И всюду было у меня впечатление, что я свое слово строю добросовестно, к делу, приспособляя весь замысел речи к своеобразию данного чествуемого лица. Но после третьего банкета подошел ко мне господин, подмигнул и сказал: «Позвольте представиться, такой-то. Я был тогда-то в Нью-Йорке и тогда-то в Париже. Поздравляю: удивительная для ваших лет сила памяти. Наизусть изволили заучить? Слово в слово!»

До сих пор краснею, когда вспоминаю. Но краснею только из самолюбия, свойственного всем застольным ораторам; по существу же краснеть нечего. Легко может случиться, если позовут меня завтра еще на банкет, героем которого будет, скажем, редактор газеты или бывший городской голова, или капельмейстер, — что я опять скажу то же самое. Слово построю добросовестно, к делу, приспособляя замысел и т. д., а выйдет то же самое. Что зависит не от личности чествуемого гостя и не от области его служения, а от того, имеется ли в его жизнеописании одна особенная особенность. У той певицы, у покойного писателя и у художника она была: именно та черта, ради которой я всегда рад выступить в безотрадной, Богу и людям противной роли послеобеденного славослова, — а не будь этой черты, без приказа свыше не соглашусь. Эта драгоценная, эта неподменяемая, эта благословенная черта заключается в том, что все они из Одессы.

Я не уверен, подобает ли человеку моего знамени сознаваться в патриотическом пристрастии к месту, лежащему не под сенью этого стяга, — но ничего не поделаешь. Все мы такие, кто там родился; а кто не такой, зовите его черным изменником. При мне в Лондоне раз один земляк, не моргнув и ресницей, удостоверил во всеуслышание, что в Одессе девять миллионов жителей. Потом он объяснил мне: «Это потому, что в Лондоне восемь; а если бы в Лондоне было двадцать, у нас было бы двадцать пять; и никаких уступок». Я его понимаю; даже завидую, что мне самому не пришел в голову такой простой статистический метод. Хочу только отметить, по этому поводу, что никто из нас никогда не пытался оспаривать прочную всероссийскую нашу репутацию — отважных и бодрых «...» — мы ею гордимся, во всяком случае те из нас, в ком есть настоящий стержень. Чем была бы жизнь, если не врать? Опять сошлюсь на Ростана: это о Лжи он сказал:

O Toi, sans qui les choses
Ne seraient que ce qu'elles sont!¹

Непросто выстроился наш город. Семь народов — семь по крайней мере — сложили вкладчину кто свой гений, кто свой пот, чтобы создать эту жемчужину вселенной. Умница немка, царица в Петербурге, выбрала лучшее место на всем Черноморье, между Днестром и Днепром, и сказала: «быть на этом месте главной гавани Понта Эвксинского». Французский беженец (по паспорту Ришелье, но мы зовем его Дюк) был гувернером нашего младенчества. Изюм всех городов Италии, от Генуи до Бриндизи, потянулся в Одессу легион черноглазых выходцев — купцы, корабельщики, архитекторы, и притом (да зачтется им это в кущах райской) на подбор высокоодаренные контрабандисты; они заселили молодую столицу и дали ей свой язык, свою легкую музыкальность, свой стиль построек, и первые основы богатства. Около того же времени нахлынули греки — лавочники, лодочники и, конечно, тоже мастера беспощадного товарообмена — и связали юную гавань со всеми закоулками азиатского побережья, с Эгейскими островами, со Смирной и Солунью. Итальянцы и греки строили свои дома на самом гребне высокого берега; евреи разбили свои шатры на окраине, подалее от моря — еще Лесков подметил, что евреи не любят глубокой воды — но зато ближе

¹ Впрочем, он это написал о солнце; но...

к степям, и степь они изрезали паутиной невидимых каналов, по которым потекли к Одессе урожаи сочной Украины. Так строили город потомки всех трех племен, некогда создавших человечество, — Эллады, Рима, иудеи; а правил ими сверху, и таскал их вьюки снизу юнейший из народов, славянин. В канцеляриях распоряжались великороссы, и даже я, ревнивый инородец, чту из их списка несколько имен — Воронцова, Пирогова, Новосельского; а Украина дала нам матросов на дубки, и каменщиков, и — главное — ту соль земную, тех столпов отчизны, тех истинных зодчих Одессы и всего юга, чьих эпигонов, даже в наши дни, волжанин Горький пришел искать — и нашел — настоящего полновесного человека... Очень длинная вышла фраза, но я имею в виду босяков. И еще второго зодчего дала нам Украина: звали его чумаком, он грузил жито у днепровских порогов и, покрикивая на волов «цоб цобэ!», брел за скрипучим возом по степу до самой Пересыпи — кто его знает, сколько недель пешего пути, или месяцев.

Итого, считая Екатерину и Дюка, семь народов; и каких!

Но, говоря о семи только народах, я безвинно обидел еще пять или шесть. Две улицы у нас Арнаутские, Большая и Малая; и есть недалеко в степи, на берегу Либентальского лимана, албанская деревня, где, впрочем, говорят по-гречески. Есть предместье Молдаванка, есть Болгарская улица и Цыганская, Польский спуск, Армянский переулочек, фруктошники татары, и караимская кенасса. В гимназии, в нашем классе на двадцать с чем-то учеников было тринадцать народностей; во всех, кажется, пяти гимназиях латынь преподавали чехи, а жандармский ротмистр, с которым был у меня как-то разговор по неприятному делу, оказался носителем звучной мадьярской фамилии; жаль, хорошая фамилия. Но на латынцах и на ротмистров я не настаиваю, так как иные скажут, что город можно было выстроить и без них; зато все остальные подлинно и честно, под смеющимся нашим солнцем, среди запахов моря и акаций и чеснока, строили мой город, истинное, законное, хотя и до матерей родившееся дитя Лиги наций...

Буду огорчен, если отсюда сделано будет заключение, будто мой город — мешанина. Совершенно серьезно (или, скажем, на три четверти серьезно) я считаю нас, одесситов довоенного поколения, отдельной нацией. Но ее национальный облик подобен широкому полотну канвы, на которой переплели свою вышивку бесчисленные культуры севера, юга, востока и запада и всех прочих стран света. Первая газета у нас, современница Бородинского боя, была французская; театр остался итальянским едва ли не до половины прошлого столетия. В архиве есть афиша первой постановки «Ревизора» почти век тому назад; «Ревизоре», конечно, шел по-русски, но афиша напечатана по-русски и по-итальянски. Только в семидесятых, кажется, годах исчезли на угловых дощечках итальянские названия улиц. В первой трети прошлого столетия были у нас поэты итальянские и греческие, и в Одессе же издавали свои книжечки стихов — впрочем издавали за свой собственный счет (плохой признак), так что хвастать тут нечем; но все таки, были. Французский поэт, Шапеллон, был еще даже в шестидесятых годах, и его книжку напечатали настоящие издатели в Париже, и предисловие написал Ламартин, осторожно похвалив стихотворения — «за восточный колорит». Пушкин провел в Одессе несколько лет беспокойной своей молодости, «обучаясь атеизму под руководством глухого англичанина», и там написал лучшую свою поэму — не помню точно, какую именно; во всяком случае, уж безусловно лучшее место в «Онегине» — строки об Одессе, хоть они в канон романа и не вошли и никто их не знает (однажды, в обществ трех студентов словесников, я выдал их за свои, и сошло). В обновлении литературы древнееврейского языка Одесса сыграла, вероятно, большую роль, чем все другие города мира взятые вместе (или, скажем, три четверти...): здесь писали Ахад Гаам и Бялик, здесь издавался журнал, роль которого напрашивается на сравнение с ролью «Отечественных Записок» в истории русской культуры.

Конечно, была у Одессы и общая *lingva franca*; и, конечно, был это язык славянского корня; но я с негодованием отрицаю широко распространенное недоразумение, будто это был испорченный русский. Во-первых, не испорченный; во-вторых, не русский. Нельзя по внешнему сходству словаря и правил склонения умозаключать о тождественности двух языков. Дело в оборотах и в фонетике, то есть в той неуловимой сути всего путного, что есть на свете, которая называется национальностью. Особый оборот речи свидетельствует о том, что у данной народности ход мысли иной, чем у соседа; особая фонетика означает, что у этой народности другое музыкальное ухо. Если в Америке человек из города Каламазу (ударение на «зу») в штате Нью Йорк вдруг заговорит «по-английски», его засмеют до уничтожения: говори по-нашему. Да и словарь, если подслушать его у самых истоков массового говора, был не совсем тот, что у соседних дружественных наций, русской и даже украинской. Рыбаки на Ланжероне, различая разные направления и температуры ветра, называли один ветер «широкий» (итальянцы так произносят «сирокко» — через «ш»), а другой — «тармонтане», то есть трамонтана. Особый вид баранки или бублика назывался семитатью; булка — франзолью; вобла — таранью; кукуруза — пшенкой; дельфин — «морской свиной»; креветки — рАчками; крабы — раками, а улитка — лавриком; тятка — секачкой; бассонный мастер — шумклером; калитка — форточкой; детей пугали не букой, а бабаем, и Петрушка или Мартын Боруля именовался Ванька Рутютю. На низах, в порту, эта самобытность чувствовалась еще гуще; словарь босячества сохранился, к счастью, в рассказах покойного его бытописателя — Кармена, но я из него мало что помню — часы назывались бимбор, а дама сердца была бароха. И грамматика была не совсем та. «Пальто» мы склоняли: родительный пальта, множественное число польта. О том, что мы склоняли наречие «туда», знали и северяне, и очень над этим смеялись — и напрасно. Очень удобный, убористый оборот. Вопрос ведь далеко не всегда в том, куда я направляюсь — туда или сюда: в жизни часто гораздо важнее, кудаю легче в то место пробраться — тудюю, или, напротив, сюдюю? Ведь это проще и короче, чем по-русски «той дорогой...» Я слышал и другие падежи. В гимназии мы тайно печатали школьную газету на гектографе; однажды мне показалось, что белый лист не так лег на желатине, как надо, и я сказал печатающему: «Ты не туда положил». Он отвечал: «Не беспокойся — в самую тудю».

Север еще больше смеялся над нашими оборотами речи, и тоже напрасно. Знаменитые «две большие разницы» беру под свою защиту непреклонно: да как и сказать по-другому, столь же коротко и ясно? Или «без ничего»: куда выразительнее, куда абсолютнее, чем все мыслимые пресные великорусские переводы этого перла. Или возьмем общеизвестную по-русски формулу: «с одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, нельзя не признаться...» Метко, я согласен; но длинно и сложно. У нас это короче: «Чтобы да — так нет». Вообще наш язык гораздо больше, чем русский, ценил и понимал слово «да». Странно: лучшее слово на свете, люди когда то жизнь отдавали, чтобы услышать его из уст упрямой красавицы; некогда целые царства называли себя *Langue d'Os*, *Langue d'Oil*, *il bel paese dove il «si» suona*, — а пользоваться им мало кто умеет. Мы умели. «Ты ничего не понял. — Неправда, я да понял». Непереводаемо и необходимо...

Все дело в оборотах. У Кармена, которого я только что помянул, была где то в очерках такая беседа между двумя гражданами портовой территории:

- Митька!
- Шо?
- Пальто найшел.
- Тащи ее сюды!
- Низя.
- Пчиму?
- Бу у ей пассажир сидить.
- А ты его витруси!

Но это все только язык и словесность, а не вся культура. Понятие национальной культуры бесконечно шире, чем одно производство слов, устных или печатных. Английская культура выразилась ярче всего не в Шекспире, а в строе государства и общества, в парламентаризме и суд присяжных; французская — в четырнадцатом июле... Я бы даже так сказал: лучшая поэма каждого народа называется — крамола. К ней ведут, в течение столетий, все песни, в ней выливаются все мечты народа. Но не по пальцам одной руки перечесть все народы, чьей крамоле ареной была Одесса. В одной из харчевен одесского порта юнга, по имени Гарибальди, встретил того матроса карбонария, который впервые опоил его мечтой о свободной Италии; есть интриганы, утверждающие, будто случилось это в Таганроге, но я не верю. В Красном переулке, близ Греческого базара, есть домик шириною в два окна, а над воротами мраморная доска с надписью: «*Oikia Marazli, en tede synedrisen he Ethnike Hetairia 1821*» — доме, где происходили тайные «сходки национального общества», которое, не сомневаюсь, именно и освободило Элладу. Ружья свои, бывшие на тридцать шагов без промаху, они прятали в катакомбах, что и поныне еще выются на десятки верст под мостовыми Одессы; теперь входы засыпаны, давно никто в катакомбах не был, но сто лет тому назад грек контрабандист гулял по ним уверенно, как Тезей по лабиринту, и без ариадниной нити. В конце одной из улиц, над краем обрыва, где открывается, с альпийской высоты в шестьдесят четыре сажени, вид на море до самого горизонта (горизонт у нас — почти до экватора), стоит барский особняк с башенкой, польский особняк; в детстве я знал имя владельца, но в нем слишком много согласных, чтобы могла их удержать обыкновенная память. Помню зато славу того дома: одна из мастерских, где подготовлено было повстанье 1863-го года. С начала шестидесятых годов Одесса стала штаб квартирой еврейского движения, сначала просветительного, затем палестинофильского, потом сионизма и самообороны. В первые годы русского подполья здесь был убит кто-то важный — кажется, Стрельников; а в 1905 м году, из под старой крепости в парке, я видел пожар порта и силуэт «Потемкина» вдали; под обрывом трещала стрельба пачками, а ветер разносил искры пожара далеко — мы еще тогда и не догадывались, как далеко.

Уж не как шовинист — просто как бесстрастный читатель иногда книжек по истории, позволяю себе усомниться, есть ли, был ли на свет другой город, до такой степени насыщенный надеждами и порывами стольких народностей. Нечто внешне подобное творится теперь в Женеве, но то — делегации, а не население. В Лондоне жили когда-то, в Париже теперь живут эмигранты, говорят по-своему и, быть может, тоже мечтают о мраморной доске в будущем, если до тех пор не перестроится переулок: но и эмигранты эти не вливаются в толщу населения, и Париж остается в стороне. Нью-Йорк? Он своих инородцев не то что ассимилирует — фраза о плавильном котле пока только фраза, — но он обезличивает. Главная же разница та, что все эти города раньше выстроились, руками одного народа, и только потом, много позже, стали приливать иностранцы, уже в готовую национальную среду. Одессу, как вавилонскую башню, с первого камня строили все племена — то есть, как уже доложено выше, все (по-моему) истинно великие племена истории; все ее строили, и каждое вложило в нее кусок своей гордости.

Оттого и получилась в итоге та степень муниципальной гордости, коей только слабым, далеко не крайним образцом является настоящий очерк.

Я еще из умеренных. Слово «приезжий», кажется, уже проскользнувшее на этих страницах — надо было послушать, с какой интонацией произносили его когда-то иные из моих земляков... «Надуть? меня? что я, приезжий?» Непереводаемо; или надо сложить вместе понятия «провинциал», «троглодит», «низшая раса» — только тогда получится нечто подобное этому эпитету, которым отстранялся куда-то за межу цивилизации, без различия, человек из Херсона или человек из Петербурга.

...Только то грустно, что всего этого уже нет, и Одесса давно уж не такая. Давно, еще задолго до нынешнего мора и глада и труса, стало меркнуть и сереть то великолепии многоцветности — высокая прерогатива радуги, бриллианта, империй. Александрия севера постепенно превращалась в южную Калугу; а теперь, говорят, совсем и нет больше на том мест никакого города — трактором, от Куликова поля до Ланжерона, проволоки борону, а комья потом посыпали солью. Жаль...

Мир, которого не стало

Было понятно, что мы живем в эпоху, когда революционные настроения приобрели уже массовый характер, а правительство открыто организует массы на устройство еврейских погромов, чтобы таким образом противостоять революции.

Нам казалось, что у нас есть только один выход: организовывать самооборону, вооружать и учить обращаться с оружием всё еврейское население, а особенно, конечно, молодежь. Нам также было ясно, что надо каким-то образом задействовать в самообороне и нееврейское население и сделать так, чтобы оно осознало свою роль в этом процессе¹. Это кажется нам сейчас возможным выходом, потому что пропаганда направлена также против русской интеллигенции.

Прежде всего мы решили действовать самостоятельно. У нас были люди, и мы разбили их на отряды. Но откуда взять оружие? Мы наладили связи и нашли источник — больше всех этим занимались Каплан и Зейдель. Есть оружие! Но чтобы его приобрести, необходимы деньги, и немало. Мы решили обратиться к уважаемым гражданам, и прежде всего к сионистскому объединению. Мы поговорили со «стариками», объяснили им нашу общую идею. <...> Они склонялись принять нашу точку зрения, и пригласили нас на заседание — Шейна, меня и Фрейдина. Мы с Шейном объяснили нашу позицию и попросили немедленной денежной помощи.

Нам отвечал молодой студент из семьи Дунаевских, недавно вернувшийся из-за границы, который был председателем собрания. Он насмешливо и заносчиво заговорил о «еврейской толпе», которая своей «детской революционностью» подвергает опасности жизни евреев и приносит народу несчастья. Он ядовито прошелся по поводу рабочих, которые «подняли голову», и оружие им нужно совсем для других целей... Он насмехался над «еврейскими писателями, бездельниками, которые тоже решили заняться политикой». Реакция Шейна была крайне резкой: он заклеил студента, назвав его символом атрофирующегося, предательского буржуазного общества, человеческие и еврейские качества которого позорят всё поколение, вырастившее его.

Реакция была не только резкой, но и меткой. Несмотря на то, что Шейн не был знаком с этим человеком, он смог описать его «как он есть», так что весь город много об этом говорил. Впечатление он произвел хорошее, вот только денег на покупку оружия мы не получили... То, что мы собрали сами и с помощью «энтузиастов», в том числе семьи Ишаягу Дунаевского, хватало на покупку небольшого числа револьверов (около двух десятков). Но молодые хозяева не могли простить нам оскорбления, нанесенного человеку, который был их духовным лидером. Больше всего их рассердила огласка, которую получило оскорбление. В отместку они организовали на нас серьезное нападение, «нападение извозчиков».

Город Лохвица располагался, как уже было сказано, в 12 верстах от железнодорожной станции. Сообщение между станцией и городом находилось в руках извозчицких компаний. Статус извозчика в городе был довольно высок. Извозчики были *тесно* связаны с «хозяевами» — те были двигателями их торговли, [*т.к. часто ездили*] в город и из города, и поэтому приняли их предложение проучить нас. И вот в одну из суббот — «шаббат нахаму»², — когда мы устроили собрание за пределами города и возвращались под вечер обратно, извозчики напали на нас с палками и камнями: «Смутьяны! Социалисты! Наглецы!» Лейзера Шейна с нами не было: он выехал с семьей Дунаевских на дачу в Гадяч. Нападающие прямо сказали, что они хотят побить именно «главаря», а его «заместителя», этого умника из бейт-мидраша, не тронут — он только делает то, что говорит ему «набольший»...

¹ Во время погрома в Житомире в апреле 1905 г. в уличных боях погибло 15 участников самообороны, в т.ч. русский студент, эсер Н. Блинов, который был растерзан толпой, кричавшей: «Хоть ты и русский, но *сицилист* и хуже жидов, пришел на защиту их». В Керчи 31 июля 1905 г. по приказу градоначальника был обстрелян отряд самообороны, пытавшийся остановить погром, в который переросла патриотическая манифестация; погибли два бойца самообороны, один из них — русский гимназист П. Кирилленко (*прим. перев.*).

² Шаббат после 9 ава, когда читают афтару, начинающуюся словами «Нахаму нахаму» (*прим. перев.*).

Мои товарищи были очень подавлены. Вечером я собрал совет и распорядился, что завтра ночью, когда извозчики поедут из города на станцию, товарищи должны выйти в поля им навстречу и стрелять (в воздух), направляя оружие на тех из них, кто принял участие в нападении, не пропустив никого. Но ни в коем случае не стрелять в остальных.

Все получилось намного лучше, чем было задумано. В понедельник никто не захотел воспользоваться услугами этих извозчиков. Во вторник рано утром ко мне в комнату пришла делегация из старейших извозчиков и попросила о мире. Они сожалеют и просят прощения, они не виноваты, их молодежь послушалась «умников» из богатых. Они готовы заплатить штраф, только бы мы распространили поshire, то мы ничего против них не имеем. «Ведь мы умрем с голоду! Какой ужас!» После кратких переговоров и после того, как я объяснил им значение того, что они сделали, они пожертвовали двадцать пять рублей на нужды самообороны, а я пообещал им, что мы принимаем их извинения, прощаем их и больше не держим на них обиды. Примирение было полным и истинным.

Галичина и Молдавия. Путевые письма

Впервые опубликовано в 1868 году

Вошедшие дамы уселись у окна довольно далеко от меня, в полусвете. Разговор свернул на литературу, толковали что-то такое о Барбье, о Гюго, о Дрездене, туда уезжала одна из гостей, и мне сказано было несколько любезностей за то, что я корреспондент, стало быть, литератор; литераторов же эти дамы в Дрездене не видали, а в Яссах и видеть не могли, потому что в Яссах еще кое-какие публицисты молдавские водятся, а литераторов совсем нет. Ужин кончился. В разговоре я подвинулся поближе к дамам, которые то и дело заявляли мне свою образованность, цивилизацию и отсутствие всяких предрассудков. Признаться я, грешный человек, несколько увлекся и уверовал искренно, что эти госпожи, толковавшие со мной о литературе, о музыке, о цивилизации, о прогрессе, были то же самое, что наши образованные женщины, и вдруг, севши к ним поближе, я в глубине души своей ахнул во все горло: это были Хайки, Малки и Мирки. Ни на одной из них не было платья!.. Белый костюм, который я принял было за блузы или пеньюары, оказался просто юбками и кофтами, и на ногах у этих барынь, весьма достаточных, были совершенно стоптанные туфли! Мне вдруг все стало ясно. Эти барыни, считающие себя, и не без основания, образованными, явились в гости *sans facon*, так, запросто, как они сейчас выскочили бы на улицу потолковать о городских еврейских сплетнях, покричать *вай-мир*, поплакать и купить дешево какой-нибудь браслет, который и наделся бы в шабаш не потому, что он был очень хорош, не потому, что он заслуживал внимания по своей цене или по отделке, а просто потому, что им можно похвастаться, как доказательством своей ловкости и изворотливости в умении торговаться и покупать. Да, эти госпожи читают Гюго, может быть, даже Паскаля и Шекспира, может быть, великолепно играют на фортепьяно, но в жизни их, в их домашнем быту, господствует та вопиющая *проза, которая так страшна в женщинах*. Может быть, это предрассудок, но мы, люди XIX века, требуя от женщины известной доли практичности, все-таки, когда эта практичность доходит до степени, еврейка этого не минует.

Да, странная вещь в евреях — отсутствие изящества. Любого из них возьмите, посидите с ним полчаса, и его глубокая прозаичность так и станет вам резать ухо, как лопнувшая струна в рояле¹. Говорят, что гонение все это наделало. Очень может быть; но невозможно же, чтоб гнали евреев только за их исповедание, только за то, что они не христиане?

¹ Недавно в одной польской брошюре было сделано признание, что никто не видал еврея, нюхающего цветы. Еврей — прозаик до невозможности. Как бы то ни было, однако, я прошу моих читателей, а особенно читателей-евреев понять, что если я нападаю на евреев как на касту, то вовсе не отрицаю, что отдельные из них личности превосходны и знают толк в цветах, как есть евреи храбрые и даровитые; есть из евреев поэты, музыканты, мыслители, замечательные профессора и ученые; но опять таки, повторяю, я говорю не об *исключениях*, а об общих свойствах непроеизводительной массы евреев.

Из «Так говорил Заратустра»

1

Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро своей родины и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся этим. Но наконец изменилось сердце его — и в одно утро поднялся он с зарею, стал перед солнцем и так говорил к нему: «Великое светило! К чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь! В течение десяти лет подымалось ты к моей пещере: ты пресытилось бы своим светом и этой дорожкой, если б не было меня, моего орла и моей змеи. Но мы каждое утро поджидали тебя, принимали от тебя преизбыток твой и благословляли тебя. Взгляни! Я пресытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много меду; мне нужны руки, простертые ко мне. Я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумству своему, а бедные — богатству своему. Для этого я должен спуститься вниз: как делаешь ты каждый вечер, окунаясь в море и неся свет свой на другую сторону мира, ты, богатейшее светило! Я должен, подобно тебе, *закатиться*, как называют это люди, к которым хочу я спуститься. Так благослови же меня, ты, спокойное око, без зависти взирающее даже на чрезмерно большое счастье! Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага текла из нее и несла всюду отблеск твоей отрады! Взгляни, эта чаша хочет опять стать пустою, и Заратустра хочет опять стать человеком». — Так начался закат Заратустры.

2

Заратустра спустился один с горы, и никто не повстречался ему. Но когда вошел он в лес, перед ним неожиданно предстал старец, покинувший свою священную хижину, чтобы поискать кореньев в лесу. И так говорил старец Заратустре: «Мне не чужд этот странник: несколько лет тому назад проходил он здесь. Заратустрой назывался он; но он изменился. Тогда нес ты свой прах на гору; неужели теперь хочешь ты нести свой огонь в долины? Неужели не боишься ты кары поджигателю? Да, я узнаю Заратустру. Чист взор его, и на устах его нет отвращения. Не потому ли и идет он, точно танцует? Заратустра преобразился, ребенком стал Заратустра, Заратустра проснулся: чего же хочешь ты среди спящих? Как на море, жил ты в одиночестве, и море носило тебя. Увы! ты хочешь выйти на сушу? Ты хочешь снова сам таскать свое тело?» Заратустра отвечал: «Я люблю людей». «Разве не потому, — сказал святой, — ушел и я в лес и пустыню? Разве не потому, что и я слишком любил людей? Теперь люблю я Бога: людей не люблю я. Человек для меня слишком несовершенен. Любовь к человеку убила бы меня». Заратустра отвечал: «Что говорил я о любви! Я несу людям дар». «Не давай им ничего, — сказал святой. — Лучше сними с них что-нибудь и носи вместе с ними — это будет для них всего лучше, если только это лучше и для тебя! И если ты хочешь им дать, дай им не больше милостыни и еще заставь их просить ее у тебя!» «Нет, — отвечал Заратустра, — я не даю милостыни. Для этого я недостаточно беден». Святой стал смеяться над Заратустрой и так говорил: «Тогда постарайся, чтобы они приняли твои сокровища! Они недоверчивы к отшельникам и не верят, что мы приходим, чтобы дарить. Наши шаги по улицам звучат для них слишком одиноко. И если они ночью, в своих кроватях, услышат человека, идущего задолго до восхода солнца, они спрашивают себя: куда крадется этот вор? Не ходи же к людям и оставайся в лесу! Иди лучше к зверям! Почему не хочешь ты быть, как я, — медведем среди медведей, птицею среди птиц?» «А что делает святой в лесу?» — спросил Заратустра. Святой отвечал: «Я слагаю песни и пою их; и когда я слагаю песни, я смеюсь, плачу и бормочу себе в бороду: так славлю я Бога. Пением, плачем, смехом и бормотанием славлю я Бога, моего Бога. Но скажи, что несешь ты нам в дар?» Услышав эти слова, Заратустра поклонился святому и сказал: «Что мог бы я дать вам! Позвольте мне скорее уйти, чтобы чего-нибудь я не взял у вас!» — Так разошлись они в разные стороны, старец и человек, и каждый смеялся, как смеются дети. Но когда Заратустра остался один, говорил он так в сердце своем: «Возможно ли это! Этот святой старец в своем лесу еще не слыхал о том, что *Бог мертв*».

3

Придя в ближайший город, лежавший за лесом, Заратустра нашел там множество народа, собравшегося на базарной площади: ибо ему обещано было зрелище — плясун на канате. И Заратустра говорил так к народу: *Я учу вас о сверхчеловеке*. Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его? Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека? Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором. Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось от червя, некогда были вы обезьяной, и даже теперь еще человек больше обезьяны, чем иная из обезьян. Даже мудрейший среди вас есть только разлад и помесь растения и призрака. Но разве я велю вам стать призраком или растением? Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке! Сверхчеловек — смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: *да будет* сверхчеловек смыслом земли! Я заклинаю вас, братья мои, *оставайтесь верны земле* и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах! Они отравили, все равно, знают ли они это или нет. Они презирают жизнь, эти умирающие и сами себя отравившие, от которых устала земля: пусть же исчезнут они! Прежде хула на Бога была величайшей хулой; но Бог умер, и вместе с ним умерли и эти хулители. Теперь хулить землю — самое ужасное преступление, так же как чтить сущность непостижимого выше, чем смысл земли! Некогда смотрела душа на тело с презрением: и тогда не было ничего выше, чем это презрение, — она хотела видеть тело тощим, отвратительным и голодным. Так думала она бежать от тела и от земли. О, эта душа сама была еще тощей, отвратительной и голодной; и жестокость была вожделием этой души! Но и теперь еще, братья мои, скажите мне: что говорит ваше тело о вашей душе? Разве ваша душа не есть бедность и грязь и жалкое довольство собою? Поистине, человек — это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым. Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он — это море, где может потонуть ваше великое презрение. В чем то самое высокое, что можете вы пережить? Это — час великого презрения. Час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным, так же как ваш разум и ваша добродетель. Час, когда вы говорите: «В чем мое счастье! Оно — бедность и грязь и жалкое довольство собою. Мое счастье должно бы было оправдывать само существование!» Час, когда вы говорите: «В чем мой разум! Добивается ли он знания, как лев своей пищи? Он — бедность и грязь и жалкое довольство собою!» Час, когда вы говорите: «В чем моя добродетель! Она еще не заставила меня безумствовать. Как устал я от добра моего и от зла моего! Все это бедность и грязь и жалкое довольство собою!» Час, когда вы говорите: «В чем моя справедливость! Я не вижу, чтобы был я пламенем и углем. А справедливый — это пламень и уголь!» Час, когда вы говорите: «В чем моя жалость! Разве жалость — не крест, к которому пригвождается каждый, кто любит людей? Но моя жалость не есть распятие». Говорили ли вы уже так? Восклицали ли вы уже так? Ах, если бы я уже слышал вас так восклицающими! Не ваш грех — ваше самодовольство вопиет к небу; ничтожество ваших грехов вопиет к небу! Но где же та молния, что лизнет вас своим языком? Где то безумие, что надо бы привить вам? Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он — эта молния, он — это безумие! — Пока Заратустра так говорил, кто-то крикнул из толпы: «Мы слышали уже довольно о канатном плясуне; пусть нам покажут его!» И весь народ начал смеяться над Заратустрой. А канатный плясун, подумав, что эти слова относятся к нему, принялся за свое дело.

4

Заратустра же глядел на народ и удивлялся. Потом он так говорил: Человек — это канат, натянутый между живым и сверхчеловеком, — канат над пропастью. Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный назад, опасны страх и остановка. В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он *переход* и *гибель*. Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, ибо идут они по мосту. Я люблю великих ненавистников, ибо они великие почитатели и стрелы тоски по другому берегу. Я люблю тех, кто не ищет за звездами основания, чтобы погибнуть и сделаться жертвою — а приносит себя в жертву земле, чтобы земля некогда стала землею сверхчеловека. Я люблю того, кто живет для познания и кто хочет познавать для того, чтобы когда-нибудь жил сверхчеловек. Ибо так хочет он своей гибели. Я люблю того, кто трудится и изобретает, чтобы построить жилище для сверхчеловека и приготовить к приходу его землю, животных и растения: ибо так хочет он своей гибели. Я люблю того, кто любит свою добродетель: ибо добродетель есть воля к гибели и стрела тоски. Я люблю того, кто не бережет для себя ни капли духа, но хочет всецело быть духом своей добродетели: ибо так, подобно духу, проходит он по мосту. Я люблю того, кто из своей добродетели делает свое тяготение и свою напасть: ибо так хочет он ради своей добродетели еще жить и не жить более. Я люблю того, кто не хочет иметь слишком много добродетелей. Одна добродетель есть больше добродетель, чем две, ибо она в большей мере есть тот узел, на котором держится напасть. Я люблю того, чья душа расточается, кто не хочет благодарности и не воздает ее: ибо он постоянно дарит и не хочет беречь себя. Я люблю того, кто стыдится, когда игральная кость выпадает ему на счастье, и кто тогда спрашивает: неужели я игрок-обманщик? — ибо он хочет гибели. Я люблю того, кто бросает золотые слова впереди своих дел и исполняет всегда еще больше, чем обещает: ибо он хочет своей гибели. Я люблю того, кто оправдывает людей будущего и искупляет людей прошлого: ибо он хочет гибели от людей настоящего.

Я люблю того, кто карает своего Бога, так как он любит своего Бога: ибо он должен погибнуть от гнева своего Бога. Я люблю того, чья душа глубока даже в ранах и кто может погибнуть при малейшем испытании: так охотно идет он по мосту. Я люблю того, чья душа переполнена, так что он забывает самого себя, и все вещи содержатся в нем: так становятся все вещи его гибелью. Я люблю того, кто свободен духом и свободен сердцем: так голова его есть только утроба сердца его, а сердце его влечет его к гибели. Я люблю всех тех, кто являются тяжелыми каплями, падающими одна за другой из темной тучи, нависшей над человеком: молния приближается, возвещают они и гибнут, как провозвестники. Смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи; но эта молния называется *сверхчеловек*.

5

Произнесши эти слова, Заратустра снова посмотрел на народ и умолк. «Вот стоят они, говорил он в сердце своем, — вот смеются они: они не понимают меня, мои речи не для этих ушей. Неужели нужно сперва разодрать им уши, чтобы научились они слушать глазами? Неужели надо греметь, как литавры и как проповедники покаяния? Или верят они только заикающемуся? У них есть нечто, чем гордятся они. Но как называют они то, что делает их гордыми? Они называют это культурой, она отличает их от козопасов. Поэтому не любят они слышать о себе слово «презрение». Буду же говорить я к их гордости. Буду же говорить я им о самом презренном существе, а это и есть последний человек». И так говорил Заратустра к народу: Настало время, чтобы человек поставил себе цель свою. Настало время, чтобы человек посадил росток высшей надежды своей. Его почва еще достаточно богата для этого. Но эта почва будет когда-нибудь бедной и бесплодной, и ни одно высокое дерево не будет больше расти на ней. Горе! Приближается время, когда человек не пустит более стрелы тоски своей выше человека и тетива лука его научится дрожать! Я говорю вам: нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Я говорю вам: в вас есть еще хаос. Горе! Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе! Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя. Смотрите! Я показываю вам последнего человека. «Что такое любовь? Что такое творение? Устремление? Что такое звезда?» — так вопрошает последний человек и моргает. Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живет дольше всех. «Счастье найдено нами», — говорят последние люди, и моргают. Они покинули страны, где было холодно жить: ибо им необходимо тепло. Также любят они соседа и жмутся к нему: ибо им необходимо тепло. Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом: ибо ходят они осмотрительно. Одни безумцы еще спотыкаются о камни или о людей! От времени до времени немного яду: это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть. Они еще трудятся, ибо труд — развлечение. Но они заботятся, чтобы развлечение не утомляло их. Не будет более ни бедных, ни богатых: то и другое слишком хлопотно. И кто захотел бы еще управлять? И кто повиноваться? То и другое слишком хлопотно. Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом. «Прежде весь мир был сумасшедший», — говорят самые умные из них, и моргают. Все умны и знают все, что было; так что можно смеяться без конца. Они еще ссорятся, но скоро мирятся — иначе это расстраивало бы желудок. У них есть свое удовольствице для дня и свое удовольствице для ночи; но здоровье — выше всего. «Счастье найдено нами», — говорят последние люди, и моргают. Здесь окончилась первая речь Заратустры, называемая также «Предисловием», ибо на этом месте его прервали крик и радость толпы. «Дай нам этого последнего человека, о Заратустра, — так восклицали они, — сделай нас похожими на этих последних людей! И мы подарим тебе сверхчеловека!» И все радовались и щелкали языком. Но Заратустра стал печален и сказал в сердце своем: «Они не понимают меня: мои речи не для этих ушей. Очевидно, я слишком долго жил на горе, слишком часто слушал ручьи и деревья: теперь я говорю им, как козопасам. Непреклонна душа моя и светла, как горы в час дополуденный. Но они думают, что холоден я и что говорю я со смехом ужасные шутки. И вот они смотрят на меня и смеются, и, смеясь, они еще ненавидят меня. Лед в смехе их».

6

Но тут случилось нечто, что сделало уста всех немыми и взор неподвижным. Ибо тем временем канатный плясун начал свое дело: он вышел из маленькой двери и пошел по канату, протянутому между двумя башнями и висевшему над базарной площадью и народом. Когда он находился посреди своего пути, маленькая дверь вторично отворилась, и детина, пестро одетый, как скоморох, выскочил из нее и быстрыми шагами пошел во след первому. «Вперед, хромоногий, — кричал он своим страшным голосом, — вперед, ленивая скотина, контрабандист, набеленная рожа! Смотри, чтобы я не пощекотал тебя своею пяткою! Что делаешь ты здесь между башнями? Ты вышел из башни; туда бы и следовало запереть тебя, ты загораживаешь дорогу тому, кто лучше тебя!» — И с каждым словом он все приближался к нему — и, когда был уже на расстоянии одного только шага от него, случилось нечто ужасное, что сделало уста всех немыми и взор неподвижным: он испустил дьявольский крик и прыгнул через того, кто загородил ему дорогу. Но этот, увидев, что его соперник побеждает его, потерял голову и канат; он бросил свой

шест и сам еще быстрее, чем шест, полетел вниз, как какой-то вихрь из рук и ног. Базарная площадь и народ походили на море, когда проносится буря: все в смятении бежало в разные стороны, большею частью там, где должно было упасть тело. Но Заратустра оставался на месте, и прямо возле него упало тело, изодранное и разбитое, но еще не мертвое. Немного спустя к раненому вернулось сознание, и он увидел Заратустру, стоявшего возле него на коленях. «Что ты тут делаешь? — сказал он наконец. — Я давно знал, что черт подставит мне ногу. Теперь он тащит меня в преисподнюю; не хочешь ли ты помешать ему?» «Клянусь честью, друг, — отвечал Заратустра, — не существует ничего, о чем ты говоришь: нет ни черта, ни преисподней. Твоя душа умрет еще скорее, чем твое тело: не бойся же ничего!» Человек посмотрел на него с недоверием. «Если ты говоришь правду, — сказал он, — то, теряя жизнь, я ничего не теряю. Я немного больше животного, которого ударами и впроголодь научили плясать». «Не совсем так, — сказал Заратустра, — ты из опасности сделал себе ремесло, а за это нельзя презирать. Теперь ты гибнешь от своего ремесла; за это я хочу похоронить тебя своими руками». На эти слова Заратустры умирающий ничего не ответил; он только пошевелил рукою, как бы ища, в благодарность, руки Заратустры.

[Письмо нелегальное]

[вскоре после 6 мая 1906 г.]

Дорогой Абрам! На днях получила твое письмо. Так как я его получила накануне 6 мая, и мы были в ожидании амнистии, поэтому я тебе не сейчас ответила и думала писать уже с воли, но, увы, напрасно мы старались уверить себя, что амнистия будет, ее нет как нет и, по-видимому, не скоро, а если и будет, так такая куцая, и едва ли это коснется нас. Чувствую себя хорошо, от города и мира не оторвана совсем, то есть, имею свидания и получаю сведения из города, затем мы и газеты добываем, хотя это воспрещается, но мы изоощряемся и, как бы ни следили, а мы свое дело делаем, но дело в том, что спрашивать это в письме, которое проходит через руки прокурора, немного наивно. Если ты получил письмо, которое я тебе оправила нелегальным путем, то ты должен знать, ибо я там тебе писала условия здешней тюрьмы, а в легальных письмах я тебе об этом не могу писать. В тюрьме у нас здесь 300 человек, ожидание амнистии все страшно [нрзб] нервы высшей степени возбуждены. Вообще в последний месяц много пережили, ты, наверное, читал про возмутительный случай, который произошел у нас. Офицер убил двух молодых парней в запертой камере за решеткой, он стрелял в них за то, что кто-то из уголовных крикнул: «Долой самодержавие!», он подошел к этим парням, которые сидели на окне, и спросил, кто кричал, они ответили, что они не кричали, но они присоединяются к этому лозунгу, ибо это желание лучшей части России и что «за это мы в тюрьме сидим». Передать, что мы пережили невозможно. Затем на этой неделе двух девиц анархисток приговорили к смертной казни, нервы у нас так притупились, что мы уже начали к этому относиться, как к чему-нибудь привычному, конечно, сравнительно с ужасами, которые происходят у нас на низах. Не то мы еще увидим, Думу, вероятно, разгонят, и тогда буря поднимется, октябрьские дни будут бледнеть перед тем, во что могут вылиться теперешнее возмущение. Погромы у нас готовятся, по слухам телеграммы истинно русских людей организуются весьма энергично.

<далее о пересылке денег и связях>

Меня сильно огорчило то, что тебе придется теперь одному работать, я себе представляю твое здоровье. Теперь за время, что мы не виделись, оно вероятно порядочно износилось, а оно ведь и тогда было такое шаткое, жутко становится, как подумаешь! Какой-то жгучей болью сжимается сердце при одном воспоминании, а совесть так и грызет, и говорить-то об этом тяжело. Пиши почаще, прошу тебя убедительно. Вот уже пятый месяц, как в тюрьме сижу, а всего три письма получила от тебя, а я тебе наверно восемь-девять писем отправила.

Свободная гражданка конституционной парламентской страны из-за решётки Одесской тюрьмы. Анна

Central Zionist Archives F30 1042. Подготовила к печати Нелли Портнова